

О.Б.Ткаченко



Исследования по мерянскому языку

Костром
а
2007

О.Б.Ткаченко

Исследования по мерянскому языку



Костром
а
2007



Реконструкция мерянского поселка VI-VII вв. н.э. [22, стр. 84]

Ткаченко О.Б.

Исследования по мерянскому языку. - Кострома: Инфопресс, 2007. - 352 с.

В сборнике представлены работы по системной реконструкции мерянского, мертвого финно-угорского языка, распространенного в прошлом в Центральной России (на территории современных Ярославской, Ивановской, Костромской, Тверской, Московской, Владимирской областей), на всех его уровнях - фонетическом, грамматическом, лексическом, на базе теоретического осмысления проблемы языкового субстрата и практического применения разработанных подходов в социолингвистическом исследовании конкретных субстратных языков (на материале реконструированного мерянского).

Для языковедов, специалистов по общему, финно-угорскому, русскому и славянскому языкознанию, историков, археологов, этнографов, преподавателей и студентов вузов.

Содержание

Часть 1. Мерянский язык

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
ВВЕДЕНИЕ	9
ФОНЕТИКА	14
Фонетические особенности мерянского языка (на основании русских диалектных слов немерянского происхождения)	16
Фонетические свойства мерянского языка (на основании русской лексики и ономастики мерянского происхождения)	32
Вокализм	33
Консонантизм	44
Выводы	63
ГРАММАТИКА	66
Морфология	66
Имена	66
Существительное	66
Фрагменты системы мерянского именного склонения	66
Другие именные части речи	71
Прилагательное	71
Числительное	73
Местоимение	75
Фрагменты мерянской глагольной системы (спрягаемые формы)	76
Неспрягаемые (именные) глагольные формы	80
Причастие / отглагольное прилагательное	80
Отглагольное существительное на -ма. Вопрос о мерянском инфинитиве	83
Другие части речи	84
Наречие и предикатив	84
Союз	85
Частица	85
Междометие	86
Синтаксис (Некоторые замечания)	86
Выводы	87
ЛЕКСИКА	89
Этимологический характер реконструируемых элементов мерянской лексики	90
Этимолого-лексикологический анализ мерянского словаря	115
Исконная финно-угорская лексика	116
Лексический слой уральского происхождения	116
Лексический слой финно-угорского происхождения	118
Лексический слой финно-пермского происхождения	120
Лексический слой финского происхождения	121
Предполагаемые мерянские слова, имеющие соответствия в прибалтийско-финских (и саамском) языках	122
Случаи соответствий с марийским и мордовскими языками	122
Выводы	123
ФРАЗЕОЛОГИЯ	126
Выводы	135
Список сокращений к главе «Фразеология»	136
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	137
ТЕКСТЫ	140

Часть 2. Очерки теории языкового субстрата

ПРЕДИСЛОВИЕ	141
ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА	142
I. Особенности возникновения субстрата. Социолингвистические предпосылки	142
1. Языковой субстрат и его место в развитии языков	142
2. Социолингвистические причины и особенности возникновения субстрата	149
II. Особенности влияния языкового субстрата на язык-преемник	164
1. Роль субстрата в формировании лексики	165
2. Роль субстрата в формировании грамматики	181
3. Роль субстрата в развитии фонетики	193
4. Воздействие фразеологии субстрата на язык-преемник	198
ИСТОРИКО-СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К МЕРЯНСКОМУ ЯЗЫКУ	201
Контур мерянской истории	203
I. Социолингвистический комментарий к внешнеисторическим фактам мерянского языка	213
1. Начало протомерянской эпохи. Проблемы протомеряно-(пра)-угорских (протовенгерских) языковых контактов. Их социолингвистический характер (7-6 тыс. до н.э.)	213
2. Позднейший период протомерянской и начальный период собственно мерянской эпохи. Контакты с протославянами (6 тыс. до н.э. - V в. н.э.)	215
3. Некоторые из других этно-языковых контактов (прото)мери того же и более позднего периода. Связи с булгарами	220
4. Начало собственно мерянской эпохи. Связи с балтами. Их характер (1 тыс. до н.э. - VI-VII вв. н.э.)	222
5. Дальнейшие периоды (собственно) мерянской эпохи. Начало контактов с восточными славянами. Обстоятельства христианизации мери (X-XII вв.)	223
6. Меряно-(славяно-)русское двуязычие (XI в. - 1730/50 г.). Его следы и этапы развития	227
7. Социолингвистическая оценка мерянского языка в период взаимодействия со славяно-русским (XI в. - 1730/50 г.). Постепенное ее снижение	233
8. Лингвистические данные о конечной границе существования мерянского языка	236
9. Периодизация истории мерянского языка	238
II. Социолингвистический комментарий к фактам внутренней истории мерянского языка (преимущественно в период субстратизации)	245
1. Проблема степени стойкости разных составных частей мерянского языка в элементах его субстрата	245
2. Проблема адаптации фонетических элементов при взаимодействии мерянского субстратного языка с русским языком-преемником	251
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	253

Часть 3. Merianica

ПРЕДИСЛОВИЕ	256
О некоторых особенностях реконструкции мерянского языка	257
К исследованию финно-угорского субстрата в русском языке	260
1. Языковая неоднородность финно-угорского субстрата в русском языке и значение его исследования для финно-угроведения	260
2. Значение исследования финно-угорского субстрата в русском языке для русского и славянского языкознания	262
3. О методах исследования	264

Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов	265
Проблемы и принципы реконструкции лексики дославянских субстратных языков. Источники и критерии (На материале мерянского языка)	278
Проблемы и принципы реконструкции лексики мерянского языка (Источники и критерии) ..	279
Славянские заимствования в неславянских языках как источник древнейших славянских реконструкций	288
Проблема реконструкции мерянского языка	297
К этнокультурному аспекту древнейших финно-угорских славизмов	300
Этимология русских диалектных слов предполагаемого мерянского происхождения из картотеки «Костромского областного словаря»	303
Мерянистика как особая область русского субстратного финно-угроведения	307
К происхождению компонента -бал(о) (-бол/-пол) в топонимах Центральной России	308

Условные сокращения

Сокращения источников	311
Сокращения названий языков и диалектов (говоров)	314
Сокращения единиц административно-территориального деления (области – районы; губернии. – уезды)	315
Сокращения ремарок	316

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложения

Автор о языках и о себе

О языках (Попытка некоторых личных и общих объяснений)	324
Биография	341
Из справки, составленной в начале 2002 г. о заведующем отделом общего языкознания Института языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины О.В.Ткаченко	344
Моя ближайшая родословная (и комментарии к ней)	344

В.С.Баранов. Костромское средневековье по данным археологии. (К иллюстрациям)....

От издателя



Образцы мерянской «дьяковской» керамики из ранних слоёв костромских городищ.
[22, стр. 24]

Ольге Шиловой

Ты будешь говорить на древнем языке, Внимательно молчать, вы-
слушивая звуки, И буквы выводить на черновом листке, Одушевляясь

Светлой памяти дорогого деда Якова
Ивановича Косолапова с любовью свои
книги посвящает его внук

О.Б. Ткаченко (А.Б. Косолапов)



опытом разлуки.

Быть может, ты одна, живущая сейчас, На за-предельный зов
отозвалась слезами... Забытый всеми род века назад угас, Лишь реки
названы их странными словами.

Ты будешь подпевать морщинистой Луне, Когда ночных дорог
размыты силуэты.

Бордовая герань в распахнутом окне Приобретёт таинственность
приметы.

Что может обещать увядший лепесток?

Судьбу предсказывают, вроде бы, светила. Твой мерянский язык
отчаян как исток, И в отзвуках его магическая сила!

Галина Божкова

6.02.2005 г.

Стихотворение, поэтический эпиграф к сугубо прозаической книге, представлялось её автору драгоценной находкой как живой отклик современности на *дела давно минувших дней, преданья старины глубокой*. Его автор — Галина Валентиновна Божкова, одна из участниц работы над книгой, обращается в нём к подруге по той же работе. — *О.Т.*

Рис. — Филигранные мерянские кони-олени. Поволжье. IX-XI вв.
[<http://nauka.relis.ru/16/9911/16911062.html>]

ЧАСТЬ 1

МЕРЯНСКИЙ ЯЗЫК



Керамическая посуда и бронзолитейные льячка и тигель из фондов ГУК КГИАХМЗ.
Поповское городище (Мансуровский р-он Костромской обл.) 2 пол. 1 тыс. н.э.

ПРЕДИСЛОВИЕ*

Предлагаемое исследование посвящено возможной ныне реконструкции мертвого и бестекстного мерянского языка, принадлежащего к финно-угорской семье. Мерянский язык в разрозненных сохранившихся элементах полностью растворен в русском языке, преимущественно на территории своего былого распространения. В связи с этим его изучение предполагает как распознавание и сбор всех сохранившихся остатков языка, так и выяснение их исходной формы, а тем самым - реконструкцию восстанавливаемых фрагментов языковой системы в ее исконных и заимствованных элементах. Усилия, сделанные в этих направлениях, будучи до сих пор разрозненными и малоинтенсивными, дали сравнительно небольшое количество фактов, поэтому большую часть мерянского материала еще только предстоит собрать и исследовать. Результаты, полученные в немногочисленных исследованиях, посвященных мерянскому языку, не всегда и не во всем убедительны и требуют в связи с этим проверки. Тем не менее материал, предположительно связанный с мерянским языком, - исследовавшийся в работах Т.С.Семенова [82, с. 229-249], М.Фасмера [158, с. 351-418], О.В.Вострикова [15; 16] и собранный в диалектных словарях и списках диалектных и арготических слов с постмерянской территории или хранящийся в картотеках диалектных словарей, - достаточно велик, чтобы только на его основании составить представление о мерянском языке и попытаться реконструировать его на всех уровнях - фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом.

* Автор считает своим долгом выразить глубокую признательность заведующему кафедрой русского языка Костромского пед. ин-та[†] канд. филол. наук Н.П.Киселевой и сотруднице этой кафедры канд. филол. наук Н.С.Ганцовой, директору Костромского историко-архитектурного музея-заповедника канд. ист. наук В.С.Соболеву, проф. Г.Г.Мельниченко[‡], заведующему кафедрой русского языка Ярославского пед. ин-та[‡], проф. Ф.П.Сороколетову, заведующему сектором словарей Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР, любезно предоставившим

Задача данного исследования - дать подобное описание языка, опираясь как на наиболее достоверные мерянские данные, полученные уже предшественниками, так и на те не использованные ими языковые факты, которые в качестве мерянских представлялись автору. Ввиду того, что реконструктивное описание мерянского языка могло строиться только на основе критически проверенных фактов, а это требовало особо тщательного обследования каждого из них, количеству следовало предпочесть качество. Этим объясняется то, что даже данные, привлекавшиеся из исследований, использовались только в той части, которая смогла быть подвергнута критическому анализу. Такой строгий подход к мерянскому материалу диктовался особой сложностью его истолкования и необходимостью с самого начала по возможности избежать ошибок при воссоздании системы языка.

Максимальная достоверность проведенного исследования представлялась особенно необходимой также в связи с желанием вызвать интерес к изучению мерянского языка, показать его перспективность, лучшим доказательством чего могла служить только убедительность результатов реконструкции.

При всем стремлении к достоверности предложенного объяснения мерянского языкового материала автор сознает возможность отдельных недостаточно бесспорных истолкований рассмотренных фактов, вызываемых сложностью и неразработанностью затронутых вопросов, и будет благодарен за все замечания, способствующие уточнению его положений и выяснению научной истины.

ему в 1979-1982 гг. возможность ознакомиться с материалами картотек «Костромского областного словаря», архива Костромского научного общества, «Ярославского областного словаря», «Словаря русских народных говоров», использованных в его книге.

Текст данного издания воспроизводит в основном без изменений текст книги О.Б.Ткаченко «Мерянский язык» (Киев, «Наукова думка», 1985, 208 с.). Исключение составляет глава «Фразеология», подготовленная автором для указанного издания, но не включенная в него и публикуемая сейчас впервые.

* В настоящее время - Костромской государственный университет (прим. ред.)

† 1907-1994 гг. (прим. ред.)

‡ В настоящее время - Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского (прим. ред.)

ВВЕДЕНИЕ

Мерянский (друс. *мер(ь)ский*), ныне мертвый, финно-угорский язык в период наибольшего распространения занимал, очевидно, территорию современных центральных областей европейской части РСФСР - (полностью) Ярославской, Ивановской, Костромской, (частично) Калининской (Кашинский р-н), Московской (за исключением юго-западной части), Владимирской (к северу от Клязьмы и отчасти к югу от нее, за исключением земель муромы, другого финно-угорского племени, у впадения Клязьмы в Оку) [22, с. 38; 108, с. 136; 92, с. 81-82; 132, с. 146] 1. Соседями мери до распространения на соседних землях восточных славян были с юго-запада балтийские племена, в частности голядь, с запада и северо-запада - вепсы (друс. *весь*), одно из древнейших прибалтийско-финских племен. С севера земли мери граничили с землями заволоцкой чуди, видимо, также прибалтийско-финской этнической группы, хотя и не вполне установленного состава [70, с. 71-72]. С северо-востока мерянская этническая территория, видимо, соприкасалась с областью пермских племен, скорее всего предков коми [83]. С востока с мерей граничили марийцы; а с юга - мордовские племена: мурома и, возможно, мешчера. Позже западными соседями мери стали восточнославянские племена - кривичи, новгородские словене и вятичи, с рубежа X-XI вв. начавшие проникать на мерянские земли. Если первоначально область мери была почти со всех сторон, кроме запада, окружена землями родственных финно-угорских племен, то со славизацией муромы, мешчеры, соседней с мерей части вепсов и заволоцкой чуди и с расселением славян на мерянской этнической территории меря, за исключением крайнего востока, оказалась в славяно-русском 2

окружении в виде отдельных, все более разобщаемых мерянских «островов». Постепенное растворение мери в славяно-русском языковом окружении, связанное с ее ассимиляцией, привело к ее полному исчезновению как отдельного финно-угорского этноса и к слиянию мери с формирующейся на ее бывших землях частью (велико)русской народности.

Археологические данные современной науки позволяют считать возможным образование мери в отдельное финно-угорское племя (группу племен) на своей исторически засвидетельствованной территории уже в I тыс. до н.э. [39, с. 312-314]. Непосредственными предшественниками мери были, очевидно, индоевропейцы, представители так называемой фатьяновской культуры, вытесненные и ассимилированные пришедшими с востока финно-уграми, предками мери [48]. Включение в состав этой части финно-угров (протомери) индоевропейцев-фатьяновцев могло способствовать их окончательному обособлению от других финноугорских племен. Первое историческое упоминание о мере готского историка Иордана (VI в. н.э.), где меряне (*Merens* «мерян») [37, с. 150] упоминаются среди племен, плативших дань готскому королю Германа-риху, несомненно свидетельствует о существовании в это время мери как отдельного финно-угорского племени. Следующие упоминания о мере относятся уже к IX-X вв. и появляются в древнерусском историческом источнике - «Ипатьевской летописи», где о ней сказано как о союзнике восточных славян - в связи с собиранием дани варягами с древнерусских и соседних с ними племен (859 г.), по поводу походов Олега на Киев (882 г.) и на Царьград (907 г.), в которых наряду с варягами и

§ Не исключено, что и вне этой территории, компактно заселенной мерей, в частности к северу от нее, имелись группы носителей мерянских диалектов или близкородственного мерянскому языку, о чем говорят топонимы типа р. *Вёкса*, р. *Ягрыш* (Вологодская обл.), (*Солом*)*бала* (Архангельская обл.), близкие к распространенным на бывших несомненно мерянских землях. Однако ввиду полной неизученности этого вопроса, как и вопроса о части мери, по преданию, переселившейся, избегая христианизации, к марийцам [46, с. 30-31] или мордовцам [80, с. 103] и, видимо, здесь ассимилированной, в данном исследовании они не рассматриваются.

** Понятие «славяно-русский» (сокращение более точного «(восточно)славяно-(велико)русский») служит общим наименованием для обоих исторически взаимосвязанных языковых (и этнических) образований - местных говоров языка древнерусского и развившегося из него (велико)русского языка (и соответственно их носителей - части восточных славян и развившегося из них (велико)русского народа).

восточными славянами принимала участие и меря [38, с. 16, 17, 21]. В другом древнерусском летописном источнике о мере говорится как об особом этносе со своим языком, выделяемом на фоне других финно-угорских племен, известных в XI в. восточным славянам: «... а на Ростовском озері Меря, а на Клецині озері Меря же; а по Оці ріці, гді потече в Волгу же, Мурома языкъ свой, и Черемиси свой языкъ, Морьдва свой языкъ...» [51, с. 10-11]. На основании, в частности, того, что после X-XI вв. меря перестает упоминаться в древнерусских летописных сводах, в дореволюционных отечественных работах бытовало мнение, что к тому же периоду относится и полная ассимиляция мери восточными славянами [46, с. 63-64]. Это мнение, встречающееся иногда и в некоторых зарубежных работах даже в 60-х годах 20-го века [132, с. 145], в свете исследований советских историков следует признать устаревшим. Данные этих исследований, опирающихся на не использованные ранее исторические источники, показывают, что и после событий IX-X вв., упомянутых в Ипатьевской летописи, меря еще долго существовала на своих землях, куда с X-XI вв. стали проникать восточные славяне [22, с. 5]. В целом ряде мест своего проживания меря сохраняла этноязыковой облик еще в XV-XVI вв. [108, с. 135-137], а на наиболее периферийных (восточных) территориях и в лице отдельных групп или лиц, носителей языка, - возможно, и в XVII в. [108, с. 136] и даже в начале XVIII в. В пользу этого говорит упоминание административного понятия «Мерский» (стан) в документе середины XVIII в.: «Георгиевская (церковь. - О.Т.), что в Мерском» [108, с. 137].

Достоверные сведения современной советской исторической и археологической науки полностью подтверждают мысль о мирном проникновении славян на мерянские земли, высказанную еще В.О.Ключевским: «Происходило заселение, а не завоевание или вытеснение туземцев» [41, с. 295]. Это было связано как с редкостью мерянского населения, позволявшей славянам занимать многочисленные пустовавшие земли, так и с различием в занятиях мерян (преимущественно скотоводов, охотников и рыбаков) [22, с. 129] и славян (преимущественно земледельцев). Обе группы населения в низших и средних слоях

как бы дополняли друг друга, постепенно срастаясь в единое социально-экономическое целое. Видимо, такое же срастание происходило и в социальных верхах Владимиро-Суздальской Руси: мерянская знать сближалась со славяно-русской, образуя вместе с ней господствующие слои княжества. Единственное известное истории крупное восстание (1071), охватившее мерянское население, как справедливо полагает современная наука, вызывалось имущественным и классовым расслоением в мерянской среде, а не каким-либо славяно-мерянским национальным антагонизмом: «Нет никаких данных в пользу того, что восстание местных смердов было направлено против русских феодалов» [108, с. 141]. Восстание вызвало, по местному преданию, переселение части мери к родственным марийским [46, с. 30, 31] или мордовским [80, с. 103] племенам, где она впоследствии ассимилировалась. Очевидно, мирный характер славянского проникновения в мерянские земли относится к сфере как социально-экономических, так и культурно-языковых отношений. Помимо косвенного свидетельства, которое можно усматривать в длительности сохранения мерянского этнического элемента на данной территории, имеется и прямое, говорящее о том, что хорошее владение мерянским языком в конце XI в. расценивалось как обстоятельство, достойное упоминания в житии крупного церковного сановника, первого ростовского епископа Леонтия, очевидно, в связи с успешным использованием мерянского языка при христианизации мери: «Се бі блаженный и косянтина града ра- жай и въспѣтаніе рускій же и мерьскій языкъ добрі уміаше книгамъ роускимъ и гречьскимъ велми хытрословесень сказатель» [32, с. 11]. Упоминание в житии мерянского языка вместе с русским, наряду с русскими и греческими книгами, говорит о том, что в знании этого языка усматривалась довольно высокая ценность, видимо, обусловленная его ролью во Владимиро-Суздальском княжестве, тогда еще этнически смешанном славяно-мерянском крае. Так не могли относиться к языку сознательно игнорируемому, тем более преследуемому. В более поздний период, когда в связи с ростом славяно-русского населения и частичной ассимиляцией мери количество мерянского населения уменьшилось и оно располагалось

отдельными «островами», «районы, населенные мерей, были выделены в специальные территориальные единицы (Мер(ь)ские станы. - *О.Т.*). Таким образом, мерянские «острова» получили в свое время, так сказать, официальное признание» [108, с. 135]. Данные факты не оставляют сомнения в том, что положение мерян во Владимиро-Суздальской (> Московской) Руси не напоминало положение угнетенного племени. Скорее, оно было похоже на положение юридически и социально равноправного этнического элемента, сначала союзников, а затем сограждан одного из наиболее могущественных княжеств Киевской Руси, ставшего центром Русского государства и формирования (великорусской народности (> нации). Если в дальнейшем здесь не обнаруживается меря как отдельный этнический элемент, как, впрочем, и славянские племена, проникавшие сюда, - новгородские словене, кривичи и вятичи, а выступает монолитное ядро новой отдельной славянской (велико)русской народности, то причину следует искать в обстоятельствах объективно сложившегося процесса экономической и этноязыковой консолидации, протекавшего здесь. Мирно сложившийся и развивавшийся симбиоз привел к срастанию славяно-русской и финно-угорской частей в одно этноязыковое единство с перевесом славян, что явилось предпосылкой дальнейшей постепенной славизации мерянского населения. Важными причинами, обусловившими именно такое направление ассимиляционного процесса, были количественный перевес славян над местными финно-уграми и более высокий уровень их экономики, социального строя и культуры по сравнению с мерей [108, с. 116, 154]. Эти вполне объективно действовавшие причины сопровождалась уходом славян из южных древнерусских областей, подвергавшихся в XI-XII вв. жестоким ударам кочевников. Славизация мерян могла быть особенно усилена последствиями золотоордынского нашествия, вызвавшего массовый уход славяно-русского населения на здешние земли и надолго отрезавшего мерю от родственных финно-угорских народов Поволжья и Приуралья, связи с которыми в былом могли поддерживать и питать здешнюю финно-угорскую культуру.

К числу до сих пор не выясненных принадлежит вопрос о происхождении и значении самого этнонима «меря». Исходя из его сходства с самоназванием марийцев «мари», финский ученый А.Кастрен высказал предположение, что этноним «меря» возник из этнонима «мари» ввиду особой близости мери к марийцам как видоизменение в устах славян [128, с. 16]. Его поддержали позднее Т.Семенов [82, с. 228, 229] и М.Фасмер [110, т. 2, с. 606], придерживавшиеся, как и А.Кастрен, мнения об особой близости мерянского языка к марийскому и считавшие его близкородственным марийскому, если не одним из его диалектов, что было в дальнейшем отвергнуто так же, как и мысль о близости указанных языков. Предположение А.Кастрена неприемлемо хотя бы потому, что этноним «меря» зафиксирован в близкой к нему форме *Merens* (готская форма вин.п. мн.ч., то есть «мерян», очевидно, на основе дмер. **mera* «меря») у готского историка Иордана уже в VI в., задолго до каких-либо меряно-славянских языковых контактов. О древности этнонима свидетельствует и употребление его в форме *Mirri* в «*Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum*» Адама Бременского [132, с. 147, 148], отражающей, скорее всего, его арабскую передачу, где при ограниченности вокализма (а, i, u возможно было только подобное воспроизведение исходного дмер. **mera*. При известной логичности не является вполне убедительным также взгляд А.Л.Погодина [148, с. 326] и Ю.Мягистэ [147, с. 114-116], сблизивших этноним «меря» с ф. *meri* «море; диал. (большое) озеро» в связи с обитанием части мери у больших озер: Неро (Ростовского), Клещина (Плещеевского) и Галичского. Вопрос о происхождении названия «меря» остается нерешенным не только из-за недостаточной убедительности предложенных до сих пор объяснений, но и потому, что еще не выяснены два вопроса, без предварительного решения которых, как представляется, невозможно серьезно говорить о его этимологическом истолковании. До сих пор не ясно, является ли этноним «меря» самоназванием мерян (в целом или одного из мерянских племен) или так они были названы одним из соседних народов. Название «меря», явно аналогичное ряду других финно-угорских этнонимов типа эрзя, мокша, вод. *vad'-d'a* «водский» (эст. *vadja* «то же», ф. *vatja*

«водский язык»), требует объяснения со словообразовательной точки зрения. В свою очередь, решение этих вопросов нуждается как в углублении знания истории финно-угорских народов, так и в выяснении принципов словообразования финно-угорских этнонимов, где могут сохраняться особенно архаические структурные типы.

С вопросом о происхождении этнонима «меря» тесно связан вопрос о происхождении мерянского языка, его месте в семье финно-угорских языков, который также еще не нашел своего окончательного решения. Если принадлежность мерянского языка к финно-угорской группе никогда не вызывала особых сомнений^{††}, то значительно сложнее было решить, к какому финно-угорскому языку (группе языков) он особенно близок. А.Кастрен предполагал особую близость мери и марийцев и их языков [128, с. 16]. Первая серьезная попытка подтвердить эту гипотезу, как и вообще изучить мерянский язык на основе его остатков, была сделана Т.С.Семеновым, учителем марийского языка при Казанской учительской семинарии, в статье «К вопросу о родстве и связи мери с черемисами», опубликованной в 1891 г. На основе сравнения 403 местных названий предполагаемого мерянского происхождения с марийскими словами и названиями Т.С.Семенов нашел, что «данные из языка и факты из быта и истории мерян и черемис... действительно допускают возможность очень близкого родства между этими народами» [82, с. 229]. В то же время он считал, что окончательно определить место мерянского языка среди других финно-угорских можно будет «только тогда когда меряне... по остаткам своего языка будут сопоставлены или сравнены со всеми народностями финского племени» [82, с. 229]. По стопам Т.С.Семенова в опубликованной значительно позже (1935) работе «*Merja und Tscheremissen*» [158, с. 351-418] шел фактически М.Фасмер, на основании более тщательно собранного и исследованного ономастического материала старавшийся доказать близость мерянского языка к марийскому. Относительная ограниченность привлеченных данных (только топонимы) и стремление во что бы то ни стало связать их

лишь с марийским языком (например, в объяснениях по поводу названий *Кера* [158, с. 386], *Ура*, *Курга* [158, с. 392-393], *Тума* [158, с. 398], *Лочма/Лотьма* [158, с. 401]) привели М.Фасмера к выводу, что «должно быть допущено тесное родство мери и марийцев (черемисов)» [158, с. 411]. Неправомерность подобного вывода подверг критике финский исследователь П.Равила, считавший, что мерянский язык более обоснованно рассматривать в качестве связующего звена между прибалтийско-финскими и мордовскими языками [149, с. 25, 26]. Работа М.Фасмера, таким образом, не способствовала решению вопроса о положении мерянского среди финно-угорских языков. П.Равила, справедливо критикувавший М.Фасмера за односторонность и необъективность освещения языковых фактов, тоже не обосновал своего мнения конкретным исследованием мерянского языкового материала, но с этого времени, а отчасти и вследствие работ археологов, опровергающих тесную связь мери с марийцами [90, с. 124], гипотеза об особой близости мерянского языка с марийским была окончательно отвергнута [89, с. 179]. Учитывая взгляды предшественников и на основании результатов собственных исследований, А.И.Попов пришел к выводу о том, что «... несмотря на несомненные общности в словаре с другими финно-уграми ... меря (в языковом отношении) отличалась от марийцев, как и от мордвы и других финно-угров...» [70, с. 101]. Этот взгляд подтверждается и отрицательными результатами предшествующих попыток усмотреть в мерянском особую близость к какому-либо из финно-угорских языков, и явным своеобразием ряда мерянских слов, о чем говорит А.И.Попов, - таких, как *урма* «белка», *яхр(е)* «озеро», *бол* «селение» и под. [70, с. 100, 101]. При всей его логичности этот вывод также нуждается в обосновании, поскольку подвергнутый исследованию материал предполагаемого мерянского

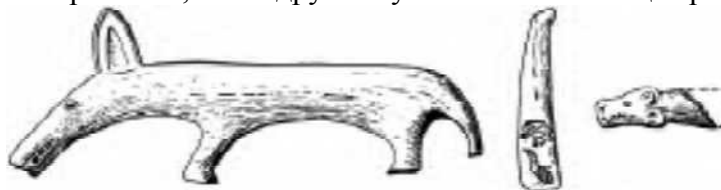
^{††} Здесь, конечно, не принимаются во внимание явно устаревшие взгляды, например Д.Ходаковского [118, с. 23], считавшего мерю «славянским племенем», а следовательно, и носителем славянского языка.

происхождения изучен недостаточно. Обращает на себя внимание однотипность этого материала: почти весь он относится к ономастике. Возможные мерянские элементы из диалектных апеллятивов и социолектов (арго) с бывшей мерянской территории до последнего времени не исследовались. Кроме того, почти никто из исследователей, кроме отчасти Фасмера, обратившего внимание на звуковую сторону мерянских включений в русском [158, с. 384], не вышел за круг чисто лексикоэтимологических вопросов. Ученые, уделившие внимание мерянскому языку, в большинстве случаев ограничивались приведением списков названий предполагаемого мерянского происхождения, обосновывая их истолкование параллелями из других финно-угорских языков. Несколько расширить исследование попытался О.В.Востриков [15; 16], привлекая данные диалектных апеллятивов, в частности связанные с местной географической номенклатурой, что позволило ему найти ряд новых интересных мерянских включений в русских говорах. При всех несомненных достоинствах работ О.В.Вострикова их, однако, как и работы стратные языки, уже давно ожидает не отдельных случайных, хоть и интересных, работ, появляющихся через значительные промежутки времени, а целеустремленных, специальных исследований, где бы полнота и разнообразие материала сочетались с системностью и всесторонностью его рассмотрения. Возможность подобных исследований подготовлена всем предшествующим развитием финно-угристики, в частности возросшей изученностью смежных с мерянским финно-угорских – вепсского, мордовских, марийского, пермских – языков. Об их актуальности свидетельствует появление с 60-х годов целого ряда работ, посвященных финно-угорским субстратам в русском языке и

принадлежащих отечественным и зарубежным ученым, в частности В.Ойткину [52], Б.А.Серебрянникову [86; 88], А.К.Матвееву [58; 59], В.Т.Ванюшечкину [12], О.В.Вострикову [15; 16], О.Б.Ткаченко [98-101, 103, 104], В.Фенкеру [159], Г.Стипе [155].

его предшественников, характеризует отсутствие системного подхода к предполагаемому мерянскому материалу. Это могло быть связано с тем, что исследуемая им территория (Волго-Двинское междуречье) была в прошлом населена носителями не только мерянского, но и других финно-угорских языков, и О.В.Востриков не ставил перед собой задачи специального исследования мерянского языка, его местных пределов. Попыткой ответить на это требование современной науки и является

Между тем мерянский, как и другие субстраты, является настоящей работой.*



«Дьяковские» изделия из кости и рога. [22, с. 133]

* Приступая к рассмотрению конкретного материала, представляющего связанным с мерянским языком, нельзя не высказать предварительного замечания. Части читателей, возможно, покажутся нецелесообразными нередкие в книге повторения (по разному поводу) тех же финно-угорских фактов. Не лучше ли было бы сосредоточить их в одном месте, а затем к ним отсылать, что могло бы к тому же значительно

Работа в области финно-угорских субстратов в русском языке, в частности мерянского субстратного языка, должна стимулироваться также социально-экономическими процессами – преобразованием природы, миграцией на-

селения, переездом сельского населения и т.п., – которые ведут к исчезновению местных русских говоров, включающих в себя субстратные элементы.

Всё изложенное говорит о необходимости поторопиться как с фиксацией сохранившихся остатков мерянского языка, так и с их изучением, дающим возможность реконструировать его в допущениях исследования мерянского языка, его местных пределов. Попыткой ответить на рязанские находки сделаны как бы

уменьшить объем книги? В чём-то эти читатели будут, конечно, правы, но только отчасти: в таком случае пришлось бы то и дело отрываться от чтения и заглядывать в то место книги, куда отсылают, занятие утомительное и неудобное. Этим, собственно, и вызваны эти представлявшиеся неизбежными повторы, которые дают зато возможность получить сразу же в нужном месте все необходимые сведения.

ФОНЕТИКА

Поскольку в настоящее время наука только подходит к синтезу доступного ей мерянского материала, а синтезу неизбежно должен предшествовать анализ, задача воссоздания фонетической системы мерянского языка в ее полном объеме и конкретности должна быть признана преждевременной. Чтобы выяснить с максимальной возможной полнотой особенности мерянской фонетики в их историческом развитии и пространственной приуроченности, то есть определить инвентарь ее фонем, их вариантов и особенностей сочетаемости, в том числе слогаделения, а также особенности ударения и количества, необходимы следующие предварительные условия: 1) со всех русских языковых фактов, меряnskих по происхождению или испытывших меряnskое воздействие, которыми мы сейчас располагаем при реконструкции меряnskого языка, должны быть сняты наслоения славяно-русского языкового влияния; 2) все они — каждый в отдельности — должны быть расположены в соответствующей хронологической плоскости, связанной со временем их заимствования (включения) в славяно-русский язык; 3) факты русского языка, доказанные в качестве меряnskих по происхождению или испытывших влияние меряnskого языка, должны быть подвергнуты истолкованию с пространственной точки зрения как факты лингвогеографии, относящиеся к тем или иным группам меряnskих говоров. Только выяснив совокупность данных всего меряnskого материала и каждый входящий в него факт с точки зрения этих трех задач, можно будет решить задачу воссоздания меряnskой фонетики. Пока это не сделано и на пути к более сложным и конкретным заданиям стоит элементарная, хоть и не менее ответственная, задача собирания явлений, представляющихся меряnskими, и доказательства их меряnskого происхождения, вопрос об особенностях меряnskой фонетики может быть решен только в наиболее общих чертах с обязательной оговоркой вынужденной предваритель-

14

ности и известной гипотетичности предлагаемого ответа.

Материалом, на основании которого уже

теперь можно до некоторой степени судить о меряnskой фонетике, являются, с одной стороны, факты русского языка, а именно слова и названия, которые можно рассматривать в качестве меряnskих по происхождению, а с другой — те славянские по происхождению слова русского языка с меряnskих в прошлом территорий, своеобразие фонетического облика которых дает основание рассматривать их в качестве подвергшихся влиянию со стороны финноугорского, то есть на данной территории, очевидно, меряnskого языка. Поскольку исчезновению меряnskого языка в области его распространения должен был предшествовать более или менее длительный период славяно-(русско-)меряnskого двуязычия, вполне обоснованно можно предположить, что какая-то часть русских слов заимствовалась из славяно-русского языка меряnskим и в форме, приобретенной в нем, вошла затем в русский язык местного населения. Близко к ним, повидимому, стоит другая группа русских слов с чертами финно-угорской, меряnskой фонетики, меряnskого фонетического «акцента». Это те слова русского (< восточнославянского) языка, которые, хоть и не вошли в состав меряnskого, могли употребляться в русской речи меряnskого населения еще в тот период, когда меряnskий язык не был им полностью утрачен. В меряnskий язык эти лексические элементы русского языка могли попадать только в качестве окказионализмов в процессе неизбежной при двуязычии языковой интерференции. Однако, поскольку меряnskое население в это время еще употребляло параллельно с русским меряnskий язык, влияние его фонетики, возможно, уже в меньшей степени, могло сказаться и на этой части русских слов. Благодаря словообразовательным (деривационным) связям некоторые фонетические особенности, связанные с двумя данными

группами слов, могли быть перенесены на их производные. Наиболее стойкие фонетические тенденции, обязанные своим возникновением и существованием мерянскому языковому субстрату, именно те, которые не вступали в резкое противоречие со славяно-русской фонетической системой, могли влиять на русские слова даже в тот период, когда мерянский язык, а с ним и мерянско-русское двуязычие исчезли и население бывших мерянских (позже русско-мерянских) территорий стало сплошь одноязычным. Здесь мы не будем останавливаться специально на вопросе о том, каково происхождение каждого из русских слов с необычной, по-видимому мерянской, фонетикой. К этому вопросу предстоит еще вернуться при рассмотрении истоков формирования лексики мерянского происхождения, сохраненной русским языком. Следует, однако, подчеркнуть ценность использованного источника сведений об особенностях мерянской фонетики. Ценность эта определяется тем, что данный материал в территориальном отношении не вызывает сомнений: он почерпнут из картотек костромского и ярославского областных словарей, то есть с той языковой территории, где в прошлом была распространена меря. Пренебречь этим источником нельзя хотя бы потому, что довольно ограниченный пока русский лексический материал, рассматриваемый в качестве происходящего из мерянского языка, не во всех случаях вполне доказан как мерянский, аргументировать полностью его «мерянскость» в ряде случаев еще предстоит. К тому же даже если нет оснований для того, чтобы усомниться в его мерянском происхождении, далеко не всегда имеется полная уверенность в том, что русские слова и названия мерянского происхождения полностью (или, по крайней мере, без значительных отклонений от исходной мерянской формы) сохраняют свои фонетические особенности. Уже априорно можно предположить, что все мерянские слова и названия, употребляемые (или употреблявшиеся) в русском языке, должны были в большей или меньшей степени в нем изменяться, приспособляясь к его фонетической и грамматической системам. В результате этого апеллятивы и собственные имена мерянского происхождения подверглись разнообразным, в том числе и фонетическим, изменениям, которые предстоит установить. Лексемы славяно-русского происхождения в

связи с этим имеют по сравнению с мерянскими неоспоримое преимущество, — являясь совершенно определенно словами русского языка, главным образом славянскими по происхождению, они в то же время недвусмысленно обнаруживают отличия от соответствующих русских слов в литературном русском языке и русских диалектах, расположенных вне сферы финно-угорских, в частности мерянских, влияний. Это в сопоставлении с предполагаемыми лексемами мерянского происхождения дает возможность с большей полнотой и обоснованностью судить о чертах мерянской фонетики. Сложность интерпретации фонетического материала, его неоднозначность при оперировании словами славяно-русского происхождения заключается в следующем: поскольку диалекты данных территорий не находились в изоляции, а беспрерывно взаимодействовали как с русским литературным языком, так и с русскими говорами, которым их особенности были чужды, эти своеобразные фонетические черты не представляют собой чего-то застывшего, раз и навсегда данного, в процессе взаимодействия с инодиалектными (в том числе литературными) особенностями они подвергались определенным сдвигам, в том числе связанным с явлением гиперкоррекции. Это, как и вообще работа с указанными особенностями, требует дополнительных уточнений, которые можно и следует почерпнуть как из материала мерянского происхождения, так и из фактов других финно-угорских языков.

В связи со своеобразием каждого из упомянутых источников сведений о мерянской фонетике, из которых славяно-русский может дать о ней лишь наиболее общее представление, так сказать, только в первом приближении, а факты мерянской по происхождению лексики при всей их неполноте значительно уточняют и конкретизируют выводы, полученные из первого источника, представляется целесообразным, идя от более известного к менее известному, начать именно с русских слов с чертами финно-угорской (мерянской) фонетики, своеобразие которых лежит на поверхности. В дальнейшем особенности мерянской фонетической системы будут рассмотрены на основе лексики и ономастики предполагаемого мерянского происхождения, что даст возможность уточнить данные, полученные в

результате анализа русской лексики выводы будут получены в результате немерянского происхождения с мерянскими обобщения сведений, полученных из обоих фонетическими чертами. Окончательные источников.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (НА ОСНОВАНИИ РУССКИХ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ НЕМЕРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)¹

Как и всегда в случаях языкового взаимодействия, наиболее заметны сдвиги в области консонантизма, более тонкими, менее уловимыми являются изменения гласных. Именно поэтому необходимо как можно более полное экспериментально-фонетическое исследование соответствующих говоров, чем в настоящее время исследователь мерянской фонетики не располагает. В связи с этим основное внимание здесь будет уделено предполагаемым явлениям мерянского консонантизма, как они представляются на основе анализа диалектного материала немерянского происхождения. Явления вокализма будут затронуты в значительно меньшей степени.

При обращении к данным русских говоров постмерянских территорий, в частности костромских и ярославских, обращают на себя внимание глухость согласных, которым в литературном языке (или в других говорах, не связанных с данными территориями) соответствуют звонкие, и, наоборот, замена звонкими согласными характерных для литературного языка (и других говоров) глухих. Примеры употребления глухих согласных вместо обычных для русского литературного языка (и большинства говоров) звонких обнаруживаются в следующих случаях:

1) *аграматный* «огромный» (Яр. губ.) КЯОС 25 - рус. (лит.) *громадный*, 2) *зеркало* «праща» (Яр - Рост) ЯОСК - рус. (лит.) *извергать*; 3) *заката* «то же, что (диал.) ^{‡‡} *загата* (= соломенная обкладка вокруг дома для утепления)» (Яр - Тут) ЯОСК; 4) *кадю-ка* (Яр - Рост) ЯОСК - рус. (лит.) *гадюка*; 5) *зботоражить* «возмутить» (Яр. губ. - Рост)

КЯОС 77 - рус. (лит.) *взбудоражить*; 6) *кокотки* «ногти на руках» (Яр. губ. - Углич) КЯОС 89, *кокоток* «ноготь» (Яр. губ.) КЯОС 89 - рус. (лит.) *коготок*; 7) *падог* «палка, посох» (Яр. губ. - Пош); «часть ткацкого станка» (Яр. губ.); «палка у молотила, приузи» (Яр. губ. - Пош); «короткая палка цепа» (Яр - Угл) КЯОС 140 - рус. (диал.) *батог* «кнут; бильная часть цепа; палка, посох» СРНГ II 144-145; 8) *папа* «бабушка» (Костр. губ. - Кин); «старуха» (Костр. губ. - Гал) МКНО; «обращение к бабушке» (Костр - Макар) КОСК - рус. (диал.) *баба* «мать отцова или материна, жена деда» Даль I 32; 9) *пахча* «различные овощи (свекла, брюква, огурцы)» (Яр - Рыб) ЯОСК - рус. (лит.) *бахча* «участок, засеянный арбузами, дынями»; 10) *тритьня* «около трех дней» (Костр - Костр) КОСК - рус. (диал.) *третенство* (чьей смерти) «три дня, трои сутки» Даль IV 432; 11) *фика* (Яр. губ.) КЯОС 208 - рус. (лит.) *фига*; 12) *кон* «часть поля, в котором каждый домохозяин получает полосу; участок земли с почвой разного достоинства и удобным подъездом к нему» (Яр. губ.) КЯОС 91 - рус. (диал.) *гон* «участок пахотной земли, принадлежащей одному хозяину; полоса пахотной земли, которую при пахоте пахарь проходит до поворота; мера измерения площади» СРНГ VI 356—358; 13) *хлипец* «хлеб» (Яр. губ.) КЯОС 210 — рус. (лит.) *хлебец* «небольшой хлеб» (укр. *хлібець* «то же»); 14) *синька* «московка (птица), *Parus sibiricus* L., синица сибирская; *Poecile palustris* L., гаичка бурая» (Яр. губ.) КЯОС 184 — рус. (диал.) *зинька* «птица, *Parus major* (вид синички)» СРНГ XI 283 (ср. также рус. (диал.) *зиньковый соловей* «соловей, который начинает свое пение с позыва синички» СРНГ XI 283).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в шести из приведенных 14 примеров, причем тех, которые могут относиться к наиболее традиционным словам (независимо от того, употреблялись ли они в мерянском языке), а именно в словах *кадюка*, *пахча*, *падог*, *папа*, *кон*, *синька*, глухой вместо звонкого выступает как первый звук

^{‡‡} Отсутствие пока широкой работы по изучению говоров Владимирской, Ивановской, Московской и Калининской [с 1991 г. - Тверской. *Прим. ред.*] обл., в прошлом полностью или частично населенных мерей, вынудило автора там, где использованы диалектные (арготические) апеллятивы, привлекать в основном факты ярославских и костромских говоров. Диалектные сведения с других постмерянских территорий использованы в значительно меньшей степени.

соответствующих слов^{§§}. В двух словах замена звонкого глухим прослеживается в начале первого корневого слога (*заката*) или второго компонента композита (*тритеньй*). В трех случаях замена звонкого глухим отмечена либо в позиции между двумя глухими (*кокоток*), либо в конце слова после слога с начальным глухим, в том числе в сопровождении сонорного (*фика*, *хлипеЦ*). Только в трех из приведенных примеров замена выступает в положении неблагоприятном для оглушения звонкого в интервокальной позиции между звонким и сонорным (*зботоражить*) или в позиции между сонорными (*зеркало*, *аграбиятный*), где скорее можно было бы ожидать сохранения звонкости или — при первоначальном глухом — его озвончения. Ввиду этого три последних случая есть основания рассматривать в качестве обусловленных стремлением к гиперперкоррекции.

Противоположное явление — появление звонких согласных вместо выступающих в русском литературном языке и других русских говорах глухих — наблюдается в следующих случаях: 1) *базлёны* «красивые, нарядные девушки» (Яр — Брейт) ЯОС I 45 — рус. (диал.) *баса* «красота» СРНГ II 127, *басёна* «щеголиха, щеголь» СРНГ II 128; 2) *сбахтать* «(о масле) сбить» (Костр. губ. — Кин) МКНО — рус. (обл.) *пахтать* «сбивать (масло из сливок или сметаны)» Даль III 26; 3) *бриткий(-кой)* «быстро делающий, выполняющий что-либо; скорый в работе» (Яр — Пош) ЯОС II 23 — рус. (лит.) *прыткий*, 4) *бужеваться* «метаться, быть непостоянным, ненадежным, не держать слова» (Яр) ЯОС II 28 — рус. (лит.) *бушевать*; 5) *гачуля* (Яр — Пош, Рыб) ЯОСК — рус. (лит.) *качели*; 6) *голя* «тропинка в поле» (Яр. губ. — Мол) ЯОСК — рус. (лит.) *коля*; 7) *Главдея* (Яр — Гавр.-Ям) ЯОСК — рус. (лит.) *Клавдия* (имя); 8) *заграбаздить* (Яр — Некоуз, Тут) ЯОСК — рус. (лит.) *заграбастать*; 9) *жужжукать* (Яр — Дан) — рус. (лит.) *жуужукать*; 10) *зергало* (Костр — Буй; Яр — Тут, Угл) ЯОСК — рус. (лит.) *зеркало*; 11) *зергальный* (Яр — Пош) ЯОСК — рус. (лит.) *зеркальный*; 12) *клубнига* (Яр — Тут) ЯОСК рус. (лит.) *клубника*; 13) *лён да* (Костр — Нер) КОСК (Костр. губ. — Кин) МКНО — рус. (лит.) *лента*; 14) *логоть* (Костр — Буй) КОСК — рус. (лит.) *локоть*; 15) *педи-*

стенок «спальня» (Яр — Дан) ЯОСК — рус. (диал.) *пятистенок* «деревянный дом, разделенный на две части капитальной стеной» СРНГ II 452; 16) *подог* «длинная палка, на которую опираются при ходьбе» (Костр — Солигал) КОСК — рус. (лит.) *батог*; 17) *сабог* (Костр — Нер, Сусан) КОСК, (Яр — Дан, Рыб, Щерб, Гавр.-Ям, Тут; Костр — Крас) ЯОСК — рус. (лит.) *сапог*; 18) *сабожник* (Яр — Мышк) ЯОСК — рус. (лит.) *сапожник*; 19) *хлибаёт* (Костр. губ. — Гал) — рус. (лит.) *всхлипывает*; 20) *чевериги* «черевика, женские башмаки» (Костр. губ. — Кин) МКНО — рус. (диал.) *чеверики* «то же» Даль IV 586, рус. (обл.) *черевика* «женские сапожки на высоких каблуках» Даль IV 590; 21) *крыжа* (Яр. губ. — Рост) КЯОС 97 — рус. (лит.) *крыша*; 22) *сдиб-рить* (Яр. губ. — Пош) КЯОС 182 — рус. (разг.) *стибровать*; 23) *свиребой* (Яр — Мышк) КЯОС 181 — рус. (лит.) *свирепый*; 24) *сойга* (птица) (Яр. губ.) КЯОС 189 — рус. (лит.) *сойка*.

Из 24 рассмотренных выше примеров 19, то есть около 80%, приходится на случаи, где звонкий согласный вместо обычного для литературного языка и остальных говоров глухого выступает в середине слова, и только пять, то есть 20%, — на случаи, где звонкий вместо глухого отмечен в его начале, ср.: *базлёны*, *сбахтать*, *бужеваться*, *заграбаздить*, *зергало*, *зергальный*, *клубнига*, *ленда*, *логоть*, *педистенок*, *подог*, *сабог*, *сабожник*, *хлибаёт*, *чевериги*, *крыжа*, *сдиб-рить*, *свиребой*, *сойга* — *бриткий*, *гачуля*, *голя*, *Главдея*, *жужжукать*. Если учесть при этой, что в одной из случаев речь идет об одновременной озвончении глухого также в середине слова (*жужжукать*), который, таким образом, не типичен как пример озвончения начального глухого, то процент случаев озвончения начальных глухих станет еще меньше. Интересен также пример *подог* (костр.) (яросл. *падог*), где одновременно наблюдается глухой согласный в начале слова при звонком в середине как соответствие слав. (рус.) *батог* с противоположным распределением согласных по звонкости-глухости. О том, что с исходной славянской формой имеем дело именно в последнем, а не в первом случае, вполне отчетливо, помимо рус. *батог*, говорят все его инославянские соответствия, ср.: друс. *батогъ* «бич», рус. *батог* «палка, трость; простая из лесного дерева палка; бильная часть цепа; палка, посох», укр. *батіг* «кнут, плеть; усы у огурцов,

§§ В слове *папа* < **паба*, очевидно, под влиянием начала слова оглушение коснулось также начала второго слога.

дынь», п. batog «здоровенная дубина», batogi (мн.) «битие палкой», кашуб. (словин.) batag «бич, плетъ», ч. batoh «дорожная заплечная котомка», ст. batoh «плетка», схв. ба тог «палка; сушеная рыба», восходящие к псл. *batog[^] (ЭССЯ в. I, 165-166). Рассмотренный иллюстративный материал позволяет сделать вывод, что восточнославянские слова (и тем последовательнее, чем к более древнему периоду славяно-неславянских языковых контактов они восходят) переделывались согласно свойственным им языковым навыкам носителями языка, в котором противопоставление глухих и звонких согласных не имело фонематического значения, а было обусловлено чисто позиционно. Имеется в виду, по-видимому, язык, где существовали, не считая сонантов, только глухие согласные фонемы. Эти фонемы были абсолютно глухими в начале слова, если данное слово не объединялось особенно тесными связями (например, как второй компонент композита) с предшествующим звонким (сонорным или гласным исходом). В интервальной позиции или между сонантами глухая фонема могла озвончаться. Однако этот звонкий («озвонченный») вариант воспринимался носителями данного неславянского языка лишь как позиционно обусловленный вариант той же глухой фонемы, поскольку оба проявления звука не могли быть противопоставлены в одной позиции и служить в речи в качестве смысловоразличительных сигналов (фонем). Скорее всего, речь могла идти не о звонких, а о полувзвонках (точнее, полуглухих) звуках, подобных эстонским [B], [D], [G] (ср. эст. luba «разрешение», edasi «вперед», noukogu «совет») или близким к ним, но более глухим финским p, t, k в интервокальной или постсонантной позиции (ср. ф. ари «помощь», ка[^] «улица», ranta «берег»)». В целом, можно говорить о том, что в начале слова глухой согласный в дославянском (мерянском) языке произносился более сильно и, следовательно, глухо, в середине же слова сила его произношения спадала, следствием чего могло становиться его озвончение или при еще большем ослаблении силы произношения —

спирантизация, переход в соответствующий проточный согласный. Оба явления наблюдаются (в разной степени) как в прибалтийско-финских и саамском, так и в волжско-финских языках. Если финский тяготеет в основном к ослаблению интервокальных согласных с их частичной спирантизацией, что дало чередование ступеней (ср. ф. joki «река» — joen (jo(y)en, род.п. ед.ч.), kate «рука» (katellaa «здороваться за руку») — kaden (диал. ka5en, род.п. ед.ч.), lara «лопасть; лопатка» — lavan (la^an род.п. ед.ч.), то марийский наиболее последовательно из волжско-финских языков проводит спирантизацию взрывных согласных (ср. мар. Г йогы, фон. joys «течение; поток», мар. шудб, фон. SU5O «сто» при ф. sata, мар. кувб, фон. ku^ «мякина» при эст. kOba «кора (дерева)»). Менее последовательно спирантизация проведена в мордовском языке, который занимает как бы промежуточное положение между прибалтийско-финскими и марийским: с одной стороны, здесь видны (в случае исходных прафинно-угорских k, p) конечные результаты опирантизации данных звуков в середине слова, ср. морд. Э явомс «делить» и мар. коваште «кожа; шкура» при ф. јакаа «делить» и эст. кбЪа «кора (дерева)», с другой — рефлекс исходного ф.-уг. t сохраняет в мордовском, как и в финском, взрывной характер, тогда как в марийском здесь была проведена спирантизация, ср. морд. Э сядо «сто» при ф. sata и мар. шудо, фон. эибо «то же» [53, о. 135-137].

Еще трудно с полной определенностью выяснить, какое положение занимал мерянский язык. Можно только говорить о том, что во внутрисловном консонантизме он обнаруживал некоторые черты, сближавшие его с марийским языком и отдалявшие от прибалтийско-финских и мордовского, однако степень сходства с марийским языком в рефлексации исходных праязыковых взрывных в середине слова на основании имеющихся, тем более только славяно-русских, данных определить трудно. Ясно одно. Поведение взрывных согласных фонем в начале и середине слова, а также их подбор и позиционная вариативность не оставляют сомнений как в исконно финно-угорском характере языкового субстрата на бывших мерянских территориях, так и в том, что язык, породивший данный субстрат, не мог исчезнуть быстро. Иначе бы следы его фонетического влияния не были столь яв-

*** В связи с последним интересна характеристика произношения этих звуков в учебнике финского языка, предназначенном для эстонцев: «k, p, t произносятся внутри слова почти так же, как эстонские g, b, d (немного сильнее)...» [151, с. 5].

ственны и не оставались бы в такой степени типично финно-угорскими.

Как и другие финно-угорские языки, унаследовавшие эту особенность от финно-угорского праязыка, мерянский, по-видимому, не терпел больше одного согласного в начале слова. Ср. в связи с этим следующую характеристику данной особенности финно-угорских языков: «В начале слова в финно-угорском языке-основе стоял только один согласный (или один гласный). Такое положение в общем сохранилось и в современных финно-угорских языках. Правда, теперь в начале слов мы нередко встречаем сочетание согласных, но эти слова большей частью позднейшего происхождения. К ним относятся, например, следующие: а) изобразительные слова: мр. *крак-крак*, к. *крав*, у. *крок-крок* — карканье вороны; б) заимствования: мр. *краж*, к. *краж* «кряж», «толстое короткое бревно», у. *кран* «кран»; но заимствования часто приспосабливаются к фонетической системе языка, например, к. *дова* < русск. *вдова*, ф. *koulu* < швед. *skola* (диал. *skoula*) «школа»; в) новообразования, возникшие вследствие определенных звуковых изменений (чаще всего выпадения гласного первого слога): м. *пси* «горячий, жаркий» < **писи* (диал. *писИ*), ср. к. *пось* «горячий»...» [53, с. 119].

Подобной особенностью, по всей видимости, обладал и мерянский язык, в связи с чем славянские слова, проникавшие в него, претерпевали изменения, имевшие целью приспособить их к его фонетической системе.

Достигалось это, как и в других языках, двумя путями, которые позволяли устранять скопление согласных в начале слова: 1) путем отбрасывания «лишних» с точки зрения финно-угорской фонетики согласных и сохранения только одного из них, ср. эст. *torm* «буря», снн., дат., швед. *storm* «то же»; 2) путем вставки гласного в скопление согласных начала слова, ср. венг. *ki^ly* «король» < слав. (юго-зап., сев.-зап.), схв. *kralj*, слн. *k^lj*, олц. *krU'*, ч. *k^l* «то же» [142, т. I, л. 268269], что опять-таки позволяло оставить в качестве начального один согласный, за которым сразу же следовал гласный. Одним из путей, приводивших к этому, — в случае двух начальных согласных с гласной после них — могла быть также метатеза группы «второй согласный + гласный». Примерами первого способа устранения скопления согласных в начале слова могут быть следующие случаи:

елица «метель» («На улице елица, на дворе метелица») (Яр — Пересл) ЯОСК < **vjелица*, орф. *вьелица* < *вьялица* < *веялица* вследствие диалектного перехода -je - < -ja-; *моргать* «сморгать» (Костр. губ. — Нер; ООБС 116) КОСК < *сморгать* < *сморгать*^{†††} *нарахать* «напугать» (Яр — Мышк, Пош, Брейт) ЯОСК < *настрахать*, *нарахаться* «испугаться, струсить» (Ярославль) ЯОСК < *настрахаться*, *нарахнуть* «напугать» (Яр — Некр, Пересл) ЯОСК < *настрахнуть*; *осарки* (мн.) «шкварки» (Яр - Брейт, Пош) ЯОСК < (о)ск-варки, где о-, очевидно, является вторично введенным звуком; *мотреть* «смотреть» (Яр) КЯОС 113 < *смотреть*; *насибо* (Яр - Люб) ЯОСК < *спасибо* (ср. морд. Э *насиба* «спасибо»); *пёвёлы* «головня» (Яр — Мол) ЯОСК < *плёвёлы*; *ричать* «кричать» (Яр. губ. — Пош) ЯОСК < *кричать*; *рык* «крик, громкий зов» (Яр — Ерм) КЯОС 178 < струс. *крык* вместо совр. *крик*, *нёрой ёго* «не тронь его» (Костр. губ. — Кин) МКНО < *нё (т)роі ёго* < *Нё тронь ёго*, где переход j < нь объясняется, очевидно, особой палатальной (среднеязычной) вместо обычной для рус. -нь палатализованной артикуляцией, что дало ему возможность перейти в j(^; *чёрасётко* «вчера» (Костр — Нер) КОСК < *вчёрасётко*, уменьш. от *вчёра*; *ши* «щи» (Костр — Нер) КОСК < *ши*, фон. *ичи*; *пыск* «легкий налет на углях, золе» (Яр. губ.) КЯОС 170 < *прыск* «жар угольный» Даль III 530, ср. также укр. *присок* «горячая зола с огнем».

Примеры другого способа устранения скопления согласных в начале слова можно обнаружить в следующих случаях: *бат* «братец» (Костр. губ. — Нер) МКНО; *брат* (Яр. губ.) ЯОС I 77, (Костр — Антр; Яр —

††† В примере обращает на себя внимание также уже отмеченное явление озвончения глухого в позиции между сонорным и гласным: переход -к- в -г-.

Борисогл, Гавр.-Ям) КЯОС 29^{+++ §§§}; *бёрслёт* «браслет» (Яр. губ.) КЯОС 31 (рус. (диал.) *брёслёт* — путем его метатезы, ср. рус. (диал.) *браслётка* «браслет» (Яр) КЯОС 35); *гарусть* «грусть» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50 < *грусть* с рядом производных типа *гарустить* «наводить уныние, досаждать» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50, *гаруститься* «печалиться, унывать, скучать» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50, *гарусткий* «грустный, скучный» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 50 и с другим вставным звуком (-о-) *горусткий* «грустный, скучный» (Яр. губ. — Рост); *тёрзвый* «трезвый» (Яр — Гавр.-Ям, Рыб, Пош) ЯОСК (< *трёзвый*).

По-видимому, мерянскому языку были чужды также скопления согласных как в конце слова, так и, по крайней мере некоторых, в середине его. Об этом говорят такие примеры: (в конце слова) *вёсь*, «весть» (Яр. губ.) КЯОС 41 < *вёсть*; *стон* «кол» (Костр. губ. — Мак) МКНО < *столб*, фон. *столй*; (в середине слова) *взатрё* «завтра» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 42 < (диал.) *взавтрё*; *за-панья* «подъемная дверь в подполье» (Яр — Мышк) < *западня*; *затрё* «завтра» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 76 < (диал.) *завтрё*; *запраский* «настоящий» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 74 < *заправский*; *кошик* «ковшик» (Яр. губ.) КЯОС 95 < *ковшик*; *русол* «рассол»

††† Очевидно, слово возникло или путем вставки гласного с позднейшей редукцией и выпадением гласного конечного слога ((д)рус. *брат(ь)* > **барат* > **барэт* > **барт*, ср. венг. Багаь «друг, приятель; монах; любитель»), или путем метатезы, о чем говорит существование зват. *бартё* (*Послушай, бартё* «Послушай, брат») (Костр. губ. — Ветл) МКНО; можно думать поэтому, что исчезновению -р- в позиции перед -т в абсолютном конце слова могла предшествовать стадия его перехода в глухое [Р] с его дальнейшей полной ассимиляцией следующему за ним -т то есть переходом -Р(т) > -т(т), и исчезновением, вызванным тем, что в мерянском языке отсутствовали долгие глухие согласные (как и конечные геминаты). Производным от данного слова является, видимо, глагол *батовать* «(ирон.) домовничать, быть временно хозяином» (Яр — Пош) ЯОС I 78, «выступать в роли (старшего) брата» (?).

§§§ Наиболее вероятно представить себе упрощение звуко сочетания -лб, фон. -лп как следствие перехода звонкого -л в глухое с дальнейшей его ассимиляцией со стороны -п, что должно было бы дать -пп > п, то есть п долгое. Поскольку такого звука в мерянском, видимо, не имелось, в результате должно было появиться краткое конечное -п. Подобные процессы в случае конечной группы «сонант + глухой взрывной» характерны из финно-угорских языков, в частности, для мокша-мордовского (ср. морд М: *ломатть* (< **ломаН(ь)ть*, ло- *ман(ь)ть*) «люди» при *ломань* «человек»).

(Костр. губ. — Кин) МКНО < (диал.) *россол*, фон. *руссол* как результат перехода -о- в -у- в предупредной позиции; *госыподь* «господь» (Яр — Пош, Тут — употребляется изредка в речи стариков) ЯОСК < *господь*. Из приведенных примеров можно сделать вывод о том, что мерянский язык не терпел в конце слова сочетания двух согласных с конечным взрывным. Подобные сочетания упрощались путем отбрасывания конечного взрывного или устранением предшествующего согласного (даже сонорного). В середине слова в мерянском языке устранялись сочетания двух одинаковых согласных (ср. *русол* вместо *рассоё*) Это может говорить о том, что в отличие от прибалтийско-финских языков здесь отсутствовали долгие глухие согласные. Избегались также скопления трех согласных (возможно, с известными ограничениями), ср. *взатре*, *затре*. Судя по тому, что в данном случае сочетание взрывного с сонантом -р- в середине слова сохраняется, тогда как сочетания двух других согласных устраняются вставкой гласного между ними или отбрасыванием одного из них (*залаья*, *кошик*, *госыподь*), можно думать, что сочетания двух зубных (-дн- — *западня*), двух спирантов (-фш-, орф. вш-) или спиранта с последующим взрывным (-сп-) в мерянском языке не употреблялись.

Из других особенностей фонетики мерянского языка, о которых можно судить по части русских слов славянского происхождения, обращает на себя внимание в области вокализма отсутствие звука -ы-. Об этом говорят такие примеры, как *зибель* «грязное, топкое, трудно проходимое место» (Яр — Некоуз) ЯОСК, ср. (лит.) *зыбь*, *зыбкий*, *бриткий* при (лит.) прыткий (Яр — Пош) КЯОС 35; *ручаг* «рычаг; дубинка, палка» (Яр — Пош) КЯОС, где в первых двух случаях налицо замена звука -ы- звуком -и-, а в третьем — того же -ы- звуком -у- (ср. такую же передачу первоначального -ы- в эрзя-мордовском языке: морд. *Э кусят* «кисель» — друс. *кысель* «то же»).

Несмотря на единичность, подобные факты не могут быть упущены и не учтены, поскольку сам объект исследования, исчезнувший язык, не может дать многочисленных показаний и приходится довольствоваться относительно скудными, фрагментарными данными. Нередко подобные данные являются лишь своеобразными сигналами, симптомами, позволяющими высказывать

только те или иные более или менее обоснованные предположения. Однако в общей сумме собранных материалов, рассматриваемых в системе, даже эти единичные детали могут сыграть положительную роль в деле воссоздания, реконструкции фонетической системы языка, способствуя ее полноте. В особенности полезными они могут оказаться в том случае, если в ходе дальнейшего исследования удастся обнаружить дополнительные (подобные) сведения, подтверждающие закономерность, первоначально выведенную лишь из отдельных примеров. Именно поэтому, несмотря на их известную проблематичность, исследователь не имеет права умалчивать даже о единичных характерных фактах, могущих представлять интерес для воссоздания мерянского языка, в том числе его фонетики.

К числу подобных интересных, хотя и единичных (возможно, ранее более распространенных), явлений, обнаруживаемых в словах славянского происхождения ярославских и костромских говоров, относятся такие примеры, как *бѣзли* «возле» (Костр. губ. — Юрьев); *рюсская* (Яр. губ.) КЯОС 178 при (диал. сев.) *русской* «русский»; *рюх-нуть* «провалиться, рухнуть» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 178.

Наличие -ѣ- (-'о) вместо -о- и -ю- (-'у-) вместо -у-, то есть -о- и -у- со смягчением предшествующего согласного вместо тех же звуков с твердостью предшествующих согласных, характерных для русского литературного языка и подавляющего большинства русских говоров, скорее всего свидетельствует о том, что в данном случае на русский (славянский) язык повлиял финно-угорский (в данном случае мерянский) (другой язык в данном случае предположить трудно), в котором в ряде случаев вместо славяно-русских о (лат. о) и у (лат. u) выступали переднерядные, лабиализованные звуки о и U (ф. орф. у), характерные из финно-угорских языков для прибалтийско-финских (в том числе эстонского, финского, карельского и вепсского, территориально смежного в прошлом с мерянским), марийского (также в прошлом территориально смежного с мерянским) и венгерского языков. Ср. в связи с упомянутым ф. *gyssa* (народное, также пренебрежительное) «русский; русский язык; вприсядку (букв. — по-русски) — о танце», а также *gyssanjaniš* «русак (заяц)», где также вместо рус. -у- (лат. u) выступает ф. -у-, то есть

-U-.

Ввиду нехарактерности в целом для славянских языков, в том числе восточнославянских, лабиализованных гласных переднего ряда о и U можно полагать, что в данном случае они проникли из мерянского языка, в котором, по крайней мере частично, видимо, употреблялись. Впоследствии мерянские о и U могли быть заменены близкими им русскими звуко сочетаниями -'о- (-о- со смягчением предшествующего согласного, орф. -ѣ-) и -'у- (-у- со смягчением предшествующего согласного, орф. -Ю-), ср. подобную замену при передаче тех же звуков в словах французского происхождения: фр. *chauffeur*, *buvard*, - рус. шофёр, бювар. В русскоязычной постмерянской среде, где в данных или связанных с ними словах произошла предполагаемая замена гласных заднего ряда -о-, -у- (лат. u) их переднерядными соответствиями -о-, -и-, она была вызвана, очевидно, тем, что эти заднерядные гласные должны были выступать перед слогами с гласными переднего ряда (*^ho21'i, фон. *возл'i* «возле», **guskaja* «русская», *guSiť* «рушить»), что вызвало выравнивание вокализма по этим гласным **po21'i* > рус. (диал.) *бѣзли*, **guskaja* > рус. (диал.) *рюсская*, *guSiť* > рус. (диал.) **рюшить* «рушить», откуда по аналогии (диал.) *рюхнутй*) Подобная перестройка гласных, отраженная в данных словах, свидетельствует о том, что, по крайней мере, части мерянских говоров был свойствен своеобразный сингармонизм.

Более заметными, как и в уже рассмотренных случаях, являются в русских постмерянских говорах отклонения в области консонантизма, позволяющие судить об особенностях мерянской фонетики. Здесь обращает на себя внимание своеобразный факт весьма частой замены звука х звуком к, ср.: *букало* «(уст.) филин» (Яр. губ.) ЯОСК - рус. (диал.) *бухало* «то же» Даль I 146; *варакло* (Яр. губ.) КЯОС 39 - рус. (лит.) *барахло*; *вийкотка* «метелка» (Ярославль) ЯОСК - рус. (диал.) *вехотка*, на которое, возможно, повлияло рус. (диал. сев.) *виять* «веять», «пучок сена, соломы; стелька в лапоть; щипанная мочалка для мытья посуды; тряпка, ветошь» Даль I 336; *жмыки* (Яр. губ.) КЯОС 66 — рус. (лит.) *жмыхи*; *прижук-нутья* «притихнуть» (Ярославль) ЯОСК, по-видимому, связанное с *жухнуть* «тускнуть, померкать, терять вид,

лоск» (Даль I 548) и, следовательно, предполагающее исходное *прижухнуть* (в отношении семантики ср. такой же переход в рус. (лит.) *стушеваться* «незаметно исчезнуть, удалиться совсем откуда-нибудь; оробеть, смутиться» от первоначального «слиться с фоном при слишком сильном тушевании фигур на чертеже, картине (карандашом)»); *камочка* «хорошо одетая деревенская девочка» (Яр. губ. - Угл) КЯОС 84, очевидно, связано с *хам* «(бранное) прозвище лакеев, холопов или слуг; крепостной» Даль IV 542; *коровод* «хоровод» (Яр. губ. - Пош) КЯОС 93, *корово-дуться* «хороводиться» (Яр. губ. - Пош) КЯОС 93; большое количество слов, связанных с глаголом *хоронить(ся)*: *коронить* «прятать» (Костр - Судисл; Яр - Мышк) ЯОСК, *коронить* «хоронить» (Яр. губ.) КЯОС 93, *корониться* «прятаться (букв. - хорониться)» (Яр - Борисогл, Брейт, Рост, Мышк, Ярославль; Ив - Ильин) ЯОСК, *скоронить* «схоронить, спрятать» (Яр. губ.) КЯОС 186, *екорониться* «спрятаться» (Яр. губ. - Рост) КЯОС 186, (Костр - Костр) КОСК, *ускоронить* «спрятать» (Костр - Нер) КОСК, *вскоронюшки* «игра в прятки» (Яр - Брейт) ЯОСК, *коронички* «прятки (игра)» (Яр - Переел, Некоуз, Угл) ЯОСК, *коронки* «прятки (детская игра)» (Яр - Большес), *корону хи* (Яр - Некр, Гавр.-Ям) ЯОСК, *коронушки* (Яр - Мышк, Борисогл, Брейт, Рост, Некоуз, Некр; Ив - Аньк, Ильин; Костр - Костр, Нер), *коронючки* (Яр - Пересл) ЯОСК, *коронюшки* «то же» (Яр - Брейт) ЯОСК, *короня* «пряча» (дееприч.) (Яр - Брейт); «прятки» («Давайте в короня играть» - Яр) ЯОСК, *короняки* «прятки» (Ив - Ильин.-Хов) ЯОСК, *коронячки* (Яр - Яр; Костр - Костр, Нер) ЯОСК, *короняшки* «то же» (Яр - Гавр.-Ям) ЯОСК, *укоронку* «тайком» (Костр) КОСК; *заокать* «застонать» (Яр - Пречист) - рус. (лит.) *заохать*; *затклецы* «задохнувшиеся в яйцах цыплята» (Костр - Гал) - рус. (лит.) *затхлый*, (диал.) *затхнуться* «задохнуться от недостатка воздуха» СРНГ XI 115; *проклаждаться* «не торопиться (букв. - прохлаждаться)» (Костр. губ. - Гал) МКНО; *клев* (Костр - Антр, Буй, Гал, Ней, Судисл, Су-сан; Яр - Брейт, Дан, Мышк, Некоуз, Некр, Пош) ЯОСК, (Костр - Костр) КОСК - рус. (лит.) *хлев*; *кужук* < **кожук* (с переходом предударного -о- в -у-) «верхний выступ в передней части русской печи; нижняя часть русской печи» (Яр - Брейт, Пош) ЯОСК - рус. (диал.) *кожух* «округлая крышка, свод; навес над чувалом, очагом; нижний раструб дымовой трубы над

русской печью; свод банной печи, каменки» Даль II 130; *закомякивать* «есть с жадностью» («Хватит тебе закомякивать, щеки лопнут» - Яр - Рыб) ЯОСК, - по-видимому, от (диал.) *комяк* «хомяк (грызун с большими защечными мешками, куда он набивает пищу)», первоначальное значение слова — «есть жадно, как хомяк»; *кропкой* < * *крупкой* < *хрупкий* (Яр. губ.) КЯОС 97 — рус. (лит.) *хрупкий*; *кулиган*, *кулиганить* (Яр. губ. — Пош) КЯОС 99 — рус. (лит.) *хулиган*, *хулиганить*. Иногда, видимо вторично, первоначальное к, употребленное вместо русского литературного и свойственного большинству русских диалектов х, переходило в начале слова перед гласным в г. Таким образом появлялись слова типа *голстинка* «головной платок» (Яр. губ.) КЯОС 53 или — явно позднейшее — *гулиган* «хулиган» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 56, где с первым вполне сравнимы рус. (лит.) *холст*, рус. (диал.) *холстинка* «бумажная полосатая и клетчатая ткань, цветной миткаль» Даль IV 560. Круг слов, где русскому литературному и обычному диалектному х в ярославских, костромских и ивановских говорах соответствует к, мог быть шире, о чем свидетельствуют слова, существующие в настоящее время в упомянутых говорах. К ним в числе прочих могло относиться такое важное слово, как *колет* (*холст*). Видимо, в противовес фонетической (более ранней) тенденции замены обще(велико)русского звука х звуком к в тех же говорах возникло гипетическое явление замены обще(велико)-русского к звуком х, ср.: *балхон* «чердак» (Яр — Некоуз) ЯОС I 57 — рус. (лит.) *балкон* (с другим значением, однако несомненно связанное с данным словом); *хлеть* (Костр. губ. — Варн) МКНО — рус. (лит., диал.) *клеть*; *холпак* «крыша» (Костр. губ. — Солигал) МКНО — рус. (лит.) *колпак* «головной убор конусообразной или овальной формы; крышка такой формы к разным предметам».

Замену звука х в словах славянского (и вообще немерянского) происхождения звуком к в русских говорах с бывшей мерянской территории есть все основания рассматривать также как одно из явлений, возникших вследствие воздействия мерянской фонетической системы на славяно-русскую. Очевидно, в мерянском языке подобно большинству других финно-угорских языков, в том числе смежных с ним территориально, отсутствовал звук, аналогичный русскому (и славянскому вообще) х. Надо сказать, что к

настоящему времени этот звук проник в фонетическую систему марийского и мордовских (эрзя и мокша) языков, расположенных в прошлом по соседству с мерянской языковой территорией. Однако произошло это, по всей видимости, сравнительно поздно и только под влиянием других языков: для мордовских — русского; для марийского — русского, а также чувашского и татарского. Первоначально звука *х* не было ни в марийском, ни в мордовском языке, он, как и в ярославских, костромских и ивановских русских говорах, передается в наиболее древних славяно-русских заимствованиях звуком *к*, ср.: мар. *роскот* (МарРС 507) — рус. *расход*; мар. *сукара* (МарРС 547) — рус. *сухари*; мар. *В моко* (МарРС 328) — рус. *мох*; мар. *плока* (МарРС 433) — рус. *плохой*, мар. *лакан* (МарРС 280) — рус. *лохань*; мар. *окота* (МарРС 376) — рус. *охота*; мар. *сакыр* (МарРС 517) — рус. *сахар*; мар. *манак* (МарРС 314) — рус. *монах*; мар. *Г коромина* «хоромина, пустое жилище, без имущества и людей» (МарРС 224) — рус. *хоромина*, *хоромы*^{****}, морд. *Э коцт* < **хотст* < *холст(ъ)* (ЭрзРС III) — рус. *холст*; морд. *Э крен* (ЭрзРС 112) — рус. *хрен*; морд. *Э козяйка* «жена» (РЭрзС 98) — рус. *хозяйка*; морд. *Э сока* (ЭрзРС 198) — рус. *соха*; морд. *Э колка* «пук, пучок, клочок, клочок (волос, шерсти, травы); холка (у лошади)» (ЭрзРС 105) — рус. *холка*; морд. *М крамой* (РМокшС 627) — рус. *хромой*; морд. *М крень* (РМокшС 627) — рус. *хрен*; морд. *М сока* (МокшРС 253) — рус. *соха*.

Приведенные выше русские (постмерянские) диалектные слова с заменой звука *х* звуком *к* в целом отражают ту же особенность консонантизма, которая характерна для марийского и мордовских языков. И там и здесь *к* служит для передачи славяно-русского *х* независимо от его положения в слове — в начале, середине или конце.

**** Судя по примерам, приводимым Л.П.Грузовым, раньше количество слов подобного типа в марийском языке было больше, теперь же под влиянием русского языка оно постепенно уменьшается: «В старых изустных заимствованиях *ф* передавался *п* или *в*, а *х* — согласным *к* или иногда *г*, например ... *крен* «хрен», *кром* «хром»... *лемек* «лемех»... *Сакар* «Захар» ... и др. Подобная ситуация в современных заимствованиях наблюдается в основном лишь в речи старшего поколения» [25, с. 214].

Важной особенностью консонантизма тех же русских народных говоров является и то, что в них неоднократно встречаются случаи, когда общерусскому (литературному и диалектному) звуку *б* соответствует в или, наоборот, где в русском литературном языке и большинстве говоров выступает *в*, появляется звук *б*. Примерами замены первого рода (в место *б*) служат следующие слова: *ваи-ваи* < ★*баш*- *баш* < **баш*-*баш* «подзывные слова для овец» (Яр - Толбух) ЯОСК - рус. (лит., диал.) *баш*- *баш* «призывная кличка овец» Даль I 159; *варакло* «тряпье, старье» (Яр. губ.) ЯОСК - рус. (лит., диал.) *барахло*-; *вердо* (*вёрдо*) «часть ткацкого станка» (Яр — Первом, Толбух) ЯОСК — рус. (лит.) *бёрдо* «принадлежность ткацкого стана, род гребня, для прибоа утока, для чего каждая нить основы продета в набор или зубья берда, вложенного в набилки» Даль I 81; *вес* (Костр. губ. — Мант) МКНО — рус. (лит.) *бес*; *вудень* («Не надевай в вудень хорошее платье») (Яр — Рост. Рыб) ЯОСК — рус. (лит.) *будень*; *извисоваться* «расшалиться» (Ив — Ильин.- Хов) ЯОСК — рус. (диал.) *избесить* (*избес*- *новать*) «приучить беситься, бесноваться, выходить из себя», *избесноваться* «привыкнуть к необузданной резвости или к вспыльчивости, злости» Даль II 12-13; *колобушки* «вид печенья круглой формы, приготовленного из пресного теста» (Костр — Остр) КОСК — рус. (диал.) *колобушки* «небольшие пирожки» (Костр — Солигал) КОСК, *колобушка* «скатанный ком, шар, грудка, ва- ленец, катанец; небольшой круглый хлебец; кокурка, толстая лепешка, клецка из пресного теста, иногда на молоке; пряженец кислого теста, круглый пирог с толокном» Даль II 138; *баловес* «шалун» (Яр. губ.) КЯОС 28 — рус. (лит.) *балбес*; *бака* < **бавка* < *бабка*, «стрекоза» (Яр. губ. — Угл) КЯОС 27 — рус. (диал.) *бабка* «бабочка», ср. также укр. *бабка* «стрекоза».

Противоположное явление (замена звука в звуком *б*) встречается в следующих словах: *балуи* «съедобный гриб» (Яр — Мышк, Пош, Тут, Яр) ЯОС I 57 — рус. (диал.) *валуй* «гриб *Agaricus emeticus*? *foetens*? *integer*? близкий сыроежке» Даль I 162; *уболить* «позволить» («Она лишнего себе ничего не уболит (— не позволит)») (Костр 24

— Солигал) ЯОСК — рус. (лит.) *уволить* «освободить»; *бёзли* (Костр. губ. — Юрьев) МКНО — рус. (лит.) *возле*; *бетвина* «ветвина,

ветка» (Костр. губ. — Кин) МКНО — рус. (диал.) *ветвина* «вица, вязок, напр. для связки двух кольев изгороди» Даль I 334; *побредить* (Костр. губ. — Костр) МКНО — рус. (лит.) *повредить*; *кабардак* (Яр — Бо- рисогл) — рус. (лит.) *кавардак*; *бЯкнуть* «сказать что-нибудь необдуманно, невпопад» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 38 — рус. (диал.) *вЯкать* (*вЯкнуть*) «врать, пустословить, болтать вздор» Даль I 338; *болтузиться* «возиться» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 34 — рус. (диал.) *волтузиться* «возиться, бороться; канителиться; драться (иногда в шутку)» СРНГ V 76.

Поскольку в других говорах русского языка и славянских языках вообще подобное смешение *б* и *в* не наблюдается, его можно объяснить только особенностью финно-угорского мерянского языка, который стал языковым субстратом местных русских говоров, образовавшихся в большей или меньшей степени в результате усвоения мерянским населением славяно-русского языка и смешения мери с восточными славянами, поселившимися на этих землях. Черта смешения *б* и *в*, вызванная тем, что вместо данных звуков там выступает звук *р*, занимающий между ними как бы промежуточное положение, свойственна из финно-угорских языков, в частности, марийскому, где при усвоении русского языка марийцами также наблюдается подобное смешение [68, с. 35]. Очевидно, и в мерянском языке двум славяно-русским фонемам — *б* и *в* — противостояла одна фонема *р*, вследствие чего слова русского языка, в которых выступал один из этих звуков, передавались неточно: в ряде случаев вместо *б* в них произносилось *в*, а вместо *в* — *б*. Первоначально, очевидно, местное мерянское население, усваивая славяно-русские фонемы *б* и *в*, подставляло всюду вместо них свою фонему *р*. Затем в связи с необходимостью различать оба славяно-русских звука, каждый из которых имел фонематическую значимость, местным финно-угорским населением была, по-видимому, усвоена одна из славяно-русских фонем, скорее всего *б*, как на это указывает пример марийского

языка [25, с. 213]. Мерянская же фонема *р* могла выполнять роль звука, передающего славяно-русское *в*. Однако в связи с тем, что фонетическая близость мерянского *р* к славяно-русскому *б*, как и марийского *р* к русскому *б* (ср. рус. *буфет* - мар. *вуфет*, рус. *боевой* — мар. *воевой*, рус. *бинт* — мар. *винт* и т.п.), давала также возможность передачи славяно-русского *б* с помощью мерянского *р*, сближаемого с русским *в*, это служило поводом для смешения со стороны мерянского населения в усваиваемых им славяно-русских словах фонем *б* и *в*. Вместе с тем в словах мерянского происхождения (в частности, топонимах) при распространении славяно-русского языка и полном вытеснении им мерянского в силу того, что мерянскому *р* в славяно-русской речи не мог соответствовать с точностью ни один звук, субституироваться он мог наиболее близкими звуками — *б* и *в*, так что единый, в сущности, звукотип передавался двумя славяно-русскими фонемами.

Наряду со случаями замены звука *в* звуком *б* в русских диалектных словах славянского происхождения на бывших мерянских территориях встречается замена *в* звуком *м*. Переход этот отмечается, в частности, в непосредственной позиции перед *н*, ср.: *мнук* «внук» (Костр Мант) КОСК, (Яр — Брейт, Пересл, Рост, Тут, Ареф, Бори- согл, Гавр.-Ям, Дан, Мышк, Некоуз, Первом, Угл, Яр, Рост; Костр — Костр) ЯОСК, *мнука* «внучка» (Костр — Игод) ЯОСК, *мнуке* (зват. ед.ч. от *мнук*: «На, мнуке, пряник») (Яр — Рыб) ЯОСК, *мнучата* (мн.ч.) «внуки» (Яр — Рост, Пересл) ЯОСК, *мнучек* (уменьш.-ласк. от *мнук*) (Яр — Тут, Борисогл, Брейт; Костр — Буй, Чухл) ЯОСК, *мнучка* «внучка» (Яр — Яр, Большес, Борисогл, Брейт, Бурм, Влад, Гавр.-Ям, Дан, Мол, Мышк, Нагор, Некоуз, Некр, Первом, Петр, Пош, Пречист, Рост, Рыб, Рязанц, Серед, Толбух, Тут, Угл; Костр — Антр, Буй, Игод, Костр, Красное, Ней, Солигал, Сусан) ЯОСК, *мнучок* «внучек» (Яр — Некр, Некоуз, Рыб) ЯОСК.

Кроме случаев, когда *м* выступает непосредственно перед *н*, подобная замена встречается в позиции непосредственно перед *т*, *ч*, *ц* (перед *т* иногда даже в том случае, когда *в* отделено от него гласным *е*), а также изредка перед *р* (будучи отделенным от него гласным *е*). Общим для всех этих случаев является то, что *м* появляется в том случае, когда после *в* в непосредственной близости от него или будучи отделенным гласным *е* выступает зубной звук. Примеры указанного явления встречаются в

следующих словах: *мтаха* «птица (букв. — птаха)» (Костр. губ. — Кин, Нер) КОСК [ООВС 117], (Костр — Нер) ЯОСК; *мташ-ка* (Костр. губ. — Кин, Нер) МКНО, (Яр — Брейт, Дан, Некр) ЯОСК; *мтица* (Костр. губ. — Кин, Нер) КОСК [ООВС 117], (Яр — Гавр.-Ям, Люб, Брейт, Некр; Костр — Костр) ЯОСК; *мтичка* (Яр — Брейт, Гавр.-Ям, Некоуз, Ярославль; Костр — Чухл, Нер) ЯОСК, *мтишечка* (Яр — Бурм, Гавр.-Ям, Тут; Костр — Костр); *мчела* «пчела» (Костр. губ. — Юрьев) МКНО, (Яр — Рыб) ЯОСК; *мцела* (Костр. губ.) МКНО; *мчёлка* (Костр — Солигал) ЯОСК; *мчельник* (Костр — Костр) ЯОСК, *мчельник* (*мчольник*) (Костр — Костр) МКНО; *метвина* «ветвина, гибкая ветка» (Костр. губ. — Костр) МКНО; *мерлога* «берлога» (Яр — Пош) ЯОСК.

Значительно реже, видимо, как результат гиперистического отталкивания от диалектного *м*, которому в литературном языке соответствует *в*, обнаруживаются в тех же говорах случаи, когда, напротив, вместо *м*, которое непосредственно (или опосредованно, отделенное гласным *е*) предшествует *н*, появляется звук *в*. Еще реже подобная замена происходит перед *р*, отделенным от *м* гласным *е*, ср.: *вного* «много» (Костр. губ. — Чухл, Ветл) МКНО; *угуvenник* «место позади дома, заросшее травой» (Костр — Красное) ЯОСК — рус. (диал.) *огуменник* «место около гумен и овинов» Даль II 649; *бере-ститься* «казаться» (Костр. губ. — Костр) МКНО — рус. (диал.) *мереститься* «казаться (букв. — мерещиться)» (Костр. губ. — Костр) МКНО. Интересно отметить, что марийскому языку также свойственна замена *в*, фон. *р* звуком *м* (реже *м* — звуком *в*). Основной причиной перехода *в(р)* > *м* в марийском языке является ассимиляция — влияние на *в(р)* последующего *н*, — что наблюдается и в случае перехода *внук* > *мнук*. Более сложны для истолкования случаи, где вместо *н* выступают другие звуки.

В области консонантизма русских говоров областей Центральной России, населенных в прошлом мерей, обращают на себя

внимание также специфические явления, которые при всем их своеобразии и многообразии с наибольшей вероятностью можно объяснить связью с различными проявлениями палатальности (среднеязычности) соответствующих согласных. Это случаи взаимоперехода таких пар согласных, как к/т (т/к), г/д (д/г), и перехода этих звуков (например, д и г), а также л в -й- (j). Указанные явления сочетаются с приобретением во многих случаях данными звуками максимальной степени палатальности, особенно заметной тогда, когда она касается звука исходно заднеязычного, выступающего к тому же перед гласными заднего ряда. В противовес случаям перехода л' > j изредка встречается явление, когда j заменяется л'. Ср. примеры переходов г/д, к/т и приобретения палатальности звуком к: *андел* (Яр. губ. - Рост) КЯОС 26 - рус. (лит.) *ангел*; *вереньтя* «корзина» (Яр. губ. - Рост) КЯОС 40 - рус. (диал.) *веренька* «плетеная корзина» СРНГ IV 130; *дейша* «женское пальто любого покроя» (Яр. губ. - Пош) КЯОС 58 - рус. (диал.) *гейша* «женское пальто, полупальто» СРНГ IV 165-166; *апекит* (Яр. губ. - Рост) КЯОС 26 - рус. (лит.) *аппетит*; *девта* (Яр. губ.) КЯОС 56 (видимо, по аналогии с *девити* > *девки*) - рус. (лит.) *девка*; *зобёньтя* «корзинка с крышкой из луба или дранок» (Яр. губ. - Рост) КЯОС 79 - рус. (диал.) *зобенька* «то же» СРНГ XI 323; *кесьма* (Яр. губ. - Рост) КНОС 86 - рус. (лит.) *тесьма*; *Кит* (Яр. губ. - Рост) КЯОС 86 - рус. (лит.) *Тит* (имя); *гля* (Яр. губ. - Рост, Пош) КЯОС 51 - рус. (лит.) *для*, *домскёй* «свой, собственный; домовый, свой, собственный» (Яр. губ. - Мол) КЯОС 60 - рус. (диал.) *домскОй* «свой собственный, домашний» СРНГ VIII 123; *Евдений* (Яр. губ.) КЯОС 63, *Евденья* (Яр. губ.) КЯОС 63 - рус. (лит.) *Евгений*, *Евгения* (имена); *ма-монтя* (Яр. губ.) КЯОС 108 - рус. (лит.) *маменька* (букв. *мамонька*).

Взаимное смешение к и т, г и д происходит в том случае, когда заднеязычные к и г и переднеязычные т и д становятся среднеязычными, вследствие чего их артикуляции сближаются, способствуя смешению этих звуков. Именно этим объясняется то, что их графическое обозначение, отражающее в основном происхождение, а также **26**

акустическое восприятие, отражающее их слуховое впечатление (и в значительной степени артикуляцию), как правило, не совпадают: причем в целом ряде случаев в

графике используются буквы для обозначения звуков к, г (k, g), к которым добавляются знаки, указывающие на их среднеязычную артикуляцию, при объяснении же артикуляции исходят из их переднеязычных соответствий т, д, указывая на их чрезвычайную мягкость или - при более точном (научном) объяснении - на среднеязычный характер артикуляции. Так, среднеязычные взрывные звуки славянского македонского языка г и к (*вега* «бровь», *врека* «мешок») объясняются подобным образом: «Македонские г и к (*вега*, *врека*) мягче сильно смягченных русских д' и т' (дьяк, *кутьй*)...» [36, с. 550]. Среднеязычные взрывные звуки латышского языка также обозначаются латинскими буквами, служащими для передачи на письме заднеязычных звуков, с добавлением знака, указывающего на среднеязычное произношение соответствующего звука. Произношение соответствующих звуков, обозначаемых в латышском языке буквами g и k, объясняется следующим образом: «Согласный g произносится примерно так же, как в русском языке д перед и, е, например: *gimene* (семья), *kugis* (корабль). Согласный k произносится почти так же, как в русском языке т перед и, е, например: *zakis* (заяц), *kakis* (кошка)» [13, с. 14]. Менее последовательна в этом отношении орфография венгерского языка, где среднеязычное (палатальное) d' обозначается сочетанием букв gy, а среднеязычное палатальное t' - сочетанием букв ty, то есть в первом случае, как и в македонском или латышском языке, используется буква, служащая обозначением заднеязычного звука, а во втором - буква, обозначающая глухой взрывной переднеязычный звук.

По всей видимости, в приведенных примерах русских диалектных слов речь идет также о среднеязычных палатальных звуках, связанных, с одной стороны, с переходом палатализованных г' и к' в палатальные д' и т' (*андел* < *ангел*, *вереньтя* < *веренька/веренька*), а с другой - как результат гиперкоррекции, с заменой эти

монологических д и т вторичными г и к (*гля* < *для*, *апекит* < *аппетит* и т.п.). Случаи проявления замены к звуком т, не связанные с палатальностью, по-видимому, следует объяснять действием аналогии, вызвавшим перенесение этого звука даже на те падежные формы, где он фонетически не оправдан, в связи с появлением т (именно т') палатального в части падежных форм и обобщения его на всю парадигму (ср. *девта* вместо *девка* в связи с формой им.п. мн.ч. *девити* < *девки*). Возможно и другое объяснение случаев, подобных приведенному, — «исправление» по образцу других форм. Форма *девта* могла возникнуть из первоначального *девтя* < *девкя*, будучи «исправленной» в сторону замены палатального звука твердым по образцу *девкя* > *девка*.

Очевидно, как следствие развития палатальности, достигшей еще большей степени, надо рассматривать те случаи, где вместо г' либо д' русского литературного языка, то есть соответствующих палатализованных звуков, выступает j или — с его выпадением — нуль звука: *егилв* < **дегиль* < *дягиль*; (Яр — Угл) КЯОС 63 — рус. (лит.) *дягиль*; *ерой* (Яр. губ.) КЯОС 64 — рус. (лит.) *герой*; *еипецкий* (Яр. губ.) КЯОС 64 — рус. (лит.) *египетский*. По-видимому, следствием того же процесса развития сильной палатальности (уже в позиции перед гласными не переднего, а заднего ряда) надо объяснять появление такой формы, как *замиять* «замигать» (Яр. губ. — Мол) ЯОСК, где фонетическое развитие следует представить следующим образом: *замигать* > ★*замигать* > *замиять*.

Если вышеуказанные процессы рассматривать как следствие влияния субстратного мерянского языка на наслонившиеся на него русские говоры, — а для этого есть все основания, — то можно считать, что они являются сигналами существования в мерянском языке палатального взрывного согласного т'(D') с двумя позиционными вариантами. Однако этим согласным состав палатальных звуков в мерянском языке не исчерпывался. Видимо, здесь существовало и палатальное л', которое в ряде случаев могло переходить в j. На возможность существования подобного звука указывает такой пример, как *наягомо* < **налягомо* «перед сном» (то есть перед тем как лечь спать) (Яр. губ. — Мол)

†††† О том, что палатальность характерна в целом и для других русских говоров, сформировавшихся на бывшей мерянской территории, говорят следующие примеры из их среднерусской, владими́ро-поволжской, группы: *тислой* «кислый», *дибель* «гибель», *рути* «руки», *иоди* «ноги», *Ваи́тья* «Ванька», *Ольдя* «Ольга» [76, с. 293].

ЯОСК 121, где явно виден случай перехода л в j. Поскольку подобный переход в палатальный j мог произойти только с палатальным л', по всей видимости, здесь речь идет именно о нем. О том, что случаи подобных переходов в русских говорах на бывшей мерянской территории были нередки, в связи с чем звукосочетание -ja-, орф. -я- могло часто восприниматься как возникшее из первоначального этимологического и литературного -ля-, свидетельствует случай несомненной гиперкорректной диалектной формы *одеяло* «одеяло» (Яр. губ.) КЯОС 130, которая возникла именно в силу отталкивания от возможного неправильного, нелитературного -я- как следствия его возникновения из первоначального -ля-.

Таким образом, есть основание полагать, что в мерянском языке могли существовать наряду с твердыми палатальные согласные. К ним должны были относиться палатальные т' и л'. У т' палатального, по-видимому, мог быть полувзрывной, позиционно обусловленный вариант D'. Поскольку для твердых мерянских сонантов г и л можно предположить существование глухих вариантов R, L (ср. формы типа *бат* (при *бартё*) «брат» и *стон* < *в^Ьр), возможно, палатальный звук (фонема) л' также мог иметь свой глухой, позиционно обусловленный вариант L'.

Наличие диалектного (Ярославского) *ебро* (*ёбро*) (Яр. губ. — Мол, Рост) КЯОС 63 вместо характерного для русского литературного языка и большинства русских народных говоров *ребро* (*рёбро*) в связи с тем, что замена согласного звуком j характерна именно для среднеязычных (палатальных) согласных, говорит о том, что, поскольку данного явления нет в русском и других славянских языках, мерянский язык, видимо, мог иметь наряду с палатальными т' и л' также палатальное г' и эту черту передал сменившим его русским народным говорам, где палатальное р' могло быть в дальнейшем заменено палатальным j. Кроме того, в мерянском, очевидно, существовало также палатальное п', о чем косвенно свидетельствует уже приводившийся пример: рус. (диал.) *не рой его* < **не (т)ронь его* «не тронь его» (Костр. губ. — Кин) МКНО, где переход -нъ в j (й) указывает на несомненный палатальный характер п'.

К особенностям консонантизма мерянского языка, возможно диалектным, усвоенным от него русскими говорами-преемниками, относятся, видимо, и своеобразные черты ротацизма, заключающиеся в появлении *р* перед *-з-* или вместо первоначального *д*, ср.: *курзовок* «плетенная из прутьев корзина круглой формы с широкой ручкой» (Яр - Первом) ЯОСК - рус. (лит., диал.) *кузовок* «короб из лыка или бересты»; *сварьба* (Костр. губ. - Ветл, Нер) МКНО - рус. (лит.) *свадьба*; *усарьба* (Яр, Костр) ЯОСК — рус. (лит.) *усадьба*. Нечто подобное наблюдается в части марийских говоров, а именно в северо-западных и горных, территориально особенно близких к мерянскому языку. Здесь встречаются, в частности, такие связанные с ротацизмом изменения, как появление группы *-рд н-* вместо *-чн-* (*парднем* вместо *пачнем* «хочу открыть»), *-рдм-* вместо *-чм-* (*пiрдмаш* вместо *пычмаш* «резка, резание»), *-рш-* (*-рс-*) вместо *ч(ц)* (*теитеришы* вместо *теице* «вчерашний») [25, с. 239]. Русский диалектный ротацизм в какой-то степени сопоставим с приведенными выше примерами подобного фонетического процесса в марийских говорах, в связи с чем можно предположить, что в обоих случаях речь идет о появлении звука *р* перед согласным или группой из двух согласных, которая затем могла претерпеть упрощение, связанное с выпадением среднего согласного. Следовательно, формы *сварьба*, *усарьба* могли возникнуть из предшествующих образований **свардь-ба*, **усардьба* < *свадьба*, *усадьба*, а форма *курзовок* — из предшествующей *кузовок*. Учитывая возможную взаимозамену звуков *р/т* в мерянском языке, отражаемую постмерянскими русскими говорами как *б/м* и позволяющую сблизить предполагаемую группу *-рдьб-* с марийской *-рдм-*, а также то, что в мерянском звук *З* (рус. *з*) - это позиционный вариант фонемы *s* (рус. *с*), что позволяет сблизить группу *-рз-* с группой *-рс-*, предполагаемой для диалектного марийского, можно прийти к заключению, что ротацизм, в столь близкой форме обнаруживаемый марийскими говорами, является в русском диалектном языке Ярославской и Костромской обл. наследием местного вымершего финно-угорского мерянского языка.

Уже в связи с наличием ротацизма в русских постмерянских говорах, очевидно, отражавшим одну из черт субстратного мерянского языка, территориально смежного с марийским, возникает сомнение в

справедливости предположения Л.П.Грузова о чувашском происхождении ротацизма в марийском языке: «История ротацизма в марийском языке еще не изучена. Ю.Вихман считает, что в древности это явление носило более широкий характер. При этом он исходит из того, что ротацизм встречается не только в западных диалектах, но иногда он обнаруживается и в восточном диалекте. Однако такое утверждение Ю.Вихмана, по-видимому, нельзя считать окончательным. Здесь может быть другое объяснение. Как известно, ротацизм представляет собой характерное явление для чувашского языка. Поэтому можно предположить, что он развился в марийском языке под влиянием соседнего чувашского языка» [25, с. 240]. Предположение о чувашском влиянии как причине возникновения марийского ротацизма вызывает сомнение уже в связи с тем, что среди марийских говоров он характерен преимущественно для западных (горных), хотя булгаро-чувашское влияние испытывали не в меньшей степени и восточные говоры, то есть относящееся к луговому и восточному марийским диалектам. В еще меньшей степени чувашское (или булгарское) влияние могло быть действенным в отношении мерянских говоров, фонетические особенности которых отразились в связанных с ними территориально русских говорах. Скорее всего, речь идет о финно-угорской фонетической изоглоссе, распространявшейся на часть мерянских и марийских говоров. Каковы бы ни были причины возникновения этой изоглоссы - то ли спонтанные локальные финно-угорские, то ли привнесенные извне каким-либо третьим языком (возможно, субстратным), то ли следствие взаимодействия обеих указанных причин, — воздействие со стороны булгаро-чувашских тюркских говоров скорее всего исключается. В связи с этим следует, по-видимому, усомниться и в том, является ли ротацизм органично чувашской чертой. Поскольку этой особенностью чувашский язык близок к финно-угорским, марийскому и мерянскому, не исключено, что она могла быть привнесена не в марийский из чувашского, а в чувашский из марийского. Другим объяснением данной общности может быть то, что три упомянутых языка подверглись влиянию какого-то четвертого, возможно, субстратного.

Палатальность в мерянском языке — в отличие от русской палатализации — относилась только к согласным *t* (D), *l*, *n*, (?) *г*,

возможно, также к *s* (*Z*), то есть к переднеязычным (зубным), однако не могла быть связана с губными. Об этом свидетельствует, в частности, наличие такого примера, как *вазка* «охапка соломы, сена; большой сноп льна, ржи» (Яр — Серед) ЯОСК, с отсутствием смягчения (палатализации) после *v* — рус. (диал.) *вязка* «всякая веревка, шнурок; жгут из соломы для связывания снопов; шнурок для обуви; прут, соединяющий копелья полозьев саней; ручка косы» СРНГ VI 75, рус. (лит.) *вязанка*.

Замена общерусского палатализованного *v'* твердым *v*, очевидно, объясняется отсутствием палатализованных звуков в мерянском и отсутствием (невозможностью) палатального *v*, что привело к необходимости передачи славяно-русского палатализованного *v'* постмерянским русским (диалектным) твердым *v*. В связи с этим в приводившемся выше примере *бёзли*, фон. *б'озли* «возле» (Костр. губ. — Юрьев) МКНО имеется основание звуко сочетание *'o* (*o* со смягчением предшествующего согласного) рассматривать как позднейшее видоизменение первоначального (постмерянского) **/SOZl'i/*, где под влиянием гласного переднего ряда *i* следующего слога гласный заднего ряда *o* был заменен его переднеязычным соответствием *o*. Последующее *-'o-*, орф. *-ё-* ввиду, по-видимому, первоначального отсутствия смягчения губных в постмерянских русских говорах, как и в повлиявшем на них мерянском языке, следует рассматривать как позднейшую замену *-o-* наиболее близким ему русским звуко сочетанием, что (вместе с вытеснением мерянского языка) было вызвано все большим сближением фонетической системы его непосредственных русских говоров-преемников с фонетикой остальных русских диалектов чисто славянского происхождения. Последствием этого было вытеснение таких чуждых славяно-русскому языку звуков, как переднерядные *o* и *u*.

Наряду с уже отмеченными фонетическими особенностями русских говоров бывшей мерянской территории (в основном из области консонантизма), в которых они отклоняются от русского литературного языка и других русских говоров, обращают на себя внимание

те черты, которыми эти говоры сближаются, иногда в отличие от других русских диалектов, с русским литературным языком. В какой-то степени, как и рассмотренные выше дифференциальные черты, эти особенности могут быть связаны со свойствами мерянского языка, отражать его фонетическое своеобразие.

К числу подобных особенностей русских говоров постмерянской территории следует отнести в основном вполне четкое различие свистящих *s*, *z* и шипящих *ш*, *ж*, что сближает эти говоры с литературным языком и большинством других русских говоров и одновременно отличает от той части диалектов, в том числе контактировавших с финно-угорскими языками, например псковскими, где наблюдается смешение этих звуков [76, с. 72]. Вместе с тем нельзя не отметить, что некоторым говорам этой территории, в частности владимирским, свойственно «особое произношение мягких *s'* — *z'*, связанное с повышением степени их палатальности» [77, с. 86]. В связи с тем что говорам постмерянских территорий свойственна палатальность еще других переднеязычных (зубных) согласных (*t*, *d*, *n*, *l*, *r*), кроме *s*, *z*, причем палатальность согласных может быть следствием мерянского субстратного языка, есть основания считать, что палатальность (или значительная ее степень) в произношении мягких *s* и *z* во владимирских говорах вызвана той же причиной. Очевидно, по крайней мере, части его говоров были свойственны палатальные *s'* и *Z'*^{†††}. Вместе с тем различие в русских постмерянских говорах свистящих *s*, *z* и шипящих *ш*, *ж* свидетельствует о том, что в мерянском эти звуки должны были различаться.

Другой чертой консонантизма русских говоров постмерянской территории, сближающей их с литературным языком, является отсутствие цоканья (и чоканья). Случаи этих явлений (прежде всего цоканья) здесь чрезвычайно спорадичны (единственный пример - *мцела* «пчела» (Костр. губ.) МКНО) и относятся, скорее всего, к говорам пограничным с вологодскими, представляя собой иногда отдельные лексикализованные заимствования

†††† Возможно, этой особенностью мягких *s*, *z* во владимирских говорах и их первоначальной близостью к мягким *v* в прошлом *0*, *ж* следует объяснять то, что именно здесь, как частично и в костромских говорах, встречаются формы типа *молосный* с заменой фонетического *-шн-* в *молочный*, *пшеничный*, *яичница* звуко сочетанием *-сн-* [77, с. 293]. Поскольку подобная замена выступает явно в позиции перед твердым согласным, где должно было употребляться не палатальное, а твердое *-с-*, если в данной особенности усматривать (пост)мерянскую черту, невольно напрашивается предположение, не приближалось ли в части говоров любое мерянское *s* по своей артикуляции и акустическому эффекту к финскому *s*, которое также воспринимается как среднее между русскими *s* и *ш* [24, с. 22].

из них. На это явление (отсутствие цоканья и чоканья, то есть смешения этимологических аффрикат *ц* и *ч* или употребления одной из них) указывают и авторитетные издания по русской диалектологии: «Различение аффрикат *ч'* и *ц*: (*ч'*)ай, (*ч'*)исто, до(*ч'*)ка, но(*ч'*); кури(*ц*)а, кон(*ц*)а, конѢ(*ц*) — характерно для большинства говоров южного наречия и говоров ряда центральных областей (Московская, большая часть Калининской, Ярославской, Костромской, Горьковской), а также для литературного языка» [77, с. 82]. В связи с указанным следует полагать, что в мерянском, как и в мордовских и марийском языках, в отличие от прибалтийско-финских существовало две фонемы — *с* и *с*, поэтому местное финно-угорское население при усвоении славяно-русского языка могло произносить как славяно-русское *ц*, так и *ч* и не смешивать их. Как известно, явление цоканья объясняется влиянием на русский язык прибалтийско-финских, где возможна, хотя и изредка, аффриката *с* (*ц*) и полностью отсутствует аффриката *с* (*ч*), в связи с чем оба звука (*ц* и *ч*) в случае отсутствия специальной подготовки для усвоения звука *ч* передаются одной аффрикатой *ц*.

Менее ясны в совпадениях со славяно-русскими фонетическими особенностями и своей специфике, которая частично уже отмечалась, черты мерянского вокализма, насколько на них могут указывать особенности системы гласных местных русских говоров Костромской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и других областей, совпадающих с территорией, в прошлом занимаемой мерей. В принципе, — отвлекаясь от особенностей конкретной реализации соответствующих звуков, мерянских и славяно-русских, — можно говорить о значительном совпадении количества и состава гласных фонем мерянского и местного диалектного северно-(велико)русского языков. Своеобразие мерянского вокализма могло заключаться в том, что ему была чужда фонема *ы*, о чем говорят уже приводившиеся примеры ее замены в ряде местных слов звуками *у* и *и*, ср. *ручаг* «рычаг», *бриткий* «прыткий». Другой особенностью мерянского вокализма, возможно диалектной, могло быть наличие фонем (или их вариантов) в виде двух предполагаемых переднерядных лабиализованных звуков — *о* и *у*, соответствующих лабиализованным заднерядным *о* и *у*. Не исключено, что, поскольку в костромской группе северно-русских говоров, к которой относятся

говоры Костромской и Ярославской обл., как и в других северно-русских говорах, различаются два типа *е* — открытое *е* (рефлекс древнерусского *е*) и закрытое *е* (рефлекс древнерусского *ѣ*, иногда ему соответствует и или дифтонг *ие*), это явление было поддержано существованием в мерянском, а также в прибалтийско-финском языках двух близких им фонем — *а* (очень открытого звука, среднего между *е* и *а*) и *е* (закрытого *е*). В связи с тем, что некоторым русским окающим говорам, расположенным на бывшей территории распространения мерянского языка, в частности владимирским, свойствен

особый тип оканья, связанный с редукцией^{§§§§}, тогда как другим окающим говорам редукция не свойственна, можно думать, что она появилась там под влиянием мерянского языка, в котором в таком случае должны были выступать два редуцированных звука — переднего и заднего ряда е и е. Очевидно, в прошлом явление редукции северно-русским окающим говорам, распространенным на бывшей мерянской территории, было свойственно еще шире, чем теперь. Об этом говорят такие примеры из ярославских говоров, как *борно- вать* < * *бороновать* «боронить» (Яр. губ.) КЯОС 34 и *борноволах* < **бороноволах* «лошадь двух лет (букв. — лошадь, которая уже может волочить борону)» (Яр. губ.) КЯОС 34. Поскольку на бывшей территории мерянского языка в прошлом были распространены лишь окающие говоры северно-русского типа, из которых только в некоторых, например московских, позднее под влиянием южнорусского диалекта распространилось аканье, следует думать, что в самом мерянском языке было, возможно, оканье, то есть употребление о в безударной (как правило, предударной) позиции, однако оно было связано с редукцией в других, более отдаленных от ударного, слогах.

Таковы наиболее характерные фонетические черты русских говоров на территории былого распространения мерянского языка. Они дают возможность высказать более или менее обоснованные предположения о фонетике мерянского языка, которые сводятся в основном к следующему.

В мерянском языке употреблялись глухие взрывные фонемы р, t, k, сохранявшие полностью глухость только в (абсолютном) начале слова. В интервокальной позиции, которая, очевидно, могла возникать на стыке двух слов при особо тесной их связи, а также в положении между гласным и сонантом, внутри слова, глухие взрывные частично озвончались. Возникающие таким образом позиционные варианты глухих взрывных не приобретали полной звонкости, а являлись соответствующими полувзвонками (точнее, полуглухими) В, D, G. Принять возможность полного их озвончения нельзя ввиду того, что в мерянском выступал звук Р (средний между b и

v), одновременное сосуществование которого с b совершенно исключалось. Ввиду полувзвонкости интервокального варианта р, то есть его реализации в качестве В а не b, такими же полувзвонками, то есть D и G должны были являться соответственно позиционные варианты глухих взрывных фонем t и k. Таким образом, в мерянском языке по причине невозможности противопоставления глухих и звонких (полузвонких) в одной фонетической позиции отсутствовало фонологическое противопоставление взрывных согласных фонем по глухости-звонкости. Частичное озвончение характеризовало лишь позиционные варианты глухих взрывных фонем.

Кроме полувзвонкого В как позиционного варианта р, в мерянском языке существовало звонкое Р, которое исходно могло возникнуть как следующая (после В) позиционно обусловленная степень ослабления р (вытеснив и заменив ф.-уг. *w > *v, Р позже могло выступать в двойной роли — в качестве связанного и с праязыковым по происхождению р и с w(v)). Возникли ли и существовали ли здесь соответственно 5 и у как следующая после D и G степень ослабления t и k, на основании немерянских (в основном славянских по происхождению) лексических элементов русских говоров постмерянской территории установить невозможно. По крайней мере, промежуточную стадию развития глухих взрывных в определенной позиции (очевидно, в конце слова) для мерянского языка исключить нельзя, хотя сделать это можно с помощью немерянских данных только чисто теоретически.

В мерянском языке очевидно, существовали также глухие фрикативные — свистящий и шипящий — звуки s. и s,. Подобно глухим взрывным они имели, видимо, не фонематически противопоставленные им звонкие соответствия, а только позиционные полувзвонки варианты Z, и Z,.

В инвентарь мерянских фонем должны были также входить две аффрикаты — с и с. Чисто априорно, так как славяно-русские материалы соответствующих данных не предоставляют, следует и для них принять возможность существования позиционно

§§§§ Ср. характеристику этого типа оканья: «Полное оканье, т.е. различие (а) и (о) во всех безударных слогах, свойственно свр. (= северно-русским. — О.Т.) говорам, кроме владимиро-поволжских, где распространено неполное оканье с редукцией безударных гласных, кроме первого предударного. Другими словами, владимироповолжские (*гъвУбр'ит*), (*хърУош'о*) противопоставлены произношению (*гбвбр'ит*), (*хорошо*) остальных свр. говоров. Большая полновесность предударного слога во владимиро-поволжских говорах определяется характерной интонацией, свойственной им, и объясняет редукцию остальных безударных слогов» [76, с. 99].

обусловленных (в положении между гласными или гласным и сонантом) вариантов — соответствующих по-лузвонких Зи З.

В мерянском языке отсутствовал звук (фонема) X, однако это не исключает возможность существования в нем звука h, хотя на основании данных немерянского происхождения из русских говоров постмерянской территории установить или доказать это нельзя.

В мерянском языке могли употребляться сонанты j, l, m, n, r, по крайней мере для двух из которых -l и r- следует принять существование глухих вариантов L и R.

Для мерянской фонетики в области консонантизма, кроме того, были, очевидно, характерны палатальные (среднеязычные) звуки t' (D'), l', n', s', возможно, также r'. По крайней мере, в отношении t', l', n', s' можно предположить фонематичность.

Из гласных для мерянского языка можно предположить существование звуков а, о, у, и, предположительно также е и я. По-видимому, ему были также свойственны два редуцированных (переднего и заднего ряда — э и ё. Очевидно, здесь (возможно, только диалектно) употреблялись также передне-рядные лабиализованные о и у. Установить, все ли данные звуки были фонемами или часть из них являлась лишь вариантами фонем, на

основании рассмотренного материала невозможно.

Как и в других финно-угорских языках, в начале слова в мерянском языке мог выступать только один согласный (или гласный). Очевидно, мерянскому языку (возможно, только диалектно и в известный период) было также не чуждо явление своеобразного сингармонизма.

На основании рассмотренных данных нельзя ничего сказать о характере мерянского ударения.

Такой в основных чертах представляется фонетика мерянского языка на основании показаний немерянской (как правило, славяно-русской) лексики русских говоров бывшей мерянской языковой территории. Эти следы мерянского субстратного «акцента» в русских словах нуждаются, однако, в дополнении и уточнении, чтобы сделанные с их помощью предположения приобрели большую степень достоверности.

Рассмотрение фонетических особенностей русской лексики и ономастики предполагаемого мерянского происхождения, чему посвящен следующий раздел, позволит уточнить, проверить и дополнить сведения о фонетике мерянского языка, полученные здесь.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА

(НА ОСНОВАНИИ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ И ОНОМАСТИКИ МЕРЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

Для наиболее полного представления о фонетике мерянского языка необходимо рассмотреть также тот фонетический материал, который можно почерпнуть из включенных в местную русскую лексику и ономастику слов и названий мерянского происхождения. Поскольку в предшествующих исследованиях, касавшихся мерянского языка, изучались, как правило, только русские топонимы, реже географическая лексика предполагаемого мерянского происхождения, в сущности, преимущественно они представляют относительно готовый, не требующий предварительной этимологической аргументации материал для необходимого здесь фонетического анализа. Поэтому именно эти уже в известной степени изученные факты (прежде всего, представлявшие наиболее убедительными) будут рассмотрены в данном разделе. Данные этимологических разысканий автора настоящего исследования привлечены в ограниченном объеме, так как отягощенные большим числом этимологических доказательств они не могли способствовать

желательной четкости изложения фонетических свойств мерянского языка в их наиболее существенных и доступных проявлениях.

Особой осторожности требует пока решение вопроса о фонемном составе мерянского языка, поскольку при настоящем ограниченном представлении о мерянской лексике о фонематичности того или иного звука можно говорить только предположительно, опираясь не столько на факты самого мерянского языка, сколько на свидетельства других финно-угорских языков, — критерий относительный и недостаточно надежный. Более уверенно можно говорить о позиционно ограниченном употреблении тех или иных звуков, а следовательно, и об их возможной функции вариантов, а не самих фонем. Опираясь на эти внутренние свидетельства мерянского языка, каким он представляется сквозь призму русской лексики и ономастики мерянского происхождения, можно косвенно установить возможный круг его фонем. Однако при настоящей степени исследованности

мерянской лексики эти выводы о мерянской фонетике (точнее, фонологии) могут носить только предварительный, предположительный характер. Окончательная их аргументация будет принадлежать тому времени, когда накопленного мерянского лексического материала окажется достаточно для выяснения фонемной противопоставленности (непротивопоставленности, неотмеченности) всех обнаруженных мерянских звуков. В данном исследовании речь будет идти главным образом о мерянских звукотипах, под которыми будут пониматься предполагаемые мерянские звуки безотносительно к тому, фонемы это или их варианты. Предположения об их возможной фонематичности (нефонематичности) будут высказаны в дальнейшем.

Поскольку предполагаемый примерный перечень мерянских звукотипов был уже дан в конце предыдущего раздела, основное содержание данной части работы составят проверка и уточнение высказанных там предположений как в отношении конкретных намеченных звукотипов, так и фонетики в целом.

Вокализм

Звукотип *i*. К числу слов и названий предполагаемого мерянского происхождения, отражающих данный звукотип, можно отнести следующие: *il'Doma (-Deme) «безжизненный, лишенный жизни» — р. *Ильдомка* (Костр. губ.) Семенов 233 (ср. мар. *илыдыме* «нежилой, необитаемый»); *si «этот (эта, это)» — рус. (арг.) *си(ень)* «есть (букв. — это есть)» (Яр. губ. — Угл.) КЯОС 184 (ср. ф. *se(on)* «это (есть)», хант. *si* «это» < урал. **ci*/**ce* «это») ОФУЯ I 399; *lil' «душа» — рус. (диал.) *лили* «женские груди» (Твер. губ. — Каш) Смирнов 86 (ср. ф. *iouiu* «пар», эст. *leil* «то же», хант., манс. *lil* «душа», венг. *lek* < ф.-уг. **lewle* «дыхание, дух, душа») ОФУЯ I 424; *1ka(*1ke) «один» — рус. (арг.) *иканя* «копейка» (Яр. губ. — Угл.) КЯОС 81 (ср. ф. *uksi* «один», эст. *iiks* (пИе), саам. *ок'ъа*, морд. Э *вейке*, мар. *ик*, манс. *ак* (аке) < ф.-уг. *1к'Ье/*ик'Ье) ОФУЯ I 423. Фонетический характер данного звукотипа, одинаковый или несущественно различающийся на определенном, отраженном данными лексемами, синхронном срезе еще не предопределяет, что всегда в истории этих слов на месте звукотипа *i* выступал тот же звук. Напротив, есть основания предполагать, что только местоимение *si* «этот (эта, это)»

отражает первоначальное финно-угорское *i*. В слове *il'Doma, судя по лексеме того же корня *ela «живой» (ср. *Элино* — Костр. губ. — Кол), *i* — появилось секундарно в условиях нового закрытого слога. Не исключено также, что мер. *^ка* (*ike), реконструируемое на основе рус. (арг.) *иканя* «(одна) копейка», хотя бы вначале могло иметь звук и- вместо i-. Во всяком случае, независимо от его происхождения бесспорным является факт существования звукотипа *i* в мерянской фонетической системе.

Звукотип *и*. Данный звукотип отражен в целом ряде предполагаемых слов и названий мерянского происхождения, в частности таких, как *kutka (kutke) «орел» — д. *Кутко(бал)* (*< KutkoBal) «Орлиная (букв. — Орел) деревня» (Яр. губ. — Угл.) Vasmer 417 (ср. ф. *kotka* «орел», мар. *куткыж* «беркут», коми *кутии* «орел», ф.-уг. *koCka «то же») КЭСКИЯ 148; *juk (род.п. *juGen/-en* «река» — р. *Юг* (Jug) (Вл. губ. — Горох) Vasmer 394 (ср. ф. *joki* «река», эст. *jogi*, коми *ю*, хант. *юхан*, венг. ст. *j0* < ф.-уг. *joke-* «то же») КЭСКИЯ 334; *urma «белка» — рус. (диал.) *урма* «то же» (ср. ф. о'ча «белка», эст. о'ч, саам. Н оаг', морд., мар., коми *ур* < ф.-уг. *ога(*8га) «то же», ф. -va и мер. *-та < *0а под влиянием *-п в *urfa-п, род. п. ед.ч. — суффикс (ф.-уг. *-ра) КЭСКИЯ 297-298, Хакулинен I 125-126; *tuDopa (*-Defe) «знающий, осознающий, чувствующий» — рус. (диал.) *при-о-тудоб-еть* «окрепнуть» (Костр. губ. — Кол) МКНО, *о-тудовать* «отойти (прийти в обычное состояние)» (Костр — Антр) КОСК (ср. ф. *tunteva* «знающий; чувствующий» от *tuntea* «знать; чувствовать», связанного с саам. Н *dow'dat* «то же», коми *тодны* «знать», удм. *тодыны* «то же», венг. *tudni* «знать, уметь, мочь», нен. *тумда(ев)* «узнать; заметить» < урал. **tumte-* «знать (*< видеть)») КЭСКИЯ 283, ОФУЯ I 405; *^kut^* «собака, щенок» — рус. (диал.) *кутя* (м. р.) «кутенок, щенок» (Яр — Борисогл, Рост, Пересл; Костр — Нер) ЯОСК, *кутя-кутя* «слова подзыва для собаки или щенка» (Яр — Яр; Ив — Ильин) ЯОСК (ср. коми *кути*, *кутян*, *кутю* «щенок», удм. *куча(ни)*, хант. *кэтюв* «то же», манс. *кутюв* «собака», венг. *kutya*, возможно, также эст. *kutsikas* «щенок», нен. *хутю* «молодая собака; (детск.) собака» (? урал. *kut'(-U)а) «(молодая) собака») КЭСКИЯ 147.

Примеры свидетельствуют о полной реальности в мерянском языке звукотипа *и*, который может быть как продолжением финно-угорской (и даже уральской) фонемы *и*, так и следствием трансформации какого-либо другого звукотипа, существовавшего на его

месте в предшествующий период развития (прото)мерянского языка. С несомненностью это относится к тем случаям, где мерянскому и в новом закрытом слоге соответствует о (в первоначально открытом слоге) других финно-угорских языков: мер. $\text{^гта} < *ur^{\wedge}$ — с переходом -0- > -т- под влиянием -п в $*ur^{\wedge}-п$, род.п. ед.ч. $< \text{^rafa} < *оара$ — ср. ф. $orava < \text{^ra}oа < *o^{\wedge}pa$. Здесь и возникло, видимо, в результате выпадения (через стадию редукции) гласного предшествующего слога, что вызвало компенсирующее удлинение и сужение гласного (в данном случае о-) в новом закрытом слоге с последующим переходом в гласный следующей, более высокой степени подъема (u-) при утрате его долготы ($*ur^{\wedge} < *Or\theta a < \text{^refte} < \text{^}^{\wedge}pa$). Подобный переход отражен в мерянском $*ц1^{\wedge}a(\text{^э})$ «бывший (перен. — умерший, покойник)» — рус. (арг.) *ульшага* «умерший, покойник» (Углич) Свеш 92 (ср. мар. *улио* «присутствующий» от *улаш* «быть», родственного ф. $o11a$, эст. $o1eta$, морд. *улеме* «то же», коми *волі* «был», хант. *в&э ты* «быть», манс. *блү.:кве* «то же», венг. *volt* «был» (ф.-уг. $\text{^}^{\wedge}oie-$ «быть») ОФУЯ 417, что дает основания предположить возникновение указанной мерянской формы из предшествующего $*oleSa$ (-s e) > $*oleSa > *oi^{\wedge}a$ «бывший».

Звукотип о. Отражен в ряде русских диалектных названий, явные финно-угорские этимологические связи которых, а также известное их своеобразие и фиксация на бывшей территории распространения мерянского языка позволяют усматривать в них мерянские субстратные включения, реконструируя на основании этого соответствующие исходные мерянские лексемы, напр.: НоЕа ($\text{^}o1\text{^}e$) «перо» — д. *Толго(бол)* (ТоїдоБої) (Яр. губ. — Яр) Vasmer 416 (ср. саам. Н $dol'ge$ «перо (птицы)», морд. *толга*, мар. (*пые*) *тыл*, удм. *тылы*, коми *тыв*, хант. (вах.) *tOyel*, манс. (тавд.) *tscl*, венг. *tell*, ст. $\text{^}ul$ «то же», нен. Ъё «крыло» < $*^{\wedge}o < *tuej < \text{^}ul$ «то же», нен. Ъё «крыло» < $*^{\wedge}o < *tuej < \text{^}ul$ «то же», нен. Ъё «крыло») ОФУЯ 400; SW 166; $*]оп < *оп$ «есть (является)» — рус. (арг.) (*еи*)*ень* «есть (букв. — (это) есть)» (Яр. губ. — Углич) КЯОС 184 (ср. ф., кар., вод., эст. оп «есть (является)», иж. опо, вепс. от, лив. *um* «то же» < $*oti < \text{^}ma$ «свой») SKES II 430-431; $*п'ЕГО$ «болото» — рус. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро (характерное болотистыми берегами)» (Костр. губ. — Галич) Вин 48 < $*п'ЕГО-п$, род.п. ед. ч. от $*п'ЕГО$ в $*К'ЕГОп$ ($jah^{\wedge}$) «Болотное (букв. — болота) (озеро)» (ср. ф. ПОГО «ложбинка, болотистая лощина», мар. *норо* «сырой», удм. *нюр*

«болото; влага; сырость», коми *нюр* «болото», хант. (казым.) *нёрум* «то же», (сургут.) *n'urem* «болотистая местность», (вост.) *n'og* «муть (в воде); пыль», манс. (сев.) *няр* «болото», (конд) *n'er*, (тавд.) *n'er* «то же», венг. *purok* «сырость», сельк. *njarre* (*n'arv*) «болото, тундра» < урал. $*Погл$ ($*нога$) «влага, влажный; мокрое место, (болото)» MSzFUE III 486-487, КЭСКЯ 201, SKES II 393, ОЧНЯ I, XXVII; II 89; $*^{\wedge}lema$ «смерть; (тяжелая) болезнь» — рус. (диал.) *колема* «болезнь» < $*колема$ под влиянием *колеть* (яросл.) «(о скотине) умирать» КЯОС 90, *колетый* (моск.) «худой, тощий, изможденный» СРНГ XIV 132 и под. (Костр - Ветл) СРНГК), *колемать* «болеть, хворать» (там же) (ср. ф. *kuolema* «смерть», эст. *koolma* «умирать < умирание, смерть», иж. *koleta* «смерть», лив. *kUol'imi* < $*kOlimine/*kOlema$ «умирание», морд. *ку-лома* «смерть», мар. *колыма -и*, коми *куло'м* «то же», хант. (казым.) *хал'-ты*, удм. *кулы-ны* «умирать», манс. (ср.-лозьев.) *khalı* «умирает», венг. *halni* «умирать», нен. *хась* < урал. $*kole- (/kOle)$ «то же») ОФУЯ I 407, MSzFuE II 250-251; $*toma$ ($*tome$) «дуб» - р. *Тома* (Тома) (Костр. губ. - Солигал) Vasmer 380 < $*Тoma$ (*juk*) «Дубовая (букв. - дуб) (река)» (ср. ф. *tammi* «дуб», эст. *tamm*, морд. Э *тумо*, морд. М *тума*, мар. *тумо*, мар. Г *тум*, удм. *тылы* «то же», дперм. *туну* «дуб(?)» (*Тупи(-шор)* («дубовый (ручей)»?), где ф., морд., мар. слова происходят из $*tomma$ «дуб» (Collinder 155), раннепермское (с протофинским?) — из $*tum-ru$ «то же» (КЭСКЯ 286)); $*-Bo1$, ст. $*-Balo < *palo-$ второй компонент двучленных композитов-топонимов — «деревня, село»: д. (*Ku*)*бол/* *Kibol* < (*Ku*)*бало*, *Kibalo* (1578 г.) «Каменная (букв. — камень) (деревня)» (Вл. губ. — Сузд) Vasmer 417 (ср. хант. (вост.) *puYal* «деревня, населенный пункт» СВХД 381, манс. *павыл*, (конд.) *павел*», *пагел*», *па'йел* Баландин — Вахрушева 75, венг. *faluk*, мн.ч. *faluk/falvak* «то же», (?) саам. (вост.) *pUIKaz* «район выпаса (Weidegebiet)» Lagercrantz II 621, (?) кар. < ? саам. *palvi* «место жительства», угор. (саам.?) *raiuz* «деревня; селение < ? $*стоянка$ кочевников у места выпаса скота»).

В рассмотренных примерах всюду на синхронном срезе прослеживается звуко-тип о. Однако если в ряде случаев его можно считать унаследованным из предшествующих, более или менее отдаленных периодов в качестве исходного звука: $*jon'$ «есть (являться)» — из финского, общего для прибалтийско-финского и мерянского, SKES II 428-429; $*kolema$ «смерть; (тяжелая) болезнь» — из уральского;

*П'ЕГО «болото» — из протомерянского, ср. мар. *норд* «сырой»; **toma* «дуб» — из прафинского, общего для мерянского с прибалтийско- и волжско-финским (Collinder 155), то в некоторых случаях — как результат развития других звуков. В компоненте сложных слов *-*Vol* «деревня, селение», развившем свою форму в интервокальной позиции (между гласным и сонантом) из исходного *rol*, обнаруживается характерная для мерянского языка закономерность — переход гласного менее высокого подъема в гласный более высокой степени образования в случае, если он оказывался в новом закрытом слоге. Об этом свидетельствует более древняя форма слова (компонента), засвидетельствованная в XVI в. Поскольку слог в это время еще был открытым, вместо -о- выступал гласный -а-, ср. (*Ки*)*бало*, дающее возможность реконструировать более раннюю форму мерянского слова как **palo*. Почти полное формальное совпадение мер. **palo* «деревня, селение» с венг. *falu* «то же» < **pa*^h свидетельствует либо об общем происхождении с венгерским (и другими угорскими), либо о заимствовании (прото)мерянским в период контактов этого языка с угорскими языками. Явно вторичным является -о- также в реконструируемом мер. **tolGa*, где исходным было прауральское -и- (**tulka*). Интересно сходство в развитии вокализма мерянского и мордовских языков с уральскими языками восточной ориентации: развитие исходного -и- в -о-, помимо мерянского и мордовских, произошло во всех угорских и ненецком языках.

Звукотип а. Данный звукотип содержит целый ряд слов и названий предполагаемого мерянского происхождения. С наибольшей уверенностью о нем можно говорить применительно к первому слогу слова, так как именно он, вероятнее всего, нес на себе ударение. О других слогах слова — в какой степени там графическое отображение а и его произношение в современных, преимущественно окающих, русских говорах на постмерянской территории соответствует истинному положению в самом мерянском языке (даже в наиболее близкий нам позднемерянский период), — сказать значительно труднее. Судя по ряду примеров, в частности связанных с появлением новых закрытых слогов, о чем уже говорилось, в мерянском языке гласные, находившиеся в безударной позиции, могли выпадать. Этому мог предшествовать их переход из гласных

полного образования в гласные неполного образования, то есть редуцированные. Уже в связи с этим можно предположить, что и ряд гласных, сохранившихся в безударной позиции, произносился относительно ослабленно, нечетко, частично переходя в соответствующие редуцированные переднего или заднего ряда. Исходя из сказанного, а также того, что, хотя старославянский и древнерусский имели редуцированные (как и знаки для их передачи графически), эта традиция не получила развития в (велико)русской орфографии, современное графическое (и фонетическое) а непервых слогов, в особенности многосложных слов мерянского происхождения, нельзя во всех случаях принять с полной уверенностью за отражение звукотипа а. В части случаев — установить их с полной определенностью пока невозможно — а непервых слогов может, видимо, отражать мерянский редуцированный ряда е/е (иногда в непервых слогах слова его может, очевидно, передавать буква о). Ввиду этого здесь будут приведены только те случаи, где звукотип а выступает в первом слоге слова, то есть является наиболее вероятным. К их числу можно отнести, в частности, следующие примеры из диалектных апеллятивов и ономастики: **anDora* «кормящий (-ая), дающий (-ая)» — р. *Андоба* (приток р. Костромы — План р. Костромы 8) (ср. ф. *antava* «дающий» от *antaa* «давать», эст. *andev*, фон. *anDev* «дающий» от *andma* «давать», саам. Н. *vuow'det* «продавать», морд. *андомс* «кормить», удм. *удыаы* «поить», коми *удны* (в парном слове *вердны-удны* «кормить-поить (= угощать)»), (диал.) *удны* «поить», венг. *adni* «давать; продавать» < ф.-уг. **amta* «давать») КЭСЯ 295-296, MSzFUE I 69, ОФУЯ 418; **ata* (at'e) / **aca* «отец» — д. *Ате(бал)* (*Atebal*) «Отцовская (букв. — отец) (деревня)» (Моск. губ. — Дмитр) Vasmer 418, р. *Ача* (Костр. губ. — Гал) КГЗ, 83 (ср. ф. *ati* «тесть; свекор», *atti* «отец», *atta*, *aataa*, кар. *aatti*, вод. *aataa* «то же», эст. *aatt* «отец, дед; старик», (диал.) *att* «то же», морд. Э *атя* «старик; муж», морд. М *атя* «старик; дед», мар. *ача* «отец; свекор», мар. Г *'атя* «отец», удм. *атай* «то же», венг. *atya* «отец; монах», где нет уверенности в праязыковом происхождении всех слов, некоторые, например удм. *атай* (тат. *ата* «отец», зват. *атай*), можно считать заимствованиями, в связи с чем их праформа не ясна) SKES I 28, MSzFUE I 100-101; **palo* (*-*Balo*) «деревня, село» — д. (*Кн*)- *бало* (*Kibalo*) «Каменная (букв. — камень) (деревня)» (Вл. губ. — Сузд)

Vasmer 417 ср. также *(Нуш)поло* (NuSpolo), — очевидно, ошибочно вместо *(Нуш)-пало* (Вл. губ. — Александр) (ср. хант. (вост.) *puyel* «деревня, населенный пункт», манс. *па выл*, (конд.) *pagel* Баландин — Вахрушева 75, венг. *falu* «то же» < угор. **paluz-*; более подробно см. по поводу звукотипа *о*); **matkoma* (**matkema*) «езда, путешествие» — р. *Маткома* < **Matkoma* (juk) «Ездовая (букв. — езда) (река)», то есть удобная для езды, плавания (Яр. губ. — Пош) Дитмар 62 (ср. ф. *matka* «путь, дорога», *matkata* «путешествовать, ездить», кар. *matka* «путь, дорога», *matata* «идти по дороге; ездить; бегать», вепс. *matk* «путь, расстояние», вод. *matka* «путь, дорога», эст. *matk* «путешествие; поход; странствие; прогулка; поездка, экскурсия», *matkama* «совершать поход; путешествовать; странствовать» < прибалт.-фин. **matka* «путь, дорога» с дериватами); **pagGa* «гриб» (в том числе растущий на дереве) — рус. *панга* «губа, губка на древесных породах» (Костр. губ. — Ветл) МКНО (ср. морд. *М панга* «гриб», морд. Э *панго*, мар. *поя*о*, мар. Г *понгы* «то же» Саваткова 122, нган. *fanka* «быть пьяным (после опьяняющего напитка с грибом)» < (уран. **pagka* «гриб») Востриков ФУЛЭ 3233, Alvre II 57, Collinder 408, однако с другим вокализмом мер. **ро^а* «гриб», реконструируемое на основе названия р. *Понга* (*Ponga*) (**PogGa*(juk) «Грибная (букв. — гриб) (река)») (Костр. губ. — Кол) Vasmer 377; **kanDo*-(ms) «носить» — рус. (диал. груб.) *кандэхать* «работать» (из рус. (арг. постмер.) **кандать* «носить, таскать», осложненного суффиксом -*эх-*, под влиянием форм типа *несладэха, растерэха* и т.п. (Яр — Ярославль) ЯОСК (ср. ф. *kantaa* «носить», эст. *kandma*, саам. *N guod'det*, морд. *кан- домс*, мар. *кондаш*, хант. (вас.) *kantem* «поднимать на спине», манс. *khunti* «то же», нен. *hanna* «носить», эн. *kaddabo* (*haddabo*) «нести, уводить», нган. *kuanda'ama* «уносить», сельк. *kuandau* «носить» < уран. **kanta-* «то же») S[^]S I 157-158, Collinder 406, однако *konDo-^a* «несущий(-ая)» в названии р. *Кондоба* (приток р. Нельши — Костр — Ней), где в первом слоге отражен другой вокализм. Как показывают рассмотренные примеры, в основном мерянскому языку свойственно сохранять унаследованный из предшествующих периодов звукотип *а* в случае, если слоговая структура слова не претерпевала изменений. Когда в результате выпадения гласного последующего слога слог с *а* секундарно становился закрытым, этот звук переходил в *о* (ср. *-*Vol*

«(-)деревня» < *-*Valo* «то же»). Однако, как свидетельствуют два последних примера, иногда в мерянском *а* переходило в *о* при сохранении всех его гласных. Очевидно, это связано с расхождением, существовавшим между отдельными мерянскими диалектами, одни из которых (сохранявшие *а*) сближались этой особенностью с прибалтийско-финскими и мордовскими языками, а другие (где *а* переходило в *о*) — с марийским языком. Как и рядом других отношений, этой чертой мерянский, расположенный между прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками, с лингвистической точки зрения представлял собой связующее звено, переходную зону между ними.

В отличие от рассмотренных звукотипов более сложны для установления остальные мерянские гласные, конкретные фонетические особенности которых можно только предположить сквозь две основные преграды, мешающие их реконструкции, — неизбежное сближение со славянорусской фонетической системой (и соответственно отдаление от исходной финно-угорской, мерянской), а также несовершенство отражения звуковой фонетической системы средствами ее графической передачи.

Есть основания думать, что в мерянской фонетике не было единого звукотипа е. Скорее всего, в мерянском существовало два звукотипа — гласный е переднего ряда среднего подъема и гласный а переднего ряда низкого подъема. Оба звукотипа в роли фонем предполагаются для финно-угорского праязыка [53, с. 159]. Оба звука преимущественно как фонемы сохраняет до сих пор большинство финно-угорских языков — финский, эстонский, карельский, вепсский, ижорский, водский, ливский, мордовский-мокша, мордовский-эрзя (диалектно), марийский (луговой и восточный, диалектно), марийский (горный), саамский. Отсутствует звукотип *а* только в мордовском-эрзя литературном, марийском литературном, а также во всех пермских (коми-зырянском, коми-пермяцком, удмуртском) и угорских (хантыйском, мансийском, венгерском) языках.

Наиболее убедительное отражение существования звукотипов *е* и *а* обнаруживается в формах единственного и множественного числа реконструируемых мер. **rep'* «двуругие грабли» (ед.ч.) и *panek* «то же» (мн.ч.), восстанавливаемых на основе русских диалектных форм с -*е/-и-* и -*я-* в корне слова, причем -*е/-и-* преобладает в вариантах слова,

не осложненных -к-, а -я в его
разновидностях с -к- в основе,
непосредственно следующим за корнем, ср.:
бени «вилы с двумя длинными зубьями» (Яр)
ЯОСК, *бини* «двурогие вилы для раз-
брасывания навоза на поле» (Яр) ЯОСК, *ве-
нечки* «двурогие деревянные вилы, которыми
трясут солому при обмолоте» (Костр) ЯОСК —
бянки «деревянные вилы с двумя зубьями» (Яр)
ЯОСК, *бяньки* «деревянные вилы с двумя
зубьями для уборки соломы при молотье»
(Вл. губ.) СРНГ III 360, *вянки* «вилы
небольшие двурогие, тупые» (Костр) СРНГ VI
79. Диалектографическая характеристика форм
данного слова (его распространенность на
бывшей мерянской территории или — в
результате переселений — к востоку от нее),
его финно-угорская и мерянская типичность
(наличие одного согласного вместо
предполагаемых исходных двух в начале слова;
колебание б-/в-, отражающее характерный для
мерянского звук Р; переход в новом закрытом
слоге гласного более низкого подъема в глас-
ный более высокого подъема) дают основание
рассматривать его как включение из
субстратного мерянского языка. В мерянском
языке его можно считать заимствованием из
какого-то индоевропейского языка, скорее
всего — ассимилированных мерей носителей
индоевропейской фатьянов- ской культуры,
предполагаемое слово языка которых *dwani
(мн.ч.) «(вилы-)двойни» было видоизменено в
мерянском согласно его фонетическим и
грамматическим закономерностям в дмер. rapī
(ед.ч. «вилы с

двумя зубьями» (более подробную этимологию см. в гл. «Лексика»). При дальнейшей утрате конечного гласного в форме единственного числа слова возник новый закрытый слог, что привело к переходу -а- > -е- (*0en' < *0an' < *0ane < *0ani (ед. ч.) «вилы с двумя зубьями»). Поскольку в форме множественного числа слова корневой слог оставался открытым и удлинения и сужения гласного а с дальнейшим его переходом в е там не происходило, форма множественного числа и при редукции конечного гласного основы сохраняла первоначальный вокализм *panek < *^anik (мн.ч.) «грабли с двумя зубьями»). При усвоении восточными славянами форм мерянского слова, переведенного по образцу других подобных лексем в категорию существительных типа рХигзЫе tantum (по модели *грабли, вилы, сани* — без формы единственного числа), где формы *бени* — *бян(ь)ки* воспринимались как образования, идентичные чисто славянским (типа *сани* — *санки*), мерянский звук -а- стал передаваться звукосочетанием -'а-, орф. -я-, то есть -а- со смягчением предшествующего согласного. Что касается мерянского -е-, имевшего, очевидно, в отличие от очень открытого гласного -а- довольно закрытый характер, то оно было субституировано восточными славянами наиболее близким к мерянскому славяно-русским звуком -Ь- (-е-), который в северно-(велико)- русских говорах и, очевидно, их прото(ве-лико)русских говорах-предках древнерусского языка в качестве закономерного рефлекса имел е (е закрытое) или возникшее из него и [76, с. 40]. Отсюда звук -е- или -и- как закономерное отражение северно-русского рефлекса друс. -Ь-, отражающего, в свою очередь, мерянского е. Если бы в корне мерянского слова выступал звук -е-, при образовании нового закрытого слога его бы всюду закономерно заменил -и-, то есть существовала бы только форма *бини* без параллельного ей фонетического варианта с -е- как результата отражения -Ь- (-е-) (мер. ѣе,) в северно-русских (постмерянских) говорах. С другой стороны, меряское -а- (со смягчением или без смягчения предшествующего согласного) при возникновении нового закрытого слога дол-

38

жно было бы закономерно дать рус. (постмер.) *бѣни < мер. P'0П < P'an < *P'ani или *бони < мер. *^0П < *pan < *^ani с отражением соответственно формы мерянского множественного числа как *бян(ь)ки* (*ба-н(ь)ки). Таким образом, единственно возможным объяснением русских звуков -е-/ -и- (в

формах *бен(и)* / *бин(и)* / *вен(ѣчки)*) и -я-, фон: 'а- (в формах *бян(ь)ки/вян(ь)ки*) является их интерпретация в качестве передачи мерянских звукотипов е и а при отсутствии смягчения предшествующего мерянского губного согласного. Следовательно, русская буква я в словах мерянского происхождения может служить не только для передачи сочетания предшествующего мягкого (палатального) согласного, в том числе j (й), с последующим -а-, но и передавать звук а подобно тому, как она используется для передачи этого звука в финских и эстонских географических названиях: ф. Jyvaskyla — Ювяскюля, Janis- jarvi — Янисъярви, Jarvenpaa — Ярвенпя, Jaaski — Я(а)ски [114, с. 794]; эст. Vandra — Вяндрa, Munamagi — Мунамаги, Jagala — Ягала, Javakandi — Ярваканди [160, с. 627, 630, 635]. Сложность расшифровки случаев употребления звукотипов а и е в мерянском языке на основании их графического отражения в русских словах и названиях мерянского происхождения, как показывают уже примеры передачи звука а в финских и эстонских топонимах, очень велика. Вызвано это прежде всего тем, что специфический для мерянского языка и чуждый русской фонетической системе звук а выступает не в мерянских текстах, где было бы закономерным стремление точно его передать, а в словах и названиях, являющихся лишь субстратными включениями в русском языке, приспособлявшимися к особенностям его фонетики. Ввиду отсутствия звука а в русской фонетической системе, а также соответствующей ему буквы, средствами русской графики невозможно его передать, что видно, в частности, на примере современной мокша-мордовской орфографии, располагающей только русскими буквами: здесь звук а передается в начале слова буквой э (*эши*, «колодец»), в середине — буквой я (*мярьги* «скажет»), в конце — буквами е или я (*веле* «село», но

вальмя «окно») [113, с. 271]. В ходе исторического развития в фонетике мерянского языка могла измениться как роль звукотипов е и а (утратив унаследованную ими из праязыка фонематичность, они могли стать вариантами одной фонемы), так и бывшее их распределение в случае сохранения обоих звуков в качестве фонем (в отдельных случаях рефлексy финно-угорского е могли переходить в а и, напротив, а могло заменяться е). Поэтому в настоящее время невозможно определить точно, особенно для позднермерянского периода, случаи употребления в мерянских словах обоих звукотипов. Можно их только с известной степенью достоверности предположить на основании соответствий в родственных языках, сохраняющих обе фонемы, а также опираясь на их отражение в графике.

Наличие звукотипа -е, по крайней мере для раннего периода истории языка, можно предположить в следующих словах мерянского происхождения: ***** ††††† ††††† peZa/peZe «гнездо» - н.п. *Пезо(бал)* на р. *Пеза* *PeZa(juk) «Гнездовая (букв. - гнездо) (река)» (ср. ф. Pesajarvi «Гнездовое (букв. - Гнездо) озеро»), ф. pesa «гнездо», эст. pesa, саам. H basse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжаши*, мар. Г *пыжаши*, коми *поз* «то же», удм. *пуз* «яйцо», хант. (конд.) *pit* «гнездо», манс. *питу*, венг. *feszek*, ст. *feze*, нен. *пидя*, эн. *fide*, нган. <patte, сельк. *peD*, кам. *phida* < урал. *pesa); *lejma < *leZ'ma < *lesma «корова» - рус. (диал.) *лейма* «то же» (Костр. губ. — Гал) ООБС 102 (ср. ф., кар., иж., вод. *lehma* «корова», вепс. *l'ehm*, эст. *lehm*, лив. *ni'em*, *ni'eme* «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», (диал.) *iSme* «то же», морд. М *лишме* «конь (только о красивом или игрушечном коне)» < *lesma «(дойная) кобыла», откуда, очевидно, семантическое развитие в двух направлениях: 1) (в мордовских языках) лошадь вообще; 2) (в прибалтийско-финских и мерянском) > дойное животное (кобыла, корова) > корова»¹¹ SKES II 284, Nirvi 257^{§§§§§}; *kera (*kere) «кора, лубок» - р.

*****¹¹ Не исключена связь исходного †††††lesma «кобыла» с тюркским *alasa* [ЭСТЯ I 136-137], лежащим в основе чув. < * булг. *лаша* (*laSa*) «лошадь» (?lasama < lasa-ema «лошадь-мать»); в таком случае слово могло бы рассматриваться как возникшее на основе древнего заимствования из болгарского языка.

§§§§§ Фонетическое своеобразие слова, как и место фиксации, исключают возможность его заимствования из прибалтийско-финских языков [SKES II 284], заставляя как наиболее оправданное принять его исконно мерянское происхождение. Ср. также работу Калима [138, с. 151], ставившего под

Кера (Костр. губ. - ^р) Vasmer 386, КГЗ 237 (ср. ф. *keгі* «новая кора березы, появляющаяся на месте содранной бересты», саам. H *garra* «кора», морд. Э *керь* «кора, лубок», морд. М *кяр* «то же», мар. *кур* «лубок», мар. Г *кыр*, удм. *кур* «то же», коми *кор* «то же; кожура, шелуха», хант. (вост.) *kiг* «тонкий наст, тонкая корка льда», манс. *keг* «кора; кожура, скорлупа», венг. *kereg* «кора; корка; скорлупа», ст. *keг* (в (has)ker «брюшина (букв. - жи- вот(а) кора)») < ф.-уг. *kere* «кора»); *pel'ma* < *pelema «боязнь» - рус. (арг.) *пельмать* «знать < бояться» (Костр. губ. - Гал) Вин 49 (ср. ф. *pelata* «бояться», *pelko* «страх, боязнь», эст. *pelgama* «бояться», морд. *пелема* «боязнь», удм. (диал.) *pulini* «бояться», коми *повпы* «то же». *полом* «боязнь», хант. (казым.) *палты* (*палты*) «бояться», манс. *пилуукве*, венг. *felni* «то же», *felelem* «боязнь», нен. *пилюць* «бояться» < урал. *pele- «то же») MSZFUE I 198, КЭСЯ 223.

Исходное прафинно-угорское (п्रा-уральское)-е-, как и в основном сохранение той же закрытости звука (иногда реф- лексация его в виде -і-) в большинстве финно-угорских (уральских) языков, дает основание полагать, что во всех приведенных реконструированных мерянских словах, во всяком случае в ранний период их истории, на месте праязыкового -е- выступал мерянский звукотип е.

В противоположность этому с большим основанием можно предположить наличие звукотипа а в таких предполагаемых мерянских словах: *kaGa* (*kaGe/-e*) «кукушка» - р. *Кега* (Кеда) (Костр. губ. - Буй) Vasmer 382 (ср. ф. *kaki* «кукушка», уменьш. *kakO*, кар. *kagi* «кукушка», вепс. *kagi*, *kagi*, вод. *сако*, эст. *kagu*, (диал.) *kagi* VMS I 352, лив. *ke'G*, *ka'G*, саам. H *giekka* (? балт., ср. лит. *gege* (дЄдЄ> «то же») SKES II 259; *jahre/-e «озеро» < *jayre < JaG(e)re - р. *Яхрен* < *jahren (juk) «озерная (букв. озера) (река)» (Вл) Смол 208, н.п. *Яхро(бол)* (*Jachrobol*) < *jahre(Bol) «озерная (букв. озера) (деревня)» (Яр. губ. - Дан) Vasmer 416 (ср. ф., кар. *jarvi* «озеро», вепс. *jarv*, *jarv*, *jarf*, вод. *jarvi*, эст. *jarv*, лив. *jara*, саам. H *jaw're*, морд. Э *эрьке*, морд. М *эрькке*, (диал.) *jer ke* (морд. < -ке < *kka по происхождению — суффикс уменьшительности, присоединенный к основной форме (j)ar), мар. *ер*, мар. Г *йар* «то же») SKES I 132; мер. *paHa/-e* «мало» — рус. (диал.) *ваха* «немного (Костр — Парф); пустяк (Яр — Рост)» ЯОСК (ср. ф. *vaha* «малый», *vahan* «мало», вепс. *va ha(n)* «мало», эст. *vahe* «мало», морд. Э *вишка* «малый, маленький», *вишкине* «маленький», *веж(гель)* «(анат.) сомнение заимствованный характер слова.

язычок (букв. — малый (язык)) < *vesi(e)* (кель) < **vasa* (keli).

Мерянское и саамское соответствия ф. *jaŋvi* и под. особенно ясно показывают, что в основе всех этих слов лежит заимствование из незасвидетельствованного древнего индоевропейского языка ВолгоОкского междуречья — скорее всего носителей фатьяновской культуры, — отраженное данными финно-угорскими языками и реконструируемое с их помощью как **j'a'gere(-)* < и-е. **aghero-* (форма местного падежа?) «озеро», родственное пел. **ezero* (рус. *озеро*) и лит. *eZeras* (*aZeras*) «то же», что дало исходное ф. **jakere*, послужившее отправным пунктом своеобразного развития в каждом из языков. В мерянском через стадию *ja G(e)re*, отраженную, очевидно, в рус. (диал., арх.) *игра* «выдающаяся в море и заливаемая во время прилива часть морского берега; песчаная отмель в устьях рек, покрываемая при приливе водой» Мурз 263, слово путем фрикатизации -*G-* (**jav(e)re*) приобрело позднейшую форму *ja hre*, отраженную рус. (постмер.) *Яхре-*. В прибалтийско-финских языках -*k-*, находившееся в середине слова, закономерно перешло в -*v-* [53, с. 135], что дало **jav(e)re/-i*, очевидно, отраженное в саам. Н *jav're*, которое могло быть заимствовано из прибалтийско-финского, а также в лив. *jaŋa* < **jav(e)re* с секундарным удлинением корневого гласного, вызванным выпадением -*v(e)-*. В остальных прибалтийско-финских языках вследствие метатезы возникла форма типа ф. *jaŋvi*, эст. *jaŋv*. Что касается мордовских и марийского языков, то в них вследствие закономерного выпадения -*k-* и его рефлексов в середине слова [там же] должна была возникнуть форма **jaŋe*, получившая затем своеобразное развитие в каждом из языков. Мягкость *ŋ'* в мордовском, как и в вепсском, указывает на то, что конечный гласный в финно-угорских языках, а также в индоевропейском языке-источнике был гласным переднего ряда. Об этом, а также о первоначальном своеобразном сингармонизме всех данных финно-угорских языков говорит отражение и -*e*, начального *ja* - с гласным заднего ряда в виде *ja-*, то есть перевод его в передний ряд.

Не менее сложен вопрос о возможности существования в мерянском языке лабиализованных гласных переднего ряда о и U, из которых *U* принимается для вокализма финно-угорского праязыка [53, с. 159], оба же звука характерны для почти всех прибалтийско-финских, марийского и

венгерского языков. Ввиду полной чуждости этих звуков фонетической системе русского языка их существование в мерянском можно предположить лишь на основании косвенных данных, да и то в единичных случаях. Чтобы судить о том, насколько широко употреблялись рассматриваемые звуки в мерянском языке, насколько они были типичны для его фонетической системы, данных у науки пока нет. Исходя из того, что их употребление было связано с явлением своеобразного «обратного сингармонизма»^{*****} (влияния гласных конца слова на начальные), можно считать эти звуки достаточно для него характерными, хотя этого не достаточно, чтобы говорить одновременно об их фоне-матичности.

Помимо славяно-русского по происхождению примера *бёзли*, свидетельствующего о возможности существования формы *RoZli* «возле» с этим мерянским зву-котипом, о его употреблении в мерянском говорит и слово, по всей видимости, чисто мерянского происхождения, сохранившееся в названии р. Вёкса на бывшей мерянской территории (Костр - Гал) (КГЗ, 78)^{*****}. Поскольку мерянскому языку не были свойственны мягкие (палатализованные) губные, характерные для русского языка, о чем косвенно свидетельствует форма *вазка* вместо *вязка* в одном из русских постмерянских говоров, русское -ё-, фон. -о- со смягчением предыдущего согласного следует рассматривать в качестве передачи средствами русской фонетики мерянского звукотипа о, ср. аналогичную субституцию того же звука в немецком и французском языках: нем. *Goethe* — рус. *Гёте*, нем. *Koln* — рус. *Кёльн*, фр. *^auffeur* — рус. *шофёр*, фр. *^iffeur* — рус.

***** Связывать прямо эту своеобразную межсловую гармонию гласных, больше напоминающую германский умлаут, чем сингармонизм, с этим последним не представляется возможным. Скорее это явление напоминает один из тех процессов выравнивания вокализма основы, который, по мнению В.М.Иллича-Свитыча, мог быть связан в алтайских и уральских языках с переходом от досингармонического состояния к сингармонизму: «Наличие в алтайских языках в ряде случаев переднерядных и заднерядных вариантов основы свидетельствует, по мысли автора (В.М.Иллича-Свитыча. — *О.Т.*), о том, что в период, предшествующий сингармоническому, первый и второй гласный основы относились к разным рядам. Это в дальнейшем устранялось обобщением в одном случае ряда первого слога, а в другом — второго... Подобными соображениями руководствовался, по-видимому, автор и в реконструкции досингармонического состояния уральских языков» [28, с. IX].

††††† 0 произношении *Вёкса* и его старой

куафёр.

Название *Вёкса* дано реке, которая, в отличие от остальных рек, связанных с Галичским озером, не впадает в него, а вытекает из него, впадая в р. Кострому и являясь как бы каналом, протоком между рекой и озером. Есть основания сопоставить русское (постмерянское) *Вёкса* со связанными с ним семантически и формально ф. *vuoksi* (ст. *vooxi*, то есть *vooksi* «(большое) течение, поток; струя, река; прилив» SKES VI 1813), а также с коми *вис* «проток, канал (соединяющий озеро с рекой)» (*виск*, ср. *виска ты* «озеро с протокой (проточное озеро)»). Здесь ф. -по- соответствует коми -и- (ср. ф. *vuotso* «длинное, узкое болото; мокрое место» — коми *видз* «луг, пожня»), а ф. -ks- — коми -с(к)- (-s(k)-) (ср. ф. *maksa* «печень» — коми *мус* (*муск*-) «то же») (Лыткин Ист. вок. 178; КЭСКИЯ 21), следовательно, оба слова одного происхождения. Эти явно генетически связанные, хотя, насколько известно, еще не сравнивавшиеся слова (SKES VI 1813-1814, КЭСКИЯ 58), очевидно, этимологически тождественны реконструируемому с их помощью и на основе его русского (постмерянского) отражения *Вёкса* исходному мер. ******rokse* (?> -е) «проток; река, соединяющая озеро с другой рекой»^{ssssss} Появление в мерянском о, соответствующего старофинскому -oo-, наиболее вероятно объяснить в данном случае тем, что этот переднерядный звук появился под влиянием гласного переднего ряда в следующем за ним слоге, скорее всего -е. Сохранение в финском -oo- перед -i- объясняется, очевидно, тем, что -i — рефлекс более древнего прибалтийско-финского звука среднего ряда -i- [7, с. 293], перед которым могли выступать, не переходя в свои переднерядные соответствия, гласные заднего ряда. Появление конечного -а в рус. постмер. *Вёкса* вместо *Вёксе* может быть вызвано естественным для славянской системы

речных названий воздействием женского рода: река *Десна*, *Москва*, *Волга* ... *Вёкс-а*. Другим, менее вероятным, было бы объяснение изменения окончания чисто внутренним мерянским процессом вторичной утраты вокальной гармонии и в связи с этим замены переднерядных редуцированных в конце слов их заднерядным соответствием (**rokse* > **rokse*) с дальнейшим включением топонима в ряд существительных женского рода на -а уже под влиянием русской грамматической системы.

Так же единичны и, пожалуй, еще менее надежны предполагаемые случаи отра

******vuksB*?) в юго-западной части Горьковской [с 1990 г. — Нижегородской. — *Прим. ред.*] обл.

¹⁶ Возможно, как первоначально связанное с этими названиями следует рассматривать и название р. *Микишца* (*Miksia*) < **Микишха*? (Костр. губ. - Кин) Vasmer 384.

§§§§§традиции помимо современного произношения названия у местных жителей, хотя в написании это часто не отражено, свидетельствует передача названия как *Вюкса* на одной из старинных карт Галичского озера, хранящихся в Галичском краеведческом музее.

*****¹⁵ Следовало бы проверить, не связаны также с ними этимологически вероятнее всего финно-угорский субстратный (муромский?) топоним *Выкса* (отражение исходного

жения возможного в мерянском языке звукотипа *и*. Учитывая, что он совершенно чужд русской фонетике, его можно усматривать в мерянских словах, где поетмер. *и(і)* в прибалтийско-финских языках соответствует *и* (фин. *у*). Чаще всего звук *и* в русском, особенно в словах, проникших книжным путем, субституируется *ю* (*у* с преяотацией или после смягченного согласного): нем. *GUnter* - рус. *Гюнтер*, нем. *Uber* - рус. *юбер*, фр. *Humanite* - рус. *Юманите*, фр. *surrealisme* - рус. *сюрреализм*. Однако при устном заимствовании он в силу своей артикуляционной связи в русском как с *-у-* (по лабиализованности), так и с *-и-* (по принадлежности к звукам переднего ряда высокого подъёма) мог передаваться также звуком *и*, например, в проникшем устным путем из немецкого *фриштык* (разг.) «завтрак» < нем. *Fruhstuek*, ср. также рус. (шутл.) «Морген фри нос утри» < нем. *morgen fruh* «завтра утром» по поводу легкости немецкого завтрака. Поэтому нельзя исключить, что постмерянское рус. (арг.) *ика-ня(-не)* «одна копейка» (Яр. губ. — Углич) Свеш 82, (Костр. губ. - Кин) ТОЛРС XX 138, где корню *ик(а)* соответствуют мар. *ик* (*ik*) «один», эст. *uks*, ф. *yksi*, может отражать не мер. *ikan'a* (*ikane*) «(уменьш.) один (единичка)», а *ukana*. Не исключено, что первоначально существовавший в мерянском языке звукотип *и* постепенно, с развитием меряно-русского двуязычия и все большим влиянием русской фонетики на мерянскую, был заменен звуком *і*. В таком измененном виде соответствующие мерянские слова вошли в русский в качестве мерянских субстратных включений. С этой точки зрения показателен пример ливско-го языка, в котором под влиянием латышского, фонетической системе которого также чужды звуки *О* и *и*, эти звуки постепенно исчезли, заменившись соответствующими нелабиализованными, ср.: «Гласные *о*, *и* были утрачены ливским языком в результате делабиализации (*и* > *і*, *о* > *е*), которая распространилась под влиянием латышского языка...» [18, с. 139]. О том, что этот процесс протекает в ливском буквально на глазах истории, свидетельствует следующее замечание исследователя ливского языка Э.Э.Вяри: «В восточнолив- 42 ском говоре гласными фонемами являются *а*, *а*, *о*, *и*, *е*, *е*, *О*, *і*, в западном говоре - *а*, *а*, *о*, *и*, *е*, *е*, *і* (*у* более пожилых ливов также *и*)» [Там же]. Более показательны, однако, не подобные случаи, где, опираясь на факты и аналогичные процессы родственных языков, можно

ограничиться только предположениями, а те примеры постмерянских включений, где отражен, - видимо, диалектный, - факт перехода мер. *и* в *и* (или *і*), причем иногда отражено даже колебание между *-'у-(-ю-)* и *-и-*, что, скорее всего, является свидетельством наличия в данном случае звука *и*, передаваемого то с помощью русского *ю*, то русским *и*, ср. названия рек: *Шордик* (*Sordik*) (Костр. губ. - Кол) Vasmer 377; *Шарниха* (*Sarnieha*) (Костр. губ. - Юрьев) Vasmer 383; *Пенюх/Пених* (*Panjueh, Penueh/Penieh*) (Вл. губ. - Горох) Vasmer 934; *Ландих* (*Landieh*) (Вл. губ. - Горох) Vasmer 394-395; *Тюних/Тюни-ха* (*Tjunieh/Tjunieha*) (Вл. губ. - Шуй) Vasmer 395; *Вондюха* (*Vondjueha*) (Вл. губ. - Александр) Vasmer 400¹⁶. Увязывая первый компонент этих названий преимущественно с марийскими словами, М.Фасмер по-разному трактует второй компонент. Так, в гидрониме *Шордик*, говоря о его связи с мар. *сар5е* «лось», он совершенно не касается компонента *-ик*, который, поскольку наименование не является славяно-русским по происхождению, вряд ли может рассматриваться как русская морфема. Гидроним *Шарниха* рассматривается им как состоящий из мар. *sarne* «ракита» (*Salweide*) + рус. суффикс *-иха*. Что касается названия р. *Пенюх* (*Пений*), где едва ли заведетелствован другой компонент (скорее всего, лишь его вариант), то его он находит возможным рассматривать в качестве составной части соответствующего мерянского, в его понимании диалектного марийского, слова, сопоставляя с мар. *репееуе*, *ринеуе*, (*pineiye*) «щенок», отличающимся от данного гидронима как корневой, так и суффиксальной частью, ср. мар. *пинеге* «щенок», мар. г *пннёгы* «то же». Гидроним *Ландих* (*Landieh*) рассматривается М.Фасмером как

сложившийся из трех частей, сопоставимых с мар. *лайдака* «небольшая низина, низкое место (особенно в лесу)» + мар. *joys* «река» + мар. суффикс *-ика*. Название *Тюних* анализируется в качестве связанного с мар. *teg/tug* «устье реки» + преобразованное мар. *joie* «река». Точно так же, то есть на соответствующее связанное с марийским слово *|Jondo* «стебель, камыш» + мар. *joie* «река», членит он и гидроним *Воядюха*. Очевидно, более логично видеть во всех указанных вторых компонентах результат диалектного развития исходного мер. **joGe* (< -e), возможно, подвергшегося влиянию со стороны близкого по форме русского суффикса *-иха*. Однако для того, чтобы подобное сближение стало допустимым, фонетическое развитие мерянского слова должно было идти вначале в сторону сужения гласного -о- в -и-, а затем, очевидно, под влиянием еще сохранившегося гласного переднего ряда -е- — в сторону его перехода в гласный переднего ряда -U-. Это преобразование вокализма сопровождалось, видимо, трансформацией интервокального -G- во фрикативный -у-, поэтому слово через стадии **joGe* > *joie* > **juie* > **jUy(e)* должно было приобрести форму **jUy* > **jUh* «река», что в северно-русской речи при отсутствии звуков, адекватных мер. U и у/h, неизбежно давало *-их* или *-юх*. Поскольку в славянском языковом сознании слово «река» связано с представлением о женском роде, постмерянское *-их* могло быть вторично сближено с русским суффиксом *-иха*, что вызвало появление соответствующей формы в гидронимах постмерянской языковой территории. Следовательно, есть основания считать возможным существование в мерянском звуко-типов о и U.

Данные сохранившихся мерянских по происхождению апеллятивов и ономастики позволяют предположить наличие в этом языке также редуцированных звуков. На это указывают случаи выпадения гласных, ср.: **ul'sa* «бывший» — рус. (арг.) *ульшага* «покойник < бывший» (Яр. губ. — Углич) Свеш 92); **ul'sta* «гибель, смерть < бывшенье, переход в бывшее» — рус. р. *Ульшма* (Костр.); **juk* «река» — р. *Юг* (Вл) < **joGe* (<-e); **игта* «белка» — рус. (диал.) *урма* (Костр. губ. — Кол ООВС 240) < ^гара, ф. *ogava* «то же». Указанные изменения не могли происходить минуя стадию перехода гласных полного образования в редуцированные, которые затем выпадали, давая нуль звука (с палатальностью в случае редукции гласного переднего ряда). Поскольку вызвавшая эти переходы причина, — очевидно,

сильное инициальное ударение, — продолжала существовать, наряду с выпадением гласных должна была происходить редукция вокализма послеударных слогов, приводившая не к исчезновению их, во всяком случае сразу, а к появлению редуцированных. Отсутствие в русском языке редуцированных в качестве отдельных фонем и существование их только как позиционных вариантов гласных полного образования, связанное с отсутствием необходимости передачи их на письме особыми знаками, а также то, что все постмерянские лексические единицы в качестве неотъемлемой части русской лексики подвергались в ее системе неизбежной адаптации, крайне затрудняет обнаружение мерянских редуцированных и точное установление их характера. Наиболее вероятно их употребление в конце слова, хотя подобный вывод можно делать, скорее исходя из косвенных данных.

О существовании редуцированного (скорее всего е, то есть заднерядного) свидетельствует монотонность конца слов у мерянских существительных по сравнению с их соответствиями в родственных языках. Ряду гласных высокого и среднего подъема в постмерянских словах противостоит один звук а, ср.: р. *Кега* (Костр. губ. — Кин) Vasmer 382 — ф. *ka ki* «кукушка»; р. *Кера* (Костр. губ. — Нер) Vasmer 386 — ф. *keri* «кора, выросшая на березе на месте содранной бересты»; р. *Тома* (Костр. губ. — Солигал) Vasmer 380 — ф. *tammi* «дуб»; рус. (диал.) *вяха* «немного, пустяк» (Яр, Костр) КЯОС — эст. *vahe* «мало»; рус. (диал.) *ведьма* «перемет (бечевка или леска, на которой укреплен ряд крючков для ловли рыбы)» (Костр — Галич) Востр II 28 — морд. *Э ведьме* «повод, ремень; завязка, бечевка; конец, обрывок нити»; р. *Ширтя* (Костр. губ. — Ветл) Vasmer 374 — ф. *saarni* «ясень»; р. *Локша* (Костр. губ. — Кин) Vasmer 383 — ф. *laakso* «долина»; р. *Курга* (Яр.

губ. - Мышк) Vasmer 392-393 - ф. kurki «журавль»; р. Нула (Вл. губ. - Горох) Vasmer 394 — ф. nuoli «стрела». Подобное сведение нескольких гласных к одному может быть только результатом их недостаточно четкой артикуляции, то есть редукиции, которой в первую очередь подвергались гласные высокого подъема (как типологическую параллель ср. праславянские (старославянские, древнерусские) редуцированные, которым в других индоевропейских языках, как правило, соответствуют краткие *u, i*: стел. *сынъ* — лит. *sūnus*, псл. *тъдла — лит. *migla*). Очевидно, возникавший редуцированный в зависимости от предшествующего ему гласного переднего или заднего ряда мог соответственно также относиться к переднему или заднему ряду, то есть представлять собой звукотип е или е. Реальное существование обоих звуко-котипов в мерянском, как правило, не даёт возможности предположить непосредственные данные, поскольку в конце слова, несмотря на то, что чаще всего здесь можно допустить переднерядный гласный полного образования, всюду выступает *a*, который скорее представляет собой отражение заднерядного редуцированного *e*. По-видимому, наличие *-a* следует рассматривать не столько как отражение действительного тембра редуцированного, сколько как результат адаптации переднерядного редуцированного, передаваемого в русском языке субституцией *-e*, системе славяно-русских родовых окончаний, где в названиях рек было естественным тяготение к формам женского рода. Таким образом, оправданным представляется предположение о том, что рус. (постмер.) *a* возникло в конце мерянских слов как отражение двух мерянских редуцированных — *e* и *e*.

Рассмотрение лексического материала мерянского происхождения позволяет говорить о том, что для мерянского вокализма в целом были свойственны следующие звукотипы: *a, o, u, i, e, a, 0, u, e, e*. Среди них с наибольшим основанием в качестве фонем можно рассматривать *a, o, u, i, e, a* (возможно, две последние являлись позиционными вариантами одной фонемы). Что касается переднерядных лабиализованных *0, u* и редуцированных *e, e*, то из-за недо-

статочной определенности их употребления нельзя абсолютно точно говорить об их роли в фонетической системе. Не исключено, что все эти звуки были в мерянском языке только

вариантами фонем. На основании имеющихся данных трудно говорить также о явлении сингармонизма в мерянском. Непосредственных данных, подтверждающих его существование, в настоящее время нет.

Точно так же ничего не свидетельствует прямо о возможности существования в мерянском различия долгих и кратких гласных, хотя русский язык, как не имеющий количества, вряд ли мог бы его отразить. Косвенные данные — отсутствие количества в языках, окружающих мерянский, в том числе прибалтийско-финском вепском, — заставляют предположить, что оно отсутствовало также в мерянском, хотя отдельные случаи появления в нем долгих гласных (в новых закрытых слогах) можно допустить.

Как указывает ударение в русских топонимах мерянского происхождения (*Ко с тома, Кинешма, Нёро, Яхрома, Чухлома*, диал. *Кострома* КЯОС 94), в мерянском, как во многих финно-угорских языках, оно было скорее всего инициальным, начальным. Явление редукиции конечных и выпадения срединных слогов свидетельствует о том, что оно было сильным и имело центрированный характер, то есть побочное ударение не возникало или было очень слабым.

Консонантизм

В отличие от вокализма, характеризующегося в противоположность прибалтийско-финскому относительной бедностью состава (отсутствие дифтонгов, а также, видимо, долгих гласных), мерянский консонантизм имел значительно большее количество звукотипов.

В состав мерянского консонантизма, в частности, входили глухие взрывные *p, t, k*.

Звукотип *p*, засвидетельствованный в ряде топонимов, распространенных на мерянской территории, в том числе особенно типичных для нее названиях населенных пунктов со вторым компонентом *-бал(о), -бол* «деревня», и в ряде апеллятивов мерянского происхождения отличался в ме

рянском языке позиционной ограниченностью. Во всех примерах он расположен или в начале слова, или рядом с другим глухим согласным: *pe2a(э) «гнездо» — н.п. *Пезо(бал)* (Pezobal) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 417, р. *Пеза* КГЗ 158 (ср. ф. pesa «гнездо», эст. pesa, саам. H basse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжаши*, мар. Г *пыжаши* «то же», удм. *пуз* «яйцо», коми *поз* «гнездо», хант. (конд.) р *it*, манс. *пити*, венг. fészék, нен. *пидя* < *урал. pesa MSzFUE I 205, ОФУЯ 404, КЭСКЯ 223, SKES III 531; *peΠ(e) «собака» — р. *Пенях/Пених* (Peπ^цеИ, Penuch/ Penich) (Вл. губ. — Горох) Vasmer 394 < PeΠ^Цу/h «Собачья (букв. — собака) (река)» (ср. ф. (народно-поэт.) repi «собака», (лит.) penikka «щенок», эст. (диал.) peni «собака», ripi, саам. Л рапа, морд. *пине*, мар. *пий*, удм. *пуны*, коми *пон* «то же», венг. fene < *PEΠE «?» (в проклятии: egye meg a fene «пусть съест его fene (собака?)»), как семантическая параллель — рус. *пес его заешь!*) < ф.-уг. *pene-) NSzFUE I 200, КЭСКЯ 224-225; *palo «деревня, село» — н.п. *(*Нуш*)подо ((Nus)poio) < *(*Нуш*)пало, возможно, вследствие сближения с *поле*, (Nus) palo «(Крапивная) (букв. — крапива) деревня», *nus «крапива» — мар. *нуж* «то же» (Вл. губ. — Александр) Vasmer 418; н.п. (*Муш*)пол/ (MuS)pol, где первый компонент, по мнению М.Фасмера, этимологически сопоставим с мар. *муки* «пчела» (Яр. губ. — Пош) Vasmer 417; н.п. (*Ки*)бало/(*Ki*)balo (1578 г.) < *(*Ki*)Balo «(Каменная) (букв. — камень) деревня» (Вл. губ. — Сузд) Vasmer 417. Всюду в качестве второго компонента выступает слово *palo, иногда видоизмененное в результате утраты конечного гласного или в интервокальной позиции (мер. paio этимологически связано с хант. (вост.) puyel «деревня», манс. *павыл*, венг. falu, мн.ч. faluk/falvak «то же» < угор. (-мер.?) *pa^z «деревня, селение» MSzFUE I 180-181).

Единичен случай употребления р в середине слова, причем в интервокальной позиции: мер. *Soro(-ms) «рубить, колоть», *Soramo «рубка, колка (дерева, дров)» — рус. *шопать* «колоть лучину специальным ножом» (Костр — Краснос) (ср. морд. М *шапомс* «рубить (только о срубе)», морд. Э *чапомс* «рубить (сруб); делать зарубку; отбивать (жернов)», коми *тиаппы* «зарубить, засечь, сделать зарубку» < ф.-уг. *Cappz- >####. Оче-

+++++ Менее убедительным представляется сопоставление М.Фасмера [там же] с мар. reneye, pineye, fiPeiye (мар. (лит.) *пинеге* «щенок»).

+++++ В.И.Лыткин и Е.С.Гуляев [КЭСКЯ 291] в качестве праформы дают *Cappz-, которая противоречит ее рефлексам в мордовских и коми

видно, сохранение р в интервокальной позиции здесь следует объяснять тем, что он является рефлексом ф.-уг. -pp-.

В интервокальной позиции и положении между сонорным и гласным вместо п в постмерянских включениях русской ономастики выступает регулярно б, напр.: *Ате-бал* (Atebal) (Моск. губ. — Дмитр) Vasmer 418; *Куткобал* (Kutkobal) (Яр. губ. — Угл) Vasmer 417; *Пезобал* (Pezobal) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 417; *Толгобол* (Tolgobol) (Яр. губ. — Яр) Vasmer 416; *Шенбалка* (Senbalka) (Вл. губ. — Пересл) Vasmer 417. Очевидно, в приведенных и аналогичных примерах рус. б нельзя воспринимать как отражение мер. b, то есть звонкого взрывного. Этому противоречит то обстоятельство, что параллельно в мерянском должен был существовать звук р, по своему характеру средний между б и в, — об этом говорят нередкие случаи замены б на в и в на б, встречающиеся до сих пор в русских говорах на постмерянской территории (типа *варахло* вместо *барахло* или *бёзли* вместо *возле*), о которых говорилось выше. Одновременное существование б и р в одинаковых позиционных условиях, что можно было бы предположить на основе их написаний, в рамках одной и той же фонетической системы совершенно исключается. Между тем в русских (постмерянских) отражениях мерянских слов находим графему б и в тех случаях, где на основании сравнительных данных можно предположить звук р, и там, где подобное б является позиционным вариантом мер. р (рус. п). Разница между ними заключается в том, что если первому б в родственных языках может соответствовать v (ср. рус. гидроним *Андоба* при ф. antava «дающий», эст. andev «то же»), то второму б в других позициях самого мерянского языка должно было соответствовать только п (р). Тот же звук выступает (или выступал) в соответствиях родственных языков (ср. рус. (постмер-) *(Толго)бол* при (*Муш*)пол и их инофинно-угорские соответствия: манс. *павыл* «село», венг. falu < *palu «то же»)- Следовательно, можно говорить о двух постмерянских б, отражающих, по-видимому, два разных мерянских звука: один — смешивающийся с в в словах немерянского происхождения русских (постмерянских) говоров и соответствующий v других финно-угорских языков в словах

языках: -р- как у рефлексов праязыкового -pp-, а "не как отражения -р- звуком -у-(-в-) Т мордовских языках и о' звука в коми языке [КЭСКЯ 14, 15].

мерянского происхождения, второй — никогда не смешивающийся с в, являясь постоянно позиционным вариантом п в мерянском языке, которому в других финно-угорских языках также соответствует р (рус- п)- Эта разница, существующая между указанными двумя постмерянскими б, заставляет видеть в них внешне (графически) одинаковое отражение двух разных по акустическим и артикуляционным характеристикам звуков. Очевидно, подобное единообразие графического отражения вызвано не столько действительным их сходством, тем более тождеством, сколько тем, что особенность русской фонетической системы не давала возможности уловить специфику каждого из них, а несовершенство русской графики, не приспособленной для их передачи, не предоставляло средств для адекватного отражения на письме. Подобная неточность тем более понятна и оправдана, что речь шла не о точном воспроизведении мерянского текста или мерянских слов как таковых, а об органическом включении лексем мерянского происхождения в ткань русского языка, его фонетической системы, что предусматривало не сохранение фонетического своеобразия мерянских слов, а их приспособление к особенностям русских звуков. Все это дает основание предположить, что в б, чередующемся (смешивающемся) с в, следует усматривать звук р, который носители языка с фонетикой, не имеющей его, но располагающей звуками б и в, близкими к нему, смешивают с двумя этими звуками (с другой стороны, смешивание звуков б и в характерно для носителей языка, где нет этих звуков, но имеется согласный р)- Что касается б, являющегося позиционным вариантом п (мер- *р), то его следует понимать как несовершенное графическое отражение полувзвонного В. Поскольку все звуки, входящие в фонетику определенного языка, связаны между собой системными отношениями, принимая мысль о существовании в фонетической системе мерянского языка не звонкого б, а полувзвонного В в качестве позиционного варианта глухого р (возможность звонкого б исключалась фактом одновременного наличия в мерянском звука р), необходимо принять положение, что под всеми русскими (постмерянскими) графическими отражениями типа д и г кроется также передача не соответствующих мерянских звонких d, g, а полувзвонных D и G. Конечно, нельзя исключить полностью то обстоятельство, что по мере

усвоения мерянами славяно-русского языка в их язык могли проникать русские звуки, в том числе b, d, g. Однако смешивание глухих со звонкими, тяготение их к определенным позициям, смешивание б и в, отмечаемое в русских говорах постмерянских территорий даже спустя длительное время после окончательного исчезновения мерянского языка, заставляют считать, что полное проникновение звонких и вытеснение ими полувзвонных вряд ли могло произойти в самом мерянском языке. Это, скорее всего, произошло только при окончательном усвоении русской речи мерянским населением, что часто было связано с полной заменой языка и, таким образом, на мерянский язык повлиять не могло.

Все слова, в которых отмечается отражение полувзвонного В, позиционного варианта глухого взрывного мерянского р, — несомненные лексемы мерянского происхождения, это подтверждается как их связью с бывшей мерянской территорией, так и тем, что в значительной своей части это наиболее типичные мерянские названия поселений, включающие компонент **-бол (-бал(о))**-

Звукотип t характерен, как и звуко- тип р, для позиции в начале слова, перед или после глухого согласного и, очевидно, также в абсолютном конце слова, хотя примеры подобного употребления отсутствуют: *tolGa (-э) «перо» — н-п- *Толгобол* (Tolgobol) (Яр- губ. — Яр) Vasmer 416 (ср- саам- Н dol'ge «перо (птицы)», морд- *толга*, мар. (*пыс*) *тыл*, удм. *тылы*, коми *тыв* «то же», хант. (вах.) *toysl* «крупное перо с крыла или хвоста птицы», мане. *toul* «крыло» КМРС 104, венг. *toll* «перо; перо (писчее)», нен. *to* «крыло (птицы)», сельк. (таз.) *tuu* «перо; крыло», матор. *tu* «перо», *tu-da* «крыло» < урал. *tulka «перо, крыло») КЭСЯ 292, ОФУЯ 400, MSzFUE III 637; *matkoma (-ema) «путешествие, езда» — р. *Маткома* (Яр. губ. — Пош) Дитмар 66 (ср. ф. *matka* «путь, дорога», эст. *matkama* «путешествовать», саам. Н *muot'ke* «расстояние, отрезок пути» < ф.-уг. (диал.) *matka «путь, дорога») SKES II 337; *tohta «гнилое дерево, гнилая сердцевина дерева» — рус. (диал.) *тохта* «то же» (Костр — Костр, Кол, Меж, Чухл) (ср. ф. (диал.) *tohko* «гнилое дерево; старая вещь», эст. *toheta*, *tohkeda* «становиться больным; крошиться, гнить» < ф.-

§§§§§§ О реальности данного слова как мерянского свидетельствует также явно с ним связанное рус. (диал.) *с-мат-ил* «с пути свел» (Вл. губ. — Судог) ТОЛРС XX 211, зафиксированное в другой части бывшей мерянской территории.

уг. (диал.) *toht/k- «становиться гнилым, трухлявым») Востр I 5051; SKES V 1321.

В середине слова между гласными или гласным и сонантом, как показывают примеры, в мерянском языке вместо t выступает его позиционный вариант D. Эта закономерность, напоминающая соотношение между p и B, также выступающими в разных позициях и, следовательно, не способными противостоять друг другу в качестве смысловозначительных звукотипов, показывает, что в мерянском среди взрывных не было фонематического противопоставления по глухости-звонкости: глухой и полувзрывной взрывной звукотипы представляли собой лишь варианты одной фонемы. Примеры употребления полувзрывного D: ^ʔanDo^ʔ «кормящий» < «дающий» — р. *Авдоба* (Костр. губ. — Костр) КГЗ 160 (ср. ф. antava «дающий», antaa «давать», эст. andev «дающий», andma «давать», саам. N vuow'det «распределять пищу», морд. *авдомс* «кормить», удм. *удывы* «подать питье», коми *удвы* (в парном словосочетании *вердвы-удвы* «кормить-поить»), венг. adni «давать» < ф.-уг. *amta- «давать») MSzFUE I 69; *paDra «сильный, здоровый» — рус. (диал.) *веведря* «человек слабый, болезненный» (Яр. губ. — Пош) КЯОС 122 (ср. морд. Э *вадря* «хороший, красивый; добрый; качественный», морд. М *вадря* «гладкий, приглаженный (о ворсе, шерсти, волосах)»; *tuDo^ʔa «знающий, осознающий» — рус. (диал.) *при-о-тудоб-еть* «окрепнуть» (Костр. губ. — Кол) МКНО (ср. ф. tunteva «чувствующий; знающий», tuntea «чувствовать; знать», эст. tundeve, фон. tunDev «чувствующий; знающий», tundma «чувствовать; знать», саам. N dow'dat «то же», удм. *тодывы* «знать; узнать; помнить», коми *тодвы* «то же; (уст.) обладать прозорливостью, даром предвидения», *тыдавы* «виднеться; просвечивать», нен. *тумда(сь)* «узнать; отметить», эн. tuddabo «узнавать, угадывать», нган. tumtu'ama «угадывать», кам. t'emnem «знать, понимать», койб. tumne-тум «(я) знаю» < урал. *tumte- «знать» < «видеть») ОФУЯ 405, КЭСКЯ 283, 292, MSzFUE III 646648. Единственный случай, когда D (рус. д) отмечается в начале слова, — рус. (арг.) *дульяс* «огонь» (Костр. губ. — Гал) Вин 45, на основании которого реконструируется мер. Dule (*tule) «то же», — очевидно, объясняется тем, что его основой послужила форма не в

абсолютном начале, а в середине предложения, где в составе синтагмы в позиции после гласного или сонанта мог происходить переход глухого в начале слова в полувзрывной. Следовательно, и этот случай не является исключением из общего правила, допускавшего переход мерянских глухих в полувзрывные только в позиции между гласными или гласным и сонантом (или сонантом и гласным), что в абсолютном начале слова не было возможно.

То же правило относилось, судя по имеющимся данным, к паре позиционных вариантов k-G, где k обнаруживается в (абсолютном) начале слова, перед глухими или после них и, по-видимому, в абсолютном конце (слова и предложения). Что же касается варианта G, то он выступает в интервокальной позиции и положении между гласным и сонантом (или наоборот), напр.:

1) (употребление звукотипа k) *kutka(-e) «орел» — н.п. *Кутко(бал)* (Kutkobal) (Яр. губ. — Угл) Vasmer 417 (ср. ф. kotka «орел»,

***** Подробнее см. в разделе «Прилагательное».

эст. *kotkas*, саам. *Н goas'kem*, морд. *kut's'kan* «то же», мар. *куткыж* «беркут», *кучкыж* «орел», удм. *kutS* «птица, похожая на орла, но меньше размером», коми *кути* «орел» < ф.-перм. *koska* «то же») SKES II 224-225, КЭСЯ 148; **SakSa* «сор, мусор; грязь» - рус. (диал.) *шакиша* «снег и лед, плывущие по реке» (Костр - Меж, Пыщ, Шар; Волог - Никол); «грязный сырой снег» (Костр — Меж, Пыщ; Волог — Никол); «отходы при обмолоте клевера или конопли» (Волог — Никол) Востр II 41 (ср. морд. *сэкс* «грязь», удм. *шакишы* «норяшливый, грязный», *шакта* «сор, мусор, грязь», коми *шактар* «древесный хлам, сор (нанесенный весенним половодьем)», а также кар. *tSaks* «шкварки от топленого масла» и, возможно, — с другим вокализмом — морд. Э *шукиш* «сор, мусор», связанные, несомненно, с предполагаемым мерянским словом) Востр II 41-43; **juk* (< **joGe*) — р. *Юг* (Костр. губ. — Макар) КГЗ 208 < мер. **juk*, отраженного в русском языке как *Юг* согласно русской орфографической традиции и восприятию слова как русского со звонким г, переходящим в конечной позиции в к (ср. ф. *joki* «река», эст. *jogi*, лив. *jo'uG*, саам. *Н jokka* «то же», морд. Э *Ев* «река Мокша», мар. Г *йОгы* «течение, поток», удм. *ю* (в парном слове *ю-шур*, где *шур* — также «река»), коми *ю* «река», хант. (казым.) *юхан* «речка», манс. *я* «река», венг. (ст.) *jo*, нен. *яха*, эн. *joһа*, *јаһа*, сельк. *ki*, *ke* «то же», кам. *t'aуа* «река, поток; речка; ручей» < урал. **joke* «река») ОФУЯ 403, КЭСЯ 334, SKES II 118, MSzFUE II 339-340;

2) (употребление звукотипа G) **kaGe(-a)* «кукушка» — р. *Кега* (Кеда) (Костр. губ. — Буй) Vasmer 382 (ср. ф. *как i* «кукушка», эст. *kagu*, вепс. *kagi*, вод. *sako*, лив. *ka'G*, саам. *Н giekkа*, — вызывавшая сомнение гипотеза о заимствовании этих слов из балтийского (ср. лит. *gege* «то же») SKES II 259 приобретает еще большую проблематичность в связи с мерянским соответствием); **tolGe(-a)* «перо» — н.п. *Толго(бол)* (*Tolgobol*) (Яр. губ. — Яр) Vasmer 416 (ср. морд. *толга* «перо», коми *тыв*, хант. (вост.) *toyel*, венг. *toll* «то же», нен. *то* «крыло (птицы)» < урал. **tulka* «перо, крыло») КЭСЯ 292, ОФУЯ 400.

Среди собранных примеров, правда, отсутствует случай, когда полувзвонкий G выступает в позиции после гласного пе- **48**

ред сонантом, однако, исходя из того, что подобная позиция отмечается для полувзвонкого D как позиционного варианта глухого t, следует думать, что это объясняется просто

ограниченностью примеров, а не принципиальной ее невозможностью. Следовательно, глухой и полувзвонкий звуко- типы взрывных согласных, соответственно р-В, t-D, k-G, образовывали в мерянском языке позиционно ограниченные варианты, не дававшие возможности их фонематического противопоставления, что исключало их существование в качестве фонем. Отдельные отклонения от этого правила, обусловленные позицией слова в синтагме или происхождением определенных звуков, в силу своей спорадичности не могли существенно изменить положение. Так, в некоторых, очень редких, примерах как будто нарушается это фонетическое правило — иногда глухой находится в интервокальной позиции. Однако при внимательном рассмотрении истории слова обычно обнаруживается, что соответствующий глухой является рефлексом предшествующей геминаты, имевшейся еще в праязыке, или сочетания согласных звуков, которое затем, по-видимому, развилось в геминату, но не образовало долгого согласного из- за их отсутствия в мерянском (как и в мордовских языках). Таким образом, соответствующий глухой в интервокальной позиции сменил предшествующую геминату (сочетание согласных) и, возникнув в период, когда уже перестал действовать закон частичного озвончения согласных в этом положении, не мог подвергнуться его влиянию. Подобный пример, очевидно, представляет собой мер. **ikana (-e)/ *ukana(-e)* (уменьш.) «один» — рус. (арг.) *икаяя(-яе)* «одна копейка» (Яр. губ. — Углич) Свеш 82, ТОЛРС XX 167, где, казалось бы, следовало ожидать форму **IGana/*uGana (-e)*, то есть в русском отражении **ягаая (*игане)*. Однако, поскольку форма числительного восходит здесь к праязыковому *ikte/*ukte*, а не **ike/*uke*, что, в частности, подтверждается ф. *yksi (ukte)* «один», эст. *uks*, саам. *ok'ta* (ОФУЯ 423), естественно, что в мерянском, где -k- относительно поздно сменило предшествующее -kt- (возможно, через стадию -kk-),

оно и должно было остаться в этой позиции, неравнозначным обычному -к-, развивавшемуся совершенно иначе*****.

Если не по артикуляции, то по месту образования со звукотипами р и D непосредственно связан звукотип ft, представляющий собой губной фриктивный. Исходя из того, что в рассмотренных русских диалектных словах немерянского происхождения, зафиксированных на постмерянской территории, наблюдается смещение б и в, что характерно для языков, имеющих вместо них звук ft, — например для марийского, в прошлом смежного с мерянским, — логично предположить, что тот же звук был характерен для мерянского языка*****. Поскольку звук ft обычно не сосуществует со звуком v или w, следует думать, что это относится и к мерянскому языку. Следовательно, во всех тех случаях, где рус. (постмер.) б или в соответствует v прибалтийско-финских или мордовских языков, — часть из них (в начале слова) может продолжать праязыковое w, часть (в середине слова) — праязыковое р, — исследователь вправе предположить употребление мер. ft. Только в единичных случаях (подробнее см. в гл. «Грамматика», разделы «Частица» и «Междометие») можно допустить употребление вместо ft неслогового

††††††† Не исключена возможность подобного объяснения для мер. кока «тетя; крестная (ср. рус. (диал.) кока «тетя по родству; название старшей дочери для младших детей; крестная мать» (Яр — Рост, Первом) ЯОСК — мар. кока «тетя»). Марийское и мерянское слова, очевидно, этимологически связаны с морд. Э кака «дитя, дитятко» (возможно, первоначально ласковое название первенца, первой дочери), о чем говорит и фонетическая закономерность: марийское (вторичное) (-)о- в начале слова часто соответствует а других финно-угорских языков, в частности мордовских [25, с. 103-106]. Имея в виду аффективно-ласкательный характер слова, вполне возможно допустить здесь существование в древний период геминаты, наблюдаемой и в некоторых других аналогичных случаях, ср. ф. atī «тесть, свекор» как соответствие венг. atya «отец» и варианты с долгими согласными (геминатами): ф. a^hi «отец», эст. stt «отец; дедушка; старик». Следовательно, мар. кока, мер. *kOka, морд. Э кака могут восходить к незасвидетельствованному *kakka «ребенок (особенно первый)», что еще требует проверки с привлечением дополнительных данных.

††††††† слова из вепсского (тем более балтийского) в русский маловероятно из-за удаленности этих языков, наиболее обоснованно считать его субстратным включением в русский непосредственно из мерянского, в пользу чего говорит и -б- как отражение мер. -р-; русский язык передал бы прибалт.-фин. ~и балт. -v- своим -в-.

и, что относилось к словам междометного и близкого к ним значения: *uaј — рус. (диал.) вай «возглас удивления» (Яр — Пош; Костр — Сусан) ЯОСК; *jou «вот» — рус. (диал.) ёв «вот» (Яр — Щерб). Здесь деформация ft и его замена и могли вызываться междометным или близким к нему характером слов, с чем были связаны меньшая четкость артикуляции и возможность употребления звуков, в целом нетипичных для фонетики. В остальном мерянское ft должно было употребляться и в случаях исконного праязыкового w, и там, где оно возникло закономерно как результат ослабления артикуляции праязыкового р в середине слова и перехода его в соответствующий фриктивный ср.: *anDofta «кормящий» (р. Андоба — Костр) — ф. antava < *antapa «дающий» (о переходе финского суффиксального -ра > -va см. у Л. Хакули-нена [116, ч. I, с. 125-126]); *konDofta «несущий» (р. Кондоба — Костр) — ф. kantava < *kan-tapa «то же»; *tudofta «знающий, осознающий» (рус. (диал.) при-о-тудоб-еть «окрепнуть» — Костр. губ. — Кол, МКНО) — ф. tunteva «чувствующий, знающий»; *ftaDra «сильный, здоровый» (рус. (диал.) неведра «хилый, больной» — Яр — Пош КЯОС 122) — морд. Э вадра «хороший, красивый, добрый; качественный», морд. М вадра «гладкий» (о ворсе, шерсти, волосах); *ftahe(-a) «мало» (рус. (диал.) вяха «немного» (Костр — Парф); пустяк — Яр — Рост, ЯОСК) — ф. vaha(n) «мало», эст. vahe «то же»; *fteD'me «перемет» (рус. (диал.) ведьма «то же» (Костр — Гал) Востр II 28) — морд. Э ведьме «повод, ремень; завязка, бечевка; конец, обрывок нити»; *kirftas «топор» фус. (арг.) кирбяс (Яр. губ. — Углич) Свеш 89) — ф. kirves «то же» < балт., ср. лит. kirvis «топор», SKES I 200^{ssssssss}; *urma < *ur0a < *ora0a «белка» (рус. (диал.) урма «то же» - Костр. губ. - Кол, ООБС 240) - ф. orava < *ogara.

Следовательно, мер. *р выступает и в тех случаях, где в праязыке употреблялся w, и там, где (в середине слова) первоначально вступал звук р, который затем в результате ослабления был заменен в ряде финно-угорских языков другими звуками или — как в прибалтийско-финских — чередовался с ними в слабых степенях.

§§§§§§§ Не исключено, что предполагаемое мерянское слово, в свою очередь, является заимствованием из прибалтийско-финского (ср. вепс. kirvez «топор»), однако прибалт.-фин. -v- соответствует рус. -б-, а это явный довод в пользу -ft- в мерянском. Предположение о непосредственном заимствовании

Важно отметить, что звук *р как рефлекс праязыкового *р в середине слова и как предшественник современного v (в слабой степени) предполагается также для прибалтийско-финских языков, в частности финского, ср.: v* < р — *lavan*, род.п. от *^pa* «лопатка, лопасть», *kivuton* «безболезненный» (~*kiru* «боль»), *levata* «отдыхать» (~*leraа* «(он) отдыхает») [116, ч. I, с. 58]. В то же время для марийского, где в настоящее время отсутствуют звуки v и w [42, с. 38] и употребляется только р, выступающее на месте и праязыкового -р- в середине слова [53, с. 137], и праязыкового w (ср. мар. *реге* / *раге* «(анат.) почки» — коми *bOrk* (*vOrk*) «то же») [42, с. 38; 54, с. 68], в прошлом был характерен звук w (как и для всех финно-угорских языков, унаследовавших праязыковые звуки) [53, с. 118]. Очевидно, это различие в прибалтийско-финской и марийской фонетике следует объяснять тем, что марийский длительное время сохранял w, выступавшее еще при ослаблении праязыкового р в середине слова и переходе его в *р, а в прибалтийско-финских языках праязыковое w было заменено согласным v. Поскольку согласные р и w чрезвычайно близки по своей артикуляции (звука b в марийском в это время не имелось, даже теперь он входит в него только с заимствованиями), один из этих звуков неизбежно вытеснялся другим. В марийском, очевидно, после периода параллельного употребления обоих звуков и их смешивания, перевес оказался на стороне р, он вытеснил полностью даже этимологически исконный w. В прибалтийско-финских языках, где употреблялся звук v, фонетически более далекий от р, и также отсутствовал b (как возможная частичная замена звука р, ср. субституции мерянских слов с р в русских говорах), звук v как более традиционный, сохранив все свои унаследованные от праязыкового w позиции, вытеснил *р даже в тех местах, где тот закономерно заменял праязыковое внутрисловное *р и где v никогда прежде не употреблялся, то есть произошла субституция р звуком v. Указанный процесс привел к тому, что в настоящее время марийскому абсолютно не свойствен w, прежде в нем употреблявшийся, а в прибалтийско-финских языках не получил развития закономерно появившийся в нем как позиционный вариант *р, согласный р. Мерянский язык, в котором, судя по имеющимся данным, был широко распространен звук р, вытеснивший более древний w, в этом отношении отличается от

прибалтийско-финских и мордовских языков и стоит ближе к марийскому.

Вместе с тем мерянский, мордовские и марийский языки от прибалтийско-финских отличается еще одна особенность. В нем отсутствует чередование ступеней согласных, характерное для большинства прибалтийско-финских языков, благоприятной почвой для развития которого в них могло послужить сохранение геминат, утраченных мерянским, мордовскими и марийским языками. В связи с этим следует заметить, что потенциально возможная оппозиция трех ступеней, связанных со взрывным р (р-В-р), в мерянском едва ли представлена, поскольку вариант с В в середине слова в обнаруженных примерах характерен только для композит, в частности для начала второго компонента. Других случаев сохранения р в виде его полувзвонного варианта В в середине слов не обнаружено. Единственный несомненный случай праязыкового -р- в середине слова (суффикс -*ра/-ре* < *-*ра* в слове **tudopa* и под.) свидетельствует о том, что он в этой позиции переходил в -р-. Следовательно, скорее всего, мер. -р- в отличие от прибалтийско-финских и саамских языков в середине (простого) слова никогда не сохранялось, переходя в р, как и в марийском языке. Происходил ли также здесь переход -р- > -j-, как это наблюдается в марийском языке (ср. мар. *шуй* «шея» при ф. *сера* «передняя часть саней»), или мерянскому языку в этой позиции свойствен был только переход -р> -р- подобно тому, как в мордовском здесь возможен только переход -р- > -v- [53, с. 135, 137], на основании имеющихся данных сказать невозможно.

Мы можем предположить, что, находясь в середине слова (в интервокальной позиции и положении между гласным и сонантом), мер. t регулярно переходило в полу-звонкое D. Так как, судя по всему, t в середине слова могло сохраняться только рядом с глухим согласным, в сущности, в группе (паре) согласных, и этой чертой мерянский язык больше напоминает волжско-финские, а не прибалтийско-финские и саамские языки, где t в интервокальной позиции вполне возможно и где оно образует основу для чередования ступеней согласных. Чередованием вариантов t (в начале слова) и D (в середине слова) мерянский похож на мордовские языки, где соответственно выступают варианты t-d (ср. морд. *Э тумо* «дуб» — *сядо* «сто»). Однако не исключено, что, по крайней мере диалектно, мерянскому языку в данной позиции так же, как и

марийскому, мог быть свойствен и межзубный фрикативный 5 как соответствие начальному t. На такую возможность указывает название р. *Илезома* (Костр. губ. — Кол) КГЗ 144, образующее явную параллель с названием р. *Ильдомка* (Костр. губ.) Семенов 233 (ср. также н.п. *Ильдомское*, *Ильдом* — Яр. губ. — там же). Как известно, звук 5 носителями языков, где он отсутствует, обычно смешивается с д или з..... Поэтому пример передачи одного и того же названия, где в одном случае употреблено -д-, а в другом —з-, может быть сигналом того, что идет речь о межзубном мер. -5- и попытках передать его с помощью средств русской фонетики. Очевидно, переход праязыкового t в 5 в середине слова (в интервокальной позиции) типа *il'(e)5oma* вместо обычного *il'Doma* «безжизненный» (ср. мар. *илыдыме*, фон. *ile5eme* «нежилой; необитаемый») не был для мерянского языка повсеместным явлением, иначе он бы нашел отражение в значительно большем количестве примеров. Судя по месту фиксации примера (быв. Кологривский уезд Костромской губ.), данное явление скорее всего было характерно для крайней восточной части мерянской языковой территории, там, где она соприкасалась с территорией марийского языка. Не исключено, что своим возникновением эта, по-видимому диалектная, черта мерянского языка была обязана марийскому языковому влиянию.

Исходя из того, что в интервокальной позиции *k* в мерянском языке, как правило, только частично озвончалось, переходя в полузвонкое *G* (ср. уже упоминавшиеся примеры типа р. *Кега*), а отражения мерянских слов с *x* соответствуют прибалтийско-финским (реже венгерским) словам с *h* (ср.: р. (диал.) *вяха* «немного» (Яр, Костр.) ЯОСК, *тохта* «гнилое дерево» (Костр.) Востр I 50, *халеть* (Костр. губ. — Кин) «умирать» МКНО — ф. (диал.) *tohko* «гнилое дерево, старая вещь», эст. *vahe* «мало», венг. (meg) *halni* «умирать»), можно считать, что и для мерянского языка было характерно положение, сложившееся в

2) (примеры более поздней формы ++++++juGe) р. *Колюга* (Koljuga) (Костр. губ. - Варнав), первая часть сопоставляется с мар. kol «рыба» - Vasmer 374; р., н.п. *Вичуга* (ViCuga) (Костр. губ. - Кин), первая часть сопоставляется с мар. viCe «название р. Белой (в Башкирии)» - Vasmer 383; р. *Ванчуга* (VanCuga) (Вл. губ. - Судог), первая часть сопоставляется с мар. ranZem «перехожу, переезжаю» - Vasmer 396-397.

***** Оба способа этой несовершенной передачи межзубного (например, в английском языке) носителями русского языка широко известны и получили отражение в русской литературе, ср.: 1) (как д) Тебя ослепило, ты осовел. Но как барабанная дробь, из тьмы по темени: «Кофе Максвел гуд ту ди ласт друп» (= good to the last drop «хорош до последней капли») (В.В.Маяковский, Бродвей); 2) (как з) «Зе воркс оф Шакеспеаре» (= The works of Shakespeare) ...Шекспир! Гулять идете и то книжку с собой берете, да еще на английском языке! (В.Вересаев, Супруги).

(Sordik) (Костр. губ. - Кол), в первой части сопоставляемое с мар. So r5e «лось» - Vasmer 377, хотя сам М.Фас- мер никакого объяснения конечной части слова, - видимо, его второму компоненту - не дает.

В отличие от приведенных форм, совершенно определенно отражающих сохранение мер. k (с частичным озвончением) в интервокальной позиции, засвидетельствованы и другие формы того же слова, где вместо рус. к и г как отражений мер. k и G выступает х. По-видимому, данное явление в мерянском языке носило сугубо локальный, ограниченно диалектный характер, так как в противоположность формам с k (G), засвидетельствованным в разных, часто совершенно противоположных частях бывшей мерянской территории (в быв. Ярославской, Костромской и Владимирской губ.), формы с х отмечаются на сравнительно ограниченном пространстве, связанном в основном с ее юго-востоком (быв. Александровский, Гороховецкий и Шуйский уезды Владимирской губ. и Юрьевецкий уезд Костромской губ.):

1) (второй компонент -юха) р. *Вондю-ха* (Vondjucha) (Вл. губ. - Александр), первый компонент сопоставим с мар. |Jondo «стебель, камыш» - Vasmer 400;

2) (второй компонент -иха) н.п. *Шарниха* (Sarnicha) (Костр. губ. - Юрьев), первый компонент сближается с мар. sarne «ракита» - Vasmer 383;

3) (второй компонент -их) р. *Ландих* (Landich) (Вл. губ. - Горох), первый компонент сближается с ф. lanto «низменность, низкое место, долина», эст. laas (ген. laane) «пуща, бор» - Vasmer 391-395;

4) (колебание в форме второго компонента: -юх/-их) р. *Пенюх/Пених* (Panjuch, Penuch/Penich) (Вл. губ. - Горох), слово в целом сопоставляется М.Фасмером с мар. рѣПѣуѣ «щенок», хотя логичнее видеть в нем сложное образование из мар. рѣП(ѣ) «собака» и второго компонента, связанного с мер. *joGe «река» - Vasmer 395. Приведенные примеры свидетельствуют, что в части мерянских говоров -k- в интервокальной позиции (очевидно, через стадию G) постепенно переходило во фрикативное у, как в марийском языке в целом (ср. мар. *йог-* (joy-) «течь» при ф. joki «река»). Возможно, это у позже было заменено звуком h. Другой случай перехода предполагаемого первоначального интервокального -k- в -у-, а затем в -h-, получивший, видимо, более широкое распространение в

мерянском языке, отражен в мер. *jahre «озеро», возникшем на основе предполагаемого и-е. (субстр.) *ja'gero-/-е. Стадия -у- (с его дальнейшим переходом в -v-) была на определенном этапе исторического развития свойственна и прибалтийско-финским языкам (рефлекс этого -у-, перешедшего затем в -w-, находим, очевидно, отраженным в саам. N jaw'ge «озеро», лив. jage и — с метатезой — в ф. jarvi эст. jarv). Разница между мерянским и прибалтийско-финскими языками заключается в том, что прибалтийско-финский это -у- заменил звуком -v- или утратил (ср. ф. joki «река», ген. joen < *joen), а мерянский его сохранил, очевидно, позже преобразовав в h. Из данных примеров видно, что в части своих говоров (очевидно, большей) мерянский в развитии интервокального -k- пошел по пути развития прибалтийско-финских языков, но в отличие от их большинства не развил чередования ступеней согласных. В другой части мерянских говоров (видимо, меньшей) переход -k- в -у- (возможно, с переходом позже -у- > -h-) получил большее развитие, в чем они приближались к марийскому языку, хотя пока не известно, касался ли переход интервокального -k- в -у- всех случаев его употребления, как в марийском языке, или был чем-то ограничен. Судя по имеющимся и доступным исследованию фактам, в отношении трех фрикативных -0-, -5- и -у-, развившихся в мерянском языке из интервокальных -р-, -t-, -k-, можно констатировать три изоглоссы, проходящие по мерянской территории. Если изоглосса перехода -р- в -0- наиболее широка, охватывая, по-видимому, всю мерянскую языковую территорию (ср. мер. *kir0as на ее крайнем западе, в Угличе), то территория, охваченная изоглоссой широкого перехода -k- > G- в -у-, касающаяся только юговосточных районов, значительно уже. Совсем небольшой, видимо, была область, где отмечается переход -t- > -D- в 5 в середине слова. В целом по признаку спирантизации взрывных в середине слова область мерянского языка представляется переходной зоной от марийского и мордовского языков к прибалтийско-финским языкам.

Кроме заднеязычного взрывного глухого k с его полувзвонным вариантом G, в отношении мерянского на основании ограниченного количества примеров можно, очевидно, предположить существование звуч- коти́па d, заднеязычного звонкого носового, известного еще финно-угорскому праязыку [53, с. 118], ср.: р. *Конгора* (мер. *kog(G)ora (Kongora) (Яр.

губ. — Пош), сопоставимое с ф. kangar, kankare «песчаный холм» — Vasmer 392; н.п. *Шунга* (*мер. Sug(G)e/ *Sug(G)e (Костр. губ. — Костр), сопоставляется с мар. SUGga «маленький холм» — Vasmer 385; *pag(G)e «гриб», рус. (диал.) *панга* «губа, губка на древесных породах» (Костр. губ. — Ветл) МКНО, сопоставимое с морд. М *панга* «гриб», морд. Э *панго*, мар. *по/з'о* «то же», манс. *паиц* «мухомор», нган. *fanka* «быть пьяным (от напитка из грибов)» < (урап. *pagka «гриб»^{ssssssssss} — Alvre II 57, Collinder 408. На основании имеющихся данных определить фонематическую значимость данного звукотипа невозможно.

Среди слов, явно связанных по происхождению с мерянским языком, обнаруживается довольно много примеров, при воспроизведении которых употребляется буква х, отражающая их произношение в современных русских говорах с постмерянской территории. Здесь можно усматривать противоречие, поскольку звука х в мерянском языке, как в финно-угорском праязыке и большинстве современных финно-угорских языков, не существовало. Об этом говорят постмерянские особенности русской диалектной фонетики, часть которых может обнаруживаться в славяно-русских заимствованиях мерянского: здесь русское х передается звуком к. Объяснить это кажущееся противоречие можно исходя из того, что русское х является отражением абсолютно несвойственного северно-русским говорам h или — реже — у. Как известно, здесь даже в тех случаях, где в русском литературном языке употребляется у фриктивное (например, в междометиях ага, ого), последовательно выступает звук х. В связи с тем, что там, где в постмерянских словах русских говоров выступает х, в прибалтийско-финских (реже венгерском) ему, как правило, соответствует h, есть основания считать, что в мерянской в соответствующих словах употреблялся глухой ларингальный согласный h^{.....}. Этот согласный, в частности, можно предположить в следующих словах мерянского происхождения: *jahre «озеро» -

§§§§§§§§§§ Другое объяснение слова, вряд ли более убедительное, дает О.В.Востриков [16, с. 32-33], который, исходя из семантики «гнилое дерево», сближает слово с саам. роⁿк'к^E «гнилое дерево».

***** Это утверждение нуждается в окончательной проверке на большем количестве примеров, так как в некоторых случаях, особенно диалектно, в мерянском мог употребляться также фриктивный у, причем ввиду близости обоих звуков они могли смешиваться.

н.п. *Яхро(бол)* (Jachrobol) (Яр. губ. - Дан) Vasmer 416, р. *Яхрен* (Вл) Смол 196 (ср. ф. jarvi «озеро», эст. jarv, лив. jOra, jara, саам. Н jaw're, морд. Э *эрьке*, морд. М *эрьхе*, (диал.) jer'ke, мар. *ер*, мар. Г *йар* «то же» < и-е. (фатьян.) jf'gero/-e SKES II 132; *pahe «мало» - рус. (диал.) *вяха* «немного (Костр — Парф); пустяк (Яр — Рост)» ЯОСК (ср. ф. vaha(n) «мало», эст. vahe «то же», морд. Э *вишка* «малый, маленький», *веж(гель)* «язычок (букв. — малый язык: *vеш кель < ф.-уг. (прибалт.- фин., мер., морд.) *waSe «малый») SKES VI 1830-1831; *tohte «гнилое дерево, гнилая сердцевина дерева» — рус. (диал.) *тохта* «то же» (Костр — Костр, Кол, Меж) Востр I 50 (ср. ф. (диал.) tohko «гнилое дерево, старая вещь», эст. (диал.) toheta «становиться больным < гнилым» < ф.-уг. (при- балт.-фин., мер.) *tohk- «гнить», с характерной для мерянского заменой звуков -hk- ~ -ht-, возможно, связанной с таким же колебанием среднеязычных) Востр I 50-51.

Широкое распространение на бывшей мерянской территории слова *pahe (рус. (диал.) *вяха*), по-видимому, исключает возможность его заимствования из прибалтийско-финского языка. Предшествующее прибалтийско-финскому (и мерянскому?) -S,-, сохраненное мордовскими языками, переходило в мерянском, как и в прибалтийско- финских языках, в h. Насколько широким был этот процесс, совпадал ли он полностью с прибалтийско-финским или имел специфически мерянские ограничения, должен показать дальнейший внимательный этимологический анализ русской лексики (в том числе ономастики) мерянского происхождения. Пока не будет точно установлена ее этимология и несомненно доказано мерянское происхождение соответствующих лексем, решить окончательно этот вопрос нельзя. Однако на бывшей мерянской территории обращает на себя внимание обилие субстратных топонимов, содержащих звук -х- (отражение мер. h), ср.: (Яр) *Юхоть* (Мышк), *Ляхость* (Гавр.-Ям), *Сохоть*, *Луха* (Пош), *Ухра* (Рыб), *Ухтома* (Первом), *Пахма* (Яр); (Моск) *Яхрома* (Дмитр); *Пахра* (Подольск), *Пехра* (Балаш); (Вл) *Махра* (Александр), *Лухтоново* (Судог), *Нерехта* (Ковр), *Лехтово* (Мелен); (Иван) *Ляхость*, *Ухтома* (Ильин), *Ухтохма*, *Сорохта* (Комс), *Кохма* (Иван); (Костр) *Нерехта* (Нер), *Чухлома* (Чухл), *Ухтынгирь* (Кадый), *Вохтома* (Парф), *Тоехта* (Макар), *Вохма* (Вох). Большое количество топонимов с х < мер. h, из которых некоторые повторяются в разных местах, говорит о несомненной характерности данного

звукотипа для мерянского языка, что в какой-то степени подтверждает возможность его самостоятельного развития, но он может и совпадать с аналогичным прибалтийско-финским явлением.

Из других фрикативных, кроме заднеязычных, мерянскому языку были свойственны свистящий и шипящий S и S.

Звукотип s встречается в ряде слов предполагаемого мерянского происхождения, напр.: *sorjes «(рыба) хариус» — рус. (диал.) *сорьез, сорьёз, сорьяз, сорьяс* «то же» (Костр — Костр, Кол, Меж, Чухл) (ср. ф. *harjus* «хариус», кар. *harjus*, вепс. *hard 'uz, harg u s*, где с известным сомнением считается словом германского происхождения от герм. *harzus/*harrius «то же») SKES I 58, Востр I 46-50^{*****}; *rast(e) «столб, дорожный указатель, вежа» — рус. (диал.) *растовая дорога* «тракт, главная дорога, хорошая столбовая дорога» (Костр — Кол) (ср. ф. *rastī* «дорожный указатель, вежа», *rastia* «помечать дорогу», кар. *rastī* «дорожный указатель») Востр II 34-35, SKES III 742^{*****}; posters «прут, хлыст; банный веник» — р. *Востырь* (Vostyr) (Костр. губ. — Костр) Vasmer 385 (ср. мар. *воштыр* «прут, лоза, проволока», мар. Г *ваштырь* «прут, лоза; веник», ф. *vasta* «(банный) веник», кар. *vaSta* (*vasta*) «то же», *васту* «веник (вообще)») РКС 23, вепс. *vast* (шв. ст. *qvasta* «бить себя веником в бане» (пгерм. *kwastu, kwasta, друс. хвостъ «хвост; (банный) веник» SKES V 1667) или их соответствие из субстратного и-е. языка Волго-Окского междуречья, в пользу чего говорит ареал распространения слова^{*****}; -s (как формант иллатива) — рус. (диал.) *дульяс*

+++++ Соответствие s- прибалт.-фин. h- О.В.Востриков [15, с. 48-49] пытается объяснить как связанное с саамским языком. Не исключено, действительно, что в мерянский язык слово могло проникнуть через это посредство.

+++++ Судя по разобщенности прибалтийско-финского и мерянского ареалов, *rast(s) может быть скорее общим наследием этих языков, чем заимствованием из прибалтийско-финского в мерянский. Не исключено также, что в какой-то связи с ним, одновременно подтверждая его мерянскую принадлежность, находятся другие слова и топонимы того же корня в постмерянском ареале: н.п. *Растовцы, Белый Раст* (Моск. обл. — Дмитр), *раст* «время (конец мая — июнь), когда хорошая пастьба скота: майская свежая, молодая трава» (Яр — Рост, Углич) ЯОСК.

§§§§§ Менее убедительно сближение мар. *воштыр*, мер. *postere с ф. *vihta* «(банный) веник» (Vasmer 385) или венг. *vas* «железо» (КЭСЯ 331-332). Интересно соответствие мер. s || мар. s, сближающее мерянский с мордовскими и прибалтийско-финскими языками и отдаляющее его от марийского.

«огонь» (Костр. губ. — Гал) Вин 45 < мер. *D-/tuljas «в огонь» ср. морд. *толс* «в огонь», ф. *ylOs* «наверх», мар. *чодраш* < *Codras «в лес») [7, с. 300; 20, с. 49].

В тех случаях, когда s оказывалось в середине слова, в интервокальной или интервокально-сонантной позиции, оно подобно взрывным переходило в свое полу-звонкое соответствие Z, ср.: *peZe(-a) «гнездо» — н.п. *Пезо(бал)* (Pezobal) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 417 (ср. ф. *pesa* «гнездо», эст. *pesa*, саам. *H basse*, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжаши* «то же», удм. *пуз* «яйцо», коми *поз*. «гнездо», хант. *pit*, манс. *пими*, венг. *feszek*, нен. *пидя* < урал. *pesa «то же») КЭСЯ 223, ОФУЯ 404; *piZleje «рябина» — н.п. *Пизлеево* (Pizlejevo) (Вл. губ. — Переясл) Vasmer 401 (ср. ф. *pihlaja* «рябина», эст. *pihlakas* «то же», морд. Э *пизёл* «рябина (ягоды)», морд. М *пизел* «то же», мар. *пызле* «рябина», мар. Г *пызылмы* «рябина (дерево и ягоды)», удм. *палэзь* «рябина (ягода)», коми *пелысь*, хант. (каз.) *пасяр* (*пасяр*), манс. *пасяр* < ф.-уг. *piCla КЭСЯ 218, SKES III 542, Collinder 413.

Звукотип s встречается в многочисленных лексемах предполагаемого мерянского происхождения из бывшей области распространения мерянского языка. Как и глухие взрывные p, t, k и звукотип s, он встречается, как правило, только в начале слова и в положении рядом с глухим согласным, напр.: *jukse «лебедь» — р. *Юкша* (Juks.a) (Костр. губ. — Юрьев) Vasmer 382 (ср. ф. *joutsen* «лебедь», эст. (поэт.) *joudsin*, (диал.) *joos*, сам. Н *njuk'Ca*, морд. Э *локсей*, мар. *йуксо*, мар. В *йукчо*, удм., коми *юсь*, манс. (ст.) *jos(voj)* (*voj* «птица») < ф.-уг. *jogkCe) КЭСЯ 336, SKES I 121, ОФУЯ 416; *sole(-a) «вяз, ильм» — р. *Шоля* (Solja/Sol'B) (Костр. губ. — Варнав) Vasmer 375 (ср. ф. *salava* «ива ломкая», морд. Э *селей* «вяз», морд. М *сяли*, мар. *шоло*, венг. *szil(fa)* (*fa* «дерево») < ф.-уг. *sala) SKES IV 954, MSzFUE III 587-588; *sa rne/so te(-a) «ракита, ветла» — н.п., р. *Шарма* (Sarna) (Яр. губ. — Люб) Vasmer 388, н.п. *Шарниха* (Sarnicha) (Костр. губ. — Юрьев) Vasmer 383, р. *Шарновка* (S arnovka) (Костр. губ. — Буй) Vasmer 381, р. *Шорна* (Sorna) (Вл. губ. — Шуй) Vasmer 395 (ср. ф. *saarni* «ясень», эст. *saar*, лив. *sarna*, мар. *шертне* «верба; ракита», *sarDni* < ф. (прибалт.-фин., мер., мар.) *sarDene «ясень; верба») SKES IV 939.

В середине слова в положении между гласными или рядом с сонантом звукотипу s соответствует Z, напр.: *sinZe(^)* (*sinZan*, ген. ед.ч.) «глаз; (перен.) источник» — н.п. *Синжан*

(SinZan) (мер. * SinZen (Balo) «Ис- точниковая (букв. — источника) (деревня)» (Вл. губ. — Меленк) Vasmer 397 (ср. ф. *silma* «глаз», саам. Н *Cal'bme*, морд. *сельме*, мар. *sind^* «глаз; источник», удм. *син* «глаз», *ошмес-син* «родник (букв. — ключевой/род-никовый глаз)», коми *син* «глаз; родник», хант. *сем* «глаз», *меусем* «родник (букв. — глаз земли)», манс. *сам* «глаз», венг. *szem*, нен. *сэв*, эн. *sei*, нган. *saime*, сельк. *sai*, кам., койб. *sima*, тайг. *sime-da* < урал. **silma*)^{.....}.

***** Отсюда нельзя еще делать вывод о том, что данное слово, наиболее тесно связанное с мар. *шинча* «глаз» (даже в указанном переносном значении), являлось в мерянском единственным для обозначения этого понятия, ср. другие топонимы бывшей мерянской области, позволяющие реконструировать мер. **sel'me(-a)/*salme(a)* «глаз»: р. *Сельма* (Костр. губ. - Солигал) КГЗ 243, р. *Сальма* (Костр. губ. — Ветл), КГЗ 68, — более близкие к ф. *silma* «глаз», морд. *сельме* «то же». Очевидно, речь идет только о диалектном явлении, связанном с частью мерянского языка.

По сравнению со звукотипом *s* согласный *s* был распространен в мерянском языке значительно шире. Об этом свидетельствует большое количество названий с бывшей мерянской территории, включающих этот звук, которые, не являясь такими этимологически ясными, как приведенные выше примеры, все же обнаруживают несомненное финно-угорское происхождение, ср.: *Шуда* (Бида) (Костр. губ. - Варнав) Vasmer 375; *Осуя* (Osujā) (Костр. губ. - Варнав) Vasmer 375; *Шордик* (Sordik) (Костр. губ. - Кол) Vasmer 377; *Недьша* (Nel'sa) (Костр. губ. - Кол) Vasmer 377; *Локиша* (Loksa) (Костр. губ. - Кин) Vasmer 383; *Шунга* (Sunga) (Костр. губ. - Костр) Vasmer 385; *Пекиша* (Peksa) (Яр. губ. - Яр) Vasmer 387; *Шарма* (ʃma) (Яр. губ. - Пош) Vasmer 391; *Шегола* (Segola) (Яр. губ. - Пош) Vasmer 392; *Шуга* (Suga) (Вл. губ. - Сузд) Vasmer 398; *Шорнога* (Sornoga) (Вл. губ. - Александр) Vasmer 400 и др.

Большое количество слов явно финно-угорского происхождения, включающих звук *s* и связанных с мерянской территорией, причем в разных ее частях, показывает, что он был чрезвычайно характерен для мерянской фонетической системы. Не исключено, что именно с этим связана известная ограниченность примеров со звукотипом *s*: *s* в мерянском языке могло его в какой-то степени потеснить. Это могло объясняться и тем, что звук *s* в мерянском имел артикуляцию, отличающую его от обычного славяно-русского *s* (с русского и украинского типа) и несколько приближающуюся к артикуляции *s*, то есть близкую к финской: «Шумные щелевые переднеязычные апиальные s, ss (финского языка. - О.Т.) на слух несколько шепелявые. Они произносятся следующим образом: кончик языка направлен к верхней десне, края языка прижимаются к боковым зубам и к части твердого неба, прилегающего к ним таким образом, что посредине между кончиком языка и твердым небом образуется узкая щель в форме желобка. Струя воздуха, проходя через эту щель, дает шум с присвистом. Таким образом, финские согласные s, ss акустически воспринимаются как средние между русскими *s* и *ш*» [24, с. 22]. О близком к финскому характере мерянского *s* очевидно, свидетельствуют слова не только славяно-русского происхождения из русских говоров, распростра- 56 ненных на постмерянской территории, но и собственно мерянского происхождения. В ча-

стности, об этом говорит колебание древнерусского *с/ш* при передаче мерянского слова **moska* «конопля» (ср. морд. М *мушка* «волоконно, кудель», морд. Э *мушко* «конопля»), лежащего в основе названия р. *Москва* (ср. другое чисто славянское название верхней части ее течения - Коноплевка, калькирующее мерянское) [117]. В Галицко-Волынской части Ипатьевской летописи отмечается как форма местного падежа на *Мосци* (от *Моска*), в другом списке той же летописи - форма этого падежа в варианте на *Можци* (очевидно, с гиперистическим -ж- от *Мошка*). Данный пример может быть объяснен только как результат колебания при выборе звука, вызванного тем, что ни друс. *s*, ни *ш* не могли точно отразить мерянский звук, представляющий собой, видимо, что-то среднее между тем и другим. Очевидно, закреплению русского звука *с* в данном и аналогичном примерах, кроме возможных изменений в самом мерянском языке, могло способствовать то обстоятельство, что при первоначальном соприкосновении с мерянским языком звук *ш* в языке восточных славян был еще мягким, и это сближало его артикуляционно-акустически с мерянским *s*. По мере того как славяно-русское *ш* в речи (прото)великорусов отвердевало, все менее оправданно становилось мерянское *s* передавать славяно-русским *ш*, и в (прото)великорусском языке мерянское *s* стало передаваться только с помощью звука *с*++++++.

+++++++ С фонетической точки зрения первоначальная мерянская форма названия р. *Москва* **Moska*(e), отраженная, видимо, не только в вышеупомянутых древнерусских свидетельствах, но и в итал. *Mosca*, интересна еще тем, что с несомненностью свидетельствует о заднерядном редуцированном в конце этого слова, воспринятом восточными славянами - тогда, видимо, еще не имевшими в своем языке новых (велико)русских редуцированных - как звук близкий или идентичный -ы (в словах типа *църкы* (*църкъве*) «церковь», *свекры* (*свекръве*) «свекровь» и т.п.). Это и стало позже причиной создания по образцу данных слов форм (более старой) *Московъ* (1147 г.) (как *церковъ*), отраженной в англ. *Moscow*, нем. *Moskau*, фр. *Moscou*, и более поздней (и современной) *Москва* (под влиянием слов *буква*, *смоква*, рус. (диал.) *църква*) [117, с. 131]. Таким образом, ввиду этого недвусмысленного свидетельства появляется возможность реконструировать лежащее в основе данного топонима мер. **moske* «конопля» (с заднерядным редуцированным и инициальным ударением, ср. итал. *Mosca*), а вместе с тем говорить с большей уверенностью о конечном редуцированном мерянских слов. Что касается собственно этимологической стороны, то мер. **mOske* «конопля», родственное морд. М *мушка* «волоконно; кудель», морд. Э *мушко* «конопля, кудель», мар. *муш* «пенька, кудель», связано, видимо, с финно-угорскими глаголами

того же корня со значением «стирать, мыть; вымачивать (в том числе коноплю)» (ср. эст. (диал.) *mOskma* «мыть», морд. Э *муськемс*, морд. М *муськомс*, мар. *мушкаш* «мыть, умывать; стирать, полоскать (белье)», удм. *миськыны* «мыть, купать», коми *мыськавны* (*мыськынЫ*) «мыть, стирать», венг. *mosni* «мыть; стирать», нен. *маса(сь)* «смазать, намазать; (большезем.) «умыть; вымыть; помыть», эн. *masua-bo* «(я) вымыл, вытер», кам. *bazai'am* «мыть», сельк. *musau* «(я) вымыл» < урал. **muske* - (**moske*) «мыть, стирать») КЭСРЯ 184, MSzFUE II 450451, ОФУЯ 406. Однако само мерянское слово могло возникнуть и вторично как результат переосмысления первоначального и.-е. (? балт.) слова (см.: Фасмер ЭСРЯ II 660-661).

Сравнительно малочастотные (на основании свидетельства топонимов) в мерянском аффрикаты *с* и *с* все же не были чужды его фонетической системе, о чем свидетельствуют не только косвенные показания русских говоров постмерянской территории (с отчетливым, как правило, разграничением звуков *ц* и *ч*), но и данные самого мерянского языка в словах предполагаемого мерянского происхождения, напр.: *аСэ/-а (at'e) «отец» - р. Ача (Костр. губ. - Гал) КГЗ, 83 (ср. ф. atī «свекор; тесть», attī «отец», эст. att «то же», морд. атя «старик», мар. ача «отец», удм. атай «то же», венг. атуа «отец; монах», эн. at' «отец» (при обращении), нган. t'a «то же», возможно, < *at'(t')a «отец; старик») MSzFUE I 100-101; Почеболка (PoCebolka (Яр. губ. - Пош), сопоставляемое с мар. Г пучы (putse) «олень», мар. пучо «то же» — Vasmer 417, где в пользу мерянского происхождения слова (независимо от правильности предложенной этимологии) говорит его употребление в типичной для мерянского языка композите, обозначении деревни, со вторым компонентом -бол- < *-Bol «деревня».

Еще реже в мерянском употреблялась, видимо, аффриката *с*. Единственным несомненным мерянским примером, иллюстрирующим ее употребление, является не вполне ясное по составу и происхождению приветствие «Цолонда — в доме: здравствуй, хо- зяин(?)» (с. Давшино — Яр. губ. — Пош) КЯОС 212 [Архангельский А. Село Давшино, Ярослав. губ., Пошехон. уезда: Написано в 1849 г. — Этнографический сборник, вып. 2. Спб., 1854, с. 1-80]. Можно не сомневаться в мерянском происхождении слова, поскольку оно записано в Пошехонье, на бывшей мерянской территории, сохранявшей и частично сохраняющей особенно много мерянских пережитков. Исходя из того, что в основе приветствия лежит всегда какое-то пожелание, в прошлом — целая фраза, видимо, здесь выступает приветственная формула, очень деформированная и сократившаяся (синкопированная) в результате частого и быстрого ее произнесения. К этому могло добавиться и некоторое искажение, вызванное утратой языка, на фоне которого она только и могла пониматься. Итак, пока можно только догадываться о первоначальном содержании и составных частях этой формулы. Поскольку в приветствии скорее всего высказывалось пожелание здоровья, первым ее элементом *цол* < мер. *с'O'le с редким для мерянского звуком *с* могло быть субстратное включение из какого-то индоевропейского языка, где, как в славянском, балтийском и германском, было слово с корнем *koil-* > псл. *sel' «целый,

невредимый, здоровый», прус. kails «здоров(ый) (в заздравной формуле)», гот. hails «здоровый», пережившее переход *k* > *s*. Заимствованное ^ово sb'le, очевидно, имело значение «здоровый; здоровье». Его употребление в приветственной формуле свидетельствует о том, что в мерянском языке оно приобрело глубоко традиционный характер, о чем, в частности, говорит его сохранение даже после утраты самого языка. Тем самым органично, хоть и ограниченно, должна была войти в фонетику языка и аффриката *с*.

В связи с тем, что аффриката *с* могла в некоторых случаях появляться на месте среднеязычного (палатального) *t'* ср. ^се (р. Ача) (Костр. губ. — Гал) КГЗ 83 при форме at'e (н.п. Ате(бал) (At'ebal) Моск. губ. — Дмитр) Vasmer 418, ясно, что мер. *с* было мягким, а не твердым звуком, своей мягкостью в какой-то степени напомиавшим русское *ч*. Этим, видимо, объясняется также то, что носители мерянских говоров сравнительно легко, не смешивая его с *ц*, усвоили русское *ч*. В отличие от мерянского эрзя-мордовский язык с его твердым *ч* (*с*) русское мягкое *ч* передавал в старых заимствованиях с помощью мягкого *ц'* (*с'*) (ср. морд. Э цюдавомс, цюлан, цюлка — рус. *чудиться, чулан, чулок*). С другой стороны, в мерянском языке аффриката *с* была скорее всего твердой (ср. то же *Со'lepПэ(-а) > рус. (диал.) *цолонда*). Поскольку русское *ц* также является твердым, это способствовало правильному различению звуков *ц* и *ч* в русском языке и воспрепятствовало их смешению при усвоении славяно-русской речи мерянским населением, а в конечном счете привело к тому, что явление цоканья и чоканья (смешения *ц* и *ч*) для возникших здесь русских говоров не характерно. Следует полагать, что и аффрикаты *с* и *с* подобно взрывным и фрикативным *s* и *s* сохраняли полностью свою глухость только в абсолютном начале слова, его абсолютном конце, если они могли там выступать, и в непосредственном соседстве с глухими. В других позициях (прежде всего, в интервокальной) они частично озвончались. Однако из-за их малой частотности и отсутствия традиции передачи собственных аффрикативных звонких вариантов в русском языке (ср. *дочь_была, отец_эыл*, где слышатся, но не обозначаются на письме звонкие аффрикаты *з* и *з*) в графике русской передачи мерянских лексических элементов это не получило никакого выражения.

Довольно большой частотностью (в отличие от аффрикат) в мерянском языке, как и

в других финно-угорских, характеризовались сонорные *m*, *p*, *l*, *g*, напр.:

1) (звукотип *m*) **moske* «конопля» — рус. (ст.) **Моска* «Москва» (на *Мосці*, 1208 г. — Смол 287) (ср. морд. *М мушка* «волокно; кудель», морд. *Э мушко* «конопля, кудель», мар. *муш* «пенька, кудель», очевидно, < урал. **moske-* / **muske-* «мыть, стирать; вымачивать (о конопле)» [72]; **lejme* «корова» < **leZ'ma*) — рус. (диал.) *лейма* «корова» (Костр. губ. — Гал) (ср. ф. *lehma* «корова», эст. *lehm*, лив. *pi'eme* «то же», морд. *Э лишме* «лошадь», морд. *М лишме* «конь (только о красивом или игрушечном коне)» SKES II 284 — в основе, очевидно, лежит заимствование из древнебулгарского (ср. чув. *лаша* «лошадь») со значением «кобыла»); **^eE^* «семь», рус. (арг.) *сезюм* (Костр. губ. — Гал) Вин 49 (ср. ф. *seitseman* «семь», эст. *seitse*, саам. *Н. sie3a*, морд. *сисем*, мар. *шым(ыт)*, удм. *сизьым*, коми *сизим* < *ф.-перм. **s'egc'ema* «то же» < какой-то индоевропейский язык балто-славянского типа — Серебр. Ист. морф. перм. яз. 221) SKES IV 991, КЭСКЯ 255; **kolema(-e)* «смерть; умирание, тяжелая болезнь» — рус. (диал.) *колема* «болезнь» (Костр — Ветл) СРНГК (ср. ф. *kuolema* «смерть», эст. (диал.) *koolma* «умирать, умирание», морд. *кулома* «смерть», мар. *колымаш*, удм. *кулэм*, коми *кулом*, хант. (каз.) *хал'ты* «подохнуть», манс. *khali* «умирает», венг. (meg) *halni* «умирать», нен. *хась* «умереть», эн. *kado'* «умирать», нган. *kU'am* «(он) умер», сельк. *kuak* «(я) умираю», кам. *ku l'em* «то же» < урал. **kole-*/**k0le* «умирать») SKES II 239, MSzFuE II 250251, КЭСКЯ 143, ОФУЯ 407;

2) (звукотип *n*) *anDo^a(-e)* «кормящий < дающий» — р. *Андоба* (Костр. губ. — Костр) КГЗ, 160 (ср. ф. *antaa* «давать», *antava* «дающий», эст. *andma* «давать», *andev* «дающий», саам. *Н. vuow'det* «продавать», морд. *андомс* «кормить», удм. *удмнм* «поить», коми *удны* (в составе *вердны-удны* «кормить-поить»), венг. *adni* «давать; продавать» < ф.-уг. **amta* «давать») SKES I 20, MSzFUE I 69, КЭСКЯ 295-296, ОФУЯ 418; **-n* (показатель ген. ед.ч.) — рус. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро» Вин 48, р. *Яхрен* (Вл. губ.) Смол 208 (мер. **К'ЕГОП* (*jahre*) «Болотное (букв. — болота) (озеро)», *Jahren* (*juk*) «Озерная (букв. — озера) (река)» (ср. ф. *jarvi* «озеро» — ген. ед.ч. *jarven*, морд. *Э эрьке* «озеро» — ген. ед.ч. *эрькенъ*, (диал.) *лоуун ломанъ* «снежный (букв. — снега) человек» (морд. -нъ < -н) — Серебр. Ист. морф. морд. яз. 16-17, мар. *ер* «озеро» — ген. ед.ч. *ерын* < ф. **-n*) Галкин 39-41, Серебр.

Осн. лин. разв. 68-70;

3) (звукотип *l*) **jelme(-a)* < **nelme/-a* «язык, речь» — рус. (арг.) *елманский* «древний галицкий» (= мерянский) язык» Вин 45, дмер. **(meran) jelmen* (-a^ «(мерянского) языка (= принадлежащий к мерянскому языку, говорящий на нем)» (ср. саам. *Н njal'bme* «рот», мар. *йылме* «язык (анат., лингв.)», хант. (каз.) *нялум* (анат.), манс. *не лум* «то же», венг. *nyelv* < ф.-уг. (вост.) **nalma*) MSzFUE III 480; **palo(-e)* «деревня, село», (поздн.) **pol* — н.п. (*Нуш*)*поло* (очевидно, из фон. **Нушна-ло*) (*Nuspolo*) (Вл. губ. — Александр) Vasmer 418, н.п. (*Ku*)*бол* (*Kibol*) (Вл. губ. — Сузд) Vasmer 417, н.п. (*Ku*)*бало* (*Kibalo*) (там же, 1578 г.) Vasmer 417 (ср. хант. (вост.) *nyuel* «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)», манс. *на был* «деревня, поселок, селение», венг. *falv* (< **palu*) «деревня, село» < угор. (= мер.?) **palY3* «то же») MSzFUE I 180-181;

4) (звукотип *g*) **urma(-e)* < **ur^e(-a)* вследствие влияния -*n*, ген. ед.ч., **re^a* «белка» — рус. (диал.) *урма* «белка» (Костр. губ. — Кол) ООБС 240 (ср. ф. *ogava* «белка», эст. *ogav* «то же» — ф. -*va*, эст. -*v*, мер. **-ma* < **-pa* — суффикс < **^a*, саам. *Н oar're*, морд., мар., коми *ур* < ф.-перм. **oga* «то же») SKES II 436, КЭСКЯ 297-298, ОФУЯ 428; **kere(-a)* «кора» — р. *Кера* (*Kera*) (Костр. губ. — ^p) Vasmer 386, КГЗ, 217 (ср. ф. (диал.) *keri* «береста, выросшая на березе на месте ободранной коры», саам. *Н gaгга* «кора», морд. *Э керъ* «кора, лубок», морд. *М кяр* «то же», мар. *кур* «лубок», удм. *кур* «то же», коми *кор* «кожура, шелуха», хант. *kat* «кора», венг. *kerég* «кора; корка; скорлупа» < ф.-уг. **kere*) SKES I 183, MSzFUE II 353-354, КЭСКЯ 133, ОФУЯ 415.

Относительно мерянских сонорных можно заметить следующее.

1) Мер. *l* в связи с существованием, очевидно, находившегося с ним в оппозиции *l'* среднеязычного (палатального) скорее всего было твердым звуком.

2) Как показывают данные лексики немерянского происхождения с постмерянской территории, для звукотипов *l* и *g* имелись глухие соответствия *L* и *R*. Как известно, в мокша-мордовском, имеющем так же, как и мерянский, глухие сонанты, кроме *R* и *L* существуют еще *R'*, *L'* и *J* [72, с. 326]. Существовали ли подобные звуки в мерянском, на основании имеющихся данных установить нельзя. Однако были они или нет, употреблялись они скорее всего как варианты соответствующих звонких (сонантов).

3) По-видимому, позиционно ограниченным звукотипом (фонемой) был в мерянском г. Если сонорные m, n, l наблюдаются здесь во всех частях слова, в том числе в его начале (ср. р. *Моска* > *Москва*) (Моск) Смол 287, Халипов 129-131; н.п. *Нушполо* (Вл. губ. — Александр) Vasmer 418; р. *Лочма/Лотма* (Вл. губ. — Переясл)), к тому же для всех подобных примеров обнаруживаются финноугорские соответствия, что говорит об исконности соответствующих лексем, то не так обстоит дело со словами, которые начинаются на г (рус. р). Параллели к ним или ограничиваются прибалтийско-финскими языками, причем сами предполагаемые мерянские слова не обнаруживают ничего специфического (*rast(e) «растовая дорога» Востр II 34-35), что может говорить об их заимствованном (из прибалтийско-финских) характере, или же относятся к случаям несомненного заимствования (ср. р. < н.п. *Руж(бал)* (RuZbal) (Костр. губ. — Кол), дающее возможность реконструировать мер. *rus «русский» < прибалт.-фин. (ст.) rut si < друс. Русь). Очевидно, мерянский, не терпя в начале слова больше двух согласных, воспринимал звук г как близкий группам из двух и больше согласных. Как отдельный согласный (точнее, часть геминаты) здесь, видимо, воспринималась каждая из вибраций г, что делало невозможным (или ограниченным) его положение в начале слова. Этим можно объяснить начало слова со значением «русский» в таких особенно строгих к инициальным скоплениям согласных языках, как венгерский и тюркские, где оно всегда имеет приставной гласный, будто речь идет о слове, начинающемся с двух согласных: венг. *ogosz* «русский», тат. (ст.) *урыс*, чув. *вырас* «то же» и др.

Все рассмотренные до сих пор согласные мерянского языка относились к твердым. Кроме них, как это обнаружилось при рассмотрении особенностей мерянской фонетики на немерянском (преимущественно славяно-русском) лексическом материале, в мерянском еще имелись палатальные (среднеязычные) согласные. Мерянский материал показывает, что к ним с наибольшим основанием можно причислить звукотипы t' (с вариантом D'), s' (с вариантом Z'), а также сонанты j, l', n'.

Звукотип t'/D' обнаруживает свою ереднеязычность в том, что у ряда слов появляется (как следствие большой степени палатальности) параллельная форма, где

произошел переход t' > с. Сюда, в частности, относятся следующие слова: at'e(-a)/ace(-a) «отец» - н.п. *Ате(бал)* (Atebal) (Моск. губ. - Дмитр) Vasmer 418, р. *Ача* (Костр. губ. - Гал) КГЗ, 83 (ср. ф. ati «свекор, тесть», atti «отец», эст. att, ген. ati «то же», морд. *атя* «старик», Мар. *ача* «отец», удм. *атай* «то же», венг. atya «отец; монах», эн. at'a «отец (при обращении)», нган. t'a «то же» < ? урал. *at'(t)a «отец; старик») MSzFUE I 100101; *lot'me(-a)/*locme(-a) «ложбина, долина» - р. *Лотма/Лочма* (Lot'ma/Locma) (Вл. губ. - Переясл) Vasmer 401 (ср. ф. lotma, lotmo «то же», морд. Э loZmo «углубление», *лашмо* «долина», коми *лажмыд* «отлогий, пологий, покатый» (SKES II 301) < ? ф.-перм. *lat(e)ma «углубление, покатоое место»). Вариант D' обнаруживается в предполагаемом мерянском слове *PeD'me(-a) - рус. (диал.) *ведьма* «перемет» (Костр - Гал) Востр II 28 (ср. морд. Э *ведьме* «повод, ремень; завязка, бечевка; конец, обрывок нитки» - дальнейшие связи предполагаемого мерянского и мордовского слов не ясны). Обращают на себя внимание случаи, где t', несмотря на соседство сонанта, не переходит в D'. Очевидно, они могут объясняться тем, что в прошлом вместо простого (одинарного) согласного в них выступал геминат или группа согласных.

Звукотип s'/Z' в своих двух вариантах рассматривается как относящийся к палатальным в связи не столько с конкретными свидетельствами слов мерянского происхождения, сколько с требованиями системности: трудно представить себе, что все смягченные согласные мерянского языка относились к палатальным, за исключением данных. Косвенным свидетельством существования палатального s' (с его, по-видимому, шепелявым оттенком) здесь может служить предполагаемый, близкий к финскому, характер любого мер. s,. Возможно, он сложился в результате влияния мерянского палатального с его шипящим оттенком. Палатальное s' в мерянском произносилось как s', а не как Z', только в начале слова, конце и, очевидно, также, хоть подобные примеры отсутствуют, рядом с соседним глухим в середине слова, напр.:

1) (звукотип s') s'i «этот (-а, -о)» - рус. (арг.) *сиея* «есть» < мер. *s'i jon «это есть» (ср. ф. se on, эст. see on «то же») (Яр. губ. - Углич) ЯОСК 184 (ТОЛРС XX 117) (ср. ф. se «этот (-а, -о)», эст. see «то же», морд. Э *се* «тот», мар. В *седе* «вот этот», хант. (каз.) *си* «этот (-а, -о)», нган. sete «он» < урал. *ci/*ce) ОФУЯ 399;

*jолus «пусть будет» - рус. (диал.) *елусь поелусь* «приветствие во время еды» < МЕР. *jолus pa jолus < *jолоZe pa jолоZe (***tenan seye(-) -juye(-)* «пусть будет и будет (у тебя еда-питье)» (ср. морд. *улезэ* «пусть будет», мар. *лийжэ* «то же», саам. *bottus* «пусть приходит», содержащие формант -s- со значением показателя 3-го лица повел. (побудит.) наклонения, - Серебр. Ист. морф. морд. яз. 167; корневая часть связана с ф. olla «быть», эст. *olema*, морд. *улемс*, мар. *улаш*, удм. *вал* «(он) был», коми *волі* «то же», хант. (каз.) *вел'ты* «быть; жить, находиться», манс. *олу*. -*кве* «быть; иметься, жить; находиться», венг. *volt* «был» < *wole - «быть») SKES II 427; MSzFUE III 669, КЭСКЯ 67, ОФУЯ 417;

2) (звукотип -Z'-) *s[^]Z'um «семь» - рус. (арг.) *сезюм* «то же» (Костр. губ. - Гал) Вин 49 (ср. ф. *seitseman* «семь», эст. *seitse*, саам. *Н ciesa*, морд. *сисем*, мар. *шым(ыт)*, (диал.) *sisim*, *sesem*, удм. *сизьым*, коми *сизим* < ф.-перм. *s'egc'ema, слова какого-то и.-е. языка) SKES IV 991, КЭСКЯ 255, Серебр. Ист. морф. перм. яз. 221.

Интересно отметить, что реконструируемая мерянская форма ^{^^^}um совпадает с пермскими по озвончению (в данном случае частичному) палатального согласного в середине слова, чем противостоит, за исключением саамского, остальным финно-угорским языкам. Очевидно, частичное озвончение в мерянском было вызвано, как и в пермских языках, упрощением интервокальной группы согласных, произошедшим очень рано, в период, когда одинарные согласные в интервокальной позиции могли произноситься слабее. Своеобразие реконструируемой формы является одним из аргументов ее принадлежности к мерянскому языку.

Звукотип l' чрезвычайно характерен для мерянского языка. На основании имевшегося в распоряжении материала мерянского происхождения определить его конкретно (вне априорных предпосылок системности) не удастся. Однако случаи взаимозамены русских й-л в постмерянских местностях указывают на палатальный характер л как причину этой замены (ср. венг. *kiraly*, фон. *kiraj*, где j также развился из предшествующего ly, то есть l' палатального). Одним из подобных примеров является рус. (диал.) *альда* < *айда* «айда» (Яр — Пош). Гиперкорректное *альда* вместо *айда* говорит о возможности противоположной замены л' (l') на й (j), где близость л' к наиболее типичному палатальному звуку, в свою очередь, свидетельствует о палатальности (пост)мер. l' (л'). Примеры звукотипа V:

*l'ejme(-a) < *l'eZ'ma «корова» — рус. (диал.) *лейма* «то же» (Костр. губ. — Гал) ООБС 102 (ср. ф. *lehma* «корова», эст. *lehm*, лив. *ni'em* «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», морд. М *лишме* «конь (только красивый или игрушечный)») SKES II 284 < ф. (прибалт.-фин., мер., морд.) *leS(e)ma «кобыла (дойная)», где источником слова был, очевидно, древнебулгарский (тюркский) язык: чув. *лаша* «лошадь»; *il'Dome(-a) «безжизненный» — р. *Ильдомха* (Костр. губ.) Семенов 233 < мер. *ela «живой» + суффикс *лиши-* тельности — *tom(e)* (ср. ф. *elaa* «жить», эст. *elama*, саам. *Н allet*, морд. *эрямс* (< *elam(a)-s), мар. *илаш*, удм. *улыны*, коми *овны* «то же», хант. *jel* «ключ, источник», манс. *jelwale-* «оживляться», *jelew* «новый», венг. *elni* «жить», нен. *иле(сь)*, эн. *jire-do*, нган. *nile- tm*, сельк. *elak* «то же», кам. *t'ilil'em* «снова оживить», *d'ili* «живой» < урал. *eЫ «жить»; ф. *voima-ton* «бессильный», саам. *Н* < *calme-tebme* «слепой (безглазый)», морд. Э *узер-теме* «без топора», мар. *вий-дыме* «бессильный», удм. *син-тэм* «слепой (безглазый)», коми *син-том* < ф.-перм. *ttoma «формант лишительности» < ф.-уг. *-tt- «то же» SKES I 37-38, MSzFUE I 145-146, ОФУЯ 405 [55, с. 358].

Звукотип n' отражает свою палатальность в словах мерянского происхождения с переходом этого звука в j, что является несомненным доказательством его среднеязычности, напр.: мер. *jelme(-a) «язык» — рус. (арг.) *елманский* «древний галицкий язык» (Костр. губ. — Гал) Вин 45, где j-, как и в мар. *йылме*, появилось из n' (ср. саам. *Н njal'bme* «рот», хант. *нялум* «язык (анат.)», манс. *не лум* «то же», венг. *nyelv* «язык (анат., лингв.)» < ф.-уг. (вост.) ♦*n^lma*). Следовательно, мер. n' — типичный палатальный звук. Одним из наиболее надежных является пример *n'ero «болото» — рус. (арг.) *Нерон* < *N'eron(jahre)* «Болотное (букв. — болота) (озеро)» (Костр. губ. — Гал) Вин 48 (ср. ф. *ного* «болотистая лощина», саам. (сев.) *njoaa-* «выйти из воды (о водоплавающих птицах)», мар. *ного* «сырой», удм. *пуг* «болото, влага, сырость», коми *пуг* «болото», хант. *пог* «мут (в воде)», манс. *паг* «болото», венг. *nyirok* «сырость», сельк. *пагу* «болото» < урал. *nOг/*нога «болото, топь; влажный») ОСНЯ I, XXVII, II 89.

Среди мерянских палатальных соглас-

+++++ Мер. *ela реконструируется на основе формы, зафиксированной в одной из ре-визских сказок 50-х годов XIX в., хранящейся в Кологривском краеведческом музее: д. *Элино* < мер. *El'en palo «Эли (букв. — Живого, Бойкого) деревня».

ных, установленных с помощью анализа фонетики немерянских слов, удалось обнаружить пример, свидетельствующий о возможности палатального г', ср.: *ебро* < **p'ebro* «ребро», *ёбро* < **p'obro* «то же» (Яр. губ. — Мол, Рост) КЯОС 63. Очевидно, случаи подобного перехода, — возможно, частично обусловленные тем, что мерянский избегал начального г, — должны были существовать и в самих мерянских словах. Однако в доступном исследованию материале их не удалось обнаружить. Нужно полагать, что в фонетической системе мерянского языка г' палатальное относилось к явлениям спорадичным, периферийным.

Последним из рассматриваемых палатальных согласных и в то же время наиболее типичным и распространенным из них был звук *j*. Как показывает этимологическое исследование мерянских слов (ср., например, мер. **jelm* е «язык» из предшествующего **n'elma* «то же»), иногда *j* мог появляться секундарно, развиваясь из других среднеязычных, в частности *n'*. Звук *j* — один из наиболее распространенных звукотипов мерянского, поэтому его можно обнаружить в разных позициях — в начале, середине и конце слова. В ряде случаев сочетания *j* с предшествующим гласным давали что-то напоминающее дифтонги. Однако подобных примеров удалось обнаружить немного, кроме того, нет полной уверенности в том, что часть из них не заимствовалась в мерянский из какого-нибудь прибалтийско-финского языка, прежде всего вепсского. Окончательно установить их дифтонгичность в связи с определенной фонематической значимостью может только накопление в большем количестве несомненно мерянского материала. Данные, которыми в настоящее время располагает исследователь мерянского языка, не позволяют решить данный вопрос. Примеры звукотипа *j*: **juk* < **joGe* «река» — р. *Юг* (Jug) (Костр. губ. — Макарь; Яр. губ. — Пош; Вл. губ. — Горох) Vasmer 377-378, 391, 394 (ср. ф. *joki*, эст. *jOgi*, лив. *jo'G*, *jo'uG*, саам. *N jokka*, морд. *M Jov* «название р. Мокша», мар. *йогы* «течение, поток» (? — допускается возможность связи с чув. *jox*- «течь»), удм. *ю* (*ю-шур*: *шур* «река»), коми *ю* «река», хант. *юхан* «речка» (?), манс. *я* «река» (?), венг. (ст.) *jo*, нен. *яха*, эн. *joħa*, сельк. *ke* «то же», кам. *t'aуа* «река, речка; ручей» < урал. **joke*) SKES I 118, MSzFUE II 339-340, КЭСКЯ 334, ОФУЯ 403; **pujka* < **puj* < **poje* + *-ka* «мальчик, подросток» — рус. (диал.) *пуйка* — «то же»

(Яр) ЯОСК (ср. ф. *poika* «сын; мальчик; юноша», эст. *poeg* «сын», мар. *Г пу* (только в сложных словах: *пуэргы* «мужчина?»), морд. *Э bujo*, *pijo* «внук» (?), удм. *пи* «мальчик, парень», коми *пи* «сын; мальчик», хант. (каз.) *пух* (*пух*) «парень, мальчик; сын», манс. *пыг* (*пыГ*) «сын; парень; юноша», венг. *fiu* (*fi*) «сын, мальчик, ребенок; детеныш всякого животного» < ф.-уг. **poika* (своеобразный корневой вокализм (пост)мерянского слова, видимо, свидетельствует о существовании в прошлом формы *puj*, ср. морд. *Э bujo*)) SKES III 590-591, MSzFUE I 206-207, КЭСКЯ 221, ОФУЯ 413; *-*j* (как формант звательной формы (поздн.) **maiaj* «мама!», возможно, также **kojoj!* «дядя; крестный отец» — рус. (диал.) *мамай* «(зват.) мама» (Яр — Первом) ЯОСК (ср. морд. *Э авай* (от *ava* «мать») «мама» (в обращении), морд. *М тядай* (от *тядя* «мать»), мар. *авай* «то же», где тот же формант объясняется, в частности для мордовских языков влиянием тюркских, ср. тат. *babaj!* «дедушка» (в обращении, от *baba* — Серебр. Ист. морф. морд. яз. 31), однако для мерянского подобное объяснение менее убедительно).

На материале слов и форм предполагаемого мерянского происхождения был установлен состав звукотипов мерянского консонантизма, куда входят следующие согласные: *p*, *B*, *t*, *D*, *k*, *G*, *o*, *u* (?), \$ (диал.?), *y* (диал.?), *h*, *g*, *s*, *Z*, *s*, *Z*, *c*, *c*, *m*, *n*, *l*, *r*, *t'*, *D'*, *s'*, *Z'*, *l'*, *n*, *j*. Кроме того, на основании изучения слов немерянского (славяно-русского) происхождения для мерянского были установлены как возможные также глухие сонанты *L*, *R* и палатальное г'. Учитывая позиционную обусловленность части звуков, представляющих собой, очевидно, варианты фонематически значимых звукотипов, можно предположить в качестве фонем (частично — их вариантов) следующие согласные звуки: *p/B*, *t/D*, *k/G*, *o/(?u)*, *h*, *s/Z* *s/Z*, *c*, *c*, *m*, *n*, *l/L*, *r/R*, *t'/D'*, *s'/Z'*, *l'*, *n'*, *j*. Согласные *5*, *У*, *П*, *г'* точно не определены в отношении их фонематичности. Таким образом, для мерянского можно предположить 32 звукотипа согласных. На основании анализа их употребления следует говорить, видимо, о существовании 18 согласных фонем. Четыре согласные (\$, *y*, *g*, *г'*), находящиеся на периферии системы, возможно, частично диалектные (\$, *y*, *г'*), не могут быть пока определены с точки зрения их фонематичности (нефонематичности). Рассмотрение гласных и согласных мерянского

языка позволяет представить их в виде двух таблиц (табл. 1, 2).

Таблица 1.

Гласные мерянского языка

Подъем	Ряд		
	передний	средний	задний
высокий	и̇ и̇?		и
средний	е̇ о̇[е]		о̇ [э]
низкий	а	а	

Примечание. Подчеркнутые знаки здесь и в табл. 2 обозначают фонемы (иногда их варианты).

Таблица 2. Согласные
мерянского языка

губные	передне- язычные	средне- язычные	задне- язычные	ларин- гальные	
шумные	взрывные	p/B	t/D	t'/D'	k/G
	фрикативные	Ц®	s/Z, S/g	j, s^zi	y?
	аффрикаты		б? с б		h
сонорные	носовые	m	n	n'	D
	боковые		l/L	г	
	дрожжащие		r/R	г'?	

ВЫВОДЫ

Фонетика мерянского языка характеризуется особенностями, унаследованными от финно-угорского (и частично уральского) праязыка и чертами, выработанными ею вместе с близкими генетически и ареально родственными языками или представляющими собой сугубо мерянские новообразования.

Чертами, восходящими, очевидно, еще к праязыковому периоду, являются у мерянского инициальное ударение, отсутствие фонологического противопоставления по глухости-звонкости и закономерности структуры (абсолютного) начала слова, при которых в нем допускался только гласный или не больше одного согласного, причем из согласных допустимы только шумные глухие и сонанты. Видимо, из-за приравнивания к геминатам ограниченно допустим в начале слова также звук г. К чертам, восходящим к праязыковому периоду, следует отнести в мерянском, вероятно, и наличие палатальных согласных, преимущественно противопоставленных парным с ними непалатальным (t'/D' — t/D, s'/Z/ — s./Z., l' — l, n' — n, возможно, отчасти также г' — г. Эта особенность сближает мерянский с финно-угорскими языками, связанными с восточной частью прародины, в частности венгерским, и отдаляет от прибалтийско-финских.

В мерянском языке не сохранились от праязыкового периода и не получили развития геминаты, вследствие чего не возникло противопоставление кратких и дол- Часть 1. Мерянский язык. Фонетика гих согласных. Видимо, в нем отсутствовали также долгие гласные. В словах предполагаемого мерянского происхождения крайне редко встречаются

дифтонгические сочетания гласных и палатального j. Это говорит о том, что здесь не получили развития дифтонги как регулярное и распространенное фонетическое явление. Тем самым мерянский язык отличается от современных финно-угорских языков западного ареала — прибалтийско-финских (с их системой противопоставления кратких и долгих гласных и согласных, а также большим количеством дифтонгов) и венгерского (с противопоставлением кратких и долгих гласных и согласных).

На чисто фонетической основе в мерянском языке возникало в некоторых случаях явление, напоминающее три ступени согласных (ср. *juk «река», *kaGe «кукушка», *jahre(-e) < *jaуге «озеро») в прибалтийско-финских языках, то есть k-G-h < y, в какой-то степени также p-B-^: *peZe «гнездо», -Balo «деревня» (в сложных словах типа *(Ki)Balo), *anDope(-a) «кормящий»; очевидно, диалектно еще t-D-5: *tolGe «перо», *anDope(-a) «кормящий», *ile5oma «безжизненный». В том, что оно не получило развития, очевидно, не последнюю роль сыграло отсутствие противопоставления по краткости-долготе гласных и согласных, на фоне которого элементы трехступенчатости в произносительной силе согласных не смогли приобрести морфонологической значимости и стать системой чередований.

С фонетикой мордовских и марийского языков в целом мерянскую фонетику связывает богатство консонантизма — наличие s, и s,, аффрикат с и с. Однако в отличие от мордовских здесь не получили развития

звонкие, в противоположность марийскому — не стали повсеместным явлением фрикативные *p*, *ɕ*, *y*, возникавшие как ступень ослабления глухих взрывных *p*, *t*, *k*. Все эти согласные, видимо, развились только в самой восточной части мерянской языковой территории, в наибольшей близости к марийскому языку.

Общей чертой фонетики мерянского, мокша-мордовского и отчасти хантыйского языков (казымский и сургутский диалекты) является наличие глухих сонорных, однако в мерянском они, видимо, остались на положении фонетических, вариантов соответствующих звонких фонем *l* и *g*, не став самостоятельными фонемами.

Есть основания говорить о сильном, инициальном, как свидетельствует топонимика бывших мерянских областей, ударении в мерянском языке. Видимо, им были обусловлены выпадение гласных и наличие особых редуцированных гласных переднего и заднего ряда *e* и *e*, характерных для заударных, в частности конечных, слогов. Наличием редуцированных мерянский язык напоминает мокша-мордовский (и, по-видимому, древнемордовский в целом), марийский и обско-угорские языки, а из прибалтийско-финских — ливский, наиболее архаичный из них и хранящий черты, связывающие его с волжско-финскими языками, утраченные другими языками той же группы.

Очевидно, в мерянском существовали лабиализованные гласные переднего ряда *o* и *u*, имеющиеся также в прибалтийско-финских, марийском и венгерском языках. Ввиду недостаточности имеющихся о них сведений трудно сказать, насколько они были для него характерны и как широко распространены, поэтому решать вопрос об их фонематичности пока несвоевременно.

Вместе с марийским языком мерянский развил (из ослабленного *p*) и сохранил в составе своего консонантизма фонему *p*, очевидно, вытеснившую более древнее, праязыковое по происхождению *w*. Но в отличие от марийского в нем скорее всего только диалектно существовали фрикативные *ɕ* и *y*, связанные как ослабленные варианты с глухими взрывными *t* и *k*.

Полузвонкими *B*, *D*, *G* мерянский язык напоминает прибалтийско-финские языки, в частности эстонский. Однако из-за того, что в мерянском в отличие от эстонского полувзвонкие варианты глухих взрывных не

приобрели морфонологической значимости в качестве элемента чередования ступеней согласных, они не стали фонемами, оставшись на стадии одного из вариантов фонемы.

Как и многие современные финно-угорские языки, в частности прибалтийско-финские, мокша-мордовский и горно-марийский, мерянский сохранял унаследованные от праязыкового периода фонемы *e* и *a*.

Очевидно, мерянский не развил (или не сохранил) сингармонизма. Здесь можно обнаружить только черты явления, по-видимому, приведшего впоследствии к его развитию в ряде финно-угорских языков, в частности, установление гармонии между гласными первых двух слогов, где они часто выравнивались не по началу, а по концу слова, по типу германского умлаута, ср.: рус. (постмер.) *бёзли* < **poZl'i* < «возле», возможно, также **jahre* (< **jakere*) «озеро».

Только мерянской фонетической особенностью, не встречающейся в других финно-угорских языках, является переход гласных в новых закрытых слогах на ступень выше — из более нижнего подъема в гласные более высокого подъёма: **palo* > **pol* «деревня»; **ogete* (< **огара*) > **urma* «белка»; **pani* > **pen'* «вилы» (ед.ч.) при **panek* «вилы (мн.ч.)»; **eleDem(-ome)* > **il'Deme(-ome)* «безжизненный».

Для мерянского с наибольшей несомненностью устанавливается существование 24 фонем (гласных и согласных). Исходя из того, что в финно-угорских языках насчитывается, как правило, свыше 30 фонем, это количество следует признать недостаточным. Возможно, часть тех звуко-пов, которые при настоящем состоянии их изученности не смогли быть с определенностью отнесены к фонемам, впоследствии будет ими признана. Поскольку в этом ис

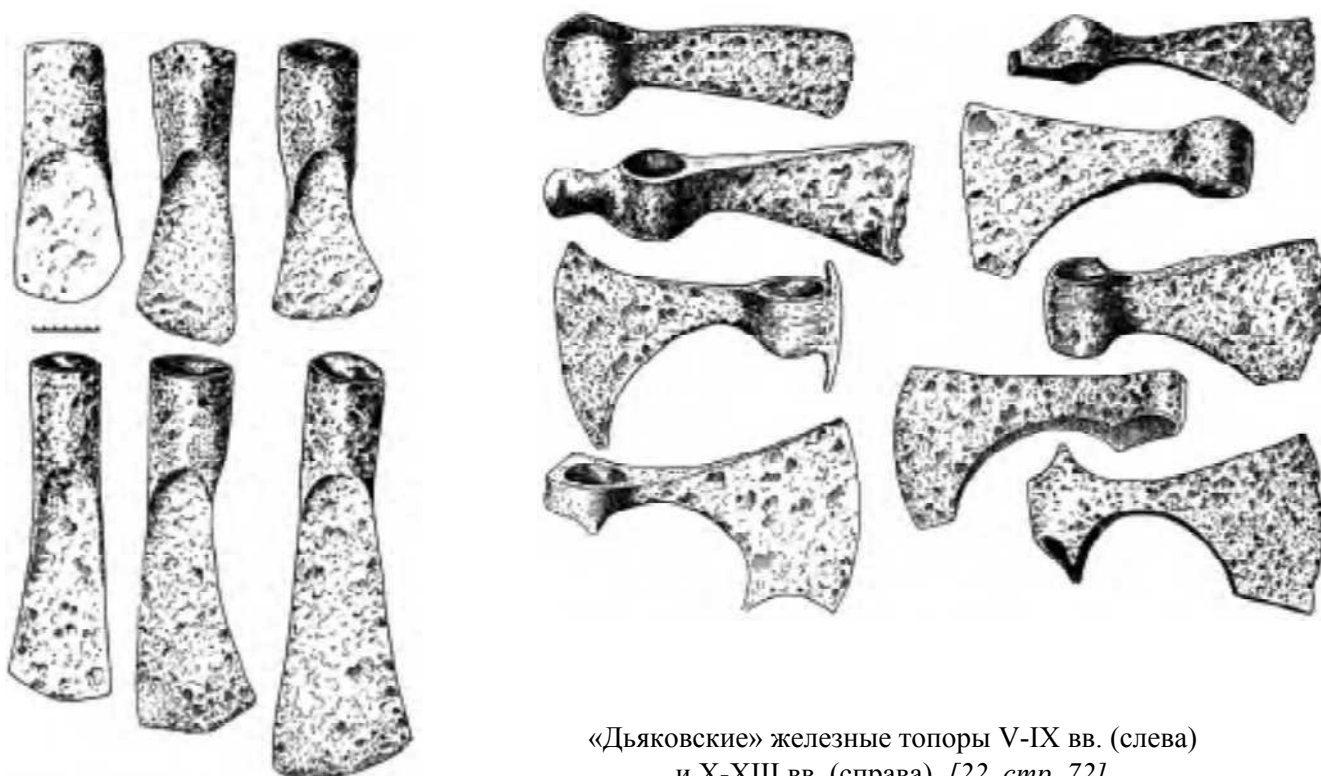
следовании (при общей слабой изученности мерянского языка) одной из главных целей было достижение максимальной достоверности реконструированных фактов, задача определения полного состава фонем как нереальная на данном этапе не могла ставиться. Решить ее можно только при гораздо большем количестве собранных и реконструированных, прежде всего лексических, мерянских фактов.

В целом фонетическая система мерянского языка наиболее близка к фонетике родственных языков того же (волжского) ареала. Однако некоторые отдельные черты до известной степени приближают ее к фонетике прибалтийско-финских языков. Не исключено, что это связано с особой территориальной близостью мерянского языка к прибалтийско-финским, с одним из которых, вепским, он мог непосредственно контактировать. Обращает на себя внимание также ярко выраженная палатальность соответствующих мерянских фонем, характерная для угорских языков, в частности венгерского. Возможно, это явление обязано своим развитием их древним связям с (прото)мерянским языком, что могло быть только на территории финно-угорской прародины, до расселения

мерянского и угорских народов на места позднейшего (исторического) обитания.

Следовательно, отличаясь своеобразием, мерянская фонетика в то же время предстает как связующее звено между мордовскими и марийскими языками, с одной стороны, и прибалтийско-финскими — с другой, хотя в целом у нее больше связей с волжско-финскими, чем с прибалтийско-финскими языками. Следы более древних контактов с угорскими языками, которые мерянский как один из финно-пермских языков мог иметь в древности, обнаруживаются в нем значительно слабее и не столь несомненны.

Ввиду отсутствия сколько-нибудь заметных связей мерянской фонетики с пермской с этой точки зрения мерянский язык следует характеризовать как один из ярко выраженных финских языков, в число которых входят также прибалтийско-финские, мордовские и марийский. Возможно, в связи с этим есть известные основания предположить, что мерянский в наибольшей степени мог отразить в своей фонетике то состояние, которое имел прибалтийско-финский праязык до переселения племен, его носителей, на их современные прибалтийские земли.



«Дьяковские» железные топоры V-IX вв. (слева)
и X-XIII вв. (справа). [22, стр. 72]

ГРАММАТИКА

Ввиду отрывочности имеющихся сведений о мерянском языке представление о его грамматической системе может быть пока только фрагментарным. Перед исследователем предстают как бы отдельные обломки, случайно сохранившиеся от когда-то существовавшего единого целого - мерянской грамматики. Эти фрагменты, восстанавливаемые наиболее эффективно при их системной реконструкции, извлекаются из русского языка в виде субстратных, материальных и семантических, включений. В обоих случаях с помощью финно-угорских сравнительно-исторических данных на основе этих субстратных пережитков мерянского языка можно реконструировать — с большей или меньшей степенью вероятности - ту или иную часть его грамматической системы. Однако степень

вероятности правильной формальной, а не только функциональной интерпретации реконструируемых мерянских грамматических фактов несравненно выше при использовании материальных включений мерянского языка, чем при истолковании его предполагаемых грамматических калек в русском, где можно отчетливо представить лишь внутреннюю форму соответствующих грамматических явлений. Тем не менее даже случаи, когда при отсутствии конкретных сравнительно-исторических данных восстанавливаемая клетка парадигматической таблицы остается пустой, важны для реконструкции языка, поскольку они дают возможность с большей полнотой представить его как систему, делают более целеустремленными дальнейшие поиски.

МОРФОЛОГИЯ

Имена

Существительное

В связи с полным отсутствием сведений о словоизменении других именных частей речи и тем, что особенности мерянского склонения реконструируются исключительно на основе сведений о существительном, целесообразно говорить не о субстантивном, а об именном склонении. Науке пока не известно, склонялось ли в мерянском языке прилагательное (подобно прибалтийско-финскому) или, как в других финно-угорских языках (при отсутствии его субстантивации), являлось несклоняемым.

Фрагменты системы мерянского именного склонения

Как мертвый язык, лишенный письменных текстов (во всяком случае, известных современной науке), мерянский дает весьма ограниченную

возможность воссоздать систему своего именного склонения. Не говоря уже о том, что это полностью исключено для притяжательной парадигмы (судя по данным родственных языков, имевшейся в нем), затруднена даже реконструкция основного склонения — установление количества, состава, форм и функций падежей. Причинами являются крайняя скудность доступных языковых фактов и сложность их точной интерпретации, поскольку они представляют собой обособленные примеры предполагаемых застывших мерянских форм, оторванных от мерянского контекста и выступающих ныне в русском языке, с грамматикой которого не связаны. Все это, делая вынужденно фрагментарной реконструкцию системы мерянского склонения, придает большую или меньшую степень условности полученным с ее помощью результатам. Источниками восстановления парадигмы мерянского основного

склонения служат: 1) материальные факты русского языка, возводимые к мерянскому и сравнимые с соответствиями в других финно-угорских языках (случай наиболее достоверный); 2) семантические особенности русского субстантивного (2-го) склонения, позволяющие толковать их как кальки мерянских падежей, функцию и форму которых можно предположить, опираясь на сравнительно-исторические данные (случай менее надежный).

К числу падежей мерянского основного склонения, реконструируемых с помощью их материальных остатков в русском языке, относятся номинатив, генитив, иллатив, вокатив (звательная форма части существительных) в единственном числе и номинатив множественного числа.

Номинатив единственного числа отражен подавляющим большинством слов и названий предполагаемого мерянского происхождения: *урма* «белка» (Костр. губ. — Кол) ООВС 240 — ф. *orava*, саам. *oage*, морд., мар., коми *ур* «то же»; *лейма* «корова» (Костр. губ. — Гал) ООВС 102 - ф. *lehma* «то же», морд. *Э лишме* «лошадь»; *сорьез* «хариус Thymallus» (Костр. — Кол, Меж, Чухл) Востр 46 — ф. *harjus* «то же»; **at'a* «отец; старик» (*Ате(бал)*) (Костр. губ. — Кол) (Vasmer 417) — мар. *ача* «отец; свекор», мар. Г *атя* «отец», морд. *Э атя* «старик; муж», венг. *atyа* «отец»; **pe2a* «гнездо» (*Пезо(бал)*) (Костр. губ. — Кол) Vasmer 417) — ф. *pesa*, эст. *pesa*, фон. *pe2a*, морд. М *пи2а*, мар. *пыжаши*, венг. *fezek* «то же»; **p3lo* «деревня, село» (н.п. (*Ки*)*бало* (1578 г.) (Вл. губ. — Сузд, Vasmer 417), н.п. (*Нуш*)*поло* (Вл. губ. — Ал, Vasmer 418)) — венг. *falú* (< **palu*), манс. *павыл*, хант. (вах., вас.) *puysl* «то же».

Генитив, как и другие косвенные падежи единственного и номинатив множественного числа, засвидетельствован в единичных примерах, застывшая форма которых, воспринимаясь и употребляясь в русском языке как им.п. ед.ч.,

может быть реконструирована в своей исходной мерянской функции только с помощью сравнительно-исторических данных: **jah ren* (*juk*) «озера (= озерная) (река)» (р. *Яхрен*, левый приток Клязьмы, — Вл, Смол 208), **jah ren* — ген. ед.ч. от **jahre* «озеро» + **juk* (> р. *Юг*, левый приток Оки, — Вл, Смол 196) (ср. ф. *joki* «река», эст. *jOgi* «то же») — ф. *jarven*, ген. ед.ч. от *jarvi* «озеро», компонент ряда сложных слов — *jarvenranta* «берег озера», *jarvenpinta* «гладь озера», *jarvenselka* «плес (на озере)»¹, морд. *Э эрь- кень* < **erken*, ген. ед.ч. от *эрьке* «озеро», мар. *ерын*, ген. ед.ч. от *ер* «озеро», мар. Г *йарын* от *йар* «озеро»; **Neron* (*jahre*) «болота (= болотное) (озеро)» (> рус. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро (имеющее болотистые берега)» Вин 20), ген. ед.ч. от **n'ero* «болото» — манс. ПСГ, ПСГ, нар, хант. *norsm*, (сургут.) *nursm*, коми, удм. *nur* «то же», мар. *nur* «поле», нен., сельк. *нар* «болото».

Иллатив: **tuljas* «в огонь», **Duljas* «то же» (вариант с позиционным озвончением начального глухого согласного после гласного или сонанта) > рус. (арг.) *ду- льяс* «огонь» (Костр. губ. — Гал) Вин 45 — форма илл. ед.ч. от мер. **tule/*Dule* «огонь» > рус. (арг.) *дулин* «огонь» (Костр. губ. — Гал) Вин 45. Устанавливается на основе сравнения с соответствиями древней прибалтийско-волжско-финской иллатив- ной формы с окончанием -s, сохраненными лучше всего мордовскими языками и отраженными в части образований финского и марийского языков: морд. *толс* «в огонь» (*тол* «огонь»), морд. *Э кудос* «в дом» (*кудо* «дом»), ф. *ulos* «наверх», *alas* «вниз» (*ala* «пространство; место; площадь» < «низ», морд. М *ала* «нижний; низко, внизу»); мар. *куш* < **kus* «куда», *чодраш* < **Codras* «в лес» (*чодра* «лес») [7, с. 294, 300; 20, с. 49].

Вокатив (или вокативная форма) в мерянском, видимо, как и в мордовских и марийских языках, употреблялся в единственном числе по

§§§§§§§§§§ Мерянский язык, как и финский, в качестве первого компонента сложного слова мог, видимо, кроме генитива, использовать номинатив единственного числа, ср.: *Яхробол* < **jahrs + Bol* (Яр. губ. — Дан, Vasmer 416) «Озерная деревня (букв. — озеро + деревня)» — ф. *jarvikala* «озерная рыба (букв. — озеро + рыба)».

***** Ср. близкий по характеру изменения основы тип склонения эст. *kiri* «письмо» — *kirja* «письма» (ген. ед.ч.).

†††††††††† Сближение мер. -s с эст. -s как показателем инессива (ср. эст. *kirjas* «в письме») маловероятно, поскольку этот формант является относительно поздним новообразованием эстонского языка, возникшим из первоначального **-ssa* < **-sna* [139, с. 97].

отношению к существительным, обозначающим людей (как правило, родственников): мер. (поздн.) **mataj* «мама (в вокат.)» > рус. (диал.) *мамай!* (зват. от *мама*, очевидно, свойственного также части (поздне)мерянских говоров, Яр — Первом, ЯОСК), возможно, также мер. **kojoj!* «дядя! (вокат. от **ko*ko)» > рус. (диал.) *кОкой*» (им.п. ед.ч.) дядя; крестный отец», Яр — БС, Первом, ср. рус. (диал. яросл., костр.) *кока* «старшая сестра; тетя; крестная мать» при мар. *кока* (зват. — *кокай*) «тетя». Предполагаемому мерянскому вокативу с формантом -j соответствуют по форме и по функции аналогичные факты мордовских и марийского языков: морд. Э *ле-лай* (форма обращения от *лепя* «старший брат»), морд. М *тядай* (форма обращения от *тядя* «мать»), мар. *авай* (форма обращения от *ава* «мать; свекровь»).

Номинатив множественного числа: мер. **rapnek* «вилы (с двумя зубьями)» (мн.ч.), **Rep* «то же» (ед.ч.) < и-е. (субстр.) **dwani* «(вилы)-двойни» > рус. (диал.) *бяньки* (Яр — Любим) ЯОСК, *бянки* (Яр — Любим) ЯОСК, *вян-ки* (Костр — Гал, Парф) ЯОСК — *бям* (Яр — Дан) ЯОСК. Возможно, показатель номинатива множественного числа отражают и мер. **kisok*/**kiCo* k — слово невыясненного происхождения (> рус. (диал.) *кицок/кичок* «два столбика, на которых укрепляется голбец (подвал, подполье) в избах» (Яр — Дан, Мол) КЯОС 87, ЯОСК — слово, обозначающее множественное число, но в русском языке воспринимающееся как существительное единственного числа), а также **rapok* «курганы», **рапо* «курган» (> рус. (костр.) *пан-к-и*, *пан-ы* «курганы (судя по археологическим раскопкам, с захоронениями мери)» [22, с. 232-234], ср. ф. *rapna* «положить», *рапо* «вклад», вепс. *panda* «положить», *maharanend* «похороны (букв. — в землю положение)», морд. Э *пандо* «гора») [147, s. 116-117]. Как показатель множественного числа -k (в отличие от рассмотренных выше падежных окончаний) сближает мерянский не с прибалтийско- и волжско-финскими языками, а с венгерским, ср.: венг. *villa* «вилы (ед.ч.); вилка» — *viliak* «вилы (мн.ч.); вилки», *ember* «человек» — *emberek* «люди», *ablak* «окно» — *ablakok* «окна»,

mezo «поле» — *mezok* «поля»; ф. *hanko* «вилы» (ед.ч.) — *hangot* «вилы» (мн.ч.), *talo* «дом» — *talot* «дома»; морд. Э *сянго* «вилы» (ед.ч.) — *сянгт* «вилы» (мн.ч.), морд. М *цянга* «вилы» (ед.ч.) — *цянкт* «вилы» (мн.ч.), морд. *пакся* «поле» — *паксят* «поля».

Рассмотрение в сопоставительно-историческом плане черт 2-го склонения существительного в русском литературном языке, типологически близких финно-угорским, с семантикой, не свойственной другим славянским языкам, позволяет предположить, что, кроме упомянутых падежей, в мерянском были также партитив, инессив, элатив, адессив, аллатив и аблатив единственного числа, то есть в целом 11 падежей*****.

Русскому языку свойственно во 2-м склонении существительных мужского рода с вещественным значением в родительном

***** Типологическая близость русской падежной системы с финно-угорской, несмотря на существование тех же падежей в прибалтийско-финских языках, не может быть связана с их влиянием, так как говоры, которые легли в основу русского литературного языка, не имели контактов с прибалтийско-финской группой. Еще менее вероятно видеть в этой близости

падеже единственного числа различать генитивный вариант на -а (-я) и партитивный на -у (-ю), что соответствует прибалтийско-финскому генитиву и партитиву, ср.: рус. *цена сахара, чая, вкус супа, сыра, творога — достать (сколько-нибудь) сахару, чаю, супу, сыру, творогу*, ф. *sokerin, teen hinta, keitton, juuston, uunipiiman maku — sokeria, teeta, keittoa, juustoa, uunipiimaa (jonkin verran) saada* [159, S. 86]. Ввиду того, что возникновение партитивного варианта, чуждого другим славянским языкам, наиболее естественно объяснить субстратным воздействием мерянского, следует допустить наличие в нем наряду с генитивом партитива.

В том же склонении русского языка целый ряд существительных мужского рода в предложном падеже единственного числа обнаруживает два варианта — инессивный на -у (-ю) и адессивный на -е, что соответствует прибалтийско-финскому инессиву и адессиву, ср.: рус. *В этом лесу нет ничего интересного* (то есть животных, растений и т.д. внутри леса) — *В этом лесе (~ У этого леса) нет ничего интересного* (взгляд на лес со стороны,

в целом); *В саду есть беседка — В этом саде* (« У этого сада) *есть что-то очаровательное*; эст. *Selles metsas ei ole midagi huvitavat — Sellel metsal ei ole midagi huvitavat; Selles aias on lehtla — Sellel aial on miski hurmav* [159, S. 87]. Исходя из отсутствия подобных — инессивного и адессивного — вариантов в предложном падеже единственного числа у других славянских языков, их появление в русском скорее всего можно объяснить мерянским влиянием, что косвенно свидетельствует о возможности существования в нем соответствующих падежей единственного числа.

В финно-угорских языках, в частности прибалтийско-финских, к которым, видимо, был близок мерянский, обычно имеются внутренне- и внешнеместные падежи, выражающие каждое из трех значений — «где?» «куда?», «откуда?». Поэтому вывод о существовании двух мерянских внутреннеместных падежей — илллатива и инессива — неизбежно вызывает мысль о наличии также элатива, а предполагаемый с помощью типологических данных адессив дает основание допускать также существование еще двух внешнеместных падежей — аллатива и аблатива.

Исходя из сравнения окончаний праприбалтийско-финской и прамордовской именных парадигм, к которым, очевидно, была наиболее близка мерянская, флексию последней в ее формальном выражении следует скорее всего реконструировать следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Парадигма реконструируемых падежей мерянского существительного в сравнении с их прибалтийско-финскими и прамордовскими соответствиями

результат воздействия мордовских или марийского языков, поскольку их падежная система ко времени контактов с восточными славянами отличалась от предполагаемой мерянской (и прибалтийско-финской). Ввиду того, что Центральная Россия, где сложился русский литературный язык, была местом бывшего распространения мери, наиболее логично видеть в данной близости последствие именно мерянского субстратного влияния, близость же состава мерянской и прибалтийско-финской именной парадигм объясняется близостью соответствующих языков. Подтверждением этого служит и тот факт, что единственным финно-угорским этносом, на который, кроме прибалтийских финнов, славяне распространяли названия чудь, чудский(-ой-), была меря (ср., напр., *Чудской*, то есть *мер(ян)ский*, *конец* — название одной из частей Ростова) [70, с. 99].

Используя результаты реконструкции в виде преимущественно с ф. *kyla* «деревня, село», морд. фрагментов парадигмы мер. **palo* «деревня, село» М *веле*, частично венг. *falu* «то же», можно и отчасти **at'a* «отец» в сравнении получить таблицу (табл. 2).

Таблица 2. Склонение существительного мерянского языка в сопоставлении с финским, мордовским-мокша и венгерским

Число	Падеж	Язык			
		мерянский	финский	мордовский-мокша	венгерский
единствен- ное	номинатив		<i>kyla kylan kylaa < -*sa kylassaa</i>	<i>веле велень (< - *н)</i>	<i>falu</i>
	генитив	<i>pal o palon</i>		—	
	партитив	<i>[*paloDa]</i>	<i>kyla an (*-zen)</i>	Местн. <i>велеса</i>	
	инессив	<i>[*palosna]/(>)</i>			
	иллатив	<i>[*palosa] palos</i>	<i>kylastaa kylallaa</i>	Напр.-внос. <i>велес,</i> <i>вели (Э велев)</i>	
	элатив	<i>[*palosta]</i>	<i>kylalle < < *-len</i>	<i>велеста</i>	
	адессив	<i>[*palolna]/(>)</i>	<i>kylaltaa</i>	—	
	аллатив	<i>[*palola] [*palol]</i>		—	
	аблатив	<i>[*palolDa] at'aj</i>		<i>веледа атяй</i>	
	вокатив	«отец! (отче!)»		«дед!»	
множест- венное	номинатив	<i>palok</i>	<i>kylat</i>	<i>велет</i>	<i>faluk</i>

Примечание. Форма окончаний дается без учета возможной, особенно в позднем мерянском, редукции **pale < *palo*, **palen < *palon* и т.п.

Из фактов, отраженных в таблицах, вытекает, что падежами единственного числа мерянская именная парадигма в реконструируемой области наиболее близка к прибалтийско-финской и мордовской, особенно в ее прамордовском состоянии, занимая как бы промежуточное положение между ними. Единственным исключением является номинатив множественного числа, наиболее близкий по форме к венгерскому. Ввиду того, что в исторический период мерянский язык располагался между прибалтийско- и волжско-финскими языками, был с ними связан также лингвистически, а с венгерским языком

непосредственно не соприкасался, наиболее оправданно считать, что эта черта сходства с венгерским может быть лишь следствием длительных и тесных контактов и приобретена еще до переселения прото- мерян с финно-угорской прародин. Здесь, входя в группу прафинских диалектов, про- томерянский, очевидно, располагался в наиболее восточной части их территории, что позволяло ему непосредственно контактировать с протовенгерским как наиболее западным идиомом праугорского и привело к их частичному сближению.

Поскольку о словоизменении других именных частей речи в мерянском пока ничего не известно, следует ограничиться только приведением тех слов, которые, по-видимому, могли к ним относиться. Среди субстратных пережитков мерянского языка в русском по сравнению с абсолютно преобладающими существительными и довольно спорадичными, но все же относительно частыми глаголами обнаруживаются лишь единичные примеры слов, которые можно с большей или меньшей степенью уверенности отнести к прилагательным, числительным или местоимениям. Все эти постмерянские остаточные лексемы, обнаруживаемые в русском областном словаре, не лежат на поверхности, а нередко завизированы путем вторичного этимологического сближения с формально близкими словами славянского происхождения. Поэтому здесь каждая из соответствующих лексем требует, как правило, предварительного доказательства, ее этимологизирования и идентификации в качестве исходно мерянской.

Прилагательное

К числу немногих прилагательных, по-видимому, мерянского происхождения следует отнести слово *paDra «сильный, здоровый (в частности, о человеке)», реконструируемое формально и семантически на основе русского диалектного (очевидно, постмерянского) *невёдра* «человек слабый, болезненный» (Костр. — Антр, Яр — Гавр.- Ям) КЯОС в сопоставлении с морд. *Э вадря* «хороший, красивый; добрый; качественный» (*вадря ломань* «добрый человек»; *вадрядо вадря* «очень хороший (букв. - от хорошего хороший)»; *вадрясто вадря* «лучший из лучших (букв. — из хорошего хороший)»; *вадря мель* «доброе пожелание»), морд. М *вадря (вадряв)* «гладкий, приглаженный (о ворсе, шерсти, волосах)». В значении «человек слабый, болезненный» слово могло представлять собой полукальку первоначального мер. *e paDra «(букв.) несильный, нездоровый», откуда дальнейшее «слабый, болезненный». Позднее, оторвавшись от первоначальной мерянской языковой почвы, слово стало восприниматься как существительное и субстантивировалось в связи с тем, что по форме, которая не изменилась, оно отличалось от русско-славянских прилагательных и на фоне языковой

системы русского языка должно было восприниматься как существительное. Появление формы *-ведря* вместо *-вадря* может объясняться как фонетически (неточностью передачи в русском языке мер. а, занимавшего промежуточное положение между рус. -е- и -'а-, орф. -я-), так и семантически (вторичным сближением постмер. *вадря < мер. *paDra с русско-славянскими словами *вёдро* «летняя ясная, сухая погода», *ведренный* «сухой, ясный (о погоде)»), что дает возможность осмыслить неясное на фоне лексики славянского происхождения слово *неведря* как «слякотный (перен. — болезненный)». В пользу мерянского происхождения слова говорят ареал его распространения, явно постмерянский, и слабое вероятие проникновения сюда морд. *вадря*, которое по всем признакам (и формально, и семантически) скорее всего отличалось от исходных особенностей предполагаемого мерянского слова.

Исходное мер. *il'Doma/-Deme «необитаемый (безжизненный)», образованное, очевидно, с помощью суффикса -Doma/-Deme, обозначающего отсутствие какого-либо предмета, свойства, признака, связанного с основой (корнем), в данном случае — *ela* «жизнь» (ср. д. *Элино**, Костр. губ. — Кол. 1858 г.), реконструируется на основе названий — р. *Ильдомха* (уменьш. от исходного *Ильдома*) (Костр), с. *Ильдомское* (Яр. губ. — Люб.) и с. *Ильдом* (там же) — с помощью сопоставления с этимологически с ним связанным в корневой и суффиксальной частях мар. *илыдыме* «необитаемый, нежилой» [82, с. 233]. Обе части, как корневая, так и суффиксальная, являясь финно-угорскими по происхождению, имеют целый ряд соответ-

⁵ Данные из ревизской сказки, хранящейся в архиве Кологривского краеведческого музея (филиала Костромского историко-архитектурного музея-заповедника), с которой автор мог ознакомиться летом 1979 г.: Ревизская сказка 1858 года Генваря 22 дня Костромской Губернии Кологривскаго уѣзда Деревни Элина... ствий вне мерянского и марийского языков, ср.: 1) ф. *elaa* «жить», эст. *elama* «то же», саам. *Illet*, морд. *зрямс* (при исходном *eiams «то же» — морд. *Э злякадомс* «порезвиться» < «стать живым, резвым» от *ela «живой, резвый»), мар. *илаш* «жить», *иле* «сырой, влажный; живой (о деревьях)», коми *овны* «жить», венг. *elni* «то же» [156, т. I, с. 37; 101, с. 137-140]; 2) ф. *voima-ton* «бессильный» (от *voima* «сила»), саам. *calmetam* «слепой (букв. — безглазый)» от *calbme* «глаз»;

морд. Э (абессивный, или лишительный падеж) *узэр-теме* «без топора» от *узере* «топор», удм. *син-тзм* «слепой (букв. — безглазый)» от *син* «глаз», где выступают суффиксы, восходящие к ф.-перм. **-ttom-/-ttem-* при угор. **-ttal-/-ttel-*; манс. *nitel* «неженатый (букв. — безжен- ный от *ni* «женщина»)», венг. *no-tlen* «неженатый» < *notelen* от *no* «женщина».

С помощью того же суффикса, должно быть, образовано также мерянское прилагательное *kolDoma/*-Deme «безрыбный». Прилагательное реконструируется на основе названия р. *Колдомка* (Костр. губ.)^{ssssssssssssss}, очевидно, образованного с помощью суффикса -к(а) от исходного рус. (постмер.) **Колдома*, представляющего собой суффиксальный дериват от мер. *kol < *kale < *kala «рыба» с характерным для мерянского языка переходом гласного нового закрытого слога в гласный следующего более высокого подъема, ср.: (Ki-)Bol < (Ki-)Balo «(Каменная) деревня», а также *urma < ^ra^/m^, ф. orava «белка», *il'Doma «безжизненный» — *ela «живой». Принимая в целом подобное объяснение, даваемое Т.С.Семеновым [82, с. 236], нельзя, однако, согласиться с его этимологическим сближением предполагаемого мерянского слова с якобы мар. *колдомо* (*колдымй*) «безрыбный(-ая)» (здесь: река)», поскольку близкое к слову мар. *колдымо* является производным от *колаш* «(у)слышать» и означает «неслышный; не имеющий слуха, глухой». Не имея прямого соответствия в марийском и находя его скорее в финском (ср. ф. kalaton «безрыбный», kalattomuus «безрыбье»), мерянское слово объясняется с помощью указанных выше соответствий его суффиксальной части, такой же, как и у предыдущего мерянского прилагательного, и сближения его производной основы мер. *kol «рыба» с такими финно-угорскими (и уральскими) соответствиями, как ф., эст. kala «рыба», саам. N guolle, морд. *кал*, мар. *кол*, манс. *хул*, хант. *хул*, венг. *hal*, нен. *халя* «то же» [156, т. I, s. 146; 73, с. 404].

Исходное мер. *maZeј* «красивый, приятный, милый» восстанавливается на основе рус. (диал.) *мазистый* «красивый (о человеке)» (Яр — Рыб) ЯОСК в сопоставлении с морд. *Э мазый*, морд. М

§§§§§§§§§§§§ Образование славянским населением названий рек с помощью суффикса -ка от местных постмерянских гидронимов вообще, видимо, было характерно для бывшей мерянской территории; иногда оно могло служить для различения одинакового названия реки и поселения (ср. г. *Кострома* и р. *Кострома*: реку местное население в отличие от города часто называет *Костромка*).

***** Ввиду отсутствия в финно-угорских языках грамматического рода форма прилагательного при переводе дается, как правило, только в мужском роде.

-ист-, характерным для русских прилагательных, и заменена им.

Числительное

Мер. *ika/ike «один», уменьш. ik-a/e- па (ср. морд. М *фкяня*, уменьш. от *фкя* «один») реконструируется на основе рус. (арг.) *иканя* «одна копейка (букв. — единичка)» (Углич) Свеш 82, КЯОС, *икане* «то же» (Твер. губ. — Каш) ТОЛРС XX 167 в сопоставлении с финно-угорскими числительными со значением «один», обнаруживающими несомненное формальное и семантическое сходство с предполагаемым мерянским словом, ср. ф. *uks* «один», эст., вепс. *uks*, лив. *ikS*, саам. (сев.) *ok-ta*, морд. Э *вейке*, морд. М *фкя*, мар. *ик*, коми *Отi*, удм. *odig*, хант. *it'*, манс. *аква*, венг. *egy* < ф.-уг. ♦*iktB^uktB* «то же» [156, т. 16, s. 1856-1859; 87, с. 108-109; 73, с. 423]. В пользу мерянского происхождения слова говорит как его своеобразие на фоне финно-угорских соответствий, так и его ареальная характеристика, распространенность на бывшей мерянской территории.

Мер. *seZ'um/*siZ'um «семь» воспродуцируется на основе рус. (арг.) *сезюм* «семь» Вин 49, *сизюм* (Кострома) «семь копеек» Вин 49 в сопоставлении с соответствующими финно-угорскими фактами, ср. ф. *seitseman* «семь», кар. *seittsema(n)*, *seitsen*, вепс. *seitsime*, эст. *seitse*, ген. *seitsme*, саам. К *CihCem*, морд. *сисем*, коми *сизим*, удм. *сизьым* «то же» [156, т. 4, s. 991]. Во всех указанных языках, включая мерянский, рассматриваемые числительные восходят к общему индоевропейскому источнику [87, с. 112]. При несомненном материальном и семантическом сходстве с другими финно-угорскими соответствиями мерянский язык обнаруживает и явное своеобразие. С формальной точки зрения мерянское числительное наиболее близко (во всяком случае, в своем консонантизме) к пермским — коми и удмуртскому, — однако явно отличается от них вокализмом, в особенности конечного слога. Ввиду отдаленности территории, на которой зафиксированы русские арготизмы, предполагаемые в качестве постмерянских, более чем сомнительно усматривать в соответствующих русских словах заимствования из пермских языков, тем более, что, кроме ареального, против этого свидетельствует упомянутый фонетический аргумент — несовпадение вокализма последнего, а возможно, и первого слога слова (ср. рус. (арг.)

сезюм при коми *сизим*, удм. *сизьым*). К фонетическим особенностям слова в целом, склоняющим к его определению как мерянского, относится характерное частичное озвончение согласного в интервокальной позиции, особенно в не первом слоге, ср. *seZ'um/siZ'um* — морд. *сисем*. Последнее обстоятельство в связи с тем, что подобное и даже более сильное озвончение происходило, видимо, и в мордовских языках (ср. морд. Э *kudozo* (букв.) «дом-его» < **kudo-so* «то же»), следует объяснять более длительным сохранением мордовскими языками какого-то словосочетания согласных, в составе которого выступало срединное -s- (напр. ф. *seitseman* «семь»), в период перехода интервокальных глухих в звонкие, и более ранним упрощением этого словосочетания с охранением -s-, что вызвало его озвончение в мерянском языке. Другая фонетическая черта слова, носящая еще более ярко выраженный мерянский характер, проявляется в вокализме его конечного слога, где, как следует полагать, отражен результат типичного фонетического явления мерянского языка — перехода гласных новых закрытых слогов в гласные более высокого подъема (в данном случае -'о- в -'у). По-видимому, в предшествующий период здесь в слоге, который тогда еще не был конечным, выступал звук -'о- (-о- с предшествующим смягчением согласного), ср. ф. *seitseman*, где после соответствующего ему второго (конечного) мерянского слога идет еще третий, являющийся конечным в финском. Падение этого конечного (третьего) слога в мерянском, — возможно, через промежуточную стадию редуцированного — могло стать причиной перехода гласного второго слога -'о- в -'у: *seZ'om(e)* > **seZ'um* (ср. **ora0a* (фин. *orava*) > **ore0a* (-n), ген. ед.ч. -n, > **orema* > **urma*). Своеобразие слова среди соответствий родственных языков, обусловленное спецификой языка, в сочетании с ареалом его распространения доказывают принадлежность и этого числительного именно к мерянскому языку.

Остальные надежные данные, касающиеся материальной стороны мерянских числительных, пока отсутствуют. Однако есть семантические факты (относящиеся к калькам и полукалькам), которые позволяют составить представление о внутренней форме еще двух мерянских числительных. Подобный материал также представляет интерес, пусть пока только косвенный, так как, опираясь на него, можно более конкретно выяснить, в каком направлении должна

К числу подобных примеров внутренней формы мерянских числительных, очевидно, относится русское диалектное наречие *без-дву* «без двух», употреблявшееся в особом счете, напр., *без-дву тридцать*, «двадцать восемь» и т.п. (Вл. губ. — Переясл.) СРНГ II 186. Данная система счета интересна тем, что она точно или приблизительно калькирует финно-угорскую, которая на территории бывшей Владимирской губ. (согласно современному административному делению в пределах нынешней Ярославской обл.) может относиться только к мерянскому языку. Вот что по этому поводу пишет Б.А.Серебренников: «...характерная черта системы числительных финноугорских языков состоит в том, что числительные «восемь» и «девять» не имеют собственных названий, а образуются описательно по схеме «два до десяти», «один до десяти», ср. ф. kahdeksan, uh-deksan, норв.-саамск. gav-Ce, ov-Ce, горно-мар. kan- daks(e), en-dekS(e), мар. kan-das(e), in-des(e), коми-зыр. kokja-mys, ok-mys, эрзя-м. kavk- so, vej-k-se и т.д.» [87, с. 107]. Эта система, причем с применением мерянского по происхождению *иканя* «одна копейка» (без *иканй*) и примерами на «восемь» и «девять», отражена также в денежном счете условного языка торговцев г. Углича, расположенного на бывшей мерянской территории, поэтому, несмотря на языковую разнородность указанного аргумента, включающего наряду с мерянскими тюркские (татарские) элементы, данную особенность следует признать определенным пережитком мерянского языка, ср.: *без дертаху* (*дертаху* = 2 копейки) *он алтын* (= 30 копеек) «28 копеек»; *без икани он алтын* «29 копеек»; *без дертаху ярым* (*ярым* = 50 копеек) «48 копеек»; *без икани ярым* «49 копеек» и т.п. (Свеш 82-83). Поскольку в тюркских языках данная модель построения числительных, включающих числа «восемь» и «девять», не действует, а для финно-угорских языков, в частности финских в широком смысле^{*****}, к которым, по-видимому, относился и мерянский, она характерна, в данных оборотах, возникших на постмерянской территории, можно видеть только использование

Местоимение

Первое из них восстанавливается на основе рус. (арг.) *мае* «я» (Галич) Вин 48, *масовский* «сам» < ? «я сам» (Владимир) Вин 48, *по-масовски* «по-нашему» (Углич) Свеш 90 в сопоставлении с ф. *mina* «я», кар. *mie, mia*, вепс. *mina, mina*, та, вод. *mia*, эст. *mina*, ша, лив. *ша, mina*, саам. *mon*, морд. *mon*, удм. *mon*, коми *me*, хант. *ma'n*, манс. (сосьв.) *am*, (тавд.) *em* < *ema.n-*, венг. *ЕП* < **с-ШЕП*; нен. *man* «то же» < урал. **mi- na/*me-na* [156, т. 2, с. 346; 73, с. 399]. Учитывая сведения об именной парадигме мерянского языка, форму *mas* следует истолковывать конкретно как форму иллатива, возможно, наряду с чисто иллативной функцией (в данном случае дающей значение «в меня») имевшую оттенок значения дательного падежа («мне»). Подобное истолкование подтверждается тем, что в финно-угорских языках местные падежи с направительным значением используются в функции дательного падежа (ср. в эстонском, где аллатив *minule/mulle* (букв.) «на меня» используется в дативной функции, то есть со значением «мне», в саам. (кильд.) *monn (menen e)* «в меня, мне» [40, с. 173]. Не исключено, что

74

выбору формы предполагаемого иллатива (дativa) местоимения *та «я» в качестве основной в постмерянских арго могло способствовать то, что формально она частично совпадала в старо(велико)русском языке с формой *яз(ъ)* фон. *яс* «я», восходящей к друс. *язъ* (стсл. *aj®*) «то же» и длительное время в нем употреблявшейся (даже в XV в.).

Если это предположение справедливо, то из него может вытекать вывод о довольно раннем возникновении данного элемента русского арго (возможно, еще до XVI в.) и в связи с этим — об отмирании в местах его возникновения мерянского языка (ввиду произвольности выбора форм, а следовательно, и утраты понимания их функций: форма иллатива/ дativa в функции номинативной). Помимо ареала фиксации данного элемента, совпадающего с постмерянской территорией, в пользу мерянского происхождения указанного местоимения говорит его формальное своеобразие. Наиболее близко реконструируемое мер. *та «я» к эстонской краткой безударной форме того же местоимения: эст. *та* «я» при полной форме того же местоимения *mina* (фин. *mina* «я»). Однако значительное различие между мерянской формой иллатива и эстонской краткой формой того же местоимения, не считая различий в окончаниях, вызванных новообразованием эстонского языка, заключается в том, что эстонская краткая форма сохраняет, видимо, древнее различие между основой в номинативе и иллативе, ср. краткие формы ном. *та* — илл. *musse* при полных ном. *mina* — илл. *minusse*, а мерянский, вероятно, по аналогии к основе номинативной формы перестроил основу в иллативе. Обе предполагаемые формы мерянского языка — по происхождению краткие, судя по данным прибалтийско-финских и мордовских языков, сохраняющих в основе личного местоимения 1-го л. ед.ч. -п (ср. ф. *mina* «я», морд. *моя* «то же»). Тот же конечный -п в основе личного местоимения 1 л. ед.ч. сохраняют или отражают в своих рефlekсах говоры марийского языка [20, с. 85-86], поэтому можно прийти к

заключению, что в данном случае мерянский из всех прибалтийско- и волжско-финских языков наиболее продвинулся в развитии.

Мерянское указательное местоимение *si* «этот (-а, -о)» восстанавливается на основе рус. (диал.) *сиень* < **si jon* «есть» (Углич) ТОЛРС XX 117. Объяснение (под вопросом) у В.И.Даля: «*сиень* нар. ярс. (= ярославское. — О.Т.) есть, имеется (от се-е, се- есть?» [26, т. 4, с. 189], представляющее собой попытку понять слово как славянское по происхождению, неубедительно. Сомнение в его справедливости вызывает, с одной стороны, странная для славяно-русского указательного местоимения в ед.ч. ср.р. форма *si* (*си'*), а с другой — не свойственное форме 1-го л. ед.ч. глагола «быть» в русском (и вообще в славянских языках) окончание -нь. Слово *сиень*, по-видимому, являясь несовершенной орфографической передачей фонетического *сиёнъ*, действительно образовалось из слияния двух слов — местоимения и глагола — со значением «этот (-а, -о) есть», однако не славяно-русского, а финно-угорского и, судя по своеобразию формы и ареалу распространения, именно мерянского происхождения. Причем если вторая его часть глагольна по происхождению и сопоставима с ф., эст. *оп* «есть» и венг. *van* «то же» (подробнее см. ниже), то первая связана этимологически также с соответствующими финно-угорскими (и шире — уральскими) рефlekсами того же указательного местоимения, ср.: ф. *se* «этот (-а, -о); тот (-а, -о)», *si*: *siten* «так, таким образом», эст. *see* «этот; тот», *si(i)*: *siit* «отсюда», морд. *Э се* «тот», мн.ч. *сеть*, морд. *М ся*, мар. *сede* «то же», хант. *si* «тот; этот», *siw* «туда», *t'it* «этот», нган. *sete* «он», мн.ч. *seteg* < урал. **ci*/**ce* «этот; тот», — имеющими, таким образом, общий (пра)- уральский источник [156, т. 4, с. 987-988; 73, с. 399].

Из приведенных родственных параллелей, как видим, наиболее близко формально и семантически к мер. *si* «этот» (местоимению, имевшему, как и у ряда других финно-угорских языков, еще семантический оттенок «тот») хант. *si* «тот; этот».

Фрагменты мерянской глагольной системы (спрягаемые формы)

Возможные реликты спрягаемых форм мерянской глагольной системы, обнаруживаемые в русском диалектном языке, делятся на две количественно неравные группы: в первую входят почти все глаголы предполагаемого мерянского

происхождения, вторая практически сводится к не-скольким спрягаемым формам одного мерянского глагола.

Первую группу составляют слова, полностью вошедшие в русскую глагольную систему,

ассимилированные ею. В данном случае речь идет о мерянских корнях (основах), обросших русскими префиксами, суффиксами и флексией и функционирующих наравне с русскими глаголами славянского происхождения. О чужеродноности этих глаголов можно догадаться по отсутствию у их основ связи со словами славянского происхождения, что делает их непонятными для носителей русских говоров, не имевших тесных контактов с мерянскими и другими финно-угорскими языками. Другим показателем иногда служит их фонетика с необычными для русского языка звуко сочетаниями (напр., -хт-). Только последующий этимологический анализ позволяет предположить мерянское происхождение данных глаголов. На это прежде всего указывает наличие убедительных финно-угорских параллелей при отсутствии или сомнительности связей со славянскими словами, особенно когда предполагаемые лексемы мерянского происхождения обнаруживают черты, в частности фонетические, выделяющие их на фоне финно-угорских соответствий. Не исключено, что к словам, принадлежавшим в прошлом мерянскому, могут относиться и совпадающие со словами других финно-угорских языков, и обнаруживающие явные инофинно-угорские черты, объяснение чему надо искать, с одной стороны, в формальном совпадении между родственными языками, а с другой — в случаях заимствования из них. Возможность предположительного отнесения русских диалектных глаголов, по происхождению финноугорских, именно к мерянскому языку вытекает из фиксации их на бывшей мерянской языковой территории и из того, что в ряде случаев они, видимо, отражают черты, характерные для мерянской фонетики: 1) первоначальную полувзвонность согласных в интервокальной или межсонантной позиции: *при-о-тудобеть* «окрепнуть; прийти в сознание, в себя» < мер. *tuDo- «знать, осознавать, чувствовать» — ф. tuntea «чувствовать, знать, узнавать»; канд-ёх- ать «(груб.) работать» < мер. kanDa- «нести, тащить» — ф. kantaa «нести, носить»; 2) наличие звука р, отраженного b вместо прибалт.-фин. v или проявляющегося в смешении б с в в постмерянских русских говорах: *при-о-тудоб-е-ть* «окрепнуть; прийти в сознание, в чувство» < мер.

*tuDopa «знающий, осознающий, чувствующий», ср. р. *Андоба*, приток Костромы < мер. *anDo^a (букв.) «дающий, кормящий»; морд. Э *андоне* «кормить» — ф. tunteva «чувствующий, знающий, узнающий»; *шаб-и-ть* «курить» < мер. *вар- «дым» > «дымить», ср. кар. *шавута* «дымить» < *шаву* «дым»^{*****}.

Исходя из изложенного, к числу русских диалектных слов, предположительно относящихся к первой группе, можно отнести, в частности, *вонн-ова-ть* «понимать; воспринимать, вникать во что-либо» (Яр — Щерб); «делать что-либо, работать» (Яр — Пош; СРНГ V 33); «распоряжаться, заведовать, управлять чем-либо» (Яр — Мол; СРНГ V 33) (ср. ф. voida «мочь, быть в силах, в состоянии», voima «сила, энергия, мощь», коми (уст.) *ойое* «сила») [54, с. 204]; *ханд- ёх-ать* «(груб.) работать» (Ярославль; ЯОСК) (ср. ф. kantaa «нести, носить», эст. kanda «то же», морд. *хандоне* «нести, тащить», мар. Л *хондаш* «приносить», мар. Г *хандаш* «то же»); (*не*) *хехт-а-ет* «(не) действует» (Костр — Гал; МКНО) (ср. вепс. kehhta «желать, хотеть, не лениться», ф. (диал.) kehdata «не (по)лениться (сделать что-либо)»); *с-нат-и-л* «с пути свел» (Вл. губ. — Суд; ТОЛРС XX, 211) (ср. ф. matkata «путешествовать, ездить», кар. matata «ходить, ездить; бегать», а также р. *Матхона* (Яр — Пош)); *рахт-и-тьея* «петушиться, браться за дело не по своим силам» (Яр — Угл; ЯОСК) (ср. вепс. roht't'a, roht'ta «сметь, осмеливаться», ф. ^hjeta «осмеливаться, решаться», rohkea «смелый, храбрый»); *тох-торитьея* «стараться, добиваться, хотеть, пробовать» (Яр — Ерм; КЯОС 201); «требовать» (Яр - Дан; там же) (ср. ф. tahtoa «хотеть», tahto «воля»); *при-о-тудоб-е-ть* «окрепнуть» (Костр — Кол; МКНО); *о-тутов-а-ть* «отойти (прийти в обычное состояние)» (Костр — Антр; КОСК); *о-тутов-еть* «прийти в себя» (Костр — Поназ; КОСК) при первоначальном значении «прийти в сознание; стать знающим (осознающим)» и, вероятно, сближении с рус. *тут* (ср. венг. tudni «знать, уметь, мочь», коми. *то дни* «знать, узнать», *тод* «память», удм. *тодннн* «знать, узнать; помнить», саам. Н dow'dat «чувствовать, знать, узнавать», ф. tuntea, эст. tunda «то же», нен. *тунда(ев)* «узнать (кого-, что-либо); отметить» [MSzFUE т. 3, 1. 646]; *шаб-и-ть* «курить» (Ко^р — Остр; КОСК) (ср. кар. *шавута* «дымить», *шаву*

***** Интересно, что современные русские говоры на постмерянской территории в словах нефинно-угорского происхождения обнаруживают те же фонетические черты: 1) *педи-етенох* «спальня» (Яр — Дан; ЯОСК) — *пяти-етенох* «крестьянская изба в пять стен» (Ив — Ильин.-Хов; ЯОСК); *ленда* (Костр — Нер; КОСК) — рус. (лит.) *лента'*, 2) *побредить* (Костр — МКНО) — рус. (лит.) *повредить*; *вее* «черт» (Костр — Мант; МКНО) — рус. (лит.) *бее* и т.п.

«дым», ф. *savustaa* «коптить, окуривать, выкуривать», *savu* «дым»); *шоп-ать* «колоть лучину специальным ножом». (Костр — Крас; КОСК) (ср. морд. М *шапоне* «рубить (только о срубе)», морд. Э *чапоне* «рубить (сруб); делать зарубку; отбивать (жернов)», коми (диал.) *тишпни* «зарубить, засечь, сделать зарубку») [54, с. 289]. Конечно, при тщательном рассмотрении этих русских глаголов может оказаться, что часть из них не восходит непосредственно к соответствующим мерянским словам, а образовалась уже на русской почве от мерянских существительных и прилагательных, точнее — от связанных с ними русских слов. Однако не подлежит сомнению и то, что среди русских апеллятивов и в ономастике мерянского происхождения будут обнаружены и другие глаголы, образованные от мерянских. Все они при внимательном анализе и большей изученности грамматического строя мерянского языка должны стать источником реконструкции мерянского глагола в его исходных формах.

Этой относительно богатой по составу группе противостоит чрезвычайно узкая группа форм, восходящих к финно-угорскому глаголу **wole(-)* «быть» [73, с. 417] и сохранивших свою мерянскую исконность благодаря тому, что они вошли в состав или местной русской фразеологии мерянского происхождения, или местных профессиональных «тайных языков», где сохранение исходного финно-угорского облика слова было желательно как лишний ресурс затемнения его смысла. Ценность этого скудного в количественном отношении материала заключается в том, что он относится к парадигме одного и того же глагола, причем глагола едва ли не наиболее важного и частотного — именно это обстоятельство, видимо, и предопределило сохранность его форм. Кроме того, в отличие от приведенных выше фактов, где на несомненную финно-угорскую лексическую основу наслоились славянские грамматические черты, здесь финно-угорская форма слов (во всей специфике как корня, так и флексии) сохраняется полностью либо с самыми минимальными деформациями. Качественное преимущество данных фактов состоит в том, что их яркая локальная и формальная специфичность позволяют с большей уверенностью считать их явлениями мерянского языка. С целью возможно более краткого изложения соответствующих фактов мерянского языка, заключенных в их русских постмерянских отражениях, представляется целесообразным приводить прежде

всего в реконструированном виде мерянскую глагольную форму, а затем обосновывать ее с помощью русского диалектного материала и связанных с ним финно-угорских сравнительно-исторических данных.

1) **e jola < *ej ola < *ei ole* «нет (букв. не есть)» — первоначально, видимо, отрицательная форма 3-го л. ед.ч. наст.вр. глагола «быть», затем ставшая общей (как эст. *ei ole* «не есть») для всех лиц и чисел данного глагола в настоящем времени, о чем свидетельствует, с одной стороны, произошедшее чисто фонетическое перераспределение звука (-)j < -i между двумя словами, невозможное, если бы он воспринимался как окончание особой формы, а с другой — влияние формы (*e*) *jola*, вызвавшее появление инициального j-, как увидим дальше, не только у отрицательных, но и у положительных форм того же глагола с начальным *о-*: рус. (диал.) *неёла* «нет» (Твер. губ. — Каш; ТОЛРС XX, 166); *неёла* «нет» (Яр. губ. — Угл; Свеш 93; ЯОСК), «не хватает весу или меры» (Яр. губ., Свеш 93; ЯОСК); *неёла* «неудача» (Костр. губ.; МКНО), где *неёла* (*неёла*) является, видимо, полукалькой предыдущего мер. **e jola* «нет (букв. — не есть)» с первоначальным глагольным значением «нет» и позднейшим субстантивированным «неудача»; с тем же словом, очевидно, связано явно вторичное *ёла* «(гл.) есть» (Яр. губ. — Угл; Свеш 89; ЯОСК); «(сущ.) удача, счастье» (Костр. губ. — Нер; ООВС 54; КОСК), образованное от *неёла*.

2) **jon < *on*, ср. прибалт.-фин. *on*, а также венг. *van* «есть» (MSzFE) — форма 3-го л. ед.ч. наст.вр. от «быть» (ф.-уг. **wole(-)*), изменения в которой (в отличие от ее ближайших прибалтийско-финских параллелей) произошли под влиянием отрицательных форм спряжения того же глагола, вызвавшим появление начального j- (**e jola* «нет (букв. — не есть)»), а также под воздействием изменений в форме 3-го л. ед.ч. (простого) прошедшего времени того же глагола (**ul' < *oli*, ср. ф. (диал.) *ol' < oli* «был»), приведших к исчезновению конечного -i и смягчению предыдущего согласного, которое затем по аналогии было перенесено на форму 3-го л. ед.ч. того же глагола в настоящем времени (*снень* «есть» (Яр. губ. — Угл; ТОЛРС XX 117) (букв. — «это есть»), сравнимую с ф. *эе on*, эст. *эе on* «это есть», где, следовательно, в качестве глагола выделяется *ень*, точнее -*ёнь*, поскольку *e-* вместо более правильного (исходного) *ё-* следует объяснить или характерным для русского литературного языка и

питье)»).

3) *ul' «был (-а, -о)» < *ol'i, ср. прибалт.-фин. *oli* — форма 3-го л. ед.ч. (простого) прошедшего времени, изменение в которой, как и вообще аналогичные изменения в той же форме других глаголов, косвенно отражено формой настоящего времени данного глагола и является единственным аргументом в пользу существования формы *ul'*, поскольку прямо она нигде не засвидетельствована. О том, что падение конечного *-i*, как и вообще любого гласного в слоге, следующем за новым закрытым, должно было привести здесь к переходу исходного *o-* (через стадию его удлинения, а затем сужения) в *u-*, свидетельствуют другие формы, связанные с **wole(-)* «быть», в частности рус. (диал.) *ульшага* «умерший, покойник» (Яр. губ. — Угл; Свеш 92; ЯОСК) по образцу *бедняга-*, *ульшил* «умер» (Яр. губ. - Угл; Свеш 92; ЯОСК) от мер. **ul'sa* «бывший», с которым как их калька, очевидно, связано рус. (диал. яросл. костр.) *по- бывшииться* «умереть (то есть стать бывшим)».

4) *jолus < *jолоZe «пусть будет (букв. — пусть есть)» — форма 3-го л. ед.ч. повел. или побуд. накл. (ср. морд. *Э улезэ* «пусть будет (букв. — пусть есть)», *кундазо* «пусть ловит», морд. *М кундаза* «то же», мар. *лийже* «пусть будет (есть)», саам. *bottu-s* «пусть приходит» [87, с. 167], где выступают этимологически связанные с мер. *-s < *-Ze форманты). Из приведенных мерянских форм более ранней является *jолоZe, а более поздней, возникшей в результате падения конечного -е и превращения бывшего предпоследнего слога в новый конечный закрытый слог с переходом в нем -о- (через -о-) в -у— *jолus (ср. рус. (диал.) *елусь поелусь* «хлеб да соль» («приветствие во время обеда» (Костр. губ. — Солигал; СРНГ VIII 349) < мер. *jолus pa jолus < *jолоZe pa jолоZe [***tenan seye* (--) -*јуе* (--)]) «пусть будет и будет (букв. — пусть есть и пусть есть) (у тебя еда-

Продолжение мерянской языковой формулы, дошедшей до нас в сокращенном виде, дается в обобщенной (праязыковой) форме. Попытки других объяснений (путем сближения с *елозить*, *ложка* или как тюркизма без указания источника — Фасмер I, 15, 17) менее убедительны, чем толкование в качестве мерянской формы, в пользу чего говорят и доводы лингвогеографии (фиксация оборота на бывшей мерянской территории, ср. еще *наелузиться* «наесться досыта» (Костр. губ. — Гал; МКНО), *наюлы- зиться* «то же» (Костр. губ. — Кин; МКНО)), и чисто языковые аргументы.

В настоящее время из парадигмы мер.
*wole(-) «быть» известны только положительные
формы 3-го л. ед.ч. наст. и прош. вр. изъяв. накл. и
та же форма повел. или побуд. накл. Что касается
отрицательных форм, существование которых
подтверждается сходством (пост)мерянских
глаголов с прибалтийско-финскими, то из них изве-
стна только форма 3-го л. ед.ч. наст. вр. изъяв.
накл. Как уже объяснялось, эта форма, видимо,
могла употребляться и во всех других лицах и
числах того же времени. Какими были другие
отрицательные формы рассматриваемого
мерянского глагола, на основании имеющихся пока
данных определить нельзя. Несмотря на
ограниченность, эти данные в силу своей
локальной определенности, а также языковой
специфики, не позволяющей их отнести ни к
одному из известных до сих пор финно-угорских
языков, дают возможность рассматривать их как
относящиеся к мерянскому языку. Большинство из
них (такие формы, как *jon, *ul', *e jola) в
наибольшей степени сравнимо с аналогичными
явлениями прибалтийско-финских языков, однако
при несомненно общей с ними отправной точке
получило другое, своеобразное развитие. Форма
*joloZe > *jolus с большим основанием может быть
сравнена с явлениями мордовских и марийского
языков, хотя находит аналоги и в саамском.

Особенностью мерянской парадигмы глагола *wole(-) в отличие от других финно-угорских языков (ср. прибалт.-фин. ole- «быть», морд. *улемс*,

§§§§§§§§§§§§§§ Форма jolože «пусть будет (есть)» реконструируется на основе рус. (диал. перм., также, видимо, постмер.) елозь «приветствие во время еды (здорово хлебать!)» [26, т. 1, с. 518], где сохранение -o- свидетельствует об отражении более ранней формы слова, когда слог с -o-, еще не перешедшим в -u-, был открытым, а мягкость указывает на то, что утраченный позже конечный гласный был гласным переднего ряда, скорее всего -e (или позднее -э); союз *pa, сближенный на русской почве с приставкой по-, восстанавливается путем сравнения с хант. па «и, также» (ср. хант. асем па анкем «мой отец и моя мать»).

***** Только в части мерянских говоров, как свидетельствует кинеш. *наюлызиться* «наесться досыта», в результате выравнивания по аналогии установилась, видимо, единообразная форма глагола с начальным *ju-.

мар. *улаш*, удм. *вылы-* *ны*, коми *вовны (-вывий)* «то же», хант. (ка- зым.) *взл'ты* «быть; жить», ср.-обск. *утта* «то же», манс. (сосьв.) *олуукве* «быть; жить; находиться», (конд.) *ол'х* «то же», венг. *volt* «был» [125, т. 3, л. 669-671; 54, с. 67]), где начало глагола при возможном чередовании первого гласного основы неизменно, является наличие двух видов глагольных форм: 1) с начальным *j-* и следующим за ним *-o-*, то есть **j -*; 2) с начальным **u-*, где отсутствует предшествующий ему *j-*. Первые формы характерны для того варианта глагольной основы, где следующий за начальным слог не утрачивал своего гласного (**(e) jola*, **joluS* < **joloZe*, или где **jo-* достаточно давно выступало в составе односложной глагольной формы: **jon* < *-on*, ср. прибалт.-фин. *on*, венг. *van* «есть». Вторые формы характерны для слов, где в следующем за начальным слоге секундарно выпал гласный, что привело к удлинению и сужению начального ос дальнейшим переходом его в *-u-* (ср. **ul'* < **oli*, **ul'Sa* «бывший (эвфем. также — умерший, покойник)» < **oleSə*).

Процессы, приведшие к образованию двух вариантов основы глагола **wole(-)*, проходили в мерянском языке, по-видимому, уже после его отделения от прибалтийско-финских и волжско-финских языков, в собственно мерянский период его истории, иначе эта его особенность разделялась бы каким-нибудь из них. Относительная хронология соответствующих процессов: 1) падение в части форм гласных второго слога глагола (очевидно, через предшествующую стадию их перехода в редуцированные), которое привело к *o- > u-*; 2) замена первоначально разных личных форм отрицательного глагола *ei*, очевидно, близких ф. *en*, *et*, *ei...*, единой для всех лиц (и чисел) формой 3-го л. ед.ч. *ei*, как в современном эстонском языке; 3) перераспределение **ej ola > *e jola*, приведшее к образованию отрицательной частицы *e* и появлению секундарного начального *j-* у форм глагола «быть» при их отрицательном спряжении; 4) распространение по аналогии начального *j-* с форм отрицательного спряжения глагола **wole(-)* на все его положительные формы, сохранившие начальный *o-*. Следовательно, процесс появления форм на *jo-* у мерянского глагола был, очевидно, отделен значительным промежутком времени от

процесса образования форм с начальным *u-*.....

Неспрягаемые (именные) глагольные формы

Причастие /
отглагольное прилагательное

отглагольные формы, которые, употребляясь в атрибутивной функции и будучи близки к причастиям других финно-угорских языков, могли бы являться соответствующими причастиями. Но

включающих суффикс *-*a*». Конкретно здесь реконструируются следующие предполагаемые мерянские слова: **anDora* «кормящий(-ая) < *дающий(-ая) / кормительный(-ая)»¹⁴ — р. *Андоба*, приток Костромы, «кормящий реку своими водами» (ср. ф. *antava* «дающий(-ая)» от *antaa* «давать», морд. *андомс* «кормить», морд. *Э андыця* «кормящий»); **konDora* «(при)носящий(-ая), (при)носительный(-ая)» — р. *Кондоба*, левый приток Неи, притока Унжи, очевидно, также в связи с функцией притока приносить свою воду другой реке (ср. ф. *kantava* «несущий(-ая)» от *kantaa* «нести», морд. *хандомс* «то же», мар. *хондаш* «приносить»); **tuDora* «знающий, осознающий, знающий (-обладающий знанием), чуткий» — рус. (диал.) *при-о-тудоб-еть* (Костр. губ. — Кол) МКНО, *о-ту-това-ть* «отойти (прийти в обычное состояние)» (Костр — Антр) КОСК, *о-тутув-еть* «прийти в себя» (Костр — Поназ) КОСК < **«прийти в сознание; стать чувствующим (сознающим)»* (ср. ф. *tunteva* «чувствующий; знающий», *tuntea* «чувствовать, знать», удм. *тодыны* «знать», коми *тодны* «то же», венг. *tudni* «знать, уметь, мочь», где обращает на себя внимание близость суффиксальной части к финской и эстонской (эст. *tundev* «чувствующий, узнающий») при особой близости в основе с венгерским соответствием); **paDora*/**paDora* «(быстро) делающий, работающий / деловой, работающий > быстрый» — рус. (диал.) *вараво* «скоро» (Костр. губ. — Ветл) МКНО, *варово* «быстро» (Костр — Мант) КОСК (ср. манс.

Ср.: (в названиях рек) *Андо-ба*, *Ковдо-ба* и (в апеллятивах) *приоту-бо-еть* «окрепнуть», *отуто-в-ать* «отойти», *оту-то-в-еть* «ожить, прийти в себя», *варо-в-о* «быстро», *вара-в-о* «скоро». Поскольку ис-

ходным здесь был суффикс *-р-*, через стадию *-р-* переходивший частично в *-v-* (ср. ф. *lyora* «бьющий», *lyora kello* «часы с боем», *lyoda* «ударять, бить», *-mene-va* «идущий» от *menna* «идти») [116, т. I, с. 177; 24, с. 187], для мерянского языка в связи с частичным озвончением глухих в интервокальной позиции в принципе допустимо было бы принять и реконструкцию типа **anDoBa*, однако возможное здесь колебание *-б-/-в-* позволяет предположить звук *р*, который ввиду его промежуточного положения между рус. *б* и *в* и чуждости русской фонетической системе мог передаваться одним из этих двух русских звуков. ¹⁴

¹⁴ Эти, как и следующие, несколько искусственные, формы даются для передачи значения предполагаемого в данном случае (допричастного) прилагательного.

варуухве «делать; выработать»). Если бы в этих словах можно было усматривать причастия, то единственно допустимым объяснением их функции было бы значение действительного причастия настоящего времени. В пользу этого говорят как данные финно-угорских языков, а именно прибалтийско-финских, так и свойственный рассматриваемым отглагольным формам оттенок постоянства глагольного признака, неограниченного во времени (например, свойства реки), что, как правило, бывает связано с настоящим временем. Однако предлагаемое объяснение безоговорочно принять нельзя, поскольку наряду с рассмотренными выше отглагольными образованиями на **-р а*, по-видимому, тот же причастный оттенок в мерянском языке могло бы в принципе иметь и другое отглагольное образование атрибутивно-причастного типа. Им являются отглагольные формы с суффиксом *-sa*. В отличие от только что рассмотренной группы отглагольных образований здесь данных форм обнаружено значительно меньше. Тем не менее не вызывает сомнения их как отглагольный, так и атрибутивный (причастно/адъективный) характер. Однако если в рассмотренном выше случае отглагольные образования находили соответствия в части прибалтийско-финских языков (ср.: ф. *luke-va* «читающий», иж. *lukko-va*, вод. *luke-va*, эст. *luge-v*, лив. *jela-B* «живой < живущий»), то образования на **-за* наиболее близки к соответствующим явлениям марийского языка. Пока удалось обнаружить всего два подобных образования, на основании которых восстанавливаются предполагаемые мерянские формы, ср.: мер. **ul'sa* (? «фонет. *ul'se* «бывший» — рус. (арг.) *улышага* «умерший, покойник» (Углич) Свеш 92 из *улыша* «бывший (перен. — покойник)» + *га* по типу *бедняга*, *работяга* и под., ср. также рус. (арг.) *улышил* «умер» (Углич) Свеш 92 и кальку из мерянского рус. (диал.) *побывшишься* «умереть (стать бывшим)» (Яр. губ. — Рост, Рыб), что сопоставимо с мар. *улишо* «присутствующий» от *улаш* «находиться, присутствовать; (связка) быть, являться», морд. *улезь* «являясь, будучи» от *улемс* «быть, являться», ф. *olla* «быть», венг. *volt* «был»; **n'el'sa*(/-e) «глотающий(-ая) [54, с. 199]; проглотивший(-ая)» — р. *Нельша* (Костр), с. *Нельша* (Вл. губ.), р. *Нельшенха* (Вл. губ. — Смол 215), р. *Нельшица* (Вл. губ. — Смол 215), сопоставимые с мар. *нелие* «глотаю

щий; проглотивший», Г *нелишы* «то же», *нелаиш* «глотать; клевать (о рыбе)», морд. Э *нилезь* «(прич.) проглоченный; (дееприч.) глотая, проглатывая», морд. М *нилезь* «(дееприч.) глотая, проглатывая», морд. *нилемс* «проглотить», коми *ныылавысь* «глотавший», *ныы-лавны* «глотать», *ныылышитысь* «проглатывающий», *ныылышитны* «проглотить», ф. *niella* «глотать», саам. *njeliat*, венг. *nyelni* «то же». Таким образом, в корневой части оба мерянских слова (*ul'sa, *n'el'sa) выступают как несомненно финно-угорские по происхождению [156, т. 2, с. 376, 427-428; 54, с. 67, 199; 125, т. 3, л. 479, 669-671]. То же относится к их суффиксальной части, так как суффикс -за (/se) помимо соответствий в марийском, мордовских и коми языках, на что уже указывалось, имеет соответствия в обско-угорских отглагольных образованиях, в частности в мансийском пассивном причастии прошедшего времени на -s (манс. *posxe-s* «вылепленный» от *posxi* — «лепить»), а также в именах действия типа *unle-s* «сидение»; в отглагольных именах тот же суффикс выступает и в хантыйском языке (хант. *pame-s* «разум» от ПОШ — «вспоминать») [87, с. 211].

Все упомянутые соответствия вместе с мер. -s- (а/-е) восходят к ф.-уг. *-s- [55, с. 353]. Более сложен в отличие от формального истолкования мерянских образований на *-sa вопрос их функционального объяснения. При значительной формальной близости мер. -sa и мар. -ше (-шо, -шю), мар. Г -шы вывод об их семантико-функциональном сходстве далеко не очевиден. Марийские отглагольные образования являются активными причастиями, не имеющими форм времени: мар. *лудшо* означает как «читающий», так и «читавший» (Сав. — Уч, 846). Что касается мордовских-эрзя причастий на -зь, этимологически связанных с марийскими причастиями с суффиксом -ш(-е/о/о - ы), то они обозначают только глагольный признак, связанный с законченным действием. В отличие от мар. *улишо* «присутствовавший; присутствующий» мер. *ul'sa «бывший (перен. — покойник)» имеет несравненно более определенную семантику, связанную именно с законченным действием. По-видимому, в том случае, если бы в мерянском, как и в ма

рийском, с суффиксом -s- была связана та же временная неопределенность, отглагольное образование *ul'sa не могло бы в нем приобрести столь четко выраженную семантику «бывший», причем и применительно к покойникам. Слово, одновременно значащее «бывший» и «сущий, присутствующий (здесь, с нами, в мире живых)», не

могло бы здесь найти применения. Несколько более двойственную интерпретацию, видимо, могло бы в принципе допускать *n'el'sa: «глотавшая» применительно к реке (= «поглощающая тонущих в ней, другие, впадающие в нее речки и ручьи») и (при более конкретном восприятии глагольного признака) «проглотившая (поглотившая) много людей, рек, ручьев». При подобном истолковании есть все основания как *ul'sa, так и *n'el'sa рассматривать (в отличие от формально близких причастий марийского языка) в качестве активных причастий прошедшего времени. В пользу подобного объяснения говорит и факт употребления в мерянском языке группы отглагольных атрибутивных образований на *-^а(/*-рә), с которыми наиболее естественно связывается значение активного причастия настоящего времени. Наличие аналогичных противопоставленных друг другу во временном отношении причастных форм, как известно, не свойственно марийскому языку. Поскольку в мерянском существует специальная отглагольная форма, этимологически связанная с финскими причастиями настоящего времени на -va < *-ра, для которой можно предположить то же временное значение, мерянские образования на -sa наиболее оправданно рассматривать как активные причастия прошедшего времени, тем более, что имеющиеся факты этому не противоречат. В таком случае следует считать, что в мерянском существовали две формы активного причастия — одна со значением настоящего, другая — со значением прошедшего времени, первая из которых связывала мерянский с частью прибалтийско-финских языков, а другая — формально и отчасти функционально — с марийским и эрзя-мордовским. Отличие мерянского заключается в последнем случае в том, что, в то время как в марийском языке формам на -щ(-б-) свойственна только

активность без временной дифференцированности, в мерянском с ними помимо принадлежности к активному залогу связана, видимо, и принадлежность к прошедшему времени. Что касается функциональной связи с эрзя-мордовским, то и она у мерянского языка неполная: с мордовскими-эрзя причастиями на *-зѣ* связано значение прошедшего времени с семантикой пассивности (ср. морд. *Э соказь мода* «вспаханная земля», *сѣрмадозь ѳвтнема* «написанный рассказ», *нуезь ума* «сжатая полоса»), а в мерянских причастиях на *-s-*, этимологически с ними связанных, явно прослеживается значение действительного залога. Расходятся в своем значении они и с родственными явлениями других финно-угорских языков (коми и мансийского). Все это в целом, говоря о функциональном своеобразии названных отглагольных образований, в связи с тем, что они зафиксированы на постмерянской территории, позволяет рассматривать их в качестве причастий мерянского языка. Как показывают эти факты, в области причастий мерянский занимает как бы промежуточное положение между прибалтийско- и волжско- финскими языками.

Отглагольное существительное на *-ма*.

Вопрос о мерянском инфинитиве

Среди других отглагольных именных образований в мерянском языке заметное место должны были занимать отглагольные существительные с суффиксом *-ма*, прафинно-угорским по происхождению и потому характерным для отдельных финно-угорских языков, ср.: ф. *ela-ma* «жизнь» < *eiaa* «жить», *asema* «место; станция» < *азеа* «располагаться, размещаться»; саам. *borram* «еда», *borrat* «есть»; морд. *вачкодема* «удар», *вач- кодемс* «ударить»; мар. (в составе суф. *-ma- s/-ma-s*) *лудмаш* «чтение», *лудаш* «читать»; удм. *пуксем* «осадо́к», *пуксьмш* «садиться»; коми *гижом* «письмо», *гижш* «писать»; хант. *ulem* «сон»; манс. *ulem* «то же»; венг. *aiom* «сон», *aludni* «спать». Об их распространенности в мерянском языке свидетельствуют многочисленные русские (постмерянские) топонимы на *-ма* на бывших мерянских землях, которые, по крайней мере часть из них, являются несомненными отглагольными существительными, а также отдельные русские диалектные (арготические) апеллятивы с тем же суффиксом (или включавшем его), которые ввиду их фиксации на постмерянской территории, видимо, также можно рассматривать как субстратные включения, вошедшие в русский язык из

мерянского. На основании приведенных форм можно, в частности, реконструировать для мерянского такие отглагольные существительные на *-ма*, как **kolema* «смерть; тяжелая болезнь» — рус. (диал.) *коле́му коле́ть* «тяжело болеть» (Костр. губ. — Ветл) СРНГК (ср. эст. (диал.) *koolma* < **koolema* «умирать < *смерть, умирание», ф. *kuolema* «смерть, кончина», мар. *колма -ш*, морд. *Э кулома*, удм. *кулон*, коми *кулом*, венг. *halal* «то же», связанные с ф. *kuolla* «умереть», мар. *колаш*. морд. *Э кулома*, удм. *кулмш*, коми *кувиц* венг. (meg) *halni* «то же» (ф.-уг. *tole* «умереть») [73, с. 407; 54, с. 143; 99], **pel'ma* < **pelema* «боязнь, страх» — рус. (арг.) *пельма-ть* «знать» (очевидно, будучи напуганным, ср. рус. *проучить* (кого-либо) «наказать для острастки») (Галич) Вин 49 (ср. морд. *пелема* «боязнь» (*пелемс* «бояться»), коми *полом* «боязнь» (*ловим* «бояться»), ф. *pelata* «бояться», хант. *палтм* (*палтгш*), венг. *felni* < ф.-уг. **pele-* «то же») [73, с. 405; 156, т. 3, с. 516-517; 125, т. I, 1. 198; 54, с. 223; 66, с. 81]; **seZema* «разрывание (разрыв)» — р. *Сезема* (Костр. губ.) Экон. прим. (ГАКО ф. 138, оп. 5, ед. хр. 18, л. 143) (ср. морд. *Э сезема* «обрывание, разрывание, срывание» (*сеземс* «сорвать, оборвать, разорвать; (обл.) перейти, переехать (через что-либо)», возможно, связанное с коми *сэзьмш* «поддать пару, плеснуть на каменку; открывать суслоны (снимая верхние снопы); снимать крышку») [54, с. 271272]; **ul'sma* «умирание, гибель (букв. — быв- шенье)», по-видимому, от глагола, образованного от причастия **ul'sa* «бывший» — р. *Уль- шма* (Костр. губ. — Кол) КГЗ (СНМ) 141, соответствующий глагол, очевидно, является специфично мерянским образованием, если исходить из своеобразия семантики причастия **ul'sa*, рассмотренной выше, а если учитывать его связи — через причастие ф.-уг. **wole* «быть» — со всеми финно-угорскими языками, то не вызывает сомнения его исконное финно-угорское происхождение.

Отглагольные субстантивные образования на *-ма* в финно-угорских языках (например, прибалтийско-финских и мордовских) нередко тесно связаны с инфинитивом и часто выступают как одна из его форм. Исторически финно-угорский инфинитив, как и славянский, представляет собой отглагольное существительное, сохраняющее падежные формы, по крайней мере часть их. В эстонском и мордовских языках в связи с этим прослеживается интересная закономерность. В мордовских языках словарной инфинитивной формой является иллатив отглагольного существительного на *-ма* (морд. *Э -мо/-ме*),

номинатив в этой функции употребляется относительно редко. Поэтому номинативная форма часто употребляется здесь в роли отглагольного существительного, сохраняя способность употребляться также в роли инфинитива, ср.: морд. *Э од эрямо* «новая жизнь» — *карман эрямо* «буду жить»; морд. *М од эряма* «новая жизнь» — *карман эряма* «буду жить». В эстонском языке, где отглагольное существительное на -та употребляется теперь только в инфинитивной функции (ср. *elama* «жить», *minema* «ходить», *sooma* «есть», *kirjutama* «писать» и т.п.), причем дается как словарная форма, подобное употребление формаций на -та в роли существительных отсутствует. В связи с тем, что для мерянского языка, как и для мордовских, употребление отглагольных образований на -та в роли существительного было, очевидно, весьма характерным (об этом говорит, в частности, большое количество постмерянских топонимов на -ма типа *Кострома*, *Костома*, *Кинешма*, *Яхрома*, *Чухлома*, *Шекшема* и т.п.), следует полагать, что эта форма только частично могла выполнять

функцию инфинитивной. Видимо, наиболее типичным для инфинитива было какое-то другое образование. Не исключено, что им, как в мордовских языках, могла быть форма иллатива отглагольного существительного на -та. Возможно, в связи с тем, что при этом, как в мордовских языках, конечное -а в -та выпадало и предшествующий слог становился закрытым, в некоторых (пост)мерянских глаголах наблюдалось закономерное для мерянской фонетики явление: гласный последнего (нового закрытого) слога заменялся гласным более высокого подъема, ср. рус. (арг.) *улышил* «умер» (Углич) Свеш 92 — мер. **ul'Sims* < **oleSem(a)s*; рус. (Костр.) *варово/вараво* «быстро», где очевидно, первая форма отражает инфинитивное **^agoms* «делать, работать», а вторая — отглагольное существительное **^agama* «делание, работа»; р. *Кондоба* (Костр.) — ф. *kantava* «несущий(-ая)», возможно, под влиянием инфинитивного **konDoms* «(при)нести» при **konDama* «(при)несение» (ср. ф. *kantama* «дальность (при выстреле) (букв. — несение)», мар. *кондаш* «приносить»).

Другие части речи

Наречие и предикатив

К числу наречий и предикативов мерянского языка можно отнести следующие реконструируемые лексемы: **paħa*/**paħe* «мало» — рус. (диал.) *вяха* «чудо, небывалый случай; небылица, вздор» (Яр — Мышк, Пош, Рост; Костр. — Чухл); «немного, пустяк» (Яр — Рост, Костр. — Парф); «беда, несчастье» (Яр); «куча, ворох, большая ноша» (Яр — Пош) ЯОСК; «самая малость чего-нибудь» (Костр. — Буй) КОСК, где исходным значением является, очевидно, «мало, немного», а остальные представляют собой результат переосмысления, в том числе иронического («куча, ворох»), ср. ф. *vaħa* «малый, скудный», *vaħan* «мало, немного», вепс. *vaħa(n)*, эст. *vahe*, морд. *Э веж-* < **veze* «маленький» в *вежгель* «(анат.) язычок (букв. — маленький язык: **veZe kel'* — ф. *vaħa kieli*)», *вишка* «малый, маленький» [156, т. 6, с. 1830-1831]. Судя по ареалу распространения, слово может являться исконно мерянским, но ввиду того, что оно лишено каких-либо ярких своеобразных черт, нельзя исключить полностью и возможность его заимствования из прибалтийско-финских языков (скорее всего, вепсского). Предположить его позднейшее проникновение из вепсского непосредственно в русские говоры постмерянской территории более сомнительно, учитывая большой

пространственный разрыв, существующий теперь между ареалом вепсского языка и данных русских говоров, а также слишком большую распространенность слова в ярославских и костромских говорах.

Мер. **nemen'* «нет» — рус. (диал.) *не-мень* «нет» (Углич) ТОЛРС XX 116, *немань* «то же» (Яр) КЯОСК 122 (ср. венг. *nem* «нет; не», манс. *нэм (хот)* «ни(где); не(где)» [Ромб. — Куз., с. 77], хант. *нэм(хоят)* «ни(кто) (букв. — не кто-то)» [66, с. 76], коми *нем* «ничто, ничего», удм. *нема* «ничего», мар. *нимо, нимат* «ничто, ничего» < ф.-уг. **namī*) [125, т. 3, л. 464-466; 54, с. 186]. Что касается конечного элемента -ень, то аналогия ему имеется также в венгерском (венг. -en в *nincsen* «нет, не имеется» при более частом *nines*). Этот не единственный случай мерянского-угорских, в частности венгерских, языковых связей обращает на себя внимание тем, что относится к частям речи, которые заимствуются чрезвычайно редко.

Союз

Пока обнаружен только один мерянский союз: мер. **pa* «и» — рус. (диал.) *елусь поелусь* (приветствие во время обеда) < **joluS pa joluS (tenan seye(--))* — *jūye(--)* «пусть будет и пусть будет (у тебя еда- питье)» (Костр. губ. — Солигал) СРНГ

согласных): P'ehmgi sob necʂn hiin an «и корова ест эту траву» (Зайцева 297); иж. Ca (-Ga) (при отрицании), Gi (-k*ki*) (при утверждении): emma kunne-Ga jouvu «мы никуда не успеем»; anna hanelleGi «дай и ему» [49, с. 113]; вод. -ka (при отрицании) - Ci (-t*si*) < *ki- (при утверждении): er kuhek a «никуда»; tulepCi «идет же» [50, с. 107; 6, с. 134]; эст. -ki(-gi): tulebki «то же»; ei kuhugi «никуда» [50, с. 107]; морд. М -ка(-га)/ -ке(-ге): *монга молян* «и я пойду»; морд. Э -как(-гак), возникшие в результате удвоения исходных морд. -ка(-га): *Панжоматкак арасть, кенкишесь жо а панжови* «И ключей нет, дверь же нельзя открыть» [87, с. 257;

7, с. 303; 23, с. 352-353]». Таким образом, отмечаемые в русском говоре на постмерянской территории усилительные частицы **-ка** и **-ки** являются скорее всего частицами мерянского происхождения. Об этом свидетельствуют, с одной стороны, их распространенность на территории, в настоящее время не соприкасающейся с ареалом какого-либо финно-угорского языка и населенной только русскими, а с другой — многочисленные параллели в финно-угорских, прибалтийско-финских и мордовских языках, а также то, что в прошлом место их фиксации было заселено мерей. Дополнительным обстоятельством, говорящим в пользу мерянского происхождения частиц, служит и то, что заимствование служебных слов происходит значительно реже, чем полнозначных (особенно в случае, если их распространение должно было идти из соседнего маловлиятельного языка, каким здесь мог быть только вепсский). Гораздо более естественно предположение, что данные служебные слова сохранились как остатки местного финноугорского мерянского языка.

Междометие

Пока обнаружено только одно междометие, которое может считаться мерянским. Им является восклицание эмоционального характера, реконструируемое как **ua j!* — рус. (диал.) *вай* (межд.) «возглас удивления» («Вай, какая сегодня холодная погода») (Яр — Пош; Костр — Сусан) ЯОСК (ср. морд. Э вай «ой! ах! ох!»: вай *эреди!* «ой больно!», вай, *чись кодамо лембе!* «ах, день какой теплый!», вай, *кулан!* «ох, умру!»; морд. М вай «ой! ах! ох!»: вай, *маряй!* «ой как болит!», вай,

+++++ Что касается мар. -ак, то его связь с рассмотренными частицами [87, с. 257] ставится под сомнение [20, с. 183-184].

ишь кодама пара! «ах, день какой хороший!», вай, кулан! «ох, умру!»; возможно, также венг. vaj! (vajh! vally-ha!) (книжн. уст. межд., ст. диал. vaj, vajh) «выражение в особенности боли, жалобы» [122, с. 39; 65, с. 40; 146, 1. 1455; 124, к. 3, 1. 1069]. В пользу финно-угорского субстратного (мерянского) происхождения междометия говорят как ареал его распространения, совпадающий с бывшей мерянской территорией, так и отсутствие его в других русских говорах (не отмечено в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля и «Словаре русских народных говоров») при одновременном существовании его параллелей в обоих мордовских языках и, возможно, венгерском. Междометие интересно также тем, что в нем, как и в близкой по функции к междометию

частице *jou, можно предположить существование звука u, в целом нехарактерного для мерянской фонетической системы, где вместо w(v) и b употреблялся в артикуляционном отношении промежуточный звук. Предположительное (ограниченное) наличие u наряду с р, когда u могло возникать при недостаточно четкой (неполной) артикуляции р, объясняется, видимо, тем, что u выступало, как правило, только в междометиях и близких к ним по функциям слова, которым свойственны нехарактерные для данного языка звуки, как, например, в русском литературном языке употребление фрикативного у в междометиях ага, ого или в украинском звукоподражательном Ге-ее-Ге взрывного g, нехарактерных вообще для их фонетических систем.

СИНТАКСИС (НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ)

Сведения, относящиеся к синтаксису мерянского языка, касаются пока только синтаксиса словосочетания и простого предложения, что обусловлено крайней ограниченностью дошедших до нас разрозненных мерянских текстов (не более 3-4 частично реконструированных предложений). Как наиболее существенные можно отметить всего две черты из этих областей синтаксиса. Для мерянского, как и для других финноугорских языков, характерна была, очевидно, обязательная постановка определения (в том числе несогласованного) перед определяемым. Об этом свидетельствуют, в частности, такие примеры как названия Галичского озера *Neron (рус. *Нерой*) и р. Jähren (рус. *Яхрей*), являющиеся остатками предполагаемых словосочетаний (или возникших впоследствии на их основе сложных слов) *jähren (juk) «(букв. - озера, род.пад. ед.ч.) река»; *Neron (jahre) «(букв. - болота, род.пад. ед.ч.) озеро».

Другая важная синтаксическая особенность мерянского языка — употребление связки в именных предложениях. На это, как представляется, указывает обнаруженное в нем словосочетание *si jon (рус. (арг.) *аиень* «есть (букв. — это есть)»), предполагающее не только указательное местоимение, но и сопровождающую его связку — глагол *jon (фин., эст. on) «есть». Реконструируемые на этом основании мерянские предложения типа *Si jon l'ejma «Это (есть) корова»; *Si jon urma(-e) «Это (есть) белка»; *Si jon juk «Это (есть) река» построены, в сущности, по принципу аналогичных предложений в финском и

эстонском языках. Ср. ф. Se on lehma; Se on orava; Se on joki; эст. See on lehm; See on orav; See on jogi. Как известно, в остальных финно-угорских языках, в частности мордовских и венгерском, связка в данном случае не употребляется: морд. Э Те минек пиресь «Это — наш сад»; венг. Ez haz «Это — дом». Таким образом, по указанному признаку мерянский язык связан с прибалтийско-финскими языками, отличаясь от других финно-угорских. Не исключено, что поскольку употребление связки «есть» характерно в целом для индоевропейских языков Европы (ср.: нем. Das ist ein Buch «Это (есть) книга»; англ. It is a book; фр. C'est un livre; лит. Tai yra knyga; лтш. Ta ir gramata; н. To jest ksiazka; болг. Това е книга «то же»), за исключением восточнославянских языков (возможно, как следствие их контактов с неиндоевропейскими), существование связки настоящего времени в прибалтийско-финских и мерянском языках является вторичной особенностью, вызванной сильным влиянием на них синтаксиса индоевропейских языков. Для прибалтийско-финских это было главным образом влияние балтийских, а затем германских языков. Что касается мерянского, то на нем сказалось воздействие прежде всего индоевропейского языка фатьяновцев, растворившегося в нем как субстрат и тем самым повлиявшего на его структуру. Кроме того, не исключено влияние на мерянский со стороны балтийских языков, один из которых, балтийский язык голяди, непосредственно должен был с ним соприкасаться на границе с юго-западной частью его языковой территории.

ВЫВОДЫ

Рассмотрение грамматической системы мерянского языка по остаткам, сохранным в русском диалектном языке и его ономастике, позволило обнаружить фрагменты мерянских частей речи и их словоизменительной системы. Из частей речи, хотя бы в самой минимальной степени, смогли быть рассмотрены: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, союз, частица, междометие. Было получено некоторое представление о фрагментах словоизменительной системы имени (большее) и глагола (значительно меньшее). Обнаруженные факты в силу своей отрывочности не дают точного представления о грамматике мерянского языка в целом. С их помощью обнаруживаются только общие, иногда очень размытые, контуры ее системы. Причем это относится даже к тем частям речи и словоизменительным парадигмам, которые поддаются частичному восстановлению.

Однако на настоящей стадии реконструкции есть еще целые части речи и грамматические категории, которые совершенно не поддаются воссозданию. Что касается частей речи мерянского языка, то здесь отсутствуют какие-либо факты, связанные с такой важной частью речи финно-угорских языков, как послелог и, возможно, предлог, если он в мерянском существовал. Ничем не обнаружила себя в поддающихся реконструкции мерянских пережитках такая важная для финно-угорских языков лексико-грамматическая категория (возможно, даже отдельная часть речи), как изобразительные слова.

Из словоизменительных категорий остаются совершенно неизвестными парадигмы именного (субстантивного) притяжательного склонения, степени сравнения прилагательного, парадигма спряжения глагола в условном (сослагательном) наклонении, не говоря уже о том, что, как и в ряде других финно-угорских языков, состав наклонений мог не исчерпываться только действительным, повелительным и условным. Не исключено, что в мерянском, как и в мордовских и угорских языках, наряду с безобъектным существовало объектное спряжение глагола. Говорить о его наличии или отсутствии на основании имеющихся реконструируемых данных еще невозможно. Очень отрывочны также факты, связанные с мерянским словообразованием. Можно говорить только об отдельных суффиксах имен: уменьшительном -па у существительных, абессивном (лишительном) -

Doma у прилагательных, глагольно-адъективных (причастных) -р(а), -э(а), глагольно-субстантивном -та. Неизвестными остаются формы страдательных причастий мерянского языка и возможного деепричастия. Можно пока только строить предположения и о конкретной форме мерянского инфинитива.

Тем не менее и при остающихся многочисленных пробелах имеющихся фактов достаточно, чтобы на их основании позволить себе сделать предварительные выводы о грамматической специфике мерянского языка и в связи с этим — о его месте среди финно-угорских языков. Большинство реконструируемых фактов определяют мерянский язык как наиболее тесно связанный с прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками. Его срединное лингвогеографическое положение между ними хорошо согласуется с таким же промежуточным, как бы переходным, положением мерянской грамматической системы, — как именной, так и глагольной, — между грамматическими системами этих языков. На основании реконструированного материала можно решительно утверждать, что высказывавшиеся в прошлом мнения об особенно тесной близости между мерянским и марийским языками обнаруженными грамматическими особенностями мерянского не подтверждаются. В частности, это видно на примере именной парадигмы, где 9-ти (10-ти с вокативом) восстанавливаемым падежам мерянского, а в действительности, очевидно, их количество было еще больше, противостоит 8 (9 с вокативом) падежей марийского. Четкое, по-видимому, различие внешнеместных и внутреннеместных значений, сближающее мерянский с прибалтийско-финскими языками, отсутствует в марийском. Как финно-угорский язык Центральной России, наиболее близкий к прибалтийско-финской группе, мерянский отличается целым рядом черт, именных и глагольных, также от мордовского языка. В целом его специфика определяется не столько своеобразными явлениями (они касаются, как правило, только малосущественных черт), сколько неповторимым сочетанием тех особенностей, которые в отдельности свойственны и другим родственным языкам, а иногда их своеобразным развитием (ср. варианты *jol- :ul'* у мерянских рефлексов ф.-уг. **iole-* «быть»).

Кроме явно преобладающих черт родства с прибалтийско- и волжско-финскими языками, у мерянского есть отдельные черты, говорящие

также о его тесных связях с угорскими языками (ср. показатель мн.ч. -k, сходный с венгерским; союз *pa* «и», общий с хантыйским). Хотя количество этих общих явлений в целом невелико, все они — результат не эпизодических, а, напротив, длительных и непосредственных контактов, так как только они могли коснуться таких малопроницаемых сфер, как грамматический строй языка и служебные слова.

Поскольку меря жила вдали от угорских народов и с ними непосредственно не общалась, время возникновения отмеченных меряно-угорских (в том числе меряно- венгерских) общих явлений, возможно, результата взаимовлияний, следует отнести к периоду до переселения протомерянских финно-угорских племен с финно-угорской прародины на их историческую территорию. Очевидно, именно там, на финно-угорской прародине или где-то в непосредственной близости от нее общие явления могли развиваться. Поэтому можно предположить, что, входя в состав финно-пермских племен, протомеры в этот период располагались на их крайнем восточном рубеже, а это сделало возможным их контакты с прауграми, в том числе с протовенграми.

ЛЕКСИКА

Мерянский язык, по имеющимся данным, относится к числу бестекстных. Этим во многом определена специфика источников сведений о нем и критериев, помогающих выделить его элементы и хотя бы фрагментарно реконструировать его как систему, в том числе лексическую. Трудности, возникающие при системной реконструкции лексического состава мерянского языка, состоят в сложности разграничения мерянского и инофинно-угорских словарей как в их исконных элементах, так и в возможных заимствованиях, где не исключены случаи полного формального и семантического совпадения. При смежности родственных языков, возможности массовых миграций их носителей и недостаточно точных данных о границах бывшей мерянской языковой территории такая слабая или нулевая дифференцированность предполагаемых меряnskих и инофинноугорских лексем может вызвать сомнение, относится ли то или иное слово к исконной мерянской лексике, принадлежит ли к заимствованиям из какого-либо родственного языка или является результатом переселения носителей соседнего финно-угорского языка на мерянскую территорию и в состав мерянской лексики никогда не входило. Не менее сложно выяснить состав нефинно-угорских лексических заимствований мерянского, что необходимо для полноты представления о его словаре.

Основным общим источником сведений о мерянской лексике является пока русский язык. Хотя не исключена возможность обнаружения меряnskих заимствований в финно-угорских языках, особенно смежных в прошлом с мерянским, история его носителей позволяет считать, что по сравнению с русским языком число заимствований из мерянского в финно-угорских языках значительно меньше, поэтому их роль может быть лишь вспомогательной. Лексика мерянского языка отражена русским языком в двух видах — материальном и калькированном. Конкретными источниками обнаружения материальных включений мерянской лексики в русском языке служат связанные преимущественно с постмерянской территорией апеллятивы диалектов, апеллятивы социолектов (арго), топонимы и этнонимы. Калькированная полностью

или частично лексика представлена преимущественно в диалектах и социолектах. Частично оба вида мерянизмов из диалектного и фольклорного могли войти в литературный русский язык.

История меряnskих слов отражена в разновременности их проникновения в русский язык и фиксации в его памятниках. Локальные различия слов свидетельствуют об их диалектных вариантах. Итак, указанные источники дают довольно разнообразные сведения о мерянской лексике. Однако поскольку эти сведения извлекаются не из связанных меряnskих текстов, а из русского языка, где мерянская лексика представляет собой разрозненные вкрапления и где еще надо обнаружить, неизбежно возникает вопрос о критериях ее определения.

Общими критериями определения лексики мерянского происхождения в русском языке и ее идентификации в качестве финно-угорской являются сопоставительно-типологический (черты отличия от лексики славянского происхождения) и сравнительно-исторический (черты сходства с лексикой финно-угорских языков). Чтобы найти элементы мерянского происхождения в русской лексике (и ономастике), приходится идти путем постепенного исключения всего немерянского в ней: 1) славянского; 2) неславянского, но и не финно-угорского; 3) финно-угорского, однако не мерянского, кроме того, что могло быть заимствовано из соответствующих языков в мерянский. Оставшиеся после отсева, в том числе заимствованные, элементы должны быть окончательно обоснованы в качестве меряnskих и реконструированы в своей исходной форме. Установление собственно мерянской принадлежности лексики опирается при этом на частные критерии внешнего и внутреннего порядка. К внешним принадлежат критерии социолингвистический (ориентация мерянской лексики как субстратной на социологически «низкие», особенно в апеллятивах, слои словаря — конкретные детали местной природы, быта, реалий, элементы просторечия и вульгаризмы), лингвогеографический (связь лексики с постмерянской территорией), лингвоисторический (зависимость от обстоятельств внешней истории

языка — миграций его носителей и преемников его элементов связей мерянского с другими языками и т.д.). К внутренним критериям относятся особенности структурных уровней мерянского языка, выделяющие его на фоне других финно-угорских языков: фонетического (переход гласных новых закрытых слогов в гласные более высокого подъема: $a > o$, $o > u$, $a > e$, $e > i$ (**urpa* < **ora*^hа «белка», **paio* > **poi* «деревня» и т.п.; согласный *p*, инициальное ударение, отсутствие звука *x*), морфологического (формантный) (варианты **jol*:- **ul*'- у глагола «быть» — **jolus* «пусть будет; **ul*' «был»), семантико-типологического (**ul*'*Sims* «умирать» < «становиться бывшим» от (**ul*'*Sa* «бывший»). Учет всех или части упомянутых критериев, указывающих на мерянское происхождение слова, позволяет с большей или меньшей долей вероятности относить его к уже рассмотренным исконным или заимствованным элементам мерянского языка.

Восстановление первоначального облика мерянских слов, сохраненных в русском языке иногда в одной из застывших «несловарных» форм (галич. (арг.) *Нерон* «Галичское озеро», род.п. ед.ч. от мер. **ne ro* «болото») или обросших русскими формантами (костр. *при-о-тудоб-еть* «окрепнуть» < «прийти в себя» от мер. **tudopa* «(осо)-знающий»), требует снятия позднейших наслоений и объяснения структуры слова. Методы внешней и

внутренней реконструкции, применяемые при этом, дают возможность воссоздать соответствующие мерянские лексемы в предполагаемой исходной форме большей или меньшей хронологической глубины.

Ввиду того что для решения вопроса о происхождении слова и принадлежности его к мерянскому языку оно должно быть предварительно подвергнуто этимологическому анализу, рассмотрению устанавливаемой в настоящее время мерянской лексики в целом должна предшествовать ее этимологическая аргументация в качестве мерянской, исконной или заимствованной.

В силу специфики исследования мерянской лексики данная глава должна состоять из двух частей — собственно этимологической и лексикологической. В первой части основная задача — этимологическое доказательство мерянского происхождения ряда слов. Во второй части, которая является выводами из первой, реконструируемая мерянская лексика должна быть рассмотрена в целом как система с точки зрения ее происхождения, в том числе взаимосвязи с другими финно-угорскими (и уральскими) языками в ее исконных элементах, а также в ее принадлежности к определенным тематическим группам.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕРЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Андоба (приток р. Костромы) < мер. **AnDopa*/**AnDop*§ «кормящий (-ая, -ее)» — ф. *antava* «дающий (-ая, -ее)», эст. *andev* «то же» с формантом *-yfa* < **-pa* [55, с. 350], форма, имеющая прямые грамматические соответствия только в прибалтийско-финских языках и связанная с глаголом *anDa-* «кормить» < «да(ва)ть» финно-угорского происхождения (ср. ф. *anta* «да(ва)ть», эст. *andma* «то же», саам. Н *vuow'det* «продавать», морд. *андоне* «кормить», удм. *удыны* «напоить, подать пить», коми *удны* (в парном слове *вердны-удны* «кормить-поить», где *вердны* «кормить»), венг. *adni* «да(ва)ть; прода(ва)ть» < ф.-уг. **amta-* «да(ва)ть»). Восстанавливаемая семантика, наиболее вероятная для речного притока, «кормящего» своими водами реку, в которую впадает, ближе всего стоит к значению

соответствия *андоне* в мордовских языках (ОФУЯ 418; КЭСКЯ 295296; SKES 120; MSzFUE 169).

Анка «галка» (Костр — Нерехт) ЯОС I 29 < **agka*. Слово, очевидно, субстратного финно-угорского, причем мерянского, пронахождения, о чем свидетельствуют как отдаленность района, в котором оно зафиксировано, от других финно-угорских языковых территорий при одновременной его связи с областью распространения мерянского языка, так и своеобразие его формы. Слово не обнаруживает соответствий в территориально близких (в настоящем или прошлом) финно-угорских языках «восточной» ориентации (ср. мар. *чайга* «галка», морд. *чавка*, коми *чавкав*, *тявкав*, удм. *Чава*, венг. *csOk*a), зато есть явные связи со словами, обозначающими ту же птицу в прибалтийско-финских языках (ср. ф. *naakka*

«галка», кар. *noakka*, лив. *noakku*, люд. *nuak*, *nuakke*, *nuakku*, вепс. *nak*, *nak*, эст. (диал.) *nakk* и (лит.) *hakk*). «Этимологический словарь финского языка» определяет слово как звукоподражательное (SKES II 362), то же относится к названным словам остальных финно-угорских языков, по определению других финно-угорских этимологических словарей (КЭСКЯ 300, MNTESz I 547-548), однако нельзя не заметить, что по фонетическому облику мерянская лексема гораздо ближе к соответствующим прибалтийско-финским словам. Видимо, если в основе финноугорских слов, обозначающих галку, лежало звукоподражание, то принцип этого звукоподражания был разным в прибалтийско-финских языках, с одной стороны, и волжско-финских, пермских, а также в венгерском — с другой. Постмер. *авка* можно рассматривать или как форму, находящуюся в отношении метатезы к ф. *паакка* (и его соответствиям), причем трудно с определенностью сказать, какая из форм первична (вполне возможно, судя по «восточным» финно-угорским параллелям, что мерянская), или как форму, связанную с эстонской. В последнем случае обе формы можно было бы рассматривать как отклонившиеся от своей исходной праформы: мерянскую — в связи с утратой инициального согласного, эстонскую — в связи с синкопированием конечной части в качестве видоизменившей первоначальное -ц(-) в -kk. Не исключено также, что мер. (позд.) *авка* является как бы связующим звеном между словами «восточных» (пермских, угорских, волжских) и «западных» (прибалтийско-финских) языков. Ввиду того что прибалт.-фин. *h* может отражать первоначальное *S*, а в некоторых случаях и *C*, а морд. в (*v*) являться отражением первичного (или диалектного) -д, вполне вероятно, что в основе мер. (поздн.) **ag|ka*, как и эст. *hakk*, лежит исходное **Cagka*, в дальнейшем в силу утраты смычки перешедшее в **^ag^a*, преобразовавшееся в **(h)agka*. Лексема с утраченным *h*- могла дать в прямой форме поздн. мер. **agka*, а в форме, подвергшейся метатезе, — ф. *паакка*. Лексема, сохранившая инициальное *h*-, могла в эстонском языке дать *hakk*. Как бы то ни было, связь рассматриваемого слова с финно-угорскими (в особенности прибалтийско-финскими и марийским) языками не вызывает особых сомнений.

К числу субстратных индоевропейских включений относится, видимо, рус. (диал.) *бев* (*биви*, *вевечкИ*) / *бьяки* (*вявкй*) «(преимущественно) род вил» — слово, до сих пор не получившее удовлетворительного объяснения. В своих фонетических и словообразовательных вариантах оно распространено главным образом на территории бывшего проживания мери (в Московской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской обл. и быв. Владимирской и Костромской губ.), а также к востоку от нее (в Куйбышевской [с 1991 г. — Самарской. — *Прим. ред.*] и Пензенской обл. и быв. Самарской, Пензенской, Вятской, Симбирской и Нижегородской губ.), что могло быть следствием переселения жителей упомянутых областей Центральной России на восток. Однако в пользу заимствованного характера слова и его связи с бывшей мерянской территорией свидетельствуют не столько особенности его распространения, сколько данные этимологического анализа.

Рассматриваемое слово засвидетельствовано в основном с кругом тесно взаимосвязанных, узкоспециальных значений, но в нескольких фонетических вариантах, где его основа выступает в формах *бьяв-/бев-/бив-/вяв-/вев-*. Обе особенности говорят о том, что оно носит заимствованный характер, с чем, как известно, связаны, с одной стороны, конкретность значений, их относительная неразветвленность, а с другой — шаткость формы слова, в частности фонетической, которая не может быть передана точно средствами заимствующего языка и по

этому невольно вызывает появление нескольких вариантов его передачи. Поскольку каждый из вышеуказанных фонетических вариантов слова, как правило, имеет также несколько словообразовательных вариантов, связанных нередко с особыми семантическими оттенками, слово выступает в целом ряде конкретных фонетико-словообразовательных форм и значений:

- 1) *бяны* (мн.) «небольшие вилы для разбрасывания навоза в поле» (Влад. губ.) СРНГ III 360;
- 2) *бянка* (ж.р.) «вилы для ворошения соломы» (Моск) СРНГ III 360;
- 3) *бянки* (мн.ч.) «короткие с тупыми зубьями вилы для уборки соломы на току при молотье» (Моск. обл., Пенз., Вят., Симб. губ.) СРНГ III 360; «железные вилы с тремя зубьями» (Влад. губ.) СРНГ III 360; «вилы для подачи, складывания соломы при молотье» (Костр) КОСК; «деревянные вилы с двумя зубьями» (Яр) ЯОСК; «вилы с двумя зубьями для разбрасывания навоза» (Ниже-гор. губ.) СРНГ III 360; «скулы» (очевидно, переносное от первоначального значения «двурогие вилы», ср. укр. *виллиці* «скулы (букв. — (маленькие) вилы)») (Костр — Соли-гал) ЯОСК;
- 4) *бяньки* (мн.) «деревянные вилы с двумя зубьями для уборки соломы при молотье» (Вл. губ.) СРНГ III 360; «вилы для ворошения сена или соломы на гумне» (Яр., Моск.) СРНГ III 360;
- 5) *бёнечка* (ж.р.) «вилка какая?» (Яр) ЯОСК;
- 6) *беняшки* (мн.ч.) «двурогие вилы» (Яр) ЯОСК;
- 7) *бёньки* (мн.ч.) «вилы, которыми ворошат сено при сушке; вилы, которыми заправляют навоз под пласт земли во время пахоты; деревянные двурогие вилы, которыми трясут солому во время молотья» (Яр) ЯОСК;
- 8) *беньки* (мн.ч.) «рогатки для подавания снопов» (Костр) МКНО;
- 9) *бёньги* (мн.ч.) «деревянная палка с развилиной на конце, используется для перевертывания сена во время сушки» (Яр) ЯОСК;
- 10) *бёни* (мн.ч.) «накладка на телегу, сделанная в виде санок, служит для перевозки сена, соломы; вилы железные, деревянные с тремя, четырьмя зубьями, которыми накладывают сено, солому, навоз; вилы с двумя длинными зубьями; особый род вил с короткими роженками, которые используются для разрыхления земли при копке гряд» (Яр) ЯОСК; «вилы трехрогие с длинным чернем с отогнутым средним рогом для подачи сена

высоко» (Костр) КОСК;
- 11) *бенины* (мн.ч.) «то же, что бени» (Яр) ЯОСК;
- 12) *беницы* (мн.ч.) «вилы; трехрогие вилы» (Костр) КОСК;
- 13) *бини* (мн.ч.) «двурогие вилы для разбрасывания навоза на поле» (Яр) ЯОСК;
- 14) *вян-ки* (мн.ч.) «вилы небольшие двурогие, тупые» (Костр) КОСК; «короткие

навозные вилы» (Костр., Пенз. губ.) СРНГ VI 79; «особого рода тупые вилы для перетруски колоса на току во время молотья» (Симб., Пенз., Самар. губ.) СРНГ VI 79; «небольшие тупые вилы в два зуба для подачи и перетруски снопов на току при молотье» (Симб., Пенз. губ., Куйб. обл.) там же; 15) *вёнечки* (мн.ч.) «двурогие деревянные вилы, которыми трясут солому при обмолоте» (Костр) ЯОСК.

Учитывая многообразие форм слова и его семантику, следует признать неубедительной попытку М.Фасмера объяснить его как чисто славянское по происхождению и связанное с глаголом *вить* исходя только из двух форм *бянки* (*вянкѣ*) и без достаточного учета семантики: «*бянки, вянки*, мн. «вилы», влад. и вост.-с.-в.-р.; см. Филин (Исследование о лексике русских говоров. М., 1936), 121. Возм. из *обвинькы* от *вить*?» [110, I, с. 262]. Для значения слова связь с глаголом *вить* представляется в лучшем случае факультативной, скорее же всего — чисто случайной, основанной только на внешнем, звуковом сходстве. Гораздо более характерным для семантики слова чаще всего обозначающего разные виды вил, является то, что, как правило, у большинства его форм имеется значение «двурогие вилы; вилы в два зуба; рогатка, то есть также развилка с двумя зубьями, рогами». Из 15 приведенных выше форм это значение имеют 11, то есть 73% (*бянки, бяньки, беняшки, беньки, бёньки, бёньги, бёни, бенины, бини, вянки, вёнечки*) и только четыре, то есть 27% (*бяны, бянка, бенечка, беницы*), этого значения не обнаруживают, по крайней мере отчетливо, по видимому, его утратив. Есть основания предположить, что первоначальным было значение «двурогие вилы; вообще какой-либо предмет, включающий две части» (ср. *бени* «накладка в виде саней», иными словами — с двумя полозьями), значение же «вилы вообще (в том числе с тремя, четырьмя

Однако безоговорочному принятию связи слова *бени* (*бини, венечхИ*) / *банки* (*вянкИ*) с приведенной группой этимологически связанных индоевропейских слов препятствуют при несомненном семантическом сходстве и определенной формальной близости расхождения между рассматриваемой лексемой и данной группой, проявляющиеся в непонятной с точки зрения индоевропейской и славянской фонетики вариативности начала русского диалектного слова и его корневого вокализма. Если объяснять слово как непосредственное заимствование из какого-то индоевропейского языка, то эти вопросы остаются без ответа так же, как и вопрос о связи славян с носителями этого языка, поскольку к X в. н.э., моменту появления восточных славян на бывшей мерянской территории [22, с. 5], там, кроме финно-угорского мерянского населения, не проживало никакого другого, в том числе индоевропейского. Можно предположить, что данное слово попало в славяно-русский язык непосредственно из мерянского, представляя собой в последнем одно из реликтных слов, проникших из субстратного

индоевропейского языка того населения, которое финно-угорские предки мери застали на территории Центральной России при переселении на запад из своей (западно)уральской финно-угорской прародины и которое впоследствии ассимилировали, переняв часть элементов его языка. Речь идет о представителях так называемой фатьяновской культуры, в основном скотоводов, живших на территории, позднее занятой мерей, в первой половине 2-го тыс. до н.э. \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Заимствование рассматриваемого слова в мерянский язык представляется вполне естественным в связи с особенностями занятий обеих этнических групп. Относящееся к оседлому скотоводству, заготовке для скота кормов на зиму, оно было связано с новой для мери — первоначально охотников, рыбаков и собирателей — хозяйственной деятельностью, которой она училась на новом месте у своих предшественников. Вместе с новым понятием было заимствовано и новое слово. Однако попав в язык с совершенно другой фонетической и грамматической структурой, оно подверглось различным преобразованиям, что не противоречит данным, известным в настоящее время об особенностях финно-угорских языков, в частности мерянского.

Исходя из того, что начало предполагаемого индоевропейского слова должно было выступать в одном из трех вариантов — **du(w)-*, **b-* (ср. лат. *bini* < **duis-no-*) или **dw-/*dv* — и того, что известно о фонетических особенностях финно-угорского мерянского языка, можно реконструировать исходную форму индоевропейского «фатьяновского» слова и представить себе преобразования, которым оно подверглось в мерянском языке.

В мерянском, как и в целом ряде финно-угорских языков, по-видимому, были возможны только глухие взрывные фонемы, частично озвончавшиеся только в середине слова — между гласными или гласным и сонантом^{.....}, поэтому и-

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Возможно, что именно с индоевропейским языком фатьяновцев связано, в частности, название крупной реки региона Ока, сближаемое М.Фасмером с гот. *aīwa* «река», днв. аһа «вода, река», лат. *aqua* «вода» (Фас- мер III 127). Есть и другое мнение, согласно которому данное название восходит к основе *ак- «глаз; источник» и является по происхождению балтизмом [106, с. 200].

***** Об этом свидетельствуют
топонимы мерянского происхождения, где в
начале слова, если это не сонанты, как
правило, возможны только глухие взрывные т-,
п-, к- (ср. р. Тома (Костр. – Солигал) – ф.
tammi «дуб», р. Понга (Костр – Кологр) – мар.

е. *du- и *b- должны были бы здесь дать соответственно tu- и p- > рус. (постмер.). ty- и п-. Поскольку формы рассматриваемого слова не имеют подобного начала, наиболее вероятно считать их отражениями индоевропейского слова, начинавшегося звукосочетанием *dw- /*dv-. В мерянском как в финно-угорском языке, допускавшем не более одного согласного в начале слова, это звукосочетание должно было упроститься в *w- /*v-~~*****~~. Однако поскольку здесь, по-видимому, не существовало звука w или v, а наиболее близким к нему по артикуляции являлся звук p, занимающий промежуточное положение между b и v(w), и-е. *v-(*w-) в мерянском языке должно было передаваться звуком *p, чуждым русской фонетической системе и поэтому передаваемым как б, так и в, ср. *бянки/вянки, бени(бини)/венечки*. Подобную вариативность встречаем в русском при отражении того же звука (p — исп. v, орф. b) в испанском языке, ср. *Куба* (исп. Cuba), *кабальеро* (исп. caballero), но *Гавана* (исп. Habana), *Кордова* (исп. Cordoba). Наличие -я- в ряде русских форм слова (бянки, бьяньки, вянки), которым передавалось, видимо, мер. -а- (ср. рус. (яросл.) *вяха* «мало, немного» — эст. *vahe* «то же»), заставляет предположить, что исходным корневым гласным соответствующего индоевропейского слова был также -а- или очень близкий к нему звук. Очевидно,

понго «гриб», р. *Кера* (Костр — Нерехт) — морд. Э керь «лубок, кора», а также случаи, когда в русских (постмерянских) говорах звонким взрывным (несонантам) литературного языка и других говоров соответствуют глухие (ср. рус. (яросл.) *падог* — *батог*, *папа* — *баба*, *кадюка* — *гадюка*, *тепломат* «пальто в талию; пальто вообще; женское зимнее и летнее полупальто» — (донск.) *дипломат* «демисезонное пальто в талию; от талии с разрезом сзади (мужское), без разреза (женское)»).

+++++ Это правило, соблюдавшееся особенно строго в финно-угорском праязыке, впоследствии стало частично нарушаться за счет: а) изобразительных слов (мар. *крак-крак* «карканье вороны»); б) заимствований (удм. *кран* «кран»); в) новообразований, вызванных фонетическими процессами (морд. Э *пря* < ст. *пиря* «голова») [53, с. 119]. О существовании той же фонетической особенности в мерянском языке, помимо мерянских по происхождению топонимов, свидетельствуют диалектные слова славянского происхождения из русских (постмерянских) говоров, где нередко в результате упрощения из сочетания нескольких согласных в начале слова остается только один, ср. *моргать* < *сморкать* (КОСК); *(на)рахать* < *(на)страхать* «(на)пугать» (ЯОСК); *мотреть* < *смотреть* (ЯОСК); *пасибо* < *спасибо* (ЯОСК); *ричать* < *кричать* (ЯОСК) и т.п.

не претерпел сколько-нибудь заметных изменений и допустимый для индоевропейского слова конечный согласный основы -п-, поскольку этот сонорный свойствен как русской, так и мерянской фонетике~~*****~~. Ввиду смягчения -п- (рус. -Н-) в целом ряде форм слова (*бени, бини, беньки, бьяньки*) следует полагать, что в субстратном индоевропейском языке оно заканчивалось гласным -i-, который мог впоследствии быть утрачен в мерянском или русском языке, вызвав смягчение предшествующего согласного. В пользу -i, как показателя множественного (или двойного) числа слова может свидетельствовать и то, что целому ряду индоевропейских языков (к ним, очевидно, относился и данный индоевропейский) свойственно явление *pluralia tantum*, ср.: рус. *ворота, грабли, вилы, ножницы, сани*; лит. *dumai* «дым (букв. — дымы)», *vartai* «ворота», *sakes* «вилы», *durys* «дверь (букв. — двери)» — укр. *dveri*, п. *drzwi, zikles* «ножницы»; латыш. *dumi* «дым (букв. — дымы)», *varti* «ворота», *dunas* «ил (букв. — илы); грязи», *dusmas* «гнев, злость (букв. — гнев, злости)», *ratī* «телега (букв. — колеса)» — белор. *калёсы* «телега»; лат. *arma* «оружие (букв. — оружия)», *litterae* «письмо (букв. — буквы)», *forūli* «книжные полки», *dīgae* «зловещие признаки, страшные предзнаменования; проклятия», *bracae* «брюки, шаровары», *canī* «седые волосы, седины», *ogeae* «удила». Рассмотренные факты позволяют в целом предположить для исследуемого индоевропейского слова форму *dwani/*dvani (ср. семантически и этимологически близкое рус. *двойни*), которая при заимствовании мерянским языком должна была дать слово *pani.

Русские диалектные слова в сопоставлении с данными мерянского и других финно-угорских языков дают возможность представить основные этапы развития слова *pani в мерянском языке и причину многообразия его формально-фонетических отражений в русских говорах.

В исследуемом слове обращает на себя внимание вариативность начального б-/в- и корневого -я-/-е-/-и-. Если причина появления вариантов с б- и в-, коренящаяся в двоякости передачи чуждого русской фонетике мер. p-, стала уже ясна, то факт двойственного вокализма, не нашедший объяснения в рассмотренных данных, еще требует своего истолкования.

Вряд ли случайно распределяются варианты с -я- и -е-/-и- между двумя разными

+++++ Ср. топонимы мерянского происхождения: оз. *Неро* (Яр), р. *Нельша* (Костр), р. *Шорна* (Иван), р. *Шенбалка* (Яр) и т.п.

словообразовательными вариантами слова — с суффиксальным -к-, следующим непосредственно за корневой частью слова, и теми, где суффиксальное -к- или вообще отсутствует, или входит в состав сложных уменьшительных суффиксов типа -чк-, -шк- и под., причем отделенных от корневой части слова каким-либо гласным. Среди 15 рассматриваемых форм абсолютно преобладающим является следующее распределение: в подавляющем большинстве случаев вокализм -я- свойствен формам с непосредственно следующим за корнем -к- (*бянка, бянки, бяньки, вя нки*), вокализм -е-/-и- — тем формам, где подобное -к- отсутствует (*бёячка, беняшки, б снй, беницы, бенины, бини, вёнечкИ*). Формы, где вокализм распределяется по противоположному принципу (*бенвки, беньки, беньги, бяньи*), находятся в меньшинстве и могут быть результатом позднейших аналогических выравниваний. Поскольку явление яканья для северно-русских говоров не характерно, к тому же в русском языке оно зависит в основном от ударения, а не от наличия или отсутствия какого-либо суффикса при сохранении ударения на том же корневом (начальном) слого, причину вариативности корневого вокализма слова следует искать, видимо, в особенностях мерянского языка и его исторической фонетики.

Как позволяют предположить русские диалектные отражения реконструированного мерянского слова **rapī*, оно претерпело в мерянском языке ряд фонетических и грамматических изменений. Поскольку явление *pluralia tantum* не характерно для финно-угорских языков^{*****}, в которых часто даже отдельные предметы, образующие пару, передаются единственным числом^{*****}, на индоевропейскую форму множественного числа,

Мерянскому, как и многим другим финно-угорским языкам, было, очевидно, свойственно инициальное ударение, подтверждаемое, в частности, данными топонимов с бывшей мерянской территории, ср. *Неро, Яхрома*, (диал.) *Кострома, Кбстома, Чухлома, Кинешма* и т.п.

Только в некоторых из них, в частности мордовских, в последнее время под сильным влиянием славянских языков *pluralia tantum* начинают калькироваться в заимствованиях, ср. морд. *Э ортат* (мн.ч.) «ворота», очевидно, от исходного *орта* < рус. *ворота*.

Ср. венг. *szem* «глаз; глаза (букв. — глаз)» и *felszem* «глаз (один) (букв. — полглаза)», когда надо подчеркнуть единичность.

воспринимавшуюся в мерянском как форма единственного, в случае необходимости передачи множественного должен был наращиваться собственный мерянский показатель множественного числа. Таким образом, для слова, выступавшего в индоевропейском языке только во множественном числе, в мерянском должны были появиться две формы — единственного и множественного чисел. Первоначально, по-видимому, в каждой из них сохранялся гласный, следующий за корнем, и они ничем не различались в корневом вокализме. Однако впоследствии, как и в целом ряде других мерянских слов, особенно заканчивающихся гласным высокого подъема, конечный гласный формы единственного числа, видимо, исчез^{*****} и между вокализмом обеих форм должно было возникнуть расхождение, поскольку гласный

одного и того же слова оказывался то в открытом, то в новом закрытом слоге. В последнем случае, по-видимому, гласный вначале удлинился, а затем через ступень сужения переходил в другой гласный, более высокого подъема: а -[^] о: -*Balo* -[^] -*Bal* -> -*Bo1* «деревня»; о -+ u: *oga*[^]а (ср. ф. *ogava*)[^] **OrBa* [^] **Orma* [^] рус. (диал. < мер.) *урма* «белка»; е -[^] i: **e1eDoma* -+ **e1'Doma* [^] *il'Doma* «без жизни» (ср. д. *Элино* (Костр. губ.) — р. *Ильдомха* (Костр. обл.)). Исходя из отмеченной закономерности, можно полагать, что слово **rapī*, утратив конечный гласный, должно было через стадию удлинения и сужения в образовавшемся новом закрытом слоге изменить корневой гласный, заменив открытое -а- его соответствием в более высоком подъеме -е- (закрытым), которое могло восприниматься славянами как местный северно-русский рефлекс -ѣ-. Таким образом, и в данном случае, аналогичном приведенным выше, проявилась указанная фонетическая закономерность мерянского: а -[^] е (**rapī* -[^] **rap* [^] **PeП* «двурогие (деревянные) вилы»). Однако вариант с корневым -е- в мерянском языке мог быть свойствен, очевидно, только форме единственного числа. В форме множественного, где сохранение конечного гласного (скорее всего, редуцировавшегося) было необходимо, поскольку он находился между конечным согласным корня и финно-угорским показателем множественного числа, передававшимся согласным или

Ср. следующие реально засвидетельствованные или реконструируемые с большой долей вероятности случаи: **oli* > **ul'* «был»; **joloZe* \елози[^] > **joluS* (елусь) «пусть будет»; (-)бало > (-)бол «деревня».

При вхождении в контакт с мерей и включении ее слова в свой язык восточные славяне и * $\text{r}\text{a}\text{n}\text{e}$ -k должны были воспринимать как единственное число, поскольку внешне обе формы отождествлялись только с ним (ср. * $\text{r}\text{a}\text{n}\text{e}$ и *дѣнь, тѣнь* и под.; **panek* и *дѣньхъ, пѣньхъ*, где также наблюдается значительное сходство при расхождении в ударении). Однако поскольку для славян применение единственного числа по отношению к сельскохозяйственному орудию с двумя или несколькими частями было неестественным и требовалось множественное число по образцу названий для подобных реалий (ср. *вилы, грабли, ножницы, сани* и под.), обе лексемы были преобразованы в формы множественного числа наращением показателя множественности -и(-ы). Так, мер. * ReP дало друс. **бѣни*/**вѣни*, что впоследствии отразилось в *бени, бини, венечхи*, а мер. **panek* — друс. **бяньхы*/**вянь-* хы, давшее позже *бяньхи, бяња, вяньхи* и под. Параллелизм форм *pluralia tantum* без -k и с ним воспринимался как вполне естественный, поскольку у славян уже были подобные, внешне похожие образования (*сан-и — сан-х-и*). В наращивании своего показателя множественности на форму множественного числа другого языка также нет ничего удивительного, поскольку в русском языке эта особенность как естественно действовавшая грамматическая тенденция обнаруживается и позднее, ср.: рус. *розан* «цветок розы» < нем. *Rosen* «розы» — *розан-ы* (мн.ч.) *****; *панпас-ы*

+++++ Существует и другое
объяснение: < нем. (ст.) (der) Rosen (=Rose)
«роза» (Фасмер
+++++ 494) .

***** См. у Е.И.Горюновой [22, с. 232-234], Ю.Мягистэ [147, с. 116-117] и В.Пименова [69, с. 236] этимологии слова, сближаемого с вепс. panda «положить», ф. и кар. panna «то же», а также вепс. maharanend «похороны (букв. – в землю положение)».

Именно эта новизна, соединенная с важностью реалии в местном хозяйстве и быте, могла способствовать закреплению слова не только в речи бывшей мери при переходе ее на славянорусский язык, но и в языке поселившихся вместе с мерей восточных славян. Эти обстоятельства в конечном счете привели к тому, что слово не только получило повсеместное распространение в русских говорах Центральной России, на территории бывшего расселения мери, а и оказалось способным к довольно широкой экспансии в восточном направлении.

Ваны (мн.ч.) «низкий, залитый водой, поросший высокой травой берег» (Костр — Гал) (ср. рус. (диал. холмог.) *вана* «заливной сенокос, озерко в русле реки»), сопоставимо, несмотря на семантические расхождения, с прибалтийско-финскими словами: ф. *vana* «след, лыжня, тропа, полоса, полоска, русло реки, фарватер», кар.-лив. *vana* «полынья, глубокое русло реки, низина, заросшая травой (небольшая пожня)», вепс. *vana* «овраг» (SKES V 16311632). По мнению О.В.Вострикова, «непосредственно связывать галичское слово с ливвиковским наречием, разумеется, нельзя. Речь идет о субстратном включении из вымершего ф.-уг. языка, в области лексики обнаруживающего близость к прибалтийско-финским языкам» [16, с. 26]. С этим выводом исследователя нельзя не согласиться, добавив, что поскольку в Галиче и его окрестностях другого финно-угорского языка, кроме мерянского, не существовало, единственно допустимым в данном случае будет отнесение слова *ванн* к мерянскому языку. Исходя из принадлежности слова к мерянскому языку и учитывая особенности мерянской фонетики, а также данные родственных языков, его исходную форму следует реконструировать как **^ana* (**pan§*). Что касается значения слова, то ввиду отсутствия каких-либо других данных следует принять семантику, зафиксированную О.В.Востриковым.

Варакино (Костр — Шар) КОСК — название деревни Шарьинского района Костромской области, производное от *вара-ка*. Не исключено, что данное название, распространенное на бывшей мерянской территории и, следовательно, могущее быть мерянским по происхождению, этимологически связано с морд. Э *варака* «ворона» (ЭрзРС 43). Оба слова, видимо, имеют изобразительное (звукоподражательное) происхождение. Лежащее в основе русского топонима слово довольно широко распространено на бывшей мерянской территории, хотя в разных местах могло иметь различные

формы, о чем свидетельствует название н.п. *Вараково* (Яр - Первой) (карта Ярославской обл., 1978 г.), очевидно, производное от рус. (постмер.) *варак* с тем же исходным значением. Отмеченные топонимы дают возможность предположить для мерянского, учитывая его фонетические особенности, существование слова **parake/ *0arak* со значением «ворона», имеющего широкие связи в других финно-угорских (и уральских) языках, что позволяет относить их возникновение к уральскому периоду, ср.: ф. *varis* «ворона», кар. *vagoi*, лив. *varikS*, эст. *vares*, саам. Н *warge*, морд. Э *варака*, диал. *varSej*, *varkSij*, морд. М *варси*, хант. *вурнга* (*вурнга*), манс. *ури(нЭква)*, венг. *varju*, нен. *варцэ*, сельк. *kuere*, кам. *bari* «то же», койб. *bare* «ворон» < урал. **ware* (ОФУЯ 404, SKES V 16541655; MSzFUE III 673-674). Обращает на себя внимание особая формальная близость предполагаемого мерянского и эрзя-мордовского слов.

Воломенной «масленный пирог с хорошей начинкой» (Яр. губ. — Любим) ЯОСК. Узколокальный характер слова (не приводится в «Словаре русских народных говоров»), зафиксированного на бывшей мерянской территории, отсутствие каких-либо связей со словами славянского происхождения заставляют думать, что оно местного, неславянского (следовательно, возможно, и мерянского) происхождения. Ввиду наибольшей словообразовательной семантической близости с коми *выялом* «масленный» (напр., *выялом блин* «масленный блин») РКМС 260, где причастный суффикс *-ом/-ем* (*-Om/-em*) соответствует суффиксу *-та* в отглагольных существительных прибалтийско-финских, мордовских и мерянского языков (ср. ф. *elama* «жизнь», морд. М *эряма* «то же», мер. **kolema* «смерть; (тяжелая) болезнь» > рус. (диал., постмер.) *колёма* «болезнь»), наиболее вероятно видеть в данном причастном образовании производное от русского (диалектного, постмерянского) глагола **во(й)ло-мь* (**войлома-ть*). Что касается предполагаемого диалектного глагола **войло-ма-ть*, лежащего в основе рассматриваемого причастия, то он образован непосредственно от мерянского отглагольного существительного **rojłoma* (**rojłema*) со значением «масленье, намасливание», близкого к инфинитиву, наращиванием на него русского инфинитивного форманта *-ть*. Само отглагольное существительное **rojłoma* (? < **rajeloma*, ср. коми *воялом* «масленный») является, очевидно, производным от мер. **roj* (< **raje*) «масло», имеющего многочисленные параллели в

других финноугорских языках и восходящего с ними к финно-угорскому праязыку, ср.: ф., кар., вепс., ижор. *voi* «масло», вод. *veī*, эст. *voi*, лив. *vuī*, саам. *N vuoggja*, морд. Э ой, морд. М вай, мар. *уй*, мар. Г у, удм. *вой* «то же», коми-зыр. *вый* «масло; жир (рыбий)», коми-перм. *ви* «то же», хант. *вуй* (*вуй*) «жир, сало», манс. *вой* «жир; масло», венг. *vaj* «масло» < ф.-уг. **woje* «масло; жир» (ОФУЯ 422; КЭСКЯ 71; SKES VI 1803-1804; MSzFUE III 666-667).

Елманский «древний галицкий язык» (имеется в виду язык жителей Галича Ме-р(ь)ского — мерянский, а позже связанное с ним аргю части из них) (Костр. губ. — Галич) Вин 45, *елыман* (бран.) «дурак, болван?» (Костр — Гал) ЯОСК, *ёлыма* «человек, говорящий по-елымански» (Костр. губ. — Гал) Вин 45, *ёлыман* «то же, что *ёлыма*» (там же) Вин 46, *ёлыманский* «условный язык галичан» (там же) Вин 45, *алман* «язык как орган в полости рта» (Костр — Гал) ЯОС I 26, *алман* «язык» (Костр. губ. — Галич) ТОЛРС XX 139, *йолман* «то же» (Вл. губ.) ТОЛРС VII 290, *алманский язык* «условный язык галичан» (Костр. губ. — Гал) Вин 44, *по-елмански* «на елманском языке» (там же) Вин 49, *по-ёлмански* «то же» (там же) Вин 49, *елманское наречие* «условное наречие галичан» (там же) Вин 46, *Галивонские Алеманы* «галицкое наречие (условный язык)» (там же) Вин 45. А.И.Попов справедливо сближает рус. *елманский* с мар. *йылме* «язык» (в анатомическом и лингвистическом смысле) [70, с. 100]. Речь в данном случае идет о языке как органе речи, название которого, очевидно, в мерянском, как и в марийском, было перенесено на речь. Впоследствии *елманским* называли условный язык, распространенный в Галиче и некоторых других местах бывшей мерянской языковой территории, с грамматической основой уже не финно-угорской, а славяно-русской. Это было всего лишь социальное русское аргю, лексика которого, однако, состояла из нерусских, в том числе местных субстратных мерянских, элементов. *Ёлыма(н)* стал называться человек, говорящий на этом условном языке. Значение «дурак, болван» < «непонятливый», имеющееся у слова *елы-ман*, которое представляет собой лишь разновидность предыдущего, очевидно, относится к тому периоду, когда так называли последних людей, говоривших еще на мерянском языке и плохо понимавших русский язык или совсем не понимавших его. На фоне подавляющего большинства русского или обрусевшего мерянского населения, возможно, почти забывшего свой язык, подобные люди могли производить впечатление

бестолковых, глупых, в связи с чем данное слово, по-видимому, и приобрело этот уничижительный, бранный оттенок. Поскольку -н, включенное в целый ряд приведенных слов, является в мерянском показателем генитива единственного числа (есть оно и в самом слове *елманский*), а соответствием предполагаемого мерянского слова служит мар. *йылме* «язык» без конечного -н, которое и в марийском — формант той же формы генитива, мерянское слово для передачи понятия «язык» должно было, очевидно, выступать в формах **jelma* || **jolma* || **jolema******. Что касается формы *алман*, то ее, видимо, следует понимать как следствие позднейших деформаций слова уже на русской почве и поэтому не считать отражением какой-либо из реально существовавших на мерянской почве лексем. Фиксация форм слова и их производных на бывшей мерянской территории, в частности на такой отдаленной от марийской, как бывшая Владимирская губерния, дает основания считать данные слова не заимствованием из марийского, а отражением пережитков мерянского языка. Все ли из приведенных форм были свойственны мерянскому языку (наибольшее сомнение вызывает **jolema*), сказать в настоящее время трудно. Расхождения между ними — не обязательно результат деформации одной из приведенных предполагаемых мерянских форм уже в русской среде. Не исключено, что каждая из них отражает или один из диалектных вариантов слова, или разные этапы его развития. Предполагаемое мерянское слово имеет ряд соответствий в финно-угорских языках с явно «восточной» (в прошлом) ориентацией, восходя вместе с ними к финно-угорскому праязыку (возможно, лишь в его восточных говорах, ср. отсутствие соответствий в прибалтийско-финских, пермских и мордовском языках): саам. *N njal'bme* «рот», мар. *йылме* «язык (анат., лингв.)», мар. Г *йылмы* «то же», хант. (каз.) *нялум* «язык (анат.)», манс. *яелм*, *нёлум* «то же», венг. *nyelv* «язык (анат., лингв.)» < ф.-уг. *palma* «язык (анат.)» (очевидно, значение «речь» появилось уже в ходе развития отдельных языков). Общей чертой мерянского и марийского языков (в отличие от других финно-угорских, унаследовавших данное слово из праязыкового периода) является переход, очевидно, в результате сильного развития палатальности, начального п-, в палатальное j.

†††††††††††††††††††† Ввиду отсутствия в фонетической системе мерянского языка звука ы, видимо, появление соответствующего знака (буквы) следует понимать как передачу редуцированного заднего ряда э.

Ёлс «леший, черт» (Яр — Угл; Иван — Кин; Костр — Солигал) (СРНГ VIII 348) распространено на территории, занятой в прошлом мерей. Попытка объяснения слова Д.К.Зелениным как преобразованного в силу его табуизации из *Велес* [35, ч. 2, с. 99], принятая Фасмером [110, т. 2, с. 17], не может быть признана убедительной с формально-семантической и лингвогеографической точек зрения: непонятно, почему именно здесь, на бывшей мерянской территории, сохранилась эта предполагаемая славянская табуизированная форма; если же ее изменение объяснять не славянской табуизацией, а просто фонетическими причинами — влиянием мерянского языка, то произошедшие в таком случае изменения не будут соответствовать тому, что известно о его фонетике.

Более естественно как с лингвистической и семантической, так и с фонетической точки зрения исходить из того, что рус. (диал.) ёлс является отражением мерянского слова, возникшего на основе заимствованного в мерянский для передачи этого важного религиозного понятия гр. (0) бiа^oХо^ «дьявол».

Другим славянским языкам и говорам русского языка, кроме упомянутых, распространенных на бывшей мерянской языковой территории, слово *ѣлс* или его соответствия не известны. Не известны они также ни одному из существующих финно-угорских языков. Правда, в некоторых из них есть понятие «дьявол», передаваемое словами, частично (в своем начале) близкими к мерянскому, однако в связи с разными источниками заимствования и особенностями фонетического развития эти слова не совпадают с предполагаемым мерянским в средней и конечной частях, ср.: рус. (диал., постмер.) *ѣлс* «леший, черт» — коми *дьявол* «дьявол», мар. *явыл* (ja^ʎen), хант. *iauel*.

При заимствовании гр. *βιάσχο* должно было подвергнуться в мерянском следующим изменениям: 1) в связи с невозможностью сочетания двух и более согласных в начале мерянского слова и отсутствия звука *ʎ*, передаваемого мер. *p*, гр. (визант.) *βίροχο*^ʎ, фон. *bi^ʎoiow*, должно было дать в мерянском **japolos*; 2) нередкое в мерянском языке синкопирование заударных гласных — с предшествующей их редукцией — привело к выпадению первого заударного гласного, что закономерно вызвало (через стадию изменения) замену гласного -а- предыдущего нового закрытого слога гласным более высокого подъема -о- (ср. мер. (-)**Bo1* < (-)*Ba1o* «деревня»; **ugma* < **oga(p/t)a* «белка», ф. *ogava* «то же» и под.).

Возникновение формы *ѣлс* произошло уже, видимо, на почве русского языка в результате развития парадигмы с конечным выпадным -о- при ее аналогичном выравнивании: **ѣвлос* — *ѣ(в)лса* > *ѣлс* — *ѣлса* (ср. рус. *заём* — *займа* > (разг.) *займ* — *займа*).

Понятие «дьявол», особенно важное при пропаганде христианства среди язычников, должно было довольно часто употребляться миссионерами при христианизации мери и именно поэтому, возможно, закрепилось в мерянском языке, перейдя из него в диалектный (постмерянский) русский.

Заимствование мерянским слова непосредственно из греческого не противоречит тому, что известно о христианизации мери, которую наиболее успешно осуществляли ростовский епископ Леонтий (XI в.), по происхождению грек, и его предшественники в **100**

Ростове, также греки, епископы Феодор и Илларион [46, с. 86]. Всякие варианты и колебания, возникающие невольно только при устной передаче духовных текстов, были нежелательны при

усвоении догматов новой веры, что неизбежно влекло за собой необходимость письменных переводов богослужебных текстов на мерянский язык. Поскольку епископ Леонтий добился значительного успеха в христианизации языческого мерянского населения, видимо, именно благодаря хорошему знанию мерянского языка, что специально упоминается в его житии, где отмечается, что он «руський и мерський язык добрі уміяше», следует полагать, что им был осуществлен перевод по крайней мере части богослужебной литературы на мерянский язык. В посредстве церковнославянского языка епископ Леонтий как грек не нуждался, поэтому новозаветную литературу, в том числе евангелие, скорее всего переводил непосредственно с греческого оригинала. Предполагаемое и реконструируемое на основании рус. (диал.) *ѣлс* «леший, черт», мер. **jorios* «дьявол» свидетельствует о существовании определенной традиции богослужения на мерянском языке, при котором могли использоваться мерянские богослужебные тексты, переведенные непосредственно с греческого.

При всей узости приведенного аргумента он показателен тем, что свидетельствует не только о возможности существования богослужебных мерянских текстов, но и, видимо, о довольно длительной традиции их использования, поскольку иначе не могло бы так основательно вращаться в языке мери важное слово, связанное с христианской религией. Существование связных письменных мерянских текстов в прошлом не вызывает сомнений, спорным может быть только вопрос их сохранности.

Кандѣхать (груб.) «работать» (Ярославль) ЯОСК. Очевидно, связано с мерянским глаголом, отраженным в названии р. *Кондоба*, притоке р. Нельша < мер. **konDopa* (букв.) «несущий(-ая), приносящий(-ая) (воду в другую реку)», ср. ф. *kantava* «несущий(-ая)», и являющимся формой действительного причастия настоящего времени от глагола **konDo-* «нести» (отглагольное существи

тельное *konDoma «ношение»). Глагол *кандѣхатъ*, очевидно, связан с мер. *kanDo- (*konDo-) «носить; (груб.) таскать» или в завизированной (русифицированной) форме *кандать (*коядать), от которого образован с помощью суффикса -ѣх-, придающего ему оттенок грубости, пренебрежительности (ср. *тѣтя* — *тетѣха*). Форму *кандѣхатъ* можно рассматривать или как отражение реально существовавшего диалектного мерянского варианта данного глагола *kanDo-, или как результат аканья, в целом нехарактерного для ярославских говоров, но, поскольку речь идет о слове, записанном в Ярославле, куда, как и в другие города окающего Поволжья, аканье проникает, могущего его отражать. Таким образом, есть основание реконструировать для мерянского (восточного) глагол *kanDo- «нести» (*konDoma «ношение») и — менее надежно — для мерянского (западного) тот же глагол (с -а- в корне) в виде варианта *kanDo- (*kanDama). Этот глагол имеет параллели в других финно-угорских (и уральских) языках и восходит, очевидно, еще к уральскому праязыку, ср.: ф. *kantaa* «нести, носить», эст. *kandma*, лив. *kande*, саам. *N guod'det*, морд. *каядомс*, мар. *коядаш*, мар. Г *кайдаш*, хант. (вост.) *kantta* «таскать, переносить груз на плечах», манс. *Xunt* «ноша», нен. *хаяа(сь)* «увезти; унести», эн. *kaddabo*, нган. *kuanda'ama*, сельк. *kuendam*, кам. *kundoyam* «то же» < урал. *kanta- «нести» (SKES I 157-158; Collinder 406).

Н.п. *Ки(бол)* (Ki(bol)) (Вл. губ. — Сузд) Vasmer 417. Очевидно, должно рассматриваться в качестве сложного слова, первый компонент которого *Ки-* имеет значение «камень» (в качестве первого компонента сложений также «каменный (-ая, -ое)», в данном случае — «Каменная (деревня)»). Поскольку топоним отмечается на бывшей территории мери, причем входит в состав слова со вторым компонентом *-бол* (*-бал(о)*), характерного для названий мерянских поселений, первый компонент следует также считать принадлежностью мерянского языка. Компонент *Ки-* является или сокращенным вариантом, характерным для композитов, исходной (полной) формой которого в таком случае была бы *kiŋ(i) «камень» (подобно эст. (ves)ki «мельница (букв. — (вода = водяной) камень)» при *kivi* «камень»), или обычной формой слова, свойственной ему в любом положении. В таком случае, однако, слово было бы результатом сокращения предыдущей формы, присущей ему на более раннем этапе развития мерянского языка. Ввиду того, что рус. *Ки-* из-за отсутствия соответствующего звука может

отражать и *ki, и *ku (звук *ц*, очевидно, мог существовать в мерянском), есть основания для реконструкции мер. *ki/*ku (? < / *kiŋ(i)) «камень» как двух или — менее вероятно — трех возможных вариантов. Мерянское слово находит соответствия в других родственных языках, восходя вместе с ними к финно-угорскому праязыку, ср.: ф., эст. *kivi* «камень», лив. *ki'uv*, *ki'v*, *ki'u*, морд. *кев*, мар. *ку* «то же», удм. *ко* «жернов», коми (*из*)*ки* «жернов» (из «камень» — парное слово с двумя синонимами, современным и устаревшим, для обозначения камня), хант. (каз.) *кев* «камень», манс. *кер* «камень; жернов», венг. *ko*, а^h. ед.ч. *kovet* < ф.-уг. *kiwe «камень» (ОФУЯ 417; КЭСЯ 109, 123; SKES I 203; MSzFUE II 368-369).

Рус. (арг.) *кирбяс* «топор» (Яр. губ. — Углич) Свеш 89. О возможности употребления слова в мерянском языке свидетельствуют его изолированное положение в русских говорах (отсутствует в «Словаре русских народных говоров»), связь с бывшей мерянской территорией, а также распространение в балтийских и прибалтийско-финских языках, с которыми существовал контакт у мерянского языка и отсутствуют связи у современных русских угличских (постмерянских) говоров. О возможности употребления слова именно в мерянском языке говорит также своеобразие его фонетической формы: наличие в русском (арготическом) слове звука *б* (*b*) вместо *v* в балтийских и прибалтийско-финских языках, что может свидетельствовать о характерном для мерянского звуке *Р*; -я- вместо -е- в финском и -i- в литовском, что, по-видимому, говорит об употреблении вместо них звука -а-, известного мерянскому языку. Слово в мерянском можно считать балтизмом (ср. лит. *kirvis* «топор», лтш. *ciŗvis* «то же»). Ввиду того, что на юго-западе мерянская языковая территория непосредственно соприкасалась в

прошлом с балтийской, оно могло быть прямым заимствованием из балтийских языков, однако, поскольку то же заимствование имеется также в прибалтийско-финских языках (ср. ф. *kirves* «топор», вепс. *kirvez*, *kervez*, вод. *tSirvez*, *tSe rvez*, эст. *kirves*, лив. *kiraz* - SKES I 200), имевших гораздо более интенсивные контакты с балтийскими языками, чем мерянский, есть основания считать, что слово проникло в мерянский через их посредство, в частности через вепсский язык, территориально наиболее близкий к мерянскому из прибалтийско-финских. В пользу этого, как представляется, говорит и форма слова в мерянском, обнаруживающая большую связь с прибалтийско-финскими языками, чем с балтийскими.

кока «старшая дочь» (Яр — Давыдк) ЯОСК; «так называют старшую дочь в семье младшие (название старшей сестры)» (Яр — Рост) ЯОСК; «тетя по родству» (Яр — Первом) ЯОСК; «незамужняя пожилая женщина» (Яр — Первом) ЯОСК; «крестная мать» (Яр — Пош, Тут, Рост, Яр, Дан, Угл, Мышк, Первом, Некоуз, Брейт, Пересл, Рыб, Некр) ЯОСК; «крестная мать, крестный отец» (Яр — Пош, Яр, Пересл, Брейт, Рязанц, Большес) ЯОСК; «обращение к крестной матери и отцу» (Костр — Антр) ЯОСК; «крестная мать» (Костр — Костр, Поназ) КОСК; «крестная мать и отец» (Костр — Нерехт) КОСК; «тетя» (Костр — Нерехт) КОСК. В значении «крестная мать, крестный отец» слово, кроме Ярославской и Костромской, согласно «Словарю русских народных говоров», употреблялось в Тверской, Нижегородской, Владимирской, Пермской губ. и области Уральского Казачьего Войска, а также встречается в Горьковской обл. (СРНГ XIV 86), в значении «крестная мать», помимо указанных двух областей, известно в Ивановской и Новосибирской обл. и отмечалось в Новгородской, Вологодской, Архангельской и Забайкальской губ. (там же), а в значении «крестный отец» — также в Бурятской АССР (там же). Интересна стилистическая характеристика слова, даваемая носителями говора, где оно употребляется, по сравнению с его синонимом *крёсна* (= крестная мать): «Кока — это полекше слово, крёсна — грубее» (Свердл — Камышл) СРГСУ II 36. Очевидно, *кока* в значении «крестная мать» стало **102**

употребляться как эвфемическая замена, как слово более привычное, свое для той языковой среды, где оно должно было заменять выражение «крестная мать», и этот стилистический оттенок сохранило до сих пор в русских говорах. В пользу (пост)мерян-

ского происхождения слова говорит прежде всего ареал его распространения, особенно если учесть своеобразие его употребления в разных значениях. Самой широкой является зона распространения слова в его явно наиболее позднем значении «крестная мать» или «крестная мать, крестный отец». Она не только охватывает постмерянскую область, но и выходит далеко за ее пределы. Однако и для этого ареала характерно то, что наибольшее распространение он получил в восточном направлении, куда, по-видимому, шла главная колонизационная волна переселенцев из Центральной России, в основном совпадавшей с бывшей мерянской территорией, где слово в его новом значении, очевидно, было широко распространено как среди мерянского, так и среди славянского населения (среди последнего, возможно, даже больше, так как оно не было связано ни с одним из славяно-русских терминов родства в отличие от мерянских). В других направлениях к северу и северо-западу от бывшей мерянской языковой территории слово в этом значении распространилось значительно меньше, причем в ареале, который мог непосредственно примыкать к мерянской территории или даже являться ее продолжением. Что касается, очевидно, наиболее древних или связанных с ними значений слова «старшая сестра», «тетя», «пожилая незамужняя женщина», то с этой семантикой оно отмечается только на бывшей мерянской территории (в Ярославской области).

Предположению о мерянском происхождении слова не противоречат и данные родственных финно-угорских языков, где, с одной стороны, обнаруживаются лексемы, этимологически связанные с рус. (диал.) *кока* с постмерянской территории, а с другой — при сравнении с ними проявляется его своеобразие (в частности, в области семантики), свидетельствующее о самостоятельном пути развития, связанном со средой носителей особого финно-угорского языка, отличавшегося от существующих в настоящее время. Рус. (диал.) *кока* «старшая сестра; тетя; пожилая незамужняя женщина; крестная мать (видимо, позже также «крестный отец»)» соответствуют мар. *кока* «тетка, тетя» и, очевидно, также морд. *Э кака* «дитя, дитяtko», поскольку морд. (и ф.-уг.) а в марийском в ряде случаев соответствует о, ср.: мар. *кол* «рыбы» — морд. *кал*, ф. *kala* «то же»; мар. *мокиш* «печень» — морд. *Э максо*, ф. *maksa* «то же»; мар. *кок* «два» — морд. *Э кавто*, ф. *kaksi* «то же» и под. [25, с. 109]. Ввиду того что в

интервокальной позиции глухое ф.-уг. *k* в мордовском и марийском не сохранялось, переходя в звонкие звуки или исчезая (в мордовском *k > v* или *j*, в марийском *k > j* или *o*) [53, с. 135-137], его наличие в этих языках можно объяснить только тем, что в прафинно-угорский период здесь выступала гемината *-kk-*, во всех финноугорских языках, кроме прибалтийско-финских и саамского, не сохранившаяся и перешедшая в *-k-* [53, с. 139-140]. В мерянском языке простые глухие взрывные в интервокальном положении также не сохранились, либо озвончаясь, либо переходя в соответствующие фрикативные звуки, поэтому интервокальные *-k-* в предполагаемом постмерянском по происхождению слове можно объяснить только тем, что и оно восходит к прафинно-угорской лексеме, где между гласными должна была выступать гемината *-kk-*. Следовательно, родственные слова марийского, мерянского и мордовского языков, по-видимому, восходят к ф.-уг. **kakka* «ребенок-первенец (преимущественно девочка)», откуда дальнейшее развитие в мерянском и марийском «старшая дочь, старшая сестра», затем «тетя», в мордовском-эрзя — «дитя, дитятко» (ласкательное название ребенка вообще). В пользу исконно финно-угорского происхождения слова говорит, в частности, и сохраненное русскими (постмерянскими) говорами значение «старшая сестра». Как известно, в отличие от славян и индоевропейцев в целом, не различавших понятий «старший брат» — «младший брат», «старшая сестра» — «младшая сестра», финноугорские народы их четко дифференцировали, имея специальные слова для их передачи. В ряде финно-угорских языков, как правило, тех, которые не подверглись сильному влиянию индоевропейских языков, эти понятия до сих пор передаются с помощью особых слов, ср.: морд. *Э патя* «старшая сестра» — *сазор* «младшая сестра»; морд. *М ака* «старшая сестра» — *сазор* «младшая сестра»; мар. *ака* «старшая сестра» — *шужар* «младшая сестра»; удм. *ана (анай)* «старшая сестра» — *сузэр* «младшая сестра»; хант. (каз.) *упи* «старшая сестра» — *апси* «младшая сестра»; манс. *увси* «старшая сестра» — *эсь* «младшая сестра»; венг. *пепе* «старшая сестра» — *хуг* «младшая сестра». По-видимому, подобная система обозначения родства восходит еще к уральскому периоду, поскольку встречается и в ненецком языке: *нябако* «старшая сестра» — *не папа (не папако)* «младшая сестра» (*папа (папако)* обозначает и младшего брата, и младшую сестру, поэтому, когда речь идет о младшей сестре, перед ним употребляется слово

не «женщина»). В некоторых случаях оба понятия в финно-угорских языках передаются словами, которые могут восходить к общему источнику (ср. мокша- мордовский и марийский примеры), остальные слова имеют разное происхождение. Однако общим у них остается факт, что понятия «старшая сестра» и «младшая сестра» не передаются одним и тем же существительным с уточняющим его прилагательным, а имеют для своего выражения специальные лексемы, связанные с разными корнями. Другой особенностью финно-угорских и, видимо, уральских языков в целом является то, что лексема для обозначения понятия «сестра» (старшая или младшая, как правило, по отношению к отцу) может одновременно служить обозначением понятия «тетя», поскольку, по-видимому, тем же словом ее обязаны были называть не только братья, но и их дети, ср.: морд. *М ака* «старшая сестра; тетя» (очевидно, прежде всего «старшая сестра отца», так как понятие «тетя (жена брата матери)» передается словом *щака*); удм. *ана (анай)* «старшая сестра; тетя»; манс. *увси* «старшая сестра; тетя (младшая сестра отца, старше говорящего)»; нен. *нябако* «старшая сестра; тетя (младшая сестра отца)». В некоторых финно-угорских языках эта осо

бенность передачи понятия «тетя, тетка» словом, обозначающим старшую сестру, сохраняется только пережиточно. Для передачи понятия «тетя» здесь используется слово, обозначающее старшую сестру (иногда производное от него), однако для дифференциации понятий добавляется определение «старая», «большая», ср.: морд. Э *патя* «старшая сестра» — *сыре патя* «тетя (букв. — старая старшая сестра)», хотя в том же значении возможно и просто употребление слова *патЯ*; венг. *пепе* «старшая сестра» — *пагупепі* (< *падупЕпе) «тетя (букв. — большая старшая сестра)». Очевидно, эта система родственных обозначений, которая может восходить ко временам матриархата, употреблялась и в мерянском языке — слово, обозначающее старшую сестру, могло также иметь значение «тетя», особенно при употреблении детьми брата. Христианская церковь в стремлении приблизить понятие «крестная мать» к традициям мерян, вероятно, использовала эту родственную мерянскую терминологию, как бы наделив крестную мать функцией старшей сестры, игравшей, видимо, важную роль в воспитании младших братьев и сестер. Не исключено, что в первое время после принятия христианства в роли крестных матерей выступали старшие сестры отца. Церковь как бы только освящала эту привычную для мерян функцию, в связи с чем слово *хека*, имевшее до того значения «старшая сестра» и «тетя», так естественно приобрело новое значение — «крестная мать». Поскольку понятие второй матери, хотя бы и крестной, было для новообращенных в христианство язычников малопонятным и резко расходившимся с их представлениями, а понятие старшей сестры, тети в новой функции более естественным, новое значение более органично срослось с привычным еловом терминологии родства *хоха*. Словосочетание «крестная мать», если оно и было калькировано средствами мерянского языка, осталось сугубо официальным и поэтому резким, грубым, каким до сих пор воспринимается даже в русском языке (по-видимому, не без мерянского влияния). Следовательно, есть основания считать слово **кока* не только термином родства в мерянском языке, но и одним из элементов его лексики, связанной с христианизацией мери. Как и мер. **jorіos* «дьявол», реконструируемое на основании рус. (диал.) *ёлс* «леший, черт», оно свидетельствует о проповеди христианства среди мери на мерянском языке и об определенной традиции его применения для передачи понятий христианской (православной)

религии.

Очевидно, с мерянскими терминами родства связано и рус. (диал.) *хохой* «дядя (Яр — Первом); крестный отец (Яр — Яр)», возможно, представляющее собой застывшую звательную форму от мер. **кока* «дядя; крестный отец». Однако доказать это сложнее, поскольку оно в отличие от **кока* менее распространено. Аргументом в пользу мерянского происхождения слова является его распространение в формах *хохой* и *хохай* — по данным «Словаря русских народных говоров» на постмерянской территории (в Костромской, Владимирской и Ивановской (бывш. Костромской губ.) обл. — *хохай*, в Ярославской области — *хохой*) и к востоку от нее (в бывш. Нижегородской и Тобольской губ. и Свердловской обл.) (СРНГ XIV 86). Еще более сложным и пока неразрешимым является вопрос о лексическом выражении в мерянском языке понятия «младшая сестра», которое, судя по данным других финно-угорских языков, должно было иметь для своей передачи особое елово.

Кол(юга) — река вблизи Ветлуги (Koljuga) (Костр. губ. — Варн) Vasmer 374. Топоним с бывшей мерянской языковой территории. Название представляет собой сложное слово с общим значением «рыбная река», второй компонент которого отражает один из этапов развития мер. **juk* < **joGe*, ср. ф. *joki*, эст. *jogi* «река». Что касается первого компонента, то он связан с мер. **kol* «рыба», имеющим соответствия в финно-угорских и самодийских языках и восходящим к уральскому праязыку: ф., эст. *kala* «рыба», саам. *Н guolle*, морд. *хал*, мар. *хол*, хант. *хул*, манс. *хул*, венг. *hal*; нен. *халя*, эн. *kade, kare*, нган. *kole*, сельк. *kuel*, кам. *кола* < урал. **kala*. По форме мерянское слово наиболее близко к марийскому, однако, учитывая мерянскую закономерность — переход гласных в новых закрытых слогах в гласные более высокого подъема (в том числе а > о, ср. *-*Vol* «деревня» < *-*Balo* «то же»), не свойственную марийскому языку, нельзя оба слова рассматривать как идентичные в историческом плане, потому что одинаковый конечный результат в каждом из языков мог быть следствием не характерного для другого языка процесса.

Рус. (арг.) *колбать* «говорить» (Яр. губ. — Углич) Свеш 90. Место фиксации слова, как и его балтийские связи (ср. лит. *kalba* «язык»), — современные русские говоры постмерянских территорий с балтийскими языками не контактируют — заставляют предположить в нем отражение балтийского заимствования в мерянском

языке. В пользу подобного предположения говорит также фонетическая форма слова, отражающая мерянские фонетические особенности. Балт. *kalba* согласно акцентуационной особенности мерянского языка конечное ударение, допускаемое на основании лит. *kalba*, перенесло, по-видимому, на начальный слог (дмер. **kai[^]a*). Кроме того, оно изменило свою форму согласно другой фонетической закономерности, характерной для мерянского языка, — исходное -а- начального слога перешло в нем в гласный -о-. Следовательно, в основе русского аргогического глагола *колбать* «говорить» лежит мерянское заимствование из балт. *kol[^]e* «речь, язык; разговор». Русский аргогизм или образован непосредственно от этого существительного, или в его основе лежит мерянский отыменный глагол **kol[^]e* — «говорить» (**kol[^]ema* «говорение»). Поводом для заимствования данного балтизма в мерянский могли быть оживленные в свое время связи мерян с балтийцами, во время которых, очевидно, чаще использовался балтийский язык. Как параллель уместно вспомнить венг. *beszed* «разговор, беседа», отражающее, видимо, сходную ситуацию: славянское по происхождению *beszed* отражает факт оживленных связей венгров со славянами, при которых венграми использовался славянский язык. Сохранение слова до времени полного вытеснения мерянского языка и наличие его в постмерянском русском арго свидетельствуют о том, что оно прочно укоренилось в мерянском языке и принадлежало, видимо, к части наиболее употребительной лексики.

Рус. (диал.) *колёма* «болезнь» (Костр — Ветл) СРНГК; *колёмка* «то же» (там же) СРНГК; *колёмать* «болеть, хворать» (*Шаповал колёмаёт* «Валенокат болеет») (там же) СРНГК; *колёмой* (*Колёмой шаповал* «Больной валенокат») (там же) СРНГК. Фиксация слова на бывшей мерянской территории, его несомненная этимологическая связь с соответствиями других уральских языков, а также его бесспорная финно-угорская (и уральская) словообразовательная структура (отглагольное существительное с суффиксом -*ma*) дают полное основание предположить в нем субстратное включение из мерянского языка, в основе которого лежит мер. **kOlema* «умирание, смерть; тяжелая болезнь». Смещение ударения в русском языке возникло, возможно, под влиянием глагола *колётъ* «умирать (о скотине)» КЯОС, в свою очередь, связанного с акцентуацией типа *болётъ, умёрётъ* и т.п. Целый ряд финно-угорских и самодийских слов частично и полностью совпадает с данным словом

и по своей структуре, ср.: ф. *kuolema* «смерть», эст. (диал.) *koolma* «умирать», морд. Э *кулома* «смерть», морд. М *кулома*, мар. *колымаи* < **kolema* + S «то же», удм. *кулымы* «умереть, умирать», коми *кулбм* «смерть» (отглагольное существительное от *кувмы* «умереть, умирать»), хант. (каз.) *хал'ты* «подохнуть», (ср.-обск.) *хатты*, (вост.) *kalata* «то же», манс. *хблуквё* «погибнуть», венг. (meg) *halni* «умереть»; нен. *хась*, эн. *kado, kago'*, нган. *kU'am*, сельк. *kuwang*, кам. *kuu l'em* «то же» < урал. **kole-* «умирать, умереть».

Существование рассмотренного мерянского слова не оставляет сомнений также в мерянском происхождении более завизированного (со стороны формы) глагола *колётъ* «умирать (о скотине)» (Яр — Рыб), в форме *о-колётъ* вошедшего и в русский литературный язык. Об этом говорят как форма корня и семантика глагола, так и ареал его распространения, совпадающий с постмерянской территорией и местами, расположенными к востоку от нее [99]. Очевидно, никакого отношения к данному глаголу не имеет рус. (диал.) *колётъ* «цепенеть, коченеть (от холода)», формально совпадающее с ним. Против их связи свидетельствует прежде всего ареал данного глагола, тяготеющего явно к западу и в связи с этим имеющего соответствия в украинском и белорусском языках (ср. укр. *коліти* «коченеть», бел. *калёць* «мерзнуть, зябнуть») при отсутствии в них соответствий рус. *о-колётъ* «сдохнуть». На современном деривативном уровне (возможно, как результат предшествующей деэтимологизации) глагол *колётъ* «цепенеть» воспринимается как производный от *кол* (становиться негнушимся, твердым и прямым, как кол), чего нельзя сказать о глаголе *колётъ* «умирать», развившем в ряде говоров, расположенных к востоку от постмерянской территории, семантику, совершенно не связывающуюся со значением «коченеть, мерзнуть, цепенеть», но вполне естественную для развития значения «умирать (гибнуть, пропадать)», ср.: *колётъ* «пропадать где-либо»: *колёй — пропадай*. — Вят., Зеленин, 1915; «находиться где-либо длительное время»: *Колёл бы дома*. — Вост. Мар. АССР, 1952; (о домашней птице) «целые дни находиться, пропадать на улице»: *Дёржат там гусей, уток; холоду нёт, и колёют всё время на улице*. — Вожгал, Киров., 1950 (СРНГ XIV 132).

Коронить (перен.): 1) «прятать» (Яр, Костр, Моск. Влад); 2) «погребать, хоронить» (Яросл) (СРНГ XIV 364-365); *корениться* несов. «прятаться» (Влад, Яр, Костр, Ниже-гор) (СРНГ XIV 365). «Словарь русских народных говоров»

отмечает эти слова не только на постмерянской территории и в местностях, смежных или расположенных к востоку от нее, что может быть связано с переселением оттуда или контактами с носителями русских (постмерянских) говоров (в бывш. Нижегородской, Вятской и Тверской губ., Горьковской, Пермской и Свердловской обл.), но и в местностях, не имеющих связи с мерей (в Новгородской, Тамбовской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской обл.). Общим для этих территорий является наличие в настоящем или прошлом финно-угорского населения (носителей прибалтийско-финских или мордовских языков). Поскольку всем этим языкам чужд русский (славянский) звук *х*, их носители или русифицировавшееся финно-угорское население, усваивавшие русский язык, произносили вместо него согласный *к*. Поэтому есть основания рассматривать данные глаголы на постмерянской территории и как усвоенные еще мерянским языком и включенные в русский язык (в завизированной грамматической форме) из мерянского при окончательной его утрате, и просто как русские слова, испытавшие воздействие (пост)мерянского акцента (уже после окончательного исчезновения мерянского языка). Более вероятным кажется первое предположение, так как, когда население бывших мерянских территорий перешло на русский язык, звук *х* был полностью освоен и включен в фонетическую систему местных говоров. Замена *х* звуком *к* имеет здесь характер в значительной степени лексикализованный (не регулярно-фонетический), встречается только в некоторых словах, очевидно, издавна вошедших в мерянский язык и уже из него в «мерянизированном» виде включенных в местный русский. Следовательно, есть основания предположить существование в мерянском языке глагола **kōgoni-(ms)* «прятать; хоронить, погребать», принятию которого отчасти способствовало и то, что он был связан с новым христианским обрядом похорон, пришедшим с религией восточных славян.

Коюз «сарай для хозяйственных нужд, санник, каретник, обычно пристраиваемый к дому» (Костр — Мант) Востр I 28; *коуз* «навес из соломы на столбах около строения; пристройка из жердей позади дома или двора для хозяйственного инвентаря; закутка, сторожка у ворот околицы» (Яр. губ. — Рост) КЯОС 95. Связь слова с бывшей мерянской территорией позволяет принять предположение О.В.Вострикова [16, с. 2829] о его мерянском происхождении в русских говорах. В мерянском языке слово представляет собой

заимствование из германских языков, пришедшее в него непосредственно, очевидно, из прибалтийско-финских: ф. *koju* (*koiju*) «шалаш, хижина (в частности, из хвои)», кар. *koju* «сторожка, будка», а также ф. *koija*, *kolju*, *koju* «спальное место», швед. *koja* «избушка, хижина, шалаш» < снн. *koje* «стойло, каморка». Не совсем ясно в русском диалектном слове конечное -з. О.В.Востриков объясняет его влиянием со стороны финно-угорских заимствований на -с в русских говорах севера европейской части СССР (типа *карас*, *рунас*, *пеидас* и под.) или считает, что оно может восходить к конечному **-s* в языке-субстрате, то есть мерянском. Представляется возможным и третье его объяснение — видеть в конечном -з отражение конечного -s в мерянском иллативе единственного числа (ср. рус. (арг.) *дульяс*). В таком случае в качестве исходной формы (номинатива единственного числа) для мерянского, как и для финского, языка следует принять **koju*. Конечное -з вместо -с в русском диалектном слове следует объяснять колебанием *с^мз* в конце слова, так как в этой позиции в русском языке глухие и звонкие звуки не различаются (ср. название р. *Юг* < мер. **juk* < **joGe*).

Рус. (диал., арг.) *куба* «женщина» (Влад. губ. — Вязн) СРНГК; «баба» (Яр — Рыб) СНГК. Слово с несколько размытым ареалом, что, видимо, было вызвано его вхождением в арго офень, распространивших слово за пределами мерянской территории. Популярности лексемы в качестве арготизма содействовала ее экспрессивность как синонима нейтральных «женщина», «баба» в сочетании с явно вторичным ее сближением (на основе внешнего сходства) с рус. (диал.) *куба* «кубышка, кадочка, бочонок для сбивания масла», откуда новое значение — «толстая женщина или девочка; толстуха», особенно характерное для производных (вне постмерянской территории), ср.: *кубСка* «толстая женщина, девочка» (Тамб.) СРНГ XV 380; *кубСнка* «то же» (там же, 381); *кубСнь* (там же). Ударение слова, как показывают данные с постмерянской территории, в соответствии с особенностями мерянской акцентуации, что также является одним из аргументов в пользу его местного субстратного происхождения, — инициальное, ср. *куба* «толстая женщина или девочка» (Костр. губ. — Нерехт) СРНГ XV 375. С рус. (диал., арг.) *куба* «женщина; баба», отражающим мер. **ku^a* «женщина», не следует смешивать рус. (диал.) *куба* «черемиска или русская, имеющая сходство с черемиской» (Казан. губ. — Ядрин, Козьмодем), место фиксации,

семантика и форма (ударение) которого указывают на то, что оно заимствовано из марийского языка (ср. мар. *кува*, фон. *ku^ha* «старуха»). Отдаленность районов бывшей мерянской территории, в которых записано рус. (диал., арг.) *куба* в его, судя по всему, исходном значении (Ярославская, Владимирская губ.), от области распространения марийского языка делает маловероятным предположение о возможности его заимствования из марийского, тем более, что этому противоречит расхождение в их форме (разные ударения) и семантике. Скорее всего, речь идет о субстратном реликтном слове мерянского происхождения, вошедшем в местные арго и тем самым получившем распространение вне исходного ареала.

Рус. (диал.) *лили* (мн.ч.) «женские груди» (так называют их, подражая говору грудных детей — сосущих груди — Смирнов 86) (Твер. губ. — Каш) СРНГ XVII 47. Объяснение слова, данное И.Т.Смирновым в «Кашинском словаре», представляет собой не более, чем его народную этимологию. Исходя из того, что именно в Кашинском уезде находился один из мер(ь)ских станов, то есть одно из мест на мерянской территории, где дольше всего сохранялись мерянский этнос и мерянский язык [108, с. 136], и что слово *лили* «женские груди» является узко-локальным диалектизмом, не встречающимся нигде вне бывшей мерянской территории, есть предпосылки для поисков его возможной связи с финно-угорской, а следовательно, и мерянской лексикой. Не лишено интереса и то обстоятельство, что на территории бывшей Тверской губ., согласно данным, опубликованным в 1820 г. в «Трудах общества любителей российской словесности» (СРНГ XVII 47), употреблялось слово *лиль*, возможно, связанное с рассматриваемым и являющееся его формой единственного числа, но, к сожалению, определенно этого сказать нельзя из-за отсутствия сведений о его значении. Формально-семантический анализ слова в сравнении с фактами финно-угорских языков и при учете особенностей мерянской фонетики позволяет видеть в нем субстратное включение из мерянского языка. Для (пост)мерянского этапа его развития, очевидно, непосредственно связанного с собственно позднемерянским, вполне допустимо предположить существование формы единственного числа **лиль* со значением «грудь». В русских народных говорах значение «грудь, грудная полость» имеет слово *душа*, поскольку с грудью связано непосредственно *дыхание* (*дух*) (СРНГ VIII 280), откуда и рус. (диал.) *душегрейка* «женская шубка, тулупчик» (Яр, Волог.

губ.) (там же 282), то есть «одежда, предназначенная для согревания груди (души)». Можно допустить, что первоначальным значением предполагаемого постмерянского слова **лиль* < мер. **lil'* было не «грудь», а «душа, дух; дыхание», откуда позднее развился новый семантический оттенок слова «грудь» (как вместилище души). Этому предположению не противоречат факты финно-угорских языков, где находим ряд формально и семантически близких соответствий предполагаемой мерянской лексемы: ф., кар. *loulu* «пар (в бане)», иж. *loulu*, вепс. *l'ol'* «пар, жар (в бане)», вод. *leU IU* «пар (в бане)», эст. *leil*, ген. *-li* «то же; дыхание, жизнь», лив. *^Ul* «пар; дух; дыхание», саам. *N liew'la* «пар (водяной, не морозный)», удм. *лул* «дыхание; душа; жизнь; существо», коми *лов* < *лол-* «душа; душа, дух, жизнь; душа, существо; голова (единица счета)», хант. (вост.) *lil* «жизнь; дыхание; дух; душа», манс. *lil* «дыхание; душа», венг. *lelek* «душа, дух; дух, настроение, сердце; совесть; лицо (личность); дыхание; жизнь, самосознание», ст. (X в.) *Lele* (имя одного из венгерских королей) < ф.-уг. **lewle* «дыхание, дух, душа».

Реконструируемое мер. *lil'* «душа; (пост)мер. *лиль*» в качестве предшествующей формы предполагает исходное дмер. **lele* < **lele* «душа, дух; дыхание», которое в результате падения (через стадию редукции) конечного гласного и вызванного этим удлинения и сужения звука *e* в новом закрытом слоге с переходом его в *i* дало засвидетельствованный вариант. Закономерность данного перехода для мерянского языка подтверждает, в частности, (пост)мер. **il'Doma* «безжизненный» < **eleDoma* при *ela* «живой», засвидетельствованное в названии р. *Ильдомка* (Костр. губ.). Обращает на себя внимание как формальная, так и семантическая близость в развитии мерянского слова с его соответствиями в венгерском и угорских языках вообще (а также в пермских) в отличие от прибалтийско-финских (и марийского с мордовскими). В то время как волжско-финские языки не сохранили это, видимо, в прошлом характерное для всех родственных языков слово, а в прибалтийско-финских оно очень сузило свое значение, в угорских и пермских языках, как, очевидно, и в мерянском, слово приобрело переносное значение, свойственное религиозным представлениям. Соответствующие слова, восходящие к ф.-уг. **lewle*, по-видимому, с первоначальным значением «дыхание (дух)», развили здесь значение «душа», передаваемое в остальных финноугорских языках другими

словами: ф. *sielu* (из германских языков, ср. днн. *se(u)la*, дангл. *sawol*, гот. *saiwala* < пргерм. *saiwalo*), эст. *hing*, морд. Э *ойме*, морд. М *вайме*, мар. «он. Отсюда можно сделать вывод, что в истории (прото)мерянского языка был период, когда его носители, связанные в основном своим происхождением с финнами в широком понимании слова, имели также длительные и тесные контакты с уграми, в том числе протovenграми. Поскольку в исторический период подобные связи не прослеживаются, их следует отнести к праязыковому периоду, когда предки мери и угров (включая венгров) еще не расселились со своей финно-угорской прародины. Здесь (прото)меряне, входя в племенную группировку прафинских племен, занимали, очевидно, наиболее восточную часть их территории, граничащую с территорией, занятой прауграми (в том числе протovenграми), что способствовало их регулярным и близким связям, отразившимся и в языке.

Мерекать «говорить» (Костр — Чухл) ЯОСК. В подобном значении слово засвидетельствовано только как узколокальное, причем на бывшей мерянской территории, в связи с чем его, очевидно, следует отличать от русского диалектного глагола *мерекать* со значениями: 1) «долго, медленно думать над чем-либо» (Влад. губ. — Судог); «прикидывать, примеривать в уме» (Влад. губ. — Пересл; Тобол. губ.); 2) «мечтать, задумываться о чем-либо» (Тамб. губ.); 3) «знать немного, кое-что» (Влад. губ.; Том. губ.); 4) «стремиться показать себя умным; умничать» (Влад. губ.); 5) «плохо разбирать напечатанное или написанное» (Нижегор. губ.); 6) «казаться, представляться в воображении, мерещиться» (Псков. губ; Твер. губ.); 7) «бредить» (Твер. губ.) (СРНГ XVIII 115). Возможно, с рассматриваемым диалектным глаголом связан записанный только в Сибири глагол *мерекать* со значением «бестолково объяснять»? < «говорить на непонятном языке, с большим количеством непонятных слов» (Том. губ.) (СРНГ XVIII 115). Подобная связь не исключена и потому, что переселение из Центральной России, в том числе носителей постмерянских русских говоров, шло в значительной части в восточном направлении.

Глагол *мерекать*, стоящий совершенно изолированно среди русской диалектной лексики, находит наиболее близкое соответствие в эрзя-мордовском глаголе *ме- ремс* «сказать; приказать» и мокша-мордовском *мярьгомс* «сказать, велеть, приказать, распорядиться», в форме 1-го и 2-го л. ед. и мн. ч. и 3-го л. ед.ч. безобъектного спряжения, употребляющегося так же, как вводные слова

мярьган «говорю», *мярь- гат* «говоришь» и т.д. Исходя из этого, глагол *мерекать* можно рассматривать в качестве возникшего на основе близкого по форме и семантике глагольного образования мерянского языка. Учитывая разные формы соответствующего глагола в мордовских языках, реконструируемое мерянское слово можно восстанавливать в одном из двух аналогичных им вариантов: **mere(-ms)* || **mareGo(-ms)* «сказать, говорить». В диалектном (постмерянском) слове -к может быть отражением конечного -к мерянского глагола в форме 2-го л. ед.ч. повел. накл., то есть *мерек* «скажи; говори» (подобное окончание в этой форме сохраняется, в частности, мордовскими и диалектно финским и эстонским языками) [85, с. 142]. Наиболее обоснованно считать русский диалектный глагол образованным от мерянского, ср. рус. (диал.) *Ну мерек* «неужели» (Вят. губ. — Слобод, 1881 г.) (СРНГ XVIII 115), которое допустимо было бы истолковывать как возникшее из фрагмента первоначального восклицательного предложения (с оттенком удивления): *Ну, мерек!* (букв.) «Ну, (ты) скажи!» В связи с тем, что глагол *мерекать* засвидетельствован в соседней Костромской губернии, откуда на вятские земли издавна шло переселение как русских, так, очевидно, и мери, возможность сохранения здешними русскими говорами отдельных реликтов мерянского языка не представляется слишком невероятной. Конечно, предположение о соответствующей форме повелительного наклонения, как и ряд других мерянских грамматических реконструкций, для окончательного доказательства нуждается в дополнительных аналогичных примерах. Приведенные факты не дают возможности истолковывать себя как отражение мордовского влияния, так как ареал их фиксации слишком отдален от мордовской языковой территории. Следовательно, речь идет о мерянских явлениях, близких к аналогичным фактам мордовских языков.

мякша «гнилая сердцевина дерева» (Костр — Мант) Востр II 31. Полная, по- видимому, изолированность в русском диалектном языке (отсутствует в «Словаре русских народных говоров») слова, зафиксированного на бывшей мерянской языковой территории и имеющего убедительные соответствия в смежных волжско-финских языках (ср. мар. *мекиш* «гнилушка», мар. Г *макиш*, морд. М *макша*, морд. Э *макиш* «то же»), составляет вместе с О.В.Востриковым (там же) принять его субстратное финно-угорское происхождение. Однако ввиду того, что в прошлом

в данном районе никакие финноугорские языки, кроме мерянского, не отмечаются, а в настоящее время он является чисто русским и не подвержен влиянию какого-либо финно-угорского языка, единственно возможным может быть предположение о мерянском происхождении русского диалектизма, отражающего скорее всего реконструируемое мер. *makSe «гнилушка».

Палья «тесло, инструмент для выдалбливания лодок, корыт и т.д.» (Костр — Мант, Ней, Парф.) Востр II 32; палейка «то же» (Костр — Антр) Востр II 32. Узколокальный характер слова (отсутствует у Даля), распространенного на бывшей мерянской территории, позволяет предположить его вхождение в местные русские говоры непосредственно из мерянского, тем более, что оно имеет соответствия в прибалтийско-финских языках (ср. ф. *palja* «молот, кувалда, кузнечный молот», кар. *pal'la* «то же», (ливв.) *pal'lu* «молот», *pal'iu* «(деревянная) дубина, палица», (люд.) *pal'*, *pal'le*, *pal'lu* «молот, кузнечный молот», вепс. *pal'* «молот, дубина») (SKES II 473), формальная и семантическая связь которых с предполагаемым мер. **pal'ja* (в русском — сдвиг ударения) представляется возможной. Сложнее вопрос о происхождении слова в мерянском — его собственно мерянском, общем с прибалтийско-финским, или заимствованном характере. Ввиду ограниченного распространения слова в прибалтийско-финских языках (отсутствует в ижорском, водском, эстонском, ливском) и, возможно, мерянском (отмечается только на северо-востоке бывшей мерянской территории) не исключен и третий вариант: как в прибалтийско-финском, так в диалектном мерянском языке слово является заимствованием из какого-то общего, пока не установленного источника. Следовательно, в настоящее время можно говорить лишь о свойственности лексемы мерянскому (возможно, только в части говоров). Вопрос о ее происхождении остается пока открытым.

пахча «различные овощи (свекла, брюква, огурцы)» (Яр — Рыб) ЯОСК. Слово может быть объяснено как возникшее на основе рус. (лит.) *бахча* «участок, засеянный арбузами, дынями». Однако подобное объяснение не дает возможности истолковать с достаточной убедительностью причины смещения ударения и семантики слова. Более правдоподобно, очевидно, исходить из того, что оно является заимствованием из булг. **рахСа*, восстанавливаемого на основе чув. *пахча* «огород; сад» (ЧувРС 258) (очевидно, в болгарском также «овощи (огородные культуры)»). Поскольку к

периоду славизации мерянского населения связи с булгарами, перешедшими на татарский язык, прекратились, чувашский же язык с русскими говорами Ярославской губ. (обл.) не контактировал, слово следует рассматривать как непосредственное субстратное включение из мерянского языка, где оно являлось заимствованием из болгарского, оказывавшего заметное влияние на все языки Поволжья, в том числе мерянский. О мерянском происхождении слова в русском свидетельствует смещение конечного ударения предполагаемого болгарского слова на первый слог, как того требовала акцентуация мерянского языка (в отличие от русского с его разноместным ударением).

В болгарском языке слово представляло собой заимствование из персидского (ср. перс. *bausa*) (Фасмер I, с. 111), измененное фонетически, поскольку в болгарском, как и в чувашском, звонкие фонемы отсутствуют (ЧувРС 603). Следовательно, в рус. (диал.) *пахча* с наибольшим основанием можно видеть отражение мер. **pahCa* «овощи (свекла, брюква, огурцы)», являющегося заимствованием из болгарского. В мерянский язык слово, очевидно, проникло вместе с соответствующими огородными культурами как их собирательное обозначение в связи с тем, что мерянское население могло впервые познакомиться с ними и научиться их возделыванию с помощью болгар.

Пуега «снежная с ветром погода (синонимы: вьюга, непогодь)» (Твер. губ. — Каш) ТОЛРС XX 165. Слово у В.И.Даля (Даль III 536) характеризуется ошибочно как тверское и карельское, то есть являющееся заимствованием из карельского языка. Поскольку в Кашинском уезде быв. Тверской губ. карелы не проживали [56, с.3] и в то же время здесь был расположен один из мер(ь)ских станов, больше оснований видеть в нем не заимствование из карельского, а субстратное включение из когда-то распространенного здесь мерянского языка. Против возможности заимствования из карельского говорит также отсутствие слова в работе Я.Калима, посвященной прибалтийско-финским заимствованиям в русском [138, с. 188, 189, 258], где самым тщательным образом использованы все имевшиеся до 1919 г. источники, в том числе наиболее полное издание «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля, подготовленное И.А.Бодуэном де Куртенэ [138, с. X]. Между тем в русском диалектном языке есть все основания отнести его к финно-угорским элементам. Единственно возможным в данном

случае может быть включение из мерянского языка, так как из финно-угорских языков именно он был распространен на территории уезда, где слово записано; поэтому в рассматриваемом слове следует видеть отражение соответствующей мерянской лексемы, реконструируемой, по-видимому, как **pujeGa*-(е) «вьюга», производное от глагольного корня *pu(j)* — «дуть». Слово, особенно в корневой части, имеет параллели в других финно-угорских и самодийских языках, ср.: морд. *Э пувамс* «дуть», мар. *пуаш* «дуть, веять (о ветре); дуть (ртом)», хант. (вост.) (вах., вас.) *poyta* «дуть», (сал.) *rowta* «то же», манс. *пувлунве* «дуть, раздувать», венг. *fújni* «дуть; трубить»; нен. *пута(сь)* «дуть (о ветре); трубить (о человеке)», эн. *fuegabo* «трубить», нган. *fual'i'ema*, *fuaɣuma*. сельк. *pUaB'* «то же», кам. *p'ш'1Єт* «трубить; (сильно) дуть» < урал. **puw3-/puu3-* «дуть». Несмотря на явно звукоподражательный характер, среди уральских языков оно, как показывают примеры, не получило всеобщего распространения (или сохранилось далеко не всеми языками). Мерянский в данном случае явно тяготеет к уральским языкам «восточной» ориентации: угорским, самодийским и волжско-финским, отличаясь от прибалтийско-финских. Особенно близок с формальной точки зрения мерянский к венгерскому, так как они оба развили в корне слова -j-(очевидно, вместо выпавшего *-w-/*-y-), что оказалось чуждым всем остальным языкам, не исключая наиболее близких к венгерскому обско-угорских.

Тохториться «стараться, добиваться, хотеть, пробовать» (Яр — Ермак); «стараться, добиваться, хотеть, требовать» (Яр — Дан) ЯОСК. Слово узкого распространения, связанное с бывшей мерянской территорией и имеющее параллели в прибалтийско-финских и, возможно, саамском языках, ср.: ф. *tahtoa* «хотеть, желать», *tahto* «воля; желание», эст. *tahtma* (*tahta*) «хотеть, желать», *tahe*, ген. ед.ч. *tahte* «воля, желание», лив. *to'de* «хотеть; быть нужным», возможно, также саам. Н *duos'tot* «принимать, идти навстречу» (SKES IV 1195-1196). О местном мерянском происхождении слова, а не заимствованном и связанном с этими языками, кроме ареала распространения, может говорить его вокализм. Очевидно, русский диалектный глагол представляет собой образование, возникшее на основе мерянского существительного **tohte* «воля, желание», где -o- вместе с -a- прибалтийско-финских языков может объясняться тенденцией перехода а > о, наблюдаемой в части мерянских слов (ср.: **konDe^a* «несущий» — р. *Кондоба* при ф. *kantava*; **pogGa* «гриб» — р. *Понга* при морд. Э

паяго и т.п.). В данном случае переходу а > о могла способствовать закономерность подобного перехода в новых закрытых слогах, в частности при падении конечных гласных (ср. (-)**Valo* > (-)**Vo1* «деревня»). Менее ясна суффиксальная часть глагола -ор- (в *тохториться*), возможно, отражающая какой-то мерянский флексивный формант или послелог, выступавший в той же форме слова, на основе которой непосредственно был образован рассматриваемый диалектный глагол.

Халеть (диал.) «умирать» (Костр. губ. — Нерехт) МКНО, *удалить* (арг.) «умереть» (Костр. губ. — Гал) Вин 51. Слово, не обнаруживающееся нигде, кроме небольшой части постмерянской территории, и не имеющее связи ни с каким из славяно-русских слов, что вынуждает считать его в местных русских диалектах одним из заимствований или субстратных включений. Явно натянутой, хоть и под вопросом, кажется попытка объяснения его у Даля как славянского (ср. *халить* (*хилить?*), Костр — Нерехт *умирать* — Даль IV 541). Этимологический анализ позволяет отнести слово к финно-угорским элементам, однако не исконно мерянского, а заимствованного, по-видимому угорского, происхождения. Об этом недвусмысленно свидетельствует форма корня: принадлежа к общим финно-угорским (и — шире — уральским) словам, обозначающим понятие «умирать (умереть)» с помощью корневого слова **kole-*, данная лексема выступает не в варианте с начальным **ko-*, свойственном финским языкам, в том числе мерянскому, ср. мер. **kolema* «смерть; (тяжелая) болезнь», а в форме с начальным **ha-* < **ха-*, развившейся в угорских языках, ср.: ф. *kuolla* «умирать», эст. (диал.) *koolla*, морд. *вуломс*, мар. *волаш*, удм. *ву- лыны*, коми *вувы* «то же», хант. (каз.) *халаты* «подохнуть», манс. *холувее* «погибнуть», венг. *halni* «умирать (умереть)»; нен. *хась* «умереть, погибнуть, пропасть; пасть, подохнуть (о животных)», эн. *kado'* «умирать (умереть)», нган. *ku^m* «(я) умер», сельк. *kuak*, кам. *kuil'em* <^о же», койб. *вулягандамь* «умираю», матор. -гулямь (в 1-м л. ед.ч. наст.вр. *вимынджигулямь*}, тайг. *kchaima* «мертвый» < урал. **kole-* «умирать, умереть» (КЭСКЯ 143; ОФУЯ 407; SKES II 239; MSzFUE II 250251; Co11inder 407; Janhunen 56-57). Очевидно, данное слово проникло в мерянский из угорских языков. Причину заимствования наиболее вероятно видеть в стремлении заменить слово, обозначавшее понятие, самой своей природой тяготеющее к эвфемизации, каким-то другим, которое его как бы смягчало, давая в

несколько завуалированном виде. Тяготение к подобной замене синонимами слов, обозначающих понятие «умереть», наблюдается во многих, — если не во всех, — языках мира, в том числе финно-угорских, причем нередко первоначально употреблявшийся в данном значении глагол начинает использоваться с огрубленным значением или оттенком внезапной («плохой») смерти: «сдыхать; гибнуть» и под., ср. хант. *хал'ты*, «подохнуть», манс. *холукве* «погибнуть» при новых глаголах (глагольных словосочетаниях), обозначающих понятие «умереть», хант. *сорма йиты*, манс. *сорумв патуцкве*. К тому же ряду явлений относится вытеснение исконного глагола *koolma* со значением «умереть» глаголом *sugema* с тем же значением в эстонском литературном языке. Эта тенденция обнаружила себя и в мерянском языке, где глагол **koli(ms)* со значением «умереть» заменялся образованным на основе собственных элементов глаголом **ul'Si(-ms)* «стать бывшим» (ср. рус. (диал.) *побывши́ться* как его кальку) и, очевидно, заимствованным из угорских языков (возможно, даже из протовенгерского) глаголом со значением «умереть». Заимствованный глагол был, по-видимому, мерянизирован, то есть приобрел словообразовательную структуру и флексивные формы своего предшественника, мерянского глагола **koli(-ms)* «умереть» (**kolema* «умирание; (позже) (тяжелая) болезнь»). В связи с этим взятый из родственного языка новый глагол, отличаясь от собственного только в корневой части, мог производить впечатление тех же мерянских слов, только несколько видоизмененных формально, их своеобразных вариантов, так как реконструкция предполагаемых мерянских слов дает формы **hali(-ms)* (ср. рус. (арг.) *у-хали-ть*) «умереть (умирать)» и **halema* «смерть (умирание)». Ввиду того что угорские заимствования стали выполнять роль исконно мерянских слов, эти последние приобрели новое значение: **koli(ms)* «сдыхать (= умирать — о животных)», **kolema* «(тяжелая) болезнь; (позже) болезнь вообще». Рассмотренное дает основания думать, что рус. (диал.) *колеть* «подыхать», (лит.) *околеть* «сдохнуть» не получили сниженного оттенка при их включении как неславянские субстратные лексические элементы, — он был свойствен уже соответствующей лексеме мерянского языка, на основе которой (путем замены грамматико-словообразовательных формантов славяно-русскими) были образованы указанные русские глаголы. Вошло в русскую грамматическую систему и стало элементом русской диалектной и арготической лексики также

рассматриваемое (прошедшее через мерянскую среду) угорское слово, отраженное в рус. (диал.) *халеть* и (арг.) *ухалить*. Частичное соприкосновение данных слов с арготическим может наводить на мысль о возможности их непосредственного заимствования из венгерского языка в русский, которое произошло уже после исчезновения мерянского языка. Однако в данном случае подобная возможность представляется маловероятной: если бы речь шла о позднем арготическом заимствовании, то оно не могло бы ограничиться лишь постмерянской территорией, причем только в определенной ее части. Более естественно видеть в них (и в связи с существованием явно (по-ст)мерянского глагола *колеть*) заимствование мерянского, воспринятое затем из него частью русских говоров на бывшей мерянской территории.

Цол(о)- «здоровый; здоровье» (в выражении «Цолонда — в доме: здравствуй, хозяин (?)» (Яр. губ. — Пош) с. Давшино, 1849 г.) КЯОС 212. Абсолютная изолированность выражения, зафиксированного только на бывшей мерянской территории, дает основания предположить его субстратное мерянское происхождение. Малоубедительна попытка В.И. Даля увидеть в нем искаженное славяно-русское «челом-да» (= бью челом, здравствуй!) (Даль IV 575) уже в связи с тем, что цоканье не характерно для (пост)мерянских земель, поэтому славяно-русское «челом-даю», предполагаемое в основе выражения, должно было бы отразиться со своим ч. Кроме того, поскольку выражение «бить челом» (или «дать челом», ср. укр. *чолом давати* «приветствовать особым образом (особенно о детях)» Гринченко IV 468) было в Киевской Руси и Московской Руси, ее наследнице, во всеобщем употреблении, трудно представить себе настолько значительную его деформацию (в том числе с переходом м > н, не характерным ни для славянорусского, ни для мерянского языка), какую следует допустить в этом случае. Более обоснованно видеть в выражении *цолонда* синкопированную и сокращенную фразу-пожелание с общим значением «Здоровье пусть (тебе) даст (бог) / дай (ему) (боже)» или, что более вероятно, поскольку речь идет о приветствии в доме хозяина-кормильца (со стороны гостя), — с семантикой «Здоров (будь), кормилец (букв. — кормящий < дающий!)!» В последнем

Подобная интерпретация более вероятна в связи с тем, что в мерянском языке, как и в мордовских, глагол **anDo(-ms)* развил из первоначального значения «давать» новую семантику —

случае исходное мерянского выражение следовало бы реконструировать в следующем виде: *C01e-nDe! < *C01e, anDe(Pa)! (букв.) «Здоров(ый) (будь), кормящий < дающий!». Если второй из предполагаемых компонентов — *anDe(Pa), исключая его синкопированную форму, естественную для часто употребляемых приветственных оборотов, уже рассматривался и легко объясним в его финно-угорских связях и структуре, то намного сложнее истолкование первого компонента — цол(-о-) «здоровый», предположительно также восходящего к мерянскому языку. В мерянском его нельзя объяснить иначе, чем заимствованием или включением из какого-то индоевропейского языка, по особенностям исторического развития стоящего очень близко к славянским. В настоящее время трудно с определенностью сказать, у какой группы индоевропейцев было заимствовано рассматриваемое слово, к тому же в приветственной формуле, — у фатьяновцев, язык которых развивался во многом по пути праславянского, представляя собой его протославянскую стадию, или у части праславянского населения, находившейся в тесных контактах с мерянским. Поскольку речь шла о заимствовании слова, являющегося сокращенным фразеологизмом, оно не могло быть результатом отдаленных и эпизодических контактов, скорее всего было следствием длительных контактов мери с этносом — носителем языка, по-видимому, ассимилированного в той его части, которая находилась на мерянской территории, финно-угорским мерянским населением, так как при исторически засвидетельствованном появлении там славян никакого славянского или индоевропейского населения среди мери не существовало. На субстратный характер оборота может указывать и его смешанный индоевропейско(? > прото-славянеко)-мерянский характер — как результат постепенного слияния и смешения двух этносов с перевесом на финноугорской стороне. С этимологической точки зрения предполагаемое мер. *e01e, «здоровый; здоровье» связано с псл. *eē1ъ «целый, здоровый», прус. (балт.) kails «здоровый», гот. (герм.) hails «то же», восходящими к и-е. *kailo-/lu — «здоровый, целый, невредимый». В субстратном индоевропейском (фатьяновском, протославянском) языке, передавшем данное слово мерянскому, оно к моменту вхождения в мерянский

язык, очевидно, могло иметь форму *e'oli/ -
ь#####, что в мерянском, не имевшем палата-
лизованного e' и включавшем в свою фоне-
тическую систему редуцированные, в том числе
близкое к данному фатьян. (протосл.) и/ь
заднерядное e, должно было отразиться как *e01.
Впоследствии при сближении мерянской фонетики
со славяно-русской мер. *e01 - могло передаваться
с помощью тогда еще мягкого (в древнерусском)ц
как цёл-, что в дальнейшем дало исторически засви-
детельствованное цол-. Важно отметить, что и гер.
(гот.) hails, и соответствующее ему в балтийском
прус. kails употреблялись в приветствиях со
значением «здравствуй!» как сокращенный вариант
первоначально полного «(будь) здоров!» с
опущенным глаголом-связкой, ср. дангл. wes hai
«будь здоров!» (Kluge-Mitzka 298; ЭССЯ III 179-
180; Топоров (I - K) 136-142). Соответствие этому
обороту, по-видимому, имелось и в прасла-
вянском языке, о чем до сих пор реально свидетельствовало
только полаб. с'ol «за (твое, ваше) здоровье (букв. -
здоров (будь)!)» (SEJDrzP I, 86), подтверждаемое
стсл. цАло- вати «приветствовать», то есть
говорить цАль (б^ди), ср. здороваться, то есть гово-
рить «здоров (будь)», укр. Здоров! «Здравствуй!»
Добавление фатьяновского (прото-
славянского) примера, сохраненного постмерянскими русскими
говорами, является еще одним аргументом в пользу
органичности и характерности этого оборота для
прасла-вянского языка в целом.

Данная форма частично не совпадает с ходом фонетических преобразований, намечаемых для развития псл. *e'ělъ, в кн. «Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов»: *k'1ъ ^ *k'31ъ ^ k'ělъ ^ e'ělъ [17, с. 66], – однако в этом нет противоречия, так как имеется в виду не история праславянского языка в целом, а развитие одного из возможных окраинных протославянских диалектов, который (не без влияния контактов с мерянским) мог иметь частично отличающуюся от предложенной фонетическую эволюцию.

был мерянин. Дополнительным аргументом в пользу этого является также факт, что к началу XVI в. на землях нынешней Владимирской области коренным финно-угорским этносом могли быть только меряне, так как проживавшая в Муроме и его окрестностях мурома к этому времени должна была давно ассимилироваться. Прозвище представляет собой, по-видимому, сокращенное в самом мерянском языке в результате стяжения или неточно переданное при записи сложное слово со значением «черника (букв. — черная ягода)», реконструируемое для мерянского как *Somar(?) < *So(m) + *taΓ(э) < *same + *mare. Каждый из компонентов предполагаемого мерянского слова имеет при этом бесспорное финно-угорское происхождение, подтверждаемое данными родственных финно-угорских языков. Так, для реконструируемого мер. *som < *Same «черный» в качестве этимологически связанных с ним слов из родственных финно-угорских языков можно привести следующие: ф. *hamu* «сумерки», морд. Э *чемень* «ржавчина», морд. М *шямонь* «то же», мар. *шеме* «черный», *шем* «черный; грязный (о белье, помещении)», мар. Г *шим* «черный», удм. *сІмьд* «пасмурный (о погоде)», *сыяыяы* «ржаветь», коми *сІм* «ржавчина; ржавый; смуглый; буровато-черный; темный», хант. (каз.) *сами* (*сами* «ржавчина», манс. *сэмыл* «темный; черный», (конд.) *simil* «ржавчина», венг. ст. *szenny* «грязь» < ф.-уг. *s8m3 «ржавчина; ржавый, черный» (КЭСЯ 258)..... Мер. *som среди приведенных соответствий выделяется оригинальностью формы, возникшей, видимо, из *same в результате действия типично мерянской фонетической закономерности — перехода а > о в новом закрытом слоге. Что касается предполагаемого мер. *mar(e) «ягода», то оно также, и даже с большей вероятностью, проявляется как слово финно-угорского происхождения, ср.: ф., кар., вод. *marja* «ягода», вепс. *marg*, *marj*, *mard*, эст. *marj*, ген. ед.ч. *marja*, лив. *мога*, *мога*, *мага*, саам. Н *muog'je* «то же», морд. М *марь* «яблоко < ягода», мар. *мор* «ягода (обычно о землянике)». мар. Г *мор* «земляника; клубника», хант. (вост.) *тигер* «гроздь, кисть ягод», манс. *мори* «гроздь (ягод)» < ф.-уг. *marja* «ягода» (SKES II 334; Collinder 412). Здесь мерянское слово

наиболее близко в основном к прибалтийско-финским (за исключением ливского) и мордовским языкам, отличаясь от саамского, обско-угорских и марийского, где своеобразное развитие получил вокализм первого слога слова.

***** В финно-угриктике эти параллели в данном объеме признаются не всеми. Часть ученых [73] относят слова, связанные с рассматриваемым корнем, к числу финно-пермских, ограничивая круг языков марийским, удмуртским (под вопросом) и коми и возводя соответствующие слова этих языков к праязыковому (ф.-перм.) *sime. Подобный подход представляется недостаточно оправданным.

Рассмотренная этимология реконструируемых мерянских слов при всей вынужденной количественной ограниченности собранного материала позволяет дать общую предварительную характеристику мерянской лексики.

Рассмотренные лексемы составляют словник, включающий около 100 единиц. Однако, поскольку при освещении лексики в целом целесообразно сосредоточить внимание на так называемых корневых словах, оставляя в стороне производные и варианты, в общей сложности приводимая ниже лексика включает около 70 слов. Для удобства сопоставления с соответствующим финно-угорским материалом здесь оно проводится в основном согласно тому подразделению на тематические группы, которое предложено К.Редеем и И.Эрдеи [73]. Но в отличие от подачи материала, примененной там, где он сразу же рассматривается на основании сравнительно-исторических принципов, здесь весь привлеченный мерянский лексический материал вначале дается в рамках тематических групп независимо от его происхождения. Только после этого общего обозрения рассмотренная лексика будет представлена исходя из ее происхождения — финно-угорского (уральского) и заимствованного. В границах этих двух основных групп по возможности будут указаны более конкретные генетические ее связи, что касается исконной лексики, и языки-источники, что касается словарных заимствований.

1. Местоимения и служебные слова:

и (союз): *ра; *и, даже* (усилительные частицы): *-ка, *-ki; *нет*: *nemen; *этот*: *Si; *я*: *та.

2. Названия органов, частей тела, выделений и болезней живого организма:

перо: *tolGe; *язык* (отражено в переносном значении «речь»): *jelma(-e).

3. Названия, связанные с родством:

женщина (старуха): *ku^ha; *мана, мать*: *mata(e); *отец*: *at'a(-e) / *aCa(-e); *старшая сестра, тетя (крестная мать)*: *koka (? дядя (крестный отец): *koko).

4. Природа:

а) элементы, формации и явления природы: *берег* (низкий, заросший высокой травой): *rapa(-e); *болото*: *nero(-e); *выюга*: *pujeGa(-e) < *дуть*: pu(j)-; *дым, дымить*: *Sap-; *ложбина, низина*: *lot'ma / *loCma(-e); *огонь*: *tule; *озеро*: *jahre(-e);

река: *juk (ст. *joGe);

б) растительный мир: *верба*: *Sarne; *вяз*: Sol'a(-e); *гнилушка*: *makSa(-e); *гриб* (в частности, древесный): *pag(G)a/*pog(G)a(-e); *дуб*: *toma(-e); *конопля*: *moska(-e); *кора*: *kere; *крапива*: *nuS; *ягода*: *mar(e).

в) животный мир: *белка*: *urta(-e); *ворона*: *0arak(e) (-a); *галка*: *agka(-e); *гнездо*: *peZe; *журавль*: *kurGa(-e); *корова*: *I'eima(-e); *кукушка*: *kaGa(-e); *лось*: *SorDe; *орел*: *kutke; *рыба*: *kol; *рябчик*: *muZa(-e); *собака*: *peΠ(e); *собака (молодая)*: *kut'a(-e); *хариус (рыба)*: *SorjeS;

г) минералы: *камень*: *ki(£) / *ku.

5. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

боязнь (бояться): *pelema; *быть*: *jole- (*пусть будет*: *joluS; *бывший*: *ul'Sa); *видеть, смотреть* > *вот*: ^ap- (>: *jou); *глотать*: *nele-; (*н(р)оглотивший*: *nel'Sa(-e); *делать*: *para- (*делающий, дельный (быстрый)*: *parapa); *жить, живой*: '^^/-a- (*безжизненный*: *il'Doma/-Dome); *знать (чувствовать)*: *tuDo- (*знающий (чувствующий)*: *tuDo^a); *кормить* < *давать*: *anDo- (*кормящий (дающий)*: *anDopa); *мочь*: *pojmo- (*могуирь*: *pojмора); *разговор, речь*: *kolBe/-a; *разрыв* < *разорвать*: *seZema; *сдыхать*: *kole/-e- (*болезнь (тяжелая)*: *kolema); *сказать, говорить*: *meger/-e- (*скажи*: *merek); *умирать*: *hali/-e-; *хотеть (желание)*: *tohte(-).

6. Слова, служащие для выражения ориентации в пространстве:

вот: *jou (указательная частица).

7. Названия, служащие для выражения различных качеств, свойств, состояний и возраста (прилагательные):

здоровый: *cole; *красивый*: *maZe(j); *мало*: *pahe; *сильный (здоровый)*: *paDra; *черный* < *ржавый*: *Som < Samэ.

8. Слова, обозначающие жилище, занятия, питание, одежду, средства передвижения:

вилы (двурогие): *^hen (ед.ч.); *деревня*: *palo(-э); *масло*: *0oj < *0aje (намамливание: *rojlema); *овощи* (свекла, брюква, огурцы): *pahCa; *перемет*: *peE)'та; *путешествие*: *matkoma (*путь*: *mat < *matk(e)); *сарай*: *koju; *монор*: *kir^has.

9. Числительные:

один: *ik(e)/*Uk(e) (*единичка*: *ikana/ Ukana); *семь*: *s'eZ'um.

10. Веражения:

душа: *1i1; *дьявол*: *jo01os(-es) (? > *jo(P)1s); *курган*: *rapo(-e) (*класть*: *rane- /-Э-); *хоронить* (по христианскому обряду): *karoni-.

По своему происхождению мерянская лексика делится на исконные финно-угорские элементы разной хронологической глубины и, соответственно, генетических связей (уральские, финно-угорские, финно-пермские и т.д.) и заимствования. Совершенно четко разграничивать те и другие часто очень трудно, так как в каждом из

слоев исконной лексики могут быть заимствованные и включенные слова, настолько глубоко вросшие в нее и слившиеся с исконными лексическими элементами, что в настоящее время их почти невозможно различить. Эти, по-видимому, субстратные элементы должны хотя бы предположительно указываться для того, чтобы в последующих исследованиях мог быть окончательно установлен их характер.

Та же лексика, прежде всего исконная, будет рассмотрена ниже по отдельным праязыковым генетико-хронологическим слоям, причем в пределах каждого слоя будет приведена в составе названных ранее тематических групп. Далее, также в составе тематических групп, но в основном исходя из принадлежности к тому или иному языку-источнику будет дана заимствованная лексика. Итак, этимолого-лексикологический анализ мерянской лексики по происхождению позволяет выделить в ней следующие основные группы.

ИСКОННАЯ ФИННО-УГОРСКАЯ ЛЕКСИКА

Лексический слой
уральского происхождения

1. Местоимения и служебные слова: *этот*: *si (фин. se «этот», эст. see «то же», морд. Э се «тот; этот», морд. М ся «то же», мар. sede «тот», хант. si «тот, этот»; нган. sete «он» < урал. *Ci/Ce) (ОФУЯ 399);

я: *ma (фин. mina, та «я», эст. mina, та, саам. Н мон, морд. мон, мар. мый, мар. Г мынь, удм. мон, коми ме, хант. (каз.) ма, манс. am, венг. Еп «то же» (engem «меня»); нен. мань «я», эн. mod'i, нган. mannag, сельк. map, кам. map, койб. монь, матор. мань < урал. *mi-na/*me-na «то же») (ОФУЯ 399; Janhunen 86).

2. Названия органов, частей тела, выделений и болезней живого организма:

перо: *tolGe (саам. Н dol'ge «перо», морд. толга, удм. тылы, коми тыв «то же», хант. (каз.) тухал, тухал «крыло (птицы)», манс. товыл «то же», венг. toll «перо»; нен. то «крыло (птицы)», эн. tua, нган. t'u 116

t'ua «то же», сельк. tu «перо, крыло», матор. ту «перо», туда «крыло» < урал. *tulka «перо, крыло») (ОФУЯ 400; MSzFUE III 637; Janhunen 166);

3. Названия, связанные с родством: *отец*: *at'a/*aCa (фин. ati «тесть, свекор», atti «отец», эст. att, ген. ед.ч. ati «то же», морд. атя «старик», мар.

ача «отец; свекор», мар. Г атя «отец», удм. атай «то же», венг. atya «отец; монах»; эн. at'a «отец!» (при обращении), нган. t'a «то же» < ? урал. *at'a/*at'i) — сомнение в существовании родства вызывается возможностью заимствования части слов (напр., удм.), а также самостоятельного их развития в отдельных языках (MSzFUE I 100-101).

4. Природа:

а) элементы, формации и явления природы: *болото*: *него(-е) (фин. ного «ложбина, болотистая лощина», эст. поги «сток воды; маленький, слабо текущий ручей», мар. норо «сырой; влажный», удм. нюр «влага, сырость; болото», коми нюр «болото», хант. (каз.) нёрум «то же», манс. няр «болото (моховое,

без травы)), венг. *puirok* «сырость, влажность; (анат.) лимфа»; ? эн. пог «бессточное озеро, превращающееся при пересыхании в болото», сельк. *njaг* «(торфяное) болото; тундра» < урал. *Погз «болото; влажный») (MSzFUE III 486-487; ОСНЯ II 89);

дуть: *pu(j) (на основе которого собственно мерянское *вьюга*: *pujeGa) (морд. Э *пувамс* «дуть», мар. *пуаш*, хант. (вост.) pOyta, манс. *пувлуцкве* «то же», венг. fUjni «дуть; веять; трубить»; нен. *пуць* «подуть; раздуть (огонь)», эн. fuegabo «дуть», нган. fuarUma «то же», сельк. p'Ua B «(я) дую», кам. phu'bl'am «то же», койб. *публя* «(он) дует», матор. *халнамь* «дую» < урал. *puw3- /*puу3-) (MSzFUE I 219; Janhunen 128-129);

огонь: *tule (фин., эст. tuli «огонь», саам. N dolia, морд. *тол* «то же», мар. *тул* «огонь; костер», мар. Г *тыл* «то же», удм. *тыл* «огонь», коми *тыв* (в сложном слове *тывкорт* «огниво», где *корт* «железо»); нен. *ту* «огонь», эн. tu, нган. tui, сельк. tu, кам. зш, койб. *сы, сю*, аб. thuу, матор. tui, тайг. *туи*, караг. *дуй* < урал. *tule (ОФУЯ 403; SKES V 1388-1390; Janhunen 166);

река: *juk < ст. *joGe (фин. joki «река», эст. jogi, саам. N jokka «то же», ? морд. М *Ев* «р. Мокша», ? мар. Г *йогы* «течение, поток», удм. *юшур* «река» (шур «река»), коми *ю*, ? хант. (каз.) *юхан* «речка», ? манс. *я* «река», венг. ст. jo; нен. *яха*, эн. *јаһа*, сельк. *ке* «то же», кам. t'aya «река, речка, ручей», матор. *чага*, тайг. *чага* «то же» < урал. *joke «река») (ОФУЯ 403; MSzFUE II 339-340; Janhunen 35);

б) растительный мир:

гриб: *rag(G)a/*pog(G)a (морд. Э *панго* «гриб», морд. М *панга*, мар. *по/гго*, мар. Г *понгы* «то же», манс. *patjx* «мухомор», хант. (вост.) pa^ «то же», pagkelta «шаманить, наевшись мухоморов»; нган. ст. fanka- < *rag- ka- «быть пьяным (от мухоморов)» < урал. *ragka «гриб») (Alvre II 57; Collinder 408; Терещенко Нган. яз. 35-36);

в) животный мир:

ворона: *0arak(e) (фин. varis, ген. ед.ч. variksen, эст. vares, ген. ед.ч. varese, лив. varikS, саам. N vuо(r)а\$as, морд. Э *варака*, морд. М *варси* «то же», ? мар. *вараиш* «ястреб» (изменение значения, перенесенного на другую хищную птицу?), мар. Г *вараиш*, ? удм. *варыиш*, ? коми *варыиш* «то же», хант. (каз.) *вурнга* «ворона», манс. *ури* (нзква), венг. varju, акк. ед.ч. varjat; нен. *варцэ*, сельк. kweга, кам. bagi «то же», койб. bare «ворон», матор. *бере* «то же» < урал. *war3 «ворона») (ОФУЯ 404; КЭСКЯ 47-48; SKES V 1654-1655;

MSzFUE III 673-674; Janhunen 170);

гнездо: *peZe(a) (фин., кар., вод. pesa «гнездо», эст. pesa, вепс., лив. peza, саам. N bsse, морд. Э *пизэ*, морд. М *пиза*, мар. *пыжаиш*, мар. Г *пыжаиш* «то же», удм. *пуз* «яйцо», *пуз-кар* «гнездо» (где *кар* «гнездо»), коми *поз*, хант. (вост.) pal, манс. *пими*, венг. feszek «то же», ст. feze «его гнездо» < *peZ(e); нен. *пидя* «гнездо», эн. fide, fire, нган. pette, сельк. peD, кам. phida, койб. *пидэ* < урал. pesa «то же») (ОФУЯ 404; Alvre I 32, 78; КЭСКЯ 223; SKES III 531; MSzFUE I 205; Janhunen 126; Collinder 408);

журавль: *kurGa(-e) (фин. kurki «журавль», эст. kurg, ген. ед.ч. kure, лив. kurG, kurgез, саам. N guor'ga, морд. Э *карго*, морд. М *карга*; нен. *харё*, эн. kogi, сельк. k^a, кам. kuro, kuru'ju < урал. *kurk3 «то же») (Alvre II 40; SKES II 245; Janhunen 54);

рыба: *kol (фин., кар., эст. kala «рыба», вепс., вод. кала, лив. kala, саам. N guolle, морд. *кал*, мар. *кол*, хант. (каз.) *хул*, манс. *хул*, венг. hal; нен. *халя*, (ям.) *халэ*, эн. kare, нган. koli, сельк. qeli, кам. *коле*, койб. *кола*, матор. *challa*, тайг. -galae (в argalae «лосось речной (Salmo fluviatilis)»), караг. *кале* «то же» < урал. *kala «рыба») (ОФУЯ 404; Alvre I 27-28; SKES I 146; MSzFUE II 250; Janhunen 59; Collinder 406).

5. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

боязнь < *бояться*: *pelema (фин. pelkaan «(я) боюсь», эст. pelgama (peljata) «бояться», саам. N ballat, морд. *пелемс*, удм. (диал.) pulini, коми *повны*, хант. (каз.) *палты* (палты), манс. *пилуукве*, венг. felni; нен. *пилюць* «то же», эн. fiebo «(я) боюсь», нган. filitima, кам. p'i mнем «то же» < урал. *pele- «бояться») (ОФУЯ 405; КЭСКЯ 223; SKES III 516-517; MSzFUE I 198; Janhunen 124-125);

глотать: *Pele (n(p)оглотивший: n'el'sa) (фин. nielia «глотать (проглатывать)», эст. neelama, саам. N njieliat, морд. *нилемс*, мар. *нелаиш*, удм. *нылыны*, коми *нылавны* «то же», хант. (каз.) *нелты* «глотать с жадностью», манс. na it- «глотать», венг. nyelni «то же»; нен. *нала(сь)* «съесть жадно, быстро, большими кусками», эн. nodda «то же; глотать», нган. nalta «то же» < урал. *Pele- «глотать») (ОФУЯ 405; Alvre I 49; КЭСКЯ 199; SKES II 376; MSzFUE III 479);

жить: *ela(-e) (*безжизненный*: *il'Doma) (фин. elaa «жить», эст. elama, лив. je'lle, саам. N cellet, морд. *эрямс* «то же» < *el'ams, ср. морд. Э *эльнемс* «веселиться, ликовать; резвиться», морд. М *эле* «да (подтверждение)» < *эляй «живет», мар. *илаиш*, мар. Г *ылаиш*, удм. *улыны*, коми *овны*, хант. (каз.) *йил-палаты* «обновиться, ожить», *йилпи* «живун (незамерзающее место на реке)», манс. *ял-*

туукве «ожить; зажить (о ране)», ялуп «живун (глубокое место на реке, где зимой скапливается рыба)», венг. elni «жить»; нен. *иле(сь)* «то же», эн. jiredo ' «(я) живу», нган. nile-tm «то же», сельк. iliqo «жить», кам. d'ili «живой», тайг. *илиндё* «живо» < урал. *eЫ- «жить») (ОФУЯ 405, КЭСКЯ 203; SKES I 37-38; MSzFUE I 145-146; Janhunen 27; Ткаченко 134-143).

знать (чувствовать): tuDo- (знающий (чувствующий): *tuDo^a) (фин. tuntea «чувствовать; знать», эст. tundma, саам. Н dow'dat «то же», удм. *тодыны* «знать», коми *тодны* «то же», венг. tudni «знать; уметь; мочь»; нен. *тумдась* «узнать; отметить», эн. tuddabo «узнаю, угадываю», нган. tumtu'ama «угадываю», кам. t emnem «знать, понимать», койб. *тымнемымъ* «знаю» < урал. *tumte «знать < видеть») (ОФУЯ 405; КЭСКЯ 283; SKES V 1399-1400; MSzFUE III 646648; Janhunen 167);

класть: *pane(-e) > собств. мер. pano/-e «курган» (фин. panda «класть», эст. panema, лив. panda, морд. *панемс* «печь (хлеб) < класть (в печь); гнать», удм. *поныны* «положить; налить; обусть, надеть», коми (диал.) *пбнны* «обмануть; запутать», хант. (каз.) *пунты (пунтий)* «положить, надеть на голову», манс. *пинуукве* «положить; налить; надеть»; нен. *пэнзъ* «положить», эн. fugabo «кладу», нган. (ст.) fanu'ama, сельк. rennaB, кам. phell'im, койб. *палямъ* «то же», матор. *аннамъ* «закладываю», *хеннамъ* «кладу» < урал. pane- «класть») (Alvre I 87; КЭСКЯ 228; SKES III 483-484; Collinder 408);

(тяжелая) *болезнь* < *смерть:* *kolema (*сдыхать* < *умирать*; *kole-) (фин. kuolema «смерть», эст. (диал.) koolma «умирать < смерть, умирање», морд. *кулома* «смерть», мар. *колымаиш*, удм. *кулон*, коми *кулом* «то же», хант. (каз.) *хал'ты* «подохнуть», манс. *холунхве* «погибнуть; кончиться», венг. halni «умирать»; нен. *хась* «умереть», эн. kago' «(я) умираю», kado', нган. ku'am, сельк. kuang, кам. kuil'em, койб. *кулягандамъ* «то же», матор. *кайма* «мертвый», тайг. kchaima «то же» < урал. *kole- «умирать») (ОФУЯ 407; КЭСКЯ 143, SKES II 239; MSzFUE II 250-251).

Лексический слой финно-угорского происхождения

1. Служебные слова:

усилительные частицы (типа рус. -то, *жё*)| *-ka, *-ki (фин. -kaan, -kin, эст. -ki(-gi), морд. Э -как,

морд. М -га, мар. -ке (в *ике* «сам»), удм. -ке (*кин ке* «кто-то»), коми -ко (*код ко* «кто-то»), манс. -ki (amki «я сам», где am «я») < ? ф.-уг. *-ka, *-ki-, ср., возможно, также родственную кам. -ko/-ko, -go, -go усилит. частицу «и, же», свидетельствующую об уральских истоках данного явления, - ОСНЯ I 325-326) (Аристэ I 303; КЭСКЯ 137; Галкин 94; Хелимский 96-97);

нет (ничего): *nemen (удм. но- «ни» (но- кин «никто»), коми (-)ном (в *нинбм* «ничто, ничего»), нем «ничто, ничего», хант. *нэм* «не» (*нэмхулта* «никуда», где *хулта* «куда»), манс. *нэм* «не» (*нэмхот* «нигде; негде», где *хот* «где»), венг. nem (nem) «нет, не», не «не» при гл. повел. накл. < ф.-уг. (вост.) *namі «нет, не») (MSzFUE III 464-466);

и (союз): *pa (? ф. -ра, -ра (усилит. частица: ну и, ну уж, же, ведь, то, если бы, а вот), ? эст. -р (minar «именно я, это я», где mina «я»), ? удм. не «де, мол», ? коми по «мол, дескать», хант. на «и (союз)» < ф.-уг. *pɤ' (усилит. частица)). Если не подтвердится мысль о связи мерянского и хантыйского соответствий с явлениями других финно-угорских языков, что маловероятно, то следует считать данный факт одним из свидетельств древних мерянского-угорских языковых контактов (Аристэ I 303-304; КЭСКЯ 227).

2. Названия органов частей тела: *язык* (слово засвидетельствовано в переносном значении «речь») *jelma (-e) (саам. Н njal'bme «рот», мар. *йылме* «язык

(анат., лингв.)), мар. Г *йылмы* «то же», хант. (каз.) *нялум* «язык (анат.)», манс. *нелм, нёлум* «то же», венг. nyelv «язык (анат., лингв.)» < ф.-уг. *Palta «язык») (ОФУЯ 412; MSzFUE III 480-481).

3. Природа:

а) растительный мир:

вяз: *vol'a(-e) (фин. salava «ива ломкая», морд. Э *селей* «вяз», морд. М *сяли*, мар. *шоло*, венг. szil < ф.-уг. *Sala «то же») (ОФУЯ 414; SKES IV 954; MSzFUE III 587);

кора: *kere (фин. kerі «новая кора на березе, выросшая на месте содранной», эст. (ст.) кере «лыко, луб», саам. Н garra «кора», морд. Э *керь* «лубок, кора», морд. М *кяр*, мар. кур, мар. Г *кыр*, удм. кур «то же», коми *кор* «кожура, шелуха», хант. (вост.) каг «кора, кожура; струп, короста», манс. ker «кора; кожура», венг. kereg «^ра, корка, скорлупа», ст. ker «кора» < ф.-уг. *kere «кора, корка») (ОФУЯ 415; КЭСКЯ 133; SKES I 183; MSzFUE II 353);

ягода: *mar(e) (фин. marja «ягода», эст. marі, ген. ед.ч. marja, лив. moga, саам. Н tuor'je «то же»,

морд. М *марь* «яблоко < ягода», мар. *мор* «ягода (обычно о землянике)», хант. (вост.) *murер* «гроздь ягод», манс. *мори* «гроздь» < ф.-уг. **marja*) (Alvге I 51; SKES II 334; Collinder 412);

б) животный мир:

собака: **pen*(е) (фин., эст. *peni* «собака», саам. Н *bffina*, морд. *пине*, мар. *пий*, удм. *пуны*, коми *пон*, венг. *fene* < **репе* «язва, злой, лютый, свирепый» (в ругательствах *fene ege meг* «пусть съест тебя *fene* (? собака)», ср. рус. *пёс тебя заешь!*) < ф.-уг. **репе* «собака») (ОФУЯ 416; КЭСКИЯ 224-225; SKES III 517-518; MSzFUE I 200);

собака (молодая): **kut'a*(-е) (эст. *kutsikas* «щенок», ? морд. М *кутю* «сережка (на дереве)» < (перен.) «щенок, котенок», ср. укр. *котики* «сережки (на вербах)» в связи с их пушистостью, мягкостью, удм. *кучани* «щенок» (*ни* «детеныш»), коми *кутян* (*кути*, *кутю*, *кутюй*) «щенок», хант. (каз.) *кетюв* «то же», манс. *кутюв* «собака», венг. *kutya* «то же» < ф.-уг. **kut'a*/'u «(молодая) собака»); в финно-угристике до последнего времени словом финно-угорского происхождения не признавалось, расцениваясь как звукоподражательное (MNTESz II 686-687), однако поражает обилие финно-угорских параллелей, что вынуждает отдельных исследователей высказывать предположение о его финно-угорских истоках (КЭСКИ 147); обращает на себя внимание и самодийская параллель: нен. *хутю* «молодая собака; (дет.) собака»; не исключено, что речь идет о древнем заимствовании неизвестного происхождения в финно-угорских или — шире — уральских языках;

в) минералы:

камень: **ki*(p)/**ku* (фин., эст. *kivi* «камень», морд. *кев*, мар. *ку* «то же», удм. *ко* «жернов», коми *изки* «то же» (*из* «камень»), хант. *кев* «камень», манс. *кар* «камень; жернов», венг. *kő*, акк. ед.ч. *kővet* < ф.-уг. **kiwe* «камень») (ОФУЯ 417; КЭСКИЯ 123; SKES I 203; MSzFUE II 368-369).

4. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

быть: **jole*- (*пусть будет*: **jolus*; *бывший*: **ul'sa*) (фин. *ol¹* «быть», эст. *olema*, морд. *улемс*, мар. *улаш*, удм. *вал* «был», коми *волі* «то же», хант. (каз.) *вел¹ ты* «жить; быть; находиться», манс. *олуукве* «быть, иметься, жить; содержаться; находиться, состоять», венг. *volt* «был» < ф.-уг. **wole*- «быть») (ОФУЯ 417; КЭСКИЯ 67; SKES II 427428; MSzFUE III 669-671);

видеть, смотреть: **пар*- > вот: *jou* (фин. *nahda* (*nakee*) «видеть», эст. *nagema* «то же», саам. Н *niegadit* «видеть во сне», морд. Э *неемс* «видеть»,

морд. М *няемс* «то же», удм. (диал.) *паани* «рассмотреть», хант. (вост.) *nita* «виднеться», манс. *нэглу¹кве* «появиться, показаться», венг. *nezni* «смотреть» < ф.-уг. *nake*- «видеть, смотреть») (ОФУЯ 417; SKES II 410; MSzFUE III 470);

кормить < *давать*: < **anDo*- (кормящий < дающий: **anDora*) (фин. *anta* «давать», эст. *andma* «то же», саам. Н *vuow'det* «продавать», морд. андомс «кормить», удм. *удыны* «напоить», коми *удны* (в парном сочетании *вердны-удны* «кормить-поить», где *вердны* «кормить»), венг. *adni* «давать» < ф.-уг. **amta*- «то же») (ОФУЯ 418; КЭСКИЯ 295-296; SKES I 20; MSzFUE I 69).

5. Названия, служащие для выражения различных качеств, свойств (прилагательные): *черный* < *ржавый*: **som* < *same* (фин. *hamu* «сумерки», морд. Э *чемень* «ржавчина; суховей; мгла», морд. М *шямонь* «ржавчина; накипь», мар. *шеме* «черный», мар. Г *шим* «то же», удм. *сыномыны* (*сыныни*) «ржаветь», коми *сім* «ржавчина; ржавый; смуглый; буроваточерный, темный», хант. *сами* (*самИ*) «ржавчина», манс. *сэмыл* «черный», венг. *szenny* «грязь» < ф.-уг. **sēm3* «ржавчина; ржавый») (КЭСКИЯ 258). Этимология признана не всеми, часть ученых сближают только марийскую и пермские параллели, выводя их из ф.-перм. **sim3* (ОФУЯ 427).

6. Слова, обозначающие жилище, занятия, питание:

масло: **ʌoj* < **Paje* (намамливание: **Pojlema*) (фин. *voi*, эст. *või* «масло», лив. *viū*, саам. Н *vuoggja*, морд. Э *ой*, морд. М *вай*, мар. *уй*, удм. *вой* «то же», коми *вый* «масло; жир (рыбий)», хант. (каз.) *вуй* (*вуй*) «жир, сало», манс. *вой* «жир; масло», венг. *vaj* «масло» < ф.-уг. **woje* «то же») (ОФУЯ 422; КЭСКИЯ 71; SKES VI 1803-1804; MSzFUE III 666-667).

7. Числительные:

один: **ik*(е)/**Uk*(е) (один, уменьш.: **ikana/Ukana*) (фин. *yksi*, ген. ед.ч. *yhden* «один», эст. *U ks*, ген. ед.ч. *Uhe*, саам. Н *ok'ta*, морд. Э *вейке*, морд. М *фкя*, уменьш. *фкяня*, мар. *ик* (*йкте*), удм. *одиг* (ог), коми *отик* (*оту*), ? хант. ит, ? манс. *акв* (*аква*) < ф.-уг. **ikte*/**Ukte*) (ОФУЯ 423; КЭСКИЯ 212; SKES VI 1856-1859).

8. Верования:

душа < *дыхание, дух*: **lil'* (фин. *louly* «пар (в бане)», эст. *leil*, ген. ед.ч. *leili* «пар; душа, жизнь», саам. Н *liew'la* «пар (особенно в бане)», удм. *лул* «душа, дыхание, жизнь», коми *лов* «душа, дух,

жизнь», дперм. lol «то же», хант. (вост.) lil «жизнь; дыхание; дух; душа», манс. lili «дыхание; душа», венг. lelek «душа, дух; сердце; совесть; лицо (человек); дыхание; жизнь, самосознание», ст. (X в.) Lele «имя венгерского вождя» < ф.-уг. *lewle «дыхание, дух, душа» (ОФУЯ 424; КЭСКЯ 160; SKES II 323; MSzFUE II 397-398; Чернецов-Чернецова 78).

Лексический слой
финно-пермского происхождения

1. Названия, связанные с родством:

женщина (старуха): *kU^a (? ф. kave «живое существо, человек; девочка, девушка; овечка; лесной зверь; мифологическое существо», ? эст. (диал.) kabo (kabe) «девушка, женщина», ? саам. Н gaba «жена», мар. кува «старуха», мар. Г кувы «свекровь, теща», кыва «тетушка (в почтительном обращении)», удм. (юж.) куба «свекровь» < ф.-перм. *k3^3 «живое существо, создание» < и-е. *skab «творить, создавать») (SKES I 175).

2. Природа:

а) элементы, формации и явления природы: *ложбина, низина*: *lot^ma/locma(-e) (фин. (диал.) lotma (lotmo) «долина», кар. lodma, морд. Э лашмо «то же; низкое болотистое место», морд. М лашма «лощина, долина», коми лажмыд «невысокий, приземистый; отлогий, пологий, покатый; неглубокий, мелкий» < ф.-перм. *lfCmf «низина; низкий») (КЭСКЯ 156; SKES II 301);

б) растительный мир:

дуб: *toma(-e) (фин., кар., вод. tammi «дуб», эст. tamm, ген. ед.ч. tamme, лив. tam, ген. ед.ч. tam, морд. Э тумо, морд. М тума, мар. тумо, мар. Г тум, удм. тылы, коми (дперм.) тупу «то же» (удмуртское и коми слова, очевидно, восходят к общепермскому *tU- pU < ? раннеперм. *tUm-pU) < ф.-перм. tfm3- «дуб», КЭСК 286). Данная точка зрения разделяется не всеми, часть исследователей отделяет пермские слова от финских (прибалтийско-финских, мордовских и марийского); наиболее оправданным представляется предположение о финно-пермском характере слова и его заимствовании из индоевропейского языка протославянского-го типа, ср. псл. *dob^ (ЭССЯ V 97), в таком случае за исходную следовало бы принять финно-пермскую праформу *t£mp<? с разным ее развитием в финской и пермской ветвях;

в) животный мир:

белка: *Ugma(-e) (фин. ogava «белка», эст. ogav, саам. Н oag^re, морд. ур, мар. ур, коми ур < ф.-перм. *ora) — в прибалтийско-финском и

мерянском присоединен частично видоизмененный суффикс -va(*-pa) < *-^a < *pa, отсутствующий в других языках (ОФУЯ 428; КЭСКЯ 297-298; SKES II 436; Хакулинен I 125-126);

орел: *kutke (фин. kotka «орел», эст. kotkas, саам. Н goas^kem, морд. куцкам, мар. кучкыж «то же», куткыж «беркут», удм. (диал.) kuts «птица, похожая на орла, но меньше размером», кыч (чуньы-кыч) «ястреб-тетеревятник», коми кути «орел» < ф.-перм. *koCka «то же») (ОФУЯ 429; КЭСКЯ 148; SKES II 224).

3. Названия для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы):

мочь: |Joj(mo)- (могущий: roj(mo)£a) (фин. voida «мочь», voima «сила, энергия; здоровье; власть», эст. voima «мочь», voim «власть; могущество; сила, мощь», ? коми (уст.) ойос «сила» < ? ф.-перм. *voi- «мочь, быть в состоянии; сила») (КЭСКЯ 204; SKES VI 1804-1805);

разрыв < разорвать: *seZema (морд. Э сеземс «сорвать, оторвать; (обл.) перейти, переехать (через что-либо); (обл.) отойти (от кого-либо, от чего-либо)», сезема «обрывание, срывание», морд. М сяземс «разорвать, вырвать; оторвать, сорвать; взорвать; порвать, расторгнуть», сязема «разрыв, расторжение», ? удм. сузямы «чистить, вычистить», ? коми сэзьны «поддать пару; открывать суслоны (снимая верхние снопы); снимать крышку» < ? ф.-перм. *ses- «срывать (вырывать), открывать») (КЭСКЯ 271-272).

4. Числительные:

семь: *s'eZ'um (фин. seitseman «семь», эст. seitse, саам. Н cie^, морд. сисем, мар. шым, мар. Г шым, (диал., вост.) sisi.m, удм. сизьым, коми сизим < ф.-перм. *segCema) — заимствование из какого-то индоевропейского языка, по-видимому, славяно-балтийского типа (КЭСКЯ 255; ОФУЯ 433; SKES IV 991).

Лексический слой
финского происхождения

1. Природа:

а) элементы, формации и явления природы: *дым, дымить*: *sap- (фин. savu «дым», эст. (диал.) saV, ген. ед.ч. sau «дым, легкий туман», лив. sau «дым», саам. Н suovva, морд. Э сувтамс «окуривать», морд. М сфтамс, фон. seftams «то же; подкуривать (пчел)» < пфин. *s^p- «дым, дымить») (SKES IV 986-987);

озеро: *iaBge(-e) (фин. järvi «озеро», эст. järv,

лив. joga, саам. Н jaw're, морд. Э эрьке, морд. М эрьхке, мар. ер, мар. Г йар < пфин. ^ay^)^ < *jakere < и-е. (диал., протосл.) *jagega/-o- «озеро», местн. п. jagere «в озере»). Формы всех финских языков восходят к прафинской, в мордовских языках к ее рефлексам присоединен уменьш. суф. -ке (SKES I 132); слово, видимо, является заимствованием из индоевропейского (скорее всего, протославянского) языка, с носителями которого финны вошли в контакт в Волго-Обском междуречье;

б) растительный мир:

верба: *sa rne (фин. saarni «яшень», эст. saag, ген. ед.ч. saage, лив. sa gna «то же», мар. *шертне* «верба», мар. Г *шартни* «то же» < пфин. *sa rtne «яшень(?)») (SKES IV 939);

в) животный мир:

корова: *l'eima(-e) < *lesma (фин. lehma «корова», эст. lehm, лив. ni'em, ni'eme «то же», морд. Э *лишме* «лошадь», морд. М *лишме* «конь (только о красивом или игрушечном коне)» (SKES II 284) < пфин. *lesma «кобыла (дойная)» < *lasa-ema «лошадь-самка» < дбулг. *lasa (ср. чув. *лаша* — Егоров 126) «лошадь, конь» + пфин. < урал. *ема «мать; самка») (ОФУЯ 402);

рябчик: *muZa(-e) (? ф. metso «глухарь», эст. metsis «то же», мар. *музо* «рябчик», мар. Г *мызы* «куропатка» < ? пфин. *metso «дикая птица из рода куриных») (SKES II 343).

2. Названия для выражения различных качеств, свойств (прилагательные):

мало: *pahe (фин. vahan «мало», vaha «малый», эст. vahe «мало», морд. Э вишка «малый, маленький», *веж(гель)* «язычок (букв. — маленький язык)», где -кель > -гель «язык», *веженсь* «младший, меньший» < пфин. *va se «малый, мало» < пгерм. *w0ha-, ср. дангл. wah «тонкий, мелкий»). Известные трудности при объяснении возникают в связи с консонантизмом: переход пгерм. -h- > пфин. -s- (SKES VI 1830-1831).

Некоторую часть мерянской лексики составляют слова, общие со словами одной финно-угорской языковой группы, с одним или двумя финно-угорскими языками определенного ареала. К ним принадлежат слова, общие: 1) с прибалтийско-финскими (иногда также саамским); 2) с марийским и мордовскими; 3) с марийским; 4) с мордовскими; 5) со словами угорских языков в целом или одного из них. В настоящее время можно только отметить это сходство и в редких случаях, когда существуют явные исконно мерянские параллели подобных лексем, говорить об их заимствованном характере. Не исключено, что дальнейшие исследования позволят

установить, что среди отмеченных слов, общих для мерянского и данных языков, имеются и другие случаи заимствования мерянским языком инофинно-угорской лексики.

Предполагаемые мерянские слова,
имеющие соответствия в прибалтийско-
финских (и саамском) языках

1. Природа:

а) элементы, формации и явления природы: *берег* (низкий, заросший высокой травой): *0ana(-e) (? ф. vana «след, тропа, русло реки», кар.-ливв. vana «низина, заросшая травой») (SKES V 1631-1632);

б) животный мир:

кукушка: *kaGa(-e) (фин. kake «кукушка», кар., вепс. kagi, вод. cako, эст. kagu, ген. ед.ч. kao, лив. k'ag, саам. Н giekkka «то же» < ? балт., ср. лит. gege/ gege) (SKES II 259);

хариус: *sorjes (фин. harjus «хариус», кар. harjuS, вепс. hargus < ? пгерм. harzus, швед., норв. harf «то же»). Прибалтийско-финские языки могли быть только посредниками при усвоении мерянским германского слова, однако в случае принятия возможности его германского происхождения трудно объяснить соответствие мер. s- герм. h-, следовательно, слово может быть либо финно-угорским, либо заимствованным прибалтийско-финскими и мерянским языками из какого-то другого (негерманского) языка (SKES I 50; Востриков I 46-50).

2. Названия для обозначения действий: *хотеть (желание)*: *tohte(-) (фин. tahtoa «хотеть», эст. tahtma «то же», саам. Н duos'tot «идти навстречу; отвергать; отвечать») (SKES IV 1195, 1196).

3. Слова, обозначающие жилище, средства передвижения:

путешествие: *matkoma (*путь*: *mat < *matk(e)) (фин. matka «путь», matkata «путешествовать», эст. matk «путешествие», matkama «путешествовать», саам. Н muot' ke «конец санного полоза; путь») (SKES II 337);

сарай: *koju (фин. koju «будка, шалаш (из хвой)», кар. koju «будка; верх повозки» < швед. koja «избушка; будка; шалаш»), следовательно, мерянское слово скорее всего является заимствованием из германских (скандинавских) языков, где посредниками были прибалтийско-финские языки (SKES II 208; Востриков II 28-29).

Случаи соответствий с марийским

1. Слова, связанные с родством:

старшая сестра, тетя (крестная мать):

**ko*ka (мар. *кока* «тетка, тетя», морд. Э *кака* «дитя, дитятко»).

2. Природа (растения и животные):

а) растения:

гнилушка: **maksa*(-e) (мар. *мекиш* «гнилушка», мар. Г *макиш*, морд. Э *макишо*, морд. М *макиша* «то же») (Востриков II 31);

конопля: **moska*(-e) (морд. Э *мушко* «конопля; кудель», морд. М *мушка* «волокно; кудель», мар. *муш* «пенька; кудель») (Халипов 129-131);

б) животные:

лось: **sorDe* (мар. *шордо* «лось», морд. Э *сярдо* «то же») (Vasmer 377).

Только в марийском языке обнаруживается соответствие мерянскому слову со значением «крапива»: **nus* (мар. *нуж* «крапива») (Vasmer 418).

Только в мордовских языках были обнаружены соответствия следующим мерянским словам:

(обозначения действий) *сказать, говорить:* **mere*/-e- (*скажи:* **mer*ek) (морд. Э *меремс* «сказать, приказать», морд. М *мярьгомс* «сказать, велеть, приказать; говорить (в роли вводного слова: *мярьган* «говорю» и т.п.)); (обозначения качеств, свойств) *красивый:* **maZe*(j) (морд. Э *мазый* «красивый», морд. М *мазы* «то же») — в последнее время сближаются также с удм. *мусо* «милый, дорогой», коми *муса* «милый, любимый» (КЭСЯ 179), в таком случае слово относится к финно-пермскому лексическому слою; *сильный (здоровый):* **paDra* (морд. Э *вадря* «хороший, красивый; добрый», морд. М *вадря* «гладкий, приглаженный (о волосах, шерсти, ворсе)»; (слова, связанные с занятиями): *перемет:* **peD'ta* (морд. Э *ведьме* «повод, ремень (узды и т.п.); завязка, бечевка; конец, обрывок нитки») (Востриков II 28).

К числу лексем, надежные соответствия которым обнаруживаются только в угорских языках, относятся связанные с действиями и занятиями, а также обозначением места

жительства, поселения: *делать:* **para*- (*делающий, дельный (быстрый):* * *Parana*) (хант. (вост.) *warta* «делать, сделать», *werta* «то же», манс. *варуукве* «делать, сделать, изготовить, приготовить; строить, построить, устроить; создавать, создать: свершать, совершить; оказать (помощь); выработать»); *деревня:* **palo*(-э) (хант. (вост.) *puysl* «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)», манс. *павыл* «деревня; поселок; селение», венг. *falv*, мн.ч. *faluk/ falvak* «деревня», ? ф. *Palvala*, (название деревни), ? кар. *palvi* «место жительства»). Изолированность прибалтийско-финских слов заставляет считать их заимствованиями (включениями) из других финно-угорских

(угорских или саамского ?) языков; более надежна связь с угорскими словами у саам. *balges* «место выпаса оленей», видимо, напрасно отвергаемого (MSzFUE I 181) < угор. (ф.-уг.?) **palY3* (MSzFUE I 180, 181; Серебр. Происхожд., 179).

Особое место среди лексики финноугорского происхождения занимает мер. *agka* «галка», представляющее собой образование, возникшее, по-видимому, на основе соответствующего прафинско-угорского слова, ср.: ф. *naakka* «галка», кар. *noakka*, вепс. *nak*, *nak*, эст. *hakk*, морд. *чавка*, мар. *чайга*, удм. *чана*, коми *чавкан*, венг. *csoka*. Если предположить общее происхождение указанных финно-угорских слов, что оспаривается ввиду возможности их звукоподражательного характера и независимости развития (КЭСЯ 300, MNTESz I 547-548), то, исходя из праформы **Cagka* и принимая ее до известной степени аномальное развитие (преимущественно в прибалтийско-финских языках), можно считать это слово связанным как с прибалтийско-финскими языками, так и с восточной группой финно-угорских языков. Однако ввиду нерешенности этого вопроса в настоящее время нельзя определить с точностью отношение мерянского слова к другим возможным его соответствиям, расценивая его как собственно мерянское образование на основе исходного финно-угорского лексического материала. Следовательно, при оценке мерянского словаря в его взаимоотношениях с финно-угорской лексикой родственных языков данное слово пока не может учитываться.

ВЫВОДЫ

Рассмотрение проанализированных выше 68 корневых мерянских слов финно-угорского (и

уральского) происхождения, к числу которых частично отнесены и наиболее древние возможные

заимствования (субстратные включения), позволяет установить, что из них с прибалтийско-финскими языками связаны 52 слова, с мордовскими — 48, с марийским — 38, с пермскими — 36, с саамскими и обско-угорскими — по 31, с венгерским — 28, с самодийскими — 21 слово. Следовательно, в процентном выражении реконструированная часть мерянской лексики обнаруживает соответствий в прибалтийско-финской лексике 76,5%, в мордовской — 70,6, в марийской — 55,9, в пермской — 51,5, в саамской — 44, в обско-угорской — 44, в венгерской — 41,2, в самодийской — 31%.

При всей предварительности приведенных соотношений обращает на себя внимание тесная связь мерянского с финнопермскими языками. На основании указанных данных мерянский язык в лексическом отношении можно определить как финнопермский, преимущественно финский, поскольку наибольшие связи у него обнаруживаются с прибалтийско-финскими и мордовскими языками.

С финно-пермскими языками мерянский объединяют не только исконные, но и частично древние заимствованные элементы, к которым наряду с лексикой предполагаемого балтийского (*kaGa «кукушка») или германского (*rahe «мало», *koju «сарай») происхождения относятся отдельные индоевропейские слова, возможно, прото-славянского происхождения (*jahre «озеро», *s'eZ'um «семь», *toma(-e) «дуб»). Как и прибалтийско-финские и мордовские языки, мерянский заимствовал, по-видимому, также древнеболгарское слово *laSa «лошадь», образовав на его основе собственно ф. *lejma.

Наряду с этой наиболее древней частью заимствованной лексики, общей у мерянского с другими финно-угорскими, прежде всего финно-пермскими, языками, мерянский обнаруживает более своеобразные, преимущественно собственные, заимствования. Интенсивные связи мерянского с угорскими языками отразились не только в области исконной лексики, где доля общих элементов относительно высока (41,2-44%), но и в заимствованиях. Обнаруженное заимствование *hali-/e- «умирать» относится к числу наиболее важных понятий. Вместе со своеобразным семантическим развитием лексемы *lil' < ф.-уг. lewle «душа», общим для мери и угров (а также пермян) и чуждым остальным финно-уграм, оно может свидетельствовать о тесных связях мери и угров, в частности в области верований.

К другим, не финно-угорским языкам, явившимся источником заимствований и включений, относятся болгарский, балтийские, греческий, славяно-русский и индоевропейский (фатьяновский, — очевидно, протославянский).

Болгарский был для мерянского источником пополнения понятиями, относящи- **124**

мися к хозяйственной деятельности. У болгар (вместе с прибалтийскими финнами и мордовцами) меряне, по-видимому, заимствовали основы молочного скотоводства, связанного с доением сначала кобыл, затем коров, на которых было перенесено гибридное болгаро-финское название лошади-самки. От них же меря переняла

огородничество, которому болгары, в свою очередь, учились у иранцев (*pahCa «овощи (свекла, брюква, огурцы)»).

Связи с балтийцами могли осуществляться как с помощью прибалтийских финнов, так и непосредственно. У балтийцев заимствовались, в частности, названия ремесленных изделий (*kir^as «топор»). С ними меря вступала в непосредственные торговые и меновые контакты, при которых в качестве языка-посредника использовался балтийский (*kolBe(-a) «разговор, речь», *kolBa- «разговаривать»).

С греческим языком меря столкнулась в связи с христианизацией. Отсюда, видимо, первыми миссионерами-греками, заимствовались термины, связанные с христианской религией (*jo^los «дьявол»).

Более сложные лексические связи были у мерянского со славянским языком. Их следует, по всей видимости, разделить на два основных периода. Начало первого относится к I тыс. до н.э., когда (прото)меря в своем движении на запад и расселении на исторически засвидетельствованном месте обитания в области Волго-Окского междуречья застала там индоевропейское население — носителей фатьяновской культуры. Часть этого населения, судя по словам, заимствованным у него мерей (отчасти и другими финнами и пермянами), могла быть связана с этносом, сформировавшимся впоследствии на другой территории в праславянский. Собственно мерянскими словами, включенными из этого субстратного языка протославянского типа, могли быть такие лексемы, как *^en (ед.ч.), ^nek (мн.ч.) < *dwani «(деревянные) двурогие вилы» и *cole < *colu «здоров(ый)» (в частности, как компонент приветственной формулы). Заимствования из этого языка протославянского (или близкого к нему) характера, имевшего, возможно, своеобразный путь развития, не полностью совпадавший с линией

эволюции будущего праславянского, носили характер субстратных включений, так как он растворился в мерянском (и других смежных финно-угорских языках) задолго до того, как меряне вошли в контакт с подлинными славянами — носителями прото(велико)русских диалектов древнерусского языка. Поскольку ассимиляция произошла, очевидно, не сразу и могла длиться несколько веков, в мерянский, как и другие финские языки, слова этого языка могли включаться на разных стадиях его развития.

Ко второму периоду (X-XVIII вв. н.э.) относятся языковые связи мери со славяно-русским населением, где все больший перевес оказывался на стороне славян, в связи с чем меря постепенно полностью перешла на их язык. На первом этапе контактов с носителями славяно-русского языка, когда меряно-славянское двуязычие не стало еще массовым явлением, из славянорусского языка заимствовались слова, обозначающие понятия, до того не известные мерянам. К ним, в частности, относится мер. *koroni (-ms) < друс. *хоронити* «хоронить», видимо, первоначально относившееся к новому (христианскому) похоронному обряду, заимствованное у славян. На позднем этапе контактов со славяно-русским > (велико)-русским населением при развившемся среди мери двуязычии могли заимствоваться также слова,

имевшие соответствия в мерянском и употреблявшиеся наряду с ними в качестве синонимов. К ним, видимо, относится (поздне)мер. *тама, засвидетельствованное (пережиточно) в мер. зват. *тамај — рус. (диал., яросл.) *иуайи*/Случаи подобного рода заимствований, вызванных отчасти мотивами престижности языка-источника, известны и другим языкам, ср. нем. Мама < фр. *matan* при нем. *Mutti*, нем. Рапа < фр. *papa* при нем. *Vati* (Kluge-Mitzka 457, 530).

Анализ реконструированной части мерянской лексики, свидетельствуя о несомненном финно-угорском (и уральском) происхождении большинства ее слов и о связях в древнейших заимствованиях с другими финно-угорскими языками, показывает в то же время ее своеобразие как в исконной части словаря, так и в заимствованиях и субстратных включениях. Обе эти части мерянской лексики выделяются на фоне лексики других финно-угорских языков формальным и семантическим своеобразием элементов, общих с другими финно-угорскими, а также их своеобразным сочетанием. Специфика мерянского словаря создается также наличием в нем лексических заимствований и субстратных включений, не известных другим финноугорским языкам. Черты своеобразия и свя

зи мерянского с другими родственными и неродственными языками, достаточно заметные даже при анализе небольшой, поддающейся в настоящее время воссозданию части его лексики, должны еще более проявиться при дальнейшей реконструкции и углубленном этимологическом исследовании мерянского словаря.



Резные изделия
из кости
в могильниках.
[22, стр. 136]

ФРАЗЕОЛОГИЯ

Исходя из имеющихся данных, мерянский язык следует отнести к мертвым языкам, не имеющим письменных памятников в виде связных текстов или хотя бы разрозненных предложений. Однако степень его бестекстности относительна. Мерянский язык передал, видимо, русскому (особенно областному) языку часть своих фразеологизмов, а значит и соответствующих минимальных текстов-предложений в виде калек, в которых отразился только во внутренней форме [Ткаченко СИФСФУЯ: 227-235]. Однако в случае реконструкции соответствующих мерянских слов в их фонетических и грамматических формах есть возможность восстановить и внешний облик соответствующих мерянских фразеологизмов, а тем самым — и небольших текстуальных фрагментов мерянского языка. Наряду с подобными оборотами есть и фразеологизмы, которые в русских говорах на бывшей мерянской территории восходят непосредственно к мерянскому языку. Как и калькированные мерянские фразеологизмы, они принадлежат, как правило, к языковым формулам (формулам речи), являющимся едва ли не наиболее стойкими из фразеологических оборотов. Реконструкция и интерпретация данных предложений-фразеологизмов, конечно, проще, чем реконструкция исходных мерянских оборотов на основе их калек, однако имеет свои специфические трудности, объясняемые как тем, что упомянутые выражения ввиду их частой употребляемости подвергаются эллиптизации, так и тем, что в силу их инородности в русской речи они подверглись определенным видоизменениям.

Восстановление любого мерянского фразеологизма, представляющее интерес прежде

всего с точки зрения фразеологии и синтаксиса, требует и всестороннего фонетического, грамматического и лексико-семантического анализа, связанного с этимологическим истолкованием и синтезом полученных результатов, при котором одинаково важны и сопоставительно-типологический подход, и сравнительно-исторические данные финно-угорских языков. Поэтому вопрос о реконструкции мерянских фразеологизмов дает возможность через нее взглянуть конкретно и на общую проблему восстановления дославянских языковых субстратов.

К числу подобных фразеологизмов принадлежит русский (диалектный) приветственный оборот *Елусь поелусь*, записанный в бывшем Солигаличском уезде Костромской губернии (ныне Солигаличский р-н Костромской обл.). В «Словаре русских народных говоров» [СРНГ VIII: 349] он объясняется как «хлеб да соль (приветствие во время обеда)». Выражение записано в первой половине XIX в., поскольку в XVIII в. диалектные слова и выражения почти не записывались, кроме того, данное выражение впервые фиксируется в «Опыте областного великорусского словаря» 1852 г., где предпринята и попытка его объяснения:

«Елусь (сов. *поелусь*) повелительное наклонение, употребляется во время обеда, в виде приветственного междометия: хлеб да соль» [ООБС: 54]. Таким образом, составители словаря (а возможно, еще лицо, записавшее выражение) воспринимали и слово *елусь*, и форму *поелусь* как глагол в повелительном наклонении, причем элемент *по-* в форме *поелусь* рассматривался ими как приставка *по-*, служащая для образования совершенного вида, ср.: *ешь — поешь, пей — попей, неси — понеси*

+++++ В связи с невключением данной главы в первое издание книги (Ткаченко О.Б. Мерянский язык. — Киев, Наукова думка, 1985. — 207 с.) при ее отдельном издании под названием «К изучению субстратной фразеологии» в книге: Языковые ситуации и взаимодействие языков (Киев, Наукова думка, 1989. — 204 с.), с. 61-76 был дан список сокращений источников, не совпадающий с принятым в книге 1985 года и в настоящем издании (стр. 311-313). Мы сохранили при данной главе (см. стр. 136) сокращения, не вошедшие в аппарат настоящего издания (стр. 311-313, 318-323), в том виде, как они были приведены в публикации 1989 года. - *Прим. ред.*

и т.п. Выражение в целом рассматривается здесь если не как полностью русско-славянское, то во всяком случае как оформленное согласно правилам русской грамматики, в частности в видовом отношении. Тем не менее именно с точки зрения славянских элементов русского языка эти слова и их форма труднообъяснимы. Правда, если считать форму производной от глагола *елу- зить*, то можно было бы принять как возможную форму повелительного наклонения *елусь* (с отражением фонетического оглушения), ср. такую же фонетическую форму *волтусь* (орф. волтузь) от диал. рус. *вол- тузить* (укр. вовтузити) «бить кого-либо (что-либо), схватив его». Глагол *елузить* не обнаружен, зато в говорах близких местностей представлены глагольная форма *наелузиться* «наесться до отвала» (Костр. губ. — Гал) [МКНО] и несколько видоизмененная форма *наюлызиться* «то же» (Костр. губ. — Кин) [МКНО]. И по форме, и по значению оба глагола скорее всего производные от *елусь*. Таким образом, ничего не объясняя, они возвращаются к тому же выражению, создавая явный порочный круг. Тем не менее эти данные не бесполезны, поскольку они косвенно указывают на употребление выражения *елусь* (*поелусь*) — по крайней мере в прошлом, до того как в Солигаличском районе (уезде) было записано это выражение — также в бывших Галичском и Кинешемском уездах Костромской губернии (ныне в Галичском р-не Костромской и Кинешемском р-не Ивановской областей). Поскольку все три района были в прошлом местом обитания мери, вполне закономерен вопрос, не является ли рассматриваемый оборот мерянским, сохраненным частью русских говоров на русской языковой территории. При этом чрезвычайно важно сразу же подчеркнуть, что все три местности принадлежат именно к бывшей территории распространения мерянского и никакого другого финно-угорского языка и ввиду этого расположены в настоящее время на собственно русской языковой территории, вдали от каких-либо финно-угорских народов и их языков.

В пользу мерянского происхождения оборота также говорят его собственно

языковые особенности. Выражение *елусь поелусь* при этимологическом анализе обнаруживает возможность его расчленения на слова, с одной стороны, несомненно финно-угорские по происхождению, с другой — присущие в своей своеобразной форме, по-видимому, из финно-угорских только мерянскому языку. Лексема *елусь* здесь отнюдь не одинока, на бывшей мерянской территории есть и другие, явно связанные с ней слова, которые, являясь финно-угорскими по происхождению, дают основание причислить их к мерянским ввиду своего своеобразия. Ср., например, такие диалектные (и арготические) слова с той же территории, как *неёла* «нет» (букв. «не есть»), эст. *Ta ei ole oriiäpe* (букв. «Он не есть ученик(ом)») (Яр. губ. — Углич) [Свеш.: 93] *неёла* «нет» (Твер. губ. — Каш) [ТОЛРС XX: 166], *неёла* «неудача» (Костр. губ. — Нерехт) [ООВС: 124], *ёла* «есть» (Яр. губ. — Углич) [Свеш.: 93] **ei oia > *e ioia* «не есть»; форма *ёла* «есть» образовалась, очевидно, уже на русской почве от *неёла* «нет (не есть)». Что касается явно вторичного значения «неудача» (*неёла*) и «удача» (*ёла*), то с ним, возможно, как калька частично связано рус. (диал.) *есть* «имущество, приданое» (Костр. губ.) [МКНО], а также формы того же корня типа *ульшага* «умерший, покойник» [Свеш.: 92 — Углич] (по образцу *бедняга, трудяга* от *ульша* «бывший» с формантом -ша, связанным с мар. -шо (*колышо* «умерший»), ср. рус. (Яросл., Костр.) *побывишиться* (букв.) «стать бывшим, то есть умереть» [ЯОСК], *ульшил* «умер» [ЯОСК], [Свеш.: 92 — Углич], *ульшили* «убили» [ЯОСК], [Свеш.: 92 — Углич] (два последних глагола образованы также от *ульша* «бывший»), р. *Ульшма* (букв.) «бывшенье, т.е. гибель, смерть» (Костр.).

Все приведенные выше слова представляют собой образования, связанные с финно-угорским глаголом **wole* — «быть», ср.: ф. *olla* «быть», эст. *olema*, морд. (эрзя, мокша) *улеме*, мар. *улаш* «то же», коми *волі* «был», удм. *вал* «был», хант. (казым.) *вел"ты* «быть, жить», манс. *oli* «будет», венг. *vol'ь* «был»

***** Таким образом, рус. (арг.) *неёла* отражает, видимо, в качестве полукальки форму мерянского отрицательного спряжения.

[ОФУЯ: 417; КЭСЯ: 65, 67, 71; MSzFUE III: 669-671; SKES II: 427-428]. Своеобразие мерянских форм языка обнаруживается в том, что часть их, связанная с глаголом *быть* — как правило, это формы, где исходное корневое ол перед гласным, — получила перед начальным о- вторичное и-, а формы, где в следующем после ол - слоге гласный выпал, в результате последовавшего удлинения заменили первоначальное о- позднейшим у-. Этот процесс вообще характерен для мерянского языка, ср. мер. *и҃гма «белка» при ф. огача «то же». Вследствие сказанного форму написания *елуеь* следует понимать или как орфографическую передачу действительного фонетического *елуеь* (случаи подобной неточности встречаются и при передаче мерянских по происхождению местных названий, ср. орфографические *Векеа*, *Челема* в Га- личском р-не Костромской обл., произносимые *Вёкеа*, *Чёлема*), или как отражение действительного произношения, где согласно особенностям фонетики русского литературного языка безударное -ё- было заменено -е- (для севернорусских говоров -ё- характерно не только в ударной, но и безударной позиции).

связанном с едой, трудно представить себе глагольную форму со значением «будь», больше напрашивающуюся при пожелании здоровья (будь здоров!). Возможность форманта *-eъ* в качестве показателя 3 л. ед.ч. повел. накл. подтверждают многочисленные параллели из других финно-угорских языков с суффиксом *-s-*, как полагает Б.А.Серебрянников, первоначально суффиксом притяжательности 3 л. ед.ч., ср.: морд. *кундазо* «пусть ловит» [Серебр. Ист. морф. морд. яз.: 167], мар. *luS-vo* «пусть читает»^{ssssssssssssssssssssssssssssssss}, саам. *bottu-s* «пусть приходит», возможно, также коми (тед) шипав «пусть пойдет» и удм. (шед) *munož* «то же»^{*****}.

мантическими особенностями русского языка — воспринятое и истолкованное как близкая по звучанию русская глагольная приставка по-. Наиболее оправдано предполагать в элементе по- союз, расположенный между двумя словами (здесь — глаголами), или постпозитивную энклитическую частицу, связанную с первым из глаголов. В финно-угорских языках, например, хантыйском, действительно обнаруживается подтверждающее это предположение и не противоречащее общему возможному смыслу оборота слово. Это союз *na* «и, тоже, другой», напр.: *асем na аукем* «мой отец и моя мать»; *Му% школаев вен na левы* «Наша школа большая и светлая», *Лиолек ики юх иЛпия еліпс na ветемтыс* «Россомаха-старик под дерево лег и заснул» [Русская: 80, 111, 190, 198, 231]. Таким образом, звуковой комплекс по- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании по, а о слове с формой па, где замена фонетического па орфографическим по была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом по- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.

Таким образом, оборот в своей наиболее точной исходной форме должен иметь вид *ёлусь na ёлусь* и переводиться «пусть будет и пусть будет», букв. «пусть есть и пусть есть». Однако в таком виде он представляет собой явно эллиптизированную форму более полного приветственного выражения-пожелания, сокращение оборота в результате его частого употребления; полностью приветствие-пожелание произносилось только в наиболее важных случаях. Можно предполагать, что поскольку это пожелание, речь в нем должна идти о том, чтобы у того (тех), к кому оно относилось, всегда была пища (еда-питье, хлеб-соль или подобные синонимы). В начале формулы дважды повторялся глагол, указывая на постоянство обозначаемого им состояния, так что становилось излишним употребление наречия со значением «всегда (постоянно, вечно)». Если учесть эти особенности, то формула пожелания могла иметь в передаче на русском языке следующий вид: «Пусть будет и

будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя пища (еда-питье...)».

При всей фрагментарности данных о мерянском языке попытка гипотетической реконструкции отсутствующей части фразеологизма представляется все же возможной.

С чисто семантической точки зрения следует исходить из того, что в финноугорских языках чрезвычайно распространенным является парное сложное слово с буквальным значением «еда-питье», обозначающее пищу в целом. В ряде языков оно имеет идентичную в этимологическом отношении корневую часть обоих компонентов. В тех финно-угорских языках, где произошла частичная или полная замена компонентов парного слова, принцип семантического построения композита не изменен: имея в целом значение «пища; питание», иногда «пир», оно состоит из двух слов, обозначающих в отдельности «еду-питье». В тех финно-угорских языках, где не сохранились или не обнаруживаются существительные с подобным значением, выступают соответствующие парные слова-глаголы. Это дает основание считать, что и в них парное существительное «еда-питье», даже если теперь оно отсутствует, должно было употребляться в прошлом, об этом говорит, например, легкость образования в них отглагольных существительных, нередко частично совпадающих с формами инфинитива. Ср. соответствующие данные: коми *сёян-юан* «пища, продовольствие, довольствие», букв. «еда-питье», *сёйны-юны* «есть-пить, питаться, столоваться; пьянствовать, кутить; (нео-добр.) изливаться»; удм. *сион-юон* «пища, еда, продукты питания», букв. «еда-питье», *сиыны-юыны* «угощаться (есть-пить)»; манс. *тэнут-айнут* (конд. *тенеха^о р -айнеха^ор*) «пища (еда-питье)»; венг. *евзет-івзот* «обильное угощение, пир», букв. «еда-питье», *евзик-iszik* «откушает, потчует», букв. «ест-пьет»; ф. *syOda jouda* «есть-пить»; карел. *syuvah juuvah* «едят-пьют»; вод. *sO-ti yO-ti* «ели-пили»; эст. *sUUa juua* «есть-пить»; морд. (эрзя) *ярсамо-симема* «пир, угощение», букв. «еда-питье», *ярсамс-симемс* «есть-пить, угощаться, пировать», мар. *кочкыш-йуыш* «пища и питье, провизия (еда-питье)», *кочкаш-йуа'ш* «есть-пить, питаться» [Pulkkinen: 209; КРусСл: 619, 621; УдмРусСл:

271, 272; Баландин - Вахрушева: 127; MOSz т. 1: 639-640; Эрз РС: 267; Мар РС: 226].

Учитывая сказанное, не представляется слишком смелым предположение, что парное слово с буквальным значением «еда-питье» существовало еще в финно-угорском праязыке и отсюда было унаследовано (первоначально в идентичном виде или с идентичными по происхождению корнями обоих компонентов) всеми финно-угорскими праязыковыми диалектами, развившимися впоследствии в отдельные финно-угорские языки. Большинство из них сохранило связь с этими праязыковыми финно-угорскими корнями [MSzFUE I: 164-165, II: 329-330].

Данные, имеющиеся в настоящее время, не дают возможности с точностью ответить на вопрос, к каким из финно-угорских языков относился мерянский: к тем, которые унаследовали финно-угорское парное слово с неизменными (точнее, незамененными) корнями обоих компонентов, или к тем, где парное слово претерпело значительные изменения. Ввиду того что мерянский язык, по крайней мере в начале своего развития, должен был унаследовать парное слово с исходными праязыковыми компонентами, данный член фразеологизма может быть в настоящее время реконструирован только в виде сочетания обоих корней в их прафинно-угорской реконструированной форме. Сведения о праязыковой форме суффиксальной и флективной частей слов отсутствуют, поэтому они обозначаются соответствующими прочерками. Поскольку для многих мерянских существительных отглагольного происхождения, видимо, характерна суффиксально-флективная часть -*м-а* (ср. *Кост-ро-м-а*, *Ульш-м-а* и т.п.), можно предполагать ту же конечную часть и для рассматриваемого парного существительного мерянского языка. Однако, ввиду того что конкретные компоненты данного слова в точности неизвестны и нет уверенности, что в праязыковой период здесь были те же суффиксы, более обоснованным будет опущение данных формантов. Исходя из реконструкций обоих компонентов слова, оно может быть восстановлено в следующем виде: |
_**[эеуе(—) - іиуе(--)]Д где ** указывают на вынужденную особую условность ре-

конструкции, _ [] _1 отделяют реконструированную форму от материально засвидетельствованных мерянских слов, а заключенные в круглые скобки два прочерка соответствуют возможным суффиксальной (в том числе и нулевой) и флективной частям слова. Квадратные скобки и заключенные в них слова указывают на явно временный характер предложенного финно-угорского (мерянского) решения данной лингвистической задачи. Впоследствии при обнаружении новых фактов или при более надежной реконструкции они могут быть полностью сняты и две звездочки (астериска) заменены одной, указывающей на большую вероятность предложенного решения.

Столь же (или почти столь же) условно может быть, к сожалению, реконструирован и другой неизвестный член фразеологизма, местоимение *у тебя* (*у вас*), которое в данном случае берется в первой из возможных форм — в форме единственного числа. При поисках конкретной падежной формы следует, по-видимому, искать наиболее вероятный вариант, сообразуясь с данными как финно-угорских языков, окружавших мерянский, так и русского языка, на который в какой-то степени могла влиять и система мерянского языка. Форма *у тебя* явно связана с понятием принадлежности, в том числе и в такой характерной для русского языка синтаксической конструкции, как *у меня* (*у тебя*, *у него...*) *есть...* Характерно, что для всех западно- и южнославянских языков в отличие от русского подобный оборот совершенно не характерен. Вместо него здесь засвидетельствована посессивная конструкция типа *я имею...* (ср. п. Мат *ksiaZke* «(Я) имею книгу»). Украинскому и белорусскому языкам хотя и не чужд оборот типа рус. *у меня есть*, однако он принадлежит к значительно менее употребительным, что особенно относится к западной части украинской и белорусской языковой территории. Вследствие этого, а также в связи с тем, что финно-угорским языкам, у которых, кроме обско-угорских, нет глагола со значением «иметь», а известен только глагол *есть*, также чрезвычайно свойственны обороты типа рус. *у меня есть*, можно предположить, что своей распространенностью эта конструкция в

русском языке в значительной степени обязана финно-угорскому, в том числе и мерянскому влиянию.

Правда, в финно-угорских языках, хотя в них всюду выступает глагол *есть*, в данной конструкции далеко не одинаковы падежи, обозначающие лицо, которому принадлежит предмет. Так, в прибалтийско-финских языках здесь выступает адессив, который в данном случае переводится на русский язык предложной конструкцией *у тебя (у меня...)*, однако с большей точностью должен был бы переводиться с предлогом *на*, ср. ф. *Miiniä on kirja* «У меня есть книга», точнее «На мне есть книга». В венгерском языке тот же оборот требует дательного падежа владельца: *Életem van egy könyv (magamnak)*. Только в финно-угорских языках, находившихся в наиболее тесных контактах с русским языком и в то же время территориально наиболее связанных с мерянским, встречаем другой падеж, родительный, с окончанием *-n*, современным или историческим [Серебр. Ист. морф. перм. яз.: 185-186], представляющим собой, возможно, первоначальный локатив, отвечающий на вопрос «где?» и соответствующий конструкции с предлогом *у* [Бубрих: 12-14]. Следовательно, употребляемая, например, в мордовском-эрзя языке форма родительного падежа при обозначении принадлежности сохраняет свое прежнее локативное значение и совершенно точно переводится предложной конструкцией с предлогом *у*, ср. морд. (эрзя) *Монь ули книгам* «У меня есть книга (моя)»; *Тонь ули книгат* «У тебя есть книга (твоя)» и т.п. То же относится и к марийскому языку с его родительным падежом, имеющим формант *~(ы)н*, бывший показатель локатива, ср. мар. *Полемын кок окнаже уло* «Комната имеет два окна», букв. «У комнаты есть два окна (ее)». Поскольку мерянскому языку, видимо, также был свойствен родительный падеж (< бывший локатив) на *-н*, ср. (р.) *Яхре-н* (от *яхре* **ia*Ига «озеро») «озера, озерная (< у озера)», *Неро-н* «название Галичского озера в галичском аргоне», букв. «болота», род. пад. от «болото», «болотное (у болота)», - озеро отличается заболоченными берегами, — а соседним с

мерянским финно-угорским языкам (мордовским и марийскому) бывшие локативные формы на *-н* с поссессивной функцией в высшей степени свойственны, — следует считать, что и в мерянском в качестве показателя принадлежности выступал родительный (бывший локативный) падеж с окончанием *-н*. Поскольку ни одна форма местоимения *ты* в мерянском языке не известна, форма его родительного падежа (< локатива) ед. числа на *-н* (*-п*) может быть реконструирована лишь гипотетично на основе финно-угорской праязыковой формы с добавлением окончания *-н*, т.е. как ***Ъепап******. Две звездочки в данном случае относятся не к прафинно-угорской реконструкции, где выступает одна звездочка, а к данной форме как отражению конкретного мерянского слова, так как она отражает ту финноугорскую праформу, которую еще предстоит конкретизировать, исходя из фонетико-морфологических особенностей мерянского языка. В конечном счете, переводя для единообразия все в латинскую графику, мерянский фразеологизм на данной стадии реконструкции можно представить в следующем виде: *Jolus pa ioiiv* [** (*Ъепап веуе (те) — Iиуе ^е*)] «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя еда (твоя) — питье (твое)»*****.

С формальной точки зрения в данном обороте глагольное образование *^luS*, видимо, не является наиболее архаичной из известных форм. На то, что могла существовать и более древняя форма **^olo2e*, сохранившая в несокращенном виде окончание 3 л. ед.ч. повел. накл., сокращение которого вызвало удлинение *-о-* с переходом в *-у-* (*-и-*), указывает существование фиксированных у В.Даля диалектных пермских выражений, явно связанных с рассматриваемым оборотом и сохранивших в нем *-о-* в соответствии с костромским *-у-* (*-и-*), ср. рус. (перм.) *наелозиться* «накушаться, насытиться». Благодарствуем, наелозились, — отвечают

***** Возможна также форма **^іпап* [ОФУЯ: 399].

***** Не исключено также, что предполагаемое парное слово **seYe(--)* — *^иуе(--)* имело притяжательный суффикс *-to*, т.е. выступало в форме ** *soy^--* *te* — *Iиуе(--) te* «еда (твоя) — питье (твое); ср. венг. *Neked van egy könyv (te)* «у тебя (букв. — тебе) есть книга (твоя)».

гости на приглашение: поелозить еще! [Даль II: 413]; перм. *елозить* «есть, хлебать, кушать (то есть елозить ложкою)».

Елозьте, поелозьте, гости мои! [ООВС: 54] привет застольникам: елозь! [Слов. акад. *елусь*] «здорово хлебать!» сходится с пожеланием: - Ълось бы, желаю здорово поесть» [Даль I: 518].

Вне всякого сомнения, объяснение, предложенное В.Далем, — его сближение с «елозить ложкою, есть (елось)», — так же, как и упомянутые ниже сближения А.А.Потебни и А.Преображенского, являются плодом народно-научной этимологии, и совершенно прав М.Фасмер, замечаящий по этому поводу в своем словаре: «елозить, ёлзать «есть». (Приведенные здесь формы неправильны, так как у В.Даля, судя по его примерам, с этим значением связано лишь образование *елозить* — О.Т.). Совершенно ошибочно связывается Потебней [РФВ 1: 76] и Преображенским [1: 464] с *ложка*. Ср. «ёлзать II» [Фасмер ЭСРЯ II: 17] и далее: «ёлзать II, елозить «хлебать, черпать ложкой, есть». Темное слово. По мнению Потебни [ФЗ 1876, вып. 2: 97], заимств. из тюрк. (без указания источника). Ср. *елозить, елосить*» [там же: 15].

Возникает вопрос о происхождении пермского слова и выражения (ср. *Елозьте, поелозьте*, по-видимому, представляющее собой отражение исходного *Елозь, поелозь* < **ПолюЕэ* ра *юлюЕе*), аналогичного костромскому. Поскольку убедительного объяснения ему на основе славянских элементов русского диалектного языка найдено быть не может, а мерянскими (финно-угорскими) фактами оно объясняется вполне логично, и поскольку пермское выражение почти полностью совпадает с костромским, единственно вероятным объяснением может быть следующее. Пермское выражение представляет собой результат переселения носителей части костромских говоров, которое шло в восточном направлении через Вятскую землю на Урал. Так как переселение происходило в тот момент, когда мерянский язык находился на более древней ступени развития, переселенцы унесли с собой на восток более архаичную форму рассматриваемого фразеологизма. Там вследствие русификации этой части населения — возможно, первоначально носителей мерянского языка — она как бы инкрустировалась в русский язык, застыла в 132 своем развитии, что и вызвало в ней сохранение -о- даже в условиях нового закрытого слога (ср. *елозь(те)*), хотя в мерянском в этих условиях -о-, как правило, переходило в -у-).

Другой интересной формой, отражающей отчасти аналогичное новообразование, является форма того же слова *юлысь*, представленная в уже приводимом выше кинешемском слове *наюлызиться*. Начальное -о- своим образованием, видимо, обязано части форм глагола *быть* в мерянском языке (напр., **улыша* «бывший»), которая имела начальное у-; сближение их с формами на й- (**ёлусь, *ёлозе* и т.п.) должно было привести к распространению начального й- и на них. Вследствие стремления к еще большему единообразию в части мерянских говоров во всех формах глагола *быть* распространилось начальное ю-. Что касается перехода -з- в интервокальной позиции (-*с(ь)* в конечной), то она также не противоречит фонетике мерянского языка, насколько ее можно проследивать в местном русском языке на словах как русского, так и мерянского происхождения (ср., например, среди первых *сабог* вместо *сапог* (яросл.), *кадюка* вместо *гадюка* (там же) и обычное для русского литературного языка оглушение в конечной позиции звонких согласных).

Особый интерес представляет также вопрос об ударении в глагольных формах рассматриваемого фразеологизма. Несмотря на то что во всех известных формах — *елусь, елозьте, (на)елозиться, (на)юлызиться* — ударение падает на второй слог от начала корня, есть основание усомниться в его первичности, поскольку, судя по географическим названиям бывшей мерянской территории, в мерянском языке абсолютно преобладало, если не было единственно возможным, инициальное, начальное ударение (ср. *Яхрома, Чу хлома*, (диал.) *Кострома, Нёро, Кинешма, Костома* и т.д.). По-видимому, и в данном фразеологизме первоначально ударение падало на первый слог слова. Только впоследствии, в связи с ассимиляцией мери, когда сохранившиеся слова и обороты стали видоизменяться под влиянием фонетико-грамматической и семантической систем рус

ского языка, и в данном обороте произошло передвижение ударения. Видимо, это было связано с тем, что сдвинутым к концу слова было наиболее естественное ударение в форме 2 л. ед.ч. (и мн.ч.) повел. накл., в качестве каковой стала восприниматься форма *елусь* или *елозь*. В случае формы *елозь* могла действовать и аналогия со стороны русского глагола *елозить*. Следовательно, первоначально и в глагольных формах *ёлусь* (*ёлоз(е), *юлысь), как и во всех других словах оборота, должно было употребляться начальное (инициальное) ударение

Рассматриваемый оборот, помимо того интереса, который он представлял с сугубо лингвистической точки зрения как отражение мерянской фразеологии и языка в целом, чрезвычайно интересен и как отражение древнего мировоззрения, не чуждого, судя по близким финно-угорским и славянским оборотам, остальным финно-уграм и славянам в наиболее древний период их истории.

Если современный языковой этикет, выработавшийся у европейских народов, стал предписывать желать едящим людям приятного аппетита, — обычай, несомненно, связанный с господствующими и преуспевающими слоями общества, которых больше заботил их аппетит, чем проблема добывания еды, — то человеку древнего периода прежде всего важно было иметь вдоволь еды, не испытывать голода. Поэтому самым важным для него было пожелание постоянного достаточного запаса пищи, в связи с чем вполне естественным было обращение с пожеланием, как у мерян, «Пусть будет и будет (т.е. не выводится) у тебя еда-питье!».

Вполне соответствует этому пожеланию и эстонское аналогичное: *Jatku lei!a!* букв. «В достаче (вам) хлеба!», на которое следует ответ: *Jatku tarvis* «Достача нужна».

Очевидно, подобный характер имеет и русское пожелание *Хлеб-соль!*, возникшее, вероятно, в результате сокращения из более полного «Пусть будет (или: Да будет) (у вас всегда) хлеб-соль!»

В связи с этим *наелузиться* (*наелозиться*, *наюлызиться*) приобрело значение «наестся (вследствие того, что осуществилось пожелание и стол ломился от еды)». Не

исключено, что глагольная форма *елусь* (или ее варианты) могла еще в мерянском языке повести к образованию глагола [^]luZ[^]s «ёлузить (произносить пожелание *Елусь на ёлусь*)», т.е. желать изобилия еды и питья, большого количества пищи, вследствие чего так естественно образовался соответствующий русский диалектный глагол.

Другой мерянский фразеологический оборот, предполагаемый возможный зачин мерянской сказки, можно восстановить на основании отразившего его русского сказочного зачина *Жил-был...* и параллельных явлений ряда финно-угорских языков (ср. кар. *ЕПe^iB-oIdiИ ukko* да акку «жили- были муж и жена», коми *ол/сыы-выл/оны кык вок* «Жили- были два брата», удм. *Улэм-вы- лэм одиг эксей* «Жил-был (оказывается) один царь» и под.) [Ткаченко СИФСФУЯ: 216-235].

Если при восстановлении оборота *JoluS ра [^]luS L* (tenan зеуе ^е) — ^уе ^е)]_1 недостающую его часть приходится временно приводить к «немерянизированной» гипотетической общефинно-угорской праязыковой форме, то в тех случаях, когда новый материал позволяет конкретизировать подобные общие формулы реконструкции, появляется возможность дать их в большем приближении к конкретно доказуемым фактам мерянского языка. Так, восстановленную в прошлом в наиболее гипотетичном виде формулу сказочного зачина мерянской сказки L**[Eli-woli]_1 *urma* «Жила-была белка» [Ткаченко СИФСФУЯ: 228] в связи с более точными знаниями формы глагольной парадигмы мерянского языка и особенностей его фонетики появилась возможность представить в менее гипотетическом и не обобщенно финно-угорском, а мерянском виде, хотя и реконструированном. Так, исходя из того, что в 3 л. ед.ч. наст. вр. глагол *быть* имеет смягченное конечное -n вместо обычно твердого других финно-угорских языков (ср. рус. (диал. < мер.) *сиень* «есть» (Si JoП «это есть»), ф., эст. (зе(е) оп «(это) есть» и венг. чап «есть»), можно предположить, что это смягчение возникло под влиянием формы глаголов 3 л. ед.ч. прош. вр., где в результате

Как свидетельствуют данные финноугорских языков (напр., эстонского и финского), где при инициальном ударении возможны случаи его смещения [Arista: 39-43], сдвиг ударения мог произойти также еще в мерянском языке.

***** Форма инфинитива на -s (по происхождению иллативная) для мерянского языка, как и для мордовских, наиболее правдоподобна в связи с тем, что здесь номинативная форма (с суффиксом *-та и нулевой флексией) употребляется широко в функции отглагольных существительных, в частности в местных названиях.

+++++

приблизительно. Наиболее оправданным,

рассмотренного фразеологического оборота.

[ОФУЯ т. 1, с. 233].

217-219.

ВЫВОДЫ

Анализ и проведенная на конкретных примерах реконструкция мерянских фразеологизмов говорит о перспективности дальнейшей работы по реконструкции мерянского языка, и в частности о возможности, по крайней мере частичного, восстановления мерянской фразеологии. Тем самым будут проясняться не только темные места финно-угристики, но и целый ряд неясных слов и выражений русского, в особенности диалектного, языка.

Из трех рассмотренных предполагаемых фразеологизмов мерянского языка только третий не поддается пока точному истолкованию, два же других восстанавливаются и объясняются достаточно убедительно. Сказочный зачин [**il' - ul'*] *urma* «Жила-была белка» имеет широкие финно-угорские связи, восходя, по-видимому, к прафинно-угорскому периоду [Ткаченко СИФСФУЯ: 220]. Два других фразеологических оборота, напротив, не имеют соответствий в других известных науке финно-угорских языках. Поскольку все они относятся к числу так называемых языковых формул, наиболее стойких из фразеологизмов и наименее подвергнутых иноязычным влияниям, это свидетельствует об особом месте мерянского среди финно-угорских языков, о его относительно большой изолированности от них, позволившей ему даже в области языковых формул развить ряд оригинальных оборотов. Подобное положение можно рассматривать как серьезный аргумент в пользу того, что мерянский не входил ни в одну из известных групп финноугорских языков, образуя среди них отдельную группу (подобно, например, венгерскому, который также представляет собой отдельную группу в угорской ветви финно-угорских языков, состоящую из одного языка).

На основании трех, к тому же далеко не полностью объясненных, фразеологизмов еще

рано говорить об особенностях мерянской фразеологии в целом. Однако на основании сделанного для их реконструкции уже теперь можно высказать предположение об основном направлении в работе по воссозданию мерянской фразеологии.

Поскольку даже в случае обнаружения связанных меряnskих текстов речь может идти главным образом о евангельских, т.е. переводных текстах, интересных преимущественно с фонетической, грамматической и лексической, но никак не с фразеологической точки зрения, думается, что роль их в реконструкции мерянской фразеологии может быть не главной, а лишь вспомогательной. Основная масса восстанавливаемой мерянской фразеологии скорее всего сохранена в русских (постмерянских) говорах на бывшей мерянской территории в калькированном, «переведенном» на русский язык виде. Выделить их из собственно славянской по происхождению русской фразеологии могли бы только тщательные сопоставительно-типологические и ареальные исследования, которые помогли бы отсеять все явно финно-угорское (мерянское) по внутренней форме и происхождению. С помощью имеющихся сведений по мерянской фонетике, грамматике и лексике можно было бы осуществить «обратный перевод» данных фразеологизмов с русского на мерянский, тем самым реконструировав их как семантически, так и формально.

В настоящее время можно говорить только о начале подобной работы, первые образцы которой представлены здесь и в предшествующей книге автора [см. часть 2 наст. изд. — *Прим. ред.*], посвященной специально принципам исследования и реконструкции древнейшего слоя фразеологизмов, главным образом субстратного происхождения.

СПИСОК СОБСТВЕННЫХ СОКРАЩЕНИЙ К ГЛАВЕ «ФРАЗЕОЛОГИЯ»

Бубрих - Бубрих Д.В. Историческая морфология финского языка. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 186 с.

КРусСл — Коми-русский словарь. М.: ГИС. 1961. — 923 с.

Русская — Русская Ю.Н. Самоучитель хантыйского языка. — Л.: Гос. уч.-пед. изд-во мин. просв. РСФСР / Лениг-рад. отд-ние, 1961. — 256 с.

РФВ — Русский филологический вестник, 1879—1917 гг.

Ткаченко СИФСФУЯ — Ткаченко О.Б. По следам исчезнувших языков. (Сопоставительно-историческая (историко-типологическая) фразеология славянских и финно-угорских языков). — Ныредь-хаза, Stud ium. 2002. — 299 с.

УдмРусСл. — Удмуртско-русский словарь. — М.:

ГИС, 1948. — 447 с.

Фасмер ЭСРЯ — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перев. с нем. и дополнения О.Н.Трубачева, т. 1-4. — М.: Прогресс, 1964-1973.

ФЗ — Филологические записки, 1882-1917 гг.

Ariste — Ariste P. Einige Bemerkungen über die dynamische Betonung der Wörter im estnischen Satz. — In: Etudes finno-ougriennes. — T. XV. — Budapest — Paris: Akad. kiado — Librairie Klincksiek, 1982. — S. 39-43.

MOSz — Hadrovics L., Galdi L. Magyar-orosz szotar. — K. 1-2. — Budapest: Akad. kiadod, 1972. — 1474 l.; 1243 l.

Pulkkinen — Pulkkinen P. Asyndeettinen rinnastus suomen kielessä. — Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1966. — 343 s.

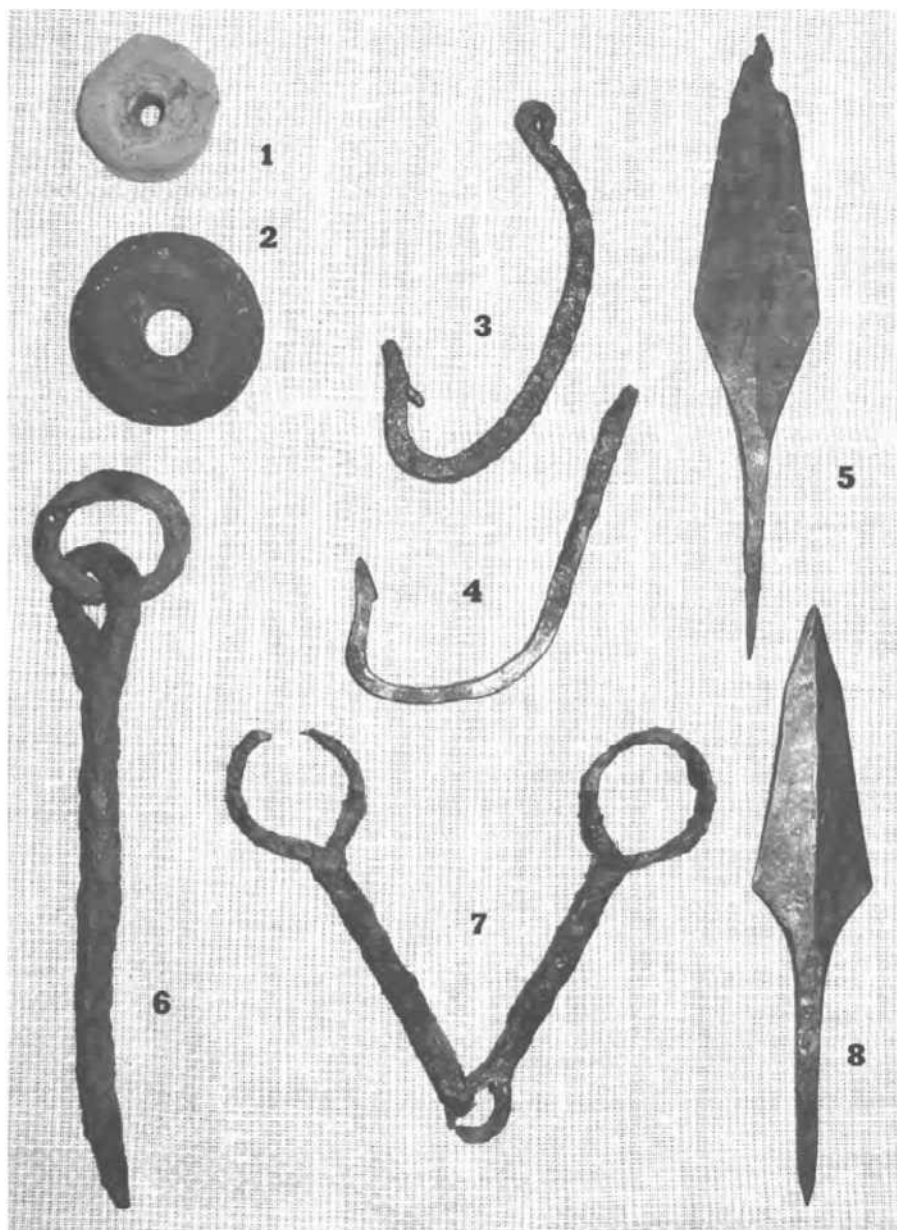
SKES II — Toivonen Y.H., Itkonen E., Joki A.J. Suomen kielen etymologinen sanakirja. — II. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1979. — S. 205-480.

Предметы домашней утвари, охоты, рыболовства, снаряжения коня из фондов ГУК КГИАХМЗ. (1, 2 - керамика; 38 - железо.) Кон. 1 - нач. 2 тыс. н.э.):

1-2. Пряслица.

3-4. Крючки рыболовные. 5, 8. Наконечники стрел. 6. Кочедык.

7. Удила.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системная реконструкция и всестороннее изучение доступных ныне фактов мерянского языка, извлеченных из русского языкового материала мерянского происхождения, позволяют на основе обобщения полученных результатов подвести итоги проведенной работы и наметить пути ее продолжения.

Апробированный в предыдущем исследовании автора [101] на фразеологическом материале особый (сопоставительно-исторический) метод, применимый для реконструкции субстратных языков, проявил себя в данной работе как вполне действенный при реконструкции и изучении мерянского языка на всех его уровнях — фонетическом, грамматическом, лексическом, фразеологическом.

С помощью воссозданных данных мерянского языка постепенно начинают проясняться основные моменты его происхождения и истории. Своими корнями мерянский, как и другие финно-угорские языки, уходит вглубь уральского и финно-угорского праязыковых периодов, что особенно ярко отражено в его лексике и фонетике и менее заметно (из-за фрагментарности сведений) — в чертах грамматического строя. Наиболее тесным родством среди финно-угорских мерянский язык связан с финскими языками, прежде всего прибалтийско-финскими и мордовскими и в меньшей степени — с марийским. Об этом свидетельствуют освещенные в данной работе факты его фонетики, грамматики и лексики. Специфика мерянского языка определялась в значительной степени своеобразным развитием и сочетанием исконных элементов, унаследованных им из разных периодов его формирования (уральского -^ финно-угорского -> финно-пермского -> финского) и предшествовавших его выделению в качестве особого финно-угорского языка. В то же время заметный вклад сюда внесли контакты мерянского с другими родственными и нерод-

ственными языками. Наиболее примечательными из них были связи (прото)мерянского с угорскими языками или их предками, прото-угорскими диалектами финно-угорского праязыка, до переселения (прото)мерян на запад, и контакты, в которые они вступили в Волго-Осском междуречье с носителями индоевропейских диалектов (в ряде случаев явно протославянского типа). Черты угорского влияния прослеживаются в мерянском на разных уровнях — фонетическом (развитая палатальность), грамматическом (общий с венгерским формант множественного числа -k), лексическом (важные, в том числе служебные, слова), что свидетельствует о его былой интенсивности и глубине. У индоевропейцев-фатьяновцев с их близким к протославянскому идиомом, вошедшим частью элементов в мерянский как его субстрат, меряне заимствовали лексику, связанную с новыми для них видами хозяйственной деятельности (оседлое скотоводство). От них же были усвоены слова и фразеология, относящиеся к духовной жизни, обычаям (например, связанные с традиционными приветствиями-пожеланиями). Ценность этих элементов мерянского словаря заключается в том, что здесь мерянский, как и другие финно-угорские языки того же ареала, сохранил, возможно, те наиболее ранние формы праславянского языка, которые давно утрачены и нигде не сохранены самими славянскими языками, преобразовавшими их в ходе своей эволюции. Поскольку период контактов мери с фатьяновцами продолжался (примерно с I тыс. до н.э. до рубежа н.э.), закончившись окончательной финно-угризацией последних, следует считать с возможностью отражения разных стадий развития этого индоевропейского языка. Большая или меньшая близость

его к (прото)славянскому типу может быть связана также с его диалектной дифференциацией. Признавая вполне вероятным предположение В.Т. Коломиец о возможной ассимиляции славянами части финно-угров, продвинувшихся западнее мери, и о воздействии финно-угорского субстрата на праславянский язык [43, с. 79-81], можно, исходя из мерянского материала, дополнить его мыслью об установившейся постепенно между территорией с преобладанием славян и территорией с преобладанием финно-угров славяно-финно-угорской границе. К западу от нее, там, где праславяне оказались в большинстве, произошла постепенная ассимиляция финно-угров славянами, к востоку, где численно преобладал финно-угорский (мерянский) этноязыковой элемент, произошла ассимиляция индоевропейцев (в том числе возможных протославян) финно-уграми. В результате указанных ассимиляционных процессов, с одной стороны, праславянский мог включить в себя отдельные элементы древней финно-угорской лексики, в частности связанной с характерным для финно-угров рыболовством [43, с. 80-81; 44, с. 118-127], и испытать воздействие финно-угорского субстрата на иных уровнях, с другой стороны, мерянский включил в себя часть древних субстратных протославянских лексических элементов и испытал влияния, которые еще предстоит изучить. Так, не исключено, что одним из их последствий было отсутствие в мерянском сингармонизма, начавшего в нем развиваться, как и в других финно-угорских языках, но приостановленного под воздействием индоевропейского (протославянского) языка.

Итак, в финно-угорский или близкий к нему период (прото)мерянский язык характеризовался контактами с (прото-) или (пра)-угорским. Для начала древнемерянского периода как части истории собственно мерянского языка особенно характерны контакты мерянского с индоевропейским языком фатьявовцев, в ходе которых последний постепенно растворился в своих пережиточных субстратных элементах в мерянском. Древнемерянский период не оставил почти никаких следов, так как в это время отсутствуют какие-либо записи мерянского языка со стороны как самих мерян, так и их соседей, если не считать нескольких отражений этнонима «меря». Последний период развития мерянского языка, собственно исторический, так как именно в это время

начинают фиксироваться его слова и названия и, очевидно, осуществляются попытки создания мерянской письменности с миссионерской целью, относится к X-XVIII вв. н.э. В это время меря вступает в контакты с носителями прото(велико)русских говоров древнерусского языка (в дальнейшем ставшими частью отдельного восточнославянского русского языка). В ходе их как результат перевеса славян меря все более славизируется, переходя полностью на славяно-русский язык. Конечным следствием этого контакта становится, таким образом, превращение мерянского языка в субстрат русского. Однако длительность процесса постепенной славизации мери, закончившейся полным вытеснением мерянского языка, привела к тому, что он, исчезая, оказал определенное влияние на местный русский язык и оставил в нем и письменных фиксациях многочисленные следы своего былого существования. По этим следам теперь предстоит воссоздать историю мерянского языка, дать его всестороннее и возможно более полное описание, построенное на исчерпывающем этимологическом анализе всех его лексических и грамматических элементов, выяснить картину его развития и постепенного угасания в связи с трансформацией сохранившихся мерянских элементов в диалектные русские.

Эту крайне сложную и трудоемкую работу необходимо проделать, имея в виду следующую ее пользу и значение.

1. История Центральной России, являвшейся средоточием формирования русской государственности, русского литературного языка и русской культуры в целом, до сих пор известна главным образом только с X-XI вв., то есть с появления в ней восточных славян. С изучением мерянского языка и связанным с ним комплексом работ в области мерянских древностей (истории, археологии, антропологии, этнографии, фольклористики) становится возможным заглянуть в историю этого важного региона на 1-2 тыс. лет раньше. Отечественная наука не может упустить такую возможность.

2. Любой язык несет в себе заряд огромной информации, приобщая нас к жизни давно ушедших предков, и в этом смысле бесследное исчезновение любого языка — невосполнимая утрата. Без знания мерянского языка остаются неясными происхождение и первоначальное значение целого ряда русских диалектных слов Московской, Калининской [с 1991 г. — Тверской. — *Прим. ред.*], Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и др. обл., откуда шло переселение в другие районы России, вплоть до Урала и Сибири. Без знания этого языка молчит для нас также «язык земли», карта Центральной России, полная десятков и сотен названий, по-видимому, мерянского происхождения (таких, как Москва, Яхрома, Кострома, Кинешма, Шолешка, Шекшема, Покша и многих других, больших и малых мест, которые с детских лет близки и дороги миллионам русских людей, но понять которые они пока не могут). Расшифровать этот умолкнувший язык, сделать его возможно более понятным для нас — задача трудная, но интересная и благородная.

3. Мерянский язык образует собой звено, некогда связывавшее ряд финноугорских языков, прежде всего прибалтийско-финские, мордовские и марийский. В нем обнаруживаются загадочные следы древних контактов с угорскими языками, в частности венгерским. Большинство народов, говорящих на этих языках, живет в пределах Российской Федерации, с тремя самыми большими из них — венграми, финнами и эстонцами (в основном в Венгрии, Финляндии и Эстонии, но частично также в Российской Федерации и Украине) — народы России связывают добрососедские отношения. Реконструкция мерянского языка позволяет глубже изучить историю этих народов и языков в их многообразных связях. Для исследования мерянского языка необходимы и финно-угроведение и славистика. Следовательно, его воссоздание и изучение — это не только вклад в мировую финно-угристику, но и в укрепление дружественных связей народов России с народами Венгрии, Финляндии и Эстонии, а вместе с тем и всех стран, где интересуются проблемами финно-угроведения, число же их все время растет.

4. Изучение мерянского языка, в своих остатках полностью растворившегося в русском, чрезвычайно важно для русистики в ее разнообразных проявлениях, прежде всего для истории русского языка и русской

диалектологии. Для науки о русском языке необходимо установить, какое влияние мог оказать мерянский субстрат на русский диалектный и литературный язык, в чем он мог определить их своеобразие. Эти вопросы еще никем серьезно и глубоко не изучались, хотя отдельных разрозненных попыток было довольно много. Лингвистическая мерянистика, черпая свои данные из русского (главным образом, диалектного) языка и русской ономастики должна способствовать решению этих проблем. И в этом ее несомненное научное значение.

5. С двух точек зрения необходимо исследование мерянского языка и для славистики — ввиду сохранения им в своих остатках возможных следов древнего протославянского языка фатьяновцев и в связи с тем, что изучение субстратного влияния мерянского языка на русский, обнаруживая один из источников специфики русского языка на фоне славянских, тем самым важно и для общей славистики.

6. Наконец, немалые услуги изучение мерянского языка как субстратного может оказать общему языкознанию, где большую роль для понимания особенностей языковых контактов и закономерностей развития языка, в частности причин распада праязыка на родственные языки, призвана сыграть разработка теории субстрата. Опыт реконструкции мерянского языка в его внутренней и внешней истории не может не обогатить общее языкознание.

Таково значение исследования и реконструкции мерянского языка, вполне оправдывающее те усилия, которые делались и будут сделаны в этом направлении. Усилия эти, безусловно, должны быть значительно интенсифицированы в связи с тем, что остатки мерянского языка, которых в русских диалектах становится все меньше и меньше, еще стремительнее должны исчезать ввиду усилившихся миграций населения Центральной России и стирания местных ди

алектных особенностей. То же относится к возможным записям мерянских текстов и слов, сохраненных в имеющихся, и возможно, еще не открытых памятниках, также, к сожалению, не вечных.

В связи с необходимостью реконструкции и исследования мерянского языка перед наукой стоят следующие неотложные задачи:

1) фиксация всех данных современной ономастики и апеллятивов мерянского происхождения, содержащихся в русских локо- и социолектах, прежде всего Центральной России, требующая, помимо целенаправленных усилий, исчерпывающей записи русской диалектной лексики и ономастики центрально-русских областей;

2) учет всех диалектных и ономастических записей слов мерянского происхождения как в публикациях и рукописных списках (XIX и XX вв.), так и в записях русских, а возможно, и иностранных памятников предыдущих веков;

3) поиски сохранившихся памятников мерянского языка (связных текстов, глосс и глоссариев, берестяных грамот, граффити);

4) сбор исторических свидетельств, содержащих сведения о внешней истории мерянского языка и истории его носителей, важных для воссоздания наиболее полной картины существования мерянского языка.

Таковы те большие и сложные задачи, которые стоят перед исследователями мерянского языка. В настоящей книге, намечающей путь к их решению, можно было затронуть только небольшую их часть.

ТЕКСТЫ

Примечание. Ввиду отсутствия обнаруженных связных мерянских текстов их заменяют примеры разрозненных, частично реконструированных минимальных текстов-предложений.

1. *Jolus pa jolus < *JoloZe pa joloZe [****tenan seye**(--)(te) - **juye**(--)(te)!] - рус. (диал.) *Елусь поелусь!* «Хлеб да соль (приветствие во время обеда)»
(Костр. губ. — Солигал. - 1847 г.) (СРНГ VIII 349).

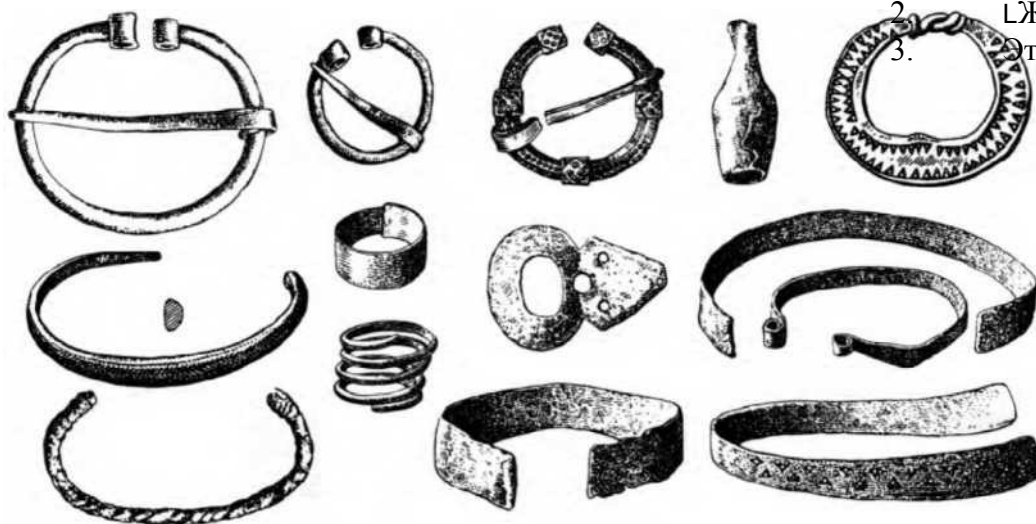
Перевод

2. L*Il' - ul' J urma [104, с. 232-233].

3. *S'i jon juk — рус. (арг.) *сиень* «(это) есть» (Яр. — губ. — Угл) КЯОС 184.

1. Пусть будет и будет (букв. — пусть есть и пусть есть)! < Пусть будет и будет [у тебя еда (твоя) — питье (твое)]!

2. LЖила-была_1 белка.
3. Это (есть) река.



Металлические украшения из Сарского городища VI-XI вв. [22, стр. 97]

ЧАСТЬ 2

Очерки теории языкового субстрата

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ввиду субстратного характера остатков мерянского языка в русском представляется необходимым рассмотреть основные особенности языкового субстрата в целом на примерах из разных языков, тем более, что далее речь пойдет о внешней истории мерянского языка и об обстоятельствах его постепенной субстрации.

Изучение языкового субстрата, начатое еще в первой половине 19-ого века датским ученым Я.Х.Бредсдорфом и получившее особенно широкий размах после работ итальянского лингвиста Г.И.Асколи, имеет свою долгую и сложную историю. Освещение этой истории, поучительное и интересное само по себе, могло бы стать предметом специального исследования. Тем самым, однако, был бы полностью изменен первоначальный замысел автора настоящей книги,

который ставил своей целью не столько критическое освещение прошлого изучения субстрата, сколько теоретическое осмысление сделанного здесь в последнее время, в том числе и им самим.

Настоящая книга состоит из двух частей — теоретической, где обобщается проблема языкового субстрата в целом на основе уже изученного материала, и исследовательской, где дается конкретный пример историко-социолингвистического комментирования субстратного (мерянского) языка на основе предыдущей его реконструкции. Цель предлагаемой книги — подвести итоги тому, что в настоящее время известно о природе языкового субстрата, и наметить пути его дальнейшего, в частности социолингвистического, исследования. Насколько это удалось ее автору, судить читателю.

[illegible]

I. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СУБСТРАТА. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

1. Языковой субстрат и его место в развитии языков

Социолингвистические процессы, приводящие, с одной стороны, к постепенному отмиранию одного из двух взаимодействующих языков, а с другой, к включению его сохранившихся остатков в качестве субстрата в другой язык, становящийся таким образом преемником первого, представляют собой целый комплекс взаимосвязанных проблем, которые не могут быть с достаточной полнотой и удовлетворительностью решены усилиями одних только языковедов. Можно полностью согласиться с мыслью, что «только благодаря помощи представителей смежных с лингвистикой дисциплин получают реальное обоснование или будут опровергнуты те или иные гипотезы языковедов» (Борковский, с. 5), касающиеся субстрата. «Без исследований археологов, этнографов, антропологов неразрешима проблема субстрата, который понимается нами в широком смысле слова как элементы побежденного языка, усвоенные языком-победителем» (там же, с. 5). Это требование совершенно справедливо и объясняется тем, что «субстрат не есть понятие чисто лингвистическое. Явление субстрата предполагает этногенетический процесс, сопровождающийся определенными языковыми последствиями. Выдающийся интерес проблемы субстрата заключается, между прочим, именно в том, что это одна из тех проблем, где наиболее очевидным и торичко-материалистическое понимание со-

осязаемым образом история языка переплетается с историей народа. В самом деле, когда мы говорим, например, о кельтском субстрате во Франции, мы прежде всего констатируем, что французы, несмотря на свой романский язык, связаны генетически с кельтским народом — галлами, населявшими Францию до римского завоевания; этот факт не остался без влияния и на язык. Языковой субстрат предполагает субстрат этнический» (Абаев, 1956, с. 58). Следовательно, о том, что «озаглавлено «О языковом субстрате», точнее было бы сказать: о языковых последствиях этнического субстрата» (там же, с. 58). Принимая полностью упомянутые соображения и соглашаясь с необходимостью комплексной разработки проблемы языкового субстрата общими усилиями представителей ряда гуманитарных наук, а не только лингвистов, следует тем не менее, не ожидая момента, когда возникнут предпосылки для подобного наиболее эффективного комплексного исследования, решать проблему субстрата отдельно.

Сознавая вынужденную неполноту подобных исследований, ими должны заниматься и языковеды, в частности, наиболее сложной частью задания — выяснением социолингвистических предпосылок возникновения и формирования субстрата. Особая ответственность при выяснении социолингвистических предпосылок возникновения субстрата ложилась на советских языковедов, что вытекало из двух обстоятельств: 1) из обязанности представить научное ис-

Ввиду того, что образование рассматриваемых здесь (преимущественно евразийских) субстратов относится к более или менее далекому прошлому, привлекаемые для исследования факты связаны, как правило, с периодом до XX в.

представителям зарубежного буржуазного языкознания ***** и 2) из того, что Советский Союз являлся многонациональным государством, для которого правильное решение социолингвистических вопросов, в том числе проблемы субстрата, представляли собой значительную теоретическую и практическую ценность.

Поскольку выработка и обоснование положительной научной концепции неизбежно предполагают опровержение противоречащих ей отрицательных антинаучных взглядов, в борьбе против которых уточняются и конкретизируются ее положения, будет нелишним, подходя к освещению особенностей языкового субстрата и его социолингвистических предпосылок, начать с опровержения неприемлемых на него взглядов.

В подходе зарубежной науки к понятию субстрата следует отметить два диаметрально противоположных взгляда. Первый из них заключается в том, что от самого понятия субстрата пытаются отказаться или во всяком случае подвергнуть сомнению целесообразность его применения. На основании субъективных соображений, в лучшем случае подтверждаемых отдельными неудачными работами, посвященными субстрату, по которым нельзя судить об этой обширной проблеме в целом, высказывается мнение, что понятие субстрата становится все менее популярным в современном языкознании, что оно устарело и т.п. Примером подобного подхода является работа Р.Фаукеса «Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата». Справедливо критикуя в ней недостаточно убедительное объяснение в статье П.Делатра (Delattre, p. 43-55) черт английской фонетики, отличающихся от немецких влиянием кельтского субстрата, Р.Фаукес, не подтверждая свои выводы какими-либо другими примерами, выражает скепсис по поводу применения понятия

***** При том, что в СССР борьба с зарубежным буржуазным языкознанием предписывалась существующим строем, всё же остаётся актуальной и до сих пор борьба с приведёнными ниже и подобными им теоретическими концепциями, как, в сущности, антинаучными, поскольку они исходят не из объективного и добросовестного исследования фактов, а из предвзятых мнений или из сугубо априорных умозрительных построений, не подтверждаемых реальными данными.

субстрата в языкознании вообще. «Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать, — пишет он, — взаимодействие соседей-современников или же почти очевидный факт, что поколение, изучающее новый язык, принесет в этот язык много собственных речевых навыков. Что же касается таинственной атавистической силы древних субстратов, то она представляется окутанной слишком густым туманом, чтобы можно было вести научное наблюдение: есть лишь возможность строить всякие, иногда довольно увлекательные предположения ... Конечно, надо быть благодарным за любую попытку приблизиться к «объясняющей лингвистике», однако теория субстрата до сих пор остается исключительно шатким основанием для какого-либо объяснительного построения» (Фаукес, с. 342-343). Высказанное здесь критическое замечание недостаточно убедительно и может быть принято безоговорочно только как предостережение против необоснованного употребления понятия субстрата. Однако нельзя согласиться с тем обобщением в отношении субстратных исследований, которое делает Р.Фаукес и которое можно воспринять только как полное отрицание возможности конструктивного применения этого понятия в том случае, когда речь идет о последствиях взаимодействия двух языков в древности на одной территории, при котором один язык исчез, а другой сохранился, включив в себя — в большей или меньшей степени — пережитки первого.

Наряду со взглядом, заключающимся в полном отрицании субстрата, в зарубежном языкознании распространен противоположный, сущность которого состоит в преувеличении роли субстрата, его абсолютизации, в безоговорочном принятии его возникновения и воздействия, обусловленного чисто биологическими, генетическими причинами. Этот взгляд, будучи представленным в работах некоторых зарубежных лингвистов и являясь одинаковым в своей основе и различным только в деталях, отмечается на протяжении всей первой половины XX века. Так, немецкий ученый Э.Гаммльшег еще в 1911 г. высказал мысль,

свидетельствующую о том, что субстрат в фонетике представляется ему чем-то неизбежным, независимым от условий взаимодействия двух языков: «То, что население способно полностью отказаться от собственной артикуляционной базы в пользу чужой, является абсолютно недоказанной гипотезой» (Gamillscheg, S. 185). Если в высказывании Э.Гамилльшега только подчеркнута обязательность сохранения субстрата (в данном случае фонетического), по-видимому, в любых условиях, а, следовательно, и независимо от них, то несколько позже голландский языковед Я. ван Гиннекен попытался обосновать подобную неизбежность фонетического субстрата наследственностью звуковых законов. Ср.: «Общие задатки человека являются... настолько многосторонними, а артикуляционные базы большинства европейских языков настолько похожими, что здесь у нас практически любой ребенок без труда может усвоить артикуляционную базу своего окружения в качестве фенотипа, не теряя при этом полностью и своей собственной генотипической артикуляционной базы. Последняя, например, проявится отчетливо, когда этот ребенок, иногда через много лет или в своих потомках, возможно, через столетия, снова придет в соприкосновение со звуками своей собственной артикуляционной базы. Тогда такой человек может вдруг почувствовать себя сразу как дома, задвигаться сразу с величайшей легкостью, тогда он станет певучим художником языка, тем временем как до того он был всего лишь подражателем-халтурщиком» (Ginneken, S. 13). Ту же позицию субстратной наследственности звуковых законов и особенностей значительно позже занял французский ученый А.Доза, объясняя, например, отсутствие звука *v* в баскском языке явлением прогнатизма (выдвинутой вперед нижней челюстью, касающейся поэтому не зубов, а верхней губы), которое привело к тому, что возникла тенденция к произношению *b* вместо *V*, точнее звука *p*, занимающего промежуточное положение между *V* и *b* (Dauzat, 1953, p. 34). Воздействие субстрата (в фонетике) объясняется и здесь генетическими (антропологическими либо биологическими) особенностями, совершен-

144

но независимыми от социальных условий развития языковых процессов, в данном случае взаимодействия языков.

В большинстве случаев врожденность

субстрата, его генетико-антропологическую предопределенность в работах зарубежных лингвистов относят, как видно из приведенных выше высказываний, к фонетике. Однако наблюдаются попытки распространить подобное объяснение и на другие области субстратных явлений. Так, Э.Леви появление в языке старого Гете парных образований типа Wechsel - Dauer «изменчивость — стойкость», Rache — Segen «месть — благословенье», herrlich — hehr «великолепный — величественный» и т.п., т.е. черту, относящуюся к особенностям словообразования, пытается объяснить тем, что в старости в языке великого поэта все больше стал проявляться биологический тип его предков по отцовской линии со свойственными ему языковыми особенностями. Поскольку эти предки родом из Восточной Франконии, где в прошлом жили славяне, по-видимому, сами были славянами, славяне же, по мнению Э.Леви, — «финно-угризованные индоевропейцы» (Бсиу, 1961, S. 91-105; 1961a, S. 106-112), а, как известно, для части славянских и всех финно-угорских языков парные слова весьма характерны, то возвращение под старость к этому исходному типу было связано у Гете, в частности, с перенесением в немецкий язык присущей славянам (и их субстрату, финно-уграм) модели парных слов (Ткаченко, 1979, с. 90-91, 96-97, 116-117, 125-126, 145-146, 159-160, 169-170, 176-214). Несмотря на возможность более правдоподобного научного объяснения указанной особенности языка старого Гете вполне реальными обстоятельствами — его непосредственным окружением и языком этого окружения, где, действительно, под влиянием славянского субстрата в немецком языке могла приобрести известную продуктивность модель парных слов, Э.Леви исходит из чисто биологического фактора, якобы «воскресившего» под старость у Гете одну из черт его далеких предков. Даже такая деталь, как появление упомянутой языковой черты (парных слов) именно у старого Гете, что могло бы толковаться вполне реалистично как следствие

большей уверенности Гете, авторитетного мастера языка и стиля, в своем праве использовать известные ему языковые черты, если они и не совпадают с обычными нормами немецкого языка, объясняется особенностями унаследованного им биологического типа, усилившего свое влияние на поэта в старости. Таким образом, научному и аргументированному объяснению субстратных черт как особенностей, обусловленных прежде всего социолингвистическими обстоятельствами, предпочтено, в сущности, идеалистическое обоснование их появления действием биологической, генетической силы. Оба взгляда, как тот, в котором полностью отвергается само понятие субстрата, так и тот, на основании которого субстрат объявляется чем-то совершенно незбылемым и свойственным языку в любых условиях, причем связанным не с социальными условиями его развития, а с чисто биологическими особенностями его носителей, является ненаучными, идеалистическими и поэтому абсолютно неприемлемыми. Каждый из них по-своему вреден для дальнейшего развития языкознания. Отрицательно может сказаться на развитии науки, в частности, нигилистический подход к понятию субстрата, при котором последний признается несуществующим, а те стороны в истории языка, которые могут быть познаны с его помощью, — субстратные включения в языке-преемнике, возможность частичной реконструкции отмершего субстратного языка с помощью его остатков, — объявлены в конечном счете непознаваемыми. Таким образом, в этом взгляде на субстрат и его проявления отражена в наибольшей степени такая черта идеализма, как агностицизм. Взгляд, на основании которого субстрат полностью отвергается, совершенно неприемлем с разных точек зрения. Он опровергается как с методологической точки зрения, так и эмпирически самой практикой лингвистической исследовательской работы.

Стоит отметить, что, хотя термин *субстрат* еще отсутствует у Ф.Энгельса (термин распространился позже), само понятие субстрата было принято этим классиком марксизма, специально интересовавшимся и занимавшимся вопросами языкознания. В своей работе «Франкский диалект», написанной в 80-е годы прошлого века, Ф.Энгельс в значении «субстрат» употребляет близкое по смыслу к нему слово «пережиток» (Uberrest) применительно к франкскому

субстрату в древнесаксонском языке (Энгельс, с. 24, 25). Говоря в той же работе о фризском субстрате в западно- и северогерманских языках, Ф.Энгельс не употреблял никакого термина, но описательно настолько точно характеризует само явление субстрата, что у современных ученых, в частности у советского нидерландиста С.А.Миронова, не вызывает ни малейшего сомнения то, что в данном случае Ф.Энгельс имеет в виду (фризский) субстрат, — ср.: «На западе он (фризский) был оттеснен или совсем вытеснен нидерландским (языком), на востоке и севере — саксонским и датским, но в обоих случаях оставляя сильные следы в языке, который вытеснил его (... in beiden Fallen starke Spuren in der ein- dringenden Sprache zurucklassend (подчеркивание мое. — О.Г.) (Энгельс, с. 29, 31). По поводу этого места у Ф.Энгельса С.А.Миронов замечает: «В приведенном отрывке дана в чрезвычайно сжатой форме исчерпывающая и глубоко научная характеристика языковых отношений, сложившихся в Нидерландах в XVI- XVII вв. в связи с перенесением центра языкового развития на север и со смещением диалектной базы нидерландского литературного языка. Вместе с тем здесь очень ярко и убедительно показан гетерогенный, смешанный характер новонидерландского языка: необходимость выделения в нем основного франкского ядра и элементов ингвеонского (преимущественно фризского) субстрата» (подчеркивание мое. — О.Г.) (Миронов, с. 248). Методологическая обоснованность и целесообразность применения понятия субстрата, нашедшего отражение в трудах Ф.Энгельса, подтверждена как в самом его исследовании «Франкский диалект», получившем высокую оценку в работах современных германистов⁺⁺⁺⁺⁺, так и в последующих работах отечественных и зарубежных исследователей. В частности, эта целесообразность доказана в тех исследованиях, где на основании изучения элементов субстратного языка в языке-преемнике была получена возможность хотя бы фрагментарной, но в то же время системной реконструкции угаснувших языков, дошедших до нашего времени преимущественно или

+++++ См., в частности, у Т.Фрингса: «То, что мы (немецкие германисты. — О.Г.) обнаружили на Рейне в процессе кропотливой и напряженной работы, на 40 лет раньше уже было открыто взору Энгельса. В своей работе Ф.Энгельс, еще в период безоговорочного господства младограмматиков, отказывается

исключительно в составе субстратных элементов языка-преемника (Ткаченко, 1985; Reichenkron). Сама возможность создания подобных работ была бы полностью исключена при отсутствии явления субстрата. Отрицательное отношение к субстрату, непризнание его существования вредно тем, что, внушая нигилистическую мысль об отсутствии субстрата или его непознаваемости, граничащую с прямым агностицизмом, оно тормозит развитие субстратоведческих исследований, а тем самым реконструкцию исчезнувших языков, сохранившихся только в виде субстрата, и глубокое исследование истории языков-преемников, включивших в себя субстратные элементы того или иного исчезнувшего языка.

Не менее отрицательно сказывается на исследовании языковых субстратов и субстратных языков и другое идеалистическое направление зарубежного языкознания, которое, напротив, тяготеет к преувеличению роли субстратов, их абсолютизации, а в конечном счете к отрыву развития языка в его взаимодействии с другими языками от (конкретной) истории общества. Исходя из этого, нельзя согласиться с чисто биологической или антрополого-генетической, причем совершенно не связанной с историей общества, носителями определенного языка (языков), трактовкой, которую явление субстрата получает в работах Э.Гамиллышега, Я. ван Гиннеке, А.Доза, Э.Леви и их последователей. Этому, кстати, не противоречат и недавно полученные данные фонетического эксперимента, которые как будто от чисто физиологического, построенного на естественнонаучных закономерностях, рассмотрения языка. Вместо застывшего и неподвижного, вместо отдельного и разрозненного, вместо догматического правила Энгельс видит историческое движение и историческую жизнь. Он совершает, не оговаривая этого специально, переход к социально-историческому рассмотрению языка» (Фрингс, с. 223).

подтверждают мысль о врожденной национальной артикуляционной базе. Так, эксперимент, проведенный грузинским и русским фонетистами на двух группах грудных детей нескольких часов от роду, происходящих от чисто грузинских (в первой группе) и чисто русских (во второй) родителей, при изучении артикуляционно-акустических особенностей их крика показал, что у грузинских детей значительно сдвинута назад артикуляционная база. Следовательно, их голосовой аппарат как

бы заранее предрасположен к более удобному, чем у русских, произнесению типичных грузинских звуков, в том числе абруптивных (смычногортанных), особенно трудных для усвоения не-грузин. Артикуляционная база русских детей, напротив, с самого младенчества, т.е. задолго до усвоения языка, как бы приспособлена к исходному положению, наиболее удобному для усвоения русских звуков (Джапаридзе, Стрельников, с. 58-64). Однако независимо от интерпретации рассматриваемого явления, которое допускает возможность объяснения и с социолингвистической точки зрения (как результат «настройки» голосового аппарата младенца еще в утробный период вследствие отражения особенностей артикуляции матери, говорящей по-грузински или по-русски, являющейся членом грузинского или русского (языкового) общества), — даже в том случае, если рассмотренный выше феномен обусловлен исходными генетико-биологическими факторами, он не дает основания рассматривать явления субстрата в целом как результат только сугубо биолого-генетических особенностей и процессов. Это объясняется тем, что, даже при наличии определенной предрасположенности к большей или меньшей легкости произношения тех или иных звуков, которая в примере лингвистического эксперимента тоже ведь вытекает в конечном счете из факта социолингвистического — принадлежности обоих родителей к одной языковой общности, судьбы дальнейшего развития фонетики определенного индивида или группы (коллектива, общности) говорящих зависят не столько от фонетической предрасположенности, в какой-то степени, возможно, обусловленной и биологическими факторами, сколько в значительно большей степени от социологических (социолингвистических) причин. В еще большей степени это относится к явлениям лексики, фразеологии и грамматики. Упомянутый выше взгляд характеризуется тем, что в нем на первом месте стоит фактор биологический, расово-генетический, хотя речь идет о языке, явлении, свойственном человеку, существу прежде всего общественному, формирующемуся и развивающемуся вместе с языком в связи с особенностями развития общества, а не вне его, в отрыве от него. Как бы ни были сильны в человеке черты антропологические, обуславливающие и его фонетику, фонетические особенности его произношения

могут быть признаны в качестве действующих норм, — а не его индивидуальных, отклоняющихся от них особенностей, — только в случае их принятия языковым коллективом, обществом. Что же касается передачи по наследству артикуляционных субстратных черт, то она маловероятна хотя бы уже в связи с самым биологическим способом воспроизводства человека (не говоря даже о социальных факторах), который с неизбежностью предполагает для продолжения рода объединение генов одной линии наследственности с генами другой. Как в подобных условиях, уже биологически сложных (безотносительно даже к языковым традициям общества) может проложить себе дорогу линия определенной генетически обусловленной артикуляционной базы, «объясняет» разве что идеалистическая мистика расизма. Ничего общего с истинной наукой, базирующейся на принципах разумно обоснованного научного материализма, подобные взгляды не имеют. Нельзя не согласиться ввиду этого с приводимым Б.Гавранек мнением Е.Уотма (Whatmough), который по поводу подобных субстратных теорий пишет: «С мистической или атавистической интерпретацией субстрата нужно покончить раз и навсегда; это химера или, вернее, собрание химер» (Гавранек, с. 109).

Критическое рассмотрение идеалистических, антинаучных взглядов на языковой субстрат и причины его возникновения позволяет, таким образом, с еще большей точностью и конкретностью, чем бы это могло быть сделано без него, говорить о том, что наиболее глубокими и определяющими причинами, ведущими, с одной стороны, к отмиранию одного из двух взаимодействующих языков, а, с другой, к постепенному превращению остаточных пережитков первого в субстрат второго из этих языков, являются преимущественно социолингвистические. Другие причины и факторы, действующие при этом в своей основе социолингвистическом процессе, — интралингвистические (внутриязыковые, такие, как фонетические, лексические, грамматические изменения, связанные с действием сугубо внутриязыковых факторов), психолингвистические, этнолингвистические и т.д., — выступают в данном случае только как сопутствующие и производные по отношению к социолингвистическим причинам.

Субстрат, так же как и другие, смежные с

ним, явления — суперстрат, интерстрат, адстрат, инстрат^{*****}, представляет собой следствие взаимодействия двух (реже нескольких) языков. Однако в отличие от адстрата и инстрата, где речь идет о заимствованных элементах из живых языков, и от интерстрата, где, несмотря на известную омертвелость иврита как основы интерстрата, он никогда не становился полностью мертвым и в конечном счете снова стал полностью возрожденным, живым языком, в случаях субстрата и суперстрата речь идет об элементах языка, ставшего мертвым для носителей языка, в котором эти элементы выступают. В субстрате в качестве мертвого, растворенного в своих сохранившихся элементах языка в языке-преемнике выступает язык автохтонов, в суперстрате, напротив, языком-преемником является язык автохтонов, языком отмершим и растворившимся в нем становится язык пришельцев.

Очевидно, в наиболее чистом виде суперстрат сохраняет свое своеобразие по отношению к субстрату только тогда, когда его носителями являются небольшие группы завоевателей, сравнительно быстро растворяющиеся среди побежденных. В этом случае завоеватели, составляющие узкую и немногочисленную прослойку, правящую завоеванной территорией и командующую войсками, растворяясь в местном населении, как правило, не оказывают влияния на фонетику и грамматику языка автохтонов, обогащая главным образом только его лексику словами, связанными преимущественно с управлением и армией, реже, когда речь идет об определенном культурном превосходстве пришельцев, это обогащение лексики касается

***** Суперстрат — остатки языка пришельцев, растворившегося в языке автохтонов (например, элементов болгарского языка в болгарском, франкского во французском, англо-норманнского диалекта старофранцузского языка в английском и под.). Интерстрат — каждый из остатков предыдущего языка, в основном с преобладанием элементов иврита, в следующем из языков евреев с периода утраты иврита в качестве разговорного языка до времени восстановления его в этой функции в еврейской части Палестины (> государстве Израиль). Адстрат — слой заимствований, возникающий в каждом из смежных языков в результате их контактов, не приводящих к вытеснению одного языка другим (например, болгарские заимствования в румынском, румынские в болгарском). Инстрат — слой заимствований в языке, подвергшемся особенно сильному воздействию со стороны смежного и однотерриториального с ним языка (немецкие элементы в ретороманском Швейцарии).

культуры в широком понимании. Если же будущее суперстратное население проникает на завоеванную территорию большими массами, заселяя значительную ее часть, с социалингвистической точки зрения его общественные низы, составляющие наибольшую долю среди пришельцев и дольше всего сохраняющие свой язык, со временем, когда язык завоевателей, теряя полностью свой престиж, начинает отмирать, оказываются, в сущности, в таком же положении, как и носители субстратного языка. Результат отмирания этого суперстратного языка в таком случае в основном ничем не отличается от последствий отмирания языка субстратного. Поэтому, очевидно, точнее было бы говорить при этом не о языковом суперстрате, а о субстрате, который ввиду вторичности появления на территории его распространения следует в отличие от обычного первичного субстрата называть вторичным субстратом. Следы подобных вторичных субстратов можно, в частности, обнаружить в диалектах и языках современной Рومании на месте бывшего распространения германских языков, принесенных сюда германскими завоевателями в эпоху великого переселения народов, таких, как готский и лангобардский в Италии, франкский и бургундский во Франции и т.д. Рассматривая социалингвистические предпосылки образования субстратов, следовательно, нужно иметь в виду не только первичные, т.е. наиболее типичные, субстраты, но и вторичные, возникшие на основе исходных суперстратов. Целесообразнее все же, рассматривая явление субстрата в целом, исходить в основном из первичных субстратов как наиболее типичных, прежде всего в связи с тем, что первичный субстрат в наибольшей степени соответствует социалингвистическому представлению об этом языковом образовании. С ним (в отличие от суперстрата) с самого начала связано представление о языке (соответственно позднее — его остатках), находящемся в социологически низшем положении относительно другого языка (в дальнейшем — языка-преемника), наслонившегося на него и занимающего более высокое положение

Появление субстратов, как уже отмечалось выше, связано с исчезновением языков,

Об этом говорит и сам термин *субстрат*: ср. лат. *sub-stratus* «под-стилка» от *sub-sterno* «под-стилаю, под-кладываю, кладу под что-либо», с которым связано представление о социологически низшем языковом слое.

вытесняемых другими языками, появившимися вместе с их носителями на прежде не занимаемой ими территории. В истории языков, которыми пользуется человечество, — с тех пор, как эта история стала известной, — отмечается три типа их развития: 1) независимое, относительно автономное, развитие языка на той или иной территории, не связанное как с вытеснением этого языка другими языками, так и с экспансией данного языка за границы своего первоначального распространения; 2) более или менее значительная экспансия языка за пределы территории своего первоначального распространения, связанная обычно с тем, что данный язык в связи со своей экспансией вытесняет и замещает другие языки; 3) вытеснение первоначально существовавшего на той или иной территории языка, вызванное экспансией на эту территорию другого языка, и в связи с этим переход населения, проживающего на данной территории, со своего языка на язык пришельцев. Если в первом случае языковые контакты не связаны со сменой языка, то во втором и третьем случаях лингвистической ситуации, которые взаимосвязаны и взаимозависят друг от друга, языковые контакты приводят к замене одного языка другим. Именно с ними связано также появление языкового субстрата. Истории известно очень много случаев экспансии языков и соответственно вытеснения ими других языков. Поскольку языковая экспансия очень часто, приводя к распространению того или иного языка, затем заканчивалась распадом его на ряд диалектов, а впоследствии и к появлению развившихся на их основе родственных языков, причем территория распространения каждого из них оказывалась, как правило, связанной с территорией былого распространения вытесненных субстратных языков (при отсутствии языковой экспансии подобное явление не отмечалось), можно думать, что распаду первоначально единого языка в случае его экспансии в значительной степени способствовало появление разных субстратов, вызывавшее расхождение в развитии того же самого языка на разных территориях, а это в конечном счете приводило к превращению единого языка в ряд родственных языков. Типичным примером подобного развития, известного истории, является экспансия латинского языка в западной и центральной части Римской империи, так наз. романизация, приведшая через несколько веков после падения западной

части Римской империи и захвата варварами римской провинции Дакии к образованию группы родственных романских языков, на которые распалась единая народная латынь, — итальянского, сардского, португальского, испанского, галисийского, каталанского, французского, провансальского, ретороманского, далматинского, румынского. Следует думать, что подобная же экспансия прагерманского и праславянского языков, менее известная истории ввиду более позднего появления письменности у соответствующих народов, привела к образованию двух больших языковых групп — германской и славянской. Там, где подобной экспансии не произошло или ее последствия были уничтожены экспансией других языков (эллинизация восточного Средиземноморья, перекрытая последствиями позднейшей арабизации), групп (семей) родственных языков не возникло. Именно поэтому в настоящее время в составе, например, индоевропейской семьи можно встретить языковые группы, представленные одним языком, — албанскую, греческую, армянскую.

Таковы общие, в том числе социолингвистические, особенности субстратов и их место в процессе развития языков.

2. Социолингвистические причины и особенности возникновения субстрата

При всем многообразии конкретных случаев взаимодействия двух языков, результатом которых явилась смена языка, вызванная вытеснением одного языка другим и включением остатков вытесненного языка, языкового субстрата, в язык-преемник, все наблюдаемые при этом особенности сложного социолингвистического процесса обнаруживают значительное число общих моментов. Это позволяет, отвлекаясь от частных процессов смены языков и используя наиболее типичные черты конкретных примеров только для воссоздания общей картины, попытаться дать обобщенное представление о нем, моделировать социолингвистический процесс, сопутствуемый образованием субстрата.

Одну из необходимых социолингвистических предпосылок, связанных в конечном счете через ряд посредствующих этапов с вытеснением языков и возникновением на основе их пережитков субстрата, представляет

собой явление языковой экспансии.

Истории известен целый ряд примеров языковой экспансии, широкого распространения тех или иных языков: в древности греческого (в восточном Средиземноморье), латинского (в западном Средиземноморье), в средние века арабского, в новое время русского, английского, французского, испанского, португальского. К примерам языковой экспансии относится, несомненно, также распространение индоевропейских языков, которому должна была предшествовать экспансия индоевропейского праязыка

ка и его различных ответвлений. Сюда же следует отнести распространение таких неиндоевропейских языков, как китайский, тюркские, финно-угорские, малайско-полинезийские и ряд других. В основе широкого территориального распространения определенного языка лежит расселение соответствующего этноса, его носителя. Причины, вызывающие переселения и расселения, могут быть разными, и далеко не всегда в их основе, особенно в начальный период развития этноса, лежит его экономическое благосостояние, связывающееся нередко, напротив, с определенной инертностью. Чаше внешние миграции стимулируются бедностью первоначально занятой территории, непрочностью, ненадежностью естественных границ. Если это сочетается с удобством расположения данной территории в качестве торгового, перевалочного пункта, подобное крупное преимущество может нейтрализовать и сделать, наоборот, положительными стимулами, определяющими необходимость и перспективность экспансии, те отрицательные моменты, которые этой территории свойственны, — бедность природных ресурсов, отсутствие надежных естественных границ. Как показывает опыт истории, многие центры будущих процветающих и могущественных государств и соответственно культурных центров сложились именно в подобных условиях — Афины в Греции; Рим как центр Лациума, расположенного в центре Италии, в свою очередь естественного центра Средиземноморья; торговый центр Аравийского полуострова Медина рядом с расположенным поблизости религиозным центром Меккой как исходные пункты экспансии арабов; Константинополь, центр Византии, у проливов, связывающих Европу и Азию; Лондон как торговый центр Англии, затем Британской империи; Киев в Киевской Руси на «пути из варяг в греки»; Москва, расположенная в Средней России, у истоков рек, связывающих ее с пятью морями — Балтийским, Белым, Черным, Азовским, Каспийским и т.п. Удобное расположение определенной местности в качестве торгово-экономического центра способствовало тому, что народ, населявший ее, значительно быстрее, чем окружающие народы, развивал свою материальную и духовную культуру. Это дава-

150

ло ему по сравнению с ними не только военное превосходство, но, что значительно важнее, также политическое, экономическое и

культурное. Таким образом, возрастала и становилась относительно большей ценность языка метрополии по сравнению с языками смежных стран, впоследствии провинций соответствующего государства. Эта относительно более высокая ценность языка, получившего тенденцию к распространению, вытекала из того, что он превращался в орган более высокой по отношению к провинциальным языкам культуры. Если это превосходство, однако, было небольшим, частичным и даже во многом спорным, языки завоеванных стран успешно выдерживали конкуренцию с языком метрополии. Известно, что латинский язык, вытеснивший в западной части империи за более или менее длительный (или короткий) период такие языки, как иберский, галльский, оскский, умбрский, этрусский, ретский, дакомизийский, тем не менее не смог вытеснить греческий, представляющий высокую цивилизацию, которая не только не уступала римской с ее органом, латинским языком, но в некоторых моментах едва ли ее не превосходила. Очевидно, иногда сохранению языков могла способствовать и значительная природная, географическая замкнутость определенных территорий. Так, видимо, обстояло с сохранением баскского языка, пережившего Западную Римскую империю и дожившего до наших дней, или с албанским, единственным палеобалканским индоевропейским языком, сохранившимся на Балканах и устоявшим перед натиском как эллинизации и романизации, так и позднейшей славянизации.

Таким образом, вытеснение одного языка другим становится возможным только тогда, когда между обществами, пользующимися двумя языками и оказавшимися в силу экспансии одного из них на общей государственной территории, существует слишком большое и устойчивое расхождение в их развитии, причем уровень развитости (политической, экономической, культурной) одного из них значительно превышает уровень другого, создавая целый ряд преимуществ для тех, кто, пользуясь его языком, относится к нему. В целом, однако, смена языка зависит от ряда факторов,

которые редко выступают обособленно. Обычно смена языка является следствием совместного действия нескольких из них. Если факторов, вызывающих смену языка, мало или им со стороны языка, испытывающего воздействие экспансии другого, эффективно противостоит какой-либо из важных факторов, который в значительной степени нейтрализует это воздействие, смены языка может не произойти. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением современного немецкого языковеда (из ГДР) Карла-Хейнца Шенфельдера (Karl-Heinz Schonfelder), который, убедительно говоря о данных факторах, замечает следующее: «Вопрос, какой из двух языков одержит победу, а какой погибнет, зависит от определенных обстоятельств и от целого ряда факторов, которые мы должны тщательнейшим образом изучить. Недостаточно рассмотреть тот или иной фактор обособленно от всех остальных, так как в этом случае мы неизбежно придем к ошибочным выводам... одностороннее рассмотрение того или иного фактора недостаточно, чтобы решить, почему смена языка произошла именно таким, а не каким-либо другим способом.

Важнейшими факторами, которые должны быть рассмотрены в их совокупности, являются следующие:

- 1) количественное отношение смешивающихся народов;
- 2) временная протяженность и интенсивность взаимного соприкосновения или проникновения;
- 3) военное и политическое превосходство одного из народов;
- 4) культурное превосходство одного из народов;
- 5) социальное положение лиц, относящихся к смешивающимся группам или народам;
- 6) факторы, касающиеся религии;
- 7) психические особенности смешивающихся народов;
- 8) географические и транспортно-технические факторы;
- 9) структура сталкивающихся языков» (Schonfelder, S. 46, 49).

Рассматривая историю языков с социолингвистической точки зрения, можно отметить в связи с вышеуказанным два пути их развития — 1) конструктивный и 2) деструктивный. Конструктивный путь развития языка, связанный с экономическим, политическим, культурным подъемом общества,

пользующегося определенным идиомом, ведет к неуклонному повышению последнего, к приобретению им статуса языка, превращению диалекта, на базе которого он развивается, в основу языковой литературной нормы. Деструктивный путь, связанный с экономическим, политическим, культурным упадком, застоём и отсталостью общества, пользующегося соответствующим идиомом, ведет, напротив, к деградации этого идиома, утрате им статуса языка, постепенному превращению его в совокупность все более отдаляющихся друг от друга говоров. Процесс деструкции языка не возникает сам по себе, а связан, как правило, с одновременным (и вызывающим его) процессом распространения на территории деградирующего языка другого языка, находящегося в состоянии конструкции. Таким образом, оба процесса начинают связываться друг с другом и со временем все больше друг на друга влиять. Если связь между двумя независимо развивающимися на разных территориях и только смежных друг с другом языками носит характер координации, — языки, взаимовлияя, находятся в примерно одинаковом социолингвистическом положении, и ни один не находится в состоянии подчиненности, зависимости от другого, — то в случае (потенциальной) ситуации вытеснения одного языка другим ей сопутствует и ее предопределяет положение субординации, т.е. подчинения, все большего и полного, одного языка другому. Подобное отношение между языками складывается тогда, когда в силу экстралингвистических обстоятельств один из них начинает приобретать все большую социолингвистическую ценность, а другой все больше эту ценность терять. Объясняется это сложным взаимодействием языка и общества, пользующегося тем или иным из языков. Процессы, определяющие превращение одноязычного населения в население, которое пользуется двумя языками, своим (первым) и вторым (чужим), а затем снова в одноязычное, но уже с другим родным языком, и первого из двух языков в субстрат второго, являются социальными.

Вместо двух этнических обществ (народов) с двумя культурами и языками возникает одно общество (народ) с одной культурой, выражением которой является один общий язык. Это вызывается тем, что превалирующее общество (общество А) становится центром консолидации, который все больше увеличивается, между тем как другое общество

(общество В) подвергается параллельно распаду и количественно уменьшается. Оба процесса — социальный и языковой — идут параллельно. Привлеченные преимуществами общества А, в него переходят прежде всего высшие, а позже средние слои общества В, что находит свое выражение также в их окончательном (через стадию двуязычия) переходе на язык А. Общество А благодаря этому увеличивается, общество В становится рудиментом бывшего отдельного общества, поскольку из него выпадают высшие (ведущие) слои, переходящие в общество А. Это предопределяет социальную зависимость остатков общества В от общества А. В такую же зависимость от языка А попадает и язык В. Потеряв высшие социальные слои своих носителей, которые являются, как правило, носителями литературного (наддиалектного) языка, — что определяется их ведущей ролью в обществе, — язык В превращается в совокупность диалектов «без крыши»¹, т.е. диалектов без собственного нормативного общенародного языка. Отсутствие собственного наддиалектного языка приводит, с одной стороны, к тому, что социально низшие по отношению к языку А диалекты языка В начинают распадаться на все более изолированные и отдаленные друг от друга говоры, а, с другой, к тому, что в «крышу» этих говоров превращается фактически социально высший по отношению к ним язык А, который становится для них субординирующим и начинает все больше подчинять их своему влиянию. Подобное социалингвистическое отношение возникает, как справедливо замечает А. Мартине, между любым общенародным (литературным) языком определенной страны и говорами без собственного литературного языка (или со слабо развитым и маловлиятельным литературным языком), даже независимо от степени генетической близости (напр., французский литературный язык — французские, провансальские, бретонские, баскские говоры) (Мартине, с. 507)². Социалингвистическое отношение говоров неродственных

языков к субординирующему литературному языку можно, по-видимому, сравнить при этом с отношением к литературному языку т. наз. «тайных языков», социалектов (арго), что оправдывается и тем, что носителями подобных говоров, как правило, являются только представители части низших классов и профессий (крестьяне, рыбаки, мелкие ремесленники и т.п.), между тем как средние и высшие слои, связанные происхождением с носителями говоров подобного языка, преимущественно этими говорами не пользуются. Именно исходя из этого, В.Террачини считает субстрат, возникший в результате включения остатков субординированного языка в субординирующий, следствием положения, при котором субординированный язык вступает касательно субординирующего в отношение, напоминающее отношение диалекта к национальному языку: «Строго говоря, при субстрате уже не существует побежденного языка отдельно от языка-победителя, и оценка фактов первого с точки зрения системы последнего сводится к чисто стилистическому понятию «вульгаризма» (Террачини, с. 30-31).

носители языка В (при участии также носителей языка А) переносят многое в язык А. Эти элементы традиционного местного языка во вновь усвоенном и становятся субстратными элементами (включениями) при окончательном переходе носителей языка В к исключительному употреблению языка А (и — соответственно — к полному отказу от употребления своего первого традиционного языка).

Указанный процесс является процессом параллельной деструкции языка В при конструкции языка А. Однако поскольку конструкция одного языка не идет независимо от деструкции другого, а тесно связана с ней и по крайней мере частично питается ею, конструкция языка А в этих условиях превращается фактически в большую или меньшую его реконструкцию, перестройку. Следствием этой перестройки (с формулой $b + A$, где b обозначает субстратный вклад языка В) является возникновение нового языкового образования A_1 ($b + A \gg A_1$). Ясно, что новое языковое образование $A_1 = B$, но так же уже и $A_1 = A$. От приобретения этим новым языковым образованием (A_1) независимого социолингвистического статуса зависит в дальнейшем, сможет ли оно стать отдельным языком или останется на положении зависимого от литературного языка диалекта, варианта литературного языка и т.п.

С социолингвистическими факторами, наиболее решающими в процессе постепенного угасания того или иного языка, тесно связаны вытекающие из него психолингвистические моменты, которые впоследствии играют немалую роль в этом процессе. До тех пор пока носители того или иного языка признают за ним какую-то определенную ценность, пока они осознают себя определенным, отличным от носителей другого языка обществом, имеющим целый ряд своих особых хозяйственных, экономических, социальных, культурных задач, не совпадающих с задачами общества носителей другого языка, как правило, это способствует сохранению их языка, который является одной из наиболее ярких черт, выражающих эту специфику общества, пользующегося им, помогает сохранению единства соответствующего этно-языкового общества (соответственно племени, племенного союза, народности, нации). Упадок языка наступает тогда, когда общество одного языка (языка В) начинает полностью сливаться с обществом, пользующимся другим языком (языком А),

начинает осознавать себя только частью общества А, имеющей абсолютно идентичные с ним цели и задачи. Эта психолингвистическая настроенность, вытекающая из социолингвистической ситуации, которая в свою очередь складывается как следствие целого ряда экономических, социальных, этно-культурных, политических и т.п. процессов, связана с вытекающей отсюда переориентацией носителей культуры и языка В на культуру и язык А. Ввиду этого в целом культура А и обслуживающий ее язык А начинает восприниматься как нечто более ценное, чем культура и язык В. Подобные переоценки того или иного языка происходят в истории человечества постоянно. Однако далеко не всегда стойкое увлечение тем или иным несвоим языком, а в связи с этим и оценкой его как более ценного или значительного, чем свой (ср. оценка римлянами греческого языка, носителями многих других европейских языков французского, японцами, корейцами и вьетнамцами китайского языка, персами арабского и т.д.), приводила к мысли о ненужности своего языка. Очевидно, в ситуации, ведущей к смене языка, степень расхождения в оценке вновь усваиваемого языка и своего первого традиционного должна быть намного больше, чем в упомянутых перед тем случаях. Случай предсубстратной ситуации, ведущей к полной утрате первого языка, очевидно, есть основание определять как следствие полного кризиса утрачиваемого традиционного языка, его полного и осознаваемого все более широкими кругами его носителей банкротства. Таким образом, в случае координационной связи между языками даже при отрицательной оценке своего собственного языка по сравнению с другим подобная оценочная констатация носит чисто количественный характер, т.е. признается более низкий уровень своего языка по сравнению с другим, но свой язык все равно остается положительной величиной. Графически это можно передать так:

А (= другой язык) А +
В (= свой язык) о-----

Следовательно, считается вполне желательным и возможным его совершенствование и поднятие до уровня другого более развитого языка (А). Ввиду этого, само относительное несовершенство собственного языка в глазах его носителей становится только стимулом для поднятия его уровня.

В случае, ведущем к отмиранию собственного первого языка и превращению его в субстрат другого, разрыв в оценке первого своего языка по сравнению с другим усваиваемым приобретает качественный характер, при котором социолингвистический уровень своего первого языка воспринимается как величина только отрицательная, лежащая ниже всякого допустимого уровня (и не сравнимая с уровнем языка А), что графически можно передать таким образом:

А (= другой, второй + ж свой язык)

о

В (= свой (первый) язык) — ▼

В подобном случае свой первый язык предстает как нечто абсолютно отрицательное по сравнению со вторым языком, в связи с чем возникает чувство стыда, отвращения, неприязни к нему со стороны его традиционных носителей (или их потомков) при попытках пользования им в целом ряде ситуаций, круг которых неуклонно сужается. Ср. в связи с этим, например, оценку отношения к полабскому языку в последний период его существования при окончательном переходе к исключительному пользованию (ниже) немецким языком — «Вустровский пастор (Вуст- ров — в Люховском окр.) Хр. Генниг (Неппід, 1649-1719), составитель полабского словаря, сообщает между прочим следующее о славянской речи своих прихожан: «В настоящее время здесь говорят по-вендски (т. е. по-полабски. — *О.Т.*) немногие старики, с молодежью они уже не говорят на этом языке, так как над этим стали бы смеяться. Молодежь же чувствует такое отвращение к родному языку, что не хочет не только учиться ему, но даже не хочет и слышать его звуки. Таким образом, через 20 или 30 лет этот язык исчезнет» (Селищев, 1941, с. 421). В принципе нечто подобное наблюдается и в случае исчезновения во второй половине XX в. небольших прибалтийско-финских языков, водского и ижорского, расположенных на территории Ленинградской области. Ср. замечание по этому поводу эстонского советского языковеда Э.Эрнитса: «Теперь водь сохранилась только у Финского залива в 4 деревнях с разнонациональным населением. По большей части к ней принадлежат трехязычные старики, которые говорят на водском, русском и ижорском языках, имея водский образ мышления. Поколение среднего возраста не имеет водского самосознания,

рассматривая себя как русских или реже ижорцев, самые молодые — как русских. Люди среднего возраста говорят по-водски только дома, молодежь знает только русский язык, но некоторые из них могут понимать также водский или ижорский язык... Многие относятся с пренебрежением к водскому языку, который кажется им некрасивым и бесполезным.

Похожие тенденции наблюдаются также у ижорцев, хотя их численность больше (для 1979 г. в статье количество води определяется в 50 человек, ижорцев — в 700 человек. — *О.Т.*). Согласно принципам ленинской национальной политики в тридцатые годы были организованы для них школы с преподаванием на родном языке и создан литературный язык (на нем появилось более 20 книг), но было уже слишком поздно: национальное самосознание ижорцев с неизбежностью заметно снизилось. Они стали считать, что численность их народа слишком невелика, чтобы был нужен ижорский язык. В этом году мы сами слышали, как сын среднего возраста укорял мать за то, что она заговорила случайно на ижорском языке. Однако до сих пор живут старушки, которые владеют всем богатством оттенков родного языка и любят петь на нем прекрасные ижорские народные песни» (Ernits, p. 14-15).

Следует сразу же заметить, что подобное или близкое к нему социо- и психолингвистическое состояние наблюдается не только в ситуации, предшествующей полному исчезновению языка. Более или менее значительные периоды упадка с соответствующими очень близкими к отмеченным настроениями и весьма мрачными «прогнозами» в отношении будущего языка выступали и по отношению к тем языкам, которые в настоящее время, преодолев глубокий кризис, вполне успешно живут и развиваются (чешский язык в XVIII — нач. XIX в., литовский в XIX — нач. XX в. и т.п.). Очевидно, поэтому нет абсолютной границы между ситуацией, связанной с частичным и временным упадком языка, и положением, приводящим к его необратимому угасанию. Ввиду этого следует принять как необходимое уточнение к понятию субстрата и то положение, что субстрат как необратимое явление возникает только в своей абсолютной форме, т.е. только после того, как язык В полностью вытеснен языком А, войдя в него в

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

При подобном положении кобз со вре

[illegible]

В отличие в примере координатного индекса

никогда осуществиться в полном объеме. При дилемме — безупречное усвоение нового языка путем полного искоренения любых местных традиций (а только так этого и можно достичь) или не вполне совершенное его усвоение (которое все же дает возможность свободно общаться с его традиционными носителями) — всегда фактически выбирается последнее. Это объясняется тем, что в языке как в средстве прежде всего общения и информации значительно важнее не как, а что с его помощью будет сообщено или передано. Таким образом, распространение определенного языка на новых, занятых иноязычным населением территориях должно невольно связываться с использованием и усвоением местных культурных традиций (имеем в виду как материальную, так и духовную культуру), причем в восприятии их заинтересованы как представители этнического общества, от которого воспринимается новый язык, так и общества, которое на этот язык переходит. Следовательно, слияние двух этнических обществ в одно вместе с тем, как правило, является и слиянием двух культур и двух языков. Какой из этих двух языков выступает как основа слияния, а какой становится тем языковым элементом, который растворяется в другом языке, зависит от конкретных исторических обстоятельств. Однако не подлежит сомнению то, что процесс слияния местного языка с пришлым языком при возникновении между ними стойкого отношения субординации с перевесом со стороны последнего бывает правилом, а отсутствие этого влияния является исключением (разумеется, субстратный вклад может иметь разный удельный вес в каждом конкретном случае). Таким образом, здесь возникает особый диалект распространившегося за пределы своей исходной этнической территории языка (упомянутая формула $b + A \gg A_1$), который при благоприятных условиях, главный образом при преобладании центробежных тенденций над центростремительными, может превратиться со временем в отдельный язык.

При выработке подобного отдельного языка, безусловно, важный вклад вносится предыдущей языковой традицией соответствующей местности, которая придает особое направление его развитию, отличающемуся от предшествующего развития того языка, который распространился здесь позже. Можно считать, что этот новый отдельный язык является фактически наследником двух языков

— как языка, материальные черты которого он в основном унаследовал и продолжает, так и того языка, который в определенном (большем или меньшем) количестве своих элементов, в виде субстрата, т.е. пережитков субординированного языка, влился в этот язык, вызвав его специфическую перестройку и своеобразие дальнейшего развития. Из этих двух линий наследственности первая является основой для определения принадлежности данного языка к определенной языковой семье (группе), вторая, связанная с языком другой генетической принадлежности, становится определяющей для него как отдельного языка этой семьи (группы), т.е. характеризует в наибольшей степени его языковую индивидуальность, специфику на фоне других языков той же языковой семьи или группы.

Следовательно, вопрос угасания, исчезновения языков диалектически сложен, так как, приводя к исчезновению одних языков, он, с другой стороны, очень часто является отправным пунктом для зарождения новых языков, толчком для которых служит свертывание исчезающих языков в своих пережиточных элементах в субстрат, входящий в состав языка-преемника. Затем этот субстрат, т.е. остатки исчезнувшего языка, становится как бы ферментом, зародышем в недрах языка-преемника для того, чтобы вместе с ним породить новую лингвистическую индивидуальность, новый язык, имеющий, в сущности, двух родителей, две линии родства, основную генетическую и субстратную.

Сложные социолингвистические процессы, происходящие главным образом параллельно, — с одной стороны, угасание одного языка, вытесняемого другим, с другой же, включение оставляемого им субстрата в язык-победитель и тем самым его постепенное преобразование в новый, более или менее отличающийся от исходного идиом, — в будущем нередко новый язык, — взаимосвязаны друг с другом, представляя собой в целом чрезвычайно многогранное явление. На некоторых, еще не рассмотренных, его сторонах стоит остановиться отдельно.

Прежде всего заслуживают внимания процесс постепенного отмирания первого (местного) языка, результаты этого процесса, его специфика. Отмирание первого местного языка, вытесняемого вторым языком, занесенным в определенную местность извне, происходит через стадию двуязычия. Характерной особенностью этого двуязычия,

коль скоро первый местный язык оказывается по отношению к пришлому языку в положении субординации, является то, что это, как правило, в особенности на продвинутой его стадии, двуязычие местного населения, носителей местного языка, пришлое же население преимущественно не пользуется местным языком и часто даже его вообще не знает. В первоначальный период, когда язык пришельцев не получил достаточного распространения и их количество является небольшим, может существовать двуязычие также пришлого населения. Впоследствии, когда количество пришлого населения все увеличивается и обнаруживается его качественный перевес, все большее количество туземного населения и все удовлетворительней начинает параллельно с собственным для общения между собой употреблять в общении с пришельцами их язык. Это делает для последних все менее нужным усвоение языка туземцев в целом, из него усваиваются только отдельные элементы, которые могут попадать в язык пришельцев от двуязычных туземцев в их втором языке. Таким образом, происходит первое ограничение двуязычия, оно становится в основном принадлежностью только автохтонов, говорящих отныне как на своем родном языке, так и на языке пришельцев. Однако двуязычие и у автохтонов не является универсальным и совершенно уравновешенным, т.е. языки свой и вновь усвоенный не употребляются в одинаковой степени во всех функциях и областях, например, язык пришельцев используется в функции официально-деловой, зато язык автохтонов широко используется в производственной сфере, связанной с местным сельским хозяйством и промыслами. Профессиональная ориентация того или другого языка обуславливает их социальную приуроченность. Поскольку в официально-деловой сфере употребляется язык пришельцев, местная знать, стремясь сохранить свои позиции, должна им овладеть и пользоваться. Связь с пришлой знатью, необходимость контактов на семейно-бытовом уровне, смешанные браки, стремление с детства научить детей свободно и правильно пользоваться языком пришельцев ведут к тому, что у местных социальных верхов со временем местный язык отходит на задний план и как семейно-бытовой, сохраняясь разве как средство общения со слугами или крестьянами. Тем из местной знати, кто не овладевает вторым, субординирующим, языком, грозит

участь быть отторгнутым от власти и постепенно деклассироваться. Крестьяне как менее связанные с официально-деловой сферой, напротив, тяготеют к длительному сохранению местного языка. Средние городские слои, в частности купцы и ремесленники, тяготеют к двуязычию. Причем те, кто стремится подняться выше по социальной лестнице, приобрести более богатую и выгодную клиентуру из пришлой и местной ассимилированной знати, со временем также вынуждены переориентироваться на неместный язык как основной. Их туземный язык отступает на второй план, так как они употребляют его при общении с социально низшими слоями местного населения, оставшимися неассимилированными в этноязыковом отношении. Так постепенно двуязычие становится все более резко социально очерченным. Одновременно идет и его сужение. Поскольку во все большей степени двуязычие охватывает средние и даже низшие слои (дольше всего оно не касается женщин, связанных только со своим узким домашним хозяйством), все в меньшей степени нуждаются в знании местного языка те, кто овладел полностью вторым неместным, субординирующим языком. С другой стороны, двуязычие начинает проникать даже в разговорно-бытовое общение семьи, потому что всеобщее усвоение второго языка делается насущной необходимостью для всех, а знание первого местного языка все более факультативным, что вынуждает родителей не обучать ему детей, а одноязычных стариков овладевать вторым, неместным языком, чтобы понимать своих внуков. Так постепенно двуязычие, а вместе с ним и знание автохтонного языка становится уделом все более узкого круга лиц, со смертью которых устанавливается новое одноязычие, поголовное знание только первоначально второго для данной местности языка.

Так происходит смена языка в связи с развитием двуязычия и его функциональной (профессиональной) и социальной (общественной) ориентацией.

Спецификой смены языка является и то, что она носит преимущественно не внутрилингвистический, а социолингвистический характер. Языки только отчасти способны к взаимопроникновению. Неместный язык противится этому не только в силу языковой специфики вообще (слабая проницаемость грамматики, основного лексического фонда, стойкость фонетики и в особенности

фонологии), но также и потому, что чрезмерное проникновение в него автохтонных языковых элементов (даже при пользовании им туземцами) могло бы сделать его непонятным для основных носителей, превратить из средства общения в способ разобщения. Поэтому в большем количестве заимствованиями из пришлого языка насыщается язык автохтонный, тем более с развитием двуязычия. Однако и здесь насыщение заимствованиями далеко не безгранично: фактически остается неизменной в своих основах грамматика (здесь возможно отчасти только калькирование), малопроницаемо основное ядро лексики, с трудом поддается перестройке фонетическая система. Таким образом, при самом большом давлении на язык со стороны другого языка он до конца своего существования остается нерушимым в своих основах, этому препятствует как сугубо лингвистическая природа языка, так и его общественная функция быть средством общения.

Наиболее частотные элементы языка, находящиеся все время в работе, не поддаются замене. Поэтому смена языка происходит не путем постепенной замены всех его элементов, не путем постепенного изменения природы языка, а путем замены одного языка другим в целом, хотя, разумеется, в определенной связи с этим находится и функциональное сужение в пользовании языком, его невольное лексическое обеднение в тех областях деятельности, в которых он фактически не применяется. Однако все же не оно является основной причиной постепенного отказа от пользования местным, отмирающим языком. Основным поводом для этого служит то, что в определенных функциях (в администрации, школе, армии и т.п.) данным языком перестают пользоваться, поскольку их обслуживает другой язык. Язык туземцев в этих случаях насыщается большим количеством иноязычной лексики, так как, передавая свои действия или мысли в соответствующей сфере, они невольно должны прибегать к словам чужого языка, которым они в данной сфере пользовались, подключая к ним только свою грамматику, основную (близкую к строевым элементам) лексику и одевая иноязычные элементы в оболочку своей же фонетики. Отчасти, если язык имеет слабые устои (социальные, государственно-политические, экономические), это может создавать у туземцев определенный «комплекс неполноценности» ввиду того, что носители других языков, прежде всего второго

(субординирующего или тяготеющего к этой роли), могут обыгрывать этот момент, рассматривая его как аргумент против использования местного языка в данной функции, ибо местный язык не может обойтись в ней без лексики второго языка. Однако на примере общепризнанного в качестве мирового английского языка, где в сфере научной и административно-официальной наличествует большой процент исходно романской лексики, отражающей подобное же функциональное двуязычие, мы видим, что эта гетеролексичность языка нисколько не препятствует как его функционированию, так и высокому и общепризнанному авторитету. Основным препятствием для существования языка служат неблагоприятные социолингвистические обстоятельства и связанная с ними социолингвистическая его оценка и соответственно психолингвистическое его восприятие. Вытеснение того или иного языка идет по линии: 1) сужения его функций; 2) увеличения числа двуязычных лиц из числа его носителей на переходном этапе от одного одноязычия (употребления только первого местного языка) к другому одноязычию (употреблению второго занесенного извне языка); 3) сужения круга двуязычных лиц при параллельном увеличении числа носителей одноязычия на новой основе — на втором языке; 4) сужения на следующем этапе круга знающих местный отмирающий язык по возрасту (старшее — среднее — младшее поколение -^ старшее — среднее -^ старшее поколение) и полуносителей языка (мужчины и женщины старшего поколения -^ женщины старшего поколения). Последнее объясняется двумя причинами — биологической (большая стойкость женского организма, позволяющая, как правило, женщине пережить мужчину) и социальной (меньшая подвижность женщин, особенно в прошлом, их большая связь с домом, семьей, родом, их традициями, в том числе и языковыми). Поэтому в качестве последних носителей того или иного языка, последних представителей того или иного этноса чаще всего называют женщин: корнский язык (Долли Пентрет), тасманийский язык (Труганини), камасинский язык (К.З.Плотникова).

Постепенно в ходе своего взаимодействия со все более и более распространяющимся вторым языком (языком А) местный язык (язык В), вытесняемый пришлым языком, все менее остается существовать в своем чистом виде и все более сохраняется

только в виде своих пережитков, включенных в язык, секундарно распространившийся на данной территории. Со временем, когда первый местный язык полностью выходит из употребления, он продолжает существовать только в своих пережитках, включенных так или иначе в систему вторичного для данной местности языка (А). Пережитки субстратного языка входят: 1) в местную ономастику (прежде всего топонимы); 2) в диалекты данной местности, продолжающие идиом пришлого населения (в наименьшей степени); 3) в диалекты, возникшие на основе второго языка постсубстратного населения (в большей степени); 4) в т. наз. «тайные языки», возникающие на основе того, что субстратный язык дольше всего держится у представителей определенных профессий, например рыбаков (наибольшая степень включения субстратных элементов). На последнем стоит специально остановиться. «Тайные языки» начинают, по-видимому, возникать в последний период существования субстратного языка. Их целью является стремление сохранить хотя бы отчасти свой язык как удобное средство скрывать свои мысли от посторонних лиц. Вначале эту функцию выполняет первый язык в целом. Таким образом, в этот период в двуязычной профессиональной группе населения существует два языка с двумя отдельными грамматиками и двумя отдельными лексиками. Затем, когда переходят на один язык с одной грамматикой, пережиточно, как удобное средство отмежевания своей группы от остального общества носителей второго для данной местности языка, сохраняется обычай употреблять уже на одной (исходно вторичной) грамматической основе особенно насыщенный субстратной лексикой вариант (исходно) второго языка. Так как слова субстратного языка, однако, все более забываются, со временем их заменяют другими заимствованиями или искаженными формами исходно второго, теперь единственного, для данной местности языка. Не исключено, что отчасти такого происхождения по крайней мере некоторые из «тайных языков» Центральной России, которые ввиду того, что в них встречается целый ряд (пост)мерянских слов, могли продолжать вначале субстратный финно-угорский мерянский язык. С утратой знания грамматики и значительной части своей (и именно основной) лексики, которая наступает после смены языка, и включением фонетических, грамматических, лексических,

фразеологических пережитков субстрата (последних трех также в калькированном виде) в ткань второго языка они все менее ощущаются как инородные (сознание их происхождения утрачивается), воспринимаясь как его диалектизмы (арготизмы, вульгаризмы и под.). Если субстратный язык не имел (или утратил) письменные памятники, выделить его элементы во втором языке, языке-преемнике, чрезвычайно трудно, так как они, в сущности, полностью сливаются с элементами исходно вторичными; их можно выделить только с помощью применения сопоставительно-исторического метода, являющегося сочетанием двух других — сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического.

Пока речь шла об одной стороне социолингвистического процесса вытеснения пришлым языком автохтонного языка, — судьбах этого последнего, вплоть до его полного исчезновения как языка и растворения в своих пережитках в языке-преемнике, вторичном для данной территории.

Следует в общих чертах рассмотреть также особенности формирования нового идиома A_1 , возникшего в результате включения языком-победителем А субстратных остатков b , сохранившихся после окончательного исчезновения языка В ($b + A \gg A_1$). Дальнейшие социолингвистические обстоятельства вызывают либо сохранение нового идиома A_1 как диалекта языка А, либо приобретение им положения нового отдельного языка A_1 , родственного языку А. До исчезновения субстратного языка В именно он рассматривается как местный язык, языковой представитель местной культурной традиции. По мере его исчезновения эту роль все больше принимает на себя идиом (язык) A_1 . Этому способствует, в частности, то, что $A_1 = A$, поскольку в отличие от последнего, образовавшегося на своей исходной территории, идиом A_1 , образовавшийся путем соединения $b + A$, имеет чисто местные черты, обусловленные включением субстрата, т.е. пережитков местного языка В. Вначале носители языка А, в особенности те, которые не живут в местности В, относятся к новому идиому A_1 , возникшему в провинциальной местности, вторично занятой языком А, как к «испорченному влиянием языка В», «вульгарному», «неправильному», «простонародному». Таким было, например, отношение к местной народной латыни в западных романизированных провинциях

Римской империи со стороны коренных римлян, владевших безупречно классическим языком. Недаром местные особенности сперва рассматривались только как ошибки, погрешности по отношению к классической книжно-литературной латыни. Затем, если на основе местного провинциального идиoma, родственного литературному языку метрополии, складывается отдельный литературный язык, отношение к нему в корне меняется. Его воспринимают как местный национальный язык, в связи с чем фактически и традиции местного патриотизма, местной культуры, которая уже рассматривается не как провинциальная, а как особая, самодовлеющая, возрождаются, хотя уже на новой языковой основе. Таким образом, новая местная языковая традиция, новый язык трактуются уже вполне положительно. Вместе с тем, если раньше этот местный идиом рассматривался в качестве диалекта или «испорченного» варианта языка метрополии, то теперь уже в качестве отдельного языка он становится общим достоянием не только местных низов, но и знати, и прежде всего именно хорошее знание его литературной нормы становится социально престижным. Напротив, знание и практическое использование прежнего классического языка (в ущерб новому местному языку) со временем начинает восприниматься не без оттенка иронии как признак чрезмерной педантической учености (ср., например, отношение к латыни после признания во Франции французского в качестве особого языка, а не ее народной («вульгарной») разновидности).

До некоторой степени это отношение к латыни в романских странах, когда в них начался расцвет собственных национальных языков, сопоставимо с отношением к любому литературно-книжному языку в последний период его существования или активного функционирования, например, к староукраинскому, в ряде стилей включавшему в себя к тому же многочисленные старославянизмы. Этот язык, обладавший в прошлом достаточно высоким авторитетом, о чем свидетельствует его кодификация в грамматиках и словарях, к концу XVIII - началу XIX в., времени окончательного утверждения в качестве литературного украинского языка на народной (разговорной и фольклорной) основе, стал восприниматься как окончательно обветшавший, старомодный. В связи с этим литературные персонажи, тяготевшие к его употреблению, особенно в

быту, представляются в этой своей особенности как комические, а их пародируемый язык на фоне современной украинской речи других действующих лиц явно высмеивается. Ср. отрывки из партий подобных действующих лиц — Возного (из пьесы И.П.Котляревского «Наталка-Полтавка») и писаря Прокопа Ригоровича Пистряка (из повести Г.Ф.Квитки-Основьяненко «Конотопська відьма»): 1) «Бачив я многих — і ліпообразних, і багатих, но серце моє не імєть — те є-то як його — к ним поползновения. Ти одна зложила йому позов на вічні роки, і душа моя єжечасно волаєть тебе і послі нишпорной даже години»; 2) «Хворостина сія хоча єсть і хворостина, но она не суть уже хворостина, понеже убо суть на ній вмістилище душ козацьких прехваброї сотні Конотопської, за ненахожденієм писательного существа і трепетанієм десниці і купно шуйці». В связи с этим и языковая практика Г.С.Сковороды, представлявшая, по справедливому замечанию В.М.Русановского, попытку создать некий общевосточнославянский язык, исходя при этом из староукраинской традиции, и была в целом неизбежно обречена на неудачу (Русанівський, с. 152, 165)¹¹. Помимо

сформировавшегося к этому времени в своих основах русского литературного языка, был уже близок к возникновению и (ново)- украинский литературный язык на народной основе. Несколько позже появились и первые произведения на современном белорусском языке (анонимная поэма «Знеіда на вы- варт», возникшая под влиянием «Енеіди» И.П.Котляревского, - «Тарас на Парнасе», замечательное стихотворение-песня талантливого народного поэта П.Багряма «Зайграй, зайграй, хлопча малы», произведения Я.Чечота, друга А.Мицкевича). Таким образом, каждый писатель, находившийся к этому времени в кругу восточнославянских культур, должен был уже выбирать один из этих трех обслуживающих их языков. Четвертого, «общевосточнославянского», уже не было дано.

Характерна в социалингвистическом отношении не только трансформация, пережитая бывшими местными народно-разговорными вариантами латыни с превращением их в романских странах в отдельные романские языки, а и изменение в восприятии литературного датского с копенгагенским произношением в городах Норвегии после превращения в норвежский язык (риксмол) того же датского с норвежским субстратом (в частности, норвегизированной фонетикой). Как полагают, именно на этой основе сложился один из двух (причем наиболее распространенный) литературных языков Норвегии. Следовательно, социалингвистическое положение старого языка-победителя с вытеснением его местным

литературным языком, возникшим на основе этого когда-то победившего здесь языка, меняется, а вместе с тем меняется и его психолингвистическое восприятие. Этот язык в случае его архаизации (пример латыни) начинает восприниматься как нечто вызывающее почтение в историческом плане, но в то же время и как что-то безнадежно устаревшее, старомодное, отжившее (в сущности, это отношение в чем-то напоминает собой, видимо, отношение к субстратному языку в момент его угасания). Если язык-победитель (например, датский по отношению к риксмолу) продолжает существовать в качестве живого современного языка в соседней стране, по отношению к местному языку он воспринимается как язык близкий, но иностранный, неродной, что вытекает из целого ряда их расхождений на всех уровнях, прежде всего фонетическом, а это побуждает носителей нового литературного языка обратить самое серьезное внимание на его специфику, которой ранее пренебрегали или стыдились, считая ее «провинциальной». Следовательно, даже переход на новый язык далеко не всегда равнозначен полному прекращению местной культурной традиции. Если определенная территория настолько своеобразна в своей географической, хозяйственно-экономической и культурной специфике, что это становится причиной ее постоянного выделения в особый региональный комплекс, то местная традиция даже при смене языка не прерывается полностью, а продолжается, только на новой языковой основе. На земном шаре, по-ви-

Характерно, что в литературно-языковом отношении из произведений Г.С.Сквороды наиболее долговечными оказались именно те, которые в наибольшей степени выходили за рамки староукраинской языковой традиции, приближаясь больше всего к современному ему народно-песенному языку (ср. в особенности прелестное стихотворение «Ой ты, птичко жолтобоко...» из сборника «Сад божественных пѣсней», требующее минимальных корректив, чтобы звучать как стихотворение на современном украинском языке). Следовательно, уже в творчестве Г.С.Сквороды, знаменовавшем окончательный закат староукраинской языковой традиции, забрезжили первые проблески неотвратимой будущей победы нового украинского языка на народной основе. Упомянутое стихотворение замечательно как изяществом формы и чистотой народного языка, так и глубиной и серьезностью содержания. В нем через голову бурлескной «Енеіди» Скворода фактически подает руку украинским поэтам-романтикам и даже Шевченко, который недаром еще в детстве увлекался творчеством Г.С.Сквороды и учился у него как поэт.

Ср.: «Предполагается, что зародышем смешанного городского говора было чтение датского текста с подстановкой норвежских фонетических особенностей... В XVIII в. в Осло, крупнейшем норвежском городе, по-видимому, уже говорили на смешанном говоре, основанном на датском письменном языке, но с норвежской фонетикой» (Стеблин-Каменский, с. 74-75).

Ср. в связи с этим следующую характерную особенность в развитии норвежского литературного языка (риксмол): «Борьба за норвежское произношение на театральной сцене разгорелась в пятидесятых годах XIX в. До этого ... в норвежском театре играли исключительно актеры-датчане и господствовало датское произношение. В 1852 г. в Кристиании открылась «Норвежская драматическая школа», поставившая себе целью воспитать актеров для национальной сцены. Н.Кнудсен был приглашен в эту школу для обучения ее воспитанников норвежскому произношению» (Стеблин-Каменский, с. 80).

димому, нет территории, где бы местное население через больший или меньший промежуток времени ни разу не меняло свой язык. В некоторых местах подобные смены происходили, очевидно, несколько раз. Языкознание без помощи других наук, как уже отмечалось выше, не в состоянии полностью решить вопрос о причине сменяемости языков, их большей или меньшей стойкости, поскольку сюда входит слишком много предпосылок, где, кстати, сугубо языковые причины находятся на самом последнем месте. Как видно было из предыдущего, — об этом говорит и весь опыт изучения языков, — языки действительно отличаются необыкновенной стойкостью своей структуры, однако это не мешает тому обстоятельству, что время от времени тот или иной из них постепенно перестает употребляться. Поэтому есть все основания считать, что «болезнь» и «смерть» языка — это всегда только болезнь и смерть общества,

пользовавшегося определенным языком, вызванная каким-либо его несовершенством (рядом несовершенств) по сравнению с обществом, способным не только сохранять и развивать свой язык, но и распространить его за пределы своей исходной этно-языковой территории. Проблема стойкости (слабости) этносов, из которой вытекает и стойкость (слабость) принадлежащих им языков, во всем своем объеме не может быть решена одними лингвистами, а только совместными усилиями представителей всех общественных наук, куда свой вклад должны внести и лингвисты. Проблема языкового субстрата, его теория, является только частью этой более широкой проблемы. Основной интерес этой проблемы заключается в том, что явление субстрата помогает понять причину культурной (в широком понимании этого слова), в том числе и языковой, преемственности на одной и той же территории.

II. ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО СУБСТРАТА НА ЯЗЫК-ПРЕЕМНИК

Проблема возникновения и формирования языкового субстрата во взаимосвязи и взаимодействии с языками, воспринявшими его, принадлежит, несомненно, к числу наиболее сложных среди лингвистических проблем. Первоначальный энтузиазм, сопутствовавший появлению работ И.Г.Асколи (Ascoli), где впервые данная проблема была поставлена со всей ясностью, и связанный с открываемыми этими работами перспективами, сменился затем все большим скептицизмом, граничившим порой с почти полным отрицанием какой-либо роли субстрата в развитии языков (Фаукес, с. 333-334), между тем как уже Ф.Энгельс в работе «Франкский диалект» убедительно показал роль языкового субстрата на конкретном материале истории нидерландского и немецкого языков и их диалектов. Подобная противоречивость в оценке роли субстрата и самого этого явления вытекает прежде всего из его чрезвычайно большой сложности как чисто внутрилингвистической, связанной с тем, что в субстрате речь идет преимущественно об элементах, адаптированных или калькированных, так и социолингвистической, поскольку в субстратизирующихся языках имеем дело, как правило, с языками

неофициальными, а в их носителях — с этносом, слабо отраженным в истории ввиду его второстепенного, неруководящего, а следовательно, и «(в)не- исторического» характера.

Таким образом, задача выяснения обстоятельств как постепенного упадка того или иного языка и превращения его в своих остатках в субстрат языка-преемника, так и постепенной трансформации этноса, его носителя, в часть того этноса, носителя языка-преемника субстратного языка, с которым он сливался, представляет собой типичную лингвистическую и социолингвистическую задачу со многими неизвестными. Ее решение (особенно в начальной стадии) не может быть вполне однозначным и не предполагающим большей или меньшей степени гипотетичности.

Проблема субстрата и особенностей его включения в язык-преемник является чрезвычайно актуальной для многих (если не для большинства) языков мира. Как всякую сложную задачу, ее можно решить только по частям.

Помимо трудностей чисто материального характера исследователей субстратов ожидают немалые трудности теоретического порядка. В

исследований в данной области в качестве отправной точки, чем автор в данный момент не располагает.

1. Роль субстрата в формировании лексики

Роль субстрата в формировании лексики языков-преемников лучше всего может быть выяснена на примере конкретных, наиболее хорошо изученных в настоящее время субстратных языков. К числу их в первую очередь относятся субстраты романских языков в их взаимосвязи со своими языками-преемниками.

В данной части работы на примере конкретных, уже исследовавшихся языковых субстратов будет обращено внимание на проявление их влияний на разных уровнях языковой структуры языков-преемников — лексическом, грамматическом, фонетическом, фразеологическом¹. При этом будут учитываться не только внутрилингвистические аспекты соответствующих явлений, а и сопутствующие им социолингвистические обстоятельства и факторы.

На основе исследования конкретных явлений в области тех или иных субстратных и постсубстратных языков представляются возможными и закономерными те наиболее обобщенные, синтезированные теоретические выводы о субстрате, его природе, особенностях его возникновения, роли в формировании включающих его языков и их выделении из общего (пра)языка, которые должны явиться итогом всей предшествующей работы, проделанной в данном направлении.

По-видимому, лишь в сравнительно небольшой степени могут быть рассмотрены в работе, как менее изученные, такие близкие к субстрату явления, как суперстрат и интерстрат, которые с субстратом роднит их пережиточный (особенно в случае суперстрата) характер. Эти явления должны войти в исследование преимущественно в своих особенностях, связанных с субстратом и как определенный фон для его освещения, а не в целом, поскольку их специальное исследование предполагало бы полный учет специфики и специальных собственных

Романские языки среди индоевропейских имеют особую ценность ясностью своих истоков. Их общим предком, праязыком, о котором, в отличие от других праязыков, науке многое известно, была латынь. Причиной образования ее местных народноразговорных вариантов (диалектов), в дальнейшем преобразовавшихся в отдельные романские языки, явилось своеобразие развития латыни в разных провинциях Римской империи, где перед тем, как вытеснить местные языки, она более или менее длительно с ними взаимодействовала. Затем свой вклад в развитие романских языков внесли так называемые суперстратные языки, нередко образовавшие вторичные субстраты (германские, арабский, славянские). Однако первыми по времени своего воздействия на латынь были субстратные языки, о которых поэтому важно было бы знать как можно больше и именно о которых известно менее всего.

Вследствие своей скудности материал дороманских субстратных языков требует особенно тщательного и точного изучения, которое может идти в двух направлениях; 1) получение новых фактов, важное для того, чтобы расширить исследовательскую базу; 2) осмысление уже известного, что не менее важно с двух точек зрения — для того, чтобы правильно наметить новые пути выяснения конкретных фактов и для того, чтобы лучше понять картину взаимодействия языков при образовании субстра

+++++ Необычный
 порядок рассмотрения уровней языковой структуры
 объясняется степенью их сложности и
 исследованности, ввиду чего принят порядок в
 соответствии с принципом «от более к менее
 исследованному».

тов, что может быть полезно также при изучении аналогичных явлений на материале других языковых групп. В данном случае предпринята попытка, связанная со вторым из двух указанных путей.

Общим при образовании языковых субстратов является то, что они возникают в той социолингвистической обстановке, когда при проникновении части одного этнического общества на территорию другого вследствие ряда стойких преимуществ общества, говорящего на одном языке, над обществом, говорящим на другом, последнее, — как правило, после периода более или менее длительного двуязычия, — переходит полностью со своего первого, традиционного языка, на второй, вновь усвоенный. При этом первый его язык в своих сохранившихся элементах полностью растворяется во втором языке, становясь субстратом этого языка-преемника. Особенность лексических субстратных элементов заключается в том, что они или обозначают реалии, неизвестные народу, носителю языка-победителя, — такие субстратные включения часто трудно отличить от обычных заимствований, — или (и это наиболее типичные субстратные лексические включения) обозначают реалии общераспространенные и известные носителям обоих языков — субстратного и языка-преемника. Необходимости в заимствовании подобных слов, в сущности, здесь совершенно не было. Это не то, что взято, а то, что в силу разных причин оставлено из своего языка. Это его лексические реликты (от лат. *relinquo* «оставляю»). Так, если в ряде севернорусских говоров встречаются, видимо, мерянские лексические включения типа *тохта* «гнилое дерево», *шохра* «низкорослый лес на болоте», то их целесообразность и как заимствований не вызывает сомнений. Это удобные однословные наименования понятий, важных для одного из основных местных промыслов (лесного) или характерных для местного ландшафта. Напротив, только как реликтное включение могут быть поняты слова *лейма* «корова» или *урма* «белка» того же субстратного происхождения, бытовавшие в прошлом в тех же говорах. Однако помимо сугубо лексического воздействия при формировании лексики в целом определенную роль играет, **166**

по-видимому, и фонетика и, что не так уловимо, семантика субстратного языка. Не менее важной оказывается и совокупность внешних

(социо)лингвистических обстоятельств, сопутствующих смене языков. В связи с этим общий по своему происхождению и природе процесс образования субстрата приводит к весьма разнящимся друг от друга последствиям. Примеры этого, как представляется, можно найти и среди романских языков.

Для одного из них, а именно галло-романского (французского), были характерны при его формировании и в ходе дальнейшей истории следующие внешелингвистические обстоятельства. Завоевание Галлии произошло в I в. до н.э. Ее окончательная романизация завершилась, по-видимому, в V-VI в. н. э., заняв, таким образом, период 6-7 веков. Ввиду относительной близости к метрополии и более удобной связи через Альпы, чем через Пиренеи, колонизация римлянами галльских (и шире — кельтских) областей шла путем последовательных передвижений из одной кельтской области в другую, что могло способствовать активному вовлечению в этот процесс романизованных кельтов, ср.: 1) Цизальпинская Галлия; 2) Трансальпийская (Нарбоннская) Галлия, или Провинция (фр. Ргочепсе); 3) Северная Галлия, или Бельгия; 4) заморские кельтские земли, Британия. Это могло способствовать тому, что латинский язык усваивался не столько непосредственно от жителей Рима и Лациума, сколько от романизованных кельтов, говоривших по-латыни с большим или меньшим галльским акцентом. Вследствие длительности романизации и возникновения в Галлии наряду с низшими высших школ (например, в Бурди-гала (Бордо)), помимо латино-галльского двуязычия, длительно сохранявшегося в сельских местностях и среди низших слоев галльского населения, в галльских городах, в первую очередь среди высших, полностью романизованных, слоев общества была достаточно широко распространена и диглоссия — книжно-литературного и народно-разговорного латинского языка, что способствовало как насыщению письменного языка (прежде всего в период раннего средневековья) народными оборотами и словами, так и обогащению народного

языка книжной лексикой. Северная Галлия, вследствие постоянных и чрезвычайно тесных контактов с Британией, что заставило Цезаря предпринять попытку завоевания Британии, по-видимому, имела галльский идиом, значительно более близкий к кельтским островным, чем галльский идиом юга Франции и Цизальпинской Галлии. Ввиду прочности позиций латинского и народного романского языка в Галлии к ее завоеванию германскими племенами — франками, бургундами и вестготами (позже — норманнами) — германские завоеватели не предпринимали попытки использовать свои языки в качестве официальных в письменности, а сразу же прибегли в этой функции к латинскому, а затем французскому. Проникшее на территории Галло-Романии германское население, особенно в своих верхних слоях, довольно скоро было романизировано. Галлия (позже Франция) была расположена в окружении других романизированных провинций — Италии, Испании, Португалии, Реции, по-видимому, в какой-то степени также южной Британии.

Таким образом, внешне лингвистические обстоятельства способствовали, с одной стороны, прочному и глубокому усвоению населением Северной Галлии романского языка и максимальному лексическому выравниванию своего латинского языка по языку Рима и других смежных романских провинций, связь с которыми все время поддерживалась как во времена Империи, так и после ее распада. С другой, однако, стороны, то обстоятельство, что галльский Север Франции был наиболее близок из континентальных кельтских языков к островным кельтским языкам, способствовало тому, что именно здесь сосредоточивались все фонетические изоглоссы, отделявшие язык Северной Галлии от галльского языка Южной и Цизальпинской Галлии и от исходной романской фонетики. Это, в свою очередь, наложило неизгладимый отпечаток на всю северофранцузскую народнолатинскую лексику в ее основных составных элементах — романских, субстратных галльских и суперстратных франкских.

На основании «Этимологического словаря французского языка» А.Доза («*Dictionnaire etymologique de la langue française*») в современном французском литературном языке можно выделить около 97 корневых слов галльского происхождения. Очевидно, учитывая все их производные, а также лексемы

галльского происхождения, имевшиеся в старофранцузском языке и в современных французских диалектах, можно значительно увеличить эту цифру, говоря о 300 словах галльского происхождения, обычно упоминаемых в научной литературе. Собранная лексика при всей ее неполноте интересна, однако, тем, что она особенно типична, поскольку в основном прочно вошла в современный язык или отражена в наиболее известных его историзмах. Среди 10 условно выделенных тематических групп (1) местоимения (дей- ктические слова); 2) части тела, выделения и болезни живого организма; 3) родство; 4) природа; 5) элементарные явления жизни, действия, восприятия (глаголы); 6) ориентация в пространстве; 7) качества и свойства (прилагательные); 8) жилище, занятие, питание, одежда, средства передвижения; 9) числительные; 10) духовная жизнь) слова распределяются следующим образом. Нет ни одного слова, относящегося к местоимениям и к лексике, связанной с родством. К названиям, обозначающим части тела и болезни (всего их 5) не относится почти ни одно слово, обозначающее части тела человека. Единственное исключение — фамильярное *trogne* «харя» (ср. кимп. *trwyn* «нос») при нейтральных *figure*, *visage*, *face* романского происхождения. Следовательно, хотя одно слово этой семантики осталось, оно явно отошло к разряду абсолютных синонимов предельно сниженного стиля. Кроме того, сюда же относится слово *jarret* «подколенная впадина». Характерно, что оно не принадлежит к наиболее важным, а следовательно, и частотным словам этой сферы.

Слова, обозначающие природу, выступают в количестве 44, т.е. составляют около половины всей субстратной лексики. Так же как и для предыдущей группы, для нее характерно, что часть данных слов галльского происхождения перешла из галлороманского диалекта в литературный латинский язык, откуда могла проникать в другие романские диалекты (позже языки), — ср. фр. *Бес* (лат. *beccus*) «клюв», фр. *alouette* «жаворонок» (лат. *alauda*), фр. *alose* «бешенка (рыба)» (лат. *alause*), фр. *bouleau* «береза» (лат. *betula*), фр. *cheval* «лошадь, конь» (лат. *caballus* «(рабочая) лошадь, кляча», исп. *caña*, итал. *cavallo*, рум. *cal*). Слова же, не проникшие в латинский и оставшиеся принадлежностью галлороманского диалекта (> французского языка), характеризуются тем, что здесь выступают почти без исключения лексемы, обо-

значающие только конкретные предметы и явления, названия отдельных животных, растений и минералов. Исключений немного. Это слова *branche* «ветвь» и *mineral* «минерал», характеризующие явления, объединяющие целый ряд конкретных предметов. Наиболее многочисленной из тематических групп является группа, связанная с занятием человека: здесь наряду с названиями, характеризующими ремесло, обращает на себя внимание многочисленность слов, относящихся к сельскому хозяйству (*сгете* «сливки», *dreche* «солод», *glui* «ржаная солома», *javelle* «пучок сжатого хлеба», *lie* «осадок», *sillon* «борозда»). По-видимому, в связи с большими успехами галлов в добыче полезных ископаемых, руд, в металлургии, а также пивоварении, изготовлении разнообразных повозок и колесных плугов целый ряд подобных слов галльского происхождения, имеющих во французском языке, вошел в латынь или из французского в другие европейские языки (ср. *mine* «рудник, копь», *gravier* «гравий», *bief* «бьеф», *^ar ^arrus* «повозка», *^argue* «плуг» (лат. *caruca* «каре́та»), *brasser* «варить пиво» (лат. *braces* «полба»), *etain* (лат. *stannum* «олово»). Часть галльских наименований дожила до средних веков, став обозначением типичных для них отношений, - ср. *valet* «слуга», *vassal* «вассал». Совсем незначительны количественно остальные группы. Если не считать глагола *danger* «менять», относящегося к занятиям развитого общества и вошедшего в латынь (ср. *cambio* «меняю»), к глаголам для обозначения элементарных явлений жизни, действий и восприятий принадлежат в современном литературном языке только пять слов: *battre* (вошедшее в латынь, — ср. лат. *battuere*, поздн. *battere*) «бить», *braire* «(фам.) кричать, орать; кричать (об осле)», *briser* «разбивать, ломать», *gober* «(фам.) глотать», *genfrogner* «морщить брови». По-видимому, результатом сближения двух слов, латинского и галльского, является глагол *^aindre* «бояться», возникший, как предполагают, вследствие сближения лат. *tremere* «дрожать» и гал. **cremo-* «дрожь». Французские глаголы, как и все другие части речи, разумеется, не отражают непосредственно галльской грамматической формы соответствующих глаголов, а представляют собой галльские глагольные корни (основы), воспроизведенные в словообразовательных и словоизменительных формах латинского языка. Таким образом, французские глаголы восходят непосредственно не

к галльскому языку, а к галло-романскому диалекту латинского языка, в котором соответствующие галльские слова претерпели свою грамматическую трансформацию. Обращает, помимо прочего, на себя внимание и то, что часть глаголов (напр., *braire*, *gober*) приобрели во французском языке фамильярный оттенок, который первоначально (в галльском языке) им, по-видимому, не был свойствен (ср. гал. **gobbo* «рот», — ирл. *gob* «клюв», фр. ст. *braire* «кричать» < нар.-лат. (гал.) *bragere* «т. ж.»). Остальные глаголы (*battre* «бить», *briser* «ломать», *^aindre* «бояться», *genfrogner* «морщить брови»), хотя и не приобрели указанного сниженного, фамильярного эмоционального оттенка, обозначают действия, связанные с повышенной эмоциональностью. Это говорит о том, что угасавший галльский язык, с одной стороны, как более близкий говорящим на нем галлам по сравнению с латинским, использовался часто преимущественно в тех случаях, когда латинский менее выразительно передавал их эмоции. С другой стороны, ощущавшаяся носителями галльского языка его более низкая по сравнению с латинским социолингвистическая ситуация заставляла воспринимать народнолатинские слова галльского происхождения как социально низкие, фамильярные по сравнению с их абсолютными синонимами латинского происхождения.

Так же малочисленны по своему составу и остальные семантические группы, включающие французские слова галльского происхождения. По отношению к трем словам, обозначающим ориентацию в пространстве, обращает на себя внимание то, что все они относятся или к мерам длины или площади, или к геометрическим понятиям, причем два из них вошли в латинский язык, - ср.: *lieue* (лат. *leuca*, *leuga*) «лье, - галльская (> французская) миля (около 2,25 км)»; *arpent* (лат. *arepennis*) «арпан» (около 1250 кв. м); *losange* «ромб». Все эти понятия указывают на высокоразвитое земледелие и землепользование у галлов, имевшее настолько прочные основы, что ряд его понятий были вынуждены принять римляне, причем они пережили как галльский язык, так и римское и франкское завоевание.

Крайне малочисленны также галльские прилагательные, включенные в галло-романский, французский язык. Это такие слова, как *сг^их* «полый, пустой, впалый», *dgu* «сильный, крепкий», *г^сйе* «жесткий, шершавый, терпкий». Результатом латино-

галльского скращения считается слово СИЕЫѢ «тщедушный, хилый; жалкий», поскольку это слово, как полагают, явилось следствием сближения лат. *captivus* «пленник» и гал. **castos* «то же».

Единственным словом галльского происхождения, которое можно отнести к числительным, является нумеральное (неопределенное) прилагательное *maint* (< гал. *шапЪ!) «неоднократный» (ср. кимр. *maint* «размер, величина»). Важно отметить, что из галльского субстрата не вошло ни одно из основных числительных, обозначающих точные величины или порядок их расположения (количественные и порядковые числительные).

Из слов, относящихся к духовной жизни, в том числе к верованиям галлов, сохранились лишь два слова, обозначающие галльского жреца (*druide* «друид») и поэта-песнопевца (*^rde* «бард»). Оба эти слова отражены как в латинском, так и во всех современных европейских языках, причем, если слово *друид* сохранило только свое первоначальное, связанное с галльскими древностями значение, то слово *бард* приобрело в ряде европейских языков, в том числе и русском, характер поэтизма высокого стиля, обозначающего поэта-певца, пророка в самом высоком значении этого слова (ср. из ответа А.С.Пушкину (на послание декабристам), написанного А.Одоевским: «Но будь спокоен, бард, цепями, своей судьбой гордимся мы...»).

В целом с семантической точки зрения для галльских субстратных лексических элементов французского языка характерно то, что они, с одной стороны, относятся к техническим терминам и реалиям, очевидно, свойственным Галлии, с другой — обозначают преимущественно конкретные объекты: виды растений, животных, частей ландшафта, орудий и т.д. Итак, здесь есть слова со значением «дуб», «береза», «тисс», «бобер», «лошадь», «плуг», но нет слов со значением «дерево», «животное», «орудие» и т.п., что, видимо, было связано с интенсивным общением с носителями других романских диалектов (позже — языков), при контактах с которыми употребление слов галльского происхождения (особенно слов с высокой частотностью) могло бы вызывать затруднения. Из слов галльского происхождения в галло-романские говоры Северной Франции прочно вошли или те галльские слова, которые, обозначая специфические галльские реалии, воспринятые другими романцами вместе с соответствующими

галльскими словами, были им известны, или, хотя и не вышли за пределы Галлии, однако, обозначая характерные для нее и поэтому не переводимые понятия, также были хорошо известны всем ее жителям, независимо от знания (или незнания) ими галльского языка. Те немногочисленные слова, которые сюда не входили, как правило, относились к профессионализмам и лексике в целом тех социальных групп, среди которых, очевидно, дольше всего держался галльский язык (крестьяне, часть людей, занимавшихся традиционными галльскими промыслами и ремеслами (горняки, гончары, кузнецы) и т.д.), где затем эти слова при полном переходе на романскую речь могли сохраниться в составе профессиональной лексики. Поскольку данные группы населения, как правило, не относились к тем слоям, где по роду их деятельности были необходимы частые переезды и общение с жителями романских провинций вне Галлии, эта лексика также практически не мешала функционированию северного галло-романского диалекта (впоследствии французского языка). Следовательно, с точки зрения чисто лексической, воздействие галльского субстрата относительно мало повлияло на выделение французского языка среди других романских (в первую очередь западнороманских — провансальского, итальянского, ретороманского, каталанского, испанского, португальского).

Значительно заметнее были преобразования лексики, вызванные фонетическим воздействием галльского субстрата, наиболее важными моментами которого были: 1) назализация гласных звуков перед носовыми согласными, связанная с устранением последних в позиции перед другими, преимущественно неносовыми согласными (*сѣапЪег* < *сапЪаге*); 2) переход -СЪ- > -it- (*nuît* < **noctem*); 3) ослабление целого ряда согласных в интервокальной позиции с их дальнейшим выпадением. Последний фонетический процесс привел к особенно значительному изменению облика французских слов по сравнению со словами других романских и латинского языков, что повлекло заметное изменение их формы, прежде всего, выразившееся в их сокращении, — ср. фр. *feu* «огонь» (итал. *fuoco*, лат. *focus*), фр. *sUr* «безопасный» (итал. *sicuro*, лат. *securus*), фр. *il* «остров» (итал. *isola*, лат. *insula*), фр. *vie* (итал., лат. *vita*) «жизнь». Поскольку таковой была общая фонетическая тенденция галльского языка и постгалльского галло-романского

диалекта Северной Франции (впоследствии — французского языка), которая реализуется буквально на глазах истории (ср. фр. ст. *vithe* (< *vita*) при совр. *vie*), она действовала одинаково последовательно как в словах галльского происхождения, так и в латино-романских лексемах и лексических заимствованиях из франкского языка: ср. фр. (< (пост)галльское) *lieue* «лье» при лат. *leuca*, *leuga*, отражающими постепенное ослабление, однако при его сохранении (в дальнейшем выпавшего согласного) — фр. (<лат., романское) *vie* < фр. ст. *vithe* < *vita* «жизнь» — фр. (< франк.) *effrayer* «испугать» < **exfridare* «вывести из мирного (спокойного) состояния» (от франк. **frida* «мир», — ср. нем. *Friede* «то же»). Значительное сокращение и видоизменение формы французских слов народно-латинского происхождения, а также часто связанная с этим их семантическая неясность (ср. фр. ст. *e* «пчела» < лат. **ape*(т) «то же») вызвали в какой-то степени необходимость в замене части из них более полными формами, заимствованными из латыни или других романских языков (ср. фр. (совр.) *abeille* «пчела», заимствованное из провансальского, — ср. Прованс. *abelha* «то же»), а также дублетность ряда народных и ученых форм типа *surete-securite*, *frele- fragile* и под. Таким образом, наиболее заметно на лексику французского языка повлияла фонетика галльского субстрата и, видимо, что еще предстоит исследовать, в какой-то степени его семантика. Воздействие непосредственно со стороны субстратной лексики оказалось менее значительным и не таким заметным.

Иначе обстояло с румынским языком. В отличие от французского, субстратные дакийские лексические элементы в румынском языке обнаруживаются как количественно и, что важнее, качественно более весомая часть лексики. В румынском так же, как и во французском, очевидно, под влиянием субстрата возникло несколько своеобразных фонетических явлений и процессов. Так, видимо, из дакийского языка проник в румынский звук *a*, характерный и для некоторых других балканских языков (ср.: рум. *limba* «язык» — болг. *къща* «дом» — алб. *ujd* «вода»). Для дакийского, очевидно, был также характерен звук *h*, благодаря чему, хотя он исчез из позднего латинского, этот звук стал обычным для румынского (в отличие от других романских языков). К менее надежным, однако вероятным, особенностям дакийского можно отнести переход *l* > *r* (рум. *soare* — итал. *sole*,

лат. *sol* «солнце»), а также *qu* > *p* (рум. *apa* — лат. *aqua* «вода»). Но, поскольку румынские фонетические процессы, которые могут восходить к дакийскому, не изменили настолько же основательно, как во французском, исходную структуру романского слова (она вполне явственно проглядывает сквозь фонетические изменения), можно считать, что в целом фонетическое воздействие субстрата не отличалось в румынском особой интенсивностью.

Более заметным, чем в случае французского, был зато лексический вклад субстрата, и это несмотря на то, что вклад дакийского субстрата изучен далеко не полностью, так как лексика дако-мизийского языка известна значительно хуже кельтской, и несмотря на то, что в румынском гораздо значительнее, чем в западнороманских языках, вклад суперстратных языков (в данном случае славянских).

Субстратная дакийская лексика отображена на основе лексического материала, приведенного в книге «*Istoria limbii romane*» (vol. 2, Bueuresti, 1969, cap. «*Influenta autohtona*, p. 327-356) и отчасти в работе Г.Рейхенкрона (G.Reichenkron) «*Das Dakische ^us dem Rumanischen rekonstruiert*» (^idelberg, 1966, S. 84174). Ввиду того что, как правило, принимались во внимание только слова современного литературного языка, собранный материал примерно равноценен французскому. Сопоставление его показывает, однако, что лексические элементы субстрата занимают в румынском более важное место, чем во французском. Прежде всего их количественно больше, даже несмотря на то что, по указанным выше причинам, обнаружена, очевидно, далеко не вся лексика субстратного происхождения. Но, что еще важнее, эта лексика весомей и в качественном отношении. Вместо 96 галльских корневых лексических элементов во французском в современном литературном румынском языке можно обнаружить 115 корневых лексических элементов субстратного дакийского происхождения.

Причем, в отличие от французского, нет ни одной тематической группы, где бы полностью отсутствовали субстратные лексемы. Распределены они следующим образом: 1) местоимения (дейктические слова) (1 слово); 2) органы, части тела, выделения и болезни живого организма (9 слов); 3) родство (6 слов); 4) природа: а) элементы, формации и явления природы (13 слов); б) растительный мир (13

слов); животный мир (13 слов); в) минералы, металлы (1 слово); 5) элементарные явления жизни, действия, восприятия (глаголы) (9 слов); 6) ориентация в пространстве (1 слово); 7) различные качества, свойства, состояния и возрасты (прилагательные) (11 слов); 8) жилище, занятие, питание, одежда, средства передвижения (28); 9) числительные, обозначения количества (3 слова); 10) духовная жизнь, верования (4 слова).

Наименее типичными в качестве субстратных включений являются слова, обозначающие обстоятельства материальной жизни (занятия, жилище, одежду, средства передвижения и под.). В отличие от галльских по происхождению лексем французского языка, свидетельствующих о разнообразии хозяйственных занятий общества, говорившего на галльском языке, лексика дакийского происхождения свидетельствует о том, что преобладающим, почти единственным занятием даков было сельское хозяйство, преимущественно скотоводческо-пастушеского направления, где остальные занятия (например, изготовление одежды) были тесно с ним связаны, как бы вытекали из него, не представляли еще собой отделившихся от него полностью ремесел. Определенное место здесь, в отличие от галльского языка, занимают также лексемы, обозначающие жилье, поселения. Таким образом, значительная часть лексики дакийского происхождения относится к скотоводству, прежде всего овцеводству, наиболее целесообразному в условиях горной местности, занятой в основном даками, — ср.: 1) *strunga* «загон для дойки овец», 2) *baci* «старший пастух»; 3) *tar* «зимний загон для ягнят», 4) *urda* «сладкий овечий сыр»; 5) *brinza* «сыр, брынза»; 6) *stina* «огороженное место для загона овец; сыроварня»; 7) *hirsie* «смушка барашка»; 8) *zar* [^]εΓ «сыворотка»; 9) *zaga* «пахтанье». С земледелием связано меньшее количество слов. Это такие лексемы, как: 1) *balega* «навоз», 2) *grapa* «борона», 3) *groara* «яма», 4) *fc)halpi* «полечь (о зерновых злаках)». Производство одежды и обуви, по-видимому, домашнего изготовления и разные их виды характеризуют следующие слова: 1) *argea* «скамеечка ткачихи; (уст.) землянка для тканья пряжи летом»; 2) *bumb* «пуговица»; 3) *carimb* «голенище»; 4) *caciula* « меховая шапка»; 5) *briu* «широкий шерстяной пояс (цветной)»; 6) *andrea* «спица, вязальная игла»; 7) *^oageci* «белые узкие крестьянские брюки». К группе слов, обозначающих орудия и сосуда, не

связанные с земледелием, можно отнести только такие лексемы, как

burduf «бурдюк, (кузнечные) мехи», cursa «капкан, западня», teара «заостренный кол». Единственным словом, обозначающим действие, которое относится к хозяйственным занятиям, является глагол (a^сарага «высекать огонь». Единственным словом, связанным с понятиями передвижения, является слово drum «дорога, путь». Два слова субстратного происхождения обозначают музыкальные инструменты даков. Это fluier «свисток; свирель» и trisca «тришка, камышовая дудка». Особое место среди субстратных слов по важности обозначаемых ими понятий занимают лексемы, связанные с понятиями жилища и поселений, кстати, совершенно отсутствующие среди лексики галльского субстрата во французском языке. Здесь, наряду с обозначением специфического жилья, характерного в особенности для пастухов, такого, как ^liba «хижина, избушка; шалаш», более основательная постройка со значением «дом» обозначается словом романского происхождения casa. Однако сюда же относится слово satun «деревушка, хутор», видимо, небольшое деревенское поселение даков. Важное понятие, относящееся к жилью, обозначает слово субстратного происхождения vatra «очаг, печь», во французском передаваемое романским ^уег (< нар.-лат. focarium от focus «огонь»). Сюда же можно отнести gard «забор, изгородь».

Следовательно, среди названий, характеризующих деятельность человека в ее материальном проявлении и обозначенных субстратными лексемами, в румынском наряду со словами, закрепление которых в этом романском языке можно объяснять спецификой реалий, обусловленных, например, особенностями местного овцеводства, специфическими постройками (^liba), селениями (^atun), можно встретить и целый ряд слов, ничем не примечательных и неспецифичных, которые могли бы быть свободно переданы романскими лексическими элементами, — ср.: drum «дорога, путь», fc^a pa «высекать огонь», balega «навоз», gard «забор, изгородь», groара «яма», vatra «очаг, печь». Эти слова относятся к типичным субстратным включениям типа реликтов, и одной из причин их сохранения можно считать их тесную связь с по- 172

вседневной жизнью, бытом, а отсюда, видимо, и их высокую частотность.

Среди названий, связанных с природой, преобладают слова трех разрядов, обозначающие: (1) элементы, формации и явления

природы, (2) растительный мир, (3) животный мир. Закрепление субстратных слов этой семантической группы можно объяснять двумя причинами — 1) большей или меньшей экзотичностью обозначаемых субстратными словами реалий (данные реалии или были неизвестны переселенным в Дакию романцам, если они происходили из провинций с совершенно другой природой (Южная Италия, Прованс (Провинция), Испания), или отличались там малой частотностью, редкостью); 2) тем, что данные слова, обозначая более общие понятия, были чрезвычайно частотными в языке даков и благодаря этому оказались способными сохраниться даже после окончательной романизации населения и полного вытеснения дакийского языка (слова-реликты). К первой группе с наибольшим основанием можно отнести только слово viscol «снежная буря, вьюга», обозначающее, действительно, явление, совершенно незнакомое жителям юга. На границе между экзотической и общераспространенной лексикой могли стоять слова, хотя и обозначающие понятия, связанные с любой горной и лесистой местностью, которую представляла собой большая часть территории древней Дакии, однако имевшие в связи с ее спецификой (более суровый климат, своеобразие рельефа) свой особый семантический оттенок, способствующий их закреплению в местном романском диалекте (> языке). Сюда, видимо, с большим или меньшим основанием могут быть причислены такие лексемы, как bunget «чаща леса», codru «бор», magura «холм, курган», dimb «возвышенность», hau «пропасть, бездна». К числу слов, обозначающих формации и явления природы наиболее общие и ничем не примечательные, где единственным объяснением, кроме внешелингвистических обстоятельств, может быть их высокая частотность в языке автохтонного населения, относятся такие слова, как balta «болото», mal «берег», abur «пар», piraу «ручей», scrum «пепел», spruza «зола». Ясно, что эти слова, обо

значающие самые повседневные и общие понятия, не заключали в себе ничего специфического, тем более экзотического, и никакого основания для их заимствования не было. Это наиболее типичные слова- реликты, сохранение которых в речи местного населения даже при переходе его на романский язык можно объяснить только их обычностью, частотностью в первом, оставленном языке.

Среди слов, обозначающих растения, к числу субстратных лексем, сохраненных в дако-романском языке не столько в силу их частотности, сколько, возможно, определенной местной специфики, по-видимому, можно было бы отнести *gogun* «вечнозеленый дуб», *brad* «пихта, ель», *soasa* «смородина», *leurda* «медвежий лук, черемша». По причине малозначительности, определенной бесполезности этих растений могли сохраниться дакийские включения при обозначении таких растений, как лопух (*brusture*) и чертополох (*scai(u)*). Возможно, распространенностью в Дакии гороха как пищевого продукта следует объяснять также сохранение субстратного дакийского включения *maza*[^] «горох». Однако единственно возможным является объяснение субстратных включений как слов-реликтов в тех случаях, когда они обозначают общие понятия, например, *^ump* «сук», *^rpen* «усик, ползучий стебель вьющегося растения», *ghimpe* «колючка, шип», *simbure* «косточка (плода)», которые отражают части любых растений. В особенности показательно в этом случае слово *soras*, имеющее значение «дерево» и сохранившееся наряду с романским *a[^]o[^]* с тем же значением.

Среди названий животных, рассматриваемых в качестве субстратных по происхождению, наряду со словами, обозначающими специфичные или малозначительные реалии (*dolca* «овчарка», *carusa* «клещ (овечий)», *zimbru* «зубр», *ghionoaie* (*gheonoaie*) «зеленый дятел», *viezure* «барсук» и др.), встречаем также слова, обозначающие либо общераспространенные разновидности животных, либо хорошо известные и в других романских провинциях. Сюда следует отнести такие слова, как *minz* «жеребенок», *^oaga* «ворона», *magar* «осел», *paricsa* «гадюка», *ruza* «удод», *rata* «утка», *So rigia* «ящерица», *ta p* «козел». Единственной внутрилингвистической причиной их сохранения, кроме социолингвистических обстоятельств, можно считать то, что все эти слова, обозначающие или диких, или менее

важных в хозяйственном отношении животных, не лежат, так сказать, на магистральном пути развития нового романского диалекта (языка). Более общие понятия или обозначения более важных животных могли иметь уже романские наименования. Так, наряду с дак. *minz* «жеребенок» или *magar* «осел», романское наименование получило близкое, но более ценное по возрасту, силе и значимости животное: понятие «лошадь» передается, хотя и галльским по происхождению, но ставшим общероманским в народной латыни словом *cal* (< нлат. *caballus*). Слово, обозначающее конкретный вид пресмыкающегося «гадюка», передано лексемой дакийского происхождения (*paricsa*), однако общее понятие «змея» передается в румынском романском *sarpe* (< нлат. **serpem* (**serpis*) < *serpens*). Следовательно, в область названий животных общие наименования субстратного происхождения проникали с трудом, что, возможно, объясняется большим для Дакии значением животноводства по сравнению с земледелием. Интересно в этом отношении и автохтонное *tap*, обозначающее понятие «козел», в то время как основные понятия, связанные с более важным, по-видимому, овцеводством, передаются в румынском с помощью романских слов, - ср. «баран» (*berbec* < **berbex* < *vervex* «баран (холощенный)» — фр. *brebis* «овца») и «овца» (*oaie* < лат. *ovis*).

Единственным словом, проникшим из дакийского, которое характеризует минералы и металлы, считается *gresie* «песчаник». Его сохранение могло объясняться частотностью реалии, поскольку общие названия, например, для понятия «камень» и для всех основных и наиболее ценных металлов, передаются в румынском словами романского происхождения, — ср. *piatra* «камень» (от гр. *летро[^]*, получившего большое распространение в народной латыни и романских языках, — ср. лат. (поздн.) *petra* «скала, камень», фр. *PIETRE*, итал. *pietra*, исп. *piedra*, порт. *pedra*), *fier* «железо», *agata* «медь» (*aeramen(tum)* «медная посуда»), *plumb* «свинец», *aur* «золото», *argint* «серебро».

Менее многочисленными по составу, но по-своему не менее интересными являются другие семантические группы субстратной по происхождению румынской лексики.

К числу дейктических слов несколько условно может быть отнесено румынское, предполагаемое дакийское по происхождению *az* (*azi*) «полно, полноте» (ср. алб. *az* «нет»).

Данное слово интересно тем, что среди французской лексики галльского происхождения подобные слова явно служебного (и, следовательно, наиболее частотного) применения совершенно отсутствуют. Указанное слово относится к словам типично реликтным, поскольку выражаемый им оттенок значения, безусловно, без труда мог бы быть передан средствами романской лексики. Слово, содержащее подобную семантику, могло сохраниться и быть включенным в романский идиом только вследствие условий, благоприятствовавших сохранению субстратной лексики в целом, в том числе и той, которая не отражала какие-либо специфические предметы и явления.

О том же в неменьшей степени свидетельствуют названия органов частей тела, выделений и болезней живого организма. Здесь наряду со словами, которые могут претендовать на известную специфичность передаваемых ими понятий (например, *galbeaza* «воспаление печени (у овец)», *late* (мн.ч.) «спутанные пряди волос» (ед.ч. *lat* «силок»), *gusa* «зоб (болезнь, характерная для горных местностей)»), встречаются лексемы, обозначающие те понятия, в частности, касающиеся частей тела, в заимствовании которых в романский диалект (> язык) не было никакой необходимости. Правда, в этой группе есть и слово *сіос* «клюв», передающее понятие, связанное с частями тела птиц и, возможно, проникшее в связи со своей, с одной стороны, лексической малозначительностью, а с другой, в силу эмоциональной звукоизобразительной (имитативной) выразительности (ср. подобное же субстратное *Бес* «клюв» во французском языке). Однако кроме него обнаруживаются также слова, обозначающие части тела человека, — ср. *сіуф* «чуб, вихор», *буза* «губа» (единственное обозначение этого понятия при отсутствии соответствующего синонима романского происхождения), *сеафа* «затылок» (синоним романского происхождения в литературном языке отсутствует), *grumaz* «шея, затылок» (употребляется в значении «шея» параллельно со славянским по происхождению синонимом *git* от **glъty(-ka)*, а со значением «затылок» параллельно с дакийским по происхождению *сеафа*). С помощью дакийского по происхождению слова (*burta*, — ср. гр. (портіоп «ноша, плод (чрева)»), передается и такое важное понятие, как «живот», правда, наряду с романским по происхождению словом того же значения *pîntese* «живот» (ср. лат. **raptex* (рап^сез) «жи-

вот, брюхо или кишка»). Румынский язык, как видим, значительно отличается в данной тематической группе от французского, поскольку в последнем было отмечено только одно слово галльского происхождения *jarret*, обозначавшее мелкую часть тела, «подколенную впадину», в румынском же использован целый ряд слов субстратного происхождения, причем для обозначения важных и существенных частей тела, связанных с головой («губа (губы)», «шея», «затылок») и туловищем («живот»).

Не представленная во французском ни одним словом субстратного происхождения такая важная тематическая группа, как названия, связанные с родством (или возрастом), содержит в румынском целый ряд лексических единиц, — ср.: 1) *ghiu* «(ирон.) старикашка»; 2) *boreasa* «замужняя женщина; жена»; 3) *соріі* «ребенок, дитя; мальчик»; 4) *шоз* «старик, дед»; 5) *спіс* «ребенок, крошка, карапуз»; 6) *baiat* «мальчик, парень». Обращает на себя внимание наличие синонимов, в особенности в обозначении детей, а также то, что среди данных слов содержатся две важных лексемы для передачи понятий «ребенок» (*соріі*, — не имеющие синонима романского происхождения) и «старик» (*шоз*). Включение подобных слов ничем, кроме благоприятных условий для сохранения реликтной субстратной лексики, объяснить нельзя.

Более многочисленную, чем во французском, тематическую группу субстратной лексики представляют собой в румынском слова для обозначения элементарных явлений жизни, действий, восприятий (глаголы) (9 вместо 5 во французском). В сущности, в данном случае речь, конечно, идет не о дакийских глаголах, а о дакийских глагольных корнях (основах), продолжающих свою жизнь в румынском в новом романском (> румынском) грамматическом оформлении. Сюда предположительно относят следующие глаголы: 1) (а) *Бисига* «радовать, веселить»; 2) (а) *сіірі* «щипать»; 3) (а) *ІеБаі* «болтать (говорить)»; 4) (а) *Бада* «вкладывать, всовывать»; 5) (а) *Босапі* «стучать, ударять»; 6) (а) *сіопд(г)апі* «бранить, ругать»; 7) (а) *Іері* «защищать»; 8) (а) *дазі* «находить»; 9) (а) *Іагіт а* «крошить, дробить». Сохранение некоторых из глаголов можно отчасти объяснить известной эмоциональной окрашенностью субстратной лексики, однако подобное объяснение допустимо далеко не во всех случаях. Часть глаголов, абсолютно нейтральных по значению и важных по своей функции, решительно

противится подобному объяснению. Так, глаголы (а)да зі «находить, найти», (а)ѣгі «защищать, оберегать», (а)ба да «вкладывать, всовывать» совершенно невозможно объяснить, если исходить из того, что они должны были заполнить какую-то пустую клетку в общей таблице лексической системы. Сохранение этих глаголов могло, с одной стороны, объясняться высокой частотностью в дакийском языке, хотя такой же, если не большей, частотностью должны были обладать и романские соответствия, в связи с чем именно частотность и нейтральность данных глаголов обрекала их на выпадение из лексики дако-романского диалекта (> языка). Таким образом, с другой стороны, для того чтобы они сохранились, необходимы были экстралингвистические условия, способствующие этому.

В румынской лексике субстратного происхождения к словам, служащим для выражения ориентации в пространстве, можно отнести только лексему ЙогЫз «искоса, косо». Среди румынских слов субстратного происхождения, входящих в эту группу, в отличие от соответствующих французских субстратных элементов, нет обозначений специфических мер, расстояний или площадей. Приведенное слово служит для обозначения наиболее обычного и, следовательно, общераспространенного понятия, выражающего ориентацию в пространстве, поэтому и в данном случае следует говорить об особой (по сравнению с галльскими) устойчивости дакийских субстратных элементов. Включение их в дако-романский идиом здесь, как и в других случаях, было вызвано не семантической весомостью выражаемых ими понятий (их новизной, необходимостью как дополняющих систему элементов), а всего лишь более устойчивым их положением и соответственно большей, чем в Галлии, слабостью в Дакии позиций романской речи.

Богаче по сравнению с галльскими субстратными включениями во французском состав дакийских по происхождению прилагательных в румынском языке (11 вместо 4). Здесь также можно встретить ряд прилагательных, связанных с животноводством и носящих ввиду этого известный специальный («технический») характер. Сюда можно отнести такие слова, как тиг «караковый (о масти)», сіиЬ «безрогий, однорогий», сіиІ «корноухий, меченый (об овцах, собаках)», стіга «бесплодная (о животных)». Наряду с

ними, однако, встречаются и прилагательные (и наречия), обозначающие более нейтральные общераспространенные значения, — ср. Ыа Іап «белокурый; белый (о масти)», Ыо^та «беспрерывно, постоянно, вечно», gata «готово», teafa г «здоровый, здоровый, разумный», Ыи^^и «глупый, бестолковый». Характерно, что большинству этих слов свойственны нейтральные или положительные оттенки значения. К числу слов субстратного происхождения относят и такие чрезвычайно важные и частотные прилагательные, обозначающие размер, как таге «большой, великий» и тіс «малый, маленький». Разумеется, вся последняя группа прилагательных и наречий, в особенности два последних, не давала никакого повода для их заимствования в новый романский идиом. Это наиболее типичные реликтные слова субстратного происхождения.

К числительным можно отнести слово, обозначающее неопределенное множество (дгоаіе «множество, гряда, куча». Однако наряду с ним в румынском сохранилось и признаваемое субстратным количественное дробное числительное jumatare «полови

на», также понятное только в качестве реликтного слова.

К числу слов, которые можно отнести к духовной жизни, в том числе верованиям, принадлежат лексемы *bala* «чудовище», *goga* «пугало, бука», *paiba* «черт», связанные с языческой демонологией и потому сохранившиеся как реликты язычества. Как лексический элемент, передающий специфический жанр румынской народной поэзии и музыки, явно восходящий к дакийской древности, следует рассматривать слово (*foina* (диал. *daina*). В отличие от большинства других субстратных слов, имеющих преимущественно албанские параллели, данное слово в наибольшей степени связано с балтийскими — лит. *daina*, лтш. *daina* «народная песня». Румынское слово, как и его балтийские соответствия, обозначает народную лирическую песню особого характера. Ввиду того что этот тип песен, исполняемых уже на романском языке, сохранил как свое древнее дакийское название, так и, по-видимому, свое музыкальное и поэтическое своеобразие, в их сохранении можно видеть особую устойчивость дакийского фольклора в его, очевидно, наиболее популярном жанре, пережившем даже смену языка. Все слова данной группы, являясь субстратными включениями, одновременно на фоне романской основы румынской лексики могут рассматриваться и как субстратные экзотизмы, поскольку обозначают или один из видов определенного (более широкого) понятия, или представляют собой один из выражающих его синонимов (причем не наиболее распространенных). Так, слово *doina* обозначает только один из видов народной песни. Понятие «песня (вообще)» передается словом романского происхождения *dntec* (лат. *canticum*). Лексема *baI* «чудовище» имеет в литературном языке в качестве основного синонима слово *monstru* с тем же значением. Следовательно, данная тематическая группа слов, хотя и относится к числу субстратных, связана скорее не с чистыми реликтами, а с включениями, сохранение которых в языке-преемнике могло быть мотивировано как традицией субстратного языка, способствовавшей их сохранению, так и тем, что они передавали

176

понятия, по-видимому, восполнявшие семантическую (и эмоциональную) систему языка, т.е. вошли в него при той ситуации, которая

возможна и при заимствовании в прямом понимании слова.

Рассмотрение румынской субстратной лексики показало, что по сравнению с такой же лексикой французского языка она в значительно меньшей степени может быть оценена как лексика экзотизмов или технических терминов, а также как источник сниженно-эмоциональной языковой синонимии. В отличие от французской, здесь значительно больше слов общего нейтрального значения, причем нередко не имеющих синонимов несубстратного (романского) происхождения. Если субстратная лексика французского языка или тяготеет к его периферии (профессиональным языкам), или обозначает относительно узкие конкретные значения, то такая же лексика румынского языка в целом ряде случаев оказывается в центре лексической системы, обозначая существенные понятия, такие, как части тела, родство и возраст, части рельефа, растительный и отчасти животный мир, жилье, некоторые важные глаголы и прилагательные (наречия, предикативы). Кроме того, здесь даже сохранено (причем не в арго или диалекте, а в литературном языке, что бывает крайне редко) одно количественное числительное. Ср. в связи со сказанным такие слова, как *buza* «губа», *seafa* «затылок», *grumaz* «шея, затылок», *burta* «живот»; *copii* «ребенок», *mos* «старик»; *balta* «болото», *mal* «берег», *^dru* «бор, дремучий лес», *abur* «пар»; *coras* «дерево»; *minz* «жеребенок», *tap* «козел»; *drum* «дорога», *vatra* «очаг, печь»; *^)gasi* «найти», *^)baga* «вкладывать», *fc)feri* «защищать, оберегать»; *Iwrtis* «искоса, косо»; *mic* «малый», *ша^* «большой», *gata* «готово»; *jumatate* «половина».

Проведенные исследования показывают, что румынский, несмотря на его несомненную принадлежность к романским языкам и многочисленные лексические заимствования из других языков, в которых наиболее значительное место занимают суперстратные, субстратные и адстратные славянские включения и заимствования, сохранил и довольно заметный слой суб

стратных автохтонных лексических элементов. Дальнейшие разыскания, безусловно, покажут, что к этому слою должны относиться, кроме уже обнаруженных, и другие слова, пока еще не открытые как субстратные и поэтому относимые к разряду темных. Однако уже обнаруженное показывает, что субстратные лексические элементы в румынском, может быть, не столько ввиду их многочисленности, сколько большого удельного веса ряда из них играют в нем достаточно серьезную роль, которая во многом определяет его специфику как особого романского и в то же время балканского языка. Не следует забывать, что именно дакийский субстрат в наибольшей степени связывает румынский язык с, видимо, родственным дакийскому албанским, а также его субстратным предком дакийским языком и вместе с тем с другими палеобалканскими языками. Чрезвычайно важно было бы уяснить, чем вызвана в румынском подобная живучесть и удельный вес лексики дакомизийского (или точнее, гето-дакомизийского) происхождения по сравнению с более скромной ролью лексики галльского происхождения в формировании словаря французского языка. Думается, что основную роль в этом сыграли не внутренне-, а внешнелингвистические причины. Нет оснований, разумеется, видеть в этом следствие чрезвычайной развитости дакийского языка по сравнению с галльским. Напротив, то большое количество разнообразных терминов материальной культуры, взятых непосредственно из французского, но в конечном счете восходящих к галльскому языку, которые из галльского вошли в латынь, а из нее или французского во все романские и многие европейские языки (ср.: рус. *гравий, бьеф, вассал, валет, батальон, батальный*; п. атбазада; лат. саггиз, саггиса, сабаПив и т.д.), подтверждает высокий уровень ее развития у галлов. Нет сомнений и в том, что достаточно развитой была и духовная жизнь галлов, о чем говорят не только косвенные свидетельства высокоразвитой литературы других кельтских народов, а хотя бы галльское слово *бард*, вошедшее со значением «вдохновенный поэт-песнопевец» во все европейские языки. Галльский язык проявил, по-видимому, исключительную стойкость и, несмотря на все усилия романизировать полностью Галлию, пережил языческую Римскую империю и окончательно исчез в первые века распространения христианства. На то, чтобы его полностью

вытеснила латынь, понадобилось около 6-7 веков. Это принимала во внимание даже римская администрация, отнюдь не поддерживавшая, как известно, развитие каких-либо языков, кроме латыни, и признававшая только силу тех языков, с которой нельзя было не считаться (греческий и арамейский на Востоке). Если в специальном разъяснении известного римского юриста Ульпиана, относящемся к III в. н.э., но внесенном в кодекс законов императора Юстиниана, говорится о правомочности завещания, составленного на галльском языке, значит даже после римского завоевания в Галлии допускалось, пусть в ограниченном объеме, официальное употребление галльского языка, что также не свидетельствует о его слабости. Напротив, романизация Дакии произошла за очень короткое время (с 106 г. н.э. до 275 г. н.э., т.е. в течение 169 лет). Как известно, в латинский язык, а вместе с тем и в другие романские не вошло ни одно дакийское слово. Правда, некоторые слова дакийского происхождения вошли в ряд языков, смежных с румынским (ср. болг. *колиба, друм*, укр. *колиба, цан*), но в ряде случаев они известны только диалектам местных языков, за границы же непосредственно смежных с Румынией стран эти слова, как правило, не перешли. Следовательно, все говорит о том, что если часть лексики дакийского происхождения, в том числе и очень важной, закрепились в румынском языке, то вызвано это было не столько внутренней причиной (высокой развитостью дакийского языка), сколько причинами внешне(социо)лингвистическими.

В отличие от Галлии, завоеванной римлянами еще в I в. до н.э. и находившейся под их господством до конца V в., т.е. около 6 веков, Дакия под римским господством находилась всего 169 лет, т.е. менее 2 веков. Таким образом, хотя романизация Дакии совершилась очень быстро, чему способствовало заселение этой провинции выходцами из западных романизированных провинций, романизация местного дакийского населения должна была носить довольно поверхностный характер. Этому могли способствовать и неоднократные восстания даков (в 117-118, 139, 143, 156, 170 гг. и позже), свидетельствующие о том, что местное население всеми силами противилось римскому господству, а значит, вряд ли могло полностью отказаться от своего языка (это было бы просто нецелесообразно, поскольку тем самым оно бы лишалось удобного

средства, позволяющего при общении друг с другом в то же время хранить в тайне от римлян враждебные по отношению к ним замыслы). Дакийский язык был необходим дакам и для связи с той их частью, которая ушла к родственным племенам (костобокам, роксоланам и др.), расположенным вне территории римского завоевания, и откуда даки ожидали поддержки в своих восстаниях против римлян. Общаться с этими племенами, совершенно нероманизированными, дакам также было удобнее всего не на латинском, а на дакийском языке. Несмотря на связь романского (и романизированного) населения Дакии с римским населением в пределах ближайших провинций Римской империи, продолжавшуюся, как полагают, до V, а возможно и до VII в. н.э., даже несмотря на то что римские гарнизоны покинули Дакию в 275 г. н.э., очевидно, все же речь идет только о полностью романизированном и романском населении, так как вряд ли подобные связи могли интересовать даков, сохранивших свой язык. Другим не менее важным обстоятельством, которое не могло не отразиться на развитии местного романского идиома, было, видимо, то, что он, будучи оторван от центров римской образованности, в меньшей степени, чем другие романские диалекты, испытывал нормализующее влияние книжной латыни. Это нашло свое отражение в ряде своеобразных семантических особенностей местного романского языка уже в его романских (латинских) элементах: *raşchi* «земля» (< лат. *raçitē* «утрамбованная с щебнем и известкой земля; мозаичный пол; каменная кровля»), *batrin* «старик» (< лат. *veteranus* «ветеран»), свидетельствующих о том, что в Дакии романский язык, лишенный обычной для остальной Романии диглоссии народная латынь — книжно-литературный латинский язык, развивался почти исключительно как народная латынь. Правда, еще при начальной проповеди христианства в Дакии римскими миссионерами для христианизации местных романцев использовалась книжная латынь, лингвистическим свидетельством чего является рум. *dumnezeu* «Бог» (< лат. *Domine Deus* «Господи Боже»), но с эпохой переселения народов и особенно с движением славян на Балканы, со все большей эллинизацией Восточной Римской империи (> Византии) все в большей степени намечался отрыв романцев Дакии от латинского языка. Очевидно, в немалой степени этому способствовало

разделение первоначально единого христианства на католиков и православных, сделавшее латынь, особенно как богослужебный язык католиков, «латынников», одиозной в глазах православных. Смешанный романо-славянский характер возникавших княжеств Молдавии и Валахии стал причиной того, что их богослужебным и официально-административным языком стали славянские языки — церковнославянский в церкви, древнерусский (староукраинский) и среднеболгарский в администрации. Лишенный связи с другими романскими языками, — и это едва ли не главное обстоятельство, — румынский язык не мог испытать их влияния, а у его носителей не возникало необходимости при контактах с другими провинциями Римской империи (а позже с романскими странами) выравнять по ним свой язык, освобождая его от слишком большого числа слов, — преимущественно наиболее частотных, — непонятных другим романцам. Ведь румынский язык обслуживал только румын, им они не пользовались в общении с другими родственными народами. Поэтому и не нужно было изгонять из него те элементы (субстратные (дакийские); славянские, венгерские, греческие и турецкие), которые были бы непонятны представителям других романских народов. У романских народов Западной Романии потребность в таком выравнении возникала значительно чаще, поскольку этому способствовали многочисленные совместные переживания: принадлежность к общей для них католической церкви (с ее латинским языком); участие в крестовых походах, паломничество в Рим и к другим наиболее известным святым местам, признанным католической церковью; войны французов и испанцев в Италии; обучение романоязычной молодежи в университетах других романских стран, где при использовании латинского языка в качестве научного (и учебного) невольно приходилось прибегать к несвоему (местному) романскому языку и т.п. Таким образом, многочисленным взаимосвязям носителей романских языков Западной Романии следует противопоставить почти полный романский и латинский «изоляционизм» румын и молдаван. Данное обстоятельство также способствовало закреплению своеобразных лексических черт романского румынского языка, в том числе и своеобразной лексики субстратного происхождения.

Иногда сравнивают позднейший слой

германской лексики в западногерманских языках со слоем славянской лексики в румынском. Однако сравнение это во многом неточно. В подавляющем большинстве случаев германские языки нигде на территории Романии не использовались в качестве письменно-литературных и официальных. В этой роли и в вестготской Испании, и во франкской Франции, и в лангобардской Северной Италии использовалась только латынь, что в немалой степени ускорило переход германцев, поселившихся в этих странах, на местные романские языки, их романизацию. Германские языки можно было бы сравнить по их воздействию на западнороманские с воздействием славянских языков на румынский (и молдавский) только в том случае, если бы и в Западной Романии, как произошло это в Восточной со славянскими языками, германские языки, кроме их роли разговорного языка господствующего меньшинства из германских феодалов и разговорной речи поселившегося среди романцев германского населения, выполняли к тому же роль языков богослужения и использовались как официальные письменно-административные языки. Поскольку ничего подобного никогда не было, ситуацию румынского языка с ситуацией западнороманских языков в целом сравнивать недопустимо. Единственную наиболее близкую аналогию во взаимоотношениях западнороманских языков с германскими (немецким языком) по отношению к румынскому в его связях со славянскими представляет ретороманский язык, который длительное время, как и румынский со стороны славянских языков, подвергался воздействию со стороны немецкого языка и поэтому насыщен, пожалуй, не в меньшей степени, чем румынский, славянскими лексическими заимствованиями, германскими (немецкими) лексическими элементами.

В дальнейшем, когда с XVI в. национальная литература Валахии и Молдавии (позднее Румынии и Молдовы) стала развиваться на национальной основе дако-романского языка, а позже, с XIX в., все более стали налаживаться связи с другими романскими народами, возникло и стремление выйти из состояния невольного, исторически обусловленного «романского изоляционизма» по отношению к другим, западнороманским народам, усилить романский облик языка. Тяготение к рероманизации румынского языка диктовалось прежде всего стремлением

придать ему более романский облик и тем самым, сделав более понятным для других романцев, создать возможность для непосредственных культурно-языковых связей с родственными народами, ввести его в круг великих романских культур — французской, итальянской, испанской, португальской, воспользоваться плодами их развития. К этому вынуждало и стремление к европеизации языка после долгого летаргического сна в условиях восточного деспотизма разлагавшейся Османской империи. Дело в том, что подавляющее большинство европейских интернационализмов строится на базе латинских или включенных в латынь греческих элементов. Для румынского языка, как одного из романских, этот путь представлялся вдвойне естественным, и он также, возвращая его к романским (и глубже) латинским корням, способствовал рероманизации и одновременно европеизации румынского языка. Вначале некоторые энтузиасты, стремясь предельно рероманизировать язык, выбрасывали из него все славянские элементы, даже глубоко укоренившиеся в нем. Эти попытки иногда в известной степени лишали язык его национального лица, мало того, делая непонятным для самих румын, отрывали его от народа, от естественного развития. Затем был выбран, по-видимому, единственно правильный путь: вводя постепенно романскую лексику, выпавшую в ходе его развития из румынского языка, оставляли в нем и прижившиеся славянские и другие нероманские элементы. Это способствовало появлению в ряде случаев целого ряда романославянских синонимов, обогативших язык лексико-семантически и стилистически. Появились, например, такие пары синонимов, как *atog* и *iubire* (от славян. **любити*), *чосе* и *glas*, *spirit* и *duh* и под. Своеобразие субстратных дако-мизийских элементов румынского заключается в том, что, поскольку они не ассоциируются у румын ни с какими соседними языками, а иногда их даже сближают с романскими элементами (ср. рум. *таге*, которое до сих пор соотносили не с алб. *i^{dh}*) «большой, крупный», а с лат. *ims* *^ris*) «мужской»), никогда не возникало стремление изгнать их из языка, тем более что некоторые из них (*mic*, *mare*, *^dru*, *coras* и т.д.) совершенно неотделимы от румынского языка и часто ничем в нем не заменимы.

Следует думать, что этим словам, часто существенно определяющим облик языка, обеспечена преимущественно долгая жизнь, настолько прочно они в него вошли. С

течением времени в румынском языке будут, очевидно, обнаружены еще не открытые в нем дакийские элементы, и тем самым еще яснее станет их важная, определяющая для его специфики роль. Подобные открытия будут иметь важное значение и для реконструкции и изучения ныне мало нам известного дакийского языка.

Особенности роли субстрата в формировании лексики, рассмотренные на материале романских языков, могут быть подтверждены также другим языковым материалом. Видимо, это относится среди прочих к такой особенности, как разная степень сохранности сугубо субстратной лексики, т.е. лексики типично реликтной, обозначающей понятия, которые обычно не заимствуются. Наблюдается здесь, в частности, следующая закономерность: в том случае, когда язык, принадлежащий к определенной языковой семье, оказывается от нее в изоляции, в нем сохраняются, как правило, реликтные субстратные лексемы, поскольку в данном случае язык обслуживает только его носителей, которые практически не заинтересованы в том, чтобы он был понятен носителям родственных языков. В таком положении находится, например, осетинский язык, наслонившийся на какой-то иберийско-кавказский, который растворился в нем и стал его субстратом, — ср.: осет. к'ах «нога» (чеч. код, туш. кок, инг. код, акуш. ках «то же», хварш. кака «голень») (Абаев, 1958, с. 619), к'их/к'ох «рука, кисть руки, палец» (чеч. ки́д «рука») (Абаев, 1958, с. 644), зух, зих, с'их «рот; пасть» (вейнах. з'ок, Зок «клюв», балк. зих «рот, морда», абх. а-С'э, убых. С^е, абадз. фе, каб. ^h, i'e «рот») (Абаев, 1958, с. 408-409), бу1, била «губа; край; берег» (дид. (бежет.) bel, bil «губа», сван. Р'п «губа», груз. Р'пГ «рот») (Абаев, 1958, с. 277-278), fхn3/fin3(0, fij «нос-кончик» (абх. а-репс'а «нос», убых. faС'а «то же», мегр. р'izi, груз. р'incvi, арм. (< ибер.-кавк.) р'ипз «ноздря») (Абаев, 1958, с. 497), dCir Мог «камень», diir гуп «каменистый» (груз. t'ali «кремень», чеч. t^l-g «камень», инг. t'ol-g «камешек») (Абаев, 1958, с. 376), сжхжг «горящие уголья; жар; огонь; искра» (груз. СХЕП «горячий», схаг1 «жгучий», СЕХП (< *se-sx1-) «огонь») (Абаев, 1958, с. 308), с^гуп3/с^гип3^ «столб» (груз. СХПГ «палочка», абх. Схеп3 «палка для вешания котла») (Абаев, 1958, с. 297-298), lag «мужчина; муж; человек»

(абх. legaz^o «старик») (< *leg «человек» + *aZ^o «старый»), хина- луг. leged «мужчина», абаз. leg «раб; холоп», туш. ^g «раб», чеч. lej «то же», авар., дарг. ^g «то же», каб. tle (l'e) «мужчина; муж») (Абаев, 1973, с. 19-21); бах «лошадь» (чеч. beqhi «жеребенок», инг. baqh «то же») (Абаев, 1958, с. 255-256). Все эти слова имеют соответствия в иберийско-кавказских языках, следовательно, восходят к иберийско-кавказскому субстрату, и отсутствуют в других иранских языках, о чем свидетельствует частично осетинский язык, где сохранились (преимущественно в ограниченной функции) синонимы к данным словам, имеющие соответствия в других иранских языках, — ср. осет.: агм «рука» (перс. агм «то же», заа аг та «плечо»), fад «нога» (белудж. рад «тоже», перс. ра, pai), jffifs/ ffifsa «кобыла» (< «лошадь» (перс. асп «лошадь», пехл. асп, курд. hasp, белудж. аps, haps «то же», афг. аspa «кобыла»), которые в свою очередь имеют соответствия в других индоевропейских языках. В приведенных примерах из румынского (с дакийским субстратом) и осетинского (с иберийско-кавказским) обращает на себя внимание сохранение реликтных слов, наиболее типичных для субстрата, причем часто из совершенно одинаковых лексико-семантических групп (напр., названия частей тела). Как показывает пример французского, и в нем субстрат в общем передавал те же элементы (ср. фр. trogne «рожа, морда» (< «нос») — кимр. trwyn «нос»), однако эти элементы, ввиду тесной взаимосвязи с латинским и с родственными романскими языками, были или полностью вытеснены из языка, или попали на его стилистическую периферию, как бывает с обычными заимствованиями. В румынском, находившемся в изолированном положении по отношению к другим романским языкам, и в осетинском, изолированном от родственных иранских, субстратные лексические элементы оказались в наиболее благоприятном положении, что и позволило им сохраниться в наибольшей степени.

2. Роль субстрата в формировании грамматики

Вопрос взаимодействия и взаимовлияния языков в области грамматики, в особенности в отношении наиболее сложного типа взаимовлияний — субстратного, освещен значительно меньше, чем, например, вопрос о

говорится о малой проницаемости грамматического строя языка. Это положение может быть принято только с рядом оговорок и уточнений. Прежде всего, оговорки требует уже само сравнение грамматики с лексикой как неким «эталонном» неустойчивости. Совершенно справедливым представляется высказанное по этому поводу замечание В.И.Абаева, которое уместно здесь привести: «...лексика имеет репутацию самого неустойчивого элемента языка. Действительно, нигде в языке так не распространено заимствование, как в лексике. Отсюда известное недоверие к лексике при решении генетических вопросов, в том числе и вопросов субстрата. Однако это недоверие законно только до тех пор, пока мы подходим к лексике недифференцированно. Но когда мы внимательнее изучим исторические судьбы различных слоев лексики, мы убеждаемся, что в ней есть некоторые весьма устойчивые элементы, которые по своей стойкости могут соперничать с самыми стойкими элементами фонетики и морфологии. Сюда относятся местоимения, числительные и глаголы, названия частей тела, повседневных явлений природы, термины родства, основные социальные термины. Эти слова, образующие основной лексический фонд языка, живут тысячелетия и мало подвержены заимствованию. Поэтому при решении генетических вопросов на них можно положиться так же, как на любые устойчивые структурные элементы языка» (Абаев, 1956, с. 64-65). По-видимому, сложность проникновения чужезычного влияния в грамматическую сферу, как и в сферу основного лексического ядра языка, связана в значительной степени с их частотностью. Поскольку элементы грамматического строя находятся все время «в работе» (и даже в большей степени, чем всякая, даже самая употребительная лексика, кроме предельно универсальной «грамматикализованной» типа союзов, предлогов, служебных и модальных глаголов, артиклей, местоимений), заимствовать грамматические элементы, изменить грамматический строй чрезвычайно трудно.

Ср., например, следующее характерное высказывание: «Внутренний характер грамматической семантики и высокая степень ее системной организации затрудняют иноязычное влияние на грамматику» (Мечковская, с. 389).

К приведенному следует добавить, что подобной же, а возможно, и большей стойкостью отличаются все слова, относящиеся к служебным частям речи, которые часто непосредственно (например, в аналитических языках предлоги) обслуживают грамматику.

происходят. Однако происходят они, — если иметь в виду прежде всего существенные, заметные сдвиги, — как правило, не тогда, когда речь идет об эпизодических или малоинтенсивных языковых контактах, а когда имеем дело с длительным и тесным взаимодействием языков, которое как раз и характерно для субстратных отношений.

Как показывает рассмотрение соответствующего языкового материала, языковые изменения, вызываемые субстратом или явлениями, близкими к нему, имеют разный характер и по-разному формируют грамматическую систему языка. Изменения идут обычно по двум линиям: материальной и (или) семантической.

Непосредственные материальные заимствования, точнее включения, грамматических элементов наблюдаются относительно редко, хотя полностью далеко не исключены. Имеются два типа материальных включений грамматических элементов: тип общего (универсального) и тип частного (специального) включения. В первом случае включаемые элементы используются как универсальное грамматическое средство, обслуживающее в одинаковой мере как заимствованные, так и исконные слова (и даже в наибольшей степени исконные, поскольку они если не количественно, то по частотности всегда в языке преобладают). Во втором случае включаемые грамматические элементы проникают только со словами субстратизируемого (субстратизированного) языка и на слова языка-преемника, как правило, не распространяются, а если это и происходит, то преимущественно только под влиянием того, что определенные заимствованные лексемы воспринимаются как

часть лексики субстратного, языка. Таким образом, в первом случае грамматические показатели заимствуются и вводятся во всю без исключения грамматическую систему языка-преемника. Во втором случае грамматические особенности включаются в язык-преемник вместе с заимствованными словами, которым они свойственны. В результате этого в языке возникает что-то, напоминающее «язык в языке»: с одной стороны, основная масса лексических элементов, по отношению к которым применяются правила грамматики, составляющей основу языка и той языковой семьи (группы), к которой язык относится, с другой, в нем же существуют лексические элементы, как правило, старой (предыдущей) языковой традиции, языка, которым до того пользовались. Эти включенные лексемы сохраняют грамматические особенности предыдущей языковой традиции, первого языка, не подчиняясь, как обычно бывает, грамматике второго языка.

Примером первого случая, когда заимствование грамматических элементов не ограничивается заимствованной лексикой, а распространяется на весь язык в целом, является алеутский медновский диалект. В отличие от беринговского и других диалектов алеутского языка, где сохраняются полностью исконные грамматические показатели, здесь в систему глагола были включены русские грамматические показатели, что следует объяснять с социо- и этнолингвистической точки зрения тесными взаимными контактами носителей алеутского и русского языков, а с точки зрения чисто лингвистической — большей сложностью алеутской грамматической системы. В связи с этим алеутская глагольная флексия была заменена русской, ср.:

Беринговский диалект

аиа-ку-к' аиа-ку-х' т аиа-
кух' аиа-кус' аиа-кух'т-
хичих

Отрицательная форма

айгал-лака-с

аиа-на-х

Настоящее время

«работаю»
«работаешь»
«работает»
«работаем»
«мы не идем»
«работаете»

Прошедшее время I

«работал»

Медновский диалект

аба-ю аба-ишь аба-ит
аба-им аба-ити

(настоящего времени)

ни-айгала-им...

аба-л

части системы, здесь относящейся к глагольной. При основном сплошном заимствовании (см. языдо. Правда, пример выше), следует сразу же особенно где речь заметить, что все идет о грамматике, приведенные следовало бы, оче- примеры не видно, говорить уже относятся к суб- не о включении (или стратным (в случае заимствовании), а о алеутского диалекта переходе. На другой речь идет скорее о языке. В данном включении случае речь идет о суперстратного том, чтобы ли^м, характера, в меглено- усваивавшим новый румынском — для них язык, адстратного ^{тм}па), облегчить этот однако это переход, в связи с отсутствие чисто чем в той части субстратных фактов грамматической можно объяснить не системы (глаголе), столько принципиальной которая была для них невозможностью особенно сложна, субстратного они сохранили свою включения данного флексию, заме- нив ^{тм}па, сколько малой ею флексию степенью усваиваемого языдо.

Судя по другим исследованности примерам включения суб- стратных флексии (ср. явлений в целом, из перенесение которых многие док окончания 1-го и 2- относящиеся к го л. ед. числа у чрезвычайно древ- глаголов настоящего ним, доисторическим времени из эпохам еще не могли болдорского в быть замечены и меглено-румынс- исследованы наукой. кий, приводимое у По- видимому, У.Вайнрайха: afl-u-m приведенные «я нахожу», afl-is примеры следует «ты находишь» подо рассматривать в вместо aflu, aflī) (с. большей степени не 64), случаи док аргументы в материального заим- пользу существования ствования флексии существования субстрат- ных не так уж редки, включений хотя, несомненно, грамматических количественно элементов (флексии), уступают известным а док явления, примерам допусдоющие пред- материального ния положение об их заимствова- ния в принципиальной лексики, не возможности, док особенности не

сигналы
необходимости
дальней-
углубленных
исследований в этом
На-

правления, которые дадут возможность окончательно подтвердить подобное предположение (и в то же время установить степень его распространенности) или полностью его опровергнуть. На нынешней степени исследованности больше оснований для предположений о том, что подобный тип субстратных включений в принципе возможен, хотя и не принадлежит к особенно распространенным явлениям. Очевидно, конкретная возможность реализации данного явления зависела не только (и не столько) от чисто языковых, сколько от социолингвистических факторов. В том случае, когда контакт субстратизировавшегося языка и языка-преемника происходит в условиях, способствовавших лучшему сохранению субстратных элементов (среди прочих одной из важных предпосылок этого была полная изолированность языка-преемника от родственных языков), складывались обстоятельства, благоприятствующие закреплению субстратных элементов, в том числе и грамматических, с особым трудом проникающих в язык. В тех случаях, когда такие условия отсутствовали, не могли в достаточной степени закрепиться даже элементы наиболее легко включаемые, лексические.

Таким образом, хотя явление образования субстрата своей основной причиной имеет во многом сходные социолингвистические факторы и обстановку, однако в дальнейшем на стойкость субстратных элементов, на их больший или меньший удельный вес в языке сильно влияют как конкретная ситуация образования субстрата, так и обстоятельства, сопутствовавшие дальнейшей истории языка-преемника (уже после исчезновения языка, ставшего его субстратом, и окончательного включения в него сохранившихся субстратных элементов). Предполагаемые случаи включения в язык-преемник материальных грамматических элементов субстратного языка требовали, безусловно, наиболее благоприятных условий, к которым надо в первую очередь отнести: длительность контакта между (будущими) языком-преемником и языком-субстратом; отсутствие выравнивающего воздействия со стороны какой-либо влиятельной нормы, исходящей от той части языка, которая связана с языком-преемником, но находится вне контакта с языком-субстратом; для- 184

тельное отсутствие каких-либо контактов языка-преемника с родственными языками, которое бы помешало включению граммати-

ческих субстратных элементов.

Наблюдается и другой тип включения материальных грамматических элементов, когда грамматические показатели флексии остаются связанными только с заимствованными элементами, с которыми исходно сочетались и употреблялись. Таким образом, если в первом случае грамматическое заимствование приобретает универсальный характер, хотя, возможно, отправной точкой для него является заимствованная лексика, вместе с которой пришли и заимствованные грамматические элементы, первоначально употреблявшиеся только с ней, то во втором случае заимствованные грамматические элементы включаются в язык вместе с заимствованной лексикой и при ней, как правило, только и употребляются. Следовательно, возникает ситуация, при которой в языке одновременно функционируют две грамматические системы — одна основная, исконная для языка (она наиболее универсальна, поскольку обслуживает большинство лексических элементов, относящихся ко всем частям речи), другая заимствованная, включенная из другого языка вместе с лексикой, при которой она употреблялась. Общим у этого типа материальных грамматических заимствований с предшествующими является то, что, как и при заимствованиях (или включениях) вообще, заимствованные грамматические элементы составляют только часть общей грамматической системы языка, причем находящуюся в явном меньшинстве по сравнению с преобладающей исконной частью грамматических элементов. Подобную ситуацию находим в еврейском (идиш) языке^{*****}, где элементы, включенные из иври

та (древнееврейского языка), — прежде всего это относится к именам существительным — сохраняют здесь целый ряд своих грамматических особенностей: 1) образование множественного числа, получающего вместо немецких (западногерманских) по про-

***** Приведенные далее примеры взяты (в принятой ныне латинской транскрипции) из книги: Русско-еврейский (идиш) словарь / Под ред М.А.Шапира, И.Г.Спивака и М.Я.Шульмана. — М.: Рус. яз., 1984. — 720 с. и, в частности, из помещенной в ней статьи: Фалькович Э. О языке идиш. — С. 666-715. Следует указать на фонетическое отличие иврита, включенного в идиш, от иврита, употребляемого в Израиле, что объясняется тем, что в основе первого лежит язык ашкеназийских (немецких) евреев, а второго — сефардийских (испанских) евреев.

исхождению показателей множественности соответствующие древнееврейские (семитские): (для мужского рода) — *im*, напр. *хйвіт* «чувства» (ед. ч. *хйв*), *хадбвіт* «месяцы (календарные)» (ед. ч. *хб^дев*), *хаче^ггіт* «товарищи» (ед. ч. *хачег*), — иногда, правда, тот же показатель получают и некоторые слова недревнееврейского происхождения, но, очевидно, как результат того, что они могли быть заимствованы ивритом и употребляться в нем (ср. *doctoјr-im* «доктора (врачи)» от ед.ч. *dokter*; но *doctor-n* «доктора (как ученая степень)» при ед.ч. *doktor*); (для женского) -ев, напр. *хОјves* «долги» (ед.ч. *хо^ч*), *та^п-ев* «подарки» (ед.ч. *та^пе*), *soxntes* «соседки» (ед.ч. *S0xnte*); 2) закономерное чередование гласных в основе при образовании множественного числа, напр.: *texaBeг* «автор» — *texaBгіт* «авторы», *тізBe^х* «алтарь, жертвенник» — *тізBeіxев* «алтари, жертвенники», *talex* «ангел» — *taЮxіт* «ангелы», *poz[^]* «аскет» — *pe2ігіт* «аскеты», *pOгес* «барин» — *pгісіт* «баре», *та^х1* «блюдо (кушанье)» — *majx01im* «блюда», *ков* «бокал» — *^]ев* «бокалы», *дапеч* «вор» — *ganovw* «воры», *sOјne* «враг» — *sonw* «враги», *Soliex* «гонец» — *veііxіт* «гонцы», *ba[^]bos* «господин (хозяин)» — *BaleBa[^]т* «господа (хозяева)» и т.п.; 3) употребление слов древнееврейского происхождения в случае образования от них сложного слова в особой композитной конструкции *изафета* (*status const[^]ctus*) с определяющим после определяемого (а не наоборот, как в сложных словах германского происхождения), напр.: *Bnej-dOг* «сверстники» (букв. «сыновья-поколение (= поколения)», — ср. *B0nim* «сыновья» (форма обычного мн. числа), *dog* «поколение»; *хaxmej-jOчоп* «мудрецы Греции (греческие мудрецы)» (букв. «мудрецы — Греция»), — ср. *хaxOmim* «мудрецы» (форма вне сложного слова), *pnej-hoіг* «отцы города» (букв. «лицо-город (= города)»), — ср. *pOпem* «лицо» и т.п. Пример употребления ивритских грамматических показателей при словах ивритского происхождения в идиш также не является вполне типичным в качестве иллюстрации к ныне известным случаям субстрата, поскольку иврит представляет собой по отношению к языкам неивритского происхождения, использовавшимся евреями (и еврейским языком) (ср., в частности, греческий, арамейский, арабский, испанский (> ладино, эспаньоль), немецкий (> идиш) и под.), скорее интерстрат, чем субстрат. Однако сам автор термина интерстрат (Занд, с. 223-224),

рассматривая иврит в целом как интерстрат на протяжении всей истории его существования от времени, когда он впервые был вытеснен одним из обиходных языков евреев (очевидно, арамейским), до его возрождения в XX в., находит возможным рассматривать его элементы, включенные в тот или иной из языков евреев (> еврейских языков), возникавших в разные исторические периоды, в качестве субстрата по отношению к каждому из упомянутых языков. Следовательно, все же есть полное основание (и даже необходимость), говоря о разных формах грамматических включений субстратного происхождения, упомянуть и эту. Однако специфика данного типа субстратного включения, с социолингвистической точки зрения, состоит в том, что данный субстратный язык, обладая высоким традиционным авторитетом, — что отразилось, в частности, в его продолжавшемся употреблении уже как омертвевшего в религии и письменности (в праве, науке, официальной и частной переписке и т.д.), — не исчез бесследно, растворившись в языке-преемнике, а продолжал использоваться, правда, не в быту и повседневной жизни, а с ограниченным кругом достаточно важных функций, например, как язык религии. Это не позволило языку, хотя и ставшему субстратом языка-преемника, полностью омертветь, что проявлялось в его частичном функционировании, показателем этого была и активность его грамматических элементов. В связи с этим данные субстратные элементы сохраняли определенную функциональную активность, что и вызвало их грамматическую автономность, сохранение своей грамматической специфики в рамках языка-преемника. Это дает основание говорить о том, что в данном случае субстратизировавшийся язык не полностью завершил процесс своей субстратизации. Вследствие этого возникла как бы ситуация «языка в языке», существование в языке-преемнике частичной самостоятельной жизни языка-субстрата, сохранившего в какой-то степени (как свидетельство этой жизни) свою собственную грамматику. По-видимому, достаточно оправданно рассматривать данную особенность субстрата как отражение частично сохранившегося двуязычия. В случаях наиболее чистой субстратной ситуации, когда субстратный язык полностью выходил из употребления, этому, вероятно, предшествовала грамматическая унификация всех лексических элементов обоих языков —

языка-преемника и языка-субстрата: все они начинали употребляться независимо от своего происхождения только с грамматическими показателями языка-преемника. В данном случае, поскольку субстратизация оказывалась неполной, т.е. незавершенной (язык-субстрат продолжал употребляться как язык письменности, религии, науки, т.е. значительной части национальной культуры), а вследствие этого имела традиция употребления грамматики языка-субстрата и сознанием достаточно четко выделялись ее элементы, сохранялось в какой-то степени и пользование лексическими элементами иврита согласно связанным с ними грамматическим правилам, а вместе с тем и материальное проявление этих правил, материальные грамматические элементы. Можно полагать, что ситуация идиш (а видимо, также других языков евреев, как арамейский (в Иудее), таджикский (у бухарских евреев), или сформировавшихся из них еврейских языков, таких, как ладино, или эспаньоль (у части евреев-сефардов) и т.п.), не является полностью уникальной. На это указывает пример других хорошо известных языков, где существовавшее в определенный период двуязычие исчезло и язык, включенный в другой, активно функционирующий, вышел из употребления. Однако ввиду продолжавшегося или продолжавшегося длительного время пользования включенным языком также самостоятельно в качестве языка религии и культуры, он сохранил не только свои лексические элементы, но и свойственную им грамматику. Одним из ярких примеров подобного положения является, в частности, персидский язык (фарси) в своих арабских элементах. Как известно, современный персидский язык насыщен очень большим количеством арабизмов. Своеобразие этих арабизмов (в отличие, например, от романизмов английского языка или славянизмов румынского) заключается в том, что, помимо чрезвычайно большого числа лексических элементов арабского происхождения, что характерно для любого языка, испытывавшего сильное влияние со стороны другого, здесь существует целый ряд особенностей чисто грамматических, заимствованных вместе с арабской лексикой. Число этих грамматических заимствований, их вес (если не в количественном, то в качественном отношении) настолько значительны, что всем изучающим современный литературный персидский язык приходится, в сущности, изучать

одновременно с персидским основы грамматики арабского языка. На это обстоятельство указывают даже наиболее краткие пособия по изучению персидского языка, — ср.: «Не раз уже ... мы указывали на то, что персидский язык, особенно газетный и литературный стиль речи, переполнены заимствованиями из арабского языка... Тому, кто серьезно занялся персидским языком, хотя бы и с целями чисто практического его использования, с целями, чуждыми каких бы то ни было научных стремлений, — все равно не избежать и следующего этапа ознакомления с арабизмами: изучения какого-нибудь из кратких курсов грамматики арабского языка и приобретения навыка в грамматическом разборе и чтении арабского прозаического текста. Без этого он будет оставаться недоучкой, всегда рискует не понять какое-нибудь место в газетном тексте и особенно в официальных юридических документах и будет до крайности стеснен и неловок в употреблении арабизмов в своей устной речи» (Жирков, с. 167). Так, от арабских глагольных корней в персидском языке, так же как и в арабском, образуется целый ряд производных (т. наз. пород), в большинстве случаев ограничивающихся девятью породами. Напр.: от корня ф-р-қ (основное значение «разделять») могут быть образованы следующие формы: I порода фарқ «разделение, разница, пробор (волос на голове)»; II) ферқа «отдел, фракция»; III) фареқ «разделяющий»; IV) ферад «разлука»; V) тафрид «разделение»; VI) мофар реқ «разделитель»; VII) мофаред «разлучающийся»; VIII) мофарадат «разлучение»; IX) енферад «разлука». Примерами персидских изафетов, созданных по арабскому (семитскому) образцу и из арабских лексем сложных слов, являются изафеты со включением слов Иосн «красота», су' «скверность», 'адам «отсутствие», — ср.: Иосн-е' хедмат «заслуга (букв. красота службы (-а))», су'-е тафайот «недоразумение (букв. скверность взаимного понимания (-ое -ие))», 'адам-е ета'ат «непослушание (букв. отсутствие послушания (-е))». Принцип сохранения автономности грамматической системы, ее использования проявлял себя, следовательно, в тех случаях, когда мертвый или, в сущности, ставший действительно мертвым в данном обществе (или для данного общества) язык сохранял в нем все-таки определенную жизненность, т.е. употреблялся, правда, с ограниченным кругом функций. Эти функции, что следует особенно подчеркнуть,

хотя и не относились к быту, повседневной жизни, являлись тем не менее важными для данного общества, будучи связанными с его духовной жизнью, идеологией, религией, теми наиболее высокими функциями языка, которые делали его сакральным, священным (ср., например, обычное название иврита у евреев в период его «омертвения» — І^е воп Иаддодев «священный язык (букв. язык святости)». Из этого обстоятельства вытекало два других: 1) данный язык как священный (особенно в средние века, когда в духовной жизни безраздельно господствовала религия) был предметом обязательного обучения, прежде всего мужчин, что делало его знание довольно распространенным и (или) — что еще более важно — высоко ценившимся явлением; 2) поскольку данный язык считался сакральным, требовалось особенно бережное отношение к нему, его безупречное знание, защищающее его от искажений, а отсюда вытекала необходимость его максимально точной, вполне идентичной цитации, неизбежно предполагавшей как точность воспроизведения его фонетики, так и его грамматических показателей. Нечто подобное наблюдаем в латинской поэзии, где греческие слова (в частности, имена) сохраняют особенности греческого склонения, — ср.: аѣг (пот. sing.) «воздух» — аѣга «воздух» (асе. sing.) при обычном лат. аѣгет; пот. ріиг. ИетегодгОтое (от Иетегодготив «бегун, гонец, вестник») (обычное лат. Иетегодготі), теЪатогрИОвів «превращение» (деп. ріиг. теЪатогрИовеоп «превращений») и т.п. Со сходным явлением имеем дело также в немецком церковном языке, где уже в немецких религиозных текстах под влиянием того, что перед тем в течение ряда веков сакральные тексты были латинскими, имена, выступающие в Библии (в частности, в Новом Завете), сохраняют латинскую флексию, — ср. іт Ылатеп Christi (деп. віпд.) «во имя Христа», іп Cristo (да[^]stog.) «во Христе», ег гіеѣ Раиіит (асе. stog.) «он призвал Павла» и т.п. (БеИопѣ еідег, S. 65). Несмотря на ряд расхождений, всюду в приведенных примерах выступает существенная, объединяющая данные факты черта: во всех случаях речь идет о неупотребляемом в быту (и в этом смысле «мертвом» для данного общества, независимо от того, был ли он действительно мертвым вообще или только применительно к рассматриваемому социуму), однако одновременно священном, сакральном для общества языке. Таковым был (или и до сих пор является) иврит для евреев,

пользовавшихся в повседневной жизни языком идиш, западногерманским по происхождению; арабский, язык Корана и других священных книг мусульманской религии, для персов, пользовавшихся (и пользующихся) в повседневной жизни персидским языком (фарси), индоевропейским языком иранской группы; греческий для римских поэтов и, по-видимому, жрецов (поскольку греческая религия и мифология в Риме фактически слилась с религией римлян и стала ее неотъемлемой, причем особенно важной частью), которые в повседневной жизни пользовались латынью, языком с другой грамматической системой; латинский язык для немцев, пользующихся немецким, германским, но ввиду распространения у них христианской римо-католической религии, употреблявших как язык религии латинский. Следовательно, рассмотренное явление было распространено (и частично сохраняется до сих пор) довольно широко, причем выходит далеко за рамки явлений, характерных только для субстра

та. Тем не менее, поскольку оно наблюдается и среди *постивритских* еврейских языков, где иврит (с определенными оговорками) может рассматриваться в качестве субстрата для каждого из данных языков, есть все основания считать, что в определенных случаях контакт языка-преемника с языком-субстратом мог приобрести и подобную форму. Как видно из рассмотренных иллюстраций, необходимым социолингвистическим условием данного вида влияния грамматической системы языка-субстрата, влияния настолько сильного, что она в значительной степени сохраняла свою автономность (возможность сохраняться вместе со связанными с ней лексемами), являлся высокий авторитет языка, ставшего субстратным, и сохранение им важных, связанных с сакральными, религиозных функций. Ввиду того, что далеко не все случаи субстрата открыты и изучены (не исключено, что многие из них выступают еще имплицитно), можно ожидать, что в дальнейшем будут обнаружены и другие примеры подобного автономного включения частей субстратной грамматической системы. Что касается примера иврита, включаемого в ткань идиомов, употребляемых евреями и иногда приобретавших статус самостоятельных языков, то, несмотря на то что хронологически иврит как лингвистическое образование, на которое насланился другой позднейший язык, напоминает собой субстрат, по своей высокой социальной (и социолингвистической) функции он больше похож на суперстрат. Однако, поскольку суперстратная ориентация иврита являлась чем-то вторичным, было бы точнее характеризовать его в качестве вторичного суперстрата, т.е. суперстрата, преобразованного из субстрата в силу своей социолингвистической роли. Ср. подобную же роль вторичного суперстрата у шумерского языка в культурной и сакральной функциях по отношению к аккадскому, — что отразилось и в соответствующих включениях, — который, наложившись на шумерский язык и вытеснив его, в целом включил его в себя как субстрат (ср.: Ткаченко, 1975, с. 19).

В случаях возможного материального взаимодействия субстратной грамматической системы с грамматической системой языка-преемника, рассмотренных до сих пор, речь шла, как правило, о включении материальных показателей языка-субстрата в грамматическую систему языка-преемника, включении полном, распространяющемся на

всю лексику без различия ее происхождения, или частичном, автономном, не выходящем, обычно, за пределы заимствованной лексики, когда материальные грамматические показатели импортируются вместе с лексикой, связанной с ними, и за пределы этой лексики преимущественно не выходят.

Особое место занимают те примеры грамматического воздействия языкового субстрата на язык-преемник, которые иллюстрируют упрощение грамматической системы подвергнувшегося подобному воздействию идиома. Один из подобных типов воздействия обнаруживается в ливском диалекте латышского языка. Причиной установления в постливских говорах латышского языка единой для каждой глагольной парадигмы формы, употребляющейся во всех лицах (различение их осуществляется с помощью личных местоимений), исследователи латышского языка (ИпдзхЪе, 1р. 231) считают сильное начальное ударение, характерное для ливского языка и сохраненное его носителями при переходе их на латышский язык, которое вызвало отпадение конечных гласных, являющихся личными окончаниями, а тем самым и полное формальное совпадение личных форм глагола, — ср.: (ед. ч.) 1) еэ 1аэ (< 1аэи) «я читаю», 2) tu las (< 1авi) «ты читаешь», 3) vine (литер. vinS) 1аЭ (< 1аэа) «он читает»; (мн. ч.) 1) mes 1аЭ (< 1аэат) «мы читаем», 2) jUs 1аS (< Usat «вы читаете», 3) vin (< литер. vini) ^s (1аса) «они читают»; (ед. ч.) 1) es cel «я поднимаю»: 2) tu cel «ты поднимаешь», 3) vinC // viS cel «оⁿ поднимает»; (мн. ч.) 1) mes cel «мы поднимаем», 2) jUs cel «вы поднимаете», 3) vin cel «они поднимают». Подобное формальное совпадение между личными формами в (пост)-ливских говорах латышского языка наблюдается также в других временах глагола (прошедшем и будущем) (Rudzite, 1р. 231, 234-236, 237-239). Безусловно, основной толчок, давший начало

+++++ Следует сразу же заметить, что ссылка на диалект не дает основания ограничивать применимость рассматриваемого явления только диалектными рамками. Очевидно, в принципе то, что в данном случае относится к диалекту, может быть отнесено и к языку-преемнику субстрата, тем более, что здесь, если, с одной стороны, речь идет об одном из латышских диалектов, то, с другой, имеем дело с почти всем ливским языком. Как известно, подавляющее большинство ливского населения перешло к настоящему времени на латышский язык, только небольшая его часть, преимущественно люди старшего поколения, в Курземе (Курляндии) сохраняет до сих пор ливский язык.

развитию подобного формального совпадения личных форм глагола в (пост)ливских латышских говорах, исходил от ливского языка с его фонетикой. Однако, по-видимому, нельзя недооценивать и фактор внутреннего латышского развития, который мог в какой-то мере облегчить подобное выравнивание. Дело в том, что в латышском языке, как известно, в ходе внутреннего развития языка полностью совпали формы 3 лица единственного и множественного числа. До некоторой степени это, с одной стороны, могло облегчить унификацию остальных форм (их в латышском языке осталось меньше, чем в других индоевропейских языках, в частности, славянских), с другой, формальное с психолингвистической точки зрения совпадение двух из личных форм могло способствовать (индуцирующее воздействие аналогии наиболее распространенных личных форм, употребляемых в повествовании) развитию того, что стимулировалось самим фонетическим строем субстратного языка.

Из приведенных выше данных вытекает, что материальные заимствования грамматических элементов из субстратного языка (как результат главным образом социолингвистических обстоятельств) и материальные преобразования его грамматического строя, его упрощение (как следствие преимущественно внутриязыкового воздействия субстратного языка, его фонетики и акцентологии) отнюдь, видимо, не были чужды контактам субстратного типа. Однако подобные типы чисто материального воздействия субстратного языка на язык-преемник, надо полагать, не принадлежали при такого рода контактах к числу наиболее распространенных, типичных. Этому препятствовало, вероятно, уже положение субстратных языков, для которых наиболее характерным является момент определенной социальной деградации, тяготение к нижним, а не верхним слоям стратификации языковых явлений. Поэтому ситуацию, при которой язык-субстрат мог навязать грамматике языка-преемника какую-то часть материальных показателей своей грамматической системы, предполагающую определенную социальную значимость субстратного языка, трудно представить как типичную для языка-субстрата. Очевидно, подобная ситуация могла оказаться возможной только в том случае, когда социолингвистическое положение языка-преемника и языка-субстрата при известном преобладании первого не представляло

собой чего-то вполне стабильного, что давало возможность временного или частичного равновесия (или даже перевеса) языка-субстрата по отношению к языку-преемнику. Видимо, подобная ситуация могла возникнуть скорее всего в патриархально-родовом обществе, где, например, длительное время могли существовать и взаимодействовать отдельные по своему лингвистическому происхождению языки мужчин и женщин (ср. классический пример аравакского и карибского языков у одного из индейских племен Карибского бассейна). Характерно, что и в случае алеутского языка о Медного речья, очевидно, также шла о носителях русского языка (скорее всего мужчинах) и алеутах (скорее всего женщинах), поскольку в отдаленные полярные области на промысел морского зверя и рыбную ловлю из русских в прошлом отправлялись только мужчины. Следовательно, и в данном случае речь идет о явлении, развившемся в условиях общества, живущего патриархально-родовым строем. Очевидно, именно здесь при наличии двух разнящихся типов языков у мужской и женской части общества, у каждой своего отдельного, и могли сложиться наиболее благоприятные условия для подобных описанным материальных заимствований из субстратного (суперстратного) языка.

В тех случаях, когда грамматические (словоизменительные) особенности включались в систему языка вместе с заимствованной (по-видимому, нередко и субстратной) лексикой, речь шла не о полном от

мирании языка, включаемого в язык-преемник. Отмерев и выйдя из употребления как обиходный разговорный язык, он сохранялся в целом ряде традиционных высоких функций (как язык религиозного культа, традиционной национальной культуры и литературы, национальных обычаев и обрядов, национального права, официальных документов и переписки и т.п.). Это вызывало необходимость в его изучении и усвоении и способствовало тому, что этот язык не только включался в язык-преемник, но как известный, к тому же обладающий высоким авторитетом, священный (сакральный) язык сохранял, как правило, частично и свою грамматику, что было связано не только с тем, что эту грамматику хорошо знали, а и со священностью языка, требовавшей максимального соблюдения его правил и не позволявшей поэтому «вульгаризировать» язык, смешивая его с языком, хоть и повседневного общения, но считавшимся более низким. Ср. отражение этого отношения к языкам у евреев, где длительное время идиш именовался «жаргоном», а иврит «священным языком». Характерно, что подобная автономность отмершего, но традиционно сохраняемого языка отразилась даже в орфографической традиции того же идиша: в то время, как слова германского, славянского, романского и другого происхождения, не связанные с библейской традицией, писались и пишутся здесь согласно новой, созданной для идиша орфографии, слова, связанные с религиозной традицией (как правило, ивритского (древнееврейского, гебрайского) и арамейского происхождения), писались (а в большинстве зарубежных стран и до сих пор пишутся) в соответствии с их традиционной орфографией в иврите, т.е., например, в отличие от идиш без специального обозначения гласных, зато с передачей на письме не произносимых в идише различий между согласными, и т.п. Ср., напр.: (в современном написании советских изданий) пуцю (хачег) «товарищ» — (в традиционной орфографии) -)ЗП «то же», DV3KW (sabes) «суббота» — 22''' «то же», ""•2'2X" (jomtev) «праздник» — 2'ї 2Г «то же» и т.п.).

Подводя итоги всем рассмотренным выше возможным видам материального воз-

190

действия грамматической системы субстратного языка на язык-преемник, следует отметить, что они (за исключением грамматических преобразований, вызванных чисто

фонетическими причинами) относятся к случаям скорее всего ограниченным, т.е. сравнительно менее типичным, чем обычно наблюдаемые грамматические изменения, связанные с воздействием субстрата.

Наиболее типичным видом грамматических изменений (и преобразований) в языке-преемнике, вызванных влиянием со стороны субстратного языка, необходимо признать все же не материальные, а внутренние, семантические изменения. В этом случае язык-преемник, используя свои материальные возможности, отражает с их помощью грамматические особенности языка-субстрата. С точки зрения грамматических форм, показатели языка-преемника, таким образом, сохраняются в неизменном виде или если изменяются, то в направлении своей закономерной, predeterminedной основной генетической (несубстратной) линией эволюции. Однако целый ряд материальных грамматических элементов используется уже не согласно исходной парадигматической схеме, а как бы калькируя грамматическую систему субстратного языка, по крайней мере в некоторых ее моментах. В этих случаях, например для передачи отсутствующих в языке-преемнике грамматических значений и оттенков, могут использоваться ставшие дублетными парадигматические формы. Так, в русском языке, как и в ряде славянских языков, в результате разрушения двух отдельных типов склонения существующих и-основ и о-основ (преимущественно первого из них) и их смешения возникла в парадигме мужского рода 2-го склонения дублетность окончания родительного падежа -а и -у. В разных славянских языках эта дублетность была использована по-разному, но нигде, кроме русского языка, она не была применена так же, как в нем, для передачи двух оттенков значения: если с окончанием -а в русском языке связано чисто генитивное значение (*цена чая*), то с окончанием -у у существительных с вещественным значением связывается семантический оттенок партитивности, функциональной пе

редачи для части чего-либо (*стакан (чашка) < достать, принести > чаю*). Для передачи этих значений в прибалтийско-финских языках употребляются два специальных падежа, генитив и партитив, имеющие каждый для передачи этих значений (функций) специальную форму (ср. эст. *tee hind* «цена чая» — *teed* зааша «получить чаю»). Поскольку в других славянских языках ничего подобного не встречается, а среди носителей русского языка значительную часть составляют люди, имевшие предками носителей финно-угорских языков, в том числе прибалтийско-финских, можно полагать, что данное явление возникло в русском не без влияния грамматической семантики данных финно-угорских языков. Люди, привыкшие мыслить грамматическими категориями этих языков в период двуязычия, невольно тяготели к передаче данных грамматических значений и в славяно-русском языке, для чего и могли воспользоваться двойственностью славяно-русских форм, из которых форма с окончанием -а была применена для передачи генитивной функции, а форма с окончанием -у для отражения партитивного значения. То, что эти значения оказались в русском языке собственными только 2-му склонению имени существительного, причем лишь в мужском роде у именно данной парадигмы, может объясняться, помимо прочего, еще и тем, что двуязычие и его следы особенно сильно проявлялись в то время, когда началось усвоение славяно-русского языка. В это время славянизировавшееся финно-угорское население, не знавшее в своем языке грамматического рода, в первую очередь усваивало как наиболее нейтральный мужской род (ср. в эрзя-мордовском использование в заимствованных из русского прилагательных именно формы мужского рода: *родной литература* «родная литература» и под.). В связи с этим именно в мужском роде с наибольшей полнотой отражалась грамматическая семантика первого (субстратного) финно-угорского языка. В связи с тем что прибалтийско-финские языки с их грамматикой (и соответственно грамматической семантикой) могли оказать влияние в качестве субстратных только на севернорусские, исходно новгородские говоры, данное же явление отмечается и в среднерусском диалекте и основанном на нем литературном языке, наиболее обоснованно объяснять данный факт влиянием субстратного финно-угорского мерянского языка,

территория которого в основном совпадала с территорией формирования среднерусского диалекта. Об особой близости мерянского языка к прибалтийско-финским говорит характерный факт: единственным финно-угорским этносом, на который восточные славяне (прежде всего, новгородские словене) распространяли этноним *чудь*, помимо прибалтийских финнов (финнов, эстонцев, карел, вепсов, ижорцев, водян, ливов) была только меря. Очевидно, это объяснялось, прежде всего, особенностями их языка, особенно близкого к прибалтийско-финским, хорошо знакомым новгородцам. Следовательно, наличие данной черты, чуждой остальным славянским языкам и в то же время свойственной части финно-угорских, можно с наибольшей вероятностью объяснять воздействием мерянского или прибалтийско-финского субстрата.

По-видимому, того же субстратного происхождения (мерянского и (или) прибалтийско-финского) другая черта русского склонения (тоже 2-го склонения мужского рода), основанная на подобной дублетности русских деклинационных форм, в данном случае предложного (местного) падежа. Как известно, в русском языке в этом падеже возможны два окончания, подударное -у (*в лесу, в саду*) и безударное -е (*в лесе, в саде*). Здесь также проявляется типологическое сходство русского языка (чуждое остальным славянским языкам) с финно-угорскими, прибалтийско-финскими и, по-видимому, мерянским. В ряде финно-угорских языков различаются внешнеместные и внутриместные падежи. В частности, характерны они для прибалтийско-финских языков и, очевидно, мерянского. Видимо, в связи с влиянием меряно-русского двуязычия и мерянского субстрата эти оттенки значения возникли и в русском литературном языке. Например, в предложении «В этом лесе нет ничего интересного» речь идет о лесе в целом, о взгляде на лес извне, в связи с чем фраза приблизительно равна по смыслу другой «у этого леса нет ничего инте-

ресного». В предложении «В этом лесу нет ничего интересного» речь идет уже не о лесе в целом, не о взгляде на него извне, а о том, что есть внутри леса, — о растущих в нем растениях, водящихся в нем зверях и т.п. Эти фразы вполне сопоставимы с их эстонскими соответствиями: *Sellel metsal ei ole midagi huvitavat* (адессив) «У этого леса («В этом лесу») нет ничего интересного» — *Selles metsas ei ole midagi huvitavat* (инессив) «В этом лесу нет ничего интересного». Ср. также рус. «В этом саде («у этого сада») есть что-то очаровательное» — «В саду есть беседка» и эст. *Sellel aial on miski hurmav* (адессив) — *Selles aias on lehtla* (наст. изд., с. 69). Следовательно, в области грамматики наиболее характерным бывает не столько материальное, сколько семантическое влияние субстрата. Двухязычные лица, привыкшие к грамматической системе своего первого (впоследствии субстратного) языка, невольно переносят его черты в грамматику второго языка, используя те возможности его материальных грамматических элементов (в частности, их дублетность, вариативность), которые позволяют с помощью материальных грамматических средств второго языка выразить грамматическую семантику первого (передаваемую с помощью совершенно других по происхождению материальных средств).

Те же в общем субстратные свойства в принципе наблюдаются в осетинском языке, где при отсутствии материального вклада со стороны субстратного иберийско-кавказского языка в области грамматики обнаруживается явное влияние со стороны его грамматической семантики. Эту особенность отмечает один из выдающихся исследователей осетинского языка В.И.Абаев: «Морфология слывет весьма устойчивой, консервативной стороной языка, которая не поддается не только заимствованию, но и влиянию субстрата. Здесь следует разобраться. Под морфологией можно понимать, с одной стороны, совокупность материальных элементов, из которых, как из строительного материала, строится морфологическая система, с другой стороны, — самую эту систему, ее архитектуру, структуру, модель. В осетин- **192**

ском... нет сколько-нибудь заметного вклада из кавказских языков в материальный инвентарь морфологии. Видимо, эта сторона действительно мало проницаема для субстрата. Другое дело — модель морфологической

системы. Здесь кавказский субстрат, несомненно, оказал влияние, и прежде всего на систему склонения. Осетинское склонение, агглютинативное, девятипадежное, полностью выпадает из схемы склонения в иранских языках. В этом отношении осетинский противостоит всем остальным иранским языкам. В древнеиранском было восьмипадежное склонение, но оно было флективным, и в нем был только один локативный падеж. В осетинском же выработалось пять падежей локативного значения. Еще разительнее выступает своеобразие осетинского, если сравнить его с новоиранскими языками. В последних склонение либо вовсе утрачено, либо представлено лишь двумя-тремя падежами субъектно-объектного значения. Все, что отличает осетинское склонение от иранского, сближает его со склонением в кавказских языках восточной и южной группы: агглютинация, многопадежность, развитие локативных падежей. Особенно велика близость со склонением в языках вейнахской группы. При этом поучительно, что строительный материал (показатель множественности, падежные окончания), насколько его удастся разъяснить, — целиком иранский» (Абаев, 1956, с. 68).

Так, конкретно формант отложительного падежа мог возникнуть, как полагает В.Миллер, из форманта иранского родительного падежа а-основы (Миллер, с. 19). Местный внутренний падеж восходит, видимо, к местному падежу древнеиранского происхождения. Местный внешний падеж (ср.: сгр-ыл «на голове») возник, вероятно, из сочетания существительного с послелогом *val «над, на», связанным этимологически с др.-ар. ира^ «через, над, на» (Миллер, с. 81). Таким образом, и в осетинском, как это было видно и на примерах из русского языка, новообразования в морфологической структуре (по сравнению с исходным праязыковым состоянием), возникшие под влиянием субстратного языка, проявились в семантическом, модельном плане, найдя

для своего выражения, однако, материальные средства не субстратного, а исходного праязыкового состояния.

Подводя итоги, можно сказать, что наиболее типичным проявлением влияния субстрата в области морфологии (словоизменения) является его семантическое воздействие, реализуемое в языке-преемнике, как правило, с помощью материальных средств (формантов) не языка-субстрата и его реликтов, а основной генетической линии языка-преемника.

3. Роль субстрата в развитии фонетики

Особенностью усвоения фонетики иностранного (не своего) языка является неизбежный конфликт, возникающий между двумя противоположными тенденциями при его усвоении, и необходимость его преодоления. С одной стороны, индивид, усваивающий фонетику нового для себя языка, тяготеет невольно к тому, чтобы сближать или даже идентифицировать ее особенности со сложившимися у него на основе фонетики первого (как правило, родного) языка артикулярно-акустическими навыками. С другой стороны, у него сразу же возникает необходимость приспособления к носителям усваиваемого языка, а следовательно, настоятельная потребность в преодолении в фонетике нового для себя языка навыков родного. Если у него возобладала тенденция к сближению (или идентификации) иностранной фонетики со своей собственной (фонетикой родного языка), и он не может ее преодолеть, данный индивид говорит на вновь усвоенном языке с большим или меньшим иноязычным акцентом. Если индивид, усваивавший новый для себя язык, преодолел в его фонетике навыки родного (полностью или почти полностью), его произношение оценивается как безупречное (или почти лишенное акцента). Обе эти противоборствующие при усвоении второго языка тенденции, в сущности, типологически близки к двум универсальным тенденциям, действующим в любом языке (вне каких-либо языковых контактов). Общим, что объединяет эти тенденции, является принцип экономии, который, однако, поскольку речь идет о принципе экономии со стороны двух участников диалога, говорящего и слушающего, чьи роли при этом беспрерывно меняются, приобретает противоположную на-

правленность для каждого из двух его участников. Принцип экономии произносительных усилий со стороны говорящего проявляется в невольном упрощении артикуляций, опускании отдельных звуков или нечетком их произношении, особенно при быстром темпе речи, когда говорящий заинтересован за минимум времени донести до слушающего максимум информации. Принцип экономии со стороны слушающего требует, напротив, максимальной четкости и ясности при восприятии звуков, следовательно, наиболее тщательной артикуляции со стороны говорящего, что влечет за собой как раз неэкономность речевых усилий. При взаимодействии этих двух противоположных и противоречащих друг другу тенденций, при которых в невыгодном положении («неэкономном» или ущемленном вследствие чрезмерного тяготения к слуховой или произносительной «экономности» партнера) каждый раз (или через раз при смене роли) может оказаться любая из двух сторон диалога, устанавливается некая равнодействующая, устраивающая обе стороны — 1) оптимальная (допустимая с точки зрения слушающего) упрощенность произносительного процесса при 2) оптимальном удобстве его слушания. Сигналом отказа от чрезмерной экономии в речи говорящего партнера со стороны слушающего является переспрашивание, реплики (при разговоре, например, на русском языке) типа «Не понял», «Как вы сказали (как ты сказал)?» и под., со стороны говорящего вопросы типа «Понимаешь... (?)», «Понял?», выясняющие допустимый уровень экономии речевых усилий. При нежелании слушающего русскую речь поступить так, как в ней предписывается, употребляется реплика «Вам по-русски говорят», чем подчеркивается достаточность, ясность сказанного для слушающего как носителя (в данном случае русского) языка, для которого не требуется повышать уровень четкости произносимого выше того, что для него вполне достаточно. Необходимость объяснения этого внешне не особенно сложного процесса говорения на одном *и том же* языке двумя его носителями возникает в связи с тем, что тот же принцип действует и при разговоре двух партнеров диалога, для одного из которых данный язык является родным, а для другого усвоенным в качестве второго и функционирующим (функционировавшим) параллельно с ним. В этом случае процесс слушания и говорения значительно усложняется, поскольку устные

тексты, производимые носителем языка, для которого он является вторым, в связи с часто неполным им владением произносятся нередко (если не все время) невнятно или непонятно для носителя данного языка. С другой стороны, ввиду неполного владения языком билингв, для которого используемый язык не является родным, может многое (или почти все) не понимать в речи его носителя. Помимо ограниченного лексического репертуара, этому могут препятствовать слишком быстрый для него темп речи и непривычные сокращения, опускания и неполное проговаривание отдельных звуков и слогов, являющиеся вполне обычными для носителей данного языка. Если группа новых его носителей через стадию билингвизма приходит к полной смене языка, то следы утраченного ею первого языка могут сказаться во вновь усвоенном и ставшем их новым единственным языком по-разному. Иногда, в тех случаях, когда новая группа носителей невелика и социально незначима, остатки утраченного ею языка, в том числе (и прежде всего) фонетические, уже в третьем (иногда даже во втором) поколении полностью исчезают и практически сводятся к нулю (ср. судьбу многочисленных групп иммигрантов в США). О ее языковом прошлом может иногда напоминать только фамилия, да и то не всегда, нередко наблюдается даже смена или приспособление фамилий к распространенным среди носителей вновь усвоенного языка. Конечно, подобные случаи не могут подлежать рассмотрению в субстратоведческих исследованиях. Их предметом является рассмотрение случаев, где в результате смены языка остается что-либо от первого утраченного языка, что можно рассматривать в качестве его субстрата во вновь приобретенном и ставшем единственным вторым.

В связи с большей или меньшей влиятельностью или стойкостью особенностей субстратного языка, что зависит от социума, в котором произошла языковая смена, и от его взаимоотношения с социумом, от которого воспринят язык, влияние фонетики субстрата может быть более или менее глубоким. Многое зависит также от условий, в которых происходил контакт, закончившийся сменой языка. Ввиду того, что очень часто эти условия почти или полностью неизвестны, приходится их предполагать на основе их непосредственных языковых последствий, более или менее заметных следов воздействия фонетики субстрата. Как и в ряде других случаев, лингвистика здесь во многом

опережает историю и археологию, которым только предстоит объяснить то, что яснее всего проявилось в языковых (в данном случае — фонетических) фактах, по весомости которых можно судить о серьезности и глубине тех социо-этнических процессов, которые к ним привели и в них отразились.

Фонетические последствия субстратных влияний обнаруживаются в виде разных по характеру явлений. Иногда речь идет о заимствовании отдельных звуков или целых их групп. Так, например, в ряде балканских языков обнаружен звук *e* (разными их графиками передаваемый по-разному: алб. *ë* = рум. *a* = болг. *ъ*). Этот звук, по-видимому, был свойствен палеобалканским языкам, о чем свидетельствует его наличие в албанском, непосредственно продолжающем один из них. В другие балканские языки, румынский (романский) и болгарский (славянский), этот звук пришел из субстрата, очевидно, или войдя в состав слова в тех позициях, где он выступал в языке-субстрате и вытеснив там звуки языка-преемника (в румынском из дакийского), или субстратизировав близкий «темный» (редуцированный) звук языка-преемника (в славянском болгарском из фракийского непосредственно или из языка романизированных фракийцев). Целую группу звуков (смычно-гортанных согласных) заимствовали из иберийско-кавказских субстратных языков осетинский и армянский, которые как индоевропейские языки вначале их не имели. В осетинском языке эти звуки (*k'*, *p'*, *t'*, *s'*, *C'*) хранят до известной степени свою связь с иберийско-кавказским субстратом, указывая тем самым на свой заимствованный характер: они, как правило, связаны со словами иберийско-кавказского происхождения, — ср. *k' aia^* (из груз.) «корзинка», *дис' a* (< груз. *kuCi*) «желудок», *а' ати* (< груз. *а' ати*) «персик» и т.п. Поскольку таких слов в осетинском много, причем вместе с ними выступают слова субстратного происхождения, относящиеся к основному лексическому фонду, смычно-гортанные стали неотъемлемой частью осетинской фонетической системы. Еще более глубоким оказалось их проникновение в армянский, где они вытеснили даже исконные индоевропейские звуки, — ср. и.-е. *d*, замененное арм. (из субстрата) *t'* и т.п. (Абаев, 1949, с. 76, 518-525). К подобным звукам относят также церебральные звуки в индийских (индо-арийских) языках, которые, как полагают, заимствованы ими из

дравидийского субстрата.

Очевидно, в некоторых случаях влияние субстрата могло сказаться не столько в заимствовании звуков, сколько в стимулировании его фонетической системой тех звуковых процессов, которые могли происходить в языке-преемнике и самостоятельно. Так, по-видимому, обстоит в случае перехода $g > y > п$ в ряде славянских языков и диалектов. Переход взрывного g в $y (> п)$ наблюдается в ряде языков, кроме славянских: в нидерландском и скандинавских (датском) из германских, в новогреческом. Поэтому объяснить это явление в славянских только одним воздействием субстрата, как склонен В.И.Абаев, несколько рискованно, однако можно полностью согласиться с ним в том, что, вероятно, в развитии этого явления воздействие со стороны скифо-аланского иранского субстрата могло сыграть большую роль. В пользу этого, в частности, говорит и изоглоссная область явления, в значительной степени совпадающая с территорией, где мог быть в прошлом распространен скифо-аланский язык, носители которого, переходя на славянский, могли в нем распространить или стимулировать явление перехода $g > y (> й)$ (Абаев, 1965, с. 41-52).

Фонетическое воздействие со стороны субстрата может обнаруживаться не только (и не столько) в области отдельных явлений, сколько в виде системных фактов, охватывающих либо фонетику в целом, либо обширные ее области. Тот способ артикуляции звуков, который проявляется в видоизменениях со стороны носителей другого языка согласно с их произносительными особенностями и который принято называть иностранным (иностранноязычным) акцентом, накладывает отпечаток на всю фонетику вновь усваиваемого языка в целом. По-видимому, именно так обстоит с галльским субстратом во французском языке, где именно фонетическое воздействие со стороны субстратного языка привело, в частности, к значительным изменениям формы усвоенных в основном из народной латыни слов, серьезно отдалив французский язык от их исходной формы и от их формы в других романских языках, о чем уже упоминалось выше. Осветить соответствующие фонетические процессы чрезвычайно трудно по целому ряду причин как чисто интралингвистических (связанных с внутриязыковыми обстоятельствами процессов), так и экстра- или социолингвистических (связанных с теми об-

щественно-историческими условиями, в которых происходила смена языков). Прежде всего науке пока мало известны диалекты галльского языка (или, возможно, галльские языки), распространенные на территории Галлии (современной Франции). Судя по тем особенностям, которые отличают французский язык от провансальского и которые могут корениться в чертах галльских субстратов севера и юга современной Франции (древней Галлии), галльский язык на севере Галлии мог существенно отличаться от того, который был распространен на ее юге. Свою роль, конечно, частично могло сыграть и то обстоятельство, что романизация юга Галлии произошла раньше, чем она завершилась на севере и, следовательно, влияние латыни как народной, так и книжно-литературной здесь могло быть сильнее. Кроме того, нельзя не согласиться и с мнением А.Мейе, считавшего, что ряд фонетических явлений, существовавших в субстратном языке в виде определенных тенденций, мог, переходя по наследству от поколения к поколению, получить свое дальнейшее развитие и обнаружиться в виде системных фонетических изменений уже во втором языке после утраты первого субстратного языка и полного перехода на второй (в данном случае при переходе с галльского языка на галло-романский диалект латинского языка, в дальнейшем развившийся в отдельный романский французский язык), — например, ослабление и падение интервокальных взрывных согласных, переход $u > y$ и т.п. (Мейе, с. 69-70). Затем эти языковые сдвиги могли приводить к значительным изменениям формы лексем (французский язык) или к глубоким грамматическим изменениям, в частности, типа утраты глагольной флексии ((пост)ливский диалект латышского языка).

Изменения, вызванные воздействием субстрата, не всегда заметны с первого взгляда. В области фонетики (ввиду различия фонетических систем) это может быть связано с тем, что только часть фонетических изменений носила фонематический характер, и поэтому они не сразу стали ощущаться и носителями языка, и (в еще большей степени) смежными, главным образом родственными, народами, где язык не претерпел таких заметных сдвигов. Например, в аканье и редукации русского литературного языка можно усматривать влияние как южнорусских говоров, которые могли иметь в качестве субстрата какие-то древнемордовские языки или диалекты с отсутствием безударного o и

редукцией (Лыткин, 1965, с. 64-83) (скорее всего, мешерского или муромского происхождения), так и среднерусской (первоначально окающей) основы владимиро-поволжских говоров с мерянским субстратом (наст. изд., с. 30-31), который способствовал развитию в них особого типа оканья с редукцией. В русском литературном языке это могло привести к возникновению особого типа акающего вокализма с редукцией. Этот характер вокализма, правда, заметно выделяет русский (литературный) язык на фоне других славянских, но не повлек за собой особых изменений в системе его вокализма, поскольку редуцированные в русском языке не являются самостоятельными фонемами, а всего лишь их вариантами. Возможно, эта перестройка исходного славянского вокализма русского языка, в которой серьезная роль могла принадлежать и финно-угорским субстратам, только в дальнейшем вызовет более сложные фонетические процессы. Однако эти изменения будут лишь косвенным последствием субстратных фонетических процессов, которое с ними непосредственно не связано.

Ввиду того, что в изучении языков, в особенности их диалектов, где наиболее уловимы субстратные влияния, еще относительно мало применялись наиболее точные экспериментально-фонетические методы исследования, многое в фонетическом воздействии субстратов остается до сих пор неясным, потому что без них, как правило, улавливаются только наиболее заметные фонематические черты, остальные, менее уловимые фонетические особенности часто ускользают от исследователей. В результате ощутимый урон терпят как субстратоведческие разыскания, поскольку неуловимые (неотмеченные) фонетические черты постсубстратных говоров могут скрывать в себе существенные (иногда фонематические) черты исчезнувшего субстратного языка, так и исследование языков-преемников, ведь в их нефонематических особенностях, возможно, кроются зародыши будущих фонетических процессов, могущих впоследствии реализовать то, что в современном языке существует только как тенденция. Следовательно, экспериментальная фонетика могла бы явиться важным средством проникновения как в далекое прошлое языков, в частности, их субстратов, так в определенной степени и в их будущее. В настоящее время, когда этот инструмент еще не используют в достаточной мере, о многом в фонетическом воздействии

субстратов на языки-преемники можно только догадываться или предполагать.

Более ясными являются последствия социолингвистических обстоятельств в фонетическом воздействии субстрата. По всей видимости, на большей или меньшей широте фонетического воздействия субстрата сказываются такие социолингвистические обстоятельства, как, например, влияние литературного (официального) языка, а также (близко)родственных языков, наличие/отсутствие древней (либо вообще более или менее длительной) письменной традиции, большая или меньшая диалектная расчлененность языка, статус диалектов или говоров, на которые воздействовал субстрат, их положение в качестве диалектной основы литературного языка или вне его нормы и т.д. Так, если в романистике и до сих пор происходят споры о начале каждого из романских языков, в частности их фонетического облика, то это в значительной степени объясняется не действительным реальным лингвистическим их состоянием, а скорее социолингвистическим статусом тех языковых образований, из которых они возникли. Как «вульгарные» диалекты, существовавшие параллельно (и значительно ниже ее социологически) с официальной латынью, языком с древними и общепризнанными традициями, они не могли никем приниматься всерьез и соответственно фиксироваться в своем первоизданном виде; всегда, даже в случаях их отражения, предполагалась определенная латинизация народно-романских диалектных черт. Только изменение отношения к этим в прошлом диалектам, признание за ними статуса языка с определенными (хотя бы на первых порах) и ограниченными официальными функциями (ср. Страсбургские клятвы как первый фиксированный памятник французского языка) привело к тому, что то, что прежде считалось диалектом (и не фиксировалось), стало языком, т.е. заслуживающим специальной фиксации. В чисто лингвистическом отношении вначале никакой разницы между (более ранним) диалектом (и более поздним) языком могло не существовать, в конечном счете их мог разделять совершенно ничтожный временной промежуток (день накануне первой фиксации и следующий).

Определенное воздействие на фонетический субстрат шло, очевидно, и со стороны родственных языков. Например, для польского языка явление перехода $sz > s$, $z > z$ (так

называемое мазуренье) некоторые исследователи объясняют как результат возможного субстратного влияния. Этого взгляда придерживался, в частности, Я. (И.А.) Бодуэн де Куртенэ, считавший польское мазуренье результатом финского влияния (Бодуэн де Куртенэ, с. 349), по-видимому, судя по его глубине, субстратного характера. В том, что в польский литературный язык, в основном формировавшийся в Кракове, окруженном мазуряющей областью, мазуренье не проникло, часть ученых видели влияние великопольского диалекта, для которого оно не характерно (Szober, s. 86). Другие же, среди них и А. Брюкнер, усматривали в этом выравнивающее влияние чешского языка, к образцу которого обращались при решении языковых вопросов (Вгискпег, s. 74). Считая, безусловно, наиболее существенным здесь влияние польских диалектов, нельзя полностью исключить и воздействие родственных славянских языков, причем не только чешского, но и старославянского, проникавшего в Польшу как из чешско-моравских и словацких земель, так и из Киевской Руси, а также древнерусского, где не было мазуренья. Знаменательно, что в нижнелужицком языке, находившемся длительное время в почти полной изоляции от других славянских языков, явление перехода *c > s* развилось и стало нормой литературного языка.

По-видимому, то, что фонетические влияния субстрата в среднерусских говорах, такие как замена звонких согласных глухими в начале слова и, наоборот, глухих звонкими (< полувзвонками) в интервокальной позиции (ср. *кадюка* вм. *гадюка*, *хлябает* вм. *всхлипывает* (наст. изд., с. 16-17)), не стали нормой литературного языка, объясняется влиянием, с одной стороны, других русских говоров, которым это явление было чуждо, а с другой, длительной (письменной и устной) древнерусской и церковнославянской традицией, которая также не знала этого явления. Не исключено, что явление цоканья, развившееся в части севернорусских говоров под влиянием прибалтийско-финского субстрата, не получило развития и не закрепилось в литературном языке, поскольку среднерусским говорам, легшим в основу литературного языка, это явление было несвойственно. Не было оно присуще и южнорусским говорам. Причем это было под-держано, видимо, и тем обстоятельством, что мерянский язык, ставший субстратом

среднерусских говоров, различал шипящие и свистящие и, таким образом, не мог стать основой для развития явления цоканья (наст. изд., с. 30, 57). Следовательно, большая или меньшая фонетическая (как и другая) влияние субстрата объясняется не просто сама по себе, но и конкретными внутри- и внешелингвистическими факторами. Там, главным образом, где влияние субстрата не ограничивалось воздействием других противостоящих ему тенденций, что было преимущественно связано с изолированным положением языка-преемника по отношению к другим (близко)родственным языкам, и где язык-преемник не имел длительной литературной (письменной) традиции, субстрат получал возможность наиболее сильного воздействия на язык-преемник. Там, где по отношению к подобному воздействию возникал ряд преград, влияние субстрата, в том числе и фонетическое, оказывалось не таким сильным. В некотором якобы противоречии к этому, надо полагать, справедливому положению находится французский язык с его галльским субстратом, где фонетическое воздействие субстрата было, по всей видимости, очень сильным. Однако этот факт может найти себе истолкование в ряде объясняющих его обстоятельств. Очевидно, здесь сказалось то, что галлороманский диалект, не имевший никакой письменной традиции, длительное время развивался (причем на обширной территории) без какого-либо влияния сдерживавших его книжно-литературных норм. Это позволило ему значительно отдалиться от первоначальной исходной точки, народной латыни. Свою роль сыграло и то, что в галло-романских говорах действовал один галльский субстрат и что эти говоры могли фонетически резко отличаться от других романских говоров. Положение здесь сопоставимо не столько с диалектами (великорусского языка или даже восточнославянскими языками, сколько с языками Славии в целом, где французский язык, как и другие романские языки, сравним с отдельными славянскими языками (причем, как известно, романские языки в результате более длительного периода развития разошлись между собой значительно больше, чем отдельные славянские языки). Кроме того, поскольку черты галльской фонетики (особенно диалектной) известны пока крайне мало, не исключено, что по сравнению с ней французская (< романская) фонетика претерпела значительно меньше преобразований, чем

можно было бы ожидать от влияния галльского субстрата, и в этом можно было бы усматривать сдерживающее влияние фонетики языка-преемника (галло-романского диалекта), родственных романских языков (диалектов) и самой латыни, народной и книжно-литературной. Следовательно, сказанное о закономерностях влияния фонетики субстрата на фонетику языка-преемника и на стимулирующее и тормозящее воздействие конкретных интра- и экстралингвистических обстоятельств в целом остается в силе.

4. Воздействие фразеологии субстрата на язык-преемник*****

Фразеологические обороты субстратного языка, как показывают проведенные исследования, в основном калькируются («переводятся») языком-преемником. По-видимому, подобному переводу подвергаются также многие произведения народного творчества (сказки, песни, пословицы, поговорки и т.п.). Народ, носитель субстратного языка, в процессе распространения двуязычия, а затем постепенного перехода со своего первого языка на второй, как бы не желая утратить все наиболее ценное из своей предшествующей национальной культуры, постепенно многое из нее переодевает в платье нового языка. Вместе с мерянским фольклором, в частности, в русский язык проникла из мерянского субстратного языка парная инициальная сказочная формула *жил-был*, представляющая собой буквальный перевод мер. *il'- ul', финно-угорское, неславянское происхождение которой совершенно недвусмысленно засвидетельствовано как положительными данными финно-угорских, так и отрицательными данными остальных славянских языков.

Значительно реже, как правило в периферийных говорах, сохраняются пережиточно фразеологические обороты, преимущественно наиболее стойкие, типа формул, в своем оригинальном некалькированном виде, - ср. рус. (диал., постмер.) елусь-поелусь < мер. *Jolus pa ioiiv (*Бепап эеуе(Ъе)-]иЪе- (Ъе)) «Пусть будет и будет (**у тебя еда (твоя) — питье (твое)) (пожелание во время еды типа

рус. «Хлеб-соль!»). Ясно, что при переходе с языка на язык с постепенным забыванием первого (субстратного) языка большее основание сохраниться имеют калькированные (переведенные) фразеологизмы, чем те, которые остались почему-либо в оригинальной форме. В целом сохранности фразеологизмов способствует в наибольшей степени их частотность, традиционность, которая, возможно, позволяет закрепить в памяти постсубстратного населения если не первоначальное значение фразеологизмов, то понимание хотя бы их функции (например, в данном случае забыто было первоначальное значение, но оборот совершенно правильно употреблялся по традиции в своей первоначальной функции приветствия-пожелания во время еды).

В настоящее время при слабой разработанности вопроса о субстратной фразеологии, как и семантике вообще, трудно сказать о том, насколько она характерна для тех или иных языков-преемников и чем определялась ее большая или меньшая распространенность в них. Как указывают на это и примеры воздействия грамматики субстрата на язык-преемник, случаи семантического воздействия субстрата (за исключением лексики и фонетики) принадлежат к наиболее типичным.

В принципе, здесь, очевидно, остается в силе то, что было сказано о других типах воздействия субстрата и тех причинах, которые могут его ограничивать. Однако в связи с преобладанием калькирования в области фразеологизмов, по-видимому, в данном случае не так действенны в качестве ограничительных социолингвистические обстоятельства, поскольку ничто не мешало проникновению «переодетых» фразеологизмов, в особенности в область фольклора, народного творчества и народно-разговорной речи, как чисто внутрилингвистические причины, то «морфологическое сито», структурно-грамматические особенности языка, которые могли мешать калькированию фразеологизма и его ответвлений в том объеме, в каком он был свойствен языку-субстрату (Ткаченко, 1979, с. 233). Так, на основе данных других финно-угорских языков можно предположить, что мерянский парный глагол, продолжающий ф.-уг. *ela(-)-iole(-) «жить-быть», мог выступать, причем как в прошедшем, так (возможно, даже чаще) и в настоящем времени, кроме зачина, в медиальной сказочной формуле со значением:

***** Этот вопрос был подвергнут подробному рассмотрению автора настоящей работы в его предшествующих исследованиях (Ткаченко, 1979, 1983, с. 220-237; наст. изд., с. 112-114), а поэтому здесь затронут лишь вкратце.

«Жил-был (жили- были)...» или «Живут-суть, живут-суть», — ср. кар. *Eleŋŋŋ-olŋŋŋ*, *lahti Ivan* Багович «Жили-были, поехал Иван Царевич...» (КНСЮК 145); *Sie eletah, ollah, eletah, ollah...* «Там живут, суть, живут, суть...» (КНСЮК 419) и, видимо, и в обороте со значением «Как живешь-еси?» (« рус. «Как поживаешь?»») (ср. эст. *Kuidas etate^lete?* «Как живете-есте?» *VES*, lk. 135). Однако ввиду отсутствия в русском в это время личных форм глагола «быть» в настоящем времени, а также его несрифмованности с глаголом «жить» в том же времени, что мешало образованию и функционированию парного слова в данных формах, в русском языке эти особенности, постулируемые внутренней формой языка-субстрата, как в языке- преемнике, не смогли быть реализованы. Таким образом, для включения субстратной фразеологии, очевидно, наиболее важными должны были быть те сугубо внутренние структурно-грамматические свойства языка-преемника, которые давали возможность ее адекватно калькировать (они же давали о себе знать и в случае грамматического. влияния языкового субстрата).

* * *

Рассмотрение известных современной науке фактов языкового субстрата позволяет прийти к ряду выводов, касающихся как социолингвистических предпосылок его возникновения, так и особенностей его влияния на язык-преемник.

1. Опираясь на научную методологию отечественного языкознания и результаты современных исследований субстратных языков, следует решительно отвергнуть в качестве идеалистических и неприемлемых как взгляды, на основании которых отрицается существование субстрата и его влияний, так и взгляды, в которых это влияние как биологически обусловленное абсолютизируется и преувеличивается. Единственно приемлемым является историко-материалистический подход к явлению субстрата, при котором он как всякое исторически обусловленное явление рассматривается в неразрывной связи с историей общества, пользующегося определенным языком (языками) и претерпевающего процесс смены языков и их изменений. Исследователь языковых субстратов с необходимостью должен учитывать как сугубо (внутри)лингвистические, так и социолингвистические обстоятельства, связанные со сменой языка,

возникновением и влиянием субстрата. При отсутствии подобного всестороннего подхода он может упустить в этом сложном и диалектически противоречивом процессе самое существенное.

2. Возникновение субстрата является следствием взаимодействия двух языков, пришлого и местного, при расцвете и экспансии первого и одновременном упадке и свертывании второго, в своих пережиточных элементах становящегося субстратом первого. Этому предшествует период двуязычия носителей местного языка, который после окончательного упадка местного языка завершается окончательным переходом бывших его носителей к новому одноязычию — исключительному пользованию языком, вытеснившим первый местный язык.

3. Смена языка, завершающаяся победой одного из языков и полным выходом из употребления другого, становящегося субстратом языка-победителя и преемника, является в конечном счете результатом кризиса этнического общества, носителя (будущего) субстратного языка, что отражается и на развитии этого языка, приходящего в упадок вместе с обществом, которое он обслуживал.

4. Вновь возникшее общество, образовавшееся путем слияния местного и пришлого этнических элементов, не может, однако, вместе с местным языком отказаться полностью и от местной материальной и духовной культуры с ее ценностями. Поскольку носителем этой культуры является местный язык, часть из его элементов неизбежно, вольно или невольно, включается в язык-преемник, что не может не отдалить его от своего исходного состояния.

5. Впоследствии этот новый идиом, образовавшийся в результате слияния исходной формы языка-победителя с языковым субстратом, пережитками местного языка, при соответствующей социолингвистической ситуации может стать отдельным языком.

6. Как показывает языковая история, именно языковые субстраты, разные на разных территориях, при широкой экспансии первоначально единого языка (например, латинского) могут стать одной из главных причин, — если не самой главной, — его распада на ряд родственных языков (например, романских). Следовательно, субстрат, являясь остатком отмершего языка, способствует одновременно зарождению новой языковой жизни, возникновению нового языка.

7. Таким образом, по крайней мере для

части языков можно констатировать две линии наследственности (преемственности) — основную генетическую и субстратную. Первая из них связывает язык с определенной языковой семьей (группой), вторая является определяющей для него как для отдельного языка, входящего в нее.

8. Языковые субстраты, связывая существующие современные языки с предшествующими языками тех или иных территорий, отражают в себе историческую преемственность языков и культур на этих территориях.

9. Влияние субстрата на язык-преемник зависит не только (и не столько) от значительности народа, носителя субстратного языка и развитости его культуры, а и (сколько) от дальнейшей социолингвистической ситуации, в которой язык-преемник будет находиться. При его изолированном, территориально обособленном положении среди родственных языков элементы субстрата (особенно материальные) имеют больше возможностей в нем закрепиться. В случае тесной связи с родственными языками и воздействия предшествующей основной (генетической) традиции многие из них устраняются.

10. Воздействие языкового субстрата на язык-преемник происходит на всех уровнях и в двух формах — материальной и семантической (модельно-функциональной). Первая форма в наибольшей степени характерна для влияния субстрата на уровне фонетическом и лексическом, вторая — на грамматическом и фразеологическом.

ИСТОРИКО-СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К МЕРЯНСКОМУ ЯЗЫКУ

Предметом специальных социолингвистических исследований являлись до сих пор живые языки с непрерывно производимыми устными и - в случае их наличия - письменными текстами, особенности создания которых увязывались с особенностями жизни общества в целом и его отдельных социальных слоев. Подобные исследования получили широкое распространение сравнительно недавно, в основном после второй мировой войны. Однако ввиду их интенсивности к настоящему времени накоплен значительный опыт их проведения, разработана и методика применительно к большому и разнообразному материалу соответствующих обследованных языков.

Гораздо хуже обстоит дело с мертвыми языками, также нуждающимися в социолингвистическом освещении хотя бы основных этапов их истории. Особенно мало сделано для социолингвистического изучения исчезнувших субстратных (как правило, бес-текстных) языков, важных как существенное дополнение к истории языков (прежде всего своих языков-преемников), и для осмысления довольно частого в истории процесса смены языка, сопровождаемого процессом субстратизации отмирающего языка, вхождением его пережиточных элементов в сменяющий его язык-преемник. Задача историко-социолингвистического исследования или, точнее, комментирования этих самих по себе непростых процессов в данном случае усложняется дополнительно скудностью как языковых фактов, которыми располагает наука, так и чисто исторических данных об этносах, носителях субстратных языков. Это вызвано тем, что на исчезающие языки, лишенные в период их отмирания какой-либо социальной престижности, до последнего времени (т.е. в основном до XIX-XX вв.) обычно не обращали особого внимания, тем более не подвергали тщательному анализу обсто-

ятельства их исчезновения. Особенно это относится к языкам, отмершим в древности или средневековье. Тем не менее при всей своей сложности задача историко-социолингвистического комментирования доступных (реконструированных) явлений субстратных языков должна ставиться и решаться лингвистикой хотя бы в том объеме, в каком это возможно в настоящее время. Если в отношении современного, доступного непосредственному обследованию материала можно наблюдать как социолингвистические процессы, так и их последствия, то при историко-социолингвистическом комментировании задача состоит в том, чтобы, используя (социо)лингвистические последствия, следы социолингвистических процессов, по возможности постараться воссоздать эти процессы. В этом заключается, в частности, и предлагаемый ниже комментарий сохраненных в русском языке мерянских языковых фактов, лингвистическому реконструктивному исследованию которых была посвящена предшествующая работа автора.

Методика историко-социолингвистического комментария к фактам реконструируемых исчезнувших субстратных языков, к числу которых относится и мерянский, имеет свою несомненную специфику. Для максимально достоверного воссоздания на основе реконструированных фактов кроющихся за ними социолингвистических процессов исследователь использует прежде всего известный метод «слов и вещей» (Wörter und Sachen), опираясь при этом в первую очередь на лексику отмершего языка, но не только на нее, а и на все другие достаточно выразительные языковые элементы. Так же, как, например, на основе реконструированных элементов любого праязыка (в частности,

Среди немногих работ, составляющих здесь исключение, следует назвать монографию А.Н.Гаркавца, где внимание обращено, правда, прежде всего на внутриязыковую сторону контактов, однако учитывается и внешнеязыковая (социолингвистическая) ситуация (см. Гаркавец, с. 3-21, 91-93).

Часть 2. Очерки теории языкового субстрата. Комментарий к мерянскому языку

Ткаченко О.Б.
Мерянский язык. - Киев: Наук. думка, 1985. - 207 с. (наст. изд., ч. 1). В дальнейшем при социолингвистическом комментировании тех или иных фактов мерянского будет делаться ссылка на соответствующие страницы настоящего издания без аргументации чисто лингвистической достоверности рассматриваемых фактов, так как необходимые доказательства содержатся там.

праславянского) ученые получают сведения о расположении прародины, ее растительности, животном мире, занятиях этноса, носителя праязыка, особенностях его общественного строя, контактах с носителями других языков, с помощью реконструированных элементов субстратного языка можно получить сведения о его внешней истории, социолингвистических ситуациях, в которых он находился. Уже один внимательный анализ лексики и обозначаемых ею реалий дает много для понимания жизни изучаемого народа, в том числе и в периоды, недоступные пока для истории. Среди прочих фактов с помощью этих данных выясняется и целый ряд социолингвистических особенностей существования языка. Немало ценного в этом отношении дают, помимо лексики, также фонетика и грамматика языка, позволяющие установить особенности как генетических связей языка, так и взаимоотношений с другими языками, вступавшими с ним в контакт. Следовательно, данные для историко-социолингвистического комментария можно извлечь из самого подлежащего комментированию материала субстратного языка. Однако есть еще два источника, помогающие воссозданию внешней (социолингвистической) истории языка и одновременному уточнению тех сведений, которые может дать материал комментируемого языка, его лингвистические факты. Это, с одной стороны, факты истории этноса, носителя языка, в данном случае мерянского, с другой - аналогичные факты из истории и современного состояния других лучше известных народов и языков. Даже небольшое количество исторических фактов дает возможность сделать более достоверными те данные, которые извлекаются из языкового материала, конкретизирует и уточняет его показания. Привлечение современных и исторических аналогий, сопровождаемых необходимыми оговорками, указывающими на степень близости и оправданности этих аналогий к социолингвистическому положению субстратного языка, позволяет также до известной степени восполнить неполноту тех данных, которые можно извлечь из двух других источников. В целом историко-социолингвистический комментарий, разумеется, только выигрывает от полноты сведений, предоставляемых каждым из трех указанных источников, в первую очередь от **202** количества языковых и исторических фактов. Однако ясно и то, что, поскольку историко-социолингвистический комментарий

вымершего языка требует слишком больших усилий, несоизмеримых с теми, которые необходимы для социолингвистического исследования живого языка, далеко не каждый из реконструированных фактов дает возможность прокомментировать его с социолингвистической точки зрения. Отсюда становится понятно, что по количеству исследованных фактов историко-социолингвистическое комментирование должно всегда неизбежно отставать от чисто лингвистической реконструкции субстратного языка. Это вытекает хотя бы и из того, что прежде, чем стать объектом историко-социолингвистической интерпретации, каждый факт субстратного языка должен быть реконструирован и аргументирован как принадлежащий ему.

Историко-социолингвистический комментарий к мерянскому языку предполагает в первую очередь ознакомление с данными мерянской истории, которая образует как бы рамку для собственно социолингвистического комментария к явлениям языка, прежде всего к тем из них, которые относятся к его внешней истории. Ввиду того, что в настоящее время об истории мери можно говорить только в самых общих чертах, так как здесь еще имеется слишком много пробелов, автор остановится только на контурах этой истории. Наиболее естественным итогом рассмотрения, с одной стороны, истории мери, а с другой, социолингвистического комментирования фактов мерянского языка, относящихся к его внешней истории, представляется периодизация мерянского языка, возможная на данном этапе его исследования и изученности. Следующая часть историко-социолингвистического комментария посвящена фактам мерянского языка, связанным с его внутренней историей, прежде всего тем из них, в которых отражены изменения, произошедшие в его структуре при субстратизации этого языка, т.е. при отмирании его в качестве особого финно-угорского языка и превращении в своих сохранившихся элементах в субстрат русского (главным образом диалектного) языка.

Одной из необходимых частей в структуре работы является также заключение.

КОНТУРЫ МЕРЯНСКОЙ ИСТОРИИ

Мерянский (друг. мер(ь)ский) язык (мер. *meran jelma(-e))¹, ныне один из мертвых финно-угорских идиомов, в период своего наибольшего распространения занимал видимо, территорию современных центральных областей европейской части России - Ярославской, Костромской, Ивановской (полностью), Калининской [с 1991 г. - Тверской. - *Прим. ред.*], Московской, Владимирской (частично) и, возможно, некоторые земли смежных с ними районов Вологодской, Кировской и Горьковской [с 1990 г. - Нижегородской. - *Прим. ред.*] областей. Площадь этой территории составляет приблизительно 233 тыс. кв. км, что при сравнении с этническими территориями наиболее крупных финно-угорских народов соответствует 2/3 территории Финляндии (337 тыс. кв. км), более чем вдвое превышает площадь Венгрии в ее современных государственных границах (93 тыс. кв. км) и более чем в пять раз пространство, занимаемое Эстонией (45,1 тыс.

††††††††††††††††††††††††††††

Так,
видимо, передавалось понятие мерянский язык по-
мерянски, где первое место занимало
несогласованное определение в род. пад. ед.
числа меран «(букв.) мери» от им. пад. ед.
числа мера «меры», определяющее слово jelma(-e)
«язык», следовательно, меран jelma(-e) «(букв.)
мери (= мерянский) язык». Как аналогию ср.
соответствующие названия языков финского,
эзрянского и мокшанского в финском, эзянском,
мокшанском языках: фин. suomen kieli «(букв.)
суоми (род. пад. ед.ч.) язык», эрз. эрзянь (<
*erzan) кель «(букв.) эрзи язык», мокш. моксень
< *mokSen) кяль «(букв.) мошки язык».

Обоснование формы род. пад. ед. числа (в данном случае *mera-n*) и слова *jelma(-e)* «язык» см. на стр. 67 и 118-119 наст. изд. Что касается конечного -а в слове *mera* «мера», то на него с определённой указывает характерное колебание между '-а (-я) (а со смягчением предшествующего согласного) и -е, - ср. славяно-русское *Меря* при *Merens* («мерян») у гротского историка *Иордана* (см. с. 9 наст. изд.). Слово мерянский в русском языке как наиболее правильное и желательное должно иметь ударение *мерянский* (ср., в частности, его отражение в стихотворении Г.В.Божковой, помещенном в начале этой книги). Менее оправданно и скорее ошибочно ударение «мерянский», возникающее под влиянием поверхностной аналогии ударений типа *испанский*, *итальянский*, *мексиканский* и под. (Прим. автора к наст. изд.)

Часть 2. Очерки теории языкового субстрата. Комментарий к мерянскому языку

кв. км)===== . Максимальное количество носителей мерянского языка в период его наибольшего распространения, т.е. до времени переселения на мерянские земли восточных славян, когда постепенно началась славянизация мери, в абсолютных числах установить пока невозможно. Очевидно, даже принимая во внимание редкость заселения этой обширной территории, следует считаться с тем, что население это было довольно значительным и, по-видимому, по численности приближалось к наиболее крупным тогдашним финно-угорским племенным группам - прибалтийско-финской, венгерской, мордовской. На это указывает, с одной стороны, большое количество сохраняющихся до сих пор мерянских местных названий, а с другой, то обстоятельство, что мерянское население должно было увеличиться за счет ассимилированных мерей индоевропейских носителей фатьяновской культуры.

Археологические данные современной науки позволяют считать возможным формирование мери в отдельное финно-угорское племя (племенной союз) на своей исторически засвидетельствованной территории уже в I тыс. до н.э. (История СССР, с. 312-314). Непосредственными предшественниками мери на той же территории были, очевидно, индоевропейцы, представители так называемой фатьяновской культуры, вытесненные и ассимилированные пришедшими с востока финно-уграми, предками мери (Крайнев, 1965-1969). Включение в состав этой части финно-угров (протомери) индоевропейцев-фатьяновцев могло способствовать их окончательному обособлению от других финно-угорских племен. Первое историческое упоминание о мере готского историка Иордана

В данном случае речь идет о сплошном основном массиве мерянской этнической территории, языковые данные с которой и являются предметом настоящего исследования. Здесь не учитываются те, возможно, существовавшие за его пределами более или менее значительные островки, где могли проживать носители мерянского (или близкородственного ему) языка, как и та часть мери, которая по существующему преданию, стремясь избежать христианизации, переселилась к марийцам или мордовцам (см. наст. изд., с. 9, 10).

(VI в. н.э.), где меряне (Мегепв «мерян») (Иордан, с. 150) упоминаются среди племен, плативших дань готскому королю Германариху, несомненно свидетельствует о существовании в это время мери как отдельного финно-угорского племени. Следующие упоминания о мере относятся уже к IX-X вв. и появляются в древнерусском историческом источнике - Ипатьевской летописи, где о ней сказано как о союзнике восточных славян, - в связи с собиранием дани варягами с древнерусских и соседних с ними племен (859 г.), по поводу походов Олега на Киев (882 г.) и на Царегород (907 г.), в которых наряду с варягами и восточными славянами принимала участие и меря (Ипат. лет., с. 16, 17, 21). В другом древнерусском летописном источнике о мере говорится как об особом этносе со своим языком, выделяемом на фоне других финно-угорских племен, известных в XI в. восточным славянам: «... а на Ростовском озері Меря, а на Клещині Озері Меря же; а по Оці ріці, гді потече в Волгу же, Мурома язык свой, и Черемиси свой язык, Морьдва свой языкъ...» (Лавр. лет., с. 10-11). На основании, в частности, того, что после X-XI вв. меря перестает упоминаться в древнерусских летописных сводах, в дореволюционных отечественных работах бытовало мнение, что к тому же периоду относится и полная ассимиляция мери восточными славянами (Корсаков, с. 63-64). Это мнение, встречающееся иногда и в некоторых зарубежных работах даже в 60-х годах 20-ого века (Пёсву, S. 145), в свете исследований советских историков следует признать устаревшим. Данные этих исследований, опирающихся на неиспользованные ранее исторические источники, показывают, что и после событий IX-X вв., упомянутых в Ипатьевской летописи, меря еще долго существовала на своих землях, куда с X-XI вв. стали проникать восточные славяне (Горюнова, с. 5).

Тем не менее и при том, что современной исторической науке (и в частности, археологии) удалось в какой-то степени расширить представление об истории мерянских племен, имеющиеся в настоящее время о них сведения не отличаются особым богатством. Сведения эти крайне отрывочны, фрагментарны. Скудность имеющихся в настоящее время исторических сведений о мере, - скудность, возможно, не столько действительная, сколько вызванная тем, что

вопросом этим мало интересовались, - не дает пока возможности с точностью ответить даже на основные вопросы, относящиеся к внешней истории мерянского языка. Если вполне естественно и менее ощутимо отсутствие сведений о времени возникновения мерянского языка, вполне объяснимое сложностью процесса образования отдельного языка, то уже менее терпимо отсутствие указаний на дату его окончательного исчезновения. Касательно этого существуют лишь косвенные данные. Логично предположить, что поскольку в XIII-XVI вв. можно обнаружить по документам наличие т. наз. мер(ь)ских станов, где, очевидно, проживали группы еще не русифицированного мерянского населения, причем эти мерянские острова отмечаются на всем пространстве бывшего расселения мери от его крайнего запада до востока (села Меря Старая и Меря Молодая к западу от Москвы, мер(ь)ский стан на р. Нерль, мерецкий стан у г. Кашина, мер(ь)ский стан по р. Костроме у ее впадения в Волгу (к западу от г. Костромы), мериновская волость по р. Мере, к северо-востоку от г. Кинешмы), то в этот период следует считать как с фактом существования этнически особых по отношению к русским групп мери, так и, по-видимому, с сохранением среди этих групп мерянского языка. Косвенное указание на возможность наличия еще одного мер(ь)с-кого стана по р. Унже, причем в документе середины XVIII в., дает основание предположить, что, вероятно, мерянский язык употреблялся в отдельных, наиболее удаленных, местностях еще в XVII и даже начале XVIII в. (Третьяков, с. 135-137). При этом ничто не указывает на то, что мерянский язык в период его использования на отдельных языковых островах употреблялся только в границах отмеченных мер(ь)-ских станов. Так, по-видимому, кроме них, одним из мест его длительного употребления мог быть г. Галич и окрестные села, хотя ни в одном документе эта местность не фигурирует как мер(ь)ский стан. О том, что Галич мог быть местом значительного сосредоточения мерянского населения, длительное время сохранявшего мерянский язык, свидетельствует то, что Галич в средние века именовался Галичем Мер(ь)ским, а также то обстоятельство, что у галицких рыбаков долгое время спустя после их полной русификации был в ходу особый тайный елманский язык, часть слов которого, являясь явно финно-угорской, отличалась в то же время от них

своеобразной формой, позволяющей предположить их мерянское происхождение (ср. хотя бы слово *елманский* от мер. **Je1ша(-э)* (род. пад. ед.ч. **Je1ша(-э)-п*) «язык», - мар. *йнлме*, манс. *нѐлм (нѐлум)*, хант. *Палеш*, венг. *пуелч*, саам. *К Паііте* «рот» < ф.-уг. **Palta*) (Попов, с. 101; MSzFUE, 1. 480). Очевидно, елманский язык как «тайный язык», профессиональное арг, свидетельствует о существовании у части жителей г. Галича и его окрестностей русско-мерянского двуязычия. Поскольку их «тайный язык» сохраняет мерянские включения, его до известной степени можно рассматривать как результат социально-лингвистической трансформации отмирающего мерянского языка. Фиксация ряда, по-видимому, мерянских по происхождению слов или выражений (иногда в составе соответствующих арг) в русских говорах Углича, Нерехты, Кинешмы, Солигалича и Пошехонья, расположенных на бывшей мерянской территории, свидетельствует о возможности длительного сохранения отдельных групп меряноязычного населения в целом ряде местностей бывшей мерянской этнической территории. В силу этого при окончательном угасании мерянского языка отдельные его носители могли встречаться в разных местах этого довольно обширного в прошлом этнического пространства. В связи с тем, что, скорее всего, последние группы носителей мерянского языка располагались на крайнем его северо-востоке (в бассейне р. Унжи), с наибольшим вероятием здесь же проживали и последние единичные его носители. Известно, что с 20-30-х годов XVIII в., еще во времена царствования Петра I, началось усиленное изучение языков России, особый размах получившее в царствование Екатерины II и отразившееся в издании «Сравнительного словаря всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенного» (СПб., 1787-1789, ч. 1-2) (Феоктистов, с. 11-25). Однако, поскольку среди собранных материалов данных по мерянскому языку нет, есть основание полагать, что последние группы носителей мерянского языка должны были исчезнуть до 20-30 годов XVIII в., существование же отдельных носителей мерянского языка могло еще продлиться до середины XVIII в., хотя едва ли жизнь кого-либо из них пересекла этот рубеж. Таким образом, предельно возможным сроком существования мерянского языка следует считать первую треть XVIII в., в крайнем

случае первую его половину. Под мерянским языком, естественно, здесь понимается - даже при наибольшем насыщении его русской лексикой - сохранение прежде всего мерянской грамматической системы, согласно правилам которой могли строиться в случае необходимости новые мерянские устные тексты. С тех пор как со смертью последних носителей языка такое умение исчезло и даже при большой насыщенности мерянской лексикой новые тексты, включавшие ее, стали строиться только по правилам русской грамматики, с использованием только ее словоизменительных парадигм, - причем остатки мерянской флексии уже не осознавались как таковые, - можно говорить и об окончательном прекращении жизни мерянского языка, хотя сохранившиеся в составе различных видов русского языка как его субстратные включения элементы мерянского языка еще продолжали (и продолжают) посмертное (после его исчезновения) существование. При решении вопроса о временных и пространственных рамках существования мерянского языка внимание исследователей, естественно, приковывается к той основной, наибольшей массе мерянского населения, которая подверглась славянизации (> обрусению). При этом совершенно упускаются из виду судьбы той части мери, которая, стараясь избежать христианизации, переселилась на восток, к марийцам или мордовцам, и последний раз под названием «ростовской черни» упоминается в связи с осадой Казани Иваном Грозным (1552 г.) в «Истории о Казанском царстве». Поскольку в дальнейшем какие-либо упоминания об этой части мери прекращаются, следует считать, что в период с середины XVI до второй половины XVIII в. (когда началось изучение мордовских и марийского языков) эта ее часть подверглась окончательной ассимиляции. Вопрос исследования остатков этой части мерянского языка еще более сложен, чем основной его части, которая растворилась в русском, что связано с гораздо меньшим количеством его носителей, с растворением его в родственном языке (языках), чему могло предшествовать значительное сближение мерянского с марийским (либо мордовским), и, наконец, с тем обстоятельством, что сами марийский и мордовские языки стали фиксироваться в основном после исчезновения этой части мери

О.Ткаченко. Исследования по мерянскому языку

приходу народа-завоевателя (или вообще главенствующего народа) в данную страну он уже употреблялся в качестве письменного официального языка, в то время как у народа-завоевателя (народа главенствующего) подобного языка еще не существовало. Так, германские племена (франки, бургунды, готы, лангобарды, вандалы), завоевавшие Римскую империю, несмотря на свое вне всякого сомнения господствующее положение (ср., в частности, длительный запрет на военную службу, распространявшийся на романское население в завоеванных германцами римских провинциях), которое им принадлежало во вновь созданных ими государствах, бывших римских провинциях Западной Римской империи, не использовали в качестве официальных свои германские языки, что было бы естественным и даже само собою разумеющимся с современной точки зрения, а прибегли как к официальному к латинскому языку, т.е. к тогдашнему литературному языку завоеванного римского (романского) населения. Литовцы, создав Великое княжество Литовское, также не использовали в нем свой родной литовский язык в качестве письменного официального, а применяли в данной функции язык присоединенных к Литве восточнославянских, белорусских и украинских областей, местный официальный, т. наз. западнорусский, язык. Если подобным образом поступали в те времена даже народности, занимавшие господствующее положение в созданных ими государствах, очевидно, не считая, что подобное положение в чем-то их ущемляет, то вполне понятно, что по отношению к мерянским племенам, среди которых поселились славяне, имевшие более развитую культуру и в том числе свою собственную письменность, которой у мерян в тот период не было, использование славянского языка в качестве письменного и официального не могло восприниматься как признак их неравноправного со славянами положения. Это положение не могло быть воспринято как признак неравноправия, и действительно (в свете хотя бы приведенных выше примеров) им не было, и в связи с тем, что, во-первых, сам мерянский язык, как вытекает из выдержки из жития св. Леонтия о том, что он «ро- уськый и мерьскый языкъ добрі умяше» (Житие, II), по-видимому, в устной, а отчасти и в письменной (например, при богослужении) форме достаточно широко употреблялся во Владимиро-Суздальской Руси, а, во-вторых, и потому, что и до официального

письменный язык, которым пользовались славяне, был далеко не идентичен их разговорному языку. Как известно, в качестве богослужебного языка, языка религии, восточные славяне использовали не свой, хотя и родственный, славянский язык, а язык южнославянского (древнеболгарского) происхождения, церковнославянский (< старославянский). Этот же язык в известной, большей или меньшей, степени проникал и в их светскую письменность. Таким образом, сами восточные славяне, проникавшие в мерянские земли, были поставлены в далеко не равноправное (в языковом отношении) положение, например, касательно южных славян (болгар и македонцев), где письменный язык в то же время мог быть почти идентичен местному народно-разговорному славянскому языку. Все упомянутое позволяет с тем большим основанием характеризовать положение славянского и мерянского населения Владимиро-Суздальского княжества как равноправное и именно этим обстоятельством

+++++ Следует полагать, хотя этот вопрос освещен хуже, чем фактически существовавшее в то время у восточных славян древнерусско-церковнославянское двуязычие, что далеко не идентичным народно-разговорному языку Северо-Восточной (Владими́ро-Сузда́льской > Московской) Руси был и употреблявшийся здесь восточнославянский письменный язык, представлявший собой своеобразное койне, связанное с какой-то ограниченной, а далеко не всей восточнославянской этно-языковой территорией. Иначе трудно понять причины столь памятным памятникам письменности) возникновения трех восточнославянских языков.

объяснять то, что, несмотря на длительность, существование мерянского этно-языкового элемента на его землях, как и окончательное исчезновение мерян, проходит почти незамеченным для истории.

Последнее объясняется двумя основными причинами. Первая из них заключается в том, что история в этот период, как и много веков позже, хотя и была фактически историей прежде всего трудовых масс, однако на страницах летописей и других исторических источников фиксировалась главным образом как история царствующих династий, княжеских фамилий и господствующих классов вообще, их взаимоотношений, войн, браков, генеалогий, разнообразных союзов, дипломатических переговоров и т.д. Поэтому о судьбах широких народных масс в исторических источниках того времени можно узнать или по политическим действиям возглавлявших их правителей, или в связи с различными политическими или социальными потрясениями - войнами, восстаниями и т.п., в которых принимали участие эти широкие народные массы. Вполне естественно, что поскольку мерянские племена, во всяком случае к тому времени, когда они вошли в соприкосновение с восточными славянами, не имели каких-либо прочных, возглавляемых мерянской знатью государственных образований, а сама мерянская знать стала вливаться в ряды славяно-русской, выступать в рамках созданных последней феодальных образований, княжеств и земель, то они как бы потеряли представлявшее их на страницах письменных исторических источников собственное лицо, собственную племенную (> национально-государственную) аристократию, отличную от русско-славянской. Тем самым мерянское население, существовавшее в это время, в значительной степени как бы выпадало из поля зрения истории. Однако поскольку в то время - как во многом и значительно позже - было принято говорить не столько об отдельных национальностях (этнусах), населявших то или иное государство, сколько о самом государстве, исходя при этом из основной его народности, то вполне естественно, что то же самое относилось и к мерянскому населению Владимиро-Суздальской (> Московской) Руси: оно выступало как часть русского населения его земель (даже задолго до своей полной этно-языковой ассимиляции). Вторая причина того, что меря как отдельный этнический элемент почти не упомянута в исторических

источниках и исчезает (или почти полностью исчезает) из них во многом задолго до своего действительно полного исчезновения, заключается в том, что меря как этнический элемент не вступала в какие-либо конфликты со славяно-русским населением. Единственной возможностью обратить на себя внимание историка, летописца, хронографа у социальных низов (или «негосударственных» этносов), относящихся к тому или другому народу, являлось участие в каких-либо крупных социальных событиях, таких, как восстания, войны, носившие ярко выраженный национальный или национально-религиозный характер. Поскольку и в подобных событиях мерянское население отдельно от русско-славянского населения тех же земель не участвовало, тем самым исчезал и еще один важный повод для специального отражения

жизни мери на страницах источников

Не менее сложной, чем вопрос о временных пределах существования мерянского языка и взаимоотношений мерянского и славяно-русского населения, является проблема точных границ этнической территории мери и в связи с этим соседних и контактировавших с ней народов. Только земли трех современных областей России были в прошлом несомненно полностью заселены мерей - Ярославской, Ивановской, Костромской. Сюда же входила крайняя восточная часть нынешней Калининской [с 1991 г. - Тверской. - *Прим. ред.*] области (Кашинский р-н), где, судя по существованию здесь особого мер(ь)ского стана, также обитала меря. В нынешней Московской области меря располагалась, исходя из соответствующих названий (Яхрома, Талдом), в северной части, а также центральной и юго-восточной (ср. топоним *Коломна* с ф. *kalmisto* «могила > могильник > кладбище») (Смолицкая, с. 81-82). Что касается юго-западной и западной ее части, то здесь топонимы Московской и соседней с ней части Тульской области (р. *Нара*, увязываемая с балтийским географическим термином пага «поток» (Поспелов, с. 125); р. *Уна* - лит. *ure* «река») указывают на их в прошлом балтийское население, прежде всего балтийское племя голядь, обитавшее в этих местах. Для соседней с Московской Владимирской области о мерянском населении можно с уверенностью говорить только по отношению к местности, находившейся к северу от р. Клязьмы (Decsy, S. 148). В южной части области в районе г. Муром жила в прошлом мурома, видимо, одно из древне-мордовских племен. Как далеко к югу простирались земли мери и где они граничили с этнической территорией муромы, на основании имеющихся данных определить точно нельзя. Исходя из названия р. Вёкса, имеющегося в южной части Вологодской области и встречающегося также в Ярославской и Костромской, местах несомненного обитания

мери, можно считать возможным присутствие мери также в части прилегающих с севера к современным Ярославской и Костромской областям районов Вологодской области. Более проблематично обитание мери в граничащих на западе с нынешней Костромской областью районах современных Кировской и Горьковской [с 1990 г. - Нижегородской. - *Прим. ред.*] областей. Основываясь на данных современной этнографии, а также свидетельствах топонимов, следов прошлых обитателей земель, смежных с бывшими мерянскими, можно считать, что соседями мери до переселения в ее область восточных славян были в основном финноугорские племена. С юго-востока и востока соседями мери были марийцы. На северо-востоке с ними могли граничить коми, в то время сильно продвинувшиеся на запад. С севера, северо-запада и востока мерянские земли соприкасались с областью прибалтийско-финских племен, очевидно, в основном вепсов, которые на северо-востоке, как часто вообще прибалтийские финны, именовались чудью. Не исключено, однако, что в какой-то своей части эта т. наз. заволоцкая чудь включала и другие этнические элементы, кроме прибалтийско-финских, в частности и близкие мере, которые не давали эту часть чуди отождествлять с вепсами в этническом, а, возможно, и языковом отношении. На юге соседями мери были мордовские племена - мурома, мещера, мокша и, может быть, в какой-то степени эрзя. Только на западе и юго-западе меря соприкасалась с нефинно-угорскими (индоевропейскими), балтийскими племенами, главным образом голядь, на земли которых, как и на земли вепсов, проникли позже славяне, начавшие затем переселяться на мерянскую территорию. До своего переселения на засвидетельствованную историей территорию меря (точнее, протомеря), как показывает анализ ее языка (о чем ниже), очевидно, еще на финно-угорской прародине непосредственно контактировала с праугорскими племенами, в том числе

Некоторую аналогию к отражению существования мери в исторических источниках представляет положение с отражением истории других финно-угорских народов на территории России. Если эти народы, действительно жившие в ту эпоху, о чем свидетельствует прежде всего их пребывание в настоящее время, и упоминаются в них (не намного чаще, чем меря), то объясняется это в значительной степени тем, что эти финноугорские народы или значительно лучше, чем меря, сохранили свою чисто этническую языческую религию, что вызывало, в частности, конфликты с царскими властями и православным духовенством (ср. существование языческих жрецов у марийцев еще в 20-е годы 20-ого века; сожжение языческих кладбищ у мордвы-терюхан в XVIII в.; социально-религиозное движение во главе с Алексеевым у мордвы в начале XIX в.; знаменитое мултанское дело, связанное с провокационным обвинением удмуртов в человеческих жертвоприношениях), или отдаленностью и одновременно экономической предприимчивостью этих народов (купцы и промышленники у коми).

предками обских угров и протovenграмми. Не исключено, что в тот же период протомеря могла контактировать и с территориально близкими к праугорским племенам предками саамов. Таким образом, в своем прошлом меря, а точнее ее языковые финно-угорские предки, относясь к пра-окским (финско-мордовско-марийско-пермским) племенам и тяготея в основном к прибалтийско-волжской их группе, где занимала как бы промежуточное место, в то же время в силу длительных контактов в какой-то степени сблизилась и с восточной ветвью финно-угров, прауграми. В дальнейшем, переселившись на свою засвидетельствованную историей этническую территорию и застав здесь индоевропейцев «фатьяновцев», меря их постепенно вытеснила, а частично ассимилировала, став преемником местного индоевропейского субстрата. Позже, как и все финно-угорские народы Поволжья, меря испытала известное воздействие со стороны тюркоязычных булгар. Последним наиболее сильным воздействием было языковое влияние со стороны восточных славян, вызвавшее постепенную славянизацию мери и частично отраженное в остатках мерянского языка, сохранных русскими народными говорами на постмерянской территории.

Все эти многообразные генетические и контактные связи мерянского языка в настоящее время могут быть прослежены только с помощью единственного пока источника его изучения - различных субстратных мерянских включений в русский язык (в его апеллятивах и ономастике). Время проникновения этих включений в русский язык занимает несколько веков, от IX-X вв., когда восточные славяне впервые соприкоснулись с мерей, до начала XVIII в., когда мерянский язык предположительно перестал существовать и вследствие этого прекратился приток в русский язык новых мерянских слов. Период контактов славяно-русского языка с мерянским, таким образом, охватывает около 9-10 веков. Уже ввиду того, что за это время как славяно-русский, так и мерянский языки должны были претерпеть ряд изменений, возникает вопрос о периодизации истории мерянского языка, которая для большей полноты и точности должна включить - в основном - доисторический период, предшествующий началу меряно-восточнославянских контактов, и, условно говоря, послеисторический, важный вследствие того, что пока преимущественно только путем его

свидетельств, сохранных в русском остатков мерянского языка, исследователь получает возможность судить о его истории. Вопрос о периодизации мерянского языка важен не только в связи с возможными изменениями в его внутренней истории, т.е. в изменении самого мерянского языка, его структуры, а и в связи с его внешней историей, заключающейся в изменениях в функционировании языка, его социолингвистической ситуации. Располагая в настоящее время только ограниченной суммой фактов и критериев внутренней истории мерянского языка, его исследователь при решении вопроса о периодизации его развития (конструктивного и деструктивного) (Ткаченко, 1975, с. 158175) вынужден исходить в основном из данных внешней истории. Так как подробная периодизация мерянского языка может быть осуществлена только на основе конкретных языковых фактов, которые будут изложены далее, здесь можно наметить главные ее ориентиры. Историю мерянского языка на основании того немногого, что известно об истории народа, его носителя, в связи с историей других родственных и неродственных ему народов, можно разделить на три большие эпохи:

1) протомерянскую, время от первых проявлений лингвистического своеобразия протомерянского идиома еще в рамках финно-угорской языковой общности до первых предпосылок его преобразования в отдельный финно-угорский язык ввиду поселения мери на своей исторически засвидетельствованной территории (около 7-6 тыс. до н.э. до конца 2 тыс. до н.э.);

2) (собственно) мерянскую (от 1 тыс. до н.э. до 1730/50 г.);

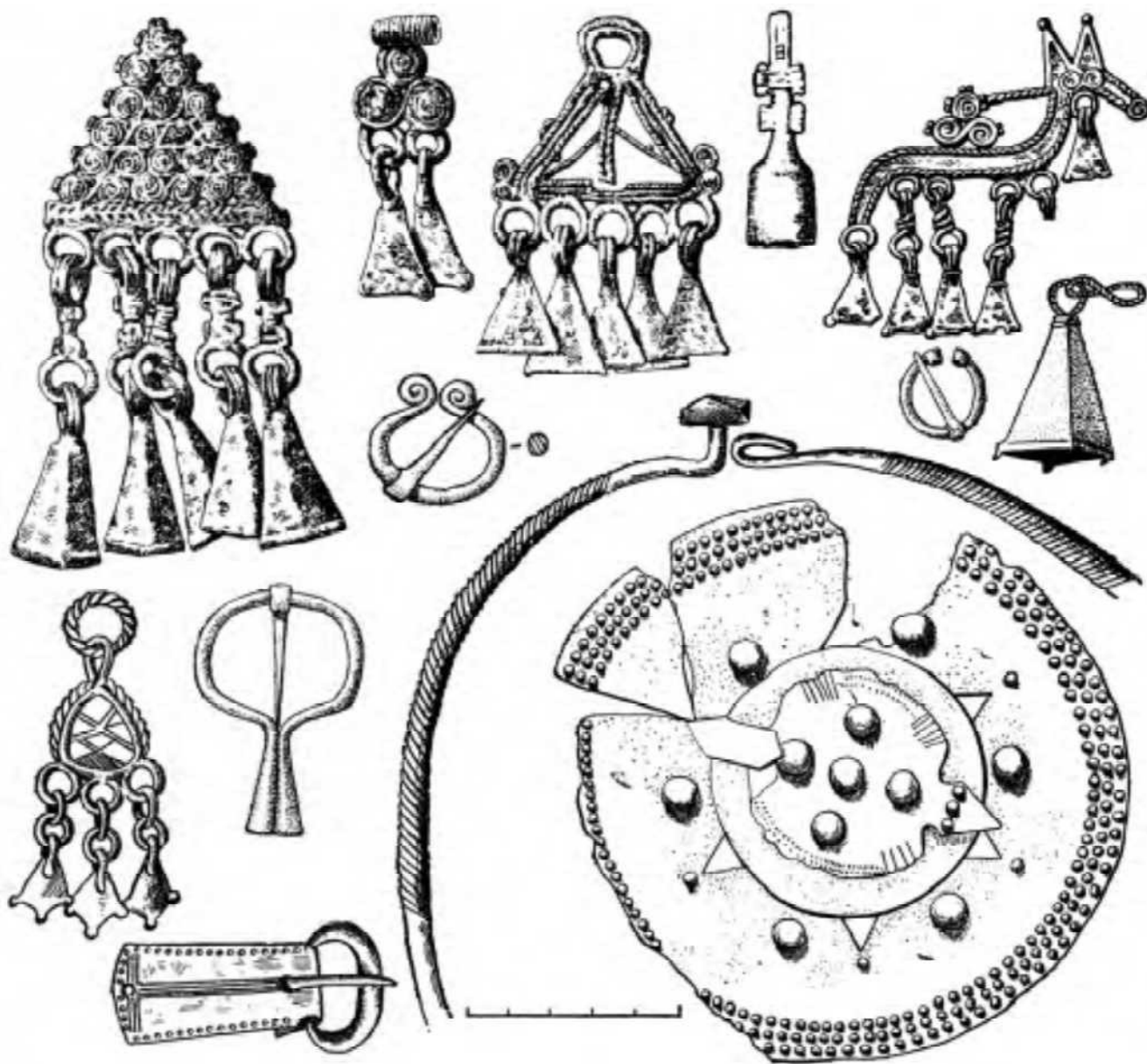
3) постмерянскую (от 1730/50 г. до настоящего и позднейшего времени). Хронологические рубежи первой эпохи образует время от распада финно-угорского праязыка на прафинно-пермскую и угорскую ветви (и предшествующее ему тысячелетие) до времени поселения мери на своей исторической территории. Хронологические границы второй эпохи образует время от появления мерянского языка до его окончательного угасания, связанного со смертью последних носителей. Третья (постмерянская) эпоха связана со временем после окончательного выхода из употребления мерянского языка, когда он продолжает сохраняться только в виде своих субстратных пережитков в составе русского как языка-преемника. Учет последней эпохи необходим прежде всего потому, что пока

***** Ср.: «Топонимика... свидетельствует о принадлежности заволоцкой чуди к прибалтийско-финской группе, с языковыми отличиями от карел, а отчасти и от вепсов, хотя последние несомненно входили частично в эти края» (Попов, с. 71-72).

наука имеет возможность говорить о всех предыдущих эпохах истории мерянского языка. Исходя из сугубо исторических данных, можно также разделить (собственно) мерянскую эпоху на два более мелкие подразделения – древнемерянскую и новомерянскую пору. Первая из них охватывает период от 1 тыс. до н.э. до IX в., т.е. время от поселения мери на ее исторической территории до первых контактов с восточными славянами, которые в этот период уже вступили с мерей в союзнические отношения (участие мери в походах Олега на Киев (881 г.) и Царь-град (907 г.)), но

еще не проникали на ее территорию. Вторая относится к периоду от X в., времени проникновения на мерянские земли первых поселенцев из восточных славян, до 1730/50 г., времени полного угасания мерянского языка, связанного со смертью последних его носителей.

В этих достаточно широких временных рамках устанавливаются более узкие – периоды, выделение которых станет возможным после рассмотрения связанных с ними социолингвистических явлений, относящихся к внешней истории языка в протомерянскую и собственно мерянскую эпохи.



Бронзовые и серебряные украшения из Сарского городища и могильника. VI-XI вв. [22, сур. 97, 118]

К ВНЕШНЕИСТОРИЧЕСКИМ ФАКТАМ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА

1. Начало протомерянской эпохи. Проблема протомерно-(пра)угорских (протовенгерских) языковых контактов.

Их социолингвистический
характер (7-6 тыс. до н.э.)

На основании подавляющего большинства своих исследованных черт (фонетических, грамматических, лексических) мерянский обнаруживает себя как язык, наиболее тесно связанный генетически с прибалтийско-финскими и волжскими языками, в частности в первую очередь, видимо, с прибалтийско-финскими и мордовскими, менее тесна связь с марийским языком, хотя в ряде отношений (например, фонетическом, особенно для восточномерянских говоров) она не менее важна^{*****}. Эти данные, которые вряд ли смогут быть в корне опровергнуты, хотя, несомненно, возможны частичные уточнения и конкретизация, дают основание отнести мерянский к финно-пермским, а еще точнее к финским языкам (в широком понимании слова), противостоящим угорским. Однако тем самым еще не отрицается возможность особых связей этого языка с угорскими как в их совокупности, так и с отдельными из них. Есть все основания считать эти связи для мерянского языка не маргинальными или случайными, а весьма существенными, поскольку черты общности, являющиеся, видимо, следствием контактов между (прото)мерянским и языками угорской группы, распространяются не только на лексику, обозначающую наиболее важные реалии, а и на грамматику или группу тесно с ней связанных служебных слов. В самом деле, в мерянском, как и в венгерском, показателем

+++++ В этом отношении не лишены интереса данные исследования лексики (68 корневых слов мерянского происхождения), которые показывают следующий процент общих лексических элементов у мерянского: 1) с прибалтийско-финскими языками – 76,5, 2) с мордовскими – 70,6, 3) с марийским – 55,9, 4) с пермскими – 51,5, 5) с саамским – 44, 6) с обско-угорскими – 44, 7) с венгерским – 41,2, 8) с самодийскими – 31% (наст. изд., с. 123).

множественного числа было *-k, — ср.: *^лep «вилы (с двумя зубьями)» (ед.ч.) — * ranek «то же» (мн.ч.): венг. етБег «человек» — етБегек «люди»^{*****}, в отличие от показателя -t в наиболее близких к нему прибалтийско-финских и мордовских языках (ср. ф. ihminen «человек» — ihmiset «люди», эст. inimene «то же» — inimeset «то же», морд. Э кудо «дом» — кудот «дома» и под.) (наст. изд., с. 68, 9597). Здесь выступает союз ра «и», встречающийся также в хантыйском, — ср.: мер. *^лuS pa joluS «пусть будет и пусть будет» — хант. эвет на пухат «девочки и мальчики» (наст. изд., с. 85). Ввиду того что грамматическая общность и контакты в области служебных слов не могут быть результатом эпизодических и неглубоких связей, можно думать, что языковые (прото)мерянско-угорские контакты имели место весьма длительный период. Поскольку такие контакты, причем предполагавшие непосредственную близость контактировавших этносов, носителей соответствующих языков, в историческую собственно мерянскую эпоху не могли быть реализованы: меря и угры в это время находились на далеко отстоявших друг от друга территориях — их можно допустить только для начала протомерянского и соответственно праугорского периода, в то время когда протомеря и праугры оставались еще в пределах финно-угорской прародины (или во всяком случае в непосредственной близости от нее). Здесь протомеря, входя в группу финно-пермских племен, соседствовала с прауграми, что делало возможными их непосредственные и тесные языковые контакты. Несмотря на то что лексически мерянский наиболее близок к финским языкам, он обнаруживает следы интенсивных контактов с прауграми и в полнозначной (неслужебной) лексике. Соответствующие относительно немногочисленные лексические элементы принадлежат к важным областям материальной и духовной жизни, что опре-

+++++++ Интересно
отметить, что тот же показатель множественно
числа встречается и в части саамских диалектов
(ср. саам. (зап.) (dievva «холм» (ед.ч.) –
dievak «холмы» (мн.ч.) (Керт, с. 222),
свидетельствующий о связях, существующих между
саамским и венгерским языками.

деляет высокий удельный вес данных лексических элементов, их качественную значимость. Так, общим у мери с уграми является название селения (деревни, села), — ср. мер. **palə(-o)* «деревня, село» — хант. (вост.) *puuel* «деревня, населенный пункт, поселение (рыбаков, охотников)» (СВХД, с. 381), манс. *pa был* «деревня; поселок; селение» (Ромбандеева, с. 85), венг. *falv* (< **palu*) «деревня, село» (мн. ч. *faluk/falvak*) (< угор. (ф.-уг.?) **paʰz* (MSzFUE I, 180) (наст. изд., с. 123), где наиболее близки мерянский и венгерский, что, поскольку венгерская форма значительно удалась от исходной, предполагает в случае заимствованного характера мерянского слова заимствование из протовенгерского диалекта праугорского языка. О контактах с уграми (и одно время близкими с ними пер- мянами) в области духовной жизни, в частности того, что касается религиозных представлений, свидетельствует семантика слова с первоначальным значением «дыхание; пар», позже «душа», не у всех финно-угров представленного той же самой, этимологически тождественной лексемой, — ср.: мер. **lilʹ* «душа» (наст. изд., с. 107108), хант. (вост.) *lil* «жизнь; дыхание; дух, душа» (СВХД, с. 207), манс. *lil* «дыхание; душа» (КМРС 78), венг. *leʰk* «душа, дух; мужество, сердце; совесть; лицо; дыхание, жизнь, самосознание», двенг. *БѢС* «душа» (имя венгерского вождя, — X в.), а также коми *лов* «душа, дух, жизнь», удм. *лул* «душа, дыхание, жизнь» < ф.-уг. *лѣлѣ-* «дыхание, дух, душа» (MSzFUE II, 397-398; КЭСКЯ 160). Важно отметить, что в остальных финноугорских языках это слово получило другое семантическое развитие (понятие «душа» передается там другими лексемами, а в ряде языков совершенно отсутствует слово, связанное с мер. **lilʹ*, — ср.: ф. *loulu* «пар (в бане)» (< ф.-уг. **lѣlѣ-*) (понятие «душа» выражено заимствованным (из герм.) *sielu*), эст. *leil* «пар» («душа» — *hing, meel*); морд. *Э ойме*, морд. *М вайме* «душа» (очевидно, родственные эст. *vaim* «дух», мар. *чон* «душа» (этимологическое соответствие мер. **lilʹ* в волжских языках отсутствует); саам. *Н лiew'la* «пар (в бане)» (MSzFUE II, 397398). Связь в этих областях лексики с угорскими языками, причем уже в виде несомненных заимствований, отражена и в таком важном глаголе, как «умирать», — ср.: мер. **hale(-ms)* «умирать» при мер. **kole(-ms)* «подыхать; тяжело болеть; умирать (о животных)», **ко^та*

«смерть; (тяжелая) болезнь», *ulʹSi(-ms)* «(эвфем.) умирать (букв. — становиться бывшим)» (наст. изд., с. 105-106, 111-112). Глагол *hale-*, закрепленный в основном значении, явно связан с угорскими соответствиями, — ср.: мер. **hela-* «умирать» — хант. (каз.) *хал'ты* «подохнуть» (Русская, с. 234), манс. *хблү- увее* «погибнуть» (Баландин, Вахрушева, с. 137), венг. *лѣлѣ* «умирать» при мер. **лѣлѣ-* «подыхать», этимологически родственным с ф. *kuolla* «умирать», эст. (диал.) *коо^а* (*коо^п* 1 л. ед.ч. наст. вр.) «то же». Последний случай меряно-угорских связей, представляющий собой несомненное заимствование, особенно интересен, так как говорит о явной престижности угорского языка в представлении протомерян. Как известно, при заимствовании слов для выражения основных понятий (при имеющихся, как правило, своих лексемах с тем же значением) по большей части заимствованное слово используется в функции синонима для передачи преимущественно эмоционально-аффективного, сниженного стилистического оттенка значения. Можно привести многочисленные примеры, — ср.: рус. *вонь* (высокий стиль) — *лошадь* (как полагают, слово древнебулгарского происхождения; первоначально низкий, теперь нейтральный стиль), *пес* (высокий стиль) — *собака* (как считают, заимствованное (Фасмер, с. 702-703), сниженное, нейтральное); фр. *cheval* (< лат. *caballus*) «конь; лошадь» — *rosse* «кляча» (< нем. *Rop* «конь») и т.п. Для того чтобы заимствованное слово могло вытеснить, причем в основной функции, свое собственное, которое стало выступать со сниженным стилистическим оттенком, необходима высокая социолингвистическая престижность языка-источника в глазах носителей заимствующего языка. С другой стороны, известны случаи, когда языки, в частности близкородственные, в силу связанных с ними функций или высокого авторитета их носителей становятся источником заимствований слов высокого стиля, ср. в этом отношении роль церковнославянских заимствований в русском: *преставиться* (цсл.) — *умереть* (рус.); *млечный* — *молочный*; *влечь* — *волочить* и т.п. Видимо, подобным авторитетом в глазах протомерян обладали угорские языки, чем вызвано было не только заимствование слов для обозначения важных понятий, а и то обстоятельство, что они стали источником синонимов для передачи

общераспространенных понятий, относящихся к лексике высокого стиля. Данные лингвистические факты не противоречат, а согласуются с показаниями археологии, обнаруживающей в мерянских памятниках материальной культуры связь с материальной культурой угров (Горюнова, с. 42-43). По мнению археологов, эти связи в какой-то степени поддерживались и позже, уже в историческую эпоху (там же). Поскольку в последнее время за конечную границу распада финноугорского праязыка на финно-пермскую и угорскую ветви принимают 6 тыс. до н.э. (Вийтсо Т.Р. (рец.) Е.А.Хелимский... (ФУ, 1980, № 3, с. 238), период языковых контактов протомерян с прауграми можно относить только ко времени не позже 7-6 тыс. до н.э.

2. Позднейший период прото-мерянской и начальный период собственно мерянской эпохи. Контакты с протославянами (6 тыс. до н.э. — 5 в. н.э.)

В дальнейшем, судя по данным мерянского языка в сопоставлении с другими финно-угорскими, протомеряне вместе с представителями других финно-пермских племен вошли в соприкосновение с обитавшим в это время в области Волжско-Окского междуречья и восточнее его индоевропейским населением, представителями т. наз. «фатьяновской культуры», которые или в целом, или во всяком случае в значительной своей части являлись носителями ранней, наиболее древней стадии развития славянского языка. Этот славянский язык ввиду его чрезвычайной архаичности, отраженной в финно-пермских, в том числе мерянских, заимствованиях той поры целесообразно для краткости называть прото-славянским языком, представляющим собой в сущности раннюю стадию развития праславянского языка. Контакты с протославянским языком оказались наиболее длительными для мерянского языка, так как, судя по их отражению в нем, они охватывают период от начала существования финнопермского языкового единства, т.е. 6 тыс. до н.э., до того времени, когда меряне полностью ассимилировали (мерянизировали) ту часть протославянского населения, которую они застали на занятой ими после переселения с востока исторической территории, т.е. около 5

Часть 2. Очерки теории языкового субстрата. Комментарий к мерянскому языку

в. н.э. В соответствии с этим часть мерянских заимствований (или включений) из протославянского разделяется им со всеми финно-пермскими языками, часть представляет собой заимствования, общие у мерянского только со всеми финскими (прибалтийско- и волжско-финскими, иногда вместе с саамским) языками. Наконец, есть слова, являющиеся, по-видимому, субстратными включениями мерянского из протославянского, которые не имеют соответствий ни в одном другом финно-угорском (в том числе финском) языке. Очевидно, эти слова были включены мерянским в его лексику уже после отделения мерянского от других финских языков в начальный период собственно мерянской эпохи, т.е. примерно в промежутке времени между 1 тыс. до н.э. — 5 в. н.э. Протославянской лексики, общей для мерянского с какой-то частью финских языков, например, прибалтийско-финскими, у мерянского пока не обнаружено. Возможно, если протославяне и продолжали контактировать с прибалтийскими финнами на переломе двух эр, о чем свидетельствуют хотя бы финские заимствования типа talkkuna (< протосл. *talkun a/*^>1кип о) «толокно» с отражениями древних сочетаний *tolt/*telt и под., в отличие от мордовцев и марийцев, контакты с которыми по языковым свидетельствам в это время прервались, то эти языковые прибалтийско-финско-славянские связи имели место на территории, обособленной от мерянской.

К наиболее древним протославянским заимствованиям у мерянского относятся слова, обозначающие число «семь» и дерево «дуб (Quercus)», которые проникли в него, по-видимому, первое в начале периода финно-пермского языкового единства, т.е. вскоре

Принять эту до некоторой степени условную дату наиболее позднего возможного сохранения протославянского языка на мерянской территории заставляют два обстоятельства: 1) при первом упоминании мери (Мерепз) в VI в. н.э. готский историк Иордан не называет при этом вместе с ней каких-либо славян; 2) ко времени первых контактов восточных славян с мерей (IX-X вв.) никаких славян на мерянской территории уже не оставалось. Следовательно, V в. н.э. является наиболее поздним возможным временем сохранения протославянского языка и его носителей на мерянской территории. Не исключено полностью и то, что этот язык исчез окончательно значительно раньше.

после 6 тыс. до н.э., а второе ближе к его концу, т.е. около 5-4 тыс. до н.э.

Предположить это необходимо в связи с тем, что первое своей формой указывает, с одной стороны, на гораздо более архаичное, чем во втором случае, состояние протославянского языка, а с другой, свидетельствует о большем единстве и взаимосвязи между финно-пермскими диалектами. Что касается второго, то оно обнаруживает как более продвинутое состояние в развитии протославянского языка, так и большую степень расхождения между своими отражениями в языках финской и пермской ветви. Следовательно, это свидетельствует о его заимствовании в тот период, когда обе ветви, финская и пермская, заметно друг от друга отдалились и были близки к распаду, хотя генетические связи между протонфинским и (прото)пермским идиомами еще полностью не прерывались и финно-пермское языковое единство еще продолжало сохраняться. По мнению Б.А.Серебренникова, первое из слов, связанное с числовым понятием «семь», исходя из его структуры, следует считать заимствованием из какого-то индоевропейского языка балтийско-славянского типа (Серебренников, с. 221). Однако внимательное ознакомление именно со структурой слова позволяет его отнести с большим основанием не к славянобалтийским, а к собственно протославянским заимствованиям. В пользу этого говорит то, что, как известно, в балтийских языках слова со значением «семь (седьмой)» сохраняют в своей структуре унаследованный еще из праиндоевропейского звук -р-, утраченный славянскими языками, — ср.: лит. *septyni* «семь», лтш. *septini* «то же», прус. *septmas* «седьмой» (динд. *saptamah* < **septemos* «седьмой») — рус. *семь* (седьмой), укр. *сім* (сьомий), бел. *сем* (семы), п. *siedem* (siOdmy), ч. *sedm* (sedmy), слц. *sedem* (siedmy), вл. *sydom* (sydmy), нл. *sedym* (sedymy), полаб. *sidem* (sidme), болг. *седем* (седмII), мак. *седум* (седмII), схв. *седам* (седмII), слн. *sedem* (sedmi), стсл. *седмь* (седмя), псл. *’^sedm^’^sedm^*). Поскольку финнопермские заимствования, отражающие чрезвычайно архаичную, по-видимому, предшествовавшую (поздне)праславянской форме, также не

обнаруживают отражения звука -р- (ср.: ф., иж. *seitseman*, кар. *seit't'se man*; вепс. *seit'sime*, вод. *seit^*, эст. *seitse* (ген. *seitsme*), лив. *seis*, саам. *Ki^am*, морд. *Э, М сисем*, мар. *шым(ыт)*, мар. Г *шым*, удм. *сизьым*, коми-зыр., коми-перм. *сизим*, мер. **seZum*/**siZum* (наст. изд., с. 73-74), есть все основания считать, что слово является заимствованием из протославянского языка. Очевидно, наиболее близка к исходной форма, приобретенная словом в финском языке, где *seitseman* может отражать протосл. **setseman*(**mon*)⁺⁺⁺⁺⁺. Эта форма могла возникнуть на основе ассимиляционных процессов из первоначальной **septeman*(-on) «(букв.) седьмое» (> **setteman* > **setseman*) и должна была в дальнейшем развитии славянского языка путем стяжения двух почти одинаковых слогов и позднейшей ассимиляции (> **setman* > **sedman*) дать в результате действия закона открытости слогов (поздне)праславянское **sedmo* «седьмое». Сохранение закрытости слога, — ср. протосл. **setseman* (< **septeman* < **septemon*) и гр. *’epSopov* (< **sebdomon*), — говорит о том, что протославянское слово сохраняло в это время еще состояние, близкое к индоевропейскому, когда в конце слова еще были возможны согласные. Таким образом, сама форма слова подтверждает возможность его столь раннего заимствования, предполагаемого на основе абсолютной хронологии финно-угорских языков.

Более поздним в качестве заимствования является слово со значением «дуб (*Quercus*)». Об этом говорит как расхождение в его финских и пермских отражениях, так и то, что оно отражено уже без первоначального конечного согласного. Отражения в финских и пермских языках — ср.: ф., кар., иж., вод. *tammi*, эст. *tamm* (ген. -е), лив. *tam* (ген. *tam*), морд. *Э, М тумо*, мар. *тумо*, мар. Г *тум*, мер. **toma*/**tome* (наст. изд., с. 120); коми-зыр. (дперм.) *туну*, коми-перм. *тылу*, удм. *тылы* —

+++++ Реконструкция исходной финно-пермской формы *seqCema* (Редеев, Эрдеи, с. 433) может предполагать в качестве исходной протославянской праформу **semtsema*, если не считать -п новообразованием финского, а, напротив, отражением протославянского архаизма, что соответствует общей архаичности финского, в том числе в передаче древних заимствований. Дальнейший ход развития слова и при принятии данной пра-формы в основном должен был совпасть с предложенным для праформы **setseman*.

***** Принятие этой сугубо ориентировочной даты вытекает из того, что в 3 тыс. до н.э. предки прибалтийских финнов вышли уже к Балтике, т.е. оторвались от волжских финнов.

предполагают для себя две праформы — прафинскую *tomma (Collinder, p. 155) и прапермскую *turi, которые могли возникнуть из общепрафинно-пермской *tompa (путем прогрессивной ассимиляции для финской ветви, что дало *tomma, и регрессивной для пермской, что дало *torpa с позднейшим переходом в *turi). Прафинно-пермское *tompa, исходя из того, что первоначально финно-угорским языкам были абсолютно чужды (за исключением сонорных) какие-либо звонкие согласные и также не свойственны им носовые гласные, должно было отражать протославянское *doba (*dobo) < *dumbos «дуб». Отсутствие первоначально свойственного слову конечного согласного, вполне возможного в финно-пермских языках (ср. ф. kalastus «рыболовство», коми-зыр. *ломтас* «топливо»), говорит о том, что оно было заимствовано в период, когда уже стал действовать закон открытости слогов, следовательно, и звукосочетание -ст- в прафинно-пермском отразило уже не аналогичное звукосочетание протославянского, а носовой гласный -9-. Однако отпадение конечного согласного произошло, видимо, незадолго до заимствования. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что конечный гласный в этот период, судя по наиболее архаичному и близкому к исходной форме прафинскому отражению, еще сохранял свое первоначальное качество, а не перешел в позднейшее -и, давшее в конечном счете (поздне)праславянское -ъ.

К еще более позднему периоду, так как соответствующее заимствование проникло только в финские языки, относится протославянское слово со значением «озеро» — ср.: ф., кар., иж. *jarvi*, вепс. *jarv*, вод. *jarvi*, эст. *jarv* (ген. -e), лив. *jaга, jога, саам. N jaw're, саам. I jauiги, морд Э эрьке, морд М эрьхке, jerke* (где -ке/-ке суффикс уменьшительности), мар. *ер*, мар Г *йар*, мер. *jahre (наст. изд., с. 67, 121) — которое на основе закономерностей исторических переходов, связывающих финские языки (см.: Лыткин, 1974, с. 129-130, 135-137; наст. изд., с. 121; Аристэ, с. 294), дает исходную праформу *jaу eга(-а) как отражение протосл. *jaуeга(-3) «озеро». Форма *jaуeга(-о) вместо предполагаемого исходного *jaу eгaп(-оп), — ср. прус. *assaran* «озеро», — говорит своей структурой о том, что она была заимствована в период, когда уже отпало конечное *-п и, следовательно, действовал закон открытых слогов, однако в этот период в

Часть 2. Очерки теории языкового субстрата. Комментарий к мерянскому языку

славянском еще не произошел переход *-у- (< *-gh-) в -z-, результатом которого было появление (поздне)праславянской формы ^ъ^zero «озеро».

Слова *doba(-о) и *jaуeга(-о) представляют собой, вне всякого сомнения, заимствования из протославянского языка, поскольку первое из них, хотя и возникло на индоевропейской основе, является сугубо славянским новообразованием (ЭССЯ, вып. 5, с. 95-97) и, помимо того, оба они отражают формы, возникшие вследствие действия именно славянского фонетического закона открытости слогов.

К сугубо мерянским относятся факты включения слов ^ъoie «цел(ый), здоров(ый)» (наст. изд., с. 113) и *rep (мн.ч. *panek) «двуругие вилы», реконструируемые на ос-

нове рус. (диал., постмер.) *Цолонда!* «Здравствуй, хозяин!» (< мер. *COlэ, (a)пПэ(Ва)! «Здоров(ый) (цел(ый)) (будь), кормящий!») и *бяньки* (*бени, бини, венечкй* «двурогие (главным образом деревянные) вилы», которые являются отражением протославянских *с'Olй (-ъ) «целый, здоровый» и *dvani «двойни; предмет, включающий две части; состоящий из двух частей». Оба слова отражают еще более продвинутый по сравнению с предыдущими заимствованиями этап развития протославянского языка, о чем, в частности, говорит переход k > с' (*O'0l0/ъ) (< *koilv < *kailo(-u)-s) «целый», однако такая черта, как неполностью завершившееся слияние предыдущих рефлексов в едином псл. -е-, свидетельствует о состоянии, хотя и близком к (поздне)праславянскому, но предшествующем ему. Оба слова имеют параллели в современных славянских языках, предполагающие их праславянское происхождение, - ср. для *с'Olй(-ъ) рус. *цел(ый)*, укр. *цілий*, бел. *цэлы*, п. *caly*, ч., слц. *cely*, вл. *cyly*, нл. *cely*, болг. *цѣл*, мак. *цел*, схв. *цео*, слн. *cel*, стел. *цѣль*; для *dva pi* — болг. (ст.) *двенки* «двое, две» (< псл. *d(ъ)вѣпъку), а также внеславянские индоевропейские параллели лит. *dvynU* «близнецы», дсакс. *twen e* «двое», лат. *binī* (< *duis-no-) «двукратный», свидетельствующие сходством корневой и суффиксальной части об архаичном праславянском происхождении болгарского слова.

При своем небольшом количестве рассмотренные слова, особенно наиболее древние из них, представляют значительный интерес, говоря с несомненностью о большой временной глубине славяно-финно-угорских, в том числе и славяно-протомерянских, контактов. Приведенные факты, свидетельствуя о большой древности и протяженности контактов западной части финно-угорских народов, их финно-пермской ветви, с протославянами (с 6 тыс. до н.э. до 5 в. н.э.), об очень раннем начале их взаимосвязей, ставят в то же время перед вопросом о территории, на которой они могли иметь место. Для полного решения этого вопроса необходимы усилия всех представителей гуманитарных наук, прежде всего историков и археологов. На основании одних лингвистических данных ответить на этот вопрос с надлежащей **218**

полнотой невозможно. Тем не менее даже одни лингвистические данные говорят о том, что, поскольку в начале этих контактов приняли участие как будущие финны, так и пермяне,

территория, занятая славянами в это время, простиралась значительно дальше к востоку, чем это предполагалось для всех допускавшихся до сих пор славянских прародин. Именно славяне, а не балты должны были быть после индоиранцев первым индоевропейским народом, с которым столкнулись финно-пермские племена при их движении на запад. Об этом говорят древние славянизмы пермских языков, где одновременно полностью отсутствуют заимствования из балтийских языков. Очевидно, дальнейшие исследования приведут к новым открытиям следов древних славяно-финно-пермских контактов. Однако больше связей с протославянским обнаруживается у финских языков. Скорее всего это объясняется тем, что при своем движении с востока финно-пермские племена оттеснили славян к западу. Поэтому для пермян, оставшихся на востоке, связи с древними славянами прекратились значительно раньше, чем для финнов, в том числе и протомерян, продолжавших продвигаться на запад. Особенно долго связь с этими славянами сохранялась у мерян, так как они поселились на территории, где продолжало оставаться славянское население, постепенно в течение ряда веков ассимилированное мерянским. Не исключено, что западнее этой территории, на землях, где также имелось протославянское население, жили, до своего переселения к Балтийскому морю и установления связей с балтами, предки прибалтийских финнов, которые вступали в контакт с местным населением, чем объясняется довольно большое количество древних славянских заимствований в прибалтийско-финских языках (Kiparsky, S. 75-84) при их почти полном отсутствии (за исключением рассмотренных) в мордовских и марийском.

У славян, как показывают древнейшие заимствования финно-пермских языков, финны, в том числе протомеря (частично с пермянами), заимствовали одно из числительных первого десятка, что могло быть связано с, возможно, большей развитостью

счета у славян, либо тех отраслей, например торговли, где счет был необходим. Таким образом, протославянское числительное или заполнило пустую клеточку в складывавшейся системе финно-пермских числительных, или вытеснило употреблявшееся перед этим в той же функции финнопермское слово. Заимствование слова со значением «дуб» было, по-видимому, связано с тем, что на своей

прародине, расположенной по обеим сторонам Уральского хребта и в Западной Сибири, финно-угры не встречали этого дерева (ср. венг. *tolgy* «дуб», слово, как полагают, древнеосетинского происхождения, - MNTESz III, 1. 959960). Несколько сложнее обстоит с заимствованием слова со значением «озеро». Поскольку во всех, не только финно-угорских, а и уральских языках, кроме финских, представлено общеуральское слово с этим значением (ср.: манс. *to*, хант *C tew*, венг. *to* (акк. ед.ч. — *tavat*), коми-зыр., коми-перм., удм. *ты*, нен. *to*, эн. *to*, нган. *turku*, сельк. *tu*, кам. *t'ц*, матор. *toa*, тайг. Ёо «озеро»), трудно себе представить, чтобы речь шла о заимствовании слова для обозначения неизвестного ранее понятия (напомним, что прародина финно-угров располагалась в местности, богатой озерами и реками). Скорее всего собственное слово было вытеснено протославянским заимствованием, которое могло войти в пра- финский вначале как синоним собственного слова и только позже заменило его, видимо, вследствие каких-то внутривидовых причин (например, ввиду создававшей неудобства омонимичности с какими-то другими лексемами). Как бы то ни было, для подобного заимствования были необходимы тесные связи с протославянским населением, возможно, субстратного типа. Похоже, что такими они и были у мери и протославян. Заимствование со значением «двурукие вилы» говорит о том, что меря училась у протославян оседлому скотоводству и связанной с ним заготовке кормов, а также земледелию, поскольку заимствованное слово является обозначением предназначенного для этого сельскохозяйственного орудия. Заимствование слова «здоровый, целый» в составе фразеологического оборота **Cole, апПеВа!* «Здоров (будь), кормящий (» хозяин)!» свидетельствует о влиянии протославян на мерю и в области духовной культуры, даже в таких ее тонких и сложных проявлениях, как речевой этикет. Это предполагает длительность контактов, а также хорошее знание, во всяком случае частью мерянского населения, протославянского языка. Однако, очевидно, преобладающим, а затем и единственным типом двуязычия на мерянских землях со смешанным меряно-протославянским населением стало не меряно-славянское, а славяно-мерянское двуязычие, которое завершилось полным переходом протославян на мерянский язык. О том, что было именно так, говорят явные протосла- визмы

мерянского языка, отсутствующие во всех других финно-угорских (в том числе и финских) языках, которые, с одной стороны, обнаруживают свой явно (прото)славянский характер, с другой же, хранят следы приспособления данных слов к особенностям финской, прежде всего мерянской, фонетики (типично мерянский звук **p*, устранение сочетания двух согласных в начале слова, согласно требованиям финской фонетики (**dv- > *p-*); типично мерянский переход **-a- > *-e-* в новом закрытом слоге (**panek > *ʌeΠ*) и т.п.). Тот факт, что к появлению новых групп славян на мерянской территории, именно восточных, которое произошло на рубеже X-XI вв., там уже не было никакого славянского населения, говорит о том, что протославяне к этому времени были давно ассимилированы мерей. Следовательно, указанные протославизмы мерянского языка имеют характер субстратных элементов. Не исключено, что, кроме лексического, протославянский субстрат мог оказать на мерянский язык и какие-либо другие влияния, например, фонетическое (отсутствие, по всей видимости, сингармонизма, — наст. изд., с. 138) или синтаксическое (развитие связки в настоящем времени, — ср. мер. **Si jon juk* «это (есть) река» при венг. *Ez haz* «это — дом», морд *Э Те минек пиресь* «это — наш сад», — наст. изд., с. 86-87). Таким образом, есть все основания считать, что полный переход протославян на мерянский язык занял большой промежуток времени, скорее всего несколько веков, оставив заметные следы

в мерянском языке, различимые даже в небольшом количестве его восстановимой лексики (около 100 слов, в том числе 68 корневых). Гораздо сложнее, чем конкретный характер протославянского влияния, особенно лексического, объяснить причину несомненной ассимиляции протославян мерей, тем более что этот процесс, в отличие от позднейшего противоположного процесса славянизации мери, гораздо хуже отражен имеющимися в распоряжении науки фактами. Судить об этом можно только с помощью единичных сохранившихся прото- славянских субстратных включений мерянского языка, а также заимствований других финно-пермских языков. Возможно, это было предопределено тем, что на начальном этапе финно-пермско-славянских контактов финно-пермские племена имели определенные, в частности, милитарные преимущества по сравнению со славянами

вытекавшие из предыдущих связей финно- угров с иранскими племенами. Эти преимущества могли способствовать тому, что финно-пермским, а позднее финским племенам удалось оттеснить основную массу протославян далеко на запад, и в области Волго-Окского междуречья, занятого протомерей, образовался поэтому значительный количественный перевес мери по отношению к протославянскому населению. Кроме того, протославяне на мерянских землях, ввиду передвижений балтийцев, могли оказаться отрезанными от своей основной массы, ушедшей на запад, а мерянское население могло увеличиваться как за счет переселявшихся на его земли и мерянизированных финно-угров, так и за счет ассимиляции славян. К тому же в этот период, когда мерянские земли были почти со всех сторон окружены землями других родственных финно-угорских племен, мерянский язык мог служить удобным средством общения и с ними, чем в это время уже не мог быть протославянский язык. На западе в той же роли выступал балтийский язык. Эта все более усиливавшаяся изоляция протославянского

Последнее предположение подтверждается результатами археологических исследований, — ср.: «Фатьяновцы, отрезанные от медных рудных источников (Вятско-Ветлужских и Средневожских) приуральско-камскими племенами, не могли долго противодействовать натиску прекрасно вооруженных металлическим оружием противников и были ими частично уничтожены, покороны и ассимилированы» (Крайнев, с. 271).

языка, связанная с постепенным уменьшением количества его носителей, и привела, в конце концов, к тому, что с течением времени все прото- славянское население было полностью мерянизировано задолго до того, как на тогда уже полностью мерянские в этно-языковом отношении земли началось переселение древнерусских племен. Однако ввиду того, что в целом ряде отношений протославяне не только не уступали мерянам, а частично даже превосходили их (например, в экономике, развитии земледелия и скотоводства, чему меря могла учиться у протославян), при неблагоприятности обстоятельств, в которых оказались протославяне и которые обусловили их ассимиляцию, она протекала чрезвычайно медленно и могла затянуться на целые столетия (возможно даже от 1 тыс. до н.э. — до 5 в. н.э.).

3. Некоторые из других этно-языковых контактов (прото) мери того же и более позднего периода. Связи с булгарами

Более кратковременными и эпизодическими были связи (прото)мери с другими народами Поволжья, с которыми она столкнулась при своем движении на запад, сперва в составе других финских племен, а затем как самостоятельный этнос. О некоторых из них пока можно делать только предположения, не подтвержденные конкретным лингвистическим материалом, основой историко-социолингвистического комментария. По мнению археологов, связи мери с угорскими племенами не прерывались и в исторический период. Возможно, своими истоками к этому же времени восходят и более тесные, чем прежде, связи с предками прибалтийских финнов, особенно усилившиеся в позднейшие периоды, близкие к собственно мерянской эпохе. Однако при бедности реконструированного мерянского материала, который имеется в настоящее время в руках исследователя, и при том, что речь идет о контактах с родственными языками, требующими особенно тщательного анализа ввиду близости (иногда тождественности) соответствующих лингвистических явлений, фактов генетически близких языков, в настоящее время нет еще возможности ответить на вопрос о конкретном характере этих контактов, которые, несомненно, имелись.

Из языковых взаимосвязей того же периода, что и контакты с протославянами, бесспорно устанавливается только влияние болгарского языка. Соответствующих фактов немного, но они важны и интересны в связи с тем, что указывают на важную роль болгар в развитии материальной культуры мери как части финских племен и как самостоятельного финно-угорского этноса.

В мерянском, прибалтийско-финских и мордовских языках выступает слово со значением «корова» (в мерянском и прибалтийско-финских языках) и «лошадь» (в мордовских), - ср.: мер. *lejma (<*leŋ'ta < *leэ ma) «корова» (наст. изд., с. 39), ф., кар., иж., вод. lehma, вепс. l'ehm, эст. lehm, лив. ni'em, ni'eme «то же»; морд Э *лишме* «лошадь», морд М *лишме* «конь» (только о красивом или игрушечном коне) < ф.-мер.-морд. leSm a. Очевидно, в основе слова лежит сложное слово болгаро-финского происхождения, образованное из булг. *laSa (ср. чув. *лаша*) «лошадь» (Егоров, с. 126) + ф. (< урал.) *ema «мать; самка» (ОФУЯ 1 1974, с. 402), что под влиянием сингармонизма, действовавшего, по-видимому, в прафинском идиоме-предке данных языков, должно было дать впоследствии *lasaema «(букв.) лошадь-мать, лошадь-самка, т.е. кобыла», а позднее в результате стяжения, связанного с деэтимологизацией и фонетической перестройкой слова, дало праформу *leSma, лежащую в основе всех приведенных выше слов (наст. изд., с. 121). Такова история формального развития слова. Что касается его семантического развития, то его наиболее логично представить себе следующим образом. У болгар, которые, как все тюркские народы, доили кобыл и употребляли в пищу кобылье молоко, предки мери, прибалтийских финнов и мордовцев усвоили тот же способ использования лошадей-самок как дойных животных. Именно в связи с этим используемые для доения кобылы получили у этой части финских племен название, заимствованное у болгар (у остальных тюрков название лошади имеет форму *alaSa, с сохранением начального а-), хотя и усложненное уточняющим компонентом финно-угорского происхождения *ema «самка; мать». Впоследствии, когда прибалтийские финны и меря переселились на запад и стали, по-видимому, не без влияния протославян, а, может быть, частично и балтов, использовать все больше, а затем исключительно в функции крупного дойного скота коров, название *leSma (> мер. *lejma, ф. lehma) стало обо-

значать сперва крупное дойное животное вообще, а затем было перенесено на коров, используемых в той же функции, что и первоначально кобылы. Что касается мордовских племен, то у них для обозначения коров стали использоваться другие слова (ср. морд Э *скал* «корова», морд М *траке* «то же»), а слово *leSma (> морд Э, М *лишме*) стало обозначать не кобылу, а лошадь вообще (независимо от ее пола). Рассмотренное слово интересно тем, что оно говорит о периоде, когда из финского единства выделились, с одной стороны, марийцы, а, с другой, прибалтийские финны, меря и мордовцы..... Как показывает оно, в этот период предки всех этих будущих народов находились в довольно оживленных экономических отношениях с булгарами, в том числе участь у них ведению такой важной отрасли хозяйства, как молочное скотоводство.

О связи непосредственно мери с булгарами свидетельствует другое слово, известное в подобной форме и с подобным значением только мерянскому языку, а именно мер. *pah Ca «овощи (свекла, брюква, огурцы)» (наст. изд., с. 110) (< булг. *рахСа, — ср. чув. *пахча* «огород; сад» < перс. *БауСа* «то же»). В данном случае заимствование свидетельствует о том, что у болгар меря училась огородничеству, культура которого, в свою очередь, была заимствована булгарами у персов. Следовательно, на мерю, как и на другие финно-угорские народы Поволжья, булгары повлияли и как непосредственные носители определенной достаточно высоко развитой (например, в области скотоводства) материальной культуры и как передатчики других культурных влияний, в частности идущего по Каспию и вверх по Волге влияния

***** К более позднему периоду, очевидно, связанному с началом собственно мерянской эпохи, а возможно, с периодом, непосредственно к нему примыкающим, относятся некоторые грамматические черты, отдаляющие мерянский от волжско-финских языков, в частности мордовских, и сближающие его с прибалтийско-финскими (особенности склонения, — наст. изд., с. 66-70; спряжение глагола *jole — «быть», — там же, с. 77-80). Более точному определению времени выработки этих общих черт мешает менее четкий, чем в лексике, характер грамматических взаимосвязей. Уже только к собственно мерянской эпохе (видимо, ее началу) относится формирование таких сугубо мерянских черт, как (в фонетике) переход а > о, о > у, е > і, а > е в новом закрытом слоге (наст. изд., с. 96) или возникновение вариантов глагола *jole — «быть» (*jol-; *ul-) (там же, с. 79-80).

фарсиязыч- ного Ирана.

Если первое заимствование наиболее точно (пока только в масштабе относительной хронологии) следует связывать с периодом выделения прибалтийских финнов, мери и мордовцев из финской общности, который предшествовал собственно мерянской эпохе, то второе относится уже непосредственно к собственно мерянской эпохе, причем ко времени, предшествовавшему проникновению на мерянскую территорию восточных славян. В этот период, поскольку влиянию Булгарского государства на народы Поволжья не противодействовала Киевская Русь, борющаяся, как известно, с булгарами за Волгу, по которой осуществлялась связь с персидскими и арабскими землями, контакты мерян с булгарами имели гораздо более непосредственный и оживленный характер, чем это стало возможно позднее. Следует думать поэтому, что заимствование могло произойти скорее всего не позже VIII-IX вв. На это во всяком случае указывают внешне(социо)лингвистические обстоятельства.



Металлические украшения
VI-XI вв. из Сарского
городища. [22, стр. 97]

4. Начало собственно мерянской эпохи.

Связи с балтами. Их характер
(1 тыс. до н.э. - VI-VII вв. н.э.)

Развитие мерянского языка в начале собственно мерянской эпохи, кроме собственных внутренних тенденций, обуславливалось воздействием индоевропейского протославянского субстрата, а также влиянием смежных с мерянским языков. В большинстве случаев это были финно-угорские языки или диалекты — прибалтийско-финские (вепсский), пермские (коми), марийский, мордовские (эрзя, мокша, муромский, мещерский), влияние которых вследствие малой изученности проблемы, усугубляемой сложностью установления их взаимоотношений, вызванной генетической близостью, в настоящее время не поддается выяснению. Только с одной стороны, не принимая во внимание контактов с протославянским языком, носители которого еще проживали на

мерянской территории, мерянский граничил с индоевропейскими языками (или диалектами). Это были балтийские языки, прежде всего язык голяди, тогда еще не вытесненные восточнославянскими племенными идиомами вятичей и кривичей, впоследствии вошедшими в контакт с мерянским, сперва на его границе, а затем на самой мерянской языковой территории. Балтийские элементы в мерянском, поскольку они относятся к индоевропейским, неродственным мерянским, значительно проще выделяются на фоне мерянских, финно-угорских, прежде всего лексических элементов. Это позволяет с большей определенностью, чем это относится к финно-угорским языкам, говорить о характере взаимоотношений между мерей и балтами. Слабая изученность древнебалтийских языков и диалектов этого периода, правда, лишает возможности связывать их с конкретными балтийскими идиомами, относя их пока суммарно к балтийским языкам в целом. О том, что данные балтийские элементы, несмотря на то, что в настоящее время они извлекаются из разнообразных видов русского языка, вошли в них непосредственно из мерянского, помимо

того, что они зафиксированы или сформировались в русском языке Центральной России, на бывшей мерянской территории, в еще большей степени свидетельствует то, что они преимущественно обнаруживают на себе следы влияния мерянской фонетики или заимствованы из балтийских языков там, где в настоящее время русский язык не имеет с ними контактов, но мог иметь мерянский, смененный впоследствии славяно-русским. К числу таких балтийских элементов, вошедших в русские локо- или социолекты непосредственно из мерянского, относятся прежде всего слова, обозначающие явления материальной культуры, заимствованные из балтийских языков, возможно, частично посредством прибалтийско-финских языков. Сюда относится мер. *kir0as «топор» (угличское арг. *кирбяс* «то же»), где уже наличие характерного для мерянского звука -0- вместо балтийского и прибалтийско-финского *v* (ср. лит. *kirvis* «топор», ф. *kirves* «то же»), наряду с фиксацией слова на постмерянской

территории, говорит о включении слова в русское арго из мерянского языка, в частности, из его западных говоров (наст. изд., с. 101).

Торговые связи мери с балтами, при которых она приобретала у них необходимые ей вещи, иногда с их названиями, были весьма оживленными, причем в качестве средства общения использовался балтийский язык; об этом свидетельствует мер. *ko1Bə- «говорить; разговаривать» (рус. (арг. угл.) кол- *бать* «то же»), явно связанное с лит. *kalba* «язык; речь», *kalbet i* «разговаривать» (наст. изд., с. 105). О прохождении слова через мерянскую среду, помимо прочих обстоятельств, говорит характерный во многих случаях для мерянского переход а > о. По-видимому, балтийский язык использовался мерей (и не только ею, а также прибалтийскими финнами) при общении с балтами, что заставляет предположить определенный его авторитет у финнов, очевидно, приобретенный им благодаря известному перевесу балтийских племен, прежде всего в области культуры. Объяснялось это, конечно, не каким-то извечным национальным превосходством балтов, а их более западным и южным расположением, что позволило им раньше, чем финнам, войти в соприкосновение с наиболее тогда развитой культурой европейских народов Средиземноморья — греков, римлян и связанных с ними народов Западной Европы. Как передатчики этой культуры балты имели в глазах финнов несомненный авторитет, что вынуждало преимущественно не балтов пользоваться одним из финских языков, а, наоборот, финнов прибегать к балтийскому. Это влияние нашло свое наиболее значительное отражение в прибалтийско-финских языках, отличающихся особым обилием балтизмов, однако не могло не затронуть и мерянский язык. Мер. *ko10e- «говорить» типологически сопоставимо с венг. *beszeini* (< *beszedni) «разговаривать (< беседовать)», словом славянского происхождения, указывающим на то, что венгры при общении с окружающими их славянами пользовались славянским языком (подобно тому, как меря при общении с балтами пользовалась балтийским).

5. Дальнейшие периоды (собственно) мерянской эпохи.

Начало контактов с восточными славянами. Обстоятельства христианизации

мери (X-XII вв.)

С новомерянской поры собственно мерянской эпохи, когда меря вошла в постоянный и все усиливающийся контакт с восточными славянами (т.е. с X в.), от мерянского и о мерянском сохранилось больше сведений, чем от предыдущих периодов, представленных в самом русском (диалектном) языке и связанных с ним пережиточных явлениях материальной и духовной культуры постмерянских областей Центральной России. Объясняется это тем, что, хотя сведения эти в основном извлекаются из мерянского наследия русского (диалектного) языка постмерянского периода, новомерянская пора хронологически ближе, чем древнемерянская, тем более протомерянская эпоха. Кроме того, эту пору, представленную конкретными историческими периодами, отделяют от предшествующей важные качественные отличия — с этого времени мерянский вошел в непосредственный контакт со (славяно-)русским языком, которому суждено было

стать его преемником. Ввиду этого социолингвистические явления этой поры более ясны и о них можно больше сказать.

Одно из таких важных явлений представляет собой христианизация мери и связанные с ней обстоятельства. Косвенные данные — упоминание в «Житии (епископа) св. Леонтия» (XI в.) того факта, что он, будучи греком по национальности, «русский и мерянский языкъ добрі уміяше», т.е. хорошо владел русским и мерянским языком (Ж. св. Л., с. 11), благодаря чему, видимо, добился больших успехов в христианизации мери, а также наличие мерянского, заимствованного из греческого, христианского термина *jopios/(>) *jols (< сгр. *βία^οΧο^*), «черт, дьявол», сохраненного на постмерянской территории (Углич, Солига-лич, Кинешма) (наст. изд., с. 99-100), — свидетельствуют о том, что при христианизации мери использовался мерянский язык, причем богослужебная литература переводилась на него, во всяком случае, сначала непосредственно с греческого оригинала, минуя церковнославянское посредство. Вынуждало к этому то обстоятельство, что на мерянских землях при большом количестве мерянского населения, в значительной части не владевшего либо владевшего плохо славяно-русским языком,

успеха в проповеди новой, христианской религии можно было достичь, только используя мерянский язык. Таким образом, хотя до сих пор подобных (возможно, не сохранившихся) памятников не обнаружено, есть все основания считать, что на мерянском языке существовали переводные памятники религиозного богослужебного характера. Ясно, что, несмотря на то что проповедь миссионеров среди мери велась, особенно вначале, преимущественно устно, проповедники христианства не могли ограничиваться только созданием устных текстов, посвященных пропаганде новой веры. При этом неизбежно было ознакомление с текстом Евангелия, Псалтыря, основных молитв, которые не могли импровизироваться, а должны были рассказываться и читаться. К тому же, поскольку при чтении на память могли неизбежно возникать нежелательные разночтения, необходимы были, хотя бы частично, фиксированные, т.е. письменные тексты. Таким образом, наиболее логично прийти к умозаключению о том, что проповедь христианства среди мери велась на мерянском языке и традиция ее была достаточно устойчивой, раз от нее даже после окончательного исчезновения мерянского как живого языка в русских постмерянских говорах остался мерянский христианский термин.

ственность Бога, существование многочисленных святых) был менее строг, чем иудейский и мусульманский, православная церковь как бы приближала новую религиозную систему к понятиям язычников. Функция верховного языческого Бога переносилась на Бога христианского, функции ряда особо почитаемых языческих божеств — на христианских святых, часть наиболее важных с точки зрения язычников празднеств связывалась с новыми христианскими праздниками. Менее важные моменты языческих культов или те из них, которые явно не поддавались адаптации применительно к новой вере, осуждались и объявлялись порождением дьявола, кстати, представление о котором также не противоречило мирозерцанию язычников, поскольку языческие религии в какой-то степени содержат представление о добрых и злых божествах, доброй и злой смерти и т.п. Подобная тактика православной церкви не вытекала, конечно, из того, что новая религия всегда и во всех положениях отличалась мягкостью при обращении язычников в христианство. Во многом она объяснялась тем, что попытки не считаться с многовековыми народными традициями, навязывание новой веры силой натолкнулись на серьезное сопротивление социальных низов, справедливо усмотревших в новой вере один из способов еще большего их порабощения социальными (феодальными) верхами. Новую узду надо было надеть на народные массы, которые к ней еще не привыкли, а чтобы они ее не сбросили, необходимо было время для убеждения самих масс в том, что эта узда не только не враждебна, не чужда им, а, напротив, самым тесным образом связана со всем строем привычных им культурно-религиозных национально-этнических традиций и представлений. Этим как раз и объясняется то, что на смену жесткой политике кнута пришла более мягкая и гибкая политика пряника¹, предопределившая путь как бы вхождения христианства в местные языческие традиции. Поводов для того, чтобы так поступать, к тому же в XI в., на который приходится

миссионерская деятельность среди мери первого ростовского епископа св. Леонтия и его ближайших преемников (Корсаков, с. 93), вообще на землях славянских тогдашних государств и конкретно на мерянских землях Владимиро-Суздальского княжества (Ростово-Суздальской земли) было более чем достаточно. В 1037-1039 гг. в Польше произошло огромное крестьянское восстание, сопровождавшееся разгромом церквей и монастырей, уничтожением, наряду с феодалами, представителей духовенства и попыткой восстановить в своих правах языческую религию. Вспыхнувшее восстание, которое перекинулось на Западное Поморье и Полабию, было с трудом подавлено совместными усилиями польских, древнерусских, чешских и немецких феодалов.

Немногим более чем через четверть века (спустя 32 года), в 1071 г. вспыхнуло языческо-антифеодальное восстание мери на мерянских землях, возглавляемое мерянскими жрецами и также с трудом погашенное. Согласно преданию, восстание привело к переселению части мерянского населения к марийцам или мордве, куда оно бежало от христианизации и связанного с ней усиления феодального гнета. Владимиро-Суздальскому княжеству, в то время окруженному разными финно-угорскими языческими народностями, близкими по языку и культуре с мерей, в лице его феодальных верхов абсолютно невыгодно было иметь у себя в тылу многочисленное финно-угорское (мерянское) языческое население, которое в случае жесткого насаждения новой религии могло объединиться с соседними родственными народами. Напротив, была необходимость как можно скорее завоевать его для новой религии, сделать все возможное, чтобы мерянское население находилось не во враждебной оппозиции к христианству, а воспринимало его с симпатией как свою религию~~*****~~. В связи с этим в миссионерской деятельности и в богослужении среди мери использовался родной для нее мерянский язык. Первые миссионеры христианства, стараясь приобрести своих сторонников, прежде всего среди детей и молодежи, привлекали их к себе не только

проповедью, а и тем, что угощали и кормили сладостями (Корсаков, с. 88). Для того, чтобы христианство закрепилось среди мери, проповедники старались увязать его с мерянскими традициями. Отражением этого является семантическое развитие мерянского слова *koка «старшая сестра; тетя; вообще взрослая (часто незамужняя) женщина; (новое) крестная мать» (наст. изд., с. 102-104). Видимо, у мери, как и у других финно-угров (воз

***** Подобная линия церковной политики была всего лишь тактическим приемом. Когда позиция православия укрепилась (например, в XVIII в.), против мордовских язычников устраивались целые военные экспедиции с применением артиллерии, сопровождаемые насильственным сжиганием языческих кладбищ.

можно, как пережиток материнского права), большая роль в семье принадлежала старшей сестре, в связи с этим данное понятие имело для своего обозначения специальную лексему, отличающуюся от слова, обозначающего младшую сестру. Старшая сестра помогала родителям многодетных, как правило, семей воспитывать младших братьев и сестер, поэтому к ней относились с особым уважением. То же слово использовалось со значением «тетя», поскольку то же самое лицо становилось теткой детей младших братьев и сестер. По-видимому, православная церковь использовала эту традицию и как бы ее освятила тем, что именно **кока* (слово, очевидно, родственное мар. *кока* «тетя» и морд Э *кака* «дитя, дитяtko (< ребенок-первенец, т.е. в том числе и старшая сестра)» < ф.-уг. (диал.) **какка* «(ум.-ласк.) ребенок-первенец (преимущественно девочка)» становилась, как правило, крестной матерью своих младших братьев и сестер. Наряду с чисто языковым отражением обстоятельств христианизации мери в опоре на ее культурно-языковые традиции можно найти и другие, выходящие за пределы лингвистических, черты, свидетельствующие о том же. Так, по-видимому, совершенно не случайно на изображениях местного святого Сергия Радонежского он в большинстве случаев представлен вместе с медведем. В житиях святых, правда, нередко встречается мотив дружбы святых со зверями, птицами, иногда даже хищниками (напр., львами) (ср. изображения святого Франциска Ассизского, представленного кормящим птиц и т.д.), однако то, что святой, деятельность которого связана с территорией, в то время, кроме славян, населенной мерей, изображен именно с медведем (а не, например, с волком), станет вполне понятно, если вспомнить, что медведь (наряду с конем, змеей и уткой) был одним из наиболее почитаемых священных животных у мери, если не самым почитаемым (Горюнова, с. 139-148). Со священным медведем, убитым в единоборстве Ярославом, связывают основание Ярославля (в городе на месте этого события у слияния Волги с Которослью до сих пор известен Медвежий овраг, а на старинном гербе города изображен медведь). О длительном сохранении остатка

226

медвежьего культа у мери, известного, по-видимому, в прошлом всем финно-уграм, но лучше всего сохранившегося у ханты и манси, свидетельствует то обстоятельство, что до сих пор на постмерянских землях наличники окон

(например, в г. Галиче, одном из бывших центров мери) украшаются стилизованным изображением следа медвежьей лапы с отпечатками когтей. Медведь здесь, как и в украшениях-оберегах, которые носили мерянские женщины, должен был, видимо, как тотемный зверь, беречь от зла и тем самым приносить счастье (для этого, очевидно, считалось достаточным изображение следа его лапы). Поэтому изображение медведя рядом с христианским святым, надо полагать, не только дань представлению о всемогуществе святого, приручавшего даже диких зверей. Молящийся перед изображением святого мерянин в какой-то мере мог чувствовать себя и поклоняющимся священному животному медведю. Тем самым христианская религия становилась ему особенно близкой, так же, как и вера в христианских святых, которые способны были даже поставить себе на службу наиболее почитаемое мерянами священное животное. Следы сохранения мерянского культа медведя, унаследованного затем (велико)-русской национальной традицией Центральной России, возможно, надо искать и в образе Русского Медведя как символа России (именно Великороссии)~~~~~. Образ этот, связанный с чисто народной русской традицией, — поскольку официальным символом-гербом России, унаследованным ею как Третьим Римом от Рима Второго, Византии, было изображение двуглавого орла, — не совсем ясен в своих истоках (у других славян подобного символа-тотема нет), если не принять во внимание традиций мери. При учете ее он становится ясен как одно из отражений меряно-славяно-русской преемственности. О бережности отношений к мерянским национально-этническим традициям — не противоречащей сказанному выше, а подтверждающей его — свидетельствует и такая деталь из труда Е.И.Горюновой (Горюнова, с. 233-234), где сообщается, что

~~~~~ Один из недавних отзвуков этого популярного народного символа России можно, видимо, усматривать и в Мишке О.Ткаченко. Исследования по мерянскому языку 1985 г.

довольно часто в местах совместных захоронений славян и мери (в случае смешанных браков) женщину-мерянку хоронили согласно мерянским традициям. О том же говорит длительное сохранение остатков культа другого священного животного мери, змеи, среди уже давно обрусевших потомков мери в Ярославской области. Е.И.Горюнова (с. 144) передает рассказ мальчика, записанный ею еще в 1947 г., который сообщил ей, что его бабушка носила на вороте рубашки вышивку, изображавшую стилизованную ползущую змейку. Все эти детали (языковые и внеязыковые), взаимодействуя друг с другом, свидетельствуют о социолингвистической ситуации, характеризующейся толерантным отношением духовенства как к мерянскому языку, так и к мерянским этническим традициям, которые не только не искоренялись насильственно, а, напротив, — во всяком случае, в начальный период христианизации мери, — старались использовать для мирного, безболезненного и согласующегося с культурно-языковыми традициями мери насаждения христианства. Именно этим обстоятельством и объясняется то, что мерянский язык, хотя он никогда не был и не стал официальным языком мерянских земель после проникновения туда славян, несмотря на постепенную славизацию этих земель, все же просуществовал на них свыше семи веков.

## 6. Меряно-(славяно-)русское двуязычие (XI в. — 1730/50 г.).

### Его следы и этапы развития

С постепенным расселением славян на мерянской территории, начиная даже с того момента, когда славянские поселения, сменившие балтийские, появились у ее границ, между мерянами и славянами установились регулярные контакты, экономические, социальные и культурные. Осуществляться они могли, как и всякое общение между людьми, только с помощью языка или языков. Конкретные и многообразные аспекты этих меряно-славянских (славяномерянских) контактов теперь, особенно когда только начинается их изучение, трудно установить, можно только попытаться наметить их основные типы, воспользовавшись теми следами, которые они оставили в современном (в основном) русском языке постмерянских областей. Судя, в частности, по тем следам, которые меряно-славянские языковые

контакты оставили в ономастике, первоначально значительное число мери не владело или было плохо знакомо со славяно-русским языком<sup>\*\*\*\*\*</sup>. В связи с этим славяне, входившие в контакты с мерей, вынуждены были в той или иной мере овладевать мерянским языком. Особенно это относилось к той части восточных славян, которая находилась у самих границ мерянской территории. Яркий пример этому дает название реки Москвы (< мер. \*Моэкэ[ик] «(букв.) Конопля (т.е. коноплевая) (река)», — река, известная тем, что по ее берегам выращивали коноплю и в ней же вымачивали) (Халипов, с. 131). До большого озера (Московорецкой лужи), которое, видимо, длительное время было границей между славянскими и мерянскими поселениями и к западу от которого располагались славяне-вятичи, река получила название Коноплевка, что представляет собой точный и согласный с духом славянского языка перевод мерянского названия \*Моэкэ[ик] (наст. изд., с. 56-57). Так перевели мерянское название реки на свой язык славяне, заставшие на ее берегах в верхнем течении мерянское население и в результате продолжительных контактов с ним и со сплошным мерянским населением, жившим к востоку от Москворецкой лужи, хорошо усвоившие их язык. К востоку же от Москворецкой лужи река получила название Моска (> Московь > Москва)-река. Следовательно, в этом случае славяне уже хуже владели мерянским языком, в результате чего элемент \*juk как наиболее частотный был ими хорошо усвоен, что же касается первого компонента, то он был оставлен без перевода. Однако если в данном случае славянское название еще точно калькирует (точнее,

\*\*\*\*\* Расположение в свое время среди мери возможных носителей протославянского языка в этом отношении ничего не могло дать мерянскому населению в смысле владения (или понимания) славянского языка вследствие двух основных причин: 1) протославянское население к моменту возникновения непосредственных меряно-восточнославянских контактов давно утратило свой язык, перейдя полностью на мерянский; 2) в последний период его сохранения оно, видимо, как это бывает при окончательной субстратизации любого языка, было сплошь двуязычным, в то время как мерянское население не знало языка славян, поскольку в этом не нуждалось. Таким образом, знание протославянского языка среди мери исчезло задолго до окончательного вытеснения протославянского языка мерянским и без того происшедшего за несколько веков до первых контактов с восточными славянами.

полукалькирует) мерянское, давая гибридное меряно-славянское название с оставленным без перевода первым компонентом и переведенным вторым, т.е. все же в какой-то степени точно передается (с частичным калькированием) внутренняя форма, структура мерянского гидронима, то в местах, более удаленных от границ мерянской территории, уже не сохраняется даже и эта (частично калькированная) форма соответствующих мерянских топонимов. Такие по происхождению названия мерянских рек, как *Яхрен* (Вл. обл.), *Маткома* (Яр. обл.), *Андоба* (Костр. обл.), возникшие, видимо, из первоначальных \**Jahrenjuk* «(букв.) Озера река» (наст. изд., с. 67), \**Maĭkotaĭik* «(букв.) езда (путешествие) река», т.е. река, пригодная для судоходства (или удобная для связи по воде) (наст. изд., с. 47), *AnDeBa(-e)-juk* «(букв.) Кормящая река, — река как приток Костромы, кормящая ее своими водами» (наст. изд., с. 81, 90), уже не имеют второй части (компонента) «-река». Видимо, он переведен и позже отброшен, поскольку здесь славяне, уже в меньшей степени пользуясь мерянским языком, отбросили постпозитивный (переведенный) компонент «-река» как чуждый структуре славяно-русского языка. Ввиду этого слово «река», как это обычно и свойственно славянским названиям рек, если и употребляется с ними, выступает не вторым компонентом сложного слова, т.е. в постпозиции к конкретному названию (в финно-угорских языках любое определение, даже несогласованное, выступает перед определяемым), а перед названием реки, т.е. (река) *Яхрен*, (река) *Маткома*, (река) *Андоба*. Таким образом, если те славяне, которые издавна жили на границе с мерянскими землями и общались с мерей, обладали хорошим знанием обоих языков (славянского и мерянского), то уже те славяне, которые стали массово поселяться по ту сторону мерянской границы, хотя и владели в какой-то степени мерянским языком, но, по-видимому, недостаточно, в связи с чем полный перевод мерянских названий, как правило, не осуществлялся, переводились наиболее частотные и, следовательно, хорошо известные элементы мерянского языка, остальные лексические элементы названий оставались без перевода. В тех местах, где славянское население более длительное время общалось с мерей, лучше знало их язык и, — в результате славяномерянского двуязычия, — привыкло к его структуре, внутренней форме, там даже при

частичном переводе эта форма сохранялась без изменений (*Москва-река*, — ср. рус. (< кар.) *Кимас-озеро* как калька кар. (фин.) *Kimas-jarvi*). В тех районах, где большие поселения славян возникали вследствие массовых переселений без предварительных (и длительных) контактов с мерянским населением, связанных с усвоением мерянского языка, — возможно, причиной было то, что эти поселения с самого начала возникали как чисто славянские и не имели смешанного населения, — эта чисто мерянская структура топонимов не сохранялась. Иногда, впрочем, и в тех случаях, когда славянское население не владело в достаточном совершенстве мерянским языком, мерянские гидронимы могли переводиться: показателен здесь пример реки с названием Каменка, на которой находится населенный пункт \**KiBo1* (< (мер. ст.) \**KiBa1o*) «Каменная (букв. Камень) деревня». Безусловно, река имела свое собственное мерянское название, по-видимому, \**ĭjuk* «Каменная (Камень) река» (Горюнова, с. 43). Однако подобные случаи не противоречат высказанному мнению о худшем знании мерянского языка славянами, селившимися в глубине мерянской территории: они знали далеко не все мерянские лексемы, а только наиболее частотные и потому известные им. Не исключено также, что, поскольку населенный пункт \**KiBo1*, как показывает его название, был мерянским, перевод названия реки осуществлен самим мерянским населением во время его постепенного перехода на русский язык.

Объясняется это тем, что первыми восточнославянскими поселенцами на мерянской территории были, видимо, крестьяне, проникавшие небольшими группами, медленно просачивавшимися на мерянскую территорию. Это постепенное проникновение, связанное с невысоким социальным положением славянских пришельцев, вызывало то, что они, будучи окруженными мерянским большинством, не чувствуя за своей спиной поддержки или покровительства сильной княжеской власти, были в максимальной степени заинтересованы в усвоении мерянского языка и, действительно, его хорошо усваивали и умели им пользоваться. Восточные славяне как участники массовых переселений, организуемых среднерусскими феодалами, у которых они находились в той или иной зависимости, уже, во-первых, не имели возможности в той степени укорениться в мерянской среде, как первые пришельцы, а,

во-вторых, больше чувствовали себя связанными с местной славяно-русской княжеской властью, чем со своими мерянскими соседями, к тому же часто отдаленными. Это становилось причиной того, что мерянский язык если и усваивался, то очень поверхностно. В лучшем случае это был примитивный «рыночный» язык, игравший чисто вспомогательную и все более второстепенную роль, особенно в меру того, как мерянское население, становясь двуязычным, все чаще и лучше стало пользоваться славяно-русским языком. По мере увеличения славянского населения на территории бывшей Мерянии и все большей славизации (частичной и полной) мерянского населения, все более редким становилось, видимо, знание мерянского языка славянами. По времени это совпало с периодом продвижения древнерусского населения на восток. В этот период, хотя здесь еще оставалось мерянское население, сохраняющее свой язык, знание им славяно-русского языка стало, однако, настолько обычным и частым явлением, а знание (славяно-) русским населением мерянского языка стало соответственно настолько редким и исключительным, что, в отличие от западной Мерянии, где в топонимах (гидронимах) переводились если не все, то по крайней мере их второй компонент \*juk «река», здесь даже и эта часть гидронимов перестала переводиться. В результате этого на крайнем востоке бывшей мерянской территории выступают полностью не переведенные мерянские по происхождению названия рек типа Портюг, Шортюг и под.

Таким образом, в развитии меряно-славяно-русских языковых отношений и двуязычия можно отметить несколько этапов: 1) период, когда во взаимоотношениях мери и восточных славян на пограничной территории и при первоначальном проникновении небольших групп восточных славян на мерянскую территорию преобладало славяно-мерянское двуязычие, т.е. когда славяне пользовались в общении с мерянами мерянским языком, а меряне могли не знать славянского языка (очевидно, ситуация меряно-славянского двуязычия возникала в то время, когда соответственно меряне, например, в качестве союзников славян в походах на Константинополь (Цареград) попадали на славянскую территорию); 2) с усилением проникновения славян на мерянскую территорию и соответственно постепенным усвоением мери славянского языка, — тем более при полной ее славизации, —

уменьшаются количественно и качественно случаи владения славян мерянским языком и все более частым явлением становится меряно-славянское двуязычие мери; 3) указанный процесс завершается положением, при котором меря становится чуть ли не сплошь двуязычной; случаи полного незнания мерянами русского языка становятся исключительным явлением и, очевидно, соответственно таким же исключительным явлением становятся случаи хотя бы поверхностного знакомства восточных славян (русских) с мерянским языком; 4) по-видимому, последним этапом должен бы быть этап окончательного и полного угасания мерянского языка, когда с переходом мери от меряно-русского к русско-мерянскому двуязычию (по-мерянски говорили изредка только с представителями старшего поколения) должен был наступить момент окончательного перехода к русскому одноязычию, при котором круг двуязычного (бывшего) мерянского населения все более сужался. Последним, как показывает аналогия других вымирающих или вымерших языков (корнского, полабского, водского, камасинского), должно было быть поколение двуязычных мерянских стариков, которые могли говорить по-мерянски только со своими сверстниками, изредка (при нередком осуждении со стороны младшего поколения) обращаться по-мерянски к своим детям, их частично еще понимавших, но предпочитавших отвечать по-русски, и в основном с детьми и исключительно со внуками должны были говорить только на русском языке.

Как всегда при взаимодействии языков, влияние было двусторонним. Еще продолжавший существовать мерянский насыщался все большим количеством русских заимствований, — очевидно, поскольку единственно непроницаемой была здесь только грамматика, в принципе возможны были иногда целые фразы, состоявшие из русских слов, но оформленные по правилам мерянской грамматики. В свою очередь, и локальный или арготический русский, а через него частично и литературный язык (конечно, в значительно меньшей степени) воспринимали материально мерянские лексемы либо путем калькирования мерянскую лексическую или фразеологическую внутреннюю форму, мерянские обороты речи, мерянские грамматико-семантические, функциональные модели. Здесь можно встретить целый ряд многообразных случаев усвоения русским (особенно областным) языком мерянских

элементов. Во фразеологии, например, сравнительно редкими были случаи усвоения русским областным языком, точнее, сохранения им в «беспереводной» форме мерянских оборотов (как правило, языковых формул), — ср. рус. (обл.) *Елусь по елусь* «пусть будет и будет (подразумевается — у тебя еда-питье!)» (из мер. \*Jolus pa joluS / \*\*tenan seYe(-)(te)-juYe(-)(te)) (букв. «Пусть будет и будет [у тебя еда (твоя) — питье (твое)]») (наст. изд., с. 79, 140) (пожелание типа рус. «Хлеб-соль!», высказываемое как приветствие тем, кто ест). С освоением мерянского (сказочного) фольклора, который при переходе на русский язык все чаще переводился, мерянские языковые формулы калькировались средствами русского языка. Примером подобной кальки, как известно, является рус. «Жил-был (царь)» (< мер. \*П'-ul' (sar)... (Ткаченко, 1979, с. 228, наст. изд., с. 133-134).

Включение мерянских элементов, позже ставших субстратными, в русский язык, связанное с (древне)русско-мерянским, а позже в основном с меряно-русским двуязычием, происходило разными путями. В основном их было два: 1) заимствование материальных элементов мерянского языка и 2) их перевод (калькирование) средствами русского языка. При этом, однако, возникали и смешанные случаи, когда вследствие недостаточно совершенного владения одним из языков при материальном заимствовании оказывались сохраненными некоторые лишние, в частности словообразовательные, материальные элементы мерянского языка, а при калькировании вследствие неполного владения семантикой обоих языков (как правило, русского, с помощью которого производилось калькирование) кальки отражали семантику (внутреннюю форму) переводимого мерянского слова, не свойственную русскому языку. Встречаются также иногда случаи, когда в русский язык параллельно включалось как материальное заимствование, так и его калька. Первое использовалось в «тайном» русском языке (одном из его аргов). Здесь у мерянского слова оказывалась русской только его флексия, при том, что слово параллельно (уже с мерянской флексией) употреблялось в самом мерянском языке. В общий же, не «тайный», язык то же самое мерянское слово могло включаться в калькированном виде не только с русской флексией, а и с аффиксами и корнем, благодаря чему слово становилось понятным и тем лицам, которые не знали

мерянского языка или «тайного языка» в его мерянских элементах.

Так, касаясь конкретных примеров, можно указать на два случая материального заимствования мерянского элемента, произошедших в двух частях мерянской территории — западной, где данный лексический элемент был органично включен в русскую грамматическую систему, и в восточной, где подобного включения не произошло, — русская флексия стала наращиваться на мерянское слово с сохраненным в нем мерянским суффиксом. Речь идет о мер. \*ко<sup>h</sup>- (\*koli(ms)) «умирать, гибнуть (чаще о животных); (тяжело) болеть», \*kolema «гибель, умирание; (тяжелая) болезнь». В западной части мерянской территории это слово вошло в русский язык в виде глагола *колеть*, в форме совершенного вида с префиксом о-, известного и русскому литературному языку. В восточной части бывшей мерянской языковой территории в русский язык из мерянского слово вошло в форме отглагольного существительного мерянского языка с характерным для него, как и для других финно-угорских языков, в частности, прибалтийско-финских и мордовских, суффиксом *-на* (< мер. \*-та), — ср. рус. (диал.) *колена* «болезнь» (Костр. губ. — Ветл. у.) (наст. изд., с. 105-106). От этого существительного путем прямого наращивания на него славянской глагольной флексии был образован глагол со значением «болеть»; *колена-ть* — *колена-ю*, *ко-лена-еши*, *колена-ет*. Пути разного включения того же самого мерянского лексического элемента можно объяснить тем, что на западе мерянской языковой территории, заселение которой славянами происходило постепенно при первоначальном значительном количественном перевесе мери, включение мерянских слов происходило еще в условиях существования славяно-мерянского двуязычия. При этом мерянское слово, проникавшее в славянский язык, более умело, в соответствии с правилами славяно-русской грамматики, в него включалось. На востоке мерянской языковой территории, как правило, мерянские слова — поскольку ко времени проникновения их в русский язык славяно-русское двуязычие как массовое явление уже отсутствовало — включались в русский язык самого же мерянского населения, т.е. были результатом меряно-русского двуязычия. Этим объяснялось явное несовершенство их адаптации. Очевидно, то же самое социолингвистическое обстоятельство, — калькирование элементов



мерянского языка средствами русского языка мерянского населения при развитии в его среде меряно-русском двуязычии и его, как правило, отсутствию у восточных славян, — вызывало соответствующее явление, — несовершенство калькирования на лексическом уровне. Примером этого служат известные только в их русской форме названия двух, по-видимому, мерянских селений, имевшихся под Москвой (в быв. Звенигородском уезде) — Меря Старая и Меря Молодая (Третьяков, 1970, с. 136-137). Эти странные с точки зрения славянских названий населенных пунктов наименования, где, как известно, прилагательному *старый* противостоит эпитет *новый*, а не *молодой* (ср. Старая Русса, Новгород, Новосибирск, Новый Оскол и т.п.), находят свое объяснение, видимо, в том, что в мерянском, как и в мордовских языках (ср. морд. Э, М *од* «новый; молодой»), для выражения понятий «молодой» и «новый» использовалось одно и то же слово

Поэтому предположительные мер. **\*\* (rapə) mega** и **\*\* (ut') mera**, которые, согласно требованиям славяно-русской семантики, в данном случае допускали только перевод *Старая Меря* — *Новая Меря* мерянским населением, которое ввиду передачи понятий «молодой» и «новый» одним словом должно было путать слова *молодой* и *новый*, было передано как Меря Старая и Меря Молодая.

Понятие «умереть» в мерянском языке, как известно, передавалось с помощью трех синонимов (наст. изд., с. 81, 83, 105106, 111-112). В нейтральном значении использовался глагол угорского происхождения **\*Bali/e(тв)** «умирать». При передаче того же значения применительно к животным или к людям, обозначающего внезапную, «злую» смерть или смерть тяжелую (от болезни), использовался собственный исконно мерянский глагол того же, что и угорский (финно-угорского < уральского), происхождения: **\*koli/e(тв)** «подыхать; гибнуть; умирать (от болезни); (>)

Не исключено, что в латышском языке, где так же слово индоевропейского происхождения, имеющее значение «молодой», передает одновременно понятие «новый» (ср. лтш. *jauns* «молодой; новый»), это явление обусловлено финно-угорским влиянием.

При реконструкции (особенно в случае Меря Старая (Старая Меря)) автор опирается, — во многом условно, — только на данные других финно-угорских языков, так как соответствующие мерянские лексемы пока не обнаружены.

(тяжело) болеть». Для передачи понятия «умереть» в смягченном (эвфемическом) виде использовался глагол **\*ul'Si(ms)** от действительного причастия прошедшего времени **il^a(-e)** «бывший». Таким образом, глагол буквально означал «стать бывшим, тем, кто был (но уже не есть, не существует среди живых)». В русском диалектном языке постмерянской территории (например, Ярославской и Костромской областей) известен глагол *побывишиться* «умереть», представляющий собой кальку соответствующего мерянского глагола. В арготю торговцев города Углича как «тайном языке» этот же глагол выступает в форме, непосредственно связанной с мерянской (русская здесь только флексия), поскольку понятие «умер (побывишился)» передается словом *ульшил*.

Ввиду того что мерянский язык во всех своих сохранившихся и ставших субстратными элементах полностью вошел в состав русского языка, у нас есть теперь возможность рассматривать результаты меряно-славяно-русского и славяно-русско-мерянского двуязычия в его влиянии на русский язык. Гораздо меньше возможностей делать выводы о влиянии русского языка на мерянский, так как собственно мерянских языковых памятников не сохранилось (или они пока не обнаружены). Судить об этом влиянии можно только на основе тех русских слов славянского происхождения, которые несут на себе явные следы мерянской фонетики или — реже — грамматики. Однако здесь, особенно в случае фонетических влияний, чрезвычайно трудно не смешать слова, действительно употреблявшиеся в мерянском языке, со словами, никогда в нем не употреблявшимися, а только испытывавшими следы остаточных фонетических влияний, сохранившиеся в современном русском языке постмерянских территорий. Среди и без того небольшого количества реконструируемых слов, которые можно отнести к словам мерянского языка, можно без сомнения выделить только два слова мерянского языка, представляющие собой заимствования из славяно-русского: первое — глагол **\*koroni(ms)** «прятать; хоронить» (ср. рус. (яр., костр.) *коронить* «то же»), второе — существительное **\*тата** «мама, мать», судя по его сохранившейся мерянской звательной форме **\*tataj** (рус. (яр.) *намай!* «мама!») (ср. морд. Э *авай* (зват.) «мать», морд. М. *тядай* (зват.) «то же», мар. *кокай* (зват.) «тетя» (наст. изд., с. 125)). Эти заимствования, сохраненные в русском (диалектном) языке, в котором они

пережили мерянский язык, интересны тем, что отражают два этапа заимствований славяно-русских элементов в мерянский язык. Первый этап соотносим с первоначальным периодом меряно-славяно-русских контактов, когда меряно-славяно-русское двуязычие только лишь начинало развиваться в мерянской среде, и в целом для нее оно не было характерно ни количественно, ни качественно. В это время, очевидно, далеко не все меряне знали славяно-русский язык и пользовались им; относительно ограниченным было также число случаев, когда меряне, даже знавшие славяно-русский язык, владели им совершенно свободно, скорее исключением, чем правилом, было использование славяно-русского языка в мерянской среде. В этот период в мерянский язык из славяно-русского заимствовались только те слова, которые обозначали новые для мери вещи или понятия. В случае глагола \*koroni(ms) речь, видимо, шла о слове, обозначающем новое понятие — погребение умерших по славянскому обряду (очевидно, имелся в виду и его христианский (православный) характер). В позднейший период, когда двуязычие среди мери стало повсеместным явлением, принцип заимствования (славяно-)русских слов изменился, претерпев расширение. Теперь, когда уже и меряне нередко стали друг с другом говорить по-русски (например, при поездках или переходах от одного мер(ь)ского стана («острова») к другому), когда неизвестно было, кем является встреченный, мерянином, понимающим мерянский язык, или русским (ср. ситуацию Лужицы с ее серболужицко-немецким двуязычием), в мерянский язык наряду с русскими заимствованиями, обозначавшими новые реалии и понятия, стали проникать и русские слова, синонимы мерянских. Ясно, что необходимости заимствовать слово со значением «мать» из славяно-русского в мерянский из-за отсутствия в мерянском соответствующего слова у мери не было. Новое слово вошло в качестве модного, престижного (ср., например, проникновение в русский язык вместо исконно русского *тятя* в результате русско-французского двуязычия дворянства французского по происхождению слова *papa* (от фр. *papa*) (Фасмер, III, с. 200). К концу существования мерянского языка количество таких слов, абсолютных синонимов мерянских, отличавшихся от них только стилистически, очевидно, значительно возросло. Мерянская речь, особенно разговорная, все больше (в ряде случаев) начинала напоминать своеобразное

насыщенное славянизмами меряно-русское арго, так же как первоначально в какой-то степени могло напомнить русско-мерянское арго русская речь мерян. Обе разновидности речи лексически все больше сближались, полному их сближению «мешало» только употребление разных грамматик, мерянской в первом случае, русской во втором. С полным переходом мери на русский язык, когда она отказалась от своей грамматики в пользу русской, мерянский язык окончательно субстратизировался, т.е. полностью вошел в местный русский язык постмерянских территорий в своих сохранившихся реликтных элементах.

## 7. Социолингвистическая оценка мерянского языка в период его взаимодействия со славяно-русским (XI в. - 1730/50 г.). Постепенное ее снижение

По образному, но, в сущности, очень точному выражению Л.А.Булаховского (из беседы с аспирантами и научными сотрудниками Института языковедения АН УССР, кажется, не зафиксированной ни письменно, ни с помощью магнитофона), языки представляют собой нечто подобное валюте на мировом рынке. Так же, как колеблется курс валют, колеблется и «курс языков» в социологической (социолингвистической) оценке как иноязычных народов мира, так и самих носителей того или иного языка. Согласно наиболее научно обоснованному, опирающемуся на марксистско-ленинскую методологию взгляду, распространенному в советской лингвистике, все народы и языки мира равны. Советской наукой отвергалось деление человечества на «высшие» и «низшие» расы и нации и точно так же ею отрицалось деление на извечно (и навечно) «лучшие» и «худшие» языки. Все языки одинаково хорошо обслуживают общества, которым они принадлежат, и уже в этом смысле они абсолютно равны. Однако, — и в этом нет никакого противоречия по отношению к данному положению, — отдельные части человечества в силу объективных условий могут находиться на разных стадиях развития по отношению к общему уровню, достигнутому человечеством в целом в его наивысших проявлениях. Тем не менее, как вытекает из указанного взгляда, блестяще подтвер-

Ср., в частности, высказывание Я.Грим- ма об английском языке: «В богатстве, мудрости и экономности средств ни один из живых языков не может с ним сравниться» (Комлев, с. 95).

выгоднее перейти на другой язык, вместо того чтобы развивать свой. Эти кризисные ситуации, не всегда переживаемые языками, бывают обычно связаны с длительным состоянием снижения социологической значимости языка как со стороны иноязычного населения, так и (что самое главное) со стороны его носителей. Такой переход совершается только в том случае, когда двуязычие становится не только массовым, но и совершенно универсальным, т.е. когда второй язык проникает буквально во все сферы жизни остаточного общества (его части), вытесняя первоначальный родной язык даже из сугубо домашнего, семейно-бытового употребления. То двуязычие, которое гарантирует сохранность первого языка, должно быть по необходимости функциональным, т.е. в этом случае второй язык должен употребляться только в части функций, обычно выполняемых языком, или дублировать часть функций родного языка при общении с представителями другой национальности (национальностей).

В мерянском языке в последний период его существования стал выступать универсальный (всеобщий) тип двуязычия, предопределенный в значительной степени количественным перевесом восточнославянского населения при его качественном перевесе, обусловленном большей в это время развитостью социально-политического строя восточных славян, их экономики и культуры по сравнению с мерянскими. В связи с этим мерянское этническое общество все больше становилось частью местного славяно-финского (славяно-русско-мерянского) сообщества, которое в процессе консолидации должно было со временем трансформироваться в новое этническое (велико)русское общество, частью складывающейся новой отдельной восточнославянской (велико)русской народности, образованной преимущественно из тех восточнославянских племен, которым суждено было впоследствии сформироваться в русский народ. Важная роль в этом процессе при ведущей роли восточнославянских этнических компонентов, как признают в последнее время советские историки, должна была принадлежать финским племенам (Третьяков, 1966, с. 285-286), и в первую очередь мере как наиболее мощному союзу фин-

ских племен, вошедшему полностью в состав новой восточнославянской народности.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют более подробные сведения о социо-

лингвистической оценке мерянского языка, чем те немногие факты, которыми располагает наука. Эти факты, экстралингвистический и интралингвистический, важны и ценны тем, что первый из них относится к началу поселения восточных славян на мерянской территории, а второй — к конечному периоду существования языка. Оба они в связи с деструктивным (нисходящим) характером развития мерянского языка в последний период его истории неоспоримо говорят о постепенном социоллингвистическом снижении ценности мерянского языка и в соответствии с этим его оценки, причем в последнем случае со стороны его носителей.

В «Житии св. Леонтия» в несомненно положительном оценочном контексте приводится факт хорошего знания св. Леонтием, первым ростовским епископом, мерянского языка, — ср.: «Се бѣ блаженный и костянтина града ражай и въспѣтаніе рускѣй же и мерскѣй языкъ добръ умѣяше книгами роускимъ и гречскимъ велми хытро-словесень сказатель» (Житие, II). Как вытекает из самого тона сообщения, знание мерянского языка, необходимого св. Леонтию в его миссионерской деятельности, оценивалось как часть широкой эрудиции святого, наряду со знанием греческого и русского языка и литературы, созданной на этих языках. Уже серьезность подготовки епископа-миссионера к своей деятельности, немаловажным условием успеха которой было хорошее знание мерянского языка, указывает на то, что за этим языком в еще смешанном этнически меряно-славянском крае, каким тогда было Владимиро-Суздальское княжество, усматривалась определенная (и немаловажная) значимость. Мерянский язык был тогда необходим в повседневном общении с мерянским населением, его было важно знать для успеха христианизации этого населения, что в тогдашних условиях, как упоминалось выше, имело большое политическое значение. Вполне возможно, что этот, тогда один из наиболее распространенных восточных финно-угорских языков, мог играть определенную роль и во внешних сно-

шениях с другими соседними финно-угорскими племенами, еще не входившими в состав восточнославянских княжеств, прежде всего мордовскими и марийскими. Меря могла выполнять ту же функцию, которую позже при проникновении восточных славян в югорские земли обских угров взяли на себя коми как толмачи и проводники.

С XIII-XIV вв., однако, в связи с постепенно развивающейся славянизацией мери и все большим распространением на бывших мерянских землях славяноязычного населения (в значительной части завизированных мерян) социолингвистическая значимость мерянского языка начала падать. Прежде всего стал падать его престиж в глазах славян и смежного с мерей неславянского населения. Ввиду того, что мерянский язык практически оказывался все менее необходимым, стала распространяться «лень» к его изучению среди восточно-славянского населения. Выше уже отмечались некоторые вехи этого процесса, указывающие на все худшее и более редкое владение мерянским языком среди немерянского славяно-русского населения. Если вначале восточные славяне пограничных с мерянской областей могли владеть этим языком в совершенстве, то впоследствии это знание стало играть вспомогательную, второстепенную роль, сведенную к ограниченному числу функций. Еще позже, в особенности с развитием массового, если не сплошного, двуязычия мерян (могли быть только разные степени владения, но славяно-русским языком владела почти без исключения вся меря), все более единичными, исключительными должны были становиться случаи владения мерянским языком среди русских. В основном его, по-видимому, не знал и не пытался знать из них никто, так как в этом отпала всякая практическая необходимость. Вслед за русскими, вероятно, не стремились познакомиться специально с мерянским языком и ближайшие нерусские соседи мери, в том числе финно-угры. Очевидно, с процессом укрепления и расширения границ Русского государства все больше возрастала заинтересованность этих финно-угров в знании русского языка. Мерянский же язык, если в какой-то степени и усваивался ими, то только в процессе спонтанного общения ближайших соседей

мери, например марийцев, причем, надо полагать, в этом процессе наблюдался больший интерес мери к языку своих более многочисленных в это время финно-угорских соседей, чем наоборот<sup>\*\*\*\*\*</sup>. В конечном счете это приводило и должно было привести к тому, что значение мерянского языка, его ценность стали падать в глазах самой мери. Вследствие этого человек, знавший один только мерянский язык или очень плохо понимавший русский - *\*(meran) jelman {\*\*mirDe}* <sup>\*\*\*\*\*</sup> «(мерянского) языка {человек}» — стал восприниматься и в мерянской среде отрицательно как неразвитый, невежественный, глуповатый, о чем свидетельствует пережиток этого выражения в слове (в ярославских говорах) *елы-ман (?)* (< мер. *\*jel(e)man* генитив ед.ч. от *\*jel(š)mš/(-B)* «язык») (наст. изд., с. 98-99) «елоп, дурак, дурень, болван» (Даль, I, с. 518). Очевидно, видоизменением того же слова, связанным с ним этимологически — на что указывают форма, значение, а также в основном тот же (постмерянский) ареал — является рус. (обл.) (влад., ряз.) *алма, алым* <sup>\*\*\*\*\*</sup> «простак, простофиля, разиня, глуповатый парень» (Даль, I, с. 13). С этим согласуются и русские народные анекдоты о пошехонцах (Пошехонье — один из окраинных районов бывшей Мерянии, где дольше всего держался мерянский язык), которых изображают недалекими, глупыми людьми. По-видимому, это впечатление было вызвано тем, что здесь еще долго недостаточно хорошо понимали русский язык, хотя уже умели пользоваться им, что и создавало впечатление глуповатости здешнего населения. Их русская речь, насыщенная длительное время (даже после полного угасания здешнего мерянского языка) мерянскими словами и оборотами, отличающаяся от других русских говоров формой русских слов, длительное время не позволяла им достаточно свободно общаться с носителями других русских диалектов (Корсаков, с. 19).

Во внешнем противоречии с указанными словами находится русское диалектное (постмерянское) слово, явно восходящее к тому же предполагаемому мерянскому выражению, но имеющее совершенно другое, едва ли не противоположное значение. Речь

\*\*\*\*\* Некоторую аналогию подобной ситуации можно найти в современном социолингвистическом положении водского и ижорского языков: представители малочисленной воды нередко, кроме русского, знают также ижорский язык с относительно большим, чем у воды, числом носителей, ижорцы, как правило, водского языка не знают.

идет о слове (диал. — моек., ряз., кал.) *ялыман* «ярыжка, наглый мошенник» (т.е. как раз пронырливый, хитрый, а, следовательно, и умный человек)~~~~~. Очевидно, данное слово, заимствованное из языка офень, связанных преимущественно с постмерянской территорией, отражает уже не собственно мерянский язык, а то арго (тайный язык), включавший ряд местных мерянских слов и выражений, но основанный уже на использовании ими русской грамматики (в своих операциях его использовали местные торговцы, в том числе разносчики товаров). Этот арготический русский язык, распространенный в ряде городов на бывшей мерянской территории (Галич, Кинешма, Нерехта, Кострома, Углич, Владимир и т.д.), имел свое собственное название, также связанное с мер. \*jelma(-e) «язык» (ср. венг. *puеіс*, мар. *йылме* «то же»), — ср. *елманс-кий* «древний галицкий язык (язык Галича Мер(ь)ского)» (Виноградов, с. 45), *елымаяс-кий* «условный язык Галичан (жителей того же города)», *елымая* (*елыма*) «человек, говорящий по-елымански (т.е. на этом условном (тайном) языке)» (Виноградов, с. 45; наст. изд., с. 98-99). Следовательно, данное слово не говорит об изменении отношения к мерянскому языку в среде самой почти полностью ассимилированной мери или о параллельной положительной или высокой социальной его оценке в последний период существования, так как данные взаимосвязанные варианты одного и того же слова относятся к разным объектам — мерянскому языку (в период полного его угасания), остававшемуся уделом забитых и простоватых (внешне) пошехонцев, и условному языку, которым пользовался «ярославский расторопный мужик» и другие жители постмерянской области, наряду с тем, что они великолепно владели своей уже родной русской речью, умело применяя в случае необходимости условный (русский же) язык, уснащенный (в особенности в прошлом) многочисленными элементами мерянского языка, бывшего часто родным языком их более или менее отдаленных предков.

## 8. Лингвистические данные о конечной границе существования мерянского языка

Выше были изложены соображения чисто исторического характера, позволяющие считать максимальным конечным рубежом существования мерянского языка первую треть или, что менее вероятно, первую половину XVIII в. Есть ли какие-либо чисто лингвистические данные, позволяющие считать это время достаточно правдоподобным? Косвенным доказательством этого служат данные современного областного и арготического (также областного постмерянского) русского языка, где еще во второй половине XX в. прослеживаются нередкие остатки мерянского языка, прежде всего в фонетике и лексике, а в калькированном виде в грамматике и фразеологии. Еще больше наблюдалось мерянских пережитков в начале XX века. Однако наибольшая их насыщенность относится к первой половине XIX в. и в особенности к его началу. Здесь встречаем многочисленные апеллативные диалектные (и арготические) слова, в том числе лексемы, обозначающие наиболее обиходные понятия и легко передающиеся с помощью русских слов (*лейма* «корова», *урма* «белка» и под.), даже фрагменты подлинно мерянской (некалькированной) фразеологии и грамматики, не говоря о многочисленных следах «мерянского акцента» в русской фонетике постмерянских областей как отражения фонетики мерянского языка. К сожалению, отсутствие диалектных фиксаций второй половины XVIII в. лишает возможности выяснить, как тогда конкретно обстояло с мерянскими реликтными элементами, хотя постепенное исчезновение их из областного русского языка по мере приближения к нашему времени и, наоборот, возрастание их количества по мере удаления от него позволяет сказать, что там их было еще больше. Однако даже реликты начала XIX в. позволяют говорить о том, что водораздел между исторической эпохой мерянского языка и

+++++ Чисто условное заполнение пока «пустой» клеточки системной таблицы мерянской лексики мерянизированной формой мордовского слова *мирде* «муж; человек», соответствие которому, возможно, существовало в мерянском языке.

+++++ Менее правдоподобна усматриваемая М.Фасмером связь этого слова (Фасмер, I, с. 73) с тур., азерб., казах. *алым* «ученый».

~~~~~ Связь с казах., кыпч., азерб., туркм. *аіатап* «шайка всадников» (Фасмер, I, с. 68) в данном случае сомнительна, хотя внешне слова и близки.

постисторической, постмерянской, находился еще в это время где-то очень недалеко. Итак, с этой точки зрения время 1730-1750 гг. как период, в рамках которого должна была лежать временная точка, отделяющая собственно историю мерянского языка от его постистории, истории его существования в виде субстратных пережитков русского языка, представляется весьма вероятным.

Близки к этим данным и те факты мерянского языка, которые располагаются во времени до этой предполагаемой хронологической границы, во всяком случае, недалеко от нее, особенно если учесть обычную медленность развития языковых явлений. В этом отношении весьма показательным является интересный факт, отражающий языковое развитие мерянского языка и отраженный в двух формах. Речь идет о названии населенного пункта бывшего Суздальского уезда Владимирской губернии, известного в форме (зафиксированной в 1578 г.) *Кибало* (< мер. *KiBalo) и в позднейшей записи (относящейся к XIX в.) как *Кибол* (< мер. KiBoi) (Vasmer, с. 417) (наст. изд., с. 37). Переход гласных звуков низкого подъема в гласные более высокого образования (на ступень выше) в новых закрытых слогах — характерная фонетическая особенность мерянского языка (наст. изд., с. 96). Однако для того, чтобы этот переход произошел, надо, чтобы мерянский язык продолжал жить, причем довольно продолжительное время после того, как была зафиксирована более древняя форма. Ведь совершенно ясно, что если бы в вышеуказанном населенном пункте или его окрестностях ко времени записи данного названия перестали говорить по-мерянски, то в русский язык название вошло бы в более старой форме *Кибало*. Предположить, что слово было видоизменено в самом русском языке, слишком сомнительно, так как на восточной части мерянской территории встречается много других подобных названий деревень со вторым компонентом *-бол* (очевидно, развившимся из *-бало*, в результате частичного озвончения *palo (*Balo) в интервокальной позиции, — ср. венг. *falú* (< *pali) «деревня, село» (ср. *Яхробол* (Jachrobol), *Шачебол* (SaCebol), *Толгобол* (ToiđoBoi), *Пачебол* (PaCeBoi) и т.п.) (Vasmer, с. 416-417). Если там, по всей видимости, данные формы возникли в самом мерянском языке (русскому языку подобная закономерность совершенно чужда), ничто не мешает предположить (другое более

правдоподобное объяснение вряд ли возможно), что данное изменение произошло в результате развития мерянского языка, который, следовательно, сохранялся, в частности, на территории бывшей Владимирской губернии (совр. Владимирской области), не только в конце XVI в., а какое-то время и после. Это время, поскольку, как известно, языковые изменения происходят весьма медленно, вряд ли можно уложить в оставшуюся часть XVI в., т.е. между 1578 г. (время записи) и последним годом XVI в. (1600 г.). Скорее всего, изменение должно было произойти уже на протяжении XVII в. Принимать для возникновения данного явления время, относящееся к началу XVIII в., хотя с точки зрения чисто лингвистической ничего неправдоподобного в этом бы не заключалось, более сомнительно, так как к этому времени мерянский язык, очевидно, в западных и центральных районах прежней мерянской территории скорее всего уже был (почти) полностью вытеснен русским и мог сохраняться только у отдельных лиц. Последние его носители должны были сохраняться на крайнем востоке мерянской территории, где долгое время русские деревни были редкостью, что подтверждается местным названием *Ружбал* (Ruzbal) (< мер. *RuZBa1) «(букв.). Русская деревня» (Vasmer, с. 417) (наст. изд., с. 59). Для фонетического развития данного наименования вполне допустимо принимать столетний срок, т.е. время до 1678-1680 гг., что уже очень близко, с противоположной стороны, к предполагаемому конечному рубежу существования мерянского языка, особенно если учесть, что речь идет не о всей мерянской территории, в том числе рассматриваемом районе ее, а о самой ее крайней восточной части. Принимая во внимание это расхождение, можно сделать поправку еще, по крайней мере, на лишние 50 лет, что даст 1730 г., т.е. время очень близкое (или совпадающее) с предполагаемым. Следовательно, и с точки зрения чисто языковых фактов нет ничего неправдоподобного в установлении 1730-1750 гг. тем рубежом, на котором закончилось существование мерянского как живого финно-

9. Периодизация истории мерянского языка

На основе того, что в настоящее время известно о мерянской истории в целом и о социолингвистических обстоятельствах развития мерянского языка, можно составить представление о периодизации истории мерянского языка, которое в силу фрагментарности имеющихся сведений и неизбежных лакун не может не быть лишено пока известной суммарности и схематичности. Ввиду того, что выше были подробно освещены основные узловые моменты двух исторических эпох мерянского языка, протомерянской и (собственно) мерянской, насколько они в настоящее время могут быть известны, при освещении периодизации в целом представлялось излишним столь же подробно на них останавливаться. По возможности здесь будут освещены только основные особенности каждого из рассматриваемых периодов. Несколько подробнее затронута периодизация только третьей, последней, постмерянской эпохи, о которой не было почти ничего сказано выше.

Как уже упоминалось, историю мерянского языка представляется оправданным разделить на три эпохи — 1) протомерянскую, 2) (собственно) мерянскую, 3) постмерянскую.

Протомерянская эпоха (7-6 тыс. до н.э. — конец 2 тыс. до н.э.) характеризуется в целом тем, что в это время еще не сложился мерянский как отдельный финно-угорский язык. В эту эпоху мерянский существует лишь как постепенно все сильнее выделяющийся на фоне с течением времени суживающихся языковых общностей (финноугорской > финно-пермской > финской, возможно, > также прибалтийско-финско-мордовско-мерянской) идиом (говор > диалект > диалектная группа). Протомерянская эпоха в свою очередь разделяется на три периода: 1) раннепротомерянский, 2) среднепротомерянский, 3) позднепротомерянский, где более или менее четко устанавливаются пока только начальная и конечная границы эпохи. Граница между концом раннепротомерянского периода и началом среднепротомерянского, а

также между концом среднепротомерянского и началом позднепротомерянского пока не поддается определению на основе абсолютной хронологии.

Для раннепротомерянского периода характерны контакты протомерянского идиома, уже отделившегося в составе финнопермской ветви от угорской ветви финноугорского языкового единства, с угорскими идиомами, в частности протовенгерским. С переселением протомери вместе с другими финно-пермянами на запад контакты протомери с уграми, в том числе протовенграми, прерываются. Зато в то же время у протомери в составе сперва финно-пермской, а затем финской общности устанавливаются контакты с протославянами, носителями фатьяновской культуры, продолжающиеся всю протомерянскую эпоху. Для раннепротомерянского периода для мери, входящей в финно-пермскую общность, характерны, таким образом, контакты с прауграми. Это, по-видимому, объясняется тем, что меря, входя в финно-пермскую общность, располагалась в то же время где-то в восточной части финно-пермской языковой территории, где она непосредственно примыкала к границе угорской. Это позволяло мере находиться в постоянных тесных контактах с уграми, что способствовало или выработке общих с праугорским (в том числе протовенгерским) черт, или тому, что праугорский идиом мог влиять на протомерянский. Для среднепротомерянского периода характерно обособление протомери вместе с другими прафинскими племенами от прапермян. Протомерянский идиом в этот период развивается вместе с другими прафинскими идиомами — предками будущих прибалтийско-финских, мордовских и марийского языков. В позднепротомерянский период протомерянский идиом особенно тесно сближается с праприбалтийско-финским и прамордовским. Очевидно, в этот же период все эти идиомы испытывают известное влияние со стороны булгарского языка. Конец позднепротомерянского периода, который застает протомерю где-то в непосредственной близости от ее исторической территории, куда она вместе с другими финнами переселилась с востока, или, — в том числе, — и на ее части, характерен особо тесным сближением протомерянского с праприбалтийско-финским.

***** Очевидно, это был крайний срок жизни его последних отдельных носителей. Ввиду отсутствия словарных фиксаций мерянского (о чем уже писалось выше), хотя в это время и создавался словарь языков и наречий России, следует считать, что последние группы массовых носителей мерянского языка к этому времени полностью исчезли.

Контакты протомерянского идиома с протославянским, особенно усилившиеся в следующий период уже (собственно) мерянской эпохи, продолжают.

(Собственно) мерянская эпоха (1 тыс. до н.э. — 1730/50 г.) распадается в свою очередь на два больших основных хронологических отрезка — А) древнемеряную (1 тыс. до н.э. — IX в.) и Б) новомеряную пору (X в. — 1730/50 г.). В целом (собственно) мерянская эпоха характерна тем, что в начале этого времени протомерянский идиом, возможно, не без некоторого воздействия протославянского, оказавшего на него известное влияние и способствовавшего кристаллизации его специфических черт, окончательно выделился из других финских языков и превратился в отдельный финно-угорский мерянский язык. В течение этой эпохи, относящейся к собственно истории мерянского, сложились окончательно и продолжали развиваться его специфические структурные (фонетические, грамматические, лексические и фразеологические) черты.

Древнемеряная пора подразделяется в свою очередь на раннедревнемерянский период (1 тыс. до н.э. — V в.) и позднедревнемерянский период (VI-IX вв.).

Раннедревнемерянский является доисторическим периодом в истории мерянского языка. О существовании его, как и его носителя, мерянского этноса, свидетельствуют археологические данные. О том же говорят языковые показания, субстратные включения из протославянского языка, сохраненные постмерянскими русскими говорами, реконструкция которых, с одной стороны, подтверждает их славянское происхождение, с другой, показывает, что они были включены в финно-угорский мерянский язык, испытав влияние его фонетики (ср. мер. *^hep (< *^hani) «двурогие вилы» < протосл. *dvani «предмет, включающий две части, двойни», *sdle «целый, здоровый» < протосл. *sdlī/-ъ) «то же»). В этот период (возможно, только до начала н. эры) мерянский находился в наиболее тесных контактах с протославянским, носители которого обитали на одной территории с мерей и постепенно были ею ассимилированы. Окончательное исчезновение протославянского языка на мерянской территории установить пока невозможно (максимальной границей мог быть V в., хотя не исключено, что это произошло несколькими веками раньше, на границе старой и новой эры). Можно допустить, что в тот же период

начались непосредственные контакты мери с балтами, ее западными соседями.

Позднедревнемерянский период характерен тем, что является первым историческим периодом в истории мери и ее языка. В VI в., т.е. начале периода, появляется первое письменное упоминание о мере: готский историк Иордан называет мерян (Merens) в перечне других народов. В IX в., т.е. конце периода, о мере впервые упоминает древнерусская Ипатьевская летопись. До VI-VII вв., очевидно, продолжают контакты мери с балтами (прежде всего, с наиболее выдвинутым на восток балтийским племенем голядь). К концу этого периода все больше усиливаются связи мери с восточнославянскими племенами — вятичами, кривичами и новгородскими словенами, которые, частично вытеснив западных соседей мери, балтийские и финно-угорские племена, преимущественно голядь и весь (вепсов), подходят вплотную к границе мерянских земель. Между восточными славянами и мерей устанавливаются тесные союзнические отношения, однако в это время восточные славяне еще не селятся на мерянской территории.

Новомерянская пора (X в. - 1730/50 г.) характеризуется в целом тем, что в этот период начинается и продолжается переселение восточных славян на мерянские земли, все более усиливаясь во многом под давлением внешних обстоятельств — нападения тюркских завоевателей (печенегов и половцев) на юг Киевской Руси, нашествия Батыя. Количественный, а частично и качественный перевес восточных славян и их материальной и духовной культуры над мерей и ее культурой приводит постепенно к славянизации мери. Однако этот процесс, с разной интенсивностью на разных территориях и в разные периоды, протекает постепенно и занимает в общей сложности, очевидно, более восьми веков. Мерянский язык исчезает поэтому не бесследно, оставляя свои многочисленные реликты в ономастике и апеллятивах локо- и социолектов постмерянских областей, что позволяет его частично реконструировать в постмеряную эпоху.

Новомерянская пора позволяет разделить ее на три периода — 1) ранненовомерянский (X — XII вв.), 2) средненовомерянский (XIII — XVI вв.), 3) поздненовомерянский (XVII — 1730/50 г.).

Ранненовомерянский период является временем, когда в общем мерянский язык

употребляется на всей исторической территории его былого распространения. Восточные славяне в это время в основном сосредоточиваются в городских центрах и их окрестностях и в отдельных местностях, не занятых до того мерей. Некоторая этническая и языковая чересполосица отдельных мерянско-славянских местностей не мешает повсеместному распространению мерянского языка, так как, во-первых, территориальные разрывы между отдельными районами его распространения, вызванные появлением восточнославянских этно-языковых островков, не особенно широки, во-вторых, начавшаяся славянизация мерянского общества (прежде всего, его верхов) не особенно глубока (очевидно, даже мерянская знать сохраняет знание своего языка), в-третьих, в это время еще довольно частым явлением, особенно в пограничных областях, где восточные славяне издавна соседствовали с мерянами, было не только поверхностное понимание, но и хорошее знание мерянского языка восточными славянами. Примерно с XI в. начинается христианизация мери, натолкнувшаяся на ее сопротивление и вызвавшая в 1071 г. крупное восстание, сопровождавшееся, по преданию, переселением части мерян к мари́йцам или мордовцам. В целях христианизации, по-видимому, осуществляется (св. Леонтием, первым ростовским епископом и его преемниками) перевод богослужебной литературы на мерянский язык (по крайней мере частично) непосредственно с греческого. Христианизация проводится в основном чрезвычайно толерантно, с максимальной опорой на культурно-этнические традиции мери и с использованием мерянского языка, — в связи с этим должны были, по-видимому, появиться и первые мерянские языковые письменные памятники (возможно, не сохранившиеся), — и поэтому, за исключением первого периода неудач, в общем христианство довольно быстро распространяется среди мерянского населения. Проникновение восточных славян на мерянские земли носит вполне мирный характер, поскольку меряне, как и древнерусское население, заинтересованы в укреплении своего союза, а обе части населения, — мерянское и древнерусское, — во всех слоях удачно дополняют друг друга. Отсутствие каких-либо конфликтов объясняется, по-видимому, полной равноправностью обеих частей складывающегося на территории Владимиро-Суздальской (> Московской) Руси, бывших

мерянских землях, общества. Мирный и взаимовыгодный славяно-финский (русско-мерянский) симбиоз приводит ко все более тесному срастанию общества, его консолидации во всех частях. Ввиду постепенно все усиливающегося перевеса славян в нем начинает преобладать не мерянская, а славяно-русская этноязыковая основа. Однако мерянский элемент растворяется в славяно-русском не бесследно и не безрезультатно (и не только в языковом отношении). Он накладывает свой отпечаток на поселившейся на мерянских землях части древнерусских племен. Вместе с влиянием других финно-угорских племен, растворившихся полностью или частично в здешней части восточного славянства, — мещере, муроме, веси, заволоч- кой чуди, води, ижоре, части мордовцев, мерянский элемент объективно способствовал ее выделению из древнерусского этноязыкового единства и превращению в отдельную восточнославянскую (великорусскую) народность, а затем нацию.

В средненовомерянский период, частично под влиянием грозных событий XIII в., нашествия Батыя, вызвавших приток древнерусского населения на здешние земли и отделивших мерю надолго от других финно-угорских народностей, связи с которыми поддерживали мерянскую культуру, а отчасти из-за перевеса древнерусской культуры, славянское население все больше начинает преобладать над мерянским. Увеличение численности славяно-русского населения во многом стимулировало процесс славянизации (> обрусения) самой мери. Это приводит к тому, что прежде сплошная мерянская этноязыковая территория с отдельными вкраплениями славяно-русских островков, напротив, дробится на отдельные «мер(ь)ские станы» (мерянские этноязыковые острова), количество которых с течением времени уменьшается. Вследствие этого мерянский язык, вместо того чтобы консолидироваться, все больше дифференцируется на своих все более разобщенных и отдаленных территориях, а это в свою очередь делает речь мери из разных местностей все менее взаимопонятной. В такой ситуации не исключена отчасти роль славяно-русского как языка-посредника даже между мерей разных, территориально далеко отстоящих местностей. Тем более необходимо знание славянорусского языка для мери вне мерянских, все более суживающихся, этноязыковых островов («станов»). Сложившаяся

ситуация ведет объективно к тому, что в этот переходный период, особенно к его концу, мерянский язык среди мери все больше сменяется славяно-русским. Если в предыдущий период даже меряно-русское двуязычие было среди мери не повсеместным и в основном, очевидно, имело место среди высших слоев мерянского населения, причем еще нигде двуязычие не сменилось среди мери славяно-русским одноязычием, то в это время оно начинает со все большей полнотой охватывать даже средние и низшие слои мерянского общества. Что же касается мерянской знати, то она, как правило, полностью русифицируется (об этом говорит, например, по-видимому, мерянский по происхождению русский дворянский род *Куломзиных* в Костромской губернии). В этот период, однако, мерянский язык еще сохраняется не только в восточных, наиболее отдаленных районах (бывшей) Мерянии, но даже в ее центре (н. п. *Кибало* (1578 г.)).

Поздненовомерянский период характеризуется тем, что к его концу мерянский язык окончательно перестал употребляться даже в тех местностях, преимущественно на крайнем востоке бывшей мерянской территории, где он еще к тому времени сохранялся. Установить с абсолютной точностью дату полного угасания мерянского языка, которая должна была совпасть со смертью последних его носителей, по крайней мере пока, невозможно, тем более, что, к сожалению, в России того времени этот исчезающий язык (в отличие, например, от исчезавшего примерно в то же время на западе Германии полабского) не привлек ничего внимания. Можно попытаться только указать ориентировочную дату, позже которой мерянский язык скорее всего уже не употреблялся. Сделать это можно лишь на основании некоторых косвенных указаний. Упоминание в одном из документов середины XVIII в. на крайнем востоке бывшей мерянской территории «мер(ь)ского стана» («Георгиевская (церковь), что в Мер(ь)ском (стане)») говорит о том, что в то время в этой местности могли еще быть живы последние носители мерянского языка или что, если их уже не было, это исчезновение произошло недавно и память о них была совсем свежа. По-видимому, поскольку лингвистические факты дают возможность допустить существование и развитие мерянского языка до второй половины XVII в. даже в центральной части бывшей мерянской территории, к тому же как языка целых групп населения, тем более

следует считать возможным его существование, причем как языка массового использования, до конца XVII — начала XVIII в. на крайнем востоке бывших мерянских земель. Однако даже здесь он явно клонился к полному упадку. Ввиду того, что начавшаяся в 30-х годах XVIII в. и продолжавшаяся в 50-е годы и позже большая лексикографическая работа по фиксации всего многообразия языков и диалектов, в частности идиомов Поволжья, уже не отразила мерянского языка, можно быть уверенным, что к 20-м годам этого века он перестал быть языком массового употребления, хотя кое-где и мог сохраниться в качестве языка последних лиц пожилого возраста, которые могли его еще помнить и знать как язык своего детства, когда на нем говорили еще все поколения, и иногда употреблять при встрече с лицами своего возраста, еще его не забывшими. Однако жизнь этих лиц, а, следовательно, и существование мерянского языка, по-видимому, не перешагнула временного рубежа 1750 или даже 1730 г.

Таким образом, существует определенный промежуток времени, отделяющий период, когда мерянский язык в последних местностях, где он был распространен, еще употреблялся всеми тремя поколениями, от периода, предшествующего его окончательному исчезновению, когда он сохранялся по инерции только среди стариков, представителей самого старшего поколения и, возможно, пассивно был частично знаком их детям, но уже совершенно неизвестен молодежи, их внукам. Предположить подобную ситуацию в последний период существования мерянского языка можно по аналогии других, известных науке, случаев исчезновения языков, связанных с переходом их носителей на другие языки, в частности на примере полабского языка. В этот период социолингвистическая ценность мерянского языка, очевидно, очень снизилась даже в глазах его носителей, для которых он стал таким же никому не нужным реликтом, как давно вышедшая из моды старинная одежда, устаревшие обряды и прочие культурные особенности подобного характера. Некоторая привязанность к мерянскому языку могла сохраняться только у стариков, которым он мог быть дорог как часть воспоминаний детства и молодости, но передать эту свою привязанность своим детям и внукам они уже не могли, так как те полностью в это время переориентировались на местную русскую культуру и выражавший

ее местный русский язык. Этот переход и переориентация могли происходить тем проще и естественней, что к тому времени местный русский язык и культуру и соответственно мерянский язык и культуру уже не отделяли такие расхождения, как в пору, когда на мерянских землях оседали первые восточнославянские поселенцы. С одной стороны, в мерянский язык вошли, несомненно, многочисленные заимствования из русско-славянского языка, судить о чем можно как на основании непосредственно известных реконструированных данных самого мерянского языка (ср. *koroni (-ms) «хоронить», *тата «мама, мать» (зват. *тата^)), так и на основании фактов даже таких высокоразвитых финно-угорских языков, как венгерский, финский, эстонский, для которых характерно большое число славянских заимствований. С другой же стороны, в процессе многовекового взаимодействия местный (славяно-русский) язык впитал в себя многочисленные, — материальные и калькированные, — заимствования и включения из мерянского языка. Это сопровождалось, видимо, также активным «переводом» наиболее распространенных и популярных мерянских сказок, пословиц и поговорок, песен и других фольклорных произведений. Поэтому мерянин, чему способствовало и его двуязычие, переходя со своего первого мерянского на второй местный русский язык, не чувствовал себя в нем как в совершенно чуждой стихии. Много в нем и по форме, внешней или внутренней (например, калькированные сказочные формулы или парные слова), и по духу (знакомые фольклорные сюжеты и мотивы) могло напоминать ему мерянскую национально-культурную традицию, только переодетую в платье другого, к тому времени уже хорошо знакомого языка.

С 1731/51 г. начинается постмерянская эпоха, длящаяся и в настоящее время. Если считать, что она связана только с существованием русских постмерянских диалектов и социолектов, т.е. диалектов и арготической лексики бывшей мерянской территории, включивших в себя пережитки мерянского языка, то завершение ее следует связывать с их полной нивеляцией и повсеместным распространением на данной территории русского литературного языка. Если же соотнести ее со всей суммой мерянских включений, когда-либо входивших в русский язык, в том числе и вошедших навсегда в русский литературный язык посредством русских постмерянских говоров,

то эта эпоха во всяком случае продлится на все время существования русского языка. Последний взгляд, по-видимому, следует считать более точным, чем первый, поскольку, не говоря уже о том, что в процессе взаимодействия русского литературного языка с местными (постмерянскими) говорами, процессе двустороннем, в русский литературный язык могут еще войти в материальной и калькированной форме диалектные мерянизмы, из литературного языка и русской фольклорной традиции вряд ли выйдут прочно вошедшие туда мерянские по происхождению материальные заимствования и кальки типа *(о)колетв* или наиболее типичной русской сказочной формулы *Жил-был...* и т.п. Навсегда, видимо, останутся на карте Центральной России десятки названий рек, озер, сел и городов мерянского происхождения (таких, как *Яхрен, Неро, Кибол, Москва* и многие другие). Мерянский язык, полностью влившись в своих сохранившихся элементах в русский язык, язык-преемник, стал тем самым его неотъемлемой частью. Следовательно, скорее всего, постмерянская эпоха продлится на все время существования русского языка. Парадоксальность ее заключается, однако, в том, что с течением времени из русских постмерянских говоров все в большей и большей степени выпадают субстратные мерянские включения и параллельно (тем временем как их становится все меньше и меньше в русском языке) все в большей и большей степени усиливается к ним интерес науки.

В связи с последним обстоятельством, наиболее существенным при характеристике постмерянской эпохи, всю ее допустимо разделить на три периода — 1) раннепостмерянский (1731/51 — 1810 гг.), 2) среднепостмерянский (1811 — 1890 гг.), 3) позднепостмерянский (с 1891 г.).

Для раннепостмерянского периода характерно сохранение наибольшего количества постмерянских элементов в местных русских говорах, арготической лексики и ономастике. Однако в этот период ввиду отсутствия особого интереса как к русскому фольклору, в текстах которого они могли выступать, так и к русской диалектологии они или совершенно не фиксировались, или их записи были настолько эпизодичны, что эти фиксации до нашего времени не дошли (или, возможно, просто не обнаружены).

В среднепостмерянский период возникает интерес к произведениям народной сло-

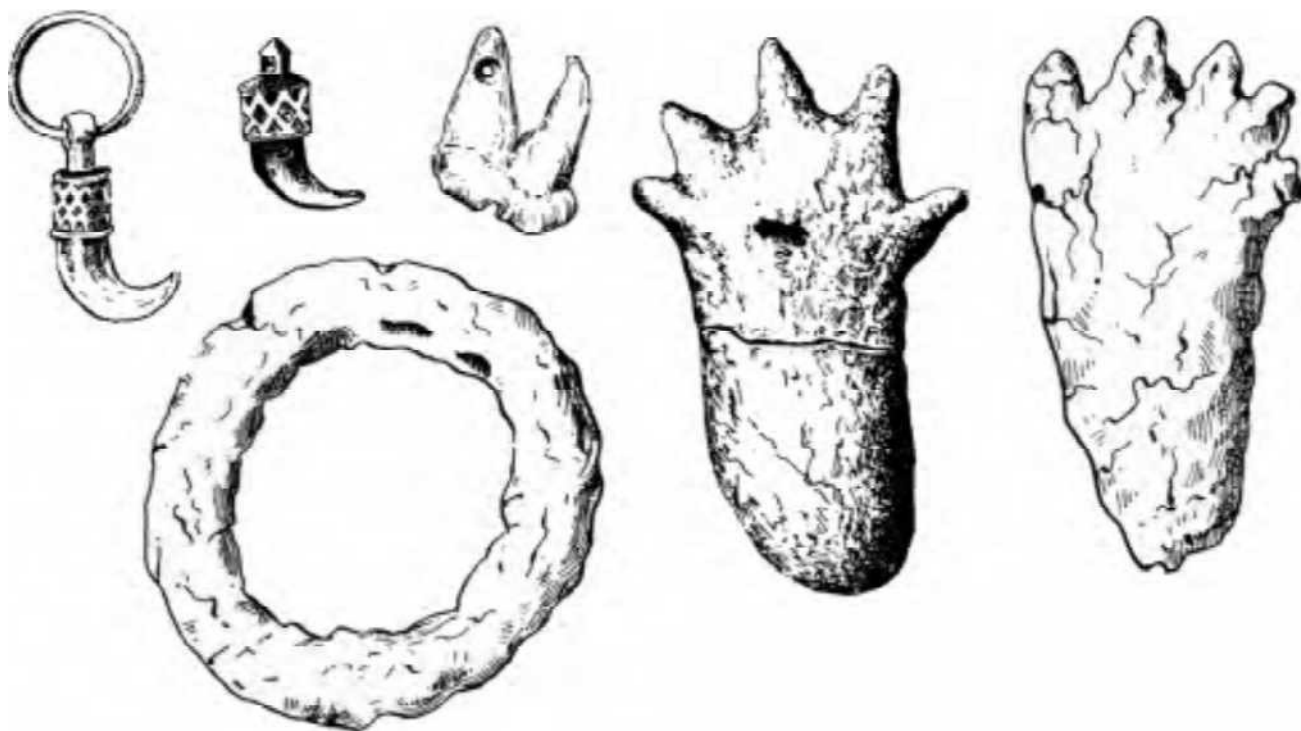
Однако намеченная программа научного исследования мерянского языка по его сохранившимся остаткам в этот период не была не только осуществлена, но даже и начата.

+++++ Ср.: «Главная особенность теперешнего населения губерний Ярославской, Костромской и Владимирской заключается в особом свойстве говора... нет никакого сомнения в том, что в оттенках говора великорусов вышеназванных губерний роль Мери далеко немаловажна и что при тщательном изучении наших областных наречий представится со временем возможность, быть может, вполне восстановить забытый, но не пропавший язык Мери. Остатки этого языка, кроме того, могут находиться в местных названиях урочищ и поселений... Язык есть главнейшее и самое определенное выражение народности, и более точное изучение языков мордовского и черемисского и сравнительное изучение финских наречий вообще несомненно приведут к любопытным выводам относительно языка Мери» (Корсаков, с. 15-16, 36).

ванию мерянского языка. Это был труд Т.Семенова «К вопросу о родстве и связи мери с черемисами», опубликованный в «Трудах VII археологического съезда в Ярославле 1887» (М., 1891, т. 2, с. 228-258). Здесь на основании анализа 403 местных, предположительно мерянских, названий в сопоставлении с их марийскими (черемисскими) сопоставлениями впервые было высказано мнение по поводу этимологии целого ряда мерянских по происхождению названий. Несмотря на то, что в работе Т.Семенова высказан устаревший в настоящее время взгляд, согласно которому мерянский язык якобы особенно близок к марийскому, взгляд, опровергаемый позднейшими исследованиями, работа имеет ценность как первая попытка осмыслить лексический материал мерянского языка. Часть приведенных в ней этимологий вполне научно доказательна и поэтому до сих пор не утратила своего значения. С появления работы Т.Семенова в 1891 г. датируется начало научного исследования мерянского языка и, тем самым, начало

позднепостмерянского периода. В дальнейшем успехи финно-угроведения, с одной стороны, и русской диалектологии, с другой, позволили с еще большим успехом продолжить начатую им работу, которая получила свое развитие в появившихся позже работах М.Фасмера, П.Равилы, А.И.Попова, О.В.Вострикова, С.Г.Халипова, О.Б.Ткаченко. Работа по реконструкции и исследованию мерянского языка нуждается в еще большем внимании к себе и ее интенсификации, что, помимо всего прочего, вызывается усилившимся процессом нивеляции русских народных говоров, вместе с которыми исчезают и постмерянские элементы.

Задача реконструктивного исследования мерянского языка и мерянских древностей в целом, имеющая важное значение для воссоздания истории Центральной России до прихода туда восточных славян, для возможно полного воссоздания мерянского языка, ценного самого по себе, для финно-угроведения, русистики, славистики, теории субстрата, как одна из важных комплексных задач должна быть решена объединенными усилиями ученых, представляющих все гуманитарные науки. Ведущая роль при ее решении должна принадлежать языковедам.



Предметы культа медведя IX-XI вв. из Поволжья. [22, стр. 147]

II. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ФАКТАМ ВНУТРЕННЕЙ ИСТОРИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ПЕРИОД СУБСТРАТИЗАЦИИ)

Многообразные вопросы внутренней истории субстратных языков как в период их существования, так и в особенности с момента их окончательной субстратизации, т.е. своеобразного «свертывания», связанного со вхождением в язык-преемник, не исчерпываются полностью, однако в значительной степени сосредоточиваются и группируются вокруг двух едва ли не наиболее важных здесь проблем — 1) проблемы стойкости разных элементов языка и их сохранения в составе субстрата, возникшего на основе данного языка, 2) проблемы взаимовлияния и взаимной адаптации субстратного, а перед тем субстратизирующегося, языка и языка-преемника, в данном случае языков мерянского и славяно-русского. Эти проблемы в том объеме и степени, в которой это возможно теперь, и будут рассмотрены ниже.

1. Проблема степени стойкости разных составных частей мерянского языка в элементах его субстрата

Проблема стойкости языков при их взаимодействии принадлежит к одной из наиболее сложных проблем общего языкознания. Стойкость языка в целом предопределяется стойкостью той этнолингвистической общности, а точнее общества (этнуса), который им пользуется. Однако данная формулировка слишком обща, особенно если иметь в виду историю развития этносов на протяжении многих тысячелетий. Если взять, например, Западную и Центральную Европу и проследить ее историю за время, не только относящееся к нашей эре, а к эпохе намного древнее (за тысячу или несколько тысячелетий до нашей эры), и при этом посмотреть на нее с точки зрения существующих в настоящее время там государств, стран и этнических территорий, то на этих землях за единственным исключением Страны басков с ее древним доиндоевропейским языком — да и то, видимо,

потому, что у нас нет возможности заглянуть в историю земли, занятой этой страной, глубже определенного исторического рубежа — не обнаружится ни одной местности, где население на протяжении обозримой его истории не меняло бы по крайней мере один раз (а то и дважды-трижды) свой язык. Тем не менее, очевидно, на одной и той же территории, помимо пришельцев и прокатывавшихся по ней волн миграций, подобных, например, т. наз. эпохе великого переселения народов (а таких эпох была не одна, а много!), все время оставалось какое-то постоянное, возможно, даже всегда преобладавшее автохтонное население. И вот оно-то в основном и меняло несколько раз свой язык. Если смотреть на эти смены языков с точки зрения этого автохтонного по своему составу общества, то они будут выглядеть как смена одежды, внешней формы, в которой развивалась местная культура, а между последовательно сменяющимися, облеченными в различную языковую «одежду» культурами можно усмотреть общую единую линию преемственности, где новый язык как носитель новой (для данной местности) культуры наслаивался на предшествующую культуру, заключенную в форму предыдущего, впоследствии вытесненного языка. Линия преемственности между ними осуществлялась в значительной степени с помощью языкового субстрата, являющегося частичным отражением более широкого понятия субстрата культурного, той совокупности наследия материальной и духовной культуры, которая передается автохтонным (на данном уровне) населением новому населению, образовавшемуся в результате слияния автохтонов и пришельцев. Этот культурный субстрат входит как важная составная часть в новую культуру, образующуюся в результате слияния культуры автохтонного и пришлого населения.

Язык формирующейся новой этнической общности играет первостепенную роль в

создании ее культуры, в которой сливаются воедино культура, принесенная извне, и культура местная, в последнюю (заметим, что это очень важно) в свою очередь включены в какой-то степени предшествующие, культурные, в том числе языковые, субстраты в своих наиболее стойких элементах. Духовная культура предшественников — это, как правило, словесная культура, хранящаяся (в дописьменный период) в устном народном творчестве (сказках, песнях, загадках, сентенциях народной мудрости — пословицах и поговорках, собрании важных примет и наблюдений над погодой и природой в целом, способом ведения хозяйства и жизнью вообще, что часто входит в эти сентенции), а также в особенностях языкового этикета, языковых формулах, связанных с местной этикой. Часть этих важных местных элементов культуры заключена в самом языке, прежде всего в его фразеологии и, будучи плохо выделяема, допускает в случае их особой ценности только буквальный перевод, т.е. калькирование. Наиболее ценное из местной культуры большей частью, — если появление новой волны пришельцев не связано с поголовным истреблением автохтонов (случаем не таким уж частым), — как правило, бесследно не пропадает, поскольку переодевается в форму нового языка, т.е. переводится, чему способствует период двуязычия. Примеров перевода старого фольклора с одного местного языка на второй, позднейший, можно найти достаточно много как в отдаленном, так и в более близком прошлом. При перенесении одной (более ранней) культуры данной местности в другую (более позднюю) многое остается не переведенным (переведенным не до конца), т.е. сохраняется или часть материальных особенностей и элементов языка-предшественника, или внутренняя форма его слов и оборотов. Эти неперевоенные (или не до конца переведенные), часто в силу своей неперевоенности, связанной к тому же с их особой выразительностью, элементы языка-предшественника, воспринятые языком-преемником, и являются в нем элементами языкового субстрата. Иногда эти элементы, отражающие особенности языкового мышления, строй языка, оказываются удивительно стойкими. Так, например, французское числительное *quatre-vingts* «восемьдесят (букв. четыре (по) двадцать)» отражает счет не

десятками, свойственный индоевропейским языкам, а двадцатками, характерный для иберийско-кавказских языков и, видимо, и для того языка иберско-баскского типа, который был распространен во всей Франции до прихода туда кельтов (галлов). Затем этот язык был оттеснен на юг галльским языком, но, несмотря на это соответствующее слово, передающее счет двадцатками, было калькировано галльским языком, а отсюда народной латынью Галлии. Таким образом, внутренняя форма иберско-баскского слова была сохранена, несмотря на двукратную смену языка — галльского, сменившего иберско-баскский, и галльского, смененного латинским. Несомненно, подобные случаи могли быть и на территории Центральной России, где финно-угорским мерянским был сменен индоевропейский протославянский, а мерянский в свою очередь затем был сменен славяно-русским. Однако при настоящем уровне исследования проблем преемственности культур Центральной России и представляющих их языков проследить так глубоко линию последовательной взаимосвязанности сменяемых языков пока невозможно. Достаточно сложен сам по себе уже вопрос о сохранности элементов мерянского языка, на котором здесь будет сосредоточено внимание.

Поскольку вопросу фонетической адаптации уделено специально внимание далее, здесь о нем, в частности, как и о вопросе стойкости фонетики, следует сказать в наиболее общих чертах. Как показывает исследование фонетического материала, отраженного в примерах мерянского фонетического воздействия на слова славянорусского происхождения (включая заимствования) и в чертах фонетики мерянского языка во включениях из него, при известной взаимной адаптации двух взаимодействующих языков, в целом фонетика субстратного языка, особенно в области консонантизма, проявляет очень большую степень стойкости, и, — что следует специально отметить, — даже в ту эпоху, когда субстратный язык давно вытеснен и полностью субстратизирован.

Что касается грамматики, лексики и фразеологии, то здесь степень стойкости разная и проявляется по-разному. Поскольку выяснить, каким был мерянский язык в целом даже в наиболее близкий нам, последний, период его существования, пока нет никакой возможности, речь может идти и пойдет только

о сохранности элементов мерянского, представленных в мерянском субстрате русского (как правило, областного) языка.

В целом, — и это, видимо, характерно для субстратных языков вообще, — элементы грамматики мерянского языка в «чистом» (т.е. некалькированном, материальном) виде, как и следовало ожидать, сохраняются только имплицитно, скрытно либо в составе топонимов, либо, если речь идет об апеллиативах, среди диалектизмов или арготизмов (частично фразеологизированных), из состава которых они не выделяются. Грамматические форманты здесь как непонятные не вычлениваются сознанием, формы с ними воспринимаются, будучи неосновными, как основные, т.е. в частности, для существительных формы косвенных падежей как формы им.п. ед.ч., в связи с чем на них наращиваются грамматические форманты русского языка, — ср., например, форму иллатива ед.ч. *дульяс* (< мер. **tuljas*) «огонь», воспринимаемую как форму им.п. ед.ч. или форму мн.ч. им.п. (на которую в свою очередь наращен русский формант — показатель мн.ч. -и) *бяньки* «вилы с двумя зубьями» (< мер. **rap-ek* + и » *бяьхй*) (наст. изд., с. 67, 96-97). Следовательно, есть основание считать, что грамматические показатели субстратизирующегося мерянского языка, как правило, в субстрат русского языка не включались. Обычно в него попадали только чистые корни (основы) в одной из основных форм. Если при этом все же часть грамматических формантов в субстрат «проскакивала», то это происходило или «по недосмотру», вследствие того что значимость формы уже не была известна и она осознавалась как одна из прямых форм без грамматических показателей (в лексических апеллиативах), или потому, что данные формы употреблялись чисто традиционно, механически в составе традиционной лексики ономастического характера или, реже, в составе фразеологизированных (фразеологических) оборотов, точное значение которых уже не осознавалось (в связи с чем их слова ошибочно сближались с русскими)*****.

Таким образом, в сущности, материальные элементы мерянской грамматики, если и оказывались в

составе субстратных элементов, то чисто случайно. В связи с этим сохранились только отдельные ее фрагменты, восстанавливаемые лишь при системной реконструкции и привлечении сравнительно-исторических данных родственных языков. Наличие (даже случайное) грамматических элементов, сохранных мерянским субстратом, косвенно зависело от частотности тех грамматических форм, которые выступали в составе лексической ономастики (здесь, например, почти невозможны или, во всяком случае, мало частотны личные формы глаголов, зато довольно часто встречаются именные (причастные) формы глагола) или в составе наиболее частотных и традиционных фразеологизмов — языковых формул.

Более обычен при проникновении в субстрат и сохранении в нем для грамматики (и фразеологии) путь калькирования. Однако он обусловлен наличием соответствующих материальных элементов в языке-преемнике. Так, из системы местных падежей (6 падежных форм) русский язык в качестве языка-преемника смог отразить в виде оттенков местного падежа две мерянские падежные формы (их функции) — инессивную и адессивную, ср.: «В этом лесу нет ничего интересного» (инес.) — «В этом лесе (~ у этого леса) нет ничего интересного» (адес.) (наст. изд., с. 68-69). Латышский язык как язык-преемник большого числа растворившихся в нем ливских (финно-угорских) говоров из тех же 6 падежей стал своим местным падежом отражать, наряду со свойственным ему и раньше инессивным значением (*Es esmu Rīgā* «Я (есмь) в Риге» (инее.)), также иллативную функцию (*Es braucu Rīgā* «Я еду в Ригу» (илл.)). Связано это с разным инвентарем языков-преемников. Там, где у языка-преемника имелись соответствующие материальные средства, черты языкового субстрата могли быть отражены. Там, где они отсутствовали, они не отражались, оказывались за бортом грамматической системы языка-преемника. Грамматическая система языка-преемника как система замкнутая, ограниченная определенным числом элементов, могла отразить из языка-субстрата и активизировать с его помощью только те материальные грамматические показатели, которые, совпадая в чем-то функционально с соответствующими грамматическими элементами языка-субстрата,

***** Ср. явно народно-этимологическое сближение оборота *елусь поелусь* (< **joluS* ра *joluS* «пусть будет и будет») с рус. *блось бы* у Даля (Даль, I, 518).

Следовательно, в формальном отношении язык-преемник при грамматическом влиянии языка-субстрата или не претерпевает никаких изменений, или, если им и подвергается, то, как правило, только опираясь на запас своих собственных служебных слов и формантов. Происходит, таким образом, преимущественно лишь изменение его внутренних грамматических форм при сохранении и неизменности внешних. Соответственно с этим можно сделать вывод о том, что свою грамматическую структуру, как и фразеологию, язык-субстрат в языке-преемнике сохраняет обычно лишь в калькированном виде (передача их в материальной форме принадлежит скорее к исключениям). При этом калькируется не вся грамматическая система языка-субстрата, а только те ее части, для передачи которых есть соответствующие материальные средства (форманты) у языка-преемника.

Если в грамматике для передачи отсутствующих в языке-преемнике внутренних грамматических форм используются уже

Cp.

Субстратная лексика проникает в язык-преемник тремя основными путями — 1) в составе ономастики (прежде всего, топонимов); 2) в составе арготизмов, принадлежащих условным («тайным») языкам (в данном случае постмерянских территорий); 3) в составе диалектизмов местных говоров (иногда наиболее частотные элементы лексики отмечаются в двух, а то и во всех трех источниках). Наименее стойкими из субстратных по причине их близости к не включаемым в язык-преемник грамматическим элементам являются местоимения и служебные слова. В собранном и реконструированном материале отмечено всего два местоимения (**ma* «я», **Si* «это», — наст. изд., с. 75-76), один предикатив (**nemen* «нет», — там же, с. 85), три частицы (**jou* «вот», **-ka*, **-ki* (усилительные), — там же, с. 85-86) и один союз (**pa* «и», — там же, с. 85). Близки к ним по своей малой частотности прилагательные и наречия: пять прилагательных (**PaD* *ga* «сильный, здоровый», **il'Doma* (**-Deme*) «безжизненный», **kolDoma* (**-Deme*) «безрыбный», **maZeJ* «красивый, приятный, милый», **som* «черный», — там же, с. 71-73, 115) и одно наречие (**paHa(-he)* «мало», — там же, с. 84-85). Мало от мерянского языка сохранилось также числительных (только **i/ukane* «один (ум. ф.)» и *SeZum* «семь», — там же, с. 73-75). Обращает на себя внимание сохранение малых чисел, не выходящих за пределы первого десятка. Это может объясняться как их большей частотностью (по сравнению с большими числами), так и вследствие этого их лучшей сохранностью и большей стойкостью. В тех случаях, когда в связи с двуязычием происходит вытеснение собственных числительных и замена их заимствованными, оно начинается с наиболее крупных чисел (ср. болг. (< гр.) *хилѣда* «1000» (при стел. (дболг.)

*taс^?a), нлуж. (< нем.) (нар.) tawzynt «тысяча», hundert «сто»). В тех языках, где подобный процесс зашел особенно далеко, дольше всего сохраняются именно числа первого десятка, причем преимущественно относящиеся к первой его половине. Так, коми-пермяцкий язык заимствовал (в отличие от коми-зырянского) из русского все числа после 10. Берберский же заимствовал из арабского все числительные, заменив ими собственные, за исключением первых трех чисел натурального ряда (1, 2, 3). Не исключено, что и в мерянском сохранение двух чисел первого десятка могло быть связано с тем, что в нем в последний период его существования, с которым в наибольшей степени связана постмерянская (субстратная) лексика русского языка, употреблялись только собственные числа первого десятка. Остальные числа были, возможно, заменены в это время русскими или часто ими заменялись. Относительно небольшим является состав глагольных форм мерянского происхождения (точнее, глагольных корней), сохранившихся в субстрате (не больше 17-18 корневых слов) (*Fu(j)- «дуть», *pele- «бояться», *jole- «быть», *nar- «видеть, смотреть», *pele- «глотать», *ага- «делать», ele- «жить», *tuDo- «знать», *anDo- «кормить», *ројмо- «мочь», *kolpe- «разговаривать», *seZэ «разрывать», *kole- «сдыхать», шеге- «сказать», *hali(-e) «умирать», *tohte- «хотеть», *matko- «путешествовать», *koroni- «хоронить», — наст. изд., с. 115). В наибольшей степени в субстратной лексике сохранились существительные (в составе собранной и исследованной лексики около 48, *¹Ge «перо», [^]elшв «язык», *ku[^] «женщина (старуха)», *mama(-e) «мама, мать», а[^]e «отец», *toka «старшая сестра, тетя; крестная мать», *[^]ne «(низкий) берег», *nero «болото», *pujeGa «вьюга», *Sa[^]- «дым», *lo[^]a «ложбина», *tule «огонь», *jahre «озеро», *juk «река», *Sa me «верба», Sol'a «вяз», *makSa «гнилушка», *рад(Е)а «гриб», *toma(-e) «дуб», *moska(-e) «конопля», [^]аггс «кора», *nuS «крапива», *швГ(е) «ягода», [^]тма «белка», *paraka «ворона», *agka «галка», *peZe «гнездо», *kurGa «журавль», *l[^]jma «корова», *kaGa «кукушка», *SorDe «лось», *kutke «орел», *[^]l «рыба», *muZs «рябчик», *peП(е) «собака», *[^]а(-e) «(молодая) собака», *sorjes

«хариус», *ki(£)/(*ku) «камень», *[^]сП «(двурогие) вилы», *palo «деревня», *[^]j «масло», *pahea «овощи (свекла, брюква, огурцы)», *peD'ma «перемет», *[^]ju «сарай», *kir[^]as «топор», *li1' «душа», *jop[^]s (*jo(P)ls) «дьявол», *pano(-e) «курган», — наст. изд., с. 115-116).

Значительная часть субстратной лексики сохранилась в составе топонимов. Их характеризует тематическое разнообразие при связи преимущественно с характеристиками природы, окружающей тот или иной топоним, и описанием их свойств. Преобладают здесь (в отличие от диалектных апеллятивов) слова, относящиеся к основному лексическому фонду. Поскольку человека могла интересовать характеристика окрестностей рек (и селений), имеется ли поблизости рыба, какие деревья растут рядом с ними, водятся ли в лесах звери и какие, в топонимах выступает целый ряд соответствующих прилагательных (причастий) и существительных: (реки) *Андоба* (кормящая, — приток), *Нельша* (проглотившая — многих, свои притоки), *Кол-дома* (безрыбная), *Коядоба* (несущая — воду), *Яхрен* (озерная); *Шарна* (верба), *Шоля* (вяз), *Понга* (гриб), *Кера* (кора, луб), *Куш* (крапива), *Барака* (ворона), *Кега* (кукушка), *Шор-да* (лось), *Кутка* (орел), *Муза* (рябчик), *Ки(в)* (камень) и т.п.⁵²

По другим причинам подобные же основные понятия могут передавать и арготизмы. Цель арготизма не дополнить язык недостающими ему лексическими средствами, обозначениями новых реалий или стилистических (синонимических) оттенков, а скрыть понятия, передаваемые общеизвестными словами. Именно поэтому среди арготизмов встречаются слова, относящиеся к основному лексическому фонду мерянского языка, в том числе сохраняющие фрагменты мерянской грамматики. Последнее можно объяснить и тем, — поскольку речь идет частично об арготизмах торговцев, — что в то время, когда мерянский язык уже начинал выходить из употребления, он еще какое-то время мог употребляться, в частности среди мужчин, в качестве тайного языка, непонятного русскому населению из немерянских местностей. В составе арготизмов встречаются обозначения таких элементарных понятий, как: *немень* «нет» (ср. венг. *pet*), *мае*

(
мер. *si jon «это есть»), ел- манский
«говорящий на тайном языке» (< мер. ^eita
«язык»), меёла «нет» (< мер. *(e) jo^ «нет (не
есть)») (наст. изд., с. 78-79, 84) и т.д.

Иначе проявляет себя апеллятивная лексика субстратного происхождения в диалектах. Если вначале здесь, как и в ономастической и арготической лексике, довольно часто встречаются (пережиточно) те понятия, которые легко могли бы быть переданы общерусскими словами славянского происхождения, которые, однако передаются мерянскими по происхождению лексемами (*урма* «белка», *лейма* «корова»), то со временем эта лексика выходит из употребления и в диалектном узусе сохраняются только те субстратные слова, которые обозначают специфические явления, характерные для данной местности, ее природы, особенно хорошо приспособленные к местной трудовой деятельности — *сорьез* «хариус» (название не рыбы вообще, а характерного местного ее вида), *тохта* (< мер. **ЪойЪа*, — наст. изд., с. 47) (название трухлявой древесины), *мякша* (гнилушка) (слова удобные как точные обозначения видов древесины и тем самым важные для постмерянских областей с их развитым лесным хозяйством), *колеть* «умирать (о скоте)» — слово, в форме *о-колеть* широко известное и литературному языку, и т.п.

Следовательно, первоначально (очевидно, как наследие двуязычного периода с его постоянным переключением с одного языка на другой) диалектный и арготический языки постмерянских местностей получили большой запас лексики, унаследованной от мерянского языка. Здесь наряду со словами, обозначавшими своеобразные синонимические оттенки или реалии, было много слов, являющихся абсолютными синонимами для обозначения наиболее элементарных общих понятий, которые ни семантически, ни стилистически ничем не отличались от слов

*****52

Появление простых существительных в названиях рек при передаче их славянами объясняется тем, что в мерянском эти названия образовывали сложные слова со вторым компонентом *juk «река» (т.е.

+++++Koldomajuk «Везрыбная река», ♦SarnojuK «Вербовая (буков. – Верб) река» и под.), который славяне обычно отбрасывали.

славянского происхождения, имевшихся в русском литературном языке и других (непостмерянских) говорах русского языка. Эти слова активно употреблялись в пору, когда еще не вышел из употребления мерянский язык и существовало мерянско-русское двуязычие, а также по инерции и некоторое время после этого, в особенности в отдаленных местностях, живущих своей изолированной жизнью. Хотя мерянская грамматика перестала использоваться, но сохранилась еще традиция употреблять подобные слова в разговоре с односельчанами и носителями данного русского постмерянского говора (как привычка, унаследованная от предшествующего двуязычного периода). Данные слова употреблялись как в территориальных говорах, так и в локальных социолектах. Однако в дальнейшем их судьба в первых и последних стала разной. Поскольку местные диалекты или говоры являлись частью общенародного русского языка, его носители должны были стремиться ко взаимопониманию с носителями других говоров. Поэтому в меру того, как упрочивались их связи с носителями других говоров — а к этому вели такие факторы, как развитие экономики, улучшение путей сообщения, ликвидация крепостного права, переселения в другие местности и т.д. — постмерянские говоры все более стали сближаться с литературным языком, а их носители избавляться от слов, обозначающих самые обычные общие понятия, но совершенно отличающихся от литературных и вообще общерусских. Эти слова были понятны только в своей местности, и их не понимали и нередко вышучивали в других местах. К ним в лексике говора, как правило, относились слова мерянского происхождения. Таким образом, постмерянские говоры освобождались, как от ненужного балласта, от этих непонятных в других местах и неоправданных с точки зрения русского языка слов. Постепенно в местных говорах стали оставаться только те специфические слова, которые не имели соответствий в литературном языке, будучи необходимыми в связи с особенностями местной жизни, быта, трудовой деятельности (название специфических реалий — связанных с местными промыслами, кушаньями, бытом и т.д.). Часть из этих слов могла также выпадать из лексики с изменениями условий жизни.

Иная судьба ожидала мерянскую лексику в «тайных языках». Здесь, напротив, поскольку

нужны были слова-преграды, ширмы, мешающие пониманию со стороны непосвященных, необходимы были непонятные слова именно для обозначения самых распространенных понятий. Однако с отмиранием тайных языков стал вместе с ними отмирать и этот источник сохранения мерянской лексики.

Наиболее прочным, менее зависимым от условий жизни оказывается «язык земли», топонимы мерянского происхождения. Однако этот язык, не будучи связан непосредственно с апеллятивной лексикой, требует особых усилий для своего понимания, поскольку отсутствие столь острой необходимости в прозрачности семантики, которую наблюдаем в апеллиативах, делает этот язык зачастую слишком темным, с трудом поддающимся расшифровке.

2. Проблема адаптации фонетических элементов при взаимодействии мерянского субстратного языка с русским языком-преемником

Данная проблема при настоящей степени разработанности мерянистики вообще может быть затронута только в общих чертах.

С одной стороны, по-видимому, определенное воздействие со стороны фонетики мерянского языка испытала фонетика всех русских говоров бывшей мерянской территории, а через них в какой-то степени и фонетика русского литературного языка. Так, для системы местных русских окающих говоров характерно оканье с редукцией, возможно, связанное с системой мерянского вокализма, где выступали редуцированные *e*, *e* и *и*, вероятно, было возможно безударное *о* (наст. изд., с. 30-31, 34-35, 43-44, 56). Именно это обстоятельство способствовало быстрой перестройке и специфичности местной системы вокализма при влиянии на них, прежде всего на говор Москвы и ее окрестностей, южнорусских акающих говоров. Здесь распространилось аканье с редукцией, т.е. установилась система, свойственная современному русскому литературному языку.

В основном развитие фонетики, как это и наблюдается при длительном сосуществовании двух языков, шло в сторону их сближения, хотя процесс этот был очень долгим — и до сих пор в постмерянских русских говорах

много фонетических черт, говорящих об их мерянском прошлом.

Если русский язык мог усвоить себе от мерянского его редукцию, то мерянский, очевидно, под влиянием русского утратил, видимо, существовавшие в нем своеобразные переднерядные лабиализованные звуки *о* и *и*, а также различие *e* и *a*, которое могло в русских северных говорах поддерживаться наличием фонем **fe** и *e* (наст. изд., с. 21, 29, 37-41).

В основном все же сближение шло в сторону постепенного приближения мерянской фонетики к русской, тем более, что в конечном счете оно привело к субстратизации мерянского языка. Первоначально существовавшие в мерянской полувзвонки были постепенно заменены звонкими, хотя наличие полувзвонких и нефонематичность противопоставления глухой-звонкий (< полувзвонкий) и до сих пор дает себя знать в (пост)мерянских русских говорах, в постоянной путанице глухих и звонких (с точки зрения литературного языка) (*кадюка*, *падог* и под. — наст. изд., с. 16-18). Постепенно постмерянские говоры утратили звук *Р* (там же, с. 22-25), среднеязычные звуки (там же, с. 26-27), глухие сонанты (там же, с. 27), усвоили звук *х* и утратили звук *h* (там же, с. 53-54) и т.д. Хотя пережитки прежнего состояния, например, избегание сочетаний согласных в начале слова (*па-сибо* (< спасибо), (*на*)рахать (< (на)страхать) и т.п.) (там же, с. 19-21), инициальное ударение в топонимах мерянского происхождения (диал. *Кострома* при лит. *Кострома*) (там же; с. 44) и т.д., еще реликтно встречаются в постмерянских русских говорах, все же с течением времени они все больше идут на убыль. Подобное направление фонетического развития имеет своей причиной большую социолингвистическую престижность (славяно-)русского языка сравнительно с мерянским, особенно повысившуюся (с одновременным все большим понижением социальной ценности мерянского) к концу существования мерянского языка. Речь в данном случае идет не об абстрактной «красоте» или «безобразности» тех же самых звуков, а об их оценке в связи с социологической оценкой языка в целом. Те же самые звуки *о* и *и*, которые оказались неприемлемыми в мерянском с точки зрения русского, одновременно высоко оценивались

во французском языке опять-таки с точки зрения русского. Звук Р был неприемлем в мерянском, но одновременно его стремятся усвоить и усваивают в испанском и т.д. Вопрос звуковой адаптации и сближения языков не относится к одному русскому и мерянскому. Он гораздо шире. Звуки *o* и *u* или один из них были, видимо, свойственны еще финно-угорскому праязыку (Лыткин, 1974, с. 102). Однако далеко не во всех этих языках они сейчас представлены. Возможно, вовсе не случайно они есть в финском, эстонском и венгерском, которые длительное время контактировали с германскими языками (немецким и скандинавскими, где они имеются), в марийском, контактировавшем с татарским, где они также существуют. Но их нет в ливском, поскольку их нет во влияющем на него латышском (звук и известен только старикам, носителям одного из двух ливских говоров, — наст. изд., с. 42), и в мордовских языках, длительное время подвергавшихся сильному русскому влиянию. Следовательно, при сближении двух языков большее влияние оказывает в фонетике социолингвистически сильнейший. В то же время в более имплицитном виде часть своих фонетических тенденций передает языку-преемнику и язык-субстрат. Фонетические особенности и тенденции субстратного языка держатся особенно долго и упорно, надолго переживая сам этот язык. Очень многие черты постмерянских русских говоров и до сих пор, особенно же в прошлом, — начале XX века, обнаруживают яркий финно-угорский (мерянский) «акцент», хотя мерянского языка давно не существует, а вместе с ним исчезли и меряно-русское двуязычие и возможность влияния фонетики мерянского языка на фонетику русского.

Однако, не находя себе поддержки в фонетической системе русского литературного языка и других русских говоров, эти пережитки, противоречащие им, вызывающие искажение фонетического облика русских слов (ср. *моргать* [^] сморкать, *не рой его* [^] не тронь его и т.п.) (наст. изд., с. 20, 27), должны постепенно вытесняться. Из фонетического влияния мерянского языка имеют реальные основания остаться среди субстратных только те его особенности, которые или совпадают с особенностями русского языка, или с ними сблизились: **tU*, **t0* > *t'u*, *t'o* — ср., в частности, мер. **rokse* «пролив; река,

вытекающая из озера и служащая связью между ним и рекой» — р. *Бекса* (наст. изд., с. 41-43), а также те, которые настолько слабо уловимы, что с трудом осознаются и поэтому имеют шансы сохраниться (особенно в ритмомелодике), — как правило, эти наиболее стойкие особенности имеют тенденцию проникать как в фонетику говоров, так и даже литератур-

ного языка (ср. его редукцию). Впоследствии эти ритмомелодические особенности, возможно, могут вызвать «вторичные» фонетические процессы, которые приведут к некоторым изменениям, близким к субстратным.

Наиболее стойко фонетический облик мерянского языка, с неизбежными, однако, позднейшими адаптациями, по-видимому, сохранится в реликтных мерянских словах (апеллятивах и ономастике).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрение реконструированного мерянского языкового материала в историко-социолингвистическом плане позволяет обнаружить в развитии мерянского языка и его субстратизации (постепенном его превращении в мерянский субстрат русского языка) черты, видимо, общие с другими субстратными языками, и специфические особенности, обусловленные своеобразием языка и его истории, внешней и внутренней.

2. К чертам, общим с другими субстратами, принадлежит наибольшая стойкость внутренней формы субстрата и наименее контролируемой сознанием звуковой его стороны, ритмомелодики. К наименее стойким принадлежит грамматика в ее материальном проявлении и апеллятивная лексика, обозначающая наиболее общераспространенные понятия, большей стойкостью тот же разряд лексики обладает в составе ономастики.

3. При сближении языков и в особенности их смене наиболее решающую роль для направления сближения и смены играет социолингвистическая ситуация этнических обществ, носителей языков. Ею предопределяется их социолингвистическая оценка. Социологически более престижный язык влияет на менее престижный. Если сумма преимуществ, связанных с этнической общностью, носителем второго языка, значительно и стойко превосходит те социальные достоинства, которые связаны с принадлежностью к этнической общности первого языка, возникает положение, могущее в конечном счете привести первую общность к смене своего языка на язык второй общности. Для этого, однако, должны также сложиться предпосылки, способствующие их слиянию и образованию из них одного этнического общества, этноса.

4. При вытеснении языка (не связанном с физическим уничтожением его носителей типа

истребления туземцев Тасмании) вытесняемый язык в большей или меньшей мере влияет на вытесняющий. Сила воздействия субстрата зависит от социологических качеств общества, носителя языка, ставшего субстратом (его количества, развитости, площади, занятой им, оригинальности культуры и т.п.). Чем выше эти показатели, тем более существенным может быть влияние субстрата. Очень большое значение для сохранности элементов субстрата в языке-преемнике имеет изолированность последнего от других родственных языков.

5. Спецификой мерянского субстрата в русском языке (в отличие от ряда других субстратов Европы) является то, что:

1) это субстрат неродственного по отношению к русскому (неиндоевропейского) языка, что обеспечивает лучшую его распознаваемость по отношению к индоевропейским;

2) это субстрат языка, который относительно недавно прекратил свое существование (в XVIII в.) по сравнению с рядом других известных науке субстратов (галльским, дакийским, иберским), где соответствующие языки исчезли очень давно (в первые века н. эры и ранее), т.е. более тысячи лет тому назад;

3) мерянский язык исчез, но сохранился ряд родственных ему финно-угорских языков и диалектов, что облегчает его реконструкцию;

4) хотя в период существования мерянского, точнее в последнее время его развития, не были записаны его оригинальные тексты, однако есть основание считать, что в прошлом на нем должны были создаваться памятники, которые, возможно, сохранились и только ждут своего открытия;

5) даже в случае их отсутствия имеются многочисленные реликты мерянского языка, которые позволяют, хотя и с пробелами, установить многие его стороны; изучение записей мерянской ономастики, произведенных в разное время, позволяет до известной степени представить себе историю мерянского языка и его диалектную вариативность, в особенности фонетическую и лексическую;

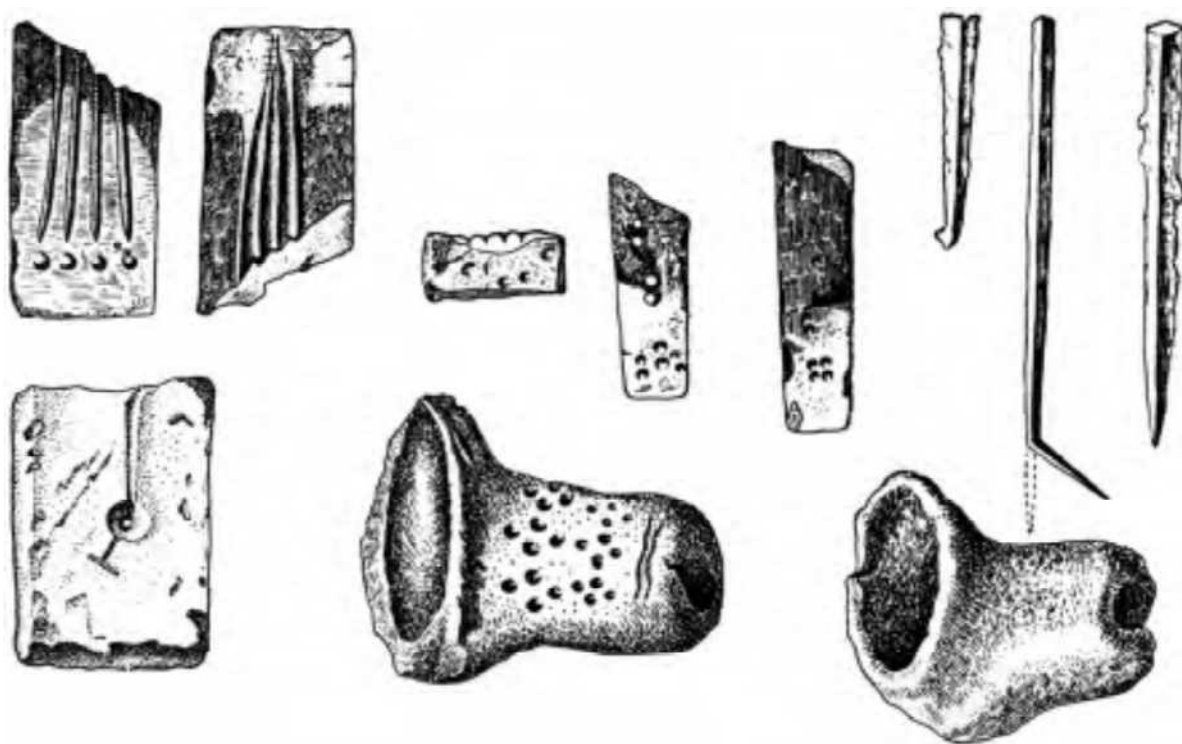
6) все это позволяет рассматривать изучение и реконструкцию мерянского языка из его субстратных элементов как едва ли не наиболее перспективную среди других субстратов; это, несомненно, даст возможность воспользоваться ее опытом для более сложных реконструкций других субстратных языков, в том числе дославянских (в частности, скифского, дакийского, возможно, также синдского для украинского, ятвяжского и других, балтийских — для белорусского, кельтских и германских — для

западнославянских, романских и (палео)балканских и частично греческого — для южнославянских);

7) изучение мерянского языка, важное само по себе и с точки зрения финно-угристики, не менее важно с двух точек зрения и для славистики — 1) как путь к изучению ряда черт специфики русского языка; 2) как подход к проблеме домерянского субстрата мерянского языка, который мог отражать протославянскую стадию развития славянских языков.

6. Изучение мерянского языка позволяет проникнуть в глубь истории финноугорских языков и, возможно, открыть наиболее древние памятники финно-угорских (в частности, финских) языков, восходящие к XI в.

7. Сложность и ответственность задач, возникающих при реконструкции мерянского языка и изучении его истории, внутренней и внешней, что требует комплексного подхода, ставит перед необходимостью создания новой отрасли науки — мерянистики, находящейся на стыке финно-угроведения и славистики, целью которой является всестороннее изучение мерянских, в том числе языковых, древностей и этноса, носителя мерянского языка, в его истории.

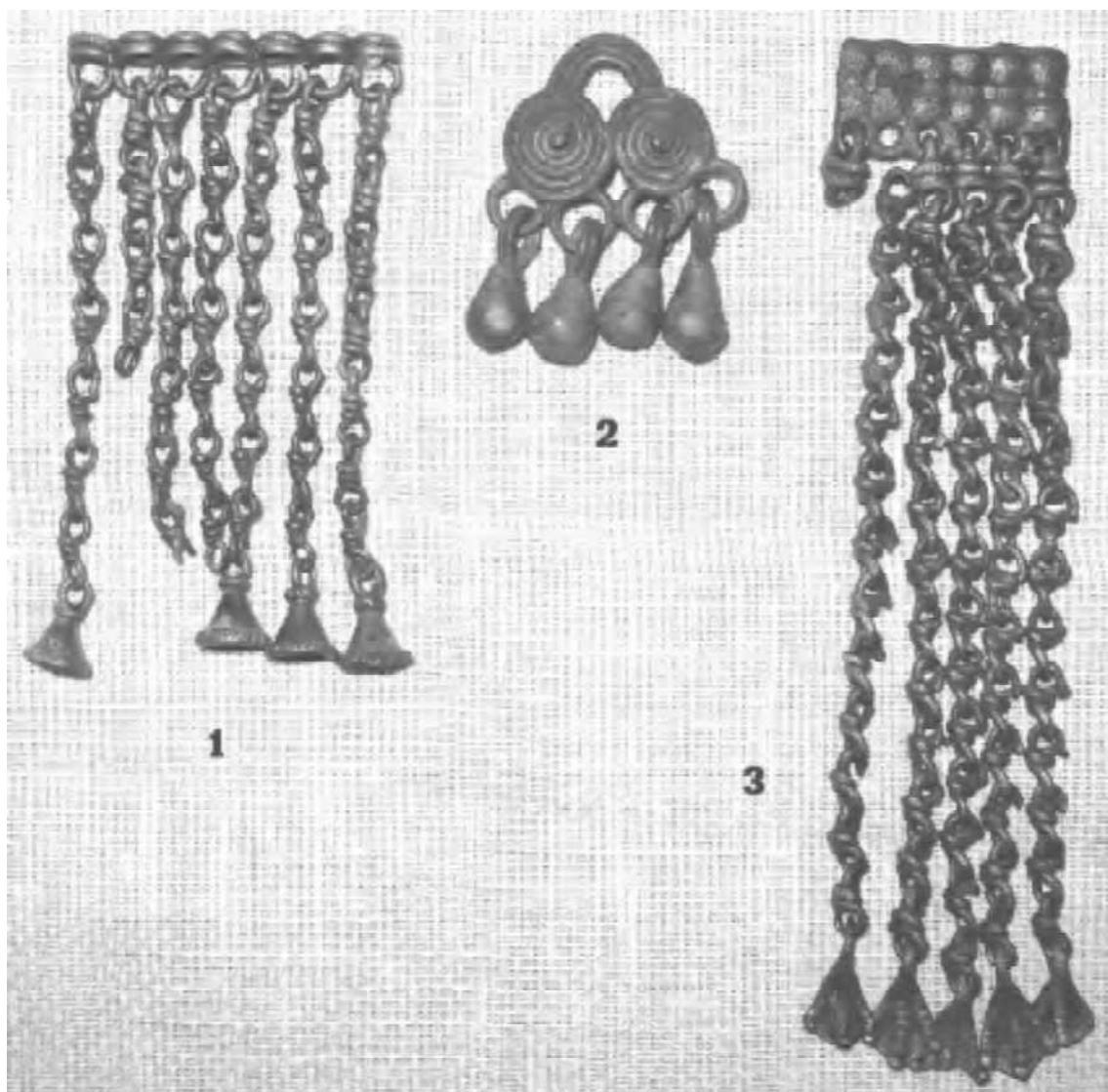


Орудия литейщика-ювелира с Дурасовского городища IX в. на р. Стежере. [22, стр. 114]

ЧАСТЬ 3

MERIANIC

A



Бронзовые шумящие подвески 2 пол. 1 тыс. н.э. (по краям)
и конца 1 - начала 2 тыс. н.э. (в центре) из фондов ГУК КГИАХМЗ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третья часть настоящей книги ввиду своей специфики представлялась, как и две предыдущие, заслуживающей особого предисловия. В ней собраны все работы, так или иначе связанные с мерянской языковой проблематикой, но не вошедшие в состав двух других частей (в прошлом - книг). В какой-то степени эти работы, несмотря на некоторые почти неизбежные повторы, либо дополняют, либо резюмируют то, о чём говорится в предшествующих частях, и тем самым могут быть полезны.

Поскольку содержание статей весьма разнообразно, представляя собой своего рода лингвистическую «мозаику», казалось неоправданным и почти невозможным располагать их по тематическому признаку. Ему был предпочтён чисто хронологический порядок. Исключение сделано только для работы «О некоторых особенностях реконструкции мерянского языка», которая, как непосредственно связанная с содержанием первой части («Мерянский язык»), помещена в начале.

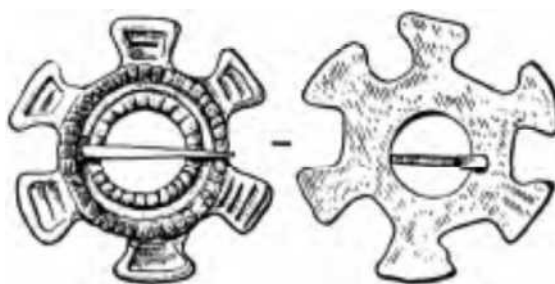
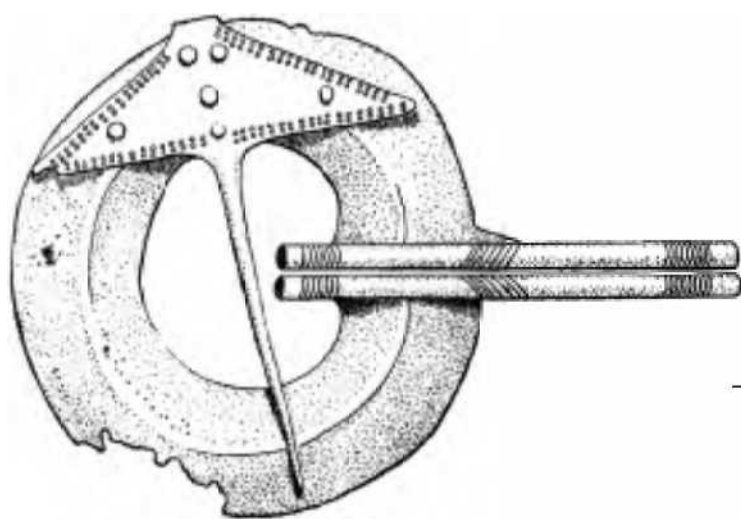
Необходимость собрать приведённые работы «под одной крышей» диктовалась желанием дать читателю максимум всего написанного автором по поводу мерянского

языка. Иначе, будучи разбросанным в разных, к тому же не всегда доступных изданиях, часть вышесказанного по этому поводу выпала бы из его поля зрения, в чём-то обеднив представление о проблеме в целом. А это было бы крайне нежелательно в связи с важностью проблемы мерянского языка, к изучению которого хотелось бы привлечь внимание как можно более широкого круга исследователей. Ведь время идёт и уносит вместе с собой (быть может, невосполнимо) то, что осталось от этого угасшего и надолго забытого (с большим ущербом для науки) языка.

Латинское название «Merianica» («Меряньское») дана собранию приведённых статей по образцу аналогичных работ, посвящённых другим (и часто так же мёртвым) языкам типа «Polabica», «Prussica» и т.п.

В третью часть включён также справочный библиографический аппарат, связанный со всеми частями.

Завершает третью часть «Приложение (Автор о языках и о себе)», в какой-то степени дополняющее изложенное в предшествующих частях книги, поскольку, помимо сугубо биографического материала, здесь содержатся мысли, связанные с природой языков и их изучением.



Металлические застёжки из Сарского
могильника VI-X вв. (слева)
и с Дурасовского городища IX в.
на р. Стежере.
[22, стр. 114, 118]

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА *****

Стремясь к возможно более полной реконструкции мерянского языка, восстановимого пока только на основании его отражений в русском, исследователь не имеет права пренебречь ни одним из подобных отражений как материальных в виде слов мерянского происхождения со всем, связанным с ними набором форм, так и, образно говоря, отражений идеальных, представленных мерянской семантикой (внутренней формой), выраженной, однако, русскими (славянскими) оборотами, словами и их грамматическими показателями.

Подобные случаи реконструкции не по форме внешней (материальной) соответствующих фактов, а по их внутренней идеально-семантической форме представляют наибольшую сложность ввиду того, что преимущественно мы бываем лишены возможности воссоздать конкретный мерянский материальный облик предполагаемых лексических, грамматических либо фразеологических фактов и в связи с этим вынуждены реконструировать их в обобщенной финно-угорской форме той или иной хронологической глубины. Естественно, что подобные условные реконструкции, которые только предстоит «мерянизировать» в случаях, когда будут обнаружены их точные мерянские материальные соответствия, не могут полностью удовлетворить в связи с незавершенностью их реконструкции как конкретных явлений мерянского языка. Однако при всей их реконструктивной незавершенности они имеют несомненную исследовательскую ценность, поскольку дают, пусть в вынужденно обобщенном и незавершенном виде, общее, более полное, чем могло бы быть без них, представление о грамматической, фразеологической, лексической системе мерянского языка.

Поскольку вопросы подобного рода реконструкций лексики и фразеологии мерянского языка затронуты в других работах

автора данной статьи, здесь наиболее целесообразно остановиться на особенностях реконструкции грамматических, в частности субстантивных, форм, тем более, что данные реконструкции, однако, с вынужденно кратким комментарием, их обоснованием, приведены в части 1-ой наст. изд. (см. с. 66-70).

Для того чтобы проиллюстрировать исследовательские приемы, с помощью которых следует реконструировать часть мерянских падежей, существование которых можно предположить на основе их семантического отражения в русском языке, целесообразно в частности воспользоваться системой финно-угорских местных падежей, по-видимому, нашедших свое отражение в двух вариантах русского предложного падежа целого ряда существительных единственного числа мужского рода 2-го склонения. - Ср.: *В этом саду* есть беседка, но *В этом саде* есть что-то особенное. В первом случае речь идет о чем-то, находящемся внутри сада, во втором речь идет о саде в целом, как бы рассматриваемом со стороны. Подобное значение может быть также передано синонимическим предложным сочетанием *У этого сада* есть что-то особенное. Точное соответствие подобной семантики можно найти в прибалтийско-финских языках, в частности, в эстонском и финском языках, - ср.: эст. *Bel lez aias on lehtla* «В этом саду есть беседка» - *Sellel aial on miski eriline* «В этом саде есть что-то особенное» (У этого сада есть что-то особенное); ф. *Tassa tarhassa on lehtimaja* «В этом саду есть беседка»; *Talla tarhalla on jokin erikoinen* «В этом саде (У этого сада) есть что-то особенное».

Ввиду, однако, того, что в случае, если бы данная черта русского языка объяснялась лишь влиянием прибалтийско-финских языков, то она затронула бы только часть периферийных северорусских говоров, между тем как ей суждено было стать чертой русского (литературного) языка в целом,

***** Статья возникла как необходимое объяснение части реконструкций мерянского отыменного склонения в ч. 1-ой (Мерянский язык), с. 66.

естественней предположить, что здесь скорее речь идет о мерянском влиянии. Подобное предположение выглядит тем более правдоподобным, что в ряде других своих особенностей, в частности лексических, мерянский язык обнаруживает особую близость к прибалтийско-финским языкам. Следовательно, не было бы ничего неожиданного и в том, если бы субстантивно-падежная система мерянского языка обнаруживала черты сходства с прибалтийско-финской. Именно мерянский язык, распространенный в Центральной России, на территории формирования русского литературного языка при своем медленном угасании (с 10-11 по 18-ый век) и, следовательно, длительном воздействии, мог повлиять на русский язык, передав ему данную семантическую падежную модель, выраженную двумя формами предложного падежа русского языка.

Наличие отражений внутриместного падежа (инессива) и внешнеместного (адессива), не различающихся ни в мордовском, ни в марийском языках и дифференцированных в прибалтийско-финских, заставляет предположить, что мерянский язык в этом отношении отличался от волжско-финских языков, имея структурное сходство с прибалтийско-финскими. Однако ввиду того что в прибалтийско-финских языках, как в ряде других финно-угорских, например венгерском и мордовских, каждый из местных падежей, помимо формы, отвечающей на вопрос *где?*, имеет также формы, отвечающие на вопросы *куда?* и *откуда?*, выраженные в прибалтийско-финских языках соответственно для внутренне местных падежей формами *иллатива* (куда?) и *элатива* (откуда?), а для внешнеместных формами *аллатива* (куда?) и *аблатива* (откуда?), вполне естественно предположить их наличие и у мерянского.

Исходя из данных сравнительно-исторической грамматики финно-угорских языков, и прежде всего опираясь на показания истории прибалтийско-финских и мордовских языков, в обобщенном (исходном для мерянского) виде, предполагаемые падежи мерянского языка можно представить для мерянского слова *palō* «село, деревня» в том виде, в котором они даны в книге «Мерянский

язык», а именно:

инессив ***palosa* (< ***palosna*) «в деревне»

элатив ***palosta* «из деревни»

адессив ***palola* (< *palolna*) «на деревне»

аллатив ***palol* «на деревню» аблатив ***palolDa* «с деревни».

В более упрощенной, принятой для реконструкции мерянских форм, слов и оборотов символикe данные реконструированные формы предстают в следующем виде:

инессив [**palosa* (< **palosna*)] «в деревне»

элатив [**palosta*] «из деревни» адессив [**palola* (< **palolna*)] «на деревне»

аллатив [**palol*] «на деревню».

аблатив [**palolDa*] «с деревни».

Реконструкция по внутренней, а не по внешней, форме мерянских фактов, отраженных в русском языке лишь семантически, разумеется, как уже сказано, не имеет той относительной завершенности, которую могут дать материальные свидетельства мерянского языка. Однако польза их в том, что с их помощью можно расширить наше представление о системе мерянского языка в целом, а впоследствии при обнаружении дополнительных материальных данных получить более точное представление о тех грамматических явлениях, которые вначале вынужденно предстают в обобщенно-гипотетической (праязыковой) форме.

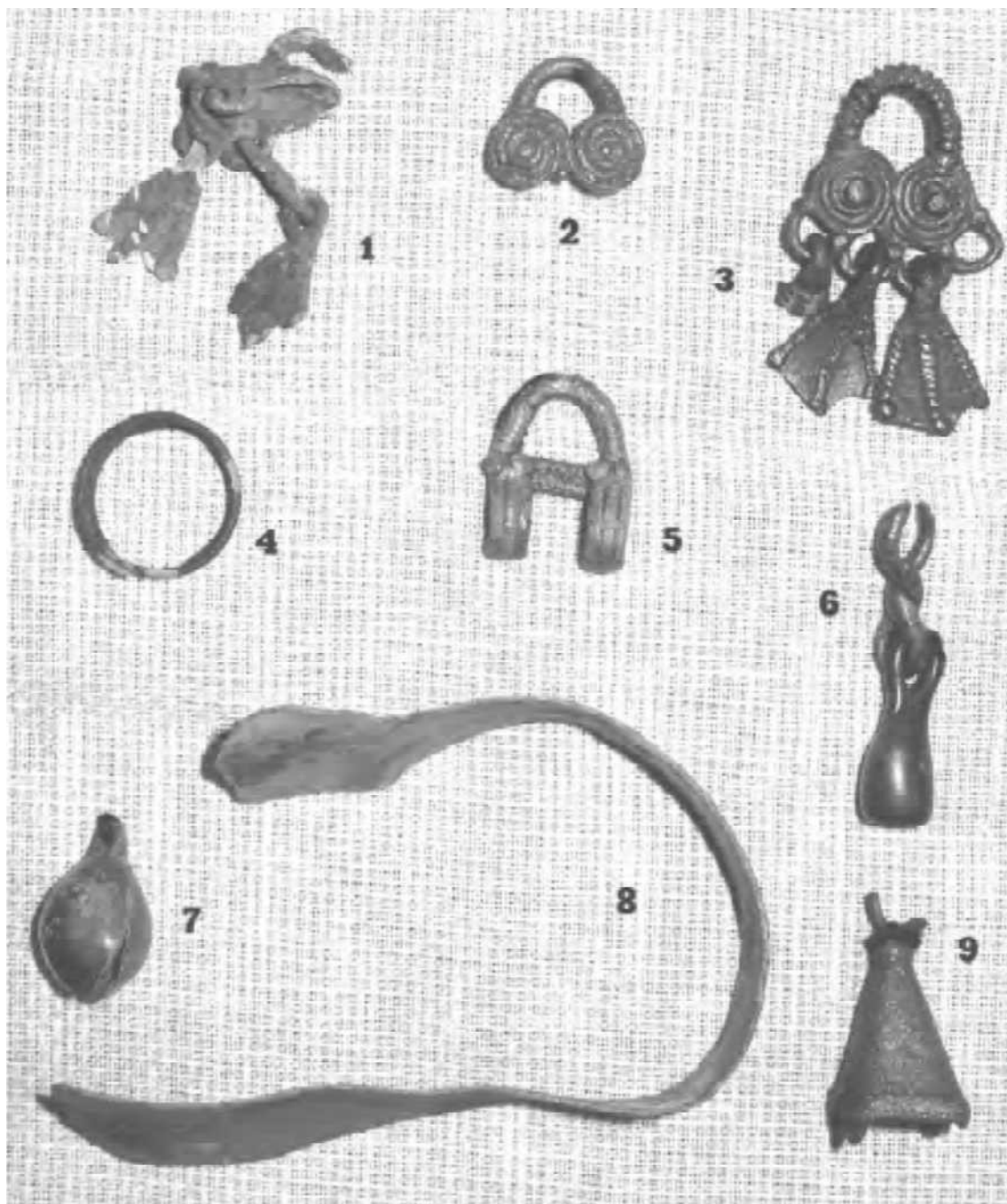
Ввиду отличия подобного типа реконструкций от восстановления по материальным остаткам, заключающегося в их большей гипотетичности, реконструируемые таким образом языковые факты должны отличаться с помощью особых символов от реконструкций материальных. Если материальные реконструкции имеют перед собой знак *** (астериск), то семантические реконструкции должны сигнализироваться знаком **** (два астериска), что и сделано в книге «Мерянский язык». Если же для материальной реконструкции считать до

В русском языке для существительных мужского рода этой форме соответствуют упомянутые предложенные конструкции с предлогами *в* (в этом саду) или *у* (у этого сада).

статочным передачу ее в латинской графике (ср.: *urma(-e)* «белка», – в отличие от мерянизма русского языка, передаваемого кириллической графикой (*урм'а*)), то реконструкцию по внутренней форме более логично передавать в квадратных скобках с астериском перед ней [**palosa*] «в деревне». Скобки [] должны указывать на обобщенно-гипотетическую (праязыковую) форму реконструкции, нуждающейся в производной мерянской конкретизации, * (астериск) – на реконструктивность формы. Что касается в таком случае форм со

знаком * (астериском) без квадратных скобок, то они должны обозначать предшествующие засвидетельствованным материальным фактам мерянского языка их предполагаемые (незасвидетельствованные) формы, например: *urma(-e)* «белка» < **or(e)0a(-e)*, < **ora0a*.

Представленные в формах соответствующей символики различия в типах реконструкции мерянского языка отражают как исходные для реконструкции данные (материальные или семантические), так и степень нашей продвинутой в приближении к подлинной форме, реконструируемых мерянских языковых явлений.



К ИССЛЕДОВАНИЮ ФИННО-УГОРСКОГО СУБСТРАТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Финно-угорский субстрат в русском языке относится к наиболее сложным объектам исследования как в финно-угроведении, так и в славистике. Поэтому до последнего времени специалисты обеих областей часто избегали касаться связанных с ним вопросов даже там, где это было необходимо. Тем не менее существует ряд фактов русского языка, непонятных без обращения к финно-угорскому субстрату. К ним относятся явления, которые при материальном или типологическом сходстве с финно-угорскими и при отсутствии убедительных аналогов в других славянских и смежных с русским нефинно-угорских языках, в то же время не могут принадлежать ни одному из существующих финно-угорских языков. Если упомянутые явления будут обнаружены и доказаны, то мы имеем факты финно-угорского субстрата в русском языке. Бесспорно, что в обнаружении и истолковании этих фактов заинтересованы как финно-угроведы, так и слависты.

Недостаточная изученность большинства финно-угорских языков до Октябрьской революции препятствовала исследованию финно-угорского субстрата в русском языке. Большие успехи советского финноугроведения в целом, особенно же в изучении мордовских, марийского, пермских и обско-угорских языков, а также достижения в области русистики, в частности истории и диалектологии русского языка, способствовали заметному оживлению исследования финно-угорского субстрата русского языка. Об этом свидетельствует ряд работ, появившихся за последние 10-15 лет.

Основу для дальнейшей работы отчасти создают и близкие по теме археологические исследования. Однако сделаны лишь первые шаги как в обнаружении несомненных субстратных элементов и реконструкции их исходных финно-угорских форм, так и в разработке необходимых теоретических предпосылок. В связи с этим представляется целесообразным затронуть некоторые вопросы, связанные с данной проблематикой.

1. Языковая неоднородность финно-угорского субстрата в русском языке и значение его исследования для финно-угроведения

Выражение «финно-угорский субстрат русского языка» является в сущности сокращением более точного понятия: финно-угорские субстраты диалектов русского языка. Последнее обусловлено принадлежностью финно-угорских субстратных включений русского языка не какому-то одному финно-угорскому языку, а целому ряду языков и диалектов. Эти субстраты относятся к

См., например: *В.Т.Ванюшечкин*, К вопросу о финно-угорских элементах и лексике мещерских говоров. - СФУ IX 1973, стр. 179-184; *В.И.Лыткин*, Еще к вопросу о происхождении русского аканья. - ВЯ 1965, № 4, стр. 44-52; *А.К.Матвеев*, Субстратная топонимика русского Севера. - ВЯ 1964, № 2, стр. 64-83; *его же*, Этимологизирование субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем. - ВЯ 1976, № 3, стр. 58-73; *Б.А.Серебренников*, О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике русского Севера. - СФУ III 1967, стр. 199-205; *его же*, О гидронимических формантах -*ньга*, -*юга*, -*уга*, -*юг*. - СФУ II 1966, стр. 59-66; *G.Stipa*, Zur Frage des mordwinischen Substrats im Sudgroprussischen - Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen, Helsinki 1973 (MSFOu 150), стр. 380-389; *W.Veenker*, Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen Sprache, Bloomington - The Hague 1967 (UAS 82).

См.: *А.П.Смирнов*, Очерк древней и средневековой истории народов Среднего Поволжья и Прикамья, Москва 1952; *Е.И.Горюнова*, Этническая история Волго-Окского междуречья, Москва 1961.

Публикация в ж.: Советское финно-угроведение (Таллинн), 1978 (XIV), № 3, с. 204-209.

нескольким видам, основные из которых - 1) частичные субстраты и 2) полные субстраты. Первому виду принадлежат явления, связанные с частичным переходом на русский язык представителей определенной этнолингвистической общности, при котором другая её часть сохраняет свой язык (водский, ижорский, вепсский), как правило, хорошо зафиксированный. Ко второму относятся случаи давно исчезнувших языковых образований (языков или диалектов), которыми пользовались этнически определенные общности (меря, мурома), этнически не расчлененные группы (заволочская чудь), этнически не определенное финно-угорское население (например, по-видимому, прибалтийско-финские насельники на территории между землями древних эстов и мери, ср. *Мета* — фин. *musta* «чёрный», *Тверь* (древне-рус. *Тъхвирь*) — фин. *Tihvera*).

Однако степень полноты второго вида субстратов далеко не одинакова во всех случаях, поэтому разница между ними и частичными субстратами отнюдь не абсолютна, а зависит от степени языкового своеобразия данного полного субстрата. Здесь можно выделить случаи 1) субстратного диалекта; 2) субстратного языка как члена существующей финно-угорской языковой группы; 3) субстратного языка (или языков), образующего особую языковую группу.

Последний случай в первую очередь заслуживает отнесения к полным субстратам в связи с наиболее сложной реконструкцией исходного (финно-угорского) состояния. Первый не может быть отнесен безоговорочно к частичным субстратам главным образом в силу большей хронологической глубины. При всей неполноте имеющихся сведений уже теперь можно полагать, что большинство полных субстратов русского языка связано с диалектами или — реже — возможно, с языками двух групп — прибалтийско-финской (заволочская чудь), языковая территория между древнеэстонскими и мерянскими землями) и мордовской

(мурома),
мещера).

Исключение, видимо, составляет только мерянский язык. Попытки видеть в нем язык, близкий к марийскому, вряд ли обоснованы. Более оправданно рассматривать мерянский язык в качестве связующего звена между прибалтийско-финскими и мордовскими, а также, по-видимому, марийским языками. Наличие в мерянском языке отдельных лексических элементов, общих с угорскими, возможно, говорит о каких-то древних меряно-угорских связях. Предположению о марийском характере мерянского языка противоречат данные той субстратной русской лексики, которую можно связать с мерянским языком. Здесь наряду со словами, сходными с марийскими (преимущественно с параллелями в других родственных языках), типа *Юкша* (мар. *йукед* «лебедь», фин. *joutsen*, диал. *joeksen*, манс. *josch(woi)* то же), *Шерна* (*Шорна*) (мар. *шерт*- не «верба», фин. *saarni* «ясень»), *Ингирь* (мар. *зітер* «речка»), выступают также важные слова, явно связанные с прибалтийско-финскими, рус. (костромск.) *лейма* «корова» (фин. *lehma* «корова», эст. *lehm*, вепс. *l'ehm* то же — морд

А.И.Попов, Названия народов СССР. Введение в этнонимистику, Ленинград 1973, стр. 101-102; Е.И.Горюнова, указ. раб., стр. 155, 159, 161.

В.Т.Ванюшечкин, К вопросу о финноугорских элементах в лексике мещерских говоров. — СФУ IX 1973, стр. 179-184.

M. Vasmer, Beitrage zur historischen Volkerkunde Osteuropas III. Merja und Tscheremissen, Berlin, 1935, S. 507-594.

Ср. P. Ravila, Polemik. Merja und Tscheremissen. — FUFAnz. XXVI 1938, S. 25-26; А.И.Попов, указ. раб., стр. 101, 106; Б.А.Се-ребренников (Обсуждение докладов и сообщений. Ответы на вопросы). — Происхождение марийского народа. Материалы научной сессии, проведенной Марийским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории (23-25 декабря 1965 года), Йошкар-Ола 1967, стр. 288-289.

Ср. компонент -бол(-) в топонимах бывших мерянских земель типа *Пушбола*, *Яхробол* и под., сопоставляемый с венг. *falu* «деревня», манс. *павыл* то же, см. Б.А.Се-ребренников, Происхождение марийского народа по данным языка. — Происхождение марийского народа, стр. 179.

А.К.Матвеев, Субстратная топонимика русского Севера. — ВЯ 1964, № 2, стр. 83.

Э *лише* «лошадь», мар. *ушкар* «корова»), рус. (костромск., галич.) *еика* «свинья» (фин. *sika* «свинья», эст., вепс. *signa* то же — мар. *еоена* «свинья», морд. *туво* то же). Часть же слов, имея параллели в ряде финно-угорских языков, значительно от них отличается по форме: *Яхрен*, *Ях-рень* (мер. ★*jahrfe*) «озеро», *jahren(-n)* «озера; озёрный» — морд. *зрьке* «озеро», *зрькенъ* «озера; озёрный», фин. *jarvi*, эст. *jarv*, саам. *jaw're*, мар. *ер* то же), рус. (костромск.) *урма* «белка» (фин. *orava* «белка», эст. *orav*, вепс. *orau*, мар., морд., коми *ур* то же). Всё это подтверждает мнение А.И.Попова: «...меры, несмотря на несомненные общности в словаре с другими финно-уграми, существующими ныне, в то же время значительно отличалась в языковом отношении...». Есть основание считать, что мерянский язык среди финно-угорских мог составлять особую языковую группу. Расположение ее в центре древней финно-угорской языковой территории, между прибалтийско-финскими, мордовскими, марийским, возможно, также угорскими и пермскими языками вместе с тем обстоятельством, что это, видимо, единственная финно-угорская языковая группа, представленная только в виде субстрата, делает особенно важной реконструкцию исходной финно-угорской формы её языковых реликтов.

Возможное частичное восстановление лингвистических фактов исчезнувших финно-угорских языков и диалектов, особенно мерянского языка, могло бы сыграть важную роль в выяснении древнейших взаимоотношений между финно-угорскими языками. В частности, это помогло бы в известной степени восстановить утраченные связующие звенья между прибалтийско-финскими, мордовскими и марийским языками. Более же древние явления, относящиеся к диалектам прибалтийско-финского и мордовского типа и заключенные в их реликтах, могли бы представлять ценность для истории соответствующих языковых групп. В связи с этим финно-угорское языкознание максимально заинтересовано в возможно полном выяснении исходных финноугорских фактов, лежащих в основе субстратных элементов русского языка.

А.И.Попов, указ. раб., стр. 101.

2. Значение исследования финно-угорского субстрата в русском языке для русского и славянского языкознания

Выяснение названной проблемы предполагает знание специфических явлений русского языка, отличающих его от других славянских, которые можно рассматривать как результат воздействия субстратных языков. Работа, проделанная до сих пор, слишком незначительна, чтобы судить об объёме и роли финно-угорского субстратного вклада в русский язык. Даже факты, увязываемые с финно-угорским субстратом, исследованы, как правило, не настолько глубоко, чтобы считаться бесспорными. Следовательно, приводимые ниже примеры можно расценивать как предположения. Однако даже объём выдвигаемой в них проблематики свидетельствует до некоторой степени о возможной роли финно-угорского субстрата в формировании особенностей русского языка, а это уже частичный ответ на вопрос о значении его исследования.

Не касаясь особенностей, связываемых с финно-угорским субстратом в русских диалектах, упомянем здесь только явления, свойственные русскому литературному или общенародному языку.

1. В фонетике. Аканье и редукция как возможный результат субстратного влияния со стороны древнемордовских диалектов мокшанского типа, для которых были характерны редуцированные и невозможно положение о вне ударения.¹¹

2. В словоизменении. Особенности склонения существительных мужского рода II склонения: наличие в родительном падеже, наряду с формой на *-а*, формы на *-у(-ю)* у существительных преимущественно вещественного значения для обозначения части целого: *достать (купить)* луку, уксусу,

При рассмотрении вопросов словоизменения и синтаксиса автор опирается частично на книгу В.Феенкера (W. Veemaker, указ. раб., стр. 86, 117-118).

* См.: В.И.Лыткин, Ещё к вопросу о происхождении русского аканья. — ВЯ 1965, № 4, стр. 44-52; Б.А.Серебренников, Об относительной самостоятельности развития системы языка, Москва 1968, стр. 12-13; G. Stipa, Zum Einfluß des Mordwinischen auf das russische Akanje. — CIFU III, стр. 515-521.

Несомненно, здесь возможны ещё открытия, о чём косвенно свидетельствуют около 1000 слов финноугорского происхождения (не считая венгерских) в «Этимологическом словаре русского языка» М.Фасмера, а также множество финно-угорских топонимов на русской языковой территории.

Приведена только часть явлений, которые могут восходить к финно-угорскому субстрату. Однако уже тот факт, что предполагаемые следы его влияния отмечаются на всех уровнях языковой системы - фонетическом, грамматическом и лексико-фразеологическом, свидетельствует о важности и актуальности исследования финно-угорского субстрата для русского языкознания и славянского языкознания в целом.

3. О методах исследования

Большая или меньшая адаптация финно-угорских субстратных элементов в русском языке славянской языковой системой затрудняет выделение даже материальных включений, а тем более - возможных семантических заимствований (лексико-фразеологических и грамматических). Это предъявляет исследователю высокие и сложные требования, относящиеся, видимо, к субстратным разысканиям вообще:

1. Большое значение имеет семантика, которую необходимо исследовать в тесной связи с грамматической формой рассматриваемых слов и конструкций.

2. При исследовании субстратных синтаксических конструкций представляют интерес устойчивые обороты речи (языковые формулы). Здесь возможна длительная преемственность, не прерываемая даже сменой языка.

3. Чтобы достичь наибольшей точности при определении и хронологии каждого субстратного явления, нужно рассматривать его как в связи с языком, где оно обнаружено, и всеми родственными с ним языками, так и с его субстратом и всеми родственными ему

русского языка II, Москва 1967, стр. 274, 290, где финно-угорские сближения считаются неубедительными, хотя предложенные славянские параллели вряд ли надёжнее (сам М.Фасмер первое слово характеризует как тёмное).

§§ В.Феенкер (*W. Veenker*, указ. раб.) указывает свыше 22 особенностей русского языка, с разной степенью вероятности связываемых с финно-угорским субстратом.

языками. Это предопределяет сопоставление соответствующих данных двух сравнительно-исторических грамматик, в данном случае - славянской и финно-угорской.

4. Чтобы исключить из круга рассматриваемых явлений не связанные с субстратом, следует проверить факты всех языков данного ареала.

5. Достоверность субстратных исследований обеспечивается не только строгостью и точностью лингвистических фактов и выводов, но и возможно широким привлечением вспомогательных внелингвистических данных.

6. В настоящее время, когда имеется еще слишком мало бесспорных субстратных фактов, ведущая роль в их исследовании должна принадлежать микролингвистическому методу. Последнее особенно справедливо в отношении апеллятивов, выделяемых хуже и в меньшем количестве, чем субстратные топонимы; впрочем, последние тоже нуждаются в микролингвистическом подходе при окончательном уточнении.

Исключительная сложность и многообразие работы при реконструкции праформы реликтных слов и выражений требует особой тщательности и внимания к каждому рассматриваемому явлению, которое во избежание атомарности и неполноты освещения должно изучаться (каждое отдельно) на фоне всех языковых систем и языков, с которыми оно связано. Ввиду этого преобладающий до сих пор в языкознании макролингвистический подход, когда в большой работе исследуется несколько лингвистических явлений, здесь представляется малоперспективным. На первый план выдвигаются микролингвистические работы, где всё внимание сосредотачивается на одном лингвистическом факте. Микролингвистический метод позволяет рассматривать каждое из языковых явлений не вскользь, не издали, а крупным планом, как бы под микроскопом, во всестороннем освещении. В сочетании с макролингвистическими исследованиями, особенно важными на стадии собирания и первичной обработки материала,

*** Тяготение к этому методу и в других субстратных исследованиях отмечает В.Н.Топоров, рассматривающий прусские субстратные лексемы «только как предварительный материал, нуждающийся в более детальном (каждый раз монографическом) исследовании» (*В.Н.Топоров*, Прусский язык. Словарь. А-Д, Москва 1975, стр. 8).

он поможет наиболее полно обнаружить и изучить многообразные и сложные лингвистические явления, связанные с финно-угорскими субстратами русского языка.

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ ДОСЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЯЗЫКОВ НА ОСНОВЕ СЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

На части нынешней славянской этнической территории, как известно, в прошлом, до появления там славян, проживал целый ряд неславянских народов, впоследствии слившихся со славянами и постепенно усвоивших их язык. Сложные этноязыковые процессы, хотя и завершились распространением на данных территориях того или иного из славянских языков, однако не прошли бесследно и для славян. Если неславянское население через промежуточный этап более или менее длительного периода двуязычия постепенно полностью перешло на славянский язык, то и славянское население в процессе сосуществования с неславянским испытало определенное влияние на свой язык, усвоив в той или иной форме часть элементов чужого языка, не говоря уже о том, что и неславянское население в процессе славизации сохранило в своей славянской речи часть элементов и особенностей прежнего, неславянского языка. Впоследствии эти дославянские субстратные элементы становились общим достоянием местных славянских говоров независимо от происхождения их носителей, в прошлом то ли неславян, то ли славян. Впрочем, процессы этнического смешения в настоящее время не дают возможности провести четкую грань между ними.

В настоящее время нет, пожалуй, ни одного славянского народа, на территории которого нельзя было бы предположить существования какого-либо неславянского народа (народов) и, соответственно, языка. Частично романизованные или эллинизированные палеобалканские народы существовали, по-видимому, на Балканах до прихода сюда славян. На территории западнославянских народов могло размещаться романское население, кельты, частично

германцы, на территории Белоруссии - балты, Украины - ираноязычные скифы, даки с их палеобалканским языком, возможно, также индоязычные синды. Не составляла исключения и территория современной России, в том числе Центральной, где многочисленные топонимы явно финно-угорского происхождения свидетельствуют о существовании здесь в прошлом финно-угорского населения, известного в летописных источниках как меря, мурома и мещера.

Из этих финно-угорских народностей едва ли не наибольший интерес исследователей вызывает меря, что объясняется расположением ее в центре формирующегося Русского государства (на территории Владимиро-Суздальской, затем Московской, Руси), ее относительной многочисленностью, длительностью ассимиляции, допускающей возможность сохранения мерянского языка еще в начале XVIII в.¹, по-видимому, особым местом мерянского языка среди финно-

***** Пу б л. по: О.Б.Ткаченко. Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских субстратных элементов // Слов'янське мовознавство (доповіді). - Київ: Наукова думка, 1983, с. 220-237.

***** Ткаченко О.Б., 1979, с. 236.

угорских

На основании сохранившихся в составе русского (главным образом диалектного) языка элементов языка мерянского можно и следует ставить вопрос о реконструкции последнего в допустимых пределах. Наука заинтересована в подобной реконструкции мерянского языка, - а вместе с тем вообще с соответствующими изменениями любого дославянского субстратного языка, - по целому ряду причин. Прежде всего большое культурно-лингвистическое значение имеет само по себе возможное восстановление исчезнувшего своеобразного финно-угорского языка. В то же время мерянский язык важен, с одной стороны, в качестве утраченного звена в истории финно-угорских языков, а с другой - как язык, проливающий определенный свет на часть особенностей русского языка в его говорах. Помогая объяснению части самобытных черт русского языка на фоне славянских, реконструкция мерянского языка представляет собой определенный интерес не только для русистики, но и для славистики в целом. Поскольку речь идет о восстановлении субстратного языка на основе его сохранившихся элементов, - а этот вопрос выходит далеко за рамки славистики и финно-угристики, - проблема реконструкции мерянского языка не безынтересна и с точки зрения общего языкознания.

Исходя из имеющихся данных, мерянский язык следует отнести к мертвым бестекстным языкам, то есть языкам, не имеющим письменных памятников (в виде связных текстов или хотя бы разрозненных предложений). Однако степень его бестекстности относительна, неабсолютна. Прежде всего, мерянский язык передал, видимо, русскому (особенно областному) языку часть своих фразеологизмов, а значит, и соответствующих минимальных текстов-предложений в виде калек

Мерянский язык отражен в них только в своей внутренней форме. Однако в случае реконструкции соответствующих меряnskих слов в их фонетических и грамматических

Поппов А.И., с. 101.

Об одной из них см. подробно в кн.:

Ткаченко О.Б. Указ. соч., с. 227-235.

Словарь русских народных говоров. - Л.,

1972, 8, с. 349.

Часть 3. Merianica

формах есть возможность восстановить и внешний облик соответствующих меряnskих фразеологизмов, а тем самым - и небольших текстуальных фрагментов мерянского языка. Наряду с подобными переодетыми в «одежду» славянского русского языка меряnskими оборотами есть, однако, и фразеологизмы, которые в русских говорах на бывшей мерянской территории восходят непосредственно к мерянскому языку. Как и калькированные меряnskие фразеологизмы, они принадлежат, как правило, к так называемым языковым формулам (формулам речи), являющимся в силу своей важности и частотности едва ли не наиболее стойкими из фразеологических оборотов. Реконструкция и интерпретация данных предложений-фразеологизмов, конечно, проще, чем реконструкция исходных меряnskих оборотов на основе их калек, однако имеет свои специфические трудности, объясняемые как тем, что упомянутые выражения ввиду их частой употребляемости подвергаются эллиптизации, так и тем, что в силу их инородности в русской речи они подверглись определенным видоизменениям.

Восстановление любого мерянского фразеологизма, представляющее интерес прежде всего с точки зрения фразеологии и синтаксиса, требует и всестороннего фонетического, грамматического и лексико-семантического анализа, связанного с этимологическим истолкованием и синтезом полученных результатов, при котором одинаково важное значение имеют как сопоставительно-типологический подход с точки зрения фактов русского и славянских языков, так и сравнительно-исторические данные, предоставляемые финно-угорскими языками. Именно поэтому вопрос о реконструкции меряnskих фразеологизмов дает возможность с наибольшей полнотой ввести в реконструкцию мерянского языка в целом, а через нее взглянуть конкретно и на общую проблему восстановления дославянских языковых субстратов.

К числу подобных фразеологизмов принадлежит русский (диалектный) приветственный оборот *Елусь поелусь*¹, записанный в бывшем Солигаличском уезде Костромской губернии (ныне Солигаличский р-н Костромской обл.). В «Словаре русских народных говоров» этот приветственный оборот объясняется как «хлеб да соль (приветствие во время обеда)». Выражение записано в первой

половине XIX в., поскольку в XVIII в. диалектные слова и выражения почти не записывались, - их собирание началось в XIX в., - кроме того, данное выражение впервые фиксируется в «Опыте областного великорусского словаря», изданного в 1852 г. Здесь предпринята попытка объяснения выражения, ср.: «Елусь (сов. поелусь) повелительное наклонение, употребляется во время обеда, в виде приветственного междометия: хлеб да соль»¹. Из толкования вытекает, что и слово *елусь*, и форму *поелусь* составители словаря (а возможно, еще лицо, записавшее выражение) воспринимали как глагол, употребленный в повелительном наклонении, причем элемент по- в форме *поелусь* рассматривался ими как приставка по-, служащая для образования совершенного вида, ср.: *ешь* — *поешь*, *пей* — *попей*, *неси* — *понеси* и т.п. Таким образом, выражение в целом ими рассматривалось если не как полностью русско-славянское, то во всяком случае как оформленное согласно правилам русской грамматики, в частности в видовом отношении. Тем не менее слова и форма выражения именно с точки зрения славянских элементов русского языка труднообъяснимы. Правда, если считать форму производной от глагола **елузить*, то можно было бы принять как возможную форму повелительного наклонения *елусь* (с отражением фонетического оглушения), ср. такую же фонетическую форму *волтусь* (орф. *вол- тузь*) от диалектного рус. *волтузить* (укр. *вовтузити*) «бить, возить кого-либо (что-либо), схватив его». Глагол **елузить* не обнаружен, зато в говорах близких местностей представлены глагольная форма *на- елузиться* «наестся до отвалу» (Галич - МКНО) и несколько видоизмененная форма *наюлызиться* «то же» (Кинешма - МКНО). Однако оба глагола скорее всего и по форме, и по значению являются производными от формы *елусь*. Таким образом, ничего не объясняя, они возвращают к тому же выражению, создавая явный порочный круг. Тем не менее эти данные оказываются не бесполезны, поскольку они косвенно указывают на употребление выражения *елусь* (*поелусь*) - по крайней мере в прошлом, до того как в Солигаличском районе (уезде) было записано это выражение - также в бывших Галичском и Кинешемском уездах

Костромской губернии (ныне в Галичском р-не Костромской и Кинешемском р-не Ивановской областей). Поскольку все три района были в прошлом местом обитания мери, вполне закономерен вопрос, не является ли рассматриваемый оборот мерянским, сохраненным частью русских говоров на русской языковой территории. При этом чрезвычайно важно сразу же подчеркнуть, что все три местности принадлежат именно к бывшей территории распространения мерянского и никакого иного финно-угорского языка и ввиду этого расположены в настоящее время на собственно русской языковой территории, вдали от каких-либо финно-угорских народов и их языков.

§§
 §§§§ Таким образом, рус. диал. (угл.) неёла
 отражает, видимо, в качестве полукальки форму
 мерянского отрицательного спряжения [*э] ела!йола (<
 *эй ола «не есть»); форма ёла «есть» образовалась,
 очевидно, уже на русской почве от неёла «нет (не есть)». Что касается явно вторичного значения «неудача» (нёёла) и «удача» (ёёла) (ООБС, 54 - Нерехт. у-д), то с ним, возможно, как калька частично связано рус. диал. (Костр.) есть «имущество, приданое» (МКНО).

русской народной фразеологии подлинном мерянском фразеологизме. Заимствование же морфологического форманта, тем более префикса, в мерянский язык маловероятно, поскольку он, как и все финно-угорские языки, по-видимому, не знал префиксации, которая значительно позже стала развиваться в некоторых финно-угорских языках (в частности, венгерском и эстонском). Более убедительно видеть в по- какой-то другой морфологический элемент или даже слово, расположенное между двукратным повтором *ёлусь* — *ёлусь* и только вторично, - под влиянием сближения с грамматико-семантическими особенностями русского языка, - воспринятого и истолкованного как близкая по звучанию русская глагольная приставка по-. Наиболее оправданно предполагать в элементе по- союз, расположенный между двумя словами (здесь - глаголами), или постпозитивную энклитическую частицу, связанную с первым из глаголов. В финно-угорских языках, например хантыйском, действительно обнаруживается подтверждающее это предположение и не противоречащее общему возможному смыслу оборота слово. Это союз *на* «и, тоже, другой», напр.: асем *на* ацкем «мой отец *и* моя мать»; Муц школаев вен *на* новы «Наша школа большая и светлая»; Л'ошек ики юх ил'пия ёл'ыс *на* веёмтыс «Россомаха-старик под дерево лег и заснул»..... Таким образом, звуковой комплекс по- необходимо рассматривать как отдельное слово со значением «и». Следует заметить, что в данном случае, как и в хантыйском языке, речь идет, по-видимому, не о звукосочетании по, а о слове с формой на, где замена фонетического на орфографическим по была вызвана отождествлением рассматриваемого слова с префиксом по- и тем, что звук -а- в слове был воспринят как вызванный аканьем.

Таким образом, оборот в своей наиболее точной исходной форме должен иметь вид *ёлусь на ёлусь и* переводиться «пусть будет и будет», букв. «пусть есть и пусть есть». Однако в таком виде он представляет собой явно эллиптизированную форму более полного приветственного выражения- пожелания, сокращение оборота в результате его частого употребления; полностью приветствие-

пожелание произносилось только в наиболее важных случаях.

Можно только предполагать, какие слова произносились в подобных случаях. Поскольку это - пожелание, речь в нем должна идти о том, чтобы у того (тех), к кому оно относилось, всегда была пища (*еда-питье*, *хлеб-соль* или подобные синонимы). В начале формулы дважды повторялся глагол, указывая на постоянство обозначаемого им состояния, так что становилось излишним употребление наречия со значением «всегда (постоянно, вечно)». Если учесть эти особенности, то формула пожелания могла иметь (в передаче на русском языке) следующий вид: «Пусть будет и будет (букв. «пусть есть и пусть есть») у тебя пища (еда-питье...)».

При всей фрагментарности данных о мерянском языке попытка гипотетической (в том или ином приближении) реконструкции отсутствующей части фразеологизма представляется все же возможной.

С чисто семантической точки зрения следует исходить из того, что в финноугорских языках чрезвычайно распространенным является парное сложное слово с буквальным значением «еда-питье», обозначающее пищу в целом. В ряде языков оно имеет идентичную в этимологическом отношении корневую часть обоих компонентов. В тех финно-угорских языках, где произошла частичная или полная замена компонентов парного слова, принцип семантического построения композита не изменен: имея в целом значение «пища; питание», иногда «пир», оно состоит из двух слов, обозначающих в отдельности «еду-питье». В тех финно-угорских языках, где не сохранились или не обнаруживаются существительные с подобным значением, выступают соответствующие парные слова-глаголы. Это дает основание считать, что и в них парное существительное «еда-питье», даже в случае его отсутствия теперь, должно было употребляться в прошлом, об этом говорит, например, легкость образования в них отглагольных существительных, нередко частично совпадающих с формами инфинитива. Ср. соответствующие данные: коми *сёян-юан* «пища, продовольствие, довольствие», букв. «еда-питье», *сёйны-мны* «есть-пить, питаться, столоваться; пьянствовать, кутить; (нео- добр.) излишествовать»; удм. *сион-мон* «пища, еда, продукты питания», букв. «еда-питье», *сиыны-яыны* «угощаться (есть-пить)»; манс. *тэнут-*

* Русская, 1961, с. 80, 111, 190, 198, 231.

Правда, в финно-угорских языках, хотя в них всюду выступает глагол *есть*, в данной конструкции далеко не одинаковы падежи, обозначающие лицо, которому принадлежит предмет. Так, в прибалтийско-финских языках здесь выступает адессив, который в данном случае переводится на русский язык предложной конструкцией *у тебя (у меня...)*, однако с большей точностью должен был бы переводиться с предлогом *на*, ср.: ф. *Minulla on kirjа* «У меня есть книга», точнее, «На мне есть книга». В венгерском языке тот же оборот требует дательного падежа владельца: *Nekem van könyvem* букв. «Мне есть книга (моя)». Только в финно-угорских языках, находившихся в наиболее тесных контактах с русским языком и в то же время территориально наиболее связанных с мерянским, встречаем другой падеж, родительный, с окончанием -н, современным или историческим, представляющим собой первоначальный локатив, отвечающий на вопрос «где?» и соответствующий конструкции с предлогом

274

[illegible]

следующем виде: *JoluS pa joluS L**(tenan
seye(--)-juYg(--)]_I «Пусть будет и будет (букв.
«пусть есть и пусть есть»)) у тебя еда-питье».

С формальной точки зрения, в данном обороте глагольное образование *joluS*, видимо, не является наиболее архаичной из известных форм. На то, что могла существовать и более древняя форма **joloZe*, сохранившая в несокращенном виде окончание 3 л. ед.ч. повел. накл., сокращение которого вызвало удлинение *-o-* с переходом в *-u-* (*-y-*), указывает существование фиксированных у В.Даля диалектных пермских выражений, явно связанных с рассматриваемым оборотом и сохранивших в нем *-o-* в соответствии с костромским *-y-* (*-U-*), ср.: рус. (перм.) *наелозиться* «накушаться, насытиться». *Благодарствуем, наелозились*, - отвечают гости на приглашение: *поелозить еще!* (Даль, II, 413); перм. *елозить* «есть, хлебать, кушать (то есть *елозить ложкою*)». *Елозьте, поелозьте, гости мои!****** привет застольникам: *елозь* (Слов. акад. *елусь*)! здорово хлебать! сходится с пожеланием: *ілось бы, желаю здорово поесть* (Даль, I, 518).

Вне всякого сомнения, объяснение, предложенное В. Далем, - его сближение с *елозить ложкою, есть (елось)* - так же, как и упомянутые ниже сближения А.А.Потебни и А.Преображенского - являются ничем иным, как плодом народно-научной этимологии, в связи с чем совершенно прав М.Фасмер, замечаящий по этому поводу в своем словаре: «елозить, ёлзать «есть» [приведенные здесь формы неправильны, так как у В.Даля, судя по его примерам, с этим значением связано лишь образование *елозить*. — О.Т.]. Совершенно ошибочно связывается Потебней (РФВ, I, 76) и Преобр(аженским) (I, 464) с *ложка*. Ср. «*ёлзать* II» (М.Фасмер, ЭСРЯ II - М., 1967, с. 17); и далее: «ёлзать II, *елозить* «хлебать, черпать ложкой, есть». Темное слово. По мнению Потебни (ФЗ, 1876, вып. 2, с. 97), заимствование из тюрк. (без указания источника). Ср. *елозить, елосить*» (там же, с. 15)»

Возникает вопрос о происхождении пермского слова и выражения (ср. *Елозьте, поелозьте*, по-видимому, представляющее собой отражение исходного **Елозь, поелозь* < **Елозе на ёлозе*), аналогичного костромскому.

++++++
 ++++++ ООВС. - СПб., 1852, с. 54.
 §§§§§§
 §§§§§§ Фасмер М ЭСРЯ II, с. 15.

Поскольку убедительного объяснения ему на основе славянских элементов русского диалектного языка найдено быть не может, а мерянскими (финно-угорскими) фактами оно объясняется вполне логично, и поскольку пермское выражение почти полностью совпадает с костромским, единственно вероятным объяснением может быть следующее. Пермское выражение представляет собой результат переселения носителей части костромских говоров, которое шло в восточном направлении через Вятскую землю на Урал. Так как переселение происходило в тот момент, когда мерянский язык находился на более древней ступени развития, переселенцы унесли с собой на восток более архаичную форму рассматриваемого фразеологизма. Там вследствие русификации этой части населения, - возможно, первоначально носителей мерянского языка - эта форма как бы инкрустировалась в составе русского языка, застыла в своем развитии, что и вызвало в ней сохранение -о- даже в условиях нового закрытого слога (ср. елозь(те)), хотя в этих условиях в мерянском -о-, как правило, переходило в -у-.

Другой интересной, видимо, не столько архаичной, сколько диалектной формой, отражающей отчасти аналогичное новообразование, является форма того же слова **юлысь*, представленная в уже приводимом выше кинешемском слове *наюлызиться*. Что касается начального ю-, то своим образованием оно, видимо, было обязано тому, что часть форм глагола *быть* в мерянском языке (напр., *★ульша* «бывший») имела начальное у-; сближение их с формами на й- (типа **ёлусь*, *★ёлозе* и т.п.) должно было привести к распространению начального й- и на них. Вследствие стремления к еще большему единообразию в части мерянских говоров во всех формах глагола *быть* распространилось начальное ю-. Что касается перехода -з- в интервокальной позиции (-с(ь) в конечной), то он также не противоречит фонетике мерянского языка, насколько ее можно проследивать в местном русском языке на словах как русского, так и мерянского происхождения (ср., например, среди первых такие примеры, как, с одной стороны, *сабог* вместо сапог (яросл.), а с другой - *кадюка* вместо гадюка (там же) и обычное для русского литературного языка оглушение в конечной позиции звонких согласных).

Особый интерес представляет также вопрос об удареии в глагольных формах рассматриваемого фразеологизма. Несмотря на то что во всех известных формах - *елусь*, *елозьте* (на)елбзйсья, (на)юлбзйсья - ударение падает на второй слог от начала корня, есть основание усомниться в его первичности, поскольку, судя по географическим названиям бывшей мерянской территории, в мерянском языке абсолютно преобладало, если не было единственно возможным, инициальное, начальное ударение (ср.: *Яхрома*, *Чухлома*, (диал.) *Кострома*, *Неро*, *Кинешма*, *Костома* и т.д.). По-видимому, и в данном фразеологизме первоначально ударение падало на первый слог слова. Только впоследствии, в связи с ассимиляцией мери, когда сохранившиеся слова и обороты стали видоизменяться под влиянием фонетико-грамматической и семантической систем русского языка, и в данном обороте произошло передвижение ударения. Видимо, это было связано с тем, что таковым, то есть сдвинутым к концу слова, было наиболее естественное ударение в форме 2 л. ед. (и мн.) ч. повел. накл., в качестве каковой стала восприниматься форма *елусь* или *елозь*. В случае формы *елозь* могла действовать и аналогия со стороны русского глагола *елозить*. Следовательно, первоначально и в глагольных формах *ёлусь* (*ёлоз(е), *юлусь), как и во всех других словах оборота, должно было употребляться начальное (инициальное) ударение.

не естественным было обращаться с пожеланием и слышать, как у мерян, приветствие «Пусть будет и будет (т.е. не выводится) у тебя еда-питье!»).

его фонетики, появилась возможность представить в менее гипотетическом и не обобщенно финно-угорском, а именно мерянском виде, хотя и реконструированном. Так, исходя из того, что в 3 л. ед.ч. наст. вр. глагол *быть* имеет смягченное конечное -п (-нь) вместо обычно твердого -п других финно-угорских языков (ср. рус. (диал. < мер.) *сиень* «есть» (< *Si jon «это есть»), ф., эст. (эе(е)) оп «(это) есть» и венг. *van* «есть»), можно предположить, что это смягчение возникло под влиянием формы глаголов 3 л. ед.ч. прош. вр., где в результате отпадения конечного -i (-и) произошло смягчение предшествующего согласного. Вместо форм, подобных ф. *eiі* «жил(-а)», *oiі* «был(-а)», в мерянском языке произошла первоначально их замена формами типа *ei'* и *oi'*. Однако в связи с тем, что в новых закрытых слогах е (э) переходило в і (и), а о в и (у), ср.: *ul'Sa «бывший» при *joluS* «пусть будет (есть)» или (р.) Ильдومка «без жизни, безжизненная» при (названии деревни) Элино (бывш. Кологривского уезда Костромской губернии) (от *Эля «живой»), - и в данных формах е перешло в і, а о в и, в связи с чем для мерянского языка сказочный оборот следует принять в следующей форме: L*П' - ul' _ игма «Жила-была белка», где часть, заключенная в скобки и снабженная звездочкой, обозначает фрагмент сказочного зачина, устанавливаемый путем реконструкции, а слово игма, расположенное вне скобок, связано с конкретным диалектным русским словом, восходящим непосредственно к позднемерянской лексеме.

Анализ и проведенная на конкретных примерах реконструкция мерянских фразеологизмов говорят о перспективности дальнейшей работы по реконструкции мерянского языка, и в частности о возможности, по крайней мере частичного, восстановления мерянской фразеологии. Тем самым будут проясняться не только темные места финно-угристики, но и целый ряд неясных слов и выражений русского, в особенности диалектного, языка.

Проведенное конкретно небольшое исследование показывает и ряд специфических

 ***** От *иль-дома «безжизненный, нежилой, нежилой», абессива от *эля «живой» или абессивной формы прилагательного (ср. морд. (эрзя) вал-томо «без слова», мар. илы- дыме «нежилой»). См.: Семенов Т., т. 2, с. 233.

особенностей субстратоведческих разысканий, которые должен иметь в виду исследователь субстратных языков и с которыми он не может не считаться. Обнаружение фактов субстратного языка требует тщательного рассмотрения прежде всего апеллятивных диалектных и ономастических фактов с бывшей мерянской территории. Массовый сбор данных вначале вынужден носить несколько суммарный, поверхностный характер. Стержневыми показателями, на основе которых обычно выделяются те или иные слова и обороты для анализа на их субстратность, являются элементы русского языка, которые (по крайней мере с первого взгляда) находятся в известном противоречии либо с системой русского литературного языка и большинства его говоров, либо хотя и являются вполне органичными для современного русского языка, однако противоречат особенностям других славянских (в том числе и восточнославянских) языков.

Отобранные элементы русского языка, которые предстоит проверить как возможные субстратные финно-угорские, мерянские по своему происхождению, должны затем пройти своеобразный отсев путем нескольких процедур. Прежде всего (1) отсеивается то, что с первого взгляда могло казаться неславянским, но с привлечением диалектных, славянских по происхождению, данных русского и других славянских языков оказалось славянским. Те славянские элементы, которые обнаруживают явные следы своего бывшего заимствования финно-уграми (в частности, в фонетике) и могут быть в русском диалектном языке отражением былых славянских заимствований мерянского языка, остаются как дополняющие данные о мерянском языке в его заимствованной, в данном случае славяно-русской, лексике. Следующим этапом (2) является стадия отбрасывания фактов, хотя и не славянских, но и не финно-угорских языков. Особый случай образуют те языковые явления, которые в ряде своих особенностей обнаруживают черты прохождения через среду финно-угорского языка то ли в своей фонетике, то ли в грамматической, то ли в семантической специфике. Поскольку эти слова могли быть в свое время заимствованы мерянским языком и попасть в русский через него, они также заслуживают внимания для полноты представления о мерянском языке не только в его исконных финно-угорских, но и

субстратных и заимствованных элементах. Следующим этапом (3) является отсеивание тех элементов, которые хотя и являются финно-угорскими, однако не могут быть отнесены к мерянскому языку, явно относясь к другим финно-угорским языкам. Здесь следует оставить то, что может представлять собой по каким-либо признакам заимствования из других финно-угорских языков в мерянском.

Та часть лексики, которая останется после всех проведенных процедур и, по всей видимости, должна представлять собою элементы мерянского языка, подвергается окончательному (4) анализу «на мерянность», задачей которого является не столько подбор отрицательных аргументов, сколько тщательная проверка тех доказательств, которые можно привести в пользу мерянского происхождения рассматриваемых элементов, с одновременным привлечением возможных контраргументов. Собранный таким образом материал также подвергается рассмотрению и доказательству в определенной очередности. В первую очередь, естественно, в фонд наиболее проверенных мерянских фактов попадают те из них, которые обнаруживают даже при первом рассмотрении максимум дифференциальных мерянских черт. Потом следуют факты, которые хотя и имеют ряд особенностей, говорящих в пользу их «мерянско-сти», однако несколько затемненных, недостаточно однозначных (возможно, в силу слишком сильной трансформации под славянским влиянием). Для них подыскиваются новые аргументы и слои за слоем снимаются возможные постмерянские наслоения.

Одной из наиболее важных особенностей работы над мерянским материалом является то, что в ходе исследования он рассматривается в максимально возможном системном плане. Если критерием выделения мерянского материала из русского является асистемность, то заданием наиболее точной его интерпретации как мерянского является построение возможно полной, хотя бы частичной, системы, какого-то ее подразделения, куда бы тот или иной элемент мог войти, найти там свое место. Так, звукотип, фонема должны быть сопоставлены с системой или хотя бы группой ближайших фонем, падеж или глагольная форма мыслится как часть определенной парадигмы, фрагмент фразеологизма - как часть фразеологизма в целом и т.д. Даже фрагменты реконструкции

должны мыслиться как часть чего-то целого. При восстановлении языка следует находить место его фрагментов в воссоздаваемых с их помощью своеобразных таблицах элементов исследуемого языка. Эти таблицы по возможности должны заполняться наряду с фактическим материалом более или менее гипотетическими реконструкциями отсутствующих, но доказуемых элементов. Некоторые клеточки таблиц (фонетических и парадигматических) могут оставаться пустыми. Однако важно, чтобы с самого начала работы и на всем ее протяжении исследователь мог руководствоваться в своей работе, непрерывно их корректируя, хотя бы наиболее общими, еще недостаточно четкими контурами системы языка в целом, дающими ему и наиболее осмысленную перспективу дальнейшего продвижения по пути исследования дославянских субстратов.

Таковы те основные предпосылки работы в области дославянских субстратов, которые можно считать условием их максимальной эффективности, важной для разработки этой пограничной и наименее исследованной области славянского языкознания.

В заключение следует коснуться вопроса о перспективах исследования мерянского языка. Наряду с использованием того источника, который является пока единственным - всех видов местного русского языка и ономастики постмерянских областей Центральной России со следами мерянского языка, - должны быть начаты также поиски другого источника - возможных памятников мерянского языка. Обнаружение хотя бы небольших связных мерянских текстов могло бы дать значительно более полное представление о его лексике и грамматике, чем то, которое можно будет получить лишь на основе его рассеянных остатков.

Однако важно было бы уже теперь знать, могли ли вообще возникнуть памятники на мерянском языке. На данный вопрос есть основания ответить положительно. Прежде всего, это вытекает как из общих установок православных миссионеров, так и из связанного с этим развития письменности и грамотности в доордынскую Русь. Как известно, в отличие от католической церкви, относившейся сдержанно, если не отрицательно, к переводу Священного писания на национальные языки с латинского и греческого и допускавшей его только как вспомогательное средство, православная

Наряду с этими общими предпосылками, позволяющими считать возможными фиксации мерянского языка или переводы на него богослужебной литературы, в пользу этого говорят более конкретные аргументы. К ним относится, в частности, упоминание в «Житии святого Леонтия», первого ростовского епископа, того обстоятельства, что он «руський и мерський язык добрі умяше»¹. Поскольку св. Леонтий добился значительного успеха в христианизации языческого мерянского населения, видимо, именно благодаря хорошему знанию мерянского языка, в его «Житии» этот факт упоминается как существенный. Однако то же упоминание позволяет предположить, что св. Леонтий, как и его последователи в деле христианизации мери - среди которых были и местные уроженцы, в частности св. Авраамий² - должны были пользоваться в своей миссионерской деятельности мерянским языком. Это же, - поскольку всякие варианты и колебания, возникавшие невольно только при устной передаче духовных текстов, были нежелательны в усвоении догматов новой веры, - неизбежно влекло за собой

 ***** Корсаков Д., 1872, с. 93.

***** *Фасмер М. ЭСРЯ*, т. 2, с. 17, - где
отражен взгляд Д.К.Зеленина со ссылкой на его работу
(*Зеленин Д.*, ч. 2, с. 99).

нем известно.

Более естественно как с лингвистической и семантической, так и фонетической точки зрения исходить из того, что русское (диалектное) *ёлс* является отражением мерянского слова, возникшего на основе заимствованного в мерянский для передачи этого важного религиозного понятия греческого (ο) *βίροχο*^ «дьявол».

Другим славянским языкам, в том числе и говорам русского языка, кроме упомянутых, распространенных на бывшей мерянской языковой территории, слово *ёлс* или его соответствия не известны. Не известно оно, - по-видимому, в связи с особенностями истории соответствующих языков, - также ни одному из существующих финноугорских языков. Правда, некоторым из них известно понятие «дьявол», передаваемое словом, частично (в своем начале), близким к мерянскому, однако в связи с разными источниками заимствования и особенностями фонетического развития эти слова не совпадают с предполагаемым мерянским в своей внутренней и конечной части, ср.: рус. (диал., постмер.) *ёлс* «леший, черт» при коми *дьявол* «дьявол», мар. *явыл* (jарёл), хант. *iauel*.

При заимствовании греческого *βίροχο*^ оно должно было подвергнуться в мерянском следующим изменениям: 1) гр. (ви- зант.) *βία^οχο*^ (*bjavolos*) в связи с невозможностью двух и более согласных в начале мерянского слова (ср.: рус. (постмер.) *пасибо* < *спасибо*, *рахать* < *страхать* и под.) и, видимо, отсутствия, как и в марийском, звука *V*/ передаваемого мерянским *р* (ср. связанное с этим рус. (постмер.) смешение б/в: *варахло* «барахло», *бёзли* «возле» и под.) должно было дать **jарolos*; 2) нередкое в мерянском синкопирование - с предшествующей редукцией - привело к выпадению первого заударного гласного, что закономерно вызвало (через стадию удлинения) замену гласного -а- предыдущего нового закрытого слога гласным более высокого подъема -ο-: **jOrios* (ср.: мер (-) *бол* < (-) *бало* «деревня»; *урма* < **ора(м/@)а*, - ф. *orava* «белка» и под.

Возникновение формы *ёлс*, видимо, произошло уже на почве русского языка в результате развития парадигмы с конечным выпадным -ο- при ее аналогичном выравнивании; * *ёвлос* - **еВв)лса* > *еле* - *ёлса* (ср.: рус. *заём* - *займа* > (разг.) *займ* - *займа*).

Понятие «дьявол», особенно важное при пропаганде христианства среди язычников,

религия которых изображается миссионерами как его порождение, должно было поэтому довольно часто употребляться ими при христианизации мери, и именно поэтому, возможно, закрепилось в мерянском языке, перейдя из него в русский.

При всей узости приведенного аргумента он показателен и тем, что свидетельствует не только о возможности существования богослужебных мерянских текстов, а и, видимо, о довольно длительной традиции их использования, поскольку иначе не могло бы так основательно вкратце в язык мери важное слово, связанное с христианской религией.



Пластинчатый браслет
конца 1 - начала 2

ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЛЕКСИКИ ДОСЛАВЯНСКИХ СУБСТРАТНЫХ
ЯЗЫКОВ. ИСТОЧНИКИ И КРИТЕРИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ МЕРЯНСКОГО
ЯЗЫКА)+++++

Мерянский язык, как и большинство дославянских субстратных языков, относится к числу бестекстных. Этим во многом определена специфика источников, откуда можно почерпнуть сведения о нем, и критериев, с помощью которых можно выделить и реконструировать, хотя бы фрагментарно, его как систему. Трудности, возникающие при системной, а не дифференциальной реконструкции его лексики, вызваны, в частности, сложностью размежевания мерянского и финно-угорских словарей и отсутствием опыта выделения лексических заимствований мерянского, как и любого субстратного, языка.

Единственным общим источником сведений о мерянском языке пока и впредь, - если не будут обнаружены какие-либо его тексты, - является, в сущности, русский язык в своих конкретных проявлениях (возможность обнаружения мерянских заимствований в финно-угорских языках более проблематична). Как и все элементы мерянского языка, за исключением фонетических, мерянская лексика сохранена русским языком в двух видах - материальном и калькированном. Конкретными источниками обнаружения материальных включений мерянской лексики в русском языке являются связанные преимущественно с постмерянской территорией 1) аппелятивы территориальных диалектов, 2) аппелятивы социолектов (арго), 3) антропонимы, 4) топонимы, 5) этнонимы.

Калькированная лексика представлена главным образом апеллятивами в локо- и социолектах. Частично оба вида лексических мерянизмов могут быть отражены и русским литературным языком, особенно на стыке с диалектным и арготическим. Источником хронологической стратификации мерянской лексики (ономастики) может быть разновременность ее проникновения в русский язык и связанные с этим изменения, в том числе отраженные в письменных памятниках. Территориальное различие вариантов тех же самых слов может послужить источником установления диалектных расхождений.

Общими критериями выделения лексики мерянского происхождения из русского и ее идентификации в качестве финно-угорской являются в первом случае сопоставительно-типологический, во втором - сравнительно-исторический (этимологический). Установление ее собственно мерянской принадлежности опирается на частные критерии внешнего порядка (социолингвистический, лингвогеографический, лингвоисторический) и внутреннего (фонетический, морфологический (формантный), семанτικο-типологический). Указание ряда или хотя бы части критериев на мерянские черты анализируемых русских слов и названий позволяет доказать их принадлежность мерянской лексике, исконной или заимствованной (субстратной /«фатьяновской»), балтийской, болгарской, угорской, славянорусской и др.).

Публ. по: *О.Б.Ткаченко. Проблемы и принципы реконструкции лексики дославянских субстратных языков. Источники и критерии (на материале мерянского языка) // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии. Москва, 21-26 мая 1984 г. Тезисы докладов. - Москва: Наука, 1984, с. 42-43.*

Методы внешней и внутренней реконструкции предполагаемой исходной форме большей или дают возможность воссоздать меньшей хронологической глубины. соответствующие мерянские лексемы в

ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛЕКСИКИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА (ИСТОЧНИКИ И КРИТЕРИИ)*****

Мерянский язык по имеющимся в настоящее время у науки данным относится к числу мертвых бестекстных языков. Этим определяется специфика источников сведений о нем и критериев, помогающих выделить его элементы и реконструировать, хотя бы фрагментарно, его как определенную языковую систему, в том числе лексическую. Трудности, возникающие при системной реконструкции его лексического состава, вызываются, в частности, сложностью разграничения мерянского и инофинно-угорских словарей как в их исконных элементах, так и в возможных взаимных заимствованиях, где не исключены случаи полного формального и семантического совпадения. При смежности родственных языков, возможности массовых миграций их носителей и недостаточно точных данных о границах бывшей мерянской языковой территории случаи подобной слабой или нулевой дифференцированности предполагаемых мерянских и инофинно-угорских лексем могут вызывать сомнения в том, относится ли то или иное слово к исконной мерянской лексике, принадлежит ли оно в мерянском к заимствованиям из какого-либо родственного языка или является результатом переселения носителей соседнего финно-угорского языка на мерянскую территорию и в состав мерянской лексики никогда не входило. Не менее сложно выяснить состав нефинно-угорских лексических заимствований мерянского, что необходимо для полноты представления о его словаре. Указанные трудности исследования мерянской лексики обусловлены отсутствием среди источников данных о ней связных мерянских текстов, так как только они дают возможность без сомнений причислить к определенному языку лексику как исконную, так и заимствованную.

Ввиду отсутствия подобных источников у

мерянского тем более остро стоит вопрос о других, имеющихся в распоряжении в настоящее время.

Основным общим источником сведений о мерянской лексике является пока русский язык в своих конкретных, включающих ее, ответвлениях. Хотя не исключена полностью возможность обнаружения мерянских заимствований и в финно-угорских языках, особенно смежных в прошлом с мерянским, уже в связи с обстоятельствами истории его носителей - прежде всего с тем, что вся бывшая мерянская языковая территория в результате ассимиляции мерян вошла в состав русского языкового пространства, - следует считать, что по сравнению с количеством мерянских включений в русском число заимствований из мерянского в финно-угорских языках значительно меньше, и поэтому их роль может быть лишь вспомогательной. Кроме того, по-видимому, следует считаться и с тем, что в других финно-угорских языках, ввиду их родственности мерянскому, мерянская лексика могла подвергаться значительно большей степени адаптации, а следовательно, и изменению своей первоначальной формы, чем в русском, а это также облегчает использование русского языкового материала в качестве источника для выделения и реконструкции мерянской лексики и делает его более доступным для мерянистики.

Как и все элементы мерянского языка, за исключением фонетических, его лексика отражена русским языком в двух видах - материальном и семантическом (калькированном). Конкретными источниками обнаружения материальных включений мерянской лексики в русском языке служат связанные, как правило, с постмерянской территорией:

1) апеллятивы диалектов (костр. *урма* «белка» (ООБС, с. 240) - ф. *orava*, эст. *orav*,

Расширенный вариант статьи, опубликованной под названием «Проблемы и принципы реконструкции лексики дославянских субстратных языков. (На материале мерянского языка)» // Этимология, 1984. - М., Наука, 1986, с. 202-205.

возможно, образованное от другой (диалектной) формы того же глагола *jūlys* «пусть будет».

Итак, указанные источники дают довольно разнообразие сведения о мерянской лексике. Однако поскольку эти сведения извлекаются не из связных мерянских текстов, а из русского языка, где эта лексика представляет собой разрозненные вкрапления и где ее еще надо обнаружить, неизбежно возникает вопрос о критериях ее выделения.

Общими критериями выделения лексики мерянского происхождения из русской и ее идентификации в качестве финно-угорской являются критерии сопоставительно-типологический (черты отличия от лексики славянского происхождения) и сравнительно-исторический (черты сходства с лексикой финно-угорских языков). При выделении из русской апеллятивной лексики и ономастики элементов мерянского происхождения приходится идти путем постепенного исключения всего немерянского в ней: 1) инославянского: не русского, но славянского, 2) не славянского, но и не финно-угорского (индоевропейского, тюркского и т.п.), 3) финно-угорского, однако не мерянского, исключая то, что могло быть заимствовано из соответствующих языков в мерянский. Оставшиеся после отсева, в том числе заимствованные, лексические элементы должны быть окончательно обоснованы в качестве мерянских и реконструированы в своей исходной форме вместе с максимально восстанавливаемыми данными об их семантике. Установление собственно мерянской принадлежности лексики опирается при этом на частные критерии внешнего и внутреннего порядка. К первым принадлежат критерии социолингвистический (ориентация постмерянской лексики как субстратной на социолингвистически «низкие» слои словаря - конкретные детали местной природы, быта, реалий, просторечие и вульгаризмы), лингвогеографический (связь лексики с (пост)мерянской территорией), лингвоисторический (зависимость от обстоятельств внешней истории языка - миграций его носителей и преемников его элементов, связи мерянского с другими языками и т.п.). Причинами того, что субстратная лексика имела шансы сохраниться,

как правило, либо в составе наименований сугубо местных реалий, либо в качестве синонимов к словам славянского происхождения, является в первом случае их непереводаемость и отсутствие точных соответствий среди слов славянского происхождения, во втором - большая эмоциональность по сравнению с общерусскими (позднее - литературными) словами у слов мерянского происхождения. Частично ввиду их непонятности для русских из других местностей (вне (пост)мерянской территории) слова мерянского происхождения вошли также в состав местных профессиональных «тайных языков» (арго). По-видимому, к числу подобных слов, кроме уже упомянутых выше, относятся также, в частности, следующие: костр. *кандейка* «два глиняных сосуда, соединенных вместе, в которых носят завтрак работающим (в одной кринке молоко, в другой - суп)» (КОСК); яросл. *кандё- хать* «(груб.) работать» (ЯОСК). Оба слова могут иметь своим корнем мерян. (< ф.-уг.) *kanD-* «нести, носить» (ср.: ф. *kantaa* «нести, носить», эст. *kandma* «т.с.», морд. Э *кандомс* «нести», мар. Г *кандаш* «приносить»), во втором случае переосмысленное от значения «носить, таскать (тяжести)» > «(тяжело) работать». Если первое слово сохранилось как обозначение специфической местной реалии, которую с помощью литературного языка можно было бы обозначить только описательно, то второе удержалось в языке благодаря приобретенной им экспрессивной яркости, которую было бы невозможно передать с помощью нейтрального *работать*, к тому же выразительность слова была подчеркнута огрубляющим суффиксом - *ёха(-оха)*, стоящим в ряду близких по форме и по функции суффиксов с -х- (-ах(а), -*ха*) (ср. грубое *тетёха* вместо *тётя*, *картоха* вместо *картофель*, *картошка*, а также *девах* (неодобрительное) вместо *девушка*, *дрыхать* (грубое) «крепко и долго спать» и под.). Сюда же можно отнести (яросл.) *пуйка* «мальчик, подросток» (ЯОСК) с его финно-угорскими параллелями (ср. ф. *poika* «мальчик, парень; сын», эст. *poeg* «сын», коми, удм. *пи* «сын, мальчик», венг. *fiu* «мальчик; сын», манс. *ныг* «сын», хант. (вах.) *рау* «сын; мальчик» и (под вопросом) морд. Э *bujo*, *pijo* «внук», а также мар. Г *пуаэргы* «мужчина», выводимые из ф.-

так и семантической.

Что касается мерянской фонетики, то основная причина проблематичности ее восстановления ясна: ввиду различия между мерянской и русской фонетическими системами и в связи с адаптацией мерянской фонетики к русской многие мерянские особенности не отражались полностью либо отражались только частично. Одним из примеров этого может быть вопрос о мерянских редуцированных, существование которых в мерянской фонетике можно предполагать. В частности, наличие одного из редуцированных (заднерядного *e*) можно предположить на основе исторического развития формы явно (пост)мерянского в русском местного названия реки и города (на ней) *Москва*. Как

бы ни рассматривать первоначальное происхождение названия, то ли как исконно мерянское, то ли как вторично деэтимологизированное и осмысленное в качестве мерянского в мерянской языковой среде из первоначально балтийского топонима....., ясно одно: в момент появления его в языке вятичей, одного из восточнославянских (прото(велико)русских) племен, слово было ими усвоено непосредственно из мерянского языка. Об этом говорит как его семантика, так и фонетическая и (первоначальная) морфологическая форма. С семантической точки зрения название - типичный мерянизм, поскольку русскославянское название реки в ее верхнем течении явно калькирует мерянское название той же реки в ее среднем и нижнем течении: до своего впадения в большое озеро, известное под названием *Москворецкая лужа*, река

Методы внешней и внутренней реконструкции, применяемые при этом, дают возможность воссоздать соответствующие мерянские лексемы в предполагаемой исходной форме большей или меньшей хронологической глубины.

При этом, однако, следует считаться с тем, что, как и при всякой реконструкции, полученные результаты восстановления исходной мерянской формы слов неизбежно - особенно на первых порах, когда собранных (пост)мерянских данных слишком мало - должны иметь более или менее условный характер. Последнее относится как к реконструкции материальной (фонетической),

Ткаченко О.Б. Мерянская глагольная система: спрягаемые формы. - СФУ, 1983, № 2. - С. 105-106.

Подобно см.: *Халилов С.Г.* Что значит Москва. - СФУ, 1984. № 2. - С. 129-131. а также наст. изд., с. 54-55, 225-226.

***** См.: Этимологический словарь славянских языков. - Вып. 20. - С. 19-20.

отраженный в русском слове (*ul'sa). Ввиду того что необходимо как постепенно стремиться к фонетической реконструкции мерянских слов, так и подтверждать их данными тех разновидностей русского языка, откуда извлечены их русские отражения, очевидно, единственно правильным решением является двойное представление мерянских фактов, как в их русских отражениях, так и в реконструкциях. Приведенный пример восстановления только двух мерянских звуков э и э - а такие случаи далеко не единичны - свидетельствует о всей сложности воссоздания подлинной фонетической формы мерянских слов.

Не менее сложна по-своему и проблема их значений. Здесь обращают на себя внимание прежде всего два случая:

1) наличие финно-угорских параллелей с засвидетельствованной семантикой, например, в мерянских названиях деревень типа (Ате)бал, (Ки)бол (< (Ки)бало, - 1578 г.), (Яхро)бол, (Муш)пол - венг. falu (< *palu) «село, деревня»);

2) существование для отражений мерянских слов в русских источниках, наряду с подтверждающими их финно-угорскими параллелями, также русских калек определенной семантики (рус. (постмерян.) уль-шага «покойник», ульшил «умер» - ф., эст. oli «был», венг. volt «т.с.», мар. улио «присутствующий, присутствовавший», а также рус. (диал.) побывшился «умер»). В них представлена как форма мерянского слова, его материальная сторона, так и его значение

Однако, помимо двух подобных возможностей не исключена и третья, когда можно говорить о значении мерянского слова при том, что само слово отсутствует и представлено

только его русским переводом. Очевидно, и в данном случае нельзя пренебрегать подобными фактами, так как они освещают какой-то из элементов лексической системы языка, пусть и отсутствующий в настоящее время. Так, например, среди мест обитания мери упоминается и два селения к западу от Москвы, *Меря Старая и Меря Молодая* (Третьяков, с. 135-137). В указанном случае естественно предположить, что русские топонимы представляют собой, по-видимому, перевод с мерянского, в котором слово со значением «новый» могло иметь одновременно также значение «молодой», что и вызвало трудности при переводе. Так как слово со значением «новый» почти во всех финно-угорских языках (за исключением обско-угорских) продолжает ту же самую праязыковую лексему, реконструируемую как *wu5'e (MSzFUE, III к., 651 l.), без особого риска можно предположить, что и мерянский продолжил то же самое праслово, что можно представить как мерян. [*wu5'e], т.е. в символах как особую (вначале диалектную) мерянскую линию его развития, которую в ее конечном результате предстоит со временем установить с помощью найденного материала или более конкретной реконструкции. В отношении семантики обращает на себя внимание то, что почти во всех ныне известных финно-угорских языках, где соответствия праязыкового слова *wu5'e засвидетельствованы, оно выступает только со значением «новый», имея для выражения понятия «молодой» другие слова, - ср.: ф. uusi «новый», эст. uus, кар. uZi, вепс. uZ, uZ вод. usi, us, лив. uZ, саам (кильд.) Ott, мар. у, коми, удм. выль, венг. uj «т.с.».

В отличие от этой преобладающей части

Отражение названия реки как *Мошка (ср.: очевидно, гиперическое — на Можці (вместо: *на Мошці), — 1208 г.) (Смолицкая, с. 287) свидетельствует о том, что в мерянском языке в слове выступал либо звук S подобный s. финского языка, воспринимаемый славянами на слух как звук средний между мягкими S, и \$., либо это последнее с очень большой степенью мягкости. Отсюда колебания в выборе славянского звука для его передачи. Случай этот на постмерянской территории не единичен: как известно, современному Суздаль в X-XIV вв. соответствовало Суждаль.

Безусловно, в ряде случаев, даже когда в силу фиксации слова на постмерянской территории и обнаруживаемой им связи с другими финно-угорскими словами, можно говорить о его мерянском происхождении, далеко не всегда с точностью можно определить его значение в мерянском языке, поскольку, как известно, слова общего происхождения в разных родственных языках в ходе их развития могут изменять свое значение. Особенно трудно установить точное значение слова в ономастике.

При наиболее точном (и в отношении порядка слов) переводе с мерянского должно было бы быть: *Старая Меря, Молодая («Новая») Меря.*

финно-угорских языков в обоих мордовских языках слово, продолжающее пра- финно-угорское *wu⁵e, кроме значения «новый», имеет также значение «молодой», - ср.: морд. Э од «новый; молодой», морд. М од «новый; молодой» (SKES IV, 156 S.; MSzFUE, III k., 651 l.)===== . Есть основание предполагать, что и в латышском языке, где у слова jauns отмечаются одновременно два значения: «молодой» и «новый» (ср. лит. jaunas «молодой», naujas «новый»), подобный семантический сдвиг, - поскольку ничего подобного нет ни в литовском, ни в других смежных индоевропейских языках, славянских и германских, - мог возникнуть под влиянием какого-то прибалтийско-финского языка, либо как последствие древней стадии семантического развития слова, либо как отражение черты его исчезнувшего диалекта. Как известно, из балтийских языков латышский в наибольшей степени подвергался финно-угорским влияниям. Следовательно, есть основание считать, что изоглосса (изосема), заключающаяся в совмещении двух значений «новый» и «молодой» в одном слове, в большинстве финно-угорских языков, имеющем только значение «новый», теперь ограниченная только мордовскими языками, в прошлом могла быть значительно шире. На востоке она могла охватывать мордовские языки, а на западе какую-то часть прибалтийско-финских. Что касается мерянского языка, то он, очевидно, располагался в центре этой изосемной области=====.

В связи с этим возникает чисто технический вопрос, как обозначать и различать два типа мерянских реконструкций -(1) построенные на основе засвидетельствованных (пост)мерянских материальных фактов, (2) воссозданные на основе предполагаемых рефлексов мерянских явлений, отраженных в русском языке только семантически (функционально). Первые ввиду достаточной уже графической их различимости (русские данные в кириллической графике - реконструкции в латинской) представляется целесообразным передавать только с помощью соответствующих график без применения астериска («звездочки») перед реконструированными формами. Исключение делается только в случае предполагаемых предшествующих мерянских стадий, выводимых гипотетически без опоры на какие-либо реальные (пост)- мерянские факты в русском (напр.: рус. (постмерян.) (костром.) *урма* «белка»: мерян. *urma*-(e) < **ore0a*-(e) < **ora0a*-(e) «т.с.»). Во втором случае предлагается незасвидетельствованный

+++++ Наличие в коми языке у слова, кроме значения «новый», также семантического оттенка «свежий» (MSzFUE, III к., 651 л., Коми- русский словарь. - С. 148) на общую оценку ситуации не влияет, так как и здесь нигде не обнаруживается значение «молодой».

Более того, имеющееся в финно-угорских языках положение, при котором у подавляющего их большинства слова со значением «новый» восходят к общему истоку (ф.-уг. *wu5'e), а слова со значением «молодой» различаются по группам и даже по отдельным языкам (ср.: ф. nuogі «молодой», эст. poog, мар. *самырык*, *рвезе*, коми *том*, удм. *егит*, *пинал*, венг. *fiatal*, *ifjU* «т.с.»), заставляет предположить, что состояние, при котором значения «новый» и «молодой» передавались одним словом, могло быть праязыковым, а их передача разными словами развилась вторично, после распада праязыка. В таком случае мордовские и мерянский язык только сохранили это праязыковое состояние.

материально мерянский факт представлять с помощью финно-угорской (или другой доступной, более близкой) праформы, снабженной астериском перед ней и заключенной в квадратные скобки. Последние должны указывать на то, что речь идет о праформе как только об отправном пункте для особой мерянской линии развития. Па то же должна указывать предшествующая надпись-определение *мер.(янское)*, которое в его конкретности еще предстоит установить (напр.: мер. [**wu5'e*] «новый; молодой»). Именно подобная система реконструкций и их различения применена впервые в этой статье. До сих пор в первом случае применялся астериск, во втором два астериска, что усложняло символику реконструкций, не способствуя ее большей точности.

Из рассмотренного выше вытекает следующий общий вывод. Поскольку русский

литературный язык сложился в Центральной России, на территории, в основном совпадающей с (пост)мерянской, для наиболее достижимой в настоящее время полноты реконструкции мерянского языка следовало бы подвергнуть анализу «на мерян-скость» все его элементы за исключением в основном церковнославянских и, разумеется, относимых к поздним заимствованиям. Так же и даже более тщательно и углубленно должны были бы быть с той же целью рассмотрены все диалектизмы данной территории, все ее арготизмы (особенно старые) и вся ее ономастика. Для этого должны быть учтены как все современные данные, так и факты, извлеченные из исторических памятников. Само собой разумеется, что ввиду большей незыблемости и фиксированности литературного языка его изучение под углом зрения (пост)мерянской не требует такой срочности и неотложности, как изучение того, что могут дать локо- и социолекты, ономастика и фиксации в памятниках письменности, начиная с наиболее

отдаленных по времени. Ведь диалекты и «тайные языки» исчезают, природа (особенно в 20-80-ые годы XX века, да и позже) варварски «преобразовывалась» и «преобразуется», вместе с чем исчезают и топонимы, а рукописи (вопреки утверждению М.А.Булгакова) горят.

Лингвистическая мерянистика как особенно сложная область финно-угроведения, устанавливающая свои исследуемые и реконструируемые факты (по крайней мере пока) на основе всестороннего как славистического, так и финно-угроведческого анализа данных русского языка и ономастики (пост)мерянского региона России, требует от каждого исследователя, занятого ее проблематикой, одновременного сочетания в себе русиста, слависта и финно-угроведа.

В данной статье ее автор старался показать возможные пути исследования одного из уровней мерянской языковой системы (лексики), в настоящее время наиболее доступного и тем самым дающего факты не только для своей сферы, а и для освещения остальных уровней языка (фонетики, а также фрагментов грамматики и фразеологии), а следовательно, и для изучения языка в целом.

***** Даже в случае обнаружения связных мерянских текстов (вряд ли к тому же обширных) роль русского языка при воссоздании мерянского в целом, за исключением фонетики и грамматики, существенно не изменится. Учитывая, по всей вероятности, переводной религиозный характер возможных текстов, можно предположить, что основная масса лексики и фразеологии окажется вне их границ, а ввиду этого за (пост)мерянскими данными русского

СЛАВЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В НЕСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ КАК ИСТОЧНИК ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯНСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ*

Для воссоздания дописменной истории славянские, как и другие, языки нуждаются в реконструкции утраченных этапов развития своих элементов. Кроме внутренней (исторической) и внешней (сравнительно-исторической) существует также внешняя реконструкция, которую как комбинированную можно назвать сопоставительно-исторической (из сокращения ее полного названия «сопоставительно[-типологическая и сравнительно]-историческая реконструкция»)

#####. В отличие от первых двух реконструкций, где используются исконные элементы в их генетических связях, материалом третьей являются заимствования, в частности славянские заимствования в неславянских языках.

Каждая из трех упомянутых реконструкций имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам сопоставительно-исторической

реконструкции принадлежит конкретно-материальный характер реконструируемого факта. Если при двух других реконструкциях, отправляясь от зафиксированных форм, исследователь выводит как их результат незасвидетельствованную и, как правило, недоступную проверке форму, то здесь он имеет ее сразу во всей ее конкретности, правда, в более или менее измененном под влиянием языка-преемника виде. Вместе с тем факт заимствования именно того, а не иного слова может что-то сказать и о характере контактов соприкасавшихся народов, а тем самым и о социолингвистической стороне контактов, стоящих за реконструируемыми языковыми явлениями, не говоря уже о важности в целом установления взаимосвязей языков, свидетельствующих об исторических судьбах народов, их носителей, о занятых ими в тот или иной исторический период территориях. Недостатком данного типа реконструкции является



Металлические подвески-птицы из могильников на мерянской территории. [22, стр. 146]

то, что для ее точности необходимо максимально полное представление о языке-преемнике. Ввиду



языка сохранится их важная роль при возможно полной реконструкции мерянского языка.

Публ. по: Ткаченко О.Б.
х языках как источник древнейших славянских реконструкций //
їв: Наукова думка, 1988, с. 42-53.

Подробнее о сопоставительно-
данного типа реконструкций, см.: Ткаченко О.Б., 1979. - С. 3-9;
льно-исторического изучения славянских языков // Вопр.

неудовлетворительной изученности как языков-источников (в данном случае славянских), так и связанных с ними языков-преемников в доисторический период их развития применение сопоставительно-исторической реконструкции сталкивается со значительными трудностями и, несмотря на ряд важных сведений, полученных к настоящему времени, дает пока не всегда и не во всем убедительные, частично спорные (или оспариваемые) результаты. Это заставляет, находя указанный тип реконструкции перспективным, считать его далеко не исчерпавшим все свои возможности. Дальнейшего уточнения получаемых данных следует в основном ожидать от усовершенствования методики реконструкции и обнаружения новых фактов, уточняющих уже известные. То и другое, как правило, взаимосвязано.

К числу неславянских языков, особенно тесно связанных со славянскими, относятся балтийские, германские, восточнороманские, среднегреческий и новогреческий, албанский, финно-угорские. Ввиду многообразной специфики контактов славянских языков со всеми перечисленными целесообразно остановиться только на славяно-финно-угорских связях. Одним из наименее выясненных вопросов этих контактов, от решения которого во многом зависит оценка славянских заимствований в финно-угорских языках как источника древнейших славянских реконструкций, является вопрос об их хронологической глубине. Длительное время преобладала тенденция характеризовать их как относительно поздние, в связи с чем подвергались сомнению

даже те случаи, где отражены факты явно праславянского или близкого к нему периода (сочетания *tort (*tart), *tolt (*talt) и под., редуцированные гласные или их предшественники, количественные различия в вокализме говоров — предков восточнославянских языков и т.д.)..... Тем не менее в последнее время у ряда исследователей, как славистов, так и финно-угроведов, касавшихся древних славяно-финно-угорских языковых связей (таких, как В.Н.Топоров, О.Н.Трубачев, Б.А.Серебренников, В.Кипарский, А.М.Рот, В.Т.Коломиец)....., постепенно появляется фактически все больше отдельных возражений против подобного недоверия к языковым показаниям, связанным с финно-угорскими контактами. Это ведет к необходимости пересмотреть правомерность положения об их позднем начале. Лучшему пониманию причины их возможной хронологической глубины способствует концепция подвижности обоих ареалов во времени, представленная в последних работах как по этногенезу славян (О.Н.Трубачев), так и по этногенезу финно-угров (П.Хайду)..... Яснее история славяно-финно-угорских языковых отношений и их хронологическая протяженность становятся и благодаря включению в число известных науке финно-угорских фактов мерянского языка, реконструктивное исследование которого позволяет обнаружить в составе его лексики субстратные включения из языка носителей фатьяновской культуры явно (прото) славянского типа.....

В связи с указанным есть смысл ос-

О ценности данных славянских заимствований в неславянских, в частности финно-угорских, языках см.: *Pom O.M.* Проблемы інтерлінгвістики і фінно-угорсько-східно-слов'янські мовні контакти найдавнішого періоду // Мовознавство. - 1971. - № 4. - С. 16-27; *Pom A.M.* Венгерско-восточнославянские языковые контакты. - Budapest, 1973; *Kiparsky V.*, 1963. - Bd. I. - S. 75-84. Более скептическая их оценка содержится в кн.: *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. - М., 1961. - С. 45-47.

***** Подробнее см.: *Kiparsky V.* Op. cit. — S. 78, 83.

Кроме уже упоминавшихся трудов А.М.Рот и В.Кипарского, см. также: *Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. — М., 1963. — С. 246—247; *Серебренников Б.А.* Историческая морфология пермских языков. — М., 1963. — С. 221; *Коломиец В.Т.* Происхождение..., с. 85—87, 124—127; *Коломиец В.Т.* Значение..., с. 79—82.

Ср.: «Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможно-стью не только расширения, но и сокращения

тановиться на реконструкции нескольких древних славянских заимствований в финно-угорских языках, уже частично рассматривавшихся в литературе, чтобы на их основе ответить конкретно как на вопрос о хронологии контактов славянских и финно-угорских языков, так и о значении славянских заимствований в финно-угорских языках в качестве источника древнейших славянских реконструкций. Анализируемые слова будут рассмотрены в примерном хронологическом порядке их заимствования.

Слово со значением числа «семь», известное всем финно-пермским языкам (фин., иж. *seitseman*, кар. *seit't'semen*, вепс. *seit'sime*, вод. *seitse*, эст. *seitse* (ген. *seitsme*), лив. *seis*, саам К *CihCem*, морд. Э *сисем*, морд. М *сисем* (*sisem*), мар. *шым* (*ым*), мар. Г *шым*, удм. *сизьым*, коми З, коми-перм. *сизим*, мер. **seZ'um/*s'iZ'um* (наст. изд., с. 73)), в связи с его структурой Б.А.Серебренников считает заимствованным из ка-его, вообще — с фактом сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — со смешанным характером заселения Европы, далее с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории» (*Трубачев О.И. Языкознание и этногенез славян: Древ. славяне по данным этимологии и ономастики // Славянское языкознание: Докл. сов. делегации на IX Междунар. съезде славистов. — М., 1983. — С. 234-235*); «... экспансия финно-угорской охотничье-рыболовецкой культуры, оказавшей модифицирующее и нивелирующее влияние на другие культуры, не явилась единовременным актом. Финно-угры накатывались все новыми и новыми, разделенными во времени и пространстве волнами, пока не овладели лесной полосой Восточной Европы» (*Хайду П. Уральские языки и народы. — Л., 1985. — С. 164*).

⁶ См. наст. изд., с. 32, 36-38, 71-72, 91-97, 112-114, 121, 122, 125-126, 137-138. Понятием «протославянский» обозначается ранний этап развития праславянского языка, в том числе на занятой финно-уграми территории. кого-то индоевропейского языка славянобалтийского типа. Однако, так как финно-пермские языки не отразили в слове звук -р-, сохраненный балтийскими языками (лит. *septyni*, лтш. *septini* «семь», прус. *septmas* «седьмой»), но утраченный славянскими (р. *семь*, *седьмой*, укр.

сім, *сьомий*, бел. *сем*, *семы*, п. *siedem*, *siodmy*, ч. *sedm*, *sedmy*, слц. *sedem*, *siedmy*, вл. *sydom*, *sydmy*, нл. *sedum*, *sedumy*, полаб. *sidem*, *sidme*, болг. *седем*, *седми*, м. *седум*, *седми*, схв. *седам*, *седми*, слн. *sedem*, *sedmi*, стсл. *седьмь*, *седьмь* — «семь, седьмой»), с большим основанием слово можно считать заимствованием из языка собственно славянского типа. Наиболее архаично и близко по структуре к форме слова в языке-источнике, видимо, финское соответствие, где конечное -*man* должно было возникнуть под влиянием сингармонизма из первоначального -*man* (или близкого к нему звукосочетания). Дифтонгическое -*ei-* скорее всего отражает несущественный вариативный оттенок в произношении фонемы *e*, воспринятой в данной позиции как дифтонг, причем, возможно, только частью финно-пермян. Изложенное дает основание считать, что финское (< пражинно-пермское) *seitseman* отражает протославянское, то есть раннепраславянское, **setseman* (*-*mon*), один из этапов развития от протославянского **septeman* (*-*mon*) «седьмое» к позднепраславянскому *sedmo* «тс». Очевидно, весь путь этого развития следует рассматривать как цепь следующих переходов: **septeman* (*-*mon*) «седьмое» (ср. гр. ε *35opoV* (*< *sebdomon* «седьмое»), динд. *saptamah* < **septemos* «седьмой») > **setteman* > **setseman* (как результаты разных типов ассимиляции, непосредственной и дистантной) > **setman* (следствие гаплоггии, приведшее к опущению второго слога слова, почти идентичного с первым) > **sedman* (*-*mon*) > **sedmo*. Столь сильные структурные изменения в слове, потребовавшие значительного времени, объясняются теми неизбежными ассимиляционными процессами и сокращениями, которые часто возникают у числительных вследствие их быстрого проговаривания при счете. Отраженная финно-пермскими языками форма, близкая к отправной **septeman* (*-*mon*) «седьмое» (муж. р. ед.ч. **septemas/ *-os* «седьмой») как структурой корневой части, так и окончанием (с сохранением конечного согласного, еще не подвергшегося действию закона открытых слогов) свидетельствует о чрезвычайной своей архаичности и соответственно очень древнем периоде заимствования протославянского слова этими языками.

Слово со значением «дуб (*Quercus*)», представленное, видимо, как в финских, так и в пермских языках, хотя и различающимися рефlekсами (фин., кар., иж., вод. *tammi*, эст. *tamm*

***** *Серебренников Б.А. Указ. соч. — С. 221.*

+++++ См. по этому поводу у Б.А.Серебренникова: «В финском *seitseman* представлен дифтонг. Б.Коллиндер считает, что в удмуртском *sizum* «семь» первое *i* возникло из дифтонга *ei* (*Collinder B.*, р. 175). Однако дифтонг мог быть также чисто зональным явлением» (*Серебренников Б.А., 1967, с. 112*).

(ген. -е), лив. *tam* (ген. *tam*), морд. Э *тумо*, морд. М *тумо* (*tuma*), мар. *тумо*, мар. Г *тум*, мер. **toma* (*-э) (наст. изд. с. 120); коми 3 (дперм.) *туну*, коми- перм. *туну*, удм *туны*) предполагает для себя две праформы — прафиннскую **tomma*

и прапермскую (позднюю) **turi*. Обе праформы могли развиваться из общей прафин-но-пермской праформы **tompa* путём прогрессивной ассимиляции в прафинском, давшей **tomma*, и регрессивной ассимиляции в прапермском, давшей **toppa* с его позднейшим развитием в *^opra* > **turi*. Исходя из первоначального отсутствия в финноугорских языках звонких согласных и, следовательно, замены славянских *d*, *b* в финно-угорском их глухими соответствиями *t*, *p*, а также из того, что им совершенно несвойственны носовые гласные, финнопермское **tompa* наиболее обоснованно считать отражением протославянского **doba* (*-э) < **dumbos* «дуб». О том, что финнопермскому -от-, действительно, соответствовало протославянское -о-, а не звуко сочетание -от-, говорит открытость конечного слога слова: поскольку открытым стал конечный слог, то же самое должно было произойти в другом слоге, то есть сочетание «гласный + носовой согласный» должно было быть заменено носовым гласным. На славянское происхождение слова с этимологической точки зрения указывает то, что, развившись на индоевропейской основе, оно является новообразованием именно славянских языков, не имея соответствий в других индоевропейских. С фонетической точки зрения об этом сви-

детельствует, несомненно, открытый характер конечного слога слова (вместо ожидавшегося для других индоевропейских языков, в том числе раннепраславянского, в им.пад. ед.ч. муж.р. о-основ закрытого слога с конечным -s. или его рефлексам). В то же время конечный слог, судя по наиболее достоверным отражениям финских языков, сохранял в данном случае еще гласный полного образования заднего ряда низкого (или среднего) подъема вместо развившегося здесь позже независимо от тембра гласного (в случае его принадлежности к заднему ряду) звука -U, смененного в дальнейшем редуцированным -ь. Следовательно, в период заимствования слова финно-пермским праязыком в славянском уже действовал закон открытых слогов, проявившийся в рассматриваемом слове в утрате конечного -s., вполне возможного в финно-пермских языках (ср. ф. *kalastus* «рыболовство», коми 3 *ломтас* «топливо»). Однако конечный гласный, ставший таковым после отпадения следовавшего за ним согласного (-s.), в то время еще сохранял свое первоначальное качество. Это говорит о том, что заимствование произошло вскоре после отпадения конечного согласного в слове, задолго до начала процесса, приведшего постепенно к превращению его конечного гласного из гласного полного образования в редуцированный. Протосл. **dob* а (**dob* о) является через стадию **dob* U предшественником позднейшего псл. *dob* имеющего соответствия во всех славянских языках, ср. р., укр., бел., схв. *дуб*, др. *дубъ*, п. *dab*, ч., слц., вл., нл. *dub*, полаб. *dob*, болг. *дѣб*, м. *даб*, слн. *dob*, стсл. *дѣбъ*.

Слово со значением «озеро», имеющее достоверные соответствия только в финских и

Допускается и другое толкование слова, как ф.-перм. **segCema* (*Редеи К. и Эрдейи И.* Сравнительная лексика финно-угорских языков // Вопросы происхождения и развития ф. языков. — М., 1984. — С. 433). Однако в финноугорских оно ничего не меняет, так как и здесь речь идет о протославянском заимствовании, в основе которого, по-видимому, лежит протосл. **semtsema*. При этом только несколько меняется представление о пути развития слова. Кроме того, принятие данной праформы предполагает также действие закона открытости слогов уже в протославянском даже этого периода.

Collinder B. Op. с[^]. — P. 155.

Лыткин В.И., Гуляев Е.С., с. 286.

Наст. изд., с. 121.

См.: Этимологический словарь славянских языков, вып. 5, с. 95—97. Ошибочно мнение о финском происхождении слова (*Топоров В.Н., Трубачев О.Н.* Указ. соч. — С. 246), так как, имея убедительную славянско-индоевропейскую этимологию, оно не имеет такой же финно-угорской. Заимствование же слова, обозначающего дерево, неизвестное финно-уграм на своей прародине, является вполне естественным.

утратой собственного слова, сохраненного всеми остальными уральскими народами (ср. коми З, коми-перм., удм. *ты*, манс. *tO*, хант. *C tew*, венг. *tO* (*tavat* — аккуз. ед.ч.), нен. *tO*, эн. *to*, нган. *turku*, сельк. *tu*, кам. *t'u*, матор. *^a*, тайг. *to* «озеро»), объяснить значительно сложнее. Одной из возможных причин, видимо, могло быть заимствование слова в качестве синонима, который как более точный и выразительный, например в силу возникшей неудобной омонимии, коснувшейся исконного слова, мог его впоследствии полностью вытеснить. Другой причиной, возможно, связанной с первой, могло быть сохранение слова в качестве субстратного пережитка в речи славян, переходивших на финно-угорский язык.

Слово со значением «цел(ый), здоровый»), представленное только в мерянском языке: мер. *soie (наст. изд., с. 112-113) и отраженное в русском (диалектном) выражении «Цолонда!» — «Здравствуй, хозяин!» (< мер. *soie-пПЕ! < *Coie, anDe (Pa)! «Здоровый) (будь), кормящий!»), является, очевидно, включением из субстратного славянского, которое на основе его рефлекса в мерянском можно реконструировать как *solι(/-ъ) < *kc^1ι(/-ъ) < *kailo(/-^ s «целый, здоровый». Ввиду возможности в мерянском звукотипа о подтверждается реальность сл. *-o- (< *-oi-) как одного из этапов и линий развития звука -e-. Слово интересно также тем, что в качестве засвидетельствованного инославянского соответствия в близкой приветственной формуле имеет только полаб. c'oi (!) «за (твое, ваше) здоровье!» (букв. «цел (то есть здоров) (будь)!»), хотя в самостоятельном нефразеологическом употреблении имеет соответствия и во всех других славянских языках (ср. р. цел(ый), укр. цілий, бел. цэлы, п. caly, ч., слц. cely, вл. cyly, нл. cely, болг.

Два последних слова интересны тем, что в них, по-видимому, отражены две разные стадии в развитии сл. -е-. Если в слове *solι(-ъ) отражена та стадия, когда еще различались рефлексy звуков, впоследствии слившихся в едином звуке

***** Надо считатья и с тем, что
«семь» у финно-угров несчастливое число. Отсюда потребность в его «маскировке» чужим словом.
+++++ MNTESz, III. — L. 959-960.
+++++ MSzFUE, III. — L. 634.
§§§§§ Наст. изд., с. 112—114.
***** Наст. изд., с. 114; Коломбъ
В.Т. Фонетика // Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов / За ред. О.С.Мельничука.
— К., 1966. — С. 66.

е, то слово *dvanі отражает своим *-а- или сам звук е, или непосредственно предшествующее его появлению состояние. Об этом свидетельствуют наличие звука а вместо ожидавшегося (и ранее имевшегося здесь) звука о(/ 5), развившегося из существовавшего перед тем дифтонга (*dvOni < *d(u)uo injei < *d(u)uainjai), а также то, что звуку е в наиболее старых заимствованиях финского языка, генетически и территориально близкого мерянского, соответствует aa (ср. ф. *maaga* — псл. *mer* а «мера»). Очевидно, прасл. е было звуком открытым и низкого подъема, а поэтому близким к финно-угорскому aa. Только впоследствии в некоторых из славянских языков, в частности восточнославянских, он значительно сузился, а иногда перешел в дифтонг. Поэтому при заимствовании восточными славянами рассматриваемого мерянского слова в форме мн.ч. *panek с мер. а (< протосл. а (?-е)) этот звук был воспринят ими не как соответствующий их е, а как идентичный '-а- (-я-) (ср. р. (диал.) *бяньки* «двурогие вилы»). Напротив, выступающее в форме ед.ч. мер. -е (*£Π) как узкий звук, напоминавший восточнославянское (прото(велико)русское) е, было идентифицировано восточными славянами с этим звуком, о чем свидетельствуют диалектные варианты *бени* — *бини*, которые могли возникнуть только на основе др. *біни*. Ввиду того что в настоящее время ничего не известно о количестве мерянских гласных (скорее всего, как и в других волжско-финских языках, количество здесь в основном не получило развития), трудно что-либо определенное сказать и о количестве гласных о, а в соответствующих славянских словах, легших в основу мерянских заимствований. Долготу в реконструируемых сл. *coli(/-ъ) и *dvan i с определенностью можно предполагать только для начального периода их существования.

С семантической точки зрения слова *dvani и *solι(-ъ), реконструируемые на основе их мерянских отражений *РсП (* ran эк) и *solэ, интересны тем, что говорят о влиянии славян на мерю как в материальной, так и в духовной жизни. Заимствованное *РсП (♦^пэ^ «двурогие вилы»

свидетельствует о том, что у славян мерянские племена учились ведению скотоводства, что было связано с заготовкой кормов и необходимыми при этом сельскохозяйственными орудиями. Заимствованное в составе приветственной формулы слово *soie «здоровый, целый» говорит о длительных контактах мери с той частью славян, которая впоследствии была ею ассимилирована, и о знании этого славянского языка по крайней мере частью мерянского населения. Иначе трудно себе представить усвоение приветственной формулы, относящейся к такой сложной части языка, как языковой этикет. В свою очередь, косвенно это указывает на то, что полный переход той части славян, которая оказалась в мерянском окружении, на мерянский язык проходил медленно, скорее всего на протяжении нескольких веков. При своем небольшом количестве рассмотренные выше слова, особенно наиболее древние из них, представляют значительный интерес, говоря с несомненностью о большой временной глубине славяно-финно-угорских языковых контактов. На это указывает целый ряд обстоятельств, как внешнеязыковых, так и внутриязыковых, одновременно уточняющих и конкретизирующих те условия, при которых эти контакты протекали. Все рассмотренные слова являются праславянскими (< протославянскими) по происхождению, поскольку или обнаруживают соответствия во всех славянских языках (*setsemon, *dob o, *jaY'ero, *soi (/ъ)), или при их отсутствии в большинстве из них имеют широкие внеславянские индоевропейские параллели (*dvan i — лат. bini (< *duis- no) «двукратный», лит. dvynu «близнецы», дсакс. twene «двое» и под. того же корня и с тем же суффиксальным -n-), что говорит об их древнем общеславянском происхождении. Однако само по себе это еще не является показателем такой же древности их проникновения в соответствующие финноугорские языки, о чем свидетельствуют другие аргументы внешелингвистического и внутрелингвистического характера. С внешелингвистической точки зрения обращает на себя внимание то, что наиболее древние из рассмотренных заимствований проникли в финноугорские языки в эпоху после их распада на финно-

Коломібць В.Т. Фонетика. — С. 57, 66.

***** Наст. изд., с. 95—97.

пермскую и угорскую ветви, однако в период прибалтийских финнов к сохранению финно-пермского единства. На это указывает тот факт, что (прото)славянские по происхождению слова со значениями «семь» и «дуб» не известны ни одному из угорских языков, имея соответствия во всех финских (частично и саамском) и пермских языках. Учитывая, что распад финно-угорского единства относят к VI тыс. до н.э., а III тыс. до н.э. считают временем выхода

Балтике....., то есть началу контактов мери с древнерусскими племенами в IX—X вв. также временем их отделения от финнов волжских, период финно-пермского единства следует связывать с VI—V/IV тыс. до н.э. Именно в этот период (и не позже) могли быть заимствованы данные слова, поскольку позднее проникновению в пермские языки должно было воспрепятствовать их отделение от финских. Слово со значением «озеро» заимствовано уже только прибалтийско-финскими, волжско-финскими и саамским языками (в пермские языки оно, по-видимому, не проникло). Это говорит о том, что его проникновение в финские и саамский языки произошло уже после распада финно-пермского языкового единства, но еще задолго до разделения финских языков на прибалтийско-финские и волжско-финские. Иначе оно не получило бы в них столь повсеместного распространения. Следовательно, скорее всего заимствование произошло ближе к временному рубежу V—IV тыс. до н.э., чем к III тыс. до н.э., когда уже были прерваны непосредственные родственные связи с пермской языковой ветвью, которая начала свое самостоятельное развитие, но еще полностью сохранялось единство финских идиомов, основы будущих отдельных прибалтийско-финских, мордовских, марийского и мерянского языков. С еще более продвинутым этапом развития финских языков в целом связано заимствование славянских слов со значением «целый, здоровый» и «двурогие вилы» (< «двойни — предмет из двух частей»), поскольку их соответствия не обнаруживаются ни в одном из финских языков, кроме мерянского. Это дает основания считать начальным рубежом их возможного проникновения в мерянский язык начало I тыс. до н.э. — время предположительного сложения мери в отдельный финский этнос, а конечным рубежом первые века нашей эры, скорее всего не позднее V в., поскольку при первом упоминании мери (в VI в. н.э.) у готского историка Иордана..... никакие славяне вместе с нею не упоминаются, тем более не оставалось этих славян на мерянской территории к

+++++ См.: Вуйтсо Т.-П.
[Рецензия] // Сов. финно-угроведение. XVI. — 1980. — № 3. — С. 238. — (Рец. на дис.: Хелимский Е.А.
Древнейшие угорско-самодийские языковые связи: Анализ некоторых аспектов генет. и ареал.
взаимоотношений между уральскими яз. / Дис. ... канд. филол. наук. — М., 1978).

Подвески и височные кольца
мерянско-типа X - сер. XI в.
[22, сmp. 98]

Итак, на основании чисто экстралингвистических данных абсолютная хронология заимствования рассмотренных слов финно-пермскими языками устанавливается как период примерно от VI—V тыс. до н.э. — V в. н.э. Возможность такой хронологической протяженности и одновременно глубины контактов, допущенных на основе экстралингвистических данных, подтверждается внутрилингвистическими данными: для древнейшего заимствования можно предположить сохранение впоследствии отпавшего конечного согласного; для следующего по времени — сохранение качества конечного гласного полного образования в именительном падеже единственного числа мужского рода после отпадения следовавшего за ним согласного; для еще более позднего заимствования наличие *-y'- (< *-gh-) без его перехода в -z-; даже наиболее поздние мерянские субстратные включения отражают еще не закончившийся процесс образования звука е,. Проанализированные слова отражают, таким образом, чрезвычайно большой доисторический период развития славянского языка, обнаруживая в сохранных благодаря заимствованию формах слов те явления, которые можно только предполагать с помощью двух других типов реконструкций. В свете приведенных фактов отпадают всякие сомнения в древности славянских заимствований в финно-угорских языках. Есть все основания считать, что среди славянских заимствований в неславянских языках им принадлежит одно из первых мест (если не самое первое). Это делает необходимым самый тщательный анализ и тех славянских заимствований в финно-угорских языках, которые давно известны науке, но до сих пор из-за недостаточности сведений о них, в том числе о возрасте наиболее древних, не получили вполне

однозначного

Исследованные факты, говоря о большой древности контактов славян с западной частью финно-угорских народов, их финно-пермской ветвью, и очень раннем начале их взаимосвязей, ставят одновременно перед вопросом о территории, на которой они могли иметь место. Безусловно, свое мнение относительно этого должны сказать не только лингвисты, но и историки, а также археологи. На основании одних лингвистических фактов ответить на данный вопрос с надлежащей полнотой невозможно. Тем не менее даже одни лингвистические явления говорят о том, что, поскольку в начале этих контактов приняли участие как будущие финны, так и пермяне, территория, занятая славянами в то время, простиралась значительно дальше к востоку, чем предполагалось для всех допускаявшихся до сих пор славянских прародин. Именно славяне, а не балтийцы должны были быть после индоиранцев первым индоевропейским народом, с которым столкнулись финно-пермские племена при их движении на запад. Об этом говорят древние славянские пермские языки, где одновременно полностью отсутствуют заимствования из балтийских. Очевидно, дальнейшие исследования должны привести к новым открытиям следов древних славяно-финно-пермских контактов. Однако большие связи у славянских языков обнаруживаются с финскими языками. Скорее всего, это объясняется тем, что при своем движении с востока финно-пермские племена оттеснили славян к западу. Поэтому для

мерян, оставшихся на востоке, связи с древними славянами прекратились значительно раньше, чем для финнов, продолжавших продвигаться на запад. Особенно долго связь с этими славянами сохранялась у мерян, так как они поселились на территории, где продолжало оставаться славянское население, постепенно, в течение ряда веков, ассимилированное мерянским. Не исключено, что на этой же территории какое-то время вместе с мерянами, непосредственно контактируя со славянами, до своего переселения к Балтийскому морю находились и предки прибалтийских финнов. Возможно, именно этим объясняется довольно большое количество древних заимствований праславянского типа в прибалтийско-финских языках³¹ при их почти полном отсутствии (за исключением рассмотренных) в мордовских и марийском.

Как видно из изложенного, славянские заимствования в неславянских (в частности, финно-угорских) языках являются ценным источником для древнейших славянских реконструкций. Они позволяют не только воссоздать утраченные древние формы славянских слов, не отраженные даже самыми старыми письменными памятниками, но и узнать из древнейшего славянского прошлого многое, не известное из исторических источников. Указанное выше, говоря о большой пользе и перспективности рассмотренного источника, требует дальнейшего целенаправленного и интенсивного исследования древних славяно-неславянских языковых связей.

Так, ввиду отражения протосл. -y- (< *-gh) в прафин. *jaŋ'era «озеро» с большим основанием можно в ф. kimalainen «шмель» усматривать отражение протосл. *kimelĭ (> псл. сътьĭ «те») (см.: *Toivonen Y.H. Suomen kielten etimologinen sanakirja*. — Helsinki, 1978. — S. 194), которое ставилось под сомнение как древнее заимствование из славянского языка (*Фасмер М.*, т. 4. — С. 459). О возможности длительного проживания протославян с предками прибалтийских финнов, при котором часть из них перешла на прибалтийско-финский диалект (> язык), свидетельствует характер некоторых из древнейших славянских заимствований в прибалтийско-финских языках, например приведенное выше ф. kimalainen «шмель», а также varpunen (< псл. *varbŭ / *vorbŭ) «воробей», смысл которых как заимствований непонятен, но вполне объясним для субстратных включений, обозначающих наиболее распространенные и обыденные понятия.

³¹ См.: *Kiparsky V.* Op. cit. - S. 73-84.

ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦИИ МЕРЯНСКОГО ЯЗЫКА *****

Мерянский является единственным мёртвым финно-угорским идиомом, который с наибольшим основанием можно считать языком, а не диалектом. Своеобразие заставляет предполагать в нём представителя особой финно-угорской группы. В своих сохранившихся остатках мерянский полностью растворился в русском языке тех мест, где жили его носители. Его памятники, если и были, до сих пор не обнаружены. Поэтому изучать мерянский язык можно пока лишь путем его реконструкции из русского (в диалектных апеллятивах и ономастике). Предпринятые до сих пор попытки его исследовать (Т.С.Семёнов - 1891 г., М.Фасмер - 1935 г., О.В.Востриков - 1978, 1981 гг.), дали сравнительно мало для представления о языке в целом, так как не имели в виду всестороннего исследования языка. Опираясь на опыт и достижения предшественников, эту задачу поставил перед собой автор доклада. Материалом при этом послужили как показавшиеся надёжными данные из работ предшественников, так и апеллятивные диалектные факты. При исследовании предполагаемого мерянского языкового материала был применён особый сопоставительно-исторический (историко-типологический) метод, представляющий собой сочетание сопоставительно-типологического и сравнительно-исторического и позволяющий с помощью первого из них выделить факты мерянского происхождения из русского языкового материала и с помощью второго доказать их финно-угорское, мерянское происхождение. Результаты этой работы полностью отражены в книге докладчика «Мерянский язык» и его статье «Проблема реконструкции дославянских субстратных языков на основе славянских

***** Публикация в кн.:
Материалы VI международного конгресса финноугроведов. Том 2. — М., «Наука», 1990, стр. 190-192.
(Доклад на VI международном конгрессе финно-угроведов (Сыктывкар, 1985)).

мерянской фонетики, судя по её отражениям в названиях русских говоров постмерянских территорий, относились: 1) отсутствие скоплений согласных в начале слова; 2) отсутствие фонематического противопоставления по глухости-звонкости с частичным озвончением глухих в интервокально-сонантной позиции; 3) наличие звука Р (вместо b, v), что привело к смешению б и в в местных русских говорах; 4) богатство консонантизма при относительной бедности вокализма; 5) сужение гласных с переходом в гласные более высокого подъёма в новом закрытом слоге *е > *і (*Элино* — *Ильдомка*); *о > *у (*огаВа (фин. *ogava*) > игма «белка»); *а > *о (*Кибало* (1578 г.) > *Кибол*); *а > *е (*рапек (мн.ч.) > реп (ед.ч.)); 6) по-видимому, оглушение сонорных (стоп < стоЛп < столп «столб»); 7) отсутствие чередования ступеней согласных как морфонологического явления при возможности отдельных его зачатков на стадии фонетической вариативности; 8) очевидно, отсутствие сингармонизма; 9) инициальное ударение (*Кинешма*, *Яхрома*, *Костома*, *Чухлома*). Рассмотренная в целом, фонетика мерянского языка при чертах своеобразия обнаруживает наибольшее сходство с фонетикой волжско-финских языков — мордовского и марийского.

ГРАММАТИКА. Фрагменты грамматической системы обнаруживаются только для двух частей речи — существительного и глагола. Существительное (склонение): ед.ч. ном. *palo (*Кибало*, *Нушполо* < *-пало); ген. *palon (*Нерон* < *N'eron (jahre) «болота (озеро)»); парт. **paloDa (фин. ст. *kuia5a*, р. стакан чаю — цена чая); инесс. **palosna (>) **palosa (ф. *kulassa*, морд. М *велеса*, — р. в лесу - в лесе); иллат. *palos (р. (арг.) *дуляс* < *tuljas «огонь < *в огонь, *огню», морд. М *велес*, фин. *ylo s*); элат. **palosta (фин. *kulasta*, морд. М *велеста*); адесс. **palolna (<) **palola (фин. *kylalla*, морд. М *фтала* «сзади», — р. в лесе — в лесу); аллат. **palol (фин. *kyllale* < *kyla len < *kyla l* (€П)); аблат. **palolDa (фин. *kylalta*); вокат. *ata j «отче» (р. (диал.) *мамай!* «мама»!; морд. М *атяй* «дед!»); мн.ч. ном. *palok (*ра нек «двузубые вилы», р. диал. *бяньки* — *бени*, *бинй*). Мерянская система склонения при доступной сейчас

реконструкции её фрагментов обнаруживает наибольшее сходство с прибалтийской и мордовской, особенно в их древнем состоянии. Однако форма номинатива множественного числа наиболее близка к венгерской (и западносаамской).

Глагол. (Спряжение: Некоторые личные

формы в основном только для глагола *jol/ -*ul- «быть». Положительные формы — 3 л. ед.ч. *jon «есть» (рус. (арг.) *(си)ень* «(это) есть» < мер. *(si)jon). Отрицательная форма настоящего времени. 1-3 л. ед.ч., мн.ч. *е jola (-е) «не есть» (рус. (арг.) *не ёла* «нет (< не есть)», — эст. (ma, sa, ta, me, te, nad) *ei ole* «(я, ты, он, мы, вы, они) не есть»). Прошедшее время. 3 л. ед.ч. *ul «был» < *oli, мер. *ulsa «бывший», фин., эст. *oli* «был»; морд. Э *ульсь*, мар. *ыле*). Повелительное (побудительное) наклонение. 3 л. ед.ч. jolus (joloZe) «пусть будет (есть)» (р. (диал.) *елусь поелусь*) jolus pa jolus «пусть будет и будет», пожелание едящим; морд. Э *улезэ* «пусть будет». Кроме того обнаруживается также форма 2 л. ед.ч. повелительного наклонения (возможно, объектная) для глагола «сказать, говорить» *merек «скажи» (ср. рус. (диал.) *Ну, мерек* «Неужели; (букв.) Ну, (ты) скажи!»; *мерекать* «говорить») (ср. морд. Э *кундак* «лови», *кундык* «поймай его»). Причастия: anDoBa «кормящий» (р. *Андоба*, приток р. Кострома; фин. *antava* «дающий»; морд. Э *андыця* «кормящий»); *ulsa «бывший» (рус. (арг.) *ульша-га* «покойник», *ульшитъ* «умереть», мар. *улишо* «присутствующий, присутствовавший», морд. Э *сермадо-зь* «написанный»). Отглагольное существительное на -та *kolema «*смерть, *умирание; > (тяжёлая болезнь)» (рус. (диал.) *колема* «болезнь»). Рассмотрение реконструируемых мерянских глагольных форм показывает, что они занимают промежуточное положение между прибалтийско- и волжско-финскими.

В целом мерянская грамматическая система на основании реконструкции фрагментов проявляет себя как наиболее тесно связанная с прибалтийско-финской, мордовской и марийской. В одной из особенностей, однако, она более близка к венгерскому (и отчасти саамскому) языку.

ЛЕКСИКА. Из 100 исследованных слов предполагаемого мерянского происхожде

ния, исконных и заимствованных, наиболее подробному этимологическому анализу были подвергнуты 68 корневых лексем, относящихся преимущественно к исконно финноугорским или — в незначительной части — к древнейшим заимствованиям данных языков. Этимологический анализ этих 68 предполагаемых реконструированных мерянских слов, показательных несмотря на своё количество тем, что они обозначают наиболее элементарные понятия и, следовательно, относятся к наиболее употребительной лексике, показал, что из них 52 слова связаны с прибалтийско-финской лексикой, 38 — с марийской, 48 — с мордовской, 36 — с пермской, по 31 слову — с саамской и обско-угорской, 28 — с венгерской, 21 — с самодийской. Следовательно, на данном проанализированном материале мерянского языка обнаруживается, что мерянская лексика связана с прибалтийско-финской на 76,5%, с мордовской — на 70,6%, с марийской — на 55,9%, с пермской — на 51,5%, с саамской и обско-угорской (отдельно) — на 44%, с венгерской — на 41,2%, с самодийской — на 31%. Лексически в своём исконном словаре мерянский наиболее близок к финским языкам в широком смысле, а среди них тесно связан с прибалтийско-финскими и мордовскими. В то же время среди лексики, обозначающей либо важные понятия (**palo* «деревня»), либо служебные слова (союз *ra* «и»), — что может говорить о длительных контактах, — обнаруживается связь с

проявляется и в области грамматики, причём в исторический период мерянская территория нигде не соприкасалась с угорской, наиболее естественно предположить, что контакты мерянского с угорскими языками имели место ещё в прото-мерянский период, до переселения прото-мерян со своей финно-угорской прародины. В разные периоды своей истории мерянский язык вобрал в себя ряд лексических заимствований и субстратных включений из родственных и неродственных языков, в частности из угорских языков, из фатьяновского, — частично связанного с протославянским, — индоевропейского субстрата, из болгарского, балтийского, греческого в связи с христианизацией и, видимо, переводом с греческого богослужебных книг, из славяно-русского и т.д. С помощью сведений о мерянской фонетике, грамматике и лексике вместе с данными о материальных или калькированных фрагментах мерянских оборотов и синтаксических конструкций становится возможной попытка реконструкции мерянской фразеологии. Исследование мерянского языка важно как само по себе в связи с тем, что оно позволяет сделать доступным для науки исчезнувший язык, так и ввиду того, что оно вводит в оборот много новых фактов, важных для финно-угристики, русистики и славяноведения. Дальнейшее его изучение должно идти по пути поисков памятников мерянского языка и слов мерянского происхождения.

угорскими языками. Поскольку такая же

Мотивы коня в керамике и привесках из могильников Костромской и Ярославской обл.

[22, стр. 141]



[illegible]

Прежде всего они свидетельствуют о том, что первые контакты со славянами совпадают с распадом финно-угров на финно-пермскую и угорскую языковые ветви. Именно носители финно-пермских языков первыми из финно-угров соприкоснулись со славянами. Угры длительное время никаких связей с ними не имели. Поэтому ни один из приведенных древнейших славизмов не выступает в угорских языках. Слово со значением «семь» в угорских языках также является заимствованием, однако не из праславянского, а, как полагают, праарийского (праиндоиранского)

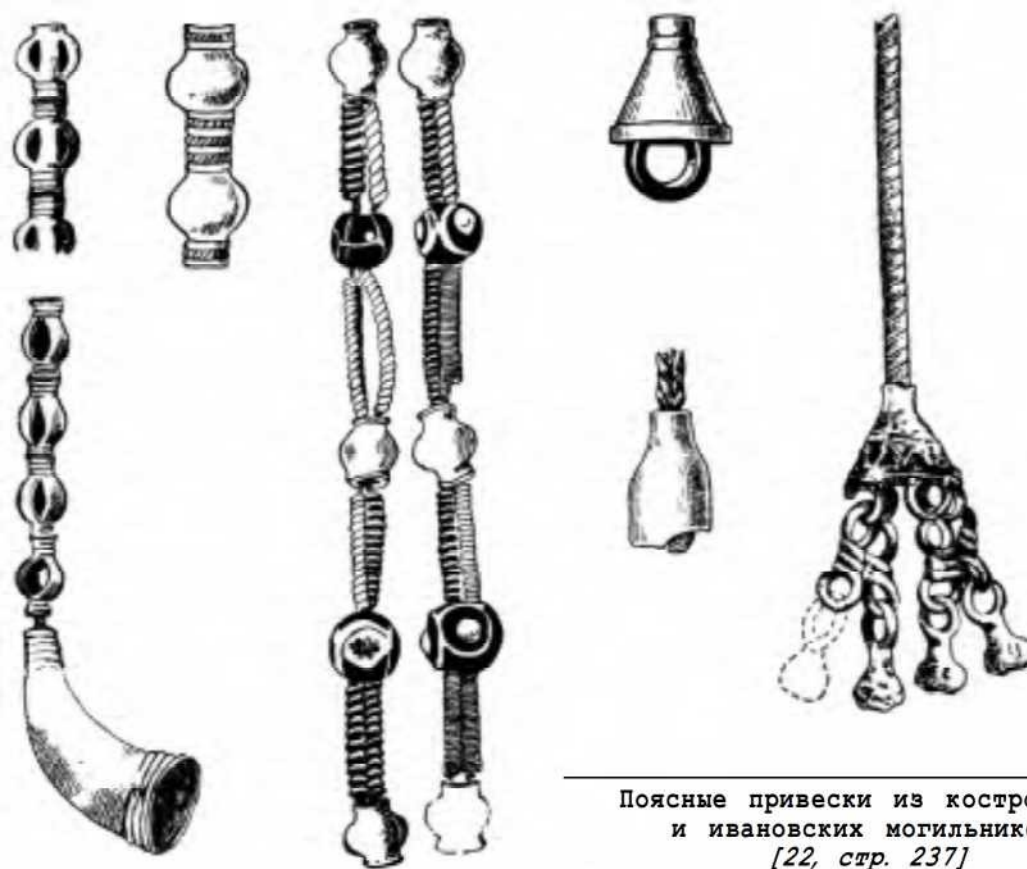
Ввиду того что прародина финно-угров располагалась в зоне тайги, где дуба нет, слово вместе с соответствующей реалией стало известно финно-пермянам только при переселении с их прародины на территорию, занятую славянами. Поскольку зона распространения дуба тянется на севере несколько южнее Вологды и Перми до Уральского хребта, а на востоке имеет своей границей его западные склоны, следует полагать, что ко времени проникновения финно-пермян на славянскую территорию она могла на Востоке граничить либо с западными склонами Урала, либо по крайней

мере доходить до низовьев реки Вятки и Камы. Иначе трудно было бы объяснить проникновение раннего праславизма *dǫbъ а (-о) «дуб» в пермские языки, носители которых к западу от этой территории не продвинулись.

Очевидно, позднее отсутствие славян на территории центральной и восточной частей европейской России явилось результатом их вытеснения, а частично ассимиляции финно-уграми. Именно о последнем, т.е. о частичной ассимиляции местных славян финно-уграми, финскими племенами в целом и прибалтийскими финнами, говорит наличие в общефинском слова со значением «озеро», а в прибалтийско-финском — слов со значением «шмель» и «воробей». С точки зрения заимствования, подобные слова совершенно избыточны и неоправданны. Однако как включения в свой второй (финно-угорский) язык носителями первого (праславянского) при их переходе с этого первого на второй язык слова эти вполне объяснимы и естественны. Ведь при ассимиляции субстратными словами-реликтами во вновь усвоенном языке зачастую становятся именно те, которые обозначают наиболее

частотные, связанные с повседневной жизнью понятия.

Разумеется, нельзя отрицать, что у славян прибалтийские финны заимствовали много культурных понятий (об этом свидетельствуют, напр., такие слова, как ф. *kuontalo* «кудель», *akkuna* «окно», *palttina* «полотно»). Однако факт этот давно известен и в доказательствах не нуждается. Менее известно то, что, как об этом неопровержимо свидетельствуют приведенные языковые данные, часть славян была финнизирована. Очевидно, именно ассимиляция славян, а также и других народов финно-пермскими, вызванная их распространением на обширной территории, способствовала в конечном счете тому, что первоначальное финно-пермское единство распалось впоследствии на целый ряд отдельных языковых групп и языков. На основании одних языковых свидетельств можно только говорить об относительной хронологии процесса распада финно-угорского языкового единства, отдельные этапы которого отражают, в частности, древнейшие славянские заимствования и включения в финно-пермских языках. Установить абсолютную хронологию поможет, очевидно, привлечение других, внеязыковых, данных.



Поясные привески из костромских
и ивановских могильников.
[22, стр. 237]

«КОСТРОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СЛОВАРЯ»*

Пенек «зуб» (Судиславль) находит себе
соответствия во всех финно-угорских языках (ср.:
ф., эст. ріі «зуб (зубья), зубец», морд. Э *пей* «зуб;
зубец», диал. рег, морд. М *пей*, мар. *пуй*, коми,
удм. *пинь*, хант. *пецк*, манс. *пуд* к, венг. fog «т.с.»,
восходящие к ф.-уг. **ripe*, являясь, по-видимо- му,
отражением формы множественного числа
мерянского *penek* «зубы» от формы ед.ч. *pen(e)*
«зуб»*****

в русском диалектном языке могло способствовать стремление к табуизации понятия «зуб», особенно в связи с болезнью зубов. Де-этимологизировавшаяся форма мерянского множественного числа, к тому же могущая сближаться в сознании с уменьшительными (типа *пенёчек*, *колышек* и под.), была использована в качестве формы единственного ввиду нежелательности отождествления формально близкого мерянского единственного числа *rep(e)* «зуб» с русским (< славянским) *пень*.

Сенёк «селезёнка» (мн.ч. *сеньки* «внутренние органы человека») (Мантурово), не находя себе соответствий в инославянском и даже в

***** В сокращенном виде
содержание статьи частично отражено в опубликованных тезисах: Мегіаніса (Этимология диалектных
слов из картотеки «Костромского областного словаря») // Русская диалектная этимология / Тезисы
межвузовской научной конференции (10-12 октября 1991 г.). — Свердловск, 1991, с. 37-38.

См.: MSzFUE I 208-209. Не исключено, однако, что ввиду действовавшей в мерянском языке закономерности, на основании которой в новом закрытом слоге гласный более высокого подъема переходил в гласный более низкого подъема (а > о, о > и, а > е, е > и, — см. наст. изд., с. 34-35), первоначальная форма единственного числа ren(e) в случае отпадения конечно редуцированного и возникновения в связи с этим нового закрытого слога могло давать позднейшую форму rin (при том, что во множественном числе ввиду сохранения открытости первым слогом в слове гласный -е- сохранялся без изменений. — Отсюда форма renek у множественного числа).

***** SKES III 525; ЭРЗС

217; МокшРС 312; MSzFUE II 399; КЭСКЯ 161.

индиалектном русском языковом материале, невольно заставляет искать своего истолкования в данных финно-угорских языков, исходя из дославянского финно-угорского прошлого Костромской области. Попытки отыскания параллелей в финноугорских словах со значением «селезёнка» (исходя из семантики диалектного слова) приводят к отрицательному выводу о возможности подобного значения. Данное понятие, по-видимому, не имело для своего выражения ни одного общего прафинно-угорского слова в качестве отправного пункта развития (либо подобное общее слово финно-угорские языки утратили). В настоящее время можно исходить только из того, что рассматриваемые языки имели, видимо, три не связанных между собой праслова: одно для прибалтийско-финских языков, другое — для мордовских (эрзянского и мокшанского) и третье — для остальных (марийского, пермских, обско-угорских и венгерского языков), — ср.: (1) ф. *perna* «селезёнка», кар. *parna*, вепс. *pern*, перм. *pern*, эст. *põut*, вод. *perna*, лив. *РҪГ па*, диал. (лифлянд.) *pirna*, ст. *purna*; (2) морд. *Э чечей*, морд. *М шяче*; (3) венг. *lep*, хант. (казым.) *лере^е*, мар. *леп*, коми, коми-перм. *лон*, удм. *луп* «т.с.» (восходящие к праязыковому **leppa/*iapps*.....

Как вытекает из рассмотренного, ни одна из приведенных лексем не имеет ничего общего с р. (диал., костром.) *сенёк*. В отличие от этого оно находит самую широкую сумму соответствий во всех не только финно-угорских, а и самодийских,

следовательно, уральских языках, однако, в словах со значением «сердце», - ср.: ф. sydan «сердце (ген. sydamen), диал. syvam, sy(v)an, syon, *saan (ген. saamen, у Леннрота, из первоначального olla saamissaan, «(букв.) быть в своём сердце (= сердиться)» из карельского), кар. suvan, suan, sean «т.с.», вепс. (1) sUd'ain, sUdam, «нутро, начинка»; (2) sUd aimed (мн.ч.) «внутренности (человека, животных)»; (3) sUdain (sUdam) «сердце», вод. sUa «сердце», эст. sUdam «сердце; середина; внутренность, нутро», лив. sidam, sUdam «сердце», саам. H cada, морд. Э *седей*, диал. *седед*, морд. М *сёди*, мар. *шум*, коми *сьёлём* «т.с.», удм. *сю- лэм* «сердце; сердцевина», хант. *сем* «сердце», манс *сим* «сердце; сердцевина; центр», венг. szív, диал. szUv (szUv) szU (szU) «сердце; центр; дух, мужество»; нен. *сей* «сердце», эн. seiĵo, нган. sa (soa), селькуп. sid'e, камас. si «т.с.», восходящие к прау- ральскому *si5a(-m3)/*SU5a(-m3)». Приведенные данные дают основание для того, чтобы считать диал. (костром.) *сенёк* отражением исходного мерян. *senek*, формы множественного числа от единственного, реконструируемого с наибольшим вероятно как *sen (или на более продвинутой стадии развития как *sin, в связи с закономерным переходом в новом закрытом слоге гласного низкого подъема в гласный подъема более высокого в мерянском языке)». Форма *сенёк* на русско-славянской почве осознавалась, однако, как форма единственного числа. Только уже в «обрусевшей» форме, с наращенным русским окончанием множественного числа -и (как *сеньки* «внутренности»), она воспринималась в качестве формы множественного числа, хотя исходно, в сущности, обе формы были формами множественного числа в мерянском, поскольку в обоих выступал мерянский показатель множественного числа -k (о чем подробнее см. наст. изд., с. 64).

значением «селезёнка» (как одного — вместе с сердцем — из внутренних органов) и что подобная семантическая трансформация могла произойти уже в мерянском языке (единственном среди уральских). Однако подобному предположению, уже сомнительному ввиду единичности такой трансформации среди всех уральских языков, противоречат и другие, не менее важные обстоятельства, указывающие на то, что переосмысление слова (появление у него значения «селезёнка») произошло уже в русском языке. Первоначальным же значением предполагаемого мерянского *Sen/*Sin* (ед.ч.) было «сердце», как и во всех других родственных уральских языках, тем более, что формально мерянское слово очень близко, в частности, к ряду других финно-угорских слов с тем же значением, ср. в частности, ряд прибалтийско-финских параллелей, таких как ф. (диал.) *syän*, **saan*, кар. *seän*. Заставляет это предположить и то обстоятельство, что форма множественного числа слова, отраженная в русифицированном *сеньки*, представляет собой, видимо, остаток некогда существовавшего мерянского парного словосочетания *senek* — [**maksek*] (букв.) «сердца-печени (= внутренности)», — ср. морд. Э *седейть-максот* «(букв.) сердца-печени (= (собр.) ливер < продукт из печени, легких, сердца, селезёнки убойных животных)», где, помимо, видимо, общей с мерянским словом семантики, обращает на себя внимание и общность формы: в обоих случаях оба компонента парного слова выступают во множественном числе. Близко по семантике, однако, уже в форме единственного числа для обоих компонентов, и марийское парное слово *шум-мокиш* «(собр.) ливер (букв. сердце-печень)». В том случае, если бы мерянское парное слово *senek* — [**maksek*] начало выступать и с обратным порядком компонентов [**maksek*] — *senek* «печени-сердца» — подобные случаи известны в других ф.-уг. языках (ср. кар.: *eletah-ollah* «живут-суть» и *ollah-eletah* «суть-живут»), а, следовательно, их нельзя исключить и для мерянского — при том, что русским говорам известно слово *макса* «рыбья печень», которое могло, как диалектное и арготическое, сохранять и более широкое значение «печень (вообще)», слово

***** См. наст. изд., с. 37-*****

же *семёк* было десемантизировано, последнее могло быть осмыслено как «селезёнка». Толчок этому могло дать существующее в русском народно-разговорном языке словосочетание *печёнки-селезёнки*. Наиболее естественно предположить возможность подобного семантического преобразования рассматриваемого слова в последний период существования мерянского языка, когда в условиях вытеснения мерянского языка со стороны русского семантика многих мерянских слов и словосочетаний начала стираться в памяти носителей языка. Дополнительным фактором, способствовавшим переосмыслению первоначального *эеп/*sin, «сердце», могло быть и то, что последнее слово в мерянском языке, возможно, вытеснялось в этом значении каким-то другим, — ср. вепс. *sud* 'ain, *sudam* «сердце», вытесняемое словом *heng* с тем же значением (первоначально с семантикой «душа»).

Кандейка (Буйский р-н Костромской области) «два сосуда, в которых носят есть пастухам (в одной кринке — молоко, в другой — суп) (с. Чернопень); два глиняных горшка, соединенных вместе, в них раньше носили завтрак (д. Зарубино)» — слово неясное ввиду своей изолированности на фоне славянской лексики, которое получает, однако, вполне убедительное истолкование на фоне лексических систем финно-угорских языков. Корень *канд-*, присутствующий, видимо, также в диалектном (ярославском) *кандёхать* «работать» (очевидно, первоначально «выполнять (тяжелую) работу (связанную с ношением тяжестей)», по-видимому, имеет своей исходной основой мерян. *kanD* — «нести, носить» (ср. род- ственные ему: ф. *kantaa* «нести, носить», кар. *kandoa*, вепс. *kantta*, вод. *kanta*, эст. *kandma*, лив. *kande*, саам. *guod'det*, морд. Э *кандомс*, морд. М *кандомс* (*kandems*) «т.с.», мар. *кондаш* «приносить, принести», мар Г *кандаш* «т.с.», манс. *хунт* «котомка (< ноша)», *хунти* (*khunti*) «взваливать ношу (на спину)», хант. (вост.) *ka ntemta* «т.с.», нен. *ха- на(сь)* «унести, отнести», эн. *kaddabo* (*haddabo*) «т.с.», восходящие к прауральскому **kant-* «нести, носить»)).
 Таким образом, данное слово отсутствует только в пермских (коми и удмуртском) языках и частично в угорских. Наличие данного слова (корня) почти во всех уральских языках, а, следовательно, его

прауральский (в том числе, и прафинно-угорский) характер, как и несомненная семантическая мотивированность реалии (ведь речь идет именно о ноше, посуде для переноски еды) позволяет обосновать финно-угорский характер рассматриваемого областного слова. О его именно мерянском происхождении говорит как то, что оно засвидетельствовано на постмерянской территории, так и его несомненная мерянская самобытность, заключающаяся в самой его структуре. Поскольку в данном случае речь идет не об одном, а о двух сосудах, вполне логично допустить, что исходной для русского диалектного слова *кандейка* могла быть мерянская форма множественного числа с показателем множественности, конечным -*k*. В таком случае, по-видимому, мерянской формой, лежащей в основе диалектного (костромского) слова должна была быть форма *kanD-ej-e-k*, где *kanD-* является корнем, компонент -*ej-* — суффиксом, -*k-* — показателем множественного числа. Что касается -*e-*, представленного редуцированным переднего ряда, то оно является необходимым вокалическим элементом между суффиксом и показателем множественного числа, поскольку судя по фонетическим тенденциям русских (постмерянских) говоров, отразивших фонетику мерянского языка, последнему, как и всем финно-угорским языкам, особенно исходно, были чужды скопления согласных (их должно было быть не больше одного), как в начале, так и в конце слова (см. наст. изд., с. 15-17). Это вынуждало прибегать к вставному гласному, который, ввиду своей заударности в конце слова, вероятней всего должен был быть представлен редуцированным, переднерядным в качестве находящегося после среднеязычного (палатального) -*j-*.

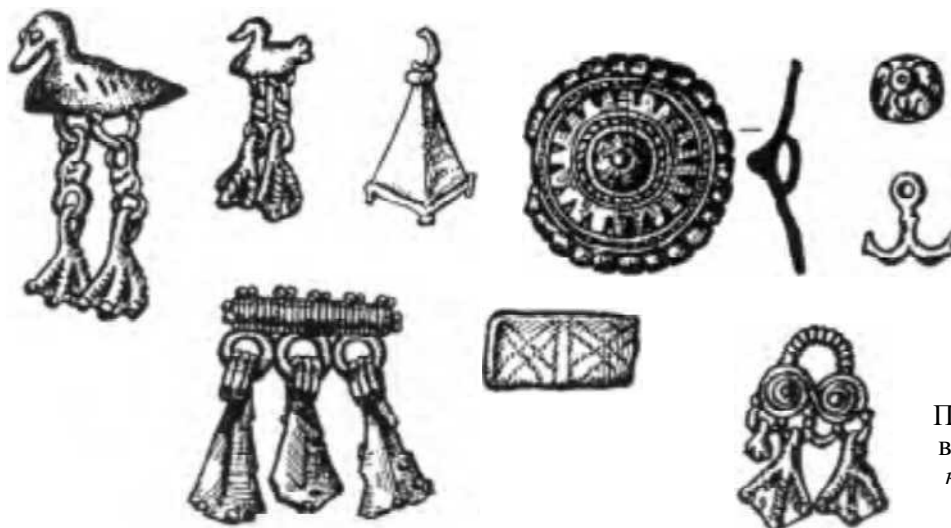
При попытке объяснения функции суффикса -ej-, наиболее обоснованным представляется его истолкование Б.А.Серебренниковым (см.: Серебренников Б.А., 1964, с. 171-172). Б.А.Серебренников, опираясь на данные целого ряда уральских языков, в частности, таких, как мордовские, пермские, саамский и самодийский ненецкий, приходит к выводу о существовании в них причастий на -j-). В других из данных языков -j- мог стать словообразовательным элементом отглагольных существительных (ср. ф. *ostaja* «покупатель» от глагола *ostaa* «покупать», *lahettaja* «отправитель» от глагола *lahettaa* «отправлять, отправить»).

Следовательно, формой единственного числа в мерянском языке было *kanDej(-ej)*. Наиболее близки к ней имена действия на -ej ненецкого языка (исходно, по-видимому, соответствующие действительные причастия настоящего времени), — ср.: нен. *talej* «вор (т.е. «ворующий») от *tale(S)* «украсть», *roggej* (но. 'гэй) «вихрь (крутящийся)», *kharej* «хорей (шест для погоняния оленей)» («пугающий» от *khare(s)* (*харе(сь)*) «испугать, вспугнуть; погнать (оленью или собачью упряжку)». Таким образом, точное значение мер. *kanDej(-ej)* — «носитель (несущий)». Скорее всего, однако, если даже в прошлом у слов с суффиксом -ej- в мерянском и было значение действительного причастия настоящего времени, ввиду того, что в нем эту роль выполняли образования на -р а (ср.: *tuDo^a* «знающий», *anDo^a* «кормящий (<дающий)» (см. наст. изд., с. 78-79), формы с -ej- приобрели в мерянском языке значение отглагольных существительных типа финских образований на -aj(а), приведенных выше. Есть, следовательно, наибольшее основание считать, что мерянское *kanDej* имело значение «носитель» и соответственно *kanDejek* «носители (два кувшина)». При адаптации русским языком формы мерянского мн.ч. *kanDejek*, употреблявшейся вполне естественно в мерянском, поскольку речь шла не об одном, а о двух кувшинах (где логичной была множественная форма) — появлялось странное, с точки зрения русской слово- и формообразовательной системы, образование **кандеек*, похожее на форму род.пад. мн. числа женского рода типа *леек* от *лейка*, *канареек* от *канарейка* и под.). Бследствие этого вполне естественным было выведение этого образования из логичной с точки зрения русского языка формы им- .пад. ед. числа *кандейка*, тем более, что данная

словообразовательная модель (с суффиксальной частью -ей-к(а)) при образовании слов с предметным значением является в русском языке довольно распространенной (ср. образования типа *кацавейка*, *цигейка*, *тюбетейка*, *скуфейка*, корни которых зачастую, как и в *кандейка*, также затемнены, являясь иноязычными заимство-

ваниями).

Рассмотренные этимологии всех трех слов интересны и с грамматической точки зрения, поскольку наряду с уже приводимыми примерами (см. наст. изд., с. 64) они лишний раз подтверждают реальность для мерянского языка в качестве показателя множественного числа у имен существительных форманта -к.



Бронзовые украшения из
Поповского городища VII-IX
вв. [Археология Костромского
края. Кострома, 1997, с. 127]

МЕРЯНИСТИКА КАК ОСОБАЯ ОБЛАСТЬ РУССКОГО СУБСТРАТНОГО ФИННО- УГРОВЕДЕНИЯ. (ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)*****

Мерянистика — область финно-угроведения, занятая исследованием мёртвого финно-угорского мерянского (мерьского) языка, примерно между 1000 г. до нашей эры и 1730/50 гг. распространённого в Центральной России и постепенно вытесненного русским языком. В отличие от других финно-угорских субстратов русского языка, прибалтийско-финского и мордовского, представленных, кроме вымерших идиомов, и рядом живых языков, мерянский вымер полностью. А поскольку, судя по всему, это был язык, отличавшийся от других финноугорских и составлявший отдельную группу, связующее звено между прибалтийско-финской, мордовской, марийской и в какой-то степени угорской, задача реконструкции и исследования этого языка чрезвычайно важна и должна стать назначением особой области русского субстратного финно-угроведения. Значение мерянистики для русистики и славяноведения в целом объясняется тем, что бывшая область распространения мерянского языка расположена на территории Центральной России, средоточия образования и развития русской государственности, языка и культуры, специфику которых невозможно полностью установить без учёта особенностей этих субстратных истоков.

В настоящее время удалось реконструировать фонетическую систему мерянского языка, фрагменты его грамматики (су-

ществительного и глагола), небольшую часть его лексики и фразеологии, а также восстановить в общих чертах картину его внешней истории. Ввиду того, что по крайней мере пока мерянский не располагает связными текстами, — которые могли возникнуть при христианизации мери в XI веке, — мерянский язык приходится реконструировать из русского языка (главным образом из диалектного и социолектного и из ономастики бывших мерянских территорий Центральной России).

Эта работа должна быть продолжена путем исследования русских говоров и социолектов постмерянских территорий, их ономастики (главным образом топонимов) и тщательного изучения материалов архивов соответствующих местностей. Возможно, в ходе этих поисков удастся обнаружить и памятники (связные тексты) мерянского языка, что значительно облегчит дальнейшую исследовательскую работу. Впрочем, даже без этих, безусловно, наиболее ценных данных, даже фрагментарные сведения, извлеченные из говоров, ономастики и архивных материалов смогут пролить свет на целый ряд вопросов как системы мерянского языка в целом, так и его истории и диалектологии. В ходе их изучения и сравнения с другими родственными языками должна всё более совершенствоваться методика этой сложной поисковой работы.

***** Публикация в кн.: Русская народная культура и её этнические истоки. (Пошехонские чтения-99. 1-й семинар). — М.: Современный писатель, 1999, стр. 16-17.

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ КОМПОНЕНТА
-БАЛ(О) (-БОЛ/-ПОЛ) В ТОПОНИМАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Среди многочисленных предполагаемых финно-угорских топонимов на бывшей территории финно-угорского мерянского языка в Центральной России, — куда по современному административному делению полностью или частично входили области Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская, Владимирская, Московская, а по старому соответственно Ярославская, Костромская, Новгородская, Владимирская, Московская губернии, — особое внимание обращают на себя характерные для нее топонимы, названия деревень на -бол, -пол, -поло, -бал, -бало, иногда с наращением суффиксальных элементов -(о)во, -ка, -ов-ка: (Яросл. губ.) Искробол, Яхробол, Шачебол (Даниловск. уезд); Толгобол (Яросл. у.); Пачебол (Рыбинск. у.), Мушпол, Ракобол, Почеболка (Пошехон. у.); Пушбол (Ростов. у.); Куткобал (Углич. у.); (Костром. губ.) Пезобал, Кужбал (Кологрив. у.); Шебал (Галич. у.); (Новгород. губ.) Ватбол, Патробал (Белозерск. у.); (Владимир. губ.) Кибол (более ранняя форма (1578 г.) — Кибало), Шихобалово (Суздальск. у.); Кинобол (Юрьев-Польский у.); Вежболово (Владимир. у.); Шудобол (Переяславльск. у.); Нушполо (Александровск. у.); (Московск. губ.) Атебал (Дмитровск. у.); возможно также — Шаболовка (один из старых окраинных районов Москвы, который мог быть прежней деревней, позже вошедшей в черту города)*****

```

+++++
$

```

Ввиду слабой изученности мерянского языка, а также искажения мерянских слов в связи со славизацией мерянского населения, далеко не все первые компоненты приведенных названий ясны в своих значениях. Однако часть из них вполне прозрачна, находя убедительные соответствия в родственных языках: *Яхро-* (< **Яхре-*, ср. р. *Яхрень* того же региона), очевидно, означает «озеро» (ср. ф. *jar vi* «озеро»), саам. (норв.) *jaw'te*, морд. *Э эрьке*, мар. *ер* «т.ж.»); *Пезо* — в *Пезобал* — «гнездо» (ср. ф. *pesa*, морд. *М пиза*, мар. *пыжаш*, коми *поз*, венг. *feszek* «т.ж.»); *Ku* — в *Кибол* (*Кибало*) — «камень» (ср. ф. *kivi* «камень», эст. *kivi* (и синкопированное *ki* в *ves-ki* < **vesi-kivi* «мельница» (букв. «вода», т.е. водяной) - камень)), морд. *Э кев*, мар. *ку*, венг. *k&* «т.ж.»); *Ате* — в *Атебал* — «отец» (ср. морд. *Э атя* «старик», мар. *ача* «отец», венг. *atya* «т.ж.»). Таким образом, композиты со вторым компонентом - *бол* (-*бал*, -*бало*, -*пол(о)*) являются финно-угорскими по своему происхождению. Об этом говорит этимологический анализ их первых компонентов. О том же свидетельствует их характерная для финно-угорских языков структура — простое сложение двух слов, первое из которых определяет второе. Однако, относясь к финно-угорским, данные образования в то же время характеризуются своеобразием, выделяющим их на фоне родственных языков и позволяющим отнести их к особому языку, отличающемуся от всех остальных, которым должен быть мерянский. Об этом

+++++ Употребле
о старое административное деление ввиду его
использования М.Фасмером, из работы которого
(Beitrag e... — S. 416-418) взяты примеры, а также
ввиду возможности позднейшей утраты части
топонимов, вызванной исчезновением деревень в
связи с преобразованиями природы и миграциями
населения.

С. 100. Ср. ее упоминание у Тургенева: «Весной 1878 года проживал в Москве, в небольшом деревянном домике на *Шаболовке*, молодой человек, лет двадцати пяти, по имени

В основу дослідження легла стаття з тем
же називанням в кн.: Юбїлейний збірник на честь
70-річчя від дня народження проф. Петра Лизанця.
— Ужгород: Ужгородський державний
унїверситет, 2000. с. 506-510.

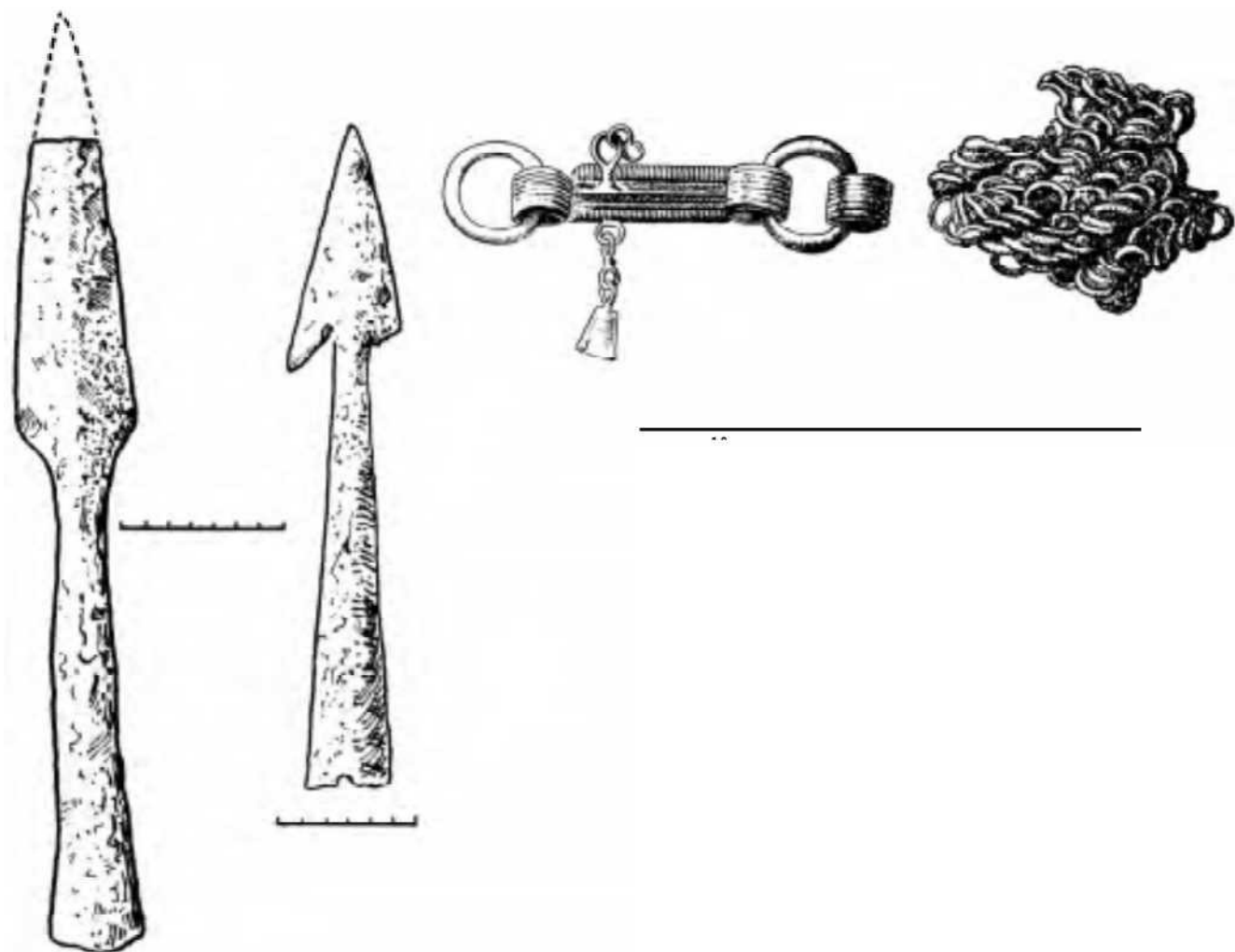
«Т.Ж.»*****.

Поскольку в исторический период вследствие их расселения меряне и угры утратили непосредственные территориальные контакты, следует предположить, что их общая лексическая изоглосса (изолек

***** Явления тесной связи мерянского и угорских слов и их важной роли в системе своих языков не мог бы преуменьшить факт существования среди финских географических названий компонента (слова) *Palva* (*Palvala* «деревня в Сюсмя», *Palvajärvi* «два озера в приходе Геймола»), а также карельского *palvi* «место жительства», даже если бы они были связаны с данными мерянским и угорскими словами (*Kalima FUF. XVIII. 147*), — что ставят под сомнение авторы *MSzFUE* (I. — L. 180), — поскольку в отличие от мерянского и угорских слов данные финское и карельское слова находятся явно на периферии лексических систем своих языков, что ставит также вопрос об их исконности в них.

са) скорее всего возникла до распада финно-угорской общности, где протомерян-ский идиом (диалект), входя в финно-пермскую (праокскую) диалектную группу, должен был, видимо, располагаться на ее границе, в непосредственной близости от угорской⁹. Возможно, закреплению данной общей с угорскими языками черты в мерянском способствовало также то, что он некоторое время

скими, мордовским, саамским и самодийскими языками¹⁰. Пока сказать что-то более определенное о характере этих языковых контактов невозможно. Ясно только одно: для того чтобы в язык мерян столь прочно вошло чрезвычайно важное слово, связанное с их жизнью и общественным строем, их контакты с угорскими народами (и в том числе протoven-грамми) должны были быть очень тесными и продолжительными¹¹.



входил в предполагаемый общий языковой союз вместе с угор-

Копья V-VII вв., фрагменты литого серебряного мужского пояса XI-XII вв. и кольчуги IX в. Из мерянских погребений на р. Тезе (Холуй) и в Костромской губ. и с Дурасовского городища на р.

⁹ Ткаченко О.Б. Merianica. К периодизации мерянского языка. — Советское финноугроведение, 1987, № 1. С. 14.

¹⁰ Ткаченко О.Б. К венгерско-мордовским языковым связям. — Acta hungarica. — Ужгород, 1992. — С. 61-62.

¹¹ Отдельным интересным вопросом, предметом поисков будущих исследователей, является также существование близкой к мерянскому и угорским словам и по своей форме, и по значению лексемы в маньчжурском языке (см.: MSzFE (I). — L. 180), представленной словом *фалга* — «1) группа, линия (домов); 2) селение, околоток (из 10 домов); 3) слобода (из 500 домов); 4) квартал, участок; 5) род (занимающий отдельное местожительство); 6) рота (улица, занимаемая одной ротой); 7) канцелярия, сельская управа; 8) счетное слово околотков, кварталов, участков» (Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. (Материалы к этимологическому словарю). — Т. II. — Л., 1977. — С. 298). Скорее всего здесь речь идет о

заимствовании, причем поскольку маньчжурское слово является совершенно изолированным в кругу родственных тунгусо-маньчжурских языков, больше оснований видеть в данном случае направление заимствования «от финно-угров к маньчжурам», чем наоборот. Остается также возможность заимствования слова и финно-уграми и маньчжурами из какого-то третьего источника, который в таком случае еще предстоит определить. Что касается приводимого в качестве возможно другого алтайского соответствия тур. *agıl* «отгороженное пастбище; загон (для овец и т.п.)» (MSzFUE (I), — Budapest, 1967. — L. 180), то его связь с угорскими и мерянскими словами ввиду большого формального и семантического разрыва представляется более проблематичной.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения источников

Периодические издания

СФУ — Советское финно-угроведение. 1965
FUF Anz — Anzeiger der Finnisch-ugrischen
Forschungen. 1901
MSFOu — Memoires de la Societe Finno-
ougrienne, 1880

Источники

Аристэ — Аристэ П.А. Примечания. — В кн.:
Хакулинен Л. Развитие и структура
финского языка: Фонетика и морфология.
М.: Изд-во иностр. лит., 1953, ч. 6, с. 290-
306.
Баландин — Вахрушева — Баландин А.Н., Вах-
рушева М.П. Мансийско-русский словарь с
лексическими параллелями из
южномансийского (кондинского) диалекта.
— Л.: Учпедгиз, 1958. — 228 с.
Веселовский — Веселовский С.Б. Ономастикой:
Древнерус. имена, прозвища и фамилии. —
М.: Наука, 1974. — 382 с.
Вин. — Виноградов Н.Н. Галивонские алеманы:
Услов. яз. галичан (Костром. губерния). —
Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Императ.
Акад. наук (1915), т. 20, кн. I, с. 18-52.
Востр. I — Востриков О.В. Несколько субстратных
включений в русских говорах Костромской
области (сорьез, тохта, шохра). — В кн.:
Этимологические исследования: Этимология
рус. диалект. слов. Свердловск, 1978, с. 45-
53.
Востр. II, Востр. ФУЛЭ — Востриков О.В. Финно-
угорские лексические элементы в русских
говорах Волго-Двинского междуречья. — В
кн.: Этимологические исследования:
Этимология русских диалектных слов.
Свердловск, 1978, с. 3-45.
Галкин — Галкин И.С. Историческая грамматика
марийского языка: Морфология. — Йошкар-
Ола: Мар. кн. изд-во, 1964. — Ч. I. 203 с.

Гринченко — Словарь украинского языка: Собр.
ред. журн. «Киевская старина» / Ред. с доб.
собств. материалов Б.Д.Грин- ченко. —
Киев: 1907-1909. — Т. 1-4. — (Надрук. з вид.
1907-1909 pp. фотомех. способом. К.: Вид-во
АН УРСР, 1958).

Даль — Даль В. Толковый словарь живого
великорусского языка. — М.: ГИС, 1955. —
Т. 1-4. — (Набрано и напеч. со 2-го изд.:
1880-1882 гг.).

Дитмар — Дитмар А.Б. Над старинными руко-
писями: «Топогр. описания Яросл. края»
конца XVIII в. — Ярославль: Верх.- Волж.
кн. изд-во, 1972. — 125 с.

Егоров — Егоров В.Г. Этимологический словарь
чувашского языка. — Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 1964. — 355 с.

Зайцева — Зайцева М.И. Грамматика вепсского
языка: Фонетика и морфология. — Л.: Наука,
1981. — 360 с.

Зайцева-Муллонен — Зайцева М.И., Муллонен М.И.
Словарь вепсского языка. — Л.: Наука, 1972.
— 746 с.

КГЗ, КГЗ (СНМ) — Костромское губернское
земство: Список насел. мест Костром.
губернии (по сведениям 1907 г.) —
Кострома: Б.и., 1908. — 347 с.

КОСК — Костромской областной словарь (кар-
тотека) (хранится на кафедре русского языка
Костромского пед. ин-та им.
Н.А.Некрасова
)

**.

КЭСЛЯ — Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий
этимологический словарь коми языка. — М.:
Наука, 1970. — 386 с.

КЯОС — Мельниченко Г.Г. Краткий ярославский
областной словарь, объединяющий
материалы ранее составленных словарей
(1820-1956 гг.). Более 10000 слов: Введ. и

***** В настоящее
время — Костромской государственный университет (прим. ред.)

* В настоящее время — Государственное учреждение культуры «Костромской государственный
историко-архивный и художественный музей-заповедник» (прим. ред.)

- слов. — Ярославль: Б.и., 1961. — Т. I. 224 с.
- Лыткин Ист. вок. — Лыткин В.И. Исторический вокализм пермских языков. — М.: Наука, 1964. — 270 с.
- Мар РС - Марийско-русский словарь. - М.: ГИС, 1956. - 863 с.
- МКНО — Материалы костромского научного общества (хранящиеся в архиве Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, быв. Ипатьевский монастырь).
- МокшРС — Мокшанско-русский словарь. — М.: ГИС, 1949. — 359 с.
- Мурз — Мурзаев Э., Мурзаева В. Словарь местных географических терминов. — М.: Географгиз, 1959. — 303 с.
- ООВС, ООСВН — Опыт областного великорусского словаря: Изд. 2-м отд-нием Императ. Акад. наук. — Спб.: Тип. Акад. наук, 1852. — XII + 275 с.
- ОСНЯ — Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский): Сравн. слов. (1-3). Указ. — М.: Наука, 1976. — 156 с.
- ОФУЯ — Редеев К., Эрдеи И. Сравнительная лексика финно-угорских языков. — В кн.: Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.). М.: Наука, 1974, с. 397-438.
- План р. Костромы — План реки Костромы от гор. Костромы до истока. Кострома: Костром, науч. о-во, 1930. — 35 с.
- Р Коми С — Русско-коми словарь. — Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1966. — 776 с.
- РКС — Русско-карельский словарь / Сост. Г.Н.Макаров. — Петрозаводск: Карелия, 1975. — 160 с.
- Р Мокш С — Русско-мокшанский словарь. — М.: ГИС, 1951. — 688 с.
- Ромб — Куз — Ромбандеева Е.И., Кузакова Е.А. Словарь мансийско-русский и русско-мансийский. — Л.: Просвещение, 1982. — 360 с.
- Р Эрз С — Русско-эрзянский словарь. — М.: ГИС, 1948. — 430 с.
- Сав — Уч — Саваткова А., Учаев З. Краткий грамматический очерк марийского языка. — В кн.: Марийско-русский словарь. М.: ГИС, 1987, с. 793-863.
- Свеш — Слова торговцев г. Углича, доставленные Н.Свешниковым (денежный счет, отдельные слова и речь). — Яросл. ист. музей, ф. 37. ед. хр. 322, л. 80-94.
- СВХД — Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. — Л.: Наука, 1981. — 544 с.
- Семенов — Семенов Т. К вопросу о родстве и связи мери с черемисами. — В кн.: Тр. VII археол. съезда в Ярославле в 1887 г. М.: Б.и., 1891, т. 7, с. 228-258.
- Серебр. Ист. морф. морд. яз., ИММЯ — Серебренников Б.А. Историческая морфология мордовских языков. — М.: Наука, 1967. — 262 с.
- Серебр. Ист. морф. перм. яз. — Серебренников Б.А. Историческая морфология пермских языков. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 391 с.
- Серебр. Осн. лин. разв. — Серебренников Б.А. Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках. — М.: Наука, 1964. — 183 с.
- Серебр. Происход. — Серебренников Б.А. Происхождение марийского народа по данным языка. — В кн.: Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1967, с. 165-180.
- Смирнов — Кашинский словарь / Сост. И.Т.Смирнов. — Спб.: Тип. Акад. наук, 1901. — 312 с. — (Сб. Отд-ния рус. яз. и словесности Императ. Акад. наук: Т. 70, № 5). Смол — Смолицкая Г.П. Гидронимия бассейна Оки: (Список рек и озер). — М.: Наука, 1976. — 404 с.
- СРГСУ — Словарь русских говоров Среднего Урала. — Свердловск: Урал. рабочий, 1971. — Т. 2. 214 с.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. — Л.: Наука, 1965-1983. — Вып. 1-19.
- СРНГК — Словарь русских народных говоров (картотека) (хранится в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР).
- СРГНО — Словарь русских говоров Новосибирской области. — Новосибирск: Наука, 1979. — 605 с.
- Терещенко Нган. яз. — Терещенко Н.М. Нгансанский язык. — Л.: Наука, 1979. — 322 с.
- Ткаченко — Ткаченко О.Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. — Киев: Наук. думка, 1979. — 298 с.
- русской сѣовесности ꙗри Моск. унте, 1828,

- ТОЁРС XX — Труды Общества ъюбитеёей росс-
сийской сѳовеснсти їри Моск. унте, 1820, ч.
20.
- Тоїоров (I — K) — Тоїоров В^ . їрусский язык:
Сѳоварь. I — K. — М.: ^аука, 1980. — 384 с.
- Хакуйи^е^ — Хакуйи^е^ Ё. Развитие и структура
финкого языка. — М.: Изд-во иностр. ёит.,
1953-1955. — Ч. 1-2.
- Хаёинв — Хаёинв С.Г. Что з^ачит Москва. —
СФУ, 1984, № 7, с. 129-131.
- Хеёмский — Хеёмский Е.А. Древ^ейОие
венерско-самодийские языковые їа- раёееёи:
Ёингв. и эт^огегет. итр- їретация. — М.:
^аука, 1982. — 164 с.
- Чер^ецов — Чер^ецова, КМРС — Чер^ецов ВШ.,
Чер^ецова И.Я. Краткий малийско-русский
сѳоварь с їРИЛОЖЕНЕМ грамматического
очерка. — М.; Ё.: Уч.- їедгиз, 1936. — 115 с.
- Чув РС — ЧуваОско-русский сѳоварь. — М.: ГИС,
1961. — 630 с.
- Эко^ їрим. — Эконмические їримечаня к
ге^ераёь^ому межеваню (ко^ец XVIII века).
— Архив Костром. обё., ф. 138, Оі. 5, ед. хр.
17-18.
- Эрз РС — Эрзянко-русский сѳоварь. — М.: ГИС,
1949. — 292 с.
- ЭССЯ — ЁтимоеОический сѳоварь сѳавян- ких
языков: їрасѳав. ёекс. фон. — М.: ^аука,
1974-1983. — Вьш. 1-10.
- ЕСТЯ — Севортя^ Э.В. ЁтимоеОический сѳо- варь
тюзских языков: Общетьюрк. и межтьюрк.
основы ^а гластае. — М.: ^а- ука, 1974. - 767
с.
- ЯОС — Яросѳавский обёастнь сѳоварь. —
Яросѳавъ: Б.и., 1981-1982. — Аа-Бо- бит;
Бобовка-вертуОок.
- ЯОСК — Яросѳавский обёастнь сѳоварь (кар-
тотека) (хрантся ^а кафедре русского языка
Яросѳавского їед. ин-та им.
К.Д.УОинког
о
- #####
\$\$.).
- Alvre I — Alvre P. Uurali keelte ajaloolise foneetika
harjutusi. — Lesanded ja materjalid (UkA
sikkonsonandid). — Tartu: Tartu riiklik ula
- Alvre II — Alvre P. Uurali keelte ajaloolise foneetika
harjutusi. — Lesanded ja materjalid (Konsonan-
tuahendid). — Tartu: Tartu riiklik ualikool,
1979. — 116 lk.
- Collinder — Collinder B. Comaparativ grammar of the
Uralic Languages — Stockholm: Almqvist and
Wiksell, 1960. — 419 p.
- Janhunen, SW — Janhunen J. Samojedischer
Wortschatz: Gemeinsamojedische Etymologien.
— Helsinki: Suomalais- ugrilainen Seura, 1977.
— 186 S.
- Kluge-Mitzka — Kluge F. Etymologisches
Woarterbuch der deutschen Sprache 20.
Aufl./Bearb. W. Mitzka. — Berlin: Gruyter,
1967. — 915 S.
- Lagercrantz — Lagercrantz E. Lappischer Wortschatz.
— Helsinki: Suomalais- ugrilainen Seura, 1939.
— 1250 S.
- MNTESz — A magyar nyelv тоartedneti- etimologd
iai szotd ard k. 1-3. — Budapest: Akad. kiadod,
1967-1976.
- MSzFUE — A magyar szodkedszlet finnugor elemei.
Etimologd iai szotd ard . — Budapest: Akad.
kiadod, 1967-1978. — 727 l.
- Nirvi — Inkerοismurteiden sanakirja. Vast. toim. R.E.
Nirvi. — Helsinki: Suomalais- ugrilainen Seura,
1971. — 730 s.
- SEJDrzP — Lehr-Splawinski T., Polandski K.
Slownik etymologiczny jenzyka Drze wian
polabskich. — Wrocław etc.: PAN. Zakl. nar.
imd. Ossolindskich, 1962. — Z. 1. 126 s.
- SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. —
Helsinki: Suomalais- ugrilainen Seura, 1955-
1978. — 1899 s.
- Vasmer — Vasmer M. Beitrage zur historischen Vola
kerkunde Osteuropas. 3. Merja und
Tscheremissen. — In: Vasmer M. Schriften zur
slavischen Altertumskunde und Namenkunde /
Hrsg. H. Braua er. Berlin; Wiesbaden: Gruyter,
1971, Bd 1, S. 345-418.
- VMS — Vaaike murdesoenastik. I / Toim. vast. V.
Pall. — Tallinn: Valgus, 1984. — 503 lk. (Eesti
NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituut).
- Walde — Walde A. Lateinisches etymologisches
Woarterbuch 3. Aufl. — Neubearb. J.B.
Hofmann. — Heidelberg: Carl Winter's
Universitaatsbuch- handlung, 1938. — Bd 1-2.

аб. - абаканский абадз. — абадзехский
абаз. — абазинский абх. — абхазский
авар. — аварский азерб. —
азербайджанский акуш. — акушинский
алб. — албанский англ. — английский
арм. — армянский арх. — архангельский
афг. — афганский (пушту) балк. —
балкарский балт. — балтийский бежет.
— бежетинский бел., бр. — белорусский
белудж. — белуджский болг. —
болгарский большезем. —
большеземельский булг. — болгарский
вас. — васюганский вах. — ваховский
вейнах. — вейнахский венг. —
венгерский вепс. — вепсский визант. —
византийский вл. — верхнелужицкий
влад. — владимирский вод. — водский
гал. — галльский галич. — галичский
герм. — германский гот. — готский гр.
— греческий груз. — грузинский дангл.
— древнеанглийский дарг. —
даргинский дат. — датский дболг. —
древнеболгарский двенг. —
древневенгерский двн. —
древневерхненемецкий дид. —
дидойский динд. — древнеиндийский
дмер. — древнемерянский донск. —
донской дперм. — древнепермский др.-
ар. — древнеарийский друс. —
древнерусский дсакс. —
древнесаксонский

ибер.-кавказ. — иберийско-кавказский
инг. — ингушский
ирл. — ирландский
и-е. — индоевропейский иж., ижор. —
ижорский исп. — испанский итал., ит. —
итальянский каб. — кабардинский казах. —
казахский казым. — казымский кал. —
калининский кам. — камасинский кар. —
карельский караг. — карагасский кашуб. —
кашубский кильд. — кильдинский кимр. —
кимрский кинеш. — кинешемский койб. —
койбалынский коми, коми-зыр., коми 3 — коми-
зырянский
коми-перм., коми П — коми-пермяцкий
конд. — кондинский костр. —
костромской курд. — курдский кыпч. —
кыпчакский лат. — латинский лив. —
ливский ливв. — ливвиковский лит. —
литовский лтш., латыш. — латышский
люд. — людиковский мак. — македонский
манс. — мансийский мар. — марийский
(луговой) мар. В — марийский
(восточный) мар. Г — марийский (горный)
матор. — маторский мегр. — мегрельский
мер. — мерянский морд. — мордовский
(эрзя и мокша) морд. М — мордовский-
мокша морд. Э — мордовский-эрзя моск.
— московский нар.-лат. —
народнолатинский нган. — нганасанский
нем. — немецкий нен. — ненецкий нл. —
нижнелужицкий норв. — норвежский
осет. — осетинский п. — польский

перс.— персидский пехл. — пехлевийский
пгерм. — прагерманский полаб. —
полабский порт. — португальский постмер.
— постмерянский прибалт.-фин. —
прибалтийско-финский Прованс. —
провансальский протосл.— протославянский
прус. — прусский псл. — праславянский
пфин.— прафинский рум. — румынский рус.
— русский ряз. — рязанский саам. —
саамский саам. И — саамский Инари саам. К
— саамский (кольский) саам. Л — саамский-
луле саам. Н — саамский (норвежский) сал.
— салымский сван. — сванский сгр.—
среднегреческий сельк. — селькупский слав.
— славянский слн. — словенский словин. —
словинский слц. — словацкий снн. —
средненижненемецкий сосъв. — сосъвинский
ср.-лозьв. — среднелозьвинский ср.-обск. —
среднеобский струс. —
старо(велико)русский стсл. —
старославянский стфр.— старофранцузский
сургут. — сургутский схв. —
сербскохорватский тавд. — тавдинский таз.
— тазовский тайг. — тайгийский тат. —
татарский тур. — турецкий турк. —
туркменский туш. — тушинский
(бацбийский) убух. — убухский угл. —
угличский угор. — угорский удм. —
удмуртский укр. — украинский урал. —
уральский ф. — финские фатьян. —
фатьяновский

фин. — финский ф.-перм. — финно-
пермский фр. — французский ф.-уг. —
финно-угорский хант.— хантыйский
хант. С — хантыйский сургутский
хварш. — хваршинский хиналуг. —
хиналугский холмог. — холмогорский
цсл. — церковнославянский ч. —
чешский чеч.— чеченский чув. —
чувацкий швед. — шведский эн. —
энецкий эст. — эстонский ям. —
ямальский яросл. — ярославский

Сокращения единиц
административно-территориального
деления (области — районы;
губернии —
уезды
)

Ал, Александр — Александровский Антр —
Антроповский Аньк — Аньковский Ареф —
Арефинский Балаш — Балашихинский Большес,
БС — Большесельский Борисогл —
Борисоглебский Брейт — Брейтовский Буй —
Буйский Бурм — Бурмакинский Барн, Варнав —
Варнавинский Ветл — Ветлужский Вл, Влад —
Владимирская обл.; Владимирский р-н (уезд)
Вл. губ., Влад. губ. — Владимирская губ.
Волог — Вологодская обл.; Вологодский р-н (уезд)
Волог. губ. — Вологодская губ. Вох —
Вохомский Вязн — Вязниковский Вят. губ.
— Вятская губ.
Гавр.-Ям — Гаврилов-Ямский Гал —
Галичский р-н (уезд)

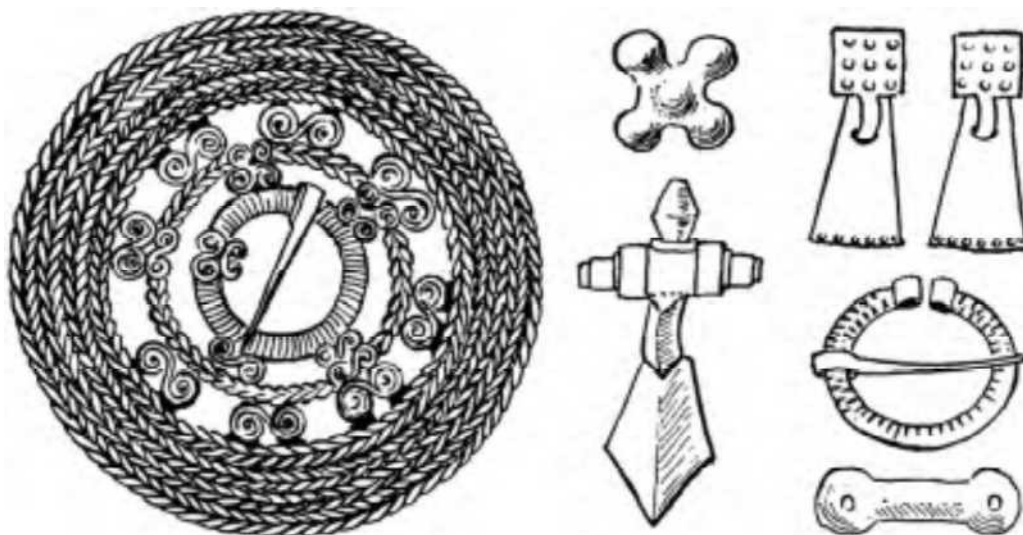
***** Названи

я административных единиц
послереволюционного периода даются на
основании административно-территориального
деления советского времени (без учета возможных
позднейших изменений).

Горох — Гороховецкий Давыдк — Давыдковский Дан — Даниловский Дмитр — Дмитровский Ерм, Ермак — Ермаковский Ив, Иван — Ивановская обл.; Ивановский р-	Рыб — Рыбинский Рязанц — Рязанцевский Самар. губ. — Самарская губ.; Самарский уезд Свердл — Свердловская обл.
И Игод — Игодовский Ильин — Ильинский Ильин.-Хов — Ильинско-Хованский Кадый — Кадыйский Казан. губ. — Казанская губ. Камышл — Камышловский Каш — Кашинский Кин — Кинешемский Ковр — Ковровский Козьмодем — Козьмодемьяновский Кол, Кологр — Кологривский Комс — Комсомольский Костр — Костромская обл. (губ.); Кос- тромской р-н (уезд)	Серед — Середской Симб. (губ.) — Симбирская губ.; Сим- бирский уезд Слобод — Слободской Солигал — Солигаличский Судисл. — Судиславский Судог — Судогодский Сузд — Суздальский Сусан — Сусанинский Тамб — Тамбовская обл.; Тамбовский р-н (уезд) Тамб. губ. — Тамбовская губ. Твер. губ. — Тверская губ. Тобол. губ. — Тобольская губ. Толбух — Толбухинский Том. губ. — Томская губ. Тут — Тутаевский Угл — Угличский Чухл — Чухломский Шар — Шарьинский Шуй — Шуйский Щерб — Щербаковский Юр.-Пол — Юрьев-Польский Юрьев — Юрьевоцкий Ядрин — Ядринский Яр — Ярославская обл.; Ярославский р-н (уезд)
Костр. губ. — Костромская губ. Крас, Краснос — Красносельский Куйб — Куйбышевская обл.; Куйбышевский р-н	Яр. губ. — Ярославская губ.
Люб, Любим — Любимский Мак, Макар — Макарьевский Мант — Мантуровский Меж — Межевский Мелен — Меленковский Мол — Мологский Моск — Московская обл. Моск. губ. — Московская губ. Мышк — Мышкинский Нагор — Нагорьевский Ней — Нейский Некоуз — Некоузский Некр — Некрасовский Нер, Нерехт — Нерехтский р-н (уезд) Ннжегор. губ. — Нижегородская губ. Никол. — Никольский Остр — Островский Парф — Парфеньевский Пенз — Пензенская обл.; Пензенский р-н (уезд)	Сокращения ремарок аблат. — аблатив адесс. — адессив акк., аккуз. — аккузатив аллат. — аллатив анат. — анатомическое арг. — арготическое бран. — бранное букв. — буквально быв. - бывший
Пенз. губ. — Пензенская губ. Первом — Первомайский Пересл, Переясл — Пере(я)славский Петр — Петровский Подольск — Подольский Поназ — Поназыревский Пош — Пошехонский р-н (уезд) Пречист — Пречистенский Псков — Псковская обл.; Псковский рн (уезд) Псков. губ — Псковская губ. Пыщ — Пыщугский Рост — Ростовский р-н (уезд) Ярославской обл. (губ.)	

вокат.- вокатив вост. — восточный вр. —
 время г. - город ген. — генитив гл. — глагол груб.
 — грубое д. — деревня дееприч. — деепричастие
 диал. — диалектное др. — древнее зап. —
 западный зват., зв. ф. — звательная форма изъяв.
 — изъявительное илл. — иллатив им. п. —
 именительный падеж инесс. — инессив ирон. —
 ироническое лингв. — лингвистическое лит. —
 литературное межд. — междометие мн. —
 множественное накл. — наклонение нар. —
 народное нар.-поэт. — народно-поэтическое
 направит.-внос. — направительно-вно- сительный
 наст. вр. — настоящее время ном. -
 номинатив н. п. — населенный пункт н. э. —
 нашей эры
 обл. — областное оз. - озеро орф. —
 орфографическое п. - падеж парт. - партитив

перен. — переносно побуд. — побудительное
 повел. — повелительное поздн. — позднее
 поэт. — поэтическое р. - река разг. —
 разговорное с. - село
 сев. — северный
 сев.-зап. — северо-западный совр. —
 современное ст. — старое
 субстр. — субстратное
 суф. - суффикс тыс. — тысячелетие указат.
 — указательное уменьш. — уменьшительная
 форма уст. — устаревшее
 фон. - фонетическое
 ч. — число
 шутил. - шутиливое
 эвфем. — эвфемистическое элат. — элатив
 юго-зап. — юго-западный юж. - южный



Предметы из мерянского могильника V-
 VII вв. на р. Теза (Холуй) [22, стр. 123]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Абаев В.И.* Осетинский язык и фольклор. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. - Т. 1. - 601 с.
2. *Абаев В.И.* О языковом субстрате // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, 1956. - Т. 9. - С. 57-69.
3. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. - Т. 1. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. - 655 с.
4. *Абаев В.И.* Скифо-европейские изоглоссы: На стыке Востока и Запада. - М.: Наука, 1965. - 168 с.
5. *Абаев В.И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. - Л.: Наука, 1973. - Т. 2. - 448 с.
6. *Адлер Э.* Водский язык // Языки народов СССР: Финно-угор. и самодийск. яз. - М.: Наука, 1966. - Т. 3. - С. 118-137.
7. *Аристэ П.А.* Примечания // *Хакули-нен Л.* Развитие и структура финского языка: Фонетика и морфология. - М.: Изд-во иностр. лит., 1953. - Ч. I. - С. 290-306.
8. *Баландин А.Н., Вахрушева М.П.* Мансийско-русский словарь с лексическими параллелями из южномансийского (кондинского) диалекта. - Л.: Учпедгиз, 1958. - 228 с.
9. *Бодуэн де Куртенэ.* Проблемы языкового родства // *Бодуэн де Куртенэ.* Избр. тр. по общ. языкознанию. - М., 1963. - Т. 2. - С. 342-352.
10. *Борковский В.И.* Вступительное слово // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР, 1956. - Т. 9. - С. 5-7.
11. *Вайнрайх У.* Языковые контакты: Состояние и проблемы исследования. - Киев: Изд-во при КГУ, 1979. - 264 с.
12. *Ванюшеякин В.Т.* К вопросу о финно-угорских элементах в лексике мещерских говоров // СФУ, 1973. - № 9. - С. 179-184.
13. *Векслер Б.Х., Юрик В.А.* Латышский язык: (Самоучитель). - Рига: Звайгзне, 1975. - 462 с.
14. *Виноградов Н.Н.* Галивонские алеманы: Условн. яз. галичан (Костром. губ.) // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Имп. Акад. наук, 1915. - Т. 20. - Кн. 1. - С. 18-52.
15. *Востриков О.В.* Несколько субстратных включений в русских говорах Костромской области (*сорьез, тохта, шохра*) // Этимологические исследования: Этимология рус. диалект. слов. - Свердловск, 1978. - С. 45-53.
16. *Востриков О.В.* Финно-угорские лексические элементы в русских говорах Волго-Двинского междуречья // Этимологические исследования. - Свердловск, 1981. - С. 3-45.
17. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов. - Київ: Наук. думка, 1966. - 595 с.
18. *Вяари Э.Э.* Ливский язык // Языки народов СССР: Финно-угор. и самодийск. яз. - М.: Наука, 1966. - Т. 3. - С. 138-154.
19. *Гавранек Б.* К проблематике смешения языков // Новое в лингвистике, 1972. - Вып. 6. - С. 94-111.
20. *Галкин И.С.* Историческая грамматика марийского языка: Морфология. - Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1964. - Ч. 1. - 203 с.
21. *Гаркавец А.Н.* Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским языкам в XVI-XVII вв. - Киев: Наук. думка, 1979. - 100 с.
22. *Горюнова Е.И.* Этническая история Волго-Окского междуречья. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 267 с. - (Материалы и исслед. по археологии СССР. - № 94).
23. Грамматика мордовских (мокшанского и эрзянского) языков: Фонетика и морфология. - Саранск: Морд. кн. изд-во, 1962. - Ч. 1. - 376 с.
24. Грамматика финского языка: Фонетика и морфология. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. - 296 с.
25. *Грузов Л.П.* Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении. - Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1964. - 244 с.
26. *Лаль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: ГИС, 1955. - Т. 1-4. - (Набрано и напеч. со 2-го изд.: 1880-1882 гг.).
27. *Лжапаридзе З.Н., Стрельников Ю.А.* О различиях в плаче новорожденных разной национальности и пола: (К проблеме уровней фонетической организации членораздельной речи) // Экспериментально-фонетический анализ речи: Проблемы и методы. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. - С. 58-64.

28. *Дыбо В.А.* От редактора // *Иллич-Свитыч В.М.* Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский): Введение. Сравн. слов. (б-К). - М.: Наука, 1971. - С. I-XXXVI.
29. *Европеус Д.* К вопросу о народах, обитавших в нынешней России до поселения в ней славян // *Журн. м-ва нар. просвещения*, 1868. - Ч. 139. - С. 56-81.
30. *Егоров В.Г.* Этимологический словарь чувашского языка. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1964. — 355 с.
31. *Жирков Л.* Персидский язык: Элементарная грамматика. - М., 1927. - 207 с. — В надзаг.: Ин-т востоковедения им. Н.На-риманова при ЦИК СССР.
32. Житие св. Леонтия, епископа Ростовского / С предисл. *А.А.Титова* // Чтение в Императорской Академии наук, 1893. - Кн. 4/167. - V + 129 с.
33. *Задорожний Б.М.* До питання про інтонацію в слов'янських мовах // *Вопросы славянского языкознания*. - Львов; Харьков, 1953. - Кн. 3. - С. 107-116.
34. *Занд М.И.* Идиш как субстрат современного иврита // *Семитские языки*. - М.: Наука, 1965. - Вып. 2. - Ч. 1. - С. 221-245.
35. *Зеленин Д.* Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. - Л.: Academia, 1929-1930. - Ч. 1/2. - (Сб. Музея антропологии и этнографии. - Т. 8/9).
36. *Иллич-Свитыч В.М.* Краткий грамматический справочник // *Македонско-русский словарь*. - М.: ГИС, 1963. - С. 547-576.
37. *Иордан.* О происхождении и деяниях гетов. *Getica*. - М.: Изд-во вост. лит., 1960. - 436 с. - (Памятники средневековой истории Центр. и Вост. Европы).
38. *Ипатьевская летопись*. - М., 1962. - 938 с. - (ПСРЛ; Т. 2).
39. *История СССР: С древнейших времен до Великой Окт. соц. революции*. - М.: Наука, 1966. - Т. I. - 631 с.
40. *Керт Г.М.* Саамский язык (кильдинский диалект): Фонетика, морфология, синтаксис. - Л.: Наука, 1971. - 355 с.
41. *Ключевский В.О.* Сочинения: Курс русской истории. - М.: Политиздат, 1966. - Т. I. - Ч. I. - 427 с.
42. *Коведяева Е.И.* Марийский язык // *Основы финно-угорского языкознания: Марийск., перм. и угор. яз.* - М.: Наука, 1976. - С. 3-96.
43. *Коломиец В.Т.* Значение данных сравнительно-исторической фонетики для исследования славянского этногенеза // *Доп. IX Міжнар. з'їзду славистів: Слов. мовознавство*. - Київ: Наук. думка, 1983. - С. 70-86.
44. *Коломиец В.Т.* Происхождение общеславянских названий рыб // *К IX Междунар. съезду славистов*. - Киев: Наук. думка, 1983. - 159 с.
45. *Комлев Н.Г.* Лингвистическая аксиология. Постановка проблемы социальной лингвистики // *Теоретические проблемы социальной лингвистики*. - М.: Наука, 1981. - С. 102-109.
46. *Корсаков Д.* Меря и Ростовское княжество: Очерк из истории Рост.-Сузд. земли. - Казань: Тип. Каз. ун-та, 1872. - III + VIII + 246 + II с.
47. *Крайнов Д.А.* Древнейшая история Волго-Окского междуречья // *Фатьяновская культура: II тысячелетие до н.э.* - М.: Наука, 1972. - 274 с.
48. *Крайнов Д.А.* Фатьяновская культура // *Сов. ист. энцикл.*, 1973. - Т. 14. - С. 968-969.
49. *Лаанест А.* Ижорский язык // *Языки народов СССР: Финно-угор. и самодийск. яз.* - М.: Наука, 1966. - Т. 3. - С. 102-117.
50. *Лаанест А.* Прибалтийско-финские языки // *Основы финно-угорского языкознания: Прибалт.-фин., саам. и морд. яз.* - М.: Наука, 1975, с. 5-122.
51. *Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку*. - М., 1962. - 579 с. - (ПСРЛ; Т. I).
52. *Лыткин В.И.* Ещё к вопросу о происхождении русского аканья. - *Вопр. языкознания*, 1965. - № 4. - С. 44-52.
53. *Лыткин В.И.* Сравнительная фонетика финно-угорских языков // *Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.)*. - М.: Наука, 1974. - С. 108-213.
54. *Лыткин В.И., Гуляев В.С.* Краткий этимологический словарь коми языка. - М.: Наука, 1970. - 386 с.
55. *Майтинская К.Е.* Сравнительная морфология финно-угорских языков // *Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.)*. - М.: Наука, 1974. - С. 214-382.
56. *Макаров Г.Н.* Образцы карельской речи: Калинин. говоры. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — 194 с.
57. *Мартине А.* Основы общей лингвистики // *Новое в лингвистике*, 1963. — Вып. 3. — С. 528-566.
58. *Матвеев А.К.* Субстратная топонимика

русского Севера // *Вопр. языкознания*, 1964, № 2, с. 64-83.

59. *Матвеев А.К.* Этимологизирование субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем // *Вопр. языкознания*, 1976. — № 3. — С. 58-73.

60. *Мейе А.* Сравнительный метод в историческом языкознании. — М.: Изд-во иностр. лит., 1954. — 99 с.

61. *Меновицков Г.А.* Алеутский язык // *Языки народов СССР*. — Л.: Наука, 1968. — Т. 5. — С. 386-406.

62. *Мечковская Н.Б.* Язык как исторически изменяющееся явление // *Общее языкознание*. — Минск: Вышэйш. шк., 1983. — С. 335-421.

63. *Миллер Вс.* Язык осетин. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. — 190 с.

64. *Миронов С.А.* Энгельс и изучение истории нидерландского языка // *Энгельс и языкознание*. — М.: Наука, 1972. — С. 243-260.

65. *Мокшанско-русский словарь*. — М.: ГИС, 1949. — 359 с.

66. *Молданова С.П., Немысова Е.А., Ремезанова В.Н.* Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский. Ок. 4000 слов: Пособие для учащихся нач. шк. (на яз. казым. ханты). — Л.: Просвещение, 1983. — 286 с.

67. *Основы финно-угорского языкознания: Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.* — М.: Наука, 1974. — 484 с.

68. *Пенгитов В.Т.* Сопоставительная грамматика русского и марийского языков: Введение, фонетика, морфология. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1958. — Ч. I. — 175 с.

69. *Дименов В.В.* Вепсы: Очерк этн. истории и генезиса культуры. — М.; Л.: Наука, 1965. — 264 с.

70. *Попов АИ.* Названия народов СССР: Введ. в этнонимистику. — Л.: Наука, 1973. — 170 с.

71. *Поспелов Б.М.* Материалы к топонимическому словарю Московской области // *Проблемы восточнославянской топонимии*. — М., 1979. — С. 124-136.

72. *Потапкин С.Г.* Краткая грамматика мокшанского языка // *Мокшанско-русский словарь*. — М.: ГИС, 1949. — С. 323-359.

73. *Редди К., Эрдейи И.* Сравнительная лексика финно-угорских языков // *Основы финно-угорского языкознания: (Вопр. происхождения и развития финно-угор. яз.)*. — М.: Наука, 1974. — С. 397-438.

74. *Ромбандеева Е.И., Кузакова Е.А.* Словарь мансийско-русский и русско-мансийский. — Л.: Просвещение, 1982. — 360 с.

75. *Русанівський В.М.* Джерела розвитку східнослов'янських літературних мов. — Київ: Наук. думка, 1985. — 232 с.

76. *Русская диалектология* / Под ред. *Р.И.Аванесова, В.Г.Орловой*. — М.: Наука, 1964. — 306 с.

77. *Русская диалектология* / Под ред. *Н.А. Мещерского*. — М.: Высш. шк., 1972. — 302 с.

78. *Русская Ю.Н.* Самоучитель хантыйского языка. — Л., 1961.

79. *Русско-еврейский (идиш) словарь*. — М.: Рус. яз., 1984. — 720 с.

80. *Свиньин П.* Краткая записка о древностях, найденных близ Галича // *Русский исторический сборник*. — М., 1837. — Т. I. — Кн. I. — С. 102-105.

81. *Селищев А.М.* Полабские славяне // *Селищев А.М.* Славянское языкознание — М., 1941. — Т. 1. — С. 417—448.

82. *Семенов Т.* К вопросу о родстве и связи мери с черемисами // *Тр. VII археол. съезда в Ярославле 1887*. — М., 1891. — Т. 2. — С. 228-258.

83. *Серебренников Б.А.* О некоторых косвенных данных, свидетельствующих о древних юго-западных границах народа коми // *Зап. Удм. НИИ истории, экономики, лит. и яз. при Совете Министров Удм. АССР*, 1957. — Вып. 18. — С. 141-144.

84. *Серебренников Б.А.* Историческая морфология пермских языков. — М.: Наука, 1963. — 391 с.

85. *Серебренников Б.А.* Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках. — М.: Наука, 1964. — 183 с.

86. *Серебренников Б.А.* О гидронимических формантах *-ньга, -юга, -уга, -юг* // *СФУ*, 1966. — № I. — С. 59-66.

87. *Серебренников Б.А.* Историческая морфология мордовских языков. — М.: Наука, 1967. — 262 с.

88. *Серебренников Б.А.* О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике русского Севера // *СФУ*, 1967. - № 3. - С. 199-205.

89. *Серебренников Б.А.* Происхождение марийского народа по данным языка // *Происхождение марийского народа: (материалы науч. сес., провед. Мар. НИИ, 23-25 дек. 1965 г.)*. - Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1967. - С. 165-180.

90. *Смирнов А.П.* Археологические памятники на территории Марийской АССР и их место в материальной культуре Поволжья. — Козьмодемьянск: Мар. кн. изд-во, 1948. - 192 с.

91. *Смолицкая Г.П.* Гидронимия бассейна

- Оки: Список рек и озер. — М.: Наука, 1976. - 404 с.
92. Смолицкая Г.П. О типе словарной статьи в топонимическом словаре Московской области // Проблемы восточнославянской топонимики. - М., 1979. - С. 76-88.
93. Стеблин-Каменский М.И. История скандинавских языков. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. - 340 с.
94. Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. - Л.: Наука, 1981. - 544с.
95. Террачини Б. Субстрат // Современное итальянское языкознание. - М.: 1971. - С. 17-55.
96. Титов А.А. «Велесово дворище» и легенда о жреце Киче. - М., 1887. - 16 с.
97. Ткаченко О.Б. Питання мовного розвитку і мовної спадковості // Мовознавство, 1975. - № 4. - С. 158-175.
98. Ткаченко О.Б. Одна общая семантико-фразеологическая изоглосса финноугорских и русского языков: К вопросу финно-угорского субстрата в русском языке // СФУ, 1976. - № 4. - С. 245-253.
99. Ткаченко О.Б. Некоторые вопросы исследования финно-угорского субстрата в русском языке // Исследование финно-угорских языков и литератур в их взаимосвязи и с языками и литературами народов СССР: Тез. докл. Всесоюз. науч. совещ. финно-угроведов, 27-30 окт. 1977 г. - Ужгород: Изд-во Ужгород. ун-та, 1977. - С. 75-76.
100. Ткаченко О.Б. К исследованию финно-угорского субстрата в русском языке // СФУ, 1978. - № 3. - С. 204-210.
101. Ткаченко О.Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков. - Киев: Наук. думка, 1979. - 298 с.
102. Ткаченко О.Б. Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков: АДД. Автореф. - Л., 1982. - 45 с.
103. Ткаченко О.Б. Мерянська. Фрагменти мерянської глагольної системи: Спрягаємі форми // СФУ, 1983. - № 2. - С. 105-111.
104. Ткаченко О.Б. Проблема реконструкції дославянських субстратних мов на основі славянських субстратних елементів // Доп. IX Міжнар. з'їзду славістів: Слов. мовознавство. - Київ: Наук. думка, 1983. - С. 220-237.
105. Ткаченко О.Б. Мерянский язык. - Киев: Наук. думка, 1985. - 207 с.
106. Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 270 с.
107. Третьяков П.Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. - М.; Л.: Наука, 1966. - 308 с.
108. Третьяков П.Н. У истоков древнерусской народности. - Л.: Наука, 1970. - 156 с.
109. Фалькович Э. О языке идиш // Русско-еврейский (идиш) словарь. - М.: Рус. яз., 1984. - С. 666-715.
110. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка (Пер. с нем. и доп. О.Н.Трубачева). - М.: Прогресс, 1964-1973. - Т. 1-4.
111. Фаукес Р. Английская, французская и немецкая фонетика и теория субстрата // Новое в лингвистике. - 1972. - Вып. 6. - С. 333-343.
112. Феоктистов А.П. Русско-мордовский словарь: Из истории отечественной лексикографии. - М.: Наука, 1971. - 371 с.
113. Феоктистов А.П. Мордовские языки // Основы финно-угорского языкознания: Прибалт.-фин., саам. и морд. яз. - М.: Наука, 1975. - С. 248-345.
114. Финско-русский словарь. - М.: Рус. яз., 1975. - 815 с.
115. Фрингс Т. Энгельс как филолог // Немецкая диалектография. - М.: Изд-во иностр. лит., 1955. - С. 220-223.
116. Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка. - М.: Изд-во иностр. лит., 1953-1955. - Ч. 1-2. - 311 с.; 292 с.

117. Хаёинов С.Г. Что значит Москва // СФУ, 1984. — № 2. — С. 129-131.
118. Ходаковский Д. Ёти сообщена в древней Руси // Русский исторический сборник. — М., 1837. — Т. I. — Кн. I. — С. 20-45.
119. Черёцов В.И., Черёцова И.Я. Краткий малыйско-русский словарь с приёмами грамматического очерка. — М.-Ё.: Учгедгиз, 1936. — 115 с.
120. Оестаков Ё.Д. Родствена ёи мера вогуёам? — Изв. Каз. унта, 1873. — № 1. — С. 151-183.
121. Эёёс Ф. Франский диалект. — М.: Ёртиздат, 1935. — 144 с.
122. Эрзяно-русский словарь. — М.: ГИС, 1949. — 292 с.
123. Этимологический словарь славянских языков: ёрасё. ёекс. фовд. — М.: Ёа-ука, 1974-1983. — Выш. 1-10.
124. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára k. 1-3. — Budapest: Akad. kiadó, 1967-1976.
125. A magyar szókészlet finnugor elemei etimológiai szótár. — Budapest: Akad. kiadó, 1967-1978. — 727 l.
126. Ascoli G.I. Una lettera glottologica. — Torino, 1881. — 71 p.
127. Bruackner A. Powstanie i rozwój jezyka literackiego // Bruackner A. Początki i rozwój jezyka polskiego: Wybór prac / Pod red. M. Karasia. — Warszawa: 1974. — S. 73-106.
128. Castren M.A. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845-1849. — SPb: Druck. Akad. Wiss. 1856. — X + 527 S. (Nordische Reisen und Forschungen Dr. M.A.Castren / Hrsg. A.Schiefner. Bd 2).
129. Collinder B. Comparative Grammar of the Uralic Languages. — Stockholm: Almqvist och Wiksell, 1960. — 419 p.
130. Dauzat A. Dictionnaire étymologique de la langue française. — Paris: Librairie Larousse, s. a. — XXXVII. — 824 p.
131. Dauzat A. L'Europe linguistique. — Paris: Payot, 1953. — 236 p.
132. Dedcsy Gy. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. — Wiesbaden: Harrassowitz, 1965. — 251 S.
133. Delattre P. German phonetics between English and French // Linguistics. — 1964. — 8. — P. 43-55.
134. Ernits E. Votoj kaj ijog roj // Ami-keco, 48 k. — Riga; Tallin, 1982. — P. 13-15.
135. Gamillscheg E. Ueber Lautsubstitution // Zeitschrift für romanische Philologie. — 1911. — H. 27. — S. 180—192.
136. Ginneken van J.J. Die Erbllichkeit der Lautgesetze // Indogermanische Forschungen. — 1927. — Bd. 45. — S. 1-44.
137. Istoria limbii române. — Bucureşti: Ed. Acad. RSR, 1969. — Vol. 2. — 464 p.
138. Kalima J. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. — Helsinki: Societas Finno-ougrienne, 1919. — 265 S. — (MSFOu; Bd 44).
139. Kask A. Eesti keele ajalooline grammatika: Häälikulugu. — Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1972. — 177 lk. — (Tartu Riiklik Ülikool / Eesti keele kateeder).
140. Kiparsky V. Russische historische Grammatik. — Heidelberg: C. Winter — Universitätsverlag, 1963. — Bd. I. — 171 S.
141. Kloss H. Prefatory Notes: Core Problems and Marginal Problems // Description and Measurement of Bilingualism: an Intern. Seminar Univ. of Moncton, June 6-14. — Toronto, 1969. — P. 302—307.
142. Kniezsa I. A magyar nyelv szláv dőjevevednyszavai. — Budapest: Akad. kiadó, 1973. — 1044 l.
143. Lehtisalo T. Ueber die primären ururalischen Ableitungssuffixe. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1936. — 399 s. (MSFOu; 72).
144. Lewy E. Zur Sprache des alten Goethe: Ein Versuch Ueber die Sprache des Einzelnen (1913) // Lewy E. Kleine Schriften. — Berlin: Akademie — Verlag, 1961. — S. 91-105.
145. Lewy E. Die Sprache des alten Goethe und die Möglichkeit ihrer biologischen Fundamentierung (1930—1931) // Lewy E. Kleine Schriften. — Berlin: Akademie — Verlag, 1961a. — S. 106-112.
146. Magyar edrtelmező szótár. — Budapest: Akad. kiadó, 1975. — 1550 l.
147. Maagiste J. Merjalaisten kansallisuksnimi ja merjalaisprobleemi. — Virittaja, 1966. — N 1. — S. 114-120.
148. Pogodin A. Was ist Merja? — MSFOu, 1933, t. 67, S. 323-331. (Liber semisacularis Societatis Fenno-Ugricae).
149. Ravila P. Polemik: Merja und Tscheremissen // FUF Anz., 1940. — Bd. 26. — S. 19-26.

150. Reichenkron G. Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumanischen) — Heidelberg: Winter — Verlag, 1966. — 227 S.

151. Roos T, Tamm I. Puhutteko suomea? — Tallinn: Valgus, 1981. — 311 lk.

152. Rudz Ī te M. Latviesu dialektologija. — Riga: Latvijas valsts izdevniecība. — 1964. — 432 lp.

153. Schoanfelder K.-H. Probleme der Völker- und Sprachmischung. — Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag, 1956. — 80 S.

154. Szober S. Pochodzenie i rozwój polskiego języka literackiego // Szober S. Wybór pism. — Warszawa: PWN, 1959. — S. 75-97.

155. Stipa G. Zur Frage des mordwinischen Substrats im Süd großrussischen // Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Erkki Itkonen. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura, 1973. — S. 380-389. (MSFOu; Bd 150).

156. Suomen kielen etymologinen sanakirja. — Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura — (Lexica Societatis Fenno-Ugricae: n. I-VI). — 1898 s.

157. Tkachenko O. Probleme der Rekonstruktion des Merjanischen // Rmpt.: Оес- той между^арод^ый ко^ресс фи^о-угро- ведов (Сыктывкар, ию^ 1985 г.): Тезисы. — Сыктывкар, 1986. — С. 97.

158. Vasmer M. Beiträge zur historischen Voalkerkunde Osteuropas. 3. Merja und Tscheremissen // Vasmer M. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde / Hrsg. H. Braauer. Berlin; Wiesbaden: Gruyter, 1971. Bd 1, S. 345-418.

159. Veenker W. Die Frage des finno-ugrischen Substrats in der russischen Sprache. — Bloomington; Hague: Mouton, 1967. — XV + 329 S. — (Ind. Univ. Publ. / Uralic and Altaic Ser.; Bd. 82).

160. Vene-eesti sõne aramat. — Tallinn: Eesti riiklik kirjastus, 1953. — 636 lk.



Украшения костромской мери XI-XII вв.
[22, стр. 236]

Автор о языках и о себе



это языки бесписьменные, а в таком случае очень трудно определить всегда, идёт ли речь о близкородственных языках или просто о сильно разнящихся диалектах какого-то одного языка. К тому же, даже письменные фиксации того или иного идиома (так назовём языковое образование, неясное по своему статусу, язык это или диалект) ещё не говорят о том, что это обязательно язык. Ведь есть, кроме макроязыков (языков в полном смысле слова), и так называемые микроязыки, представляющие нечто среднее между диалектом и языком. Подобный микроязык можно

О ЯЗЫКАХ состоит не столько (попытка некоторых из проб, сколько личных и общих из ошибок, но, объяснений) может быть, он

У читателей кто желает моих книг может заняться изучением языков, хотя невольно нием языков, хотя возникнуть бы для того, чтобы вопрос, избежать ошибок относящийся к и быть автору: сколькими удачливыми в же языками он своих пробах владеет? Им я и (стремлениях).

Итак, начнём хочу ответить на этот вопрос, с ответа на вопрос стараясь быть о предельно многочисленности честным. А языков и об попутно мне умении язы- хочется коведов (и поделиться своим конкретно меня опытом занятий как языковеда) языками. Пусть оперировать этот опыт во большим многом несо- количеством вершенен и

разнообразных языковых фактов. Щецина (в Польше) на В мире, по при- западе. В это близительным время у поморс- подсчётам, кого (или существует от кашубского) 2500 до 5000 идиома были все языков. Почему шансы стать такое колоссаль- полноценным и ное расхождение в полнофункционал цифрах? Да ьным потому, что (макро)языком, подавляющее таким, как большинство русский, польский, языков мира — чешский, назвать сербский, культивируемым болгарский. (в определенных Однако ис- функциях) торическая судьба диалектом. А была немилостива потом подобный к поморянам (или микроязык может кашубам). либо исчезнуть, Подавляющее их будучи большинство было вытесненным германизировано, макроязыком, перешло на близким к нему, немецкий язык. либо, наоборот, Осталась только стать небольшая их полноценным часть на довольно макроязыком. узком Чтобы понять, о пространстве, в чём идёт речь, основном на придётся привести севере Польши, несколько около городов примеров. Вот, Гданьск, Сопот, например, один из Гдыня и на славянских несколько микроязыков — десятков кашубский, или километров к югу. поморский. К тому же В прошлом кашубские говоры носители этого очень неодно- языка занимали родны, особенно довольно северные и обширную полосу южные. Пользу- вдоль южного ются ими в побережья настоящее время Балтийского моря, около 300 тысяч примерно от человек, правда, Гданьска на на основе этих востоке до говоров сложился

литературный нѣм не пишутся кашубский язык. научные работы Сейчас этот язык (даже о воспринимается кашубском языке), как один из на него не диалектов переводят с польского языка, других языков. Во хотя и наиболее всех этих случаях отличающийся от кашубов него: он про- обслуживает тивостоит как польский язык. поморский всем Ниже, чем у остальным польского, и диалектам социальный статус польского языка кашубского языка. (великопольскому, Это язык пре- малопольскому, имущественно мазовецкому и си- «домашнего лезскому), обихода», в офи- которые циальных называются учреждениях, континен- особенно вне свое- тальными. го региона, Кашубский кашубы микроязык имеет пользуются даже свои особые польским языком. звуки, Кашубы не хотят и обозначаемые не могут рас- особыми буквами, стать со своим отсутствующими в собственным польском языке. малым языком, но Этим языком в то же время для пользуются как широких функций, разговорным, на связи с миром, они нѣм создается (и пользуются наибо- записывается) лее близким для фольклор, себя большим пишутся польским языком. литературные Поэтому произведения. кашубская Газета «КаэзѣЁ» интеллигенция, (по-польски кроме той её «Kaszubi») части, которая печатает свои связала себя с материалы по творчеством на польски и по кашубском кашубски. Но на микроязыке, этом языке не преимущественно ведѣтся пользуется преподавание в польским (макро) школах кашуб- языком. ского региона, на Основными

носителями кашубского (микро) языка остаются крестьяне, рыбаки, ремесленники-надомники, занятые изготовлением ценимых предметов народного искусства.

Совсем не таков удел другого микроязыка, швейцарско-немецкого, сложившегося на основе алеманского диалекта немецкого языка. Швейцарско-немецкий очень сильно отличается от немецкого литературного языка. В отличие, однако, от кашубского, это общеразговорный язык Швейцарии с двумя ведущими вариантами, цюрихским и бернским (наиболее престижным считается первый). Немецким литературным языком немецкоязычные швейцарцы пользуются в литературном творчестве (хотя много пишут и на швейцарско-немецком), на нём же в основном ведётся и радиовещание (впрочем, и оно остаётся-таки не без участия швейцарско-немецкого), но между собой в разговоре швейцарцы (немецкоязычные) предпочитают пользоваться швейцарско-немецким языком, причём независимо от их ранга. Профессор в аудитории читает лекцию, допустим, по атомной физике на литературном немецком языке, но, выйдя в коридор на перемене, те же проблемы со студентами будет обсуждать на швейцарско-немецком. Поэтому иностранец, особенно долго живущий в Швейцарии, вынужден знать швейцарско-немецкий. И в силу этого в Швейцарии на литературном немецком языке пишутся и издаются самоучители и грамматики швейцарско-немецкого языка. Язык этот остро практически необходим. Он, в сущности, уже очень приблизился к статусу настоящего макроязыка, правда, ещё только в основе разговорного, но зато

общенародного и, наложило оп-
если можно так ределенный
выразиться, отпечаток и на тот
общеклассового, литературный
то есть на нём в общенемецкий
немецкой части язык, которым там
Швейцарии пользуются: есть
говорят все особый
швейцарцы, — и швейцарский
какой-нибудь вариант общене-
скромный мецкого
крестьянин литературного
низшего языка со своими
образовательного специфическими
ценза, и словами и
профессор, и оборотами.
самый убогий Здесь
бедняк, и пришлось много
преуспевающий сказать о мик-
бизнесмен. От не- роязыках для того,
мецкого чтобы стала
литературного понятна общая
языка закономерность
швейцарские языковой жизни
немцы все же не мира.
отказываются,
потому что этот
язык связывает их
с другими
немецкоязычными
странами — ФРГ,
Австрией,
Лихтенштейном,
Люксембургом и
даже с миром,
потому что
немецкий язык как
один из мировых
известен и вне
пределов этих
стран, например, в
Бельгии,
Нидерландах,
Скандинавских
странах. Но в то
же время, в
Швейцарии в
качестве
разговорного и
языка местной
литературы у них
в большом ходу
швейцарско-не-
мецкий, а это, в
свою очередь,

В языковой жизни мира происходят беспрерывные изменения: одни языки полностью или почти полностью вытесняются (полностью вымер, например, древнеегипетский язык, а вот латынь, хоть и стала мёртвой, все еще, пусть ограниченно, употребляется, а потому и изучается), а другие возникают. И очень часто из бывших микроязыков. Так, с 1943-его года среди славянских языков появился новый македонский язык, длительное время считавшийся всего лишь диалектом болгарского. В Испании общепризнан в качестве отдельного литературного языка галисийский, который до того считали диалектом португальского. Среди германских языков в последнее время заявил о себе фризский язык, распространенный в основном в Нидерландах. Есть и случаи воскрешения языков. Так, не позже, чем в 6-ом веке нашей эры, а возможно, и значительно раньше, в 1-ом или 2-ом, вышел полностью из употребления, как бытовой разговорный язык, иврит (менее точное его название - древнееврейский). Со второй половины 19-ого века этот язык возрожден как разговорный, и в настоящее время в Израиле им пользуются как полноценным живым языком около 4 млн. человек. Причиной этого подлинного лингвистического чуда воскрешения языка, бывшего в состоянии мертвого около 2 тысяч лет, является то, что евреи сделали этот язык для себя священным и как таковой сохраняли его знание на протяжении этих тысячелетий, на нем молились, на нем читали свои священные книги, хотя и ограниченно пользовались им как общееврейским языком при общении евреев, живших в разных странах, например, в Германии и Аравии, Испании и Таджикистане. Вот эта привязанность к своему языку как к величайшему культурному духовному сокровищу и позволила языку сохраниться, а когда возникли благоприятные условия - и воскреснуть.

Но мы далеко отошли (а может, и наоборот, приблизились) от вопроса о множественности языков и от владения ими. А для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, сразу же зададим себе другой вопрос, более конкретный, о каком овладении идет речь. **326**

Один из известнейших русских языковедов Л.В.Щерба в своей книге «Как изучать иностранные языки» (название ее привожу по памяти, поэтому, возможно, не совсем точно) — кстати, до сих пор удивляюсь, почему эту

крайне важную книгу, изданную, насколько помню, в 1923 или 1924-ом году, до сих пор не переиздал

и

+++++

— говорит, что прежде, чем браться за изучение того или иного языка, надо задать себе вопрос: для чего я хочу изучить данный язык? Нужно ли это мне для туристической поездки, для чтения литературы на данном языке или, может быть, для теоретической работы, связанной с языками. От этого зависит и уровень знаний, связанных с тем или иным языком. Если язык Вам нужен для кратковременной поездки и потребностей бытового общения, Вам достаточно умения правильно (понятно) произносить звуки нужного Вам языка, элементарного знакомства с основами его грамматики и набора наиболее важных фраз. Если Вы собираетесь читать на определенном языке, здесь уже нужны более основательные знания и прочтение хотя бы одной книги специальной или/и художественной страниц не меньше ста, а то и нескольких сотен. Если, наконец, Вы нуждаетесь в знании языка для научных разысканий, то здесь надо «набить себе руку» (а может быть, и язык) в изучении нескольких, желательно разных языков. Это позволит Вам буквально «на лету» ориентироваться в специфических чертах разных фонетик и грамматик и как пилоту во время слепого полета с помощью приборов, а не ориентировки по видимым предметам, благополучно пройти по всем лабиринтам даже незнакомых языков и не «разбиться», то есть не ошибиться в своих описаниях. Сошлюсь на свой пример, конечно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы объяснить суть вопроса. Когда я писал свою первую книгу, в которой вплотную подошёл к проблеме мерянского языка (между прочим, вполне неожиданно для себя), я на теоретическом уровне более или менее был

+++++

+++++ Эта брошюра, изданная в Москве в 1929 году, доступна в Интернете, например, по адресу: <http://dmr.nm.ru/scherba/> (прим. О. Каченко. Исследования по мерянскому языку ред.)

знаком с эрзя-мордовским языком (с которого начинал), с финским, венгерским и эстонским. То есть я знал эти языки чисто книжно: я на них не говорил, но более или менее много (или мало) читал, пробовал немного писать (маленькие поздравительные письма по-эрзянски) и, пожалуй, если было бы надо, я мог бы на них мысленно составить маленькие предложения, то есть очень медленно (мысленно) говорить. Это дало мне некоторую ориентацию в финно-угорских языках. Поэтому когда мне пришлось затем разбираться в карельских, ижорских, вепсских, водьских, ливских текстах, а я уже сталкивался с финским и эстонским языками (так же, как и с другими прибалтийско-финскими), то я уже мог более или менее грамотно в них разбираться. Это мне помогло и в работе над саамским языком. Знакомство с эрзя-мордовским помогло понять мокша-мордовский. Знакомство с мордовскими языками помогло разобраться в марийском, а затем и в пермских языках, удмуртском, коми-зырянском и коми-пермяцком. Дальше — больше, в хантыйском языке и самодийских языках мне помогли разобраться учебники, грамматики и словари, а частично и неоценимая помощь двух прекрасных знатоков этих языков, Юлии Николаевны Русской (специалиста по хантыйскому языку) и Наталии Митрофановны Терещенко (прекрасного специалиста в области самодийских языков, прежде всего ненецкого). Обе эти замечательные женщины, ленинградки, бескорыстно поделились со мной обширными знаниями в области своих языков, редких и очень важных для глубокого понимания, например, венгерского языка. Я, конечно, мог усвоить только крупицу их знаний, но даже знание этой крупинки мне очень помогло. Обоих, к сожалению, уже давно нет, но память о них меня будет вечно сопровождать.

Знакомство с хантыйским (и венгерским) помогло разобраться в мансийском, особенно близком из обско-угорских к венгерскому. Все время, конечно, когда я писал обо всех этих языках, бесконечно проверяя себя по грамматикам, учебникам и словарям, у меня было ощущение ходьбы по зыбкому болоту... На кафедре общего языкознания Ленинградского (теперь уже Санкт-Петербургского) университета, куда я подал для защиты свою диссертацию, тоже её приняли не без некоторого сомнения: всё же славист, и вдруг пишет о совершенно далёких

языках. Где гарантия, что это не какой-то сплошной «бред собачий»? Хотя прямо этого, конечно, мне никто не сказал, но я прекрасно понимал настроение коллег. Я бы и сам на их месте засомневался... И вот при этом, конечно, огромной моральной поддержкой для меня самого и наиболее весомым аргументом для петербургских учёных был письменный отзыв профессора Пауля Алвре из Эстонии (ныне академика Финской академии наук). Этот крупнейший финно-угровед в своём отзыве написал примерно так (цитирую по памяти), что он как финно-угровед особенно внимательно отнёсся ко всему тому, что О.Б.Ткаченко пишет о финно-угорских языках и, после тщательного анализа, находит, что все их факты изложены вполне корректно.

Лучшей похвалы своему «слепому полету» я не мог ожидать, и петербургские коллеги после этого тоже вполне серьезно отнеслись к моей работе: как-никак, отзыв исходил от вполне авторитетного специалиста. Несомненно расположило их в мою пользу и то, что оппонентом работы согласился стать академик Эстонской ССР, профессор Пауль Аристэ, с которым приехал профессор Пауль Алвре и профессор Вальдек Палль (из Эстонии). От тогдашнего Ленинградского университета в ученый совет была введена проф. З.М.Дубровина, написавшая докторскую диссертацию по очень нелегкому вопросу финской грамматики, об инфинитиве финского языка (там это сложнейшая категория: инфинитивов четыре, в каждом не менее двух, а то и больше падежей, с помощью которых передается содержание целых придаточных предложений). Именно эти светила финно-угристики меня и «крестили», и благословили на тернистый путь финно-угроведа, которым я (совершенно неожиданно для себя) стал, да ещё и доктором... И вот, чтобы не выглядеть «самозванцем», я и вынужден теперь параллельно со своей основной работой стремиться изучить (в условиях Киева, вдали от финно-угорских земель) финно-угорские языки, хотя бы часть из них

(причем на старости лет, когда уже и память не та)...

И здесь я подхожу к фатальному для каждого языковеда вопросу, знанию языков.

Есть два типа их знания. Полиглотизм и более скромное ограниченное, главным образом, теоретическое их знание. Правда, есть и редкое сочетание теоретической глубины и полиглотизма. Очевидно, резкой границы провести между ними нельзя... Но все же постараюсь ее провести, приведя два наиболее разительных примера.

Был классический пример великолепного полиглота, кардинал Меццофанти. Говорят, что этот кардинал знал не то 100, не то 150 языков. Русскому языку он научился от Н.В.Гоголя, жившего в то время вместе с кардиналом в Риме. Говорят, что он быстро усваивал несколько слов и беспрерывно их повторял: например, «На мне большая белая шляпа», «Я вижу большую белую шляпу», «У меня нет большой белой шляпы» и т.д. Общаясь с Гоголем в течение двух-трех недель, он довольно сносно научился по-русски говорить и даже на прощание написал ему маленькое стихотворение по-русски. Итак, это настоящее светило полиглотизма, но в мировой лингвистике он не оставил никакого следа, не написал ни одного труда, монографии или хотя бы учебника, где бы осветил свой опыт изучения языков.

Другой пример: Хуго Шухардт — крупнейший австрийский языковед, один из столпов языкознания. Но на вопрос: «Welche Sprachen kennen sie?»- «Какие языки Вы знаете?» — он скромно ответил: «Ich kenne kaum die eigene» — «Я едва ли знаю свой собственный (язык)», т.е. немецкий.

Правда, Шухардт «преувеличил»: он знал, кроме немецкого, и классические языки, и был знаком с венгерским, и познакомился с баскским... Но значит ли, что в своем ответе он покривил душой? Совсем нет. Ведь еще Вольтер как-то сказал: «Языки Европы в основном так близки друг к другу, что можно без особого труда их изучить и ими пользоваться. Но свой родной язык мы учим всю жизнь, и все же так до конца его и не можем усвоить». Это изречение только с первого взгляда парадоксально. Как и утверждение Шухардта. Да, поверхностно можно усвоить много языков. Но для того, **328** чтобы усвоить какой-то язык во всем объеме, не хватит и жизни. Каждый из нас усваивает

только какой-то кусочек даже родного, своего языка...

Но чтобы познать его во всем объеме, надо, очевидно, быть не меньше, чем Господом Богом. Ведь язык - это вся вселенная. Попробуйте-ка усвоить все термины всех наук, искусств и ремесел, названия всех трав, птиц и всех насекомых. Да никогда. Каждый знает только слова общеразговорного и литературно-книжного языка (причем нередко и их неточно) плюс терминологию и лексику своей специальности (тоже зачастую далеко не в полном объеме)... А кроме того, что значит знать свой язык? Это уметь всё в нем объяснить, но ведь это огромный труд: в языке мы многое употребляем интуитивно, и часто, задай нам иностранец простой вопрос, почему, допустим, в русском принято говорить так, а не иначе, мы станем в тупик и скажем только: «Да, это логично, но почему-то так не говорят...». Но разве это ответ? Например, по-русски говорят: ты очутишься, он очутится, — но вот уже в 1м лице надо сказать — я окажусь, потому что ни «очучусь», ни «очутюсь» здесь вряд ли «возможны»... А почему так, мы не объясним: разве скажем, что это что-то вроде латинских *verba defectiva* (недостаточных глаголов)... Часто поэтому нас поражают дети своей логичностью: ведь они учат язык (как иностранцы) и задают иногда любопытные вопросы, например: «Почему из ружья стреляют, а не пуляют?» или «Почему огромные два колеса с толстой осью посередине, на которую наматывают проволоку, называют катушка, а не катуша? Ведь катушка — это что-то маленькое».

Вот почему уже упоминаемый мною профессор Пауль Аристэ (к сожалению, тоже давно умерший), которого считали полиглотом, высказался о полиглотизме довольно скептически. Сам он в разной степени знал, как считают, 40 языков, но сказал так: «Я скептик в отношении людей, считающихся полиглотидами. Пессимист и скептик потому, что знания многих языков у одного человека все же ограничены. Когда речь идет об усвоении многих языков при ограниченности извилин коры головного мозга,

то усвоение этих языков не может быть настолько глубоким, как когда речь идет об одном или двух-трех языках». И академик чистосердечно (и вполне самокритично) признаётся, что даже в отношении тех четырёх языков, в которых он сам считал себя наиболее сильным, в эстонском, финском, немецком и шведском, у него нередко бывали «проколы». Немцы поражались его беглой немецкой речью, но нередко спрашивали, из какой он местности родом. Финны считали его финский язык несколько архаичным (или искусственным): дело в том, что финский разговорный язык, действительно, нередко сильно отличается от литературно-книжного. Что-то не устраивало и шведов. И даже в эстонском языке (родном языке академика), к его большому огорчению как носителя литературного языка, при фонетической записи были замечены явные восточно-эстонские диалектные черты... а что уж говорить о простых смертных, когда такие оплошности встречаются у лингвистов с мировым именем?

И вот ещё пример другого полиглота. К сожалению, запамятовал его имя и отчество (и даже инициалы). Речь идет о профессоре Зализняке

Зализняке (из

Москвы

)

. Мне рассказывали, что он довольно быстро усвоил арабский язык (но, видимо, так же быстро его и забыл), и поэтому, когда коллеги, памятуя о его знании арабского, хотели его познакомить и свести для разговора с каким-то арабом, он страшно перепугался и долго старательно прятался от этого араба по каким-то институтским (очевидно, Института языкознания) закоулкам, так как язык — это беспрерывное повторение. Если не говорить или (по крайней мере) постоянно не читать на языке, можно его полностью забыть, даже если когда-то этот язык был собственным родным языком.

Мне как-то запомнился рассказ об одной русской девушке, вышедшей замуж за австрийца и уехавшей с ним в Австрию задолго до 1-ой мировой войны. Очевидно, ей было тогда не меньше, чем 18 лет, но когда в 1945-ом году русские солдаты попали в местность, где она жила, она настолько основательно забыла русский язык, что не могла с ними

разговаривать. Думаю, что ей, во-первых, в течение каких-то 50, а то и больше лет не с кем было говорить по-русски, во-вторых, попав в немецкое окружение, она старалась изо всех сил, чтобы ее не воспринимали как чужую, и поэтому все ее силы ушли не на то, чтобы не забыть русский, а чтобы как можно более совершенно овладеть немецким (и поэтому немецкий язык из нее усиленно «выбивал» русский), и, в-третьих, выйдя замуж за австрийца, она поменяла вероисповедание, стала римокатоличкой, а следовательно, не ходила в русскую церковь, не слышала ни церковнославянского языка, ни проповеди на русском языке, а только латынь и немецкую проповедь, а в-четвертых, она не читала по-русски (может быть, не любила читать, а может быть, сознательно стремясь себя «онемечить»), и вот Вам результат — полное забвение своего языка.

А теперь перейдём к моим языкам. В сущности, от всего их «богатства» осталось очень мало. Почему? Да по той же причине, что и у профессора Зализняка. Я учил их очень много, но теперь, когда речь идёт о том, чтобы их не забыть, я должен этим пренебречь. Чтобы их все не забыть, я должен был бы день-деньской только тем и заниматься, что все их повторять и, в конечном счете, или — в лучшем случае — в голове образовалась бы какая-то каша, особенно из родственных языков или — в худшем случае — закончилось бы или инсультом, или инфарктом. Поэтому я вынужден сознательно перестать ими заниматься, то есть постепенно их забывать. Очень жаль, но ничего не поделаешь... Но были тогда смысл вообще их учить? Считаю, что был. Всё-таки мои улетающие знания даром не пропали. Кое-что основное задержалось в голове. Выработалась определенная «хватка», интуитивное умение оперировать разнообразным языковым материалом, умение догадываться по внешнему облику слов, откуда то или иное слово: отсутствие скопления согласных в начале слова, определенная «монотонность» гласных, ударение на конце слова... Ага, тюркское?... in вместо союза i, ze вместо «уже», se вместо «ещё» — словенский текст?... И очень часто «попадание в яблочко».

Однако жизнь требует самого жесткого самоограничения, и я вынужден, кроме 1) украинского, 2) русского и 3) мерянского, — который исследую, а не изучаю, — ограничить себя ежедневным изучением 1) венгерского и 2) английского и еженедельным, — чтобы не

***** Биографические
данные об Андрее Анатольевиче Зализняке см. в
Интернете: <http://hp.iitp.ru/koi/34/3423.htm> - (прим. ред.)

забыть, — чтением на 3) польском, 4) немецком и 5) эстонском языке

х~~~~~. В качестве изучаемого нерегулярно я еще оставил эрзянский (эрзя-мордовский) язык. Финским временно бросил заниматься, чтобы не путать его с эстонским. Если бы меня спросили, какой ещё язык я хотел бы изучать, я бы сказал: иврит. И не потому, что я еврей, хотя я, не будучи евреем, а соединением двух стихий, украинской и русской, глубоко уважаю этот народ за его поразительную языковую стойкость... Но, конечно, я не фантазёр. И, отдавая себе отчёт в том, что для меня это абсолютно нереально, ограничился тем, что прочёл в подлиннике и подробно разобрался только в одном тексте на иврите. Это известный псалом 136 (137) «На реках Вавилонских (или: Вавилона) там мы сидели и плакали, вспоминая Сион...». Мне кажется, что именно в этом псалме квинтэссенция еврейской языковой и национальной стойкости, которой так не хватает украинцам, и поэтому стоит именно с этим текстом познакомиться. Что касается остальных языков, то я ещё надеюсь вернуться (если доживу) к финскому (когда-то мечтал прочесть по-фински «Калевалу»)... А также к французскому и эсперанто. Оба эти языка я пока не учу (т.е. не читаю на них), т.к. считаю, что английский с его преизобилием слов романо-латинского происхождения не даст мне полностью забыть ни французский, ни эсперанто, этот самый легко усваиваемый и в то же время такой гармоничный язык.

Мне не хотелось бы объяснять свой выбор. Но все же вкратце попробую объяснить. Украинский язык — родной. Русский и польский — это языки двух самых мощных и, считаю, равновеликих славянских культур. Венгерский, финский, эстонский — языки трёх самых развитых финно-угорских культур. А эрзянский выдающийся русский финно-угровед Д.В.Бубрих (вместе с мокшанским) назвал финно-угорским санскритом. Тот, кто знает, какое огромное значение имеет санскрит для индоевропеистики, поймёт, что значит это сравнение. Кроме того, кое-кто из эрзян меня

~~~~~

~~~~~ Кстати,

эта языковая программа постоянно меняется. Сейчас, например, я вынужден из финно-угорских ограничить себя одним венгерским; так как появилась аспирантка с крымскотатарским, то я вынужден спешно знакомиться с... турецким языком.

почти уверил, что поскольку мои русские предки Косолаповы родом из бывшей Рязанской губернии, то скорее всего кто-то из них мог быть связан не с мерянами (меричами), а именно с эрзянами, ведь само название Рязань связывают с бывшим Эр-зянь ош «Эрзянский город». Какое-то особое тяготение к эрзянскому языку во мне, возможно, и объясняется этим отдалённым зовом забытых предков.

Собственно, мое увлечение финно-угристикой началось от двух толчков. В детстве я прочитал, в русском переложении для детей, «Калевалу», и этот эпос меня очень к себе привлёк. А второй толчок произошёл во время советско-финской войны. Я тогда прочел в дореволюционном учебнике «Русская история» фразу: «Великорусы произошли от смешения южнорусов с финнами»~~~~~.

Так как мой дед по матери Яков Иванович Косолапов был типичным великорусом, то я не мог не подумать: «Значит и во мне есть что-то финское». И дальнейшее увлечение финно-угристикой стало для меня как бы поиском своих наиболее глубоких русских корней, особенно для меня важным, потому что я рос на границе двух славянских культур, украинской и русской. Финно-угристика помогла понять своеобразие каждой, с их расхождением в основном по «отцовской» линии. Не будь этой личной заинтересованности, я вряд ли бы пошел по этому сложному пути.

Понимая, что эти финны, слившиеся с русскими (великорусами), исчезли, я задумал было поэму в стиле Лермонтова, которым тогда очень увлекался. Начиналась она с того, что какой-то «последний из могикан» этих исчезнувших финнов мне (а скорее, герою поэмы) рассказывает о судьбе своего исчезнувшего племени. Действие должно было происходить где-то в Центральной России и почему-то (так мне казалось) у озера Селигер. Поэма начиналась так:

Я эту песню услышал

Не там, где плещет бурный вал, Где не услышишь крик орлов, Парящих между облаков...

Мне пел её старик седой, От старости почти слепой, Но чудо! Он, когда запел, На много лет помолодел...

***** Несомненная неточность этого утверждения в том, что смешивались с финнами не южнорусы, а севернорусы.

хотите нет... Для меня этот когда-то слышанный рассказ звучит, как анекдот, но говорят, нечто подобное когда-то действительно было... Короче говоря, картина следующая. Где-то в Каире среди прочих иностранцев-туристов была и одна наша генеральша. Заходят в магазин. Генеральша на русском языке что-то энергично говорит и спрашивает, обращаясь к продавцу, тот, естественно, в недоумении молчит, тараща на неё глаза и стараясь уразуметь, чего же требует от него эта симпатичная, непонятная леди... К генеральше тогда обращается сестра-славянка, словачка, понявшая её, и предлагает ей, что она, зная английский, лучше объяснит продавцу, что ей надо... И вдруг слышит в ответ: «Да пошли Вы знаете куда со своим английским... Я с ним говорю на языке великого Ленина...». Видимо, крепко, ещё со школьной скамьи, засела у неё в голове цитата из Маяковского, знакомая всем, кто учился в средней школе (вместе с изречением Ломоносова и одним из «Стихотворений в прозе» Тургенева). Спорю, конечно, нет, что русский язык и прекрасен, и велик, прежде всего потому, что на нём писали и его совершенствовали прекрасные писатели, начиная с того же Ломоносова, Державина и Карамзина, кончая Чеховым и многими другими и великими, и выдающимися писателями, но при этом не следует забывать и о существовании других языков и культур, которые немало дали образцов для тех же русских писателей, совершенствовавших русский язык, как бы состязаясь с ними.

Изучать языки полезно даже уже для того, чтобы лучше понять и познать свой язык. Кроме того, их изучение развивает гибкость ума, умение смотреть на мир не только «через одни очки». Кто-то сказал: сколько ты знаешь языков, столько раз ты члове
к

Л.В.Щерба, о котором я упоминал, советовал изучить хотя бы два языка и особенно советовал это делать русским. Дело в том, что русский — один из мировых языков, а их носители отличаются нередко «языковой ленью». Раз язык распространён, значит, зачем учить другие языки. В частности, немного «навредил» здесь ещё В.В.Маяковский своим: «Да будь я и негром преклонных годов, и то без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин...». И вот на этой почве, хотите верьте рассказанному,

Есть и другое мнение: считают, что эти слова принадлежат Карлу V (1500-1558). - *Прим. автора.*

И именно поэтому Л.В.Щерба писал, что недостатком носителей русского языка является то, что им не хватает двуязычия. Впрочем, у дворянских русских писателей 18-ого - начала 19-ого века этого двуязычия было предостаточно: все они, как правило, великолепно знали французский язык: как известно, Татьяна Ларина писала Онегину письмо по-французски. Пушкин пишет, что русский текст ее письма — перевод с французского.

В этом отношении украинцы в лучшем положении: они, кроме украинского, знают, как правило, и русский, а те, которые в Западной Украине, часто ещё, кроме того, в Галиции и на Волыни — польский, на Буковине — румынский, в Закарпатье — венгерский, а часто и немецкий (или словацкий). А знание ещё одного языка делает более легким усвоение других языков. Поэтому в Чехии мне говорили, что им больше как переводчики нравились украинцы: у них в чешском языке и лучше произношение и более непринужденный беглый язык, чем у переводчиков-русских.

А что нужно, чтобы добиться успеха в изучении языков?

1) Я уже писал, что надо сразу же поставить перед собой вопрос: какой язык учить и с какой целью это делать?

2) Если взялся за язык, учить его надо, пусть понемногу, но каждый день, повиснуть на нём бульдожьей хваткой и не «отпускать», пока основательно его не выучишь, 15-30 минут каждый день всегда можно найти.

3) Очень важно найти хороший учебник. Быстро его проработать, а затем как можно скорей переходить к чтению.

4) Читать, конечно, можно и надо и специальную литературу, но, очевидно, или вместе с ней, или после неё надо как можно больше читать интересной художественной литературы: там богаче и разнообразнее язык, а интересный сюжет невольно привлечёт и заставит с увлечением читать.

5) Кроме чтения со словарём (которое тоже важно), можно практиковать и так называемое интуитивное чтение (по догадке), а чтобы не слишком «разленился» и правильно понимать слова, стоит восполь- **332** зоваться ещё проверкой по «противоположному» словарю: читаешь по-немецки — пользуешься не немецко-русским, а русско-немецким словарём, проверяя правильность

догадки. Например, встретилось слово Wald, по смыслу текста вроде бы «лес». Так не заглядывай в немецко-русский словарь, а в русско-немецкий... Проверил себя: а как «лес» по-немецки? Der Wald... Прекрасно. Поставил себе мысленно «5» и пошел дальше. Полезно на продвинутой стадии пользоваться также толковыми словарями, где все слова объяснены на языке, который изучаешь, это сильно обогащает знание языка.

6) Я лично избегал и избегаю адаптированных текстов. Лучше были дореволюционные издания, где тексты не адаптировали, а давали в оригинальном виде, но с подробными объяснениями. Конечно, адаптированный текст читать проще, но и неинтересней. Прочёл книгу. Вопрос знакомого: «Какую?». И даже неудобно отвечать, потому что читал не Диккенса, а «по Диккенсу», не Марка Твена, а «по Марку Твену» и т.д. Лучше уж прочесть что-то маленькое, но оригинальное, а потом гордо говорить, что ты в оригинале прочёл какого-то известного английского или американского писателя. И так, естественно, будет и с немецким, и с французским.

7) Советую не читать переводы с русского на иностранные языки. Этот метод, может быть, и полезный, но невероятно скучный. Иностранный язык - это окно в новый неизвестный мир. Но какой мир нам откроет Чехов по-английски или Тургенев по-немецки. Однако это неплохой способ освежить забытый язык: можно читать бегло и почти без словаря.

8) Есть свои секреты и в умении читать. Читать надо не в том порядке, как идут слова. Это себе можно позволить, только хорошо зная язык, или, наверно, на родственном языке (например, русскому по-польски или поляку по-русски). В незнакомом (неродственном) языке надо прежде всего найти сказуемое (глагол), подлежащее (существительное или местоимение), а потом, когда костяк предложения понят, разбираться уже во второстепенных членах предложения.

9) Очень важно хорошо усвоить грамматику (окончания), а также служебные слова (союзы, предлоги, частицы).

Вот, пожалуй, и всё основное, что хотелось сказать.

Написалось и так много (наверно, слишком много) потому, что язык (и языки) — очень сложная вещь.

Но прежде всего надо помнить, что язык — это средство познания культуры. Чем богаче культура, тем и интересней, и важней язык, на котором она создана.

И ещё одно. С какого иностранного языка начинать? Если речь идет о трёх основных европейских, то раньше начинали с немецкого и французского, а заканчивали английским. Лексически английский связан и с тем, и с другим, и тот, кто знает эти оба языка, без особого труда усвоит английский. Сложность будет только с произношением. Но теперь во главу угла поставлен английский. Значит, с него есть смысл и начинать. Однако при этом надо помнить, что начинаешь с самого лёгкого. Грамматически, пожалуй, и французский, а особенно немецкий гораздо сложнее. Л.В.Щерба советовал изучить как минимум два иностранных языка. Вот и выбирайте, какой язык для Вас наиболее важен (наряду с английским), пусть он и во много раз труднее английского. И ещё о так называемой красоте языков, понятии очень субъективном.

Студентам я это популярно объяснял так. Во французском есть сила красоты. А в немецком и английском присутствует красота силы. Это в чём-то как сравнение двух тел, женского и мужского. В женском нас пленит грация, нежность, мягкость, т.е. красота, и в этой красоте сила женщины. Она этим побеждает и бросает к своим ногам самого мощного мужчину. Но есть и красота в силе мужского тела. Разве по-своему не прекрасно тело борца, атлета, боксёра своими мускулами, гармоничностью телосложения, его упругостью?

Итальянский, французский, румынский - это сыновья золотой латыни, жёсткого и мужественного языка, в котором слышится чеканный шаг римских легионов, но который под пером Катулла, Овидия и Горация оказался способным нас очаровать и своей нежностью, — в романских языках много женского очарования. Много мягкости, нежности, звонкости, хотя временами, когда надо, в них слышится и торжественная бронза латыни (например, терцины Данте).

Немецкий и английский - это языки

воинов, сухопутных или морских. В них много упругости и мускулистости. Но когда надо, и они не лишены нежности.

Например, когда читаешь песню рыбака из «Вильгельма Телля» Ф.Шиллера, то этот стих прямо-таки ласкает ухо (значит, всё дело в мастерстве поэта):

Es lachelt der See, er ladet zum Bade.

Der Knabe schlief ein am grünen Gestade...

Подстрочный (почти буквальный) перевод: *Улыбается озеро, оно приглашает (зовёт) купаться (к купанью).*

Мальчик уснул у зелёного берега...

Русский перевод Тютчева, напротив, просто рычит:

С озера веет прохлада и нега, Отрок уснул, убаюкан у берега...

У Шиллера слышится плеск волны, у Тютчева слышим, как сильно тарахтят прибрежные камешки, оркестровка совсем не та. (А ведь Тютчев — прекрасный поэт и превосходно знал немецкий язык).

А в общем, каждый язык по-своему неповторим и прекрасен. Необходимо только мастерство писателя, которое скрасит шероховатости, неизбежные в каждом языке, и покажет в нём только прекрасное...

Но правы и те, которые говорят, что дороже всего каждому человеку и милее всего родной язык: «Каждый кулик свое болото хвалит».

Мой разговор, как и тема, не имеет конца. Поэтому я его лучше закончу не точкой, а многоточием... (У кого есть за душой, что к этому добавить, пусть продолжит и закончит эту песню о языке и языках).

У А.Мицкевича поэма «Конрад Валленрод», начало которой, «Вступление», перевел Пушкин (друживший с Мицкевичем), заканчивается словами:

Taka piesn moja o Aldony losach.

Niechaj ja aniol harmoni i w niebiosach,

A czuly sluchacz w duszy swej dospiewa.

(Такова (такая) песня моя о Альдону судьбах. (Альдона - героиня поэмы). Пусть её ангел гармонии в небесах, а чуткий слушатель в душе своей допоёт).

Именно это я имел в виду, пища (как бы сказал Л.Толстой) о недопетой песне.

Написано было вроде бы предостаточно, но многие, тем не менее, обвинят меня в том, что я ушёл от прямого ответа, какие же языки я всё же знаю и в какой степени.

Постараюсь ответить как можно точнее. Практически я владею 4-мя языками:

- 1) украинский;
- 2) русский;
- 3) польский;
- 4) немецкий.

Первые два в постоянной работе, а вторыми двумя хуже: их постоянно приходится поддерживать, т.е. стараться на них читать (за неимением среды), правда, при случае я могу на них довольно свободно говорить. На польском, понятно, лучше, на немецком хуже. Плохо воспринимаю быструю и слишком «разговорную» немецкую речь, ведь там масса своих слов и выражений типа русских «доходяга», «его ушли» и прочего, которое почти не встречается в словарях (есть, правда, хороший словарь разговорного немецкого языка Девкина, но ведь немецкий идет в своем развитии семимильными шагами и за ним не угонишься).

Довольно свободно я читаю по-французски, т.е. могу читать даже без словаря и в основном понимать почти любые современные тексты.

С английским хуже: довольно ещё много для меня непонятных слов и особенно выражений. Кроме того, очень часто я понимаю (глазами) великолепно английское предложение, но устно воспроизвести не решаюсь, приходится заглядывать в фонетический словарь Джоунза. И пожалуй единственный иностранный язык, которым бы я сейчас мог овладеть активно, — это эсперанто.

Я даже на нём написал маленькое стихотворение типа японского хокку (или хайку):

Mel ankol ia Пе ча льна я
Sonoras melodio, Звонит мелодия, En koro
ploras. В сердце плачет.

По-французски я не говорю (я даже не ставлю такой цели, тем более являясь в прошлом, как беспартийный, невыездным «в капиталистические страны»), но я, как уже написал, довольно свободно на нем читаю. Когда-то, например, болея, я от нечего делать захотел прочесть роман Стендаля «Люсьен Левен» (иногда его, кажется, еще называют «Белое и чёрное»). Копаться в словарях было сложно, и я его читал без словаря, в основном хорошо понимая (за исключением выражений финансовой терминологии, которые и по-русски плохо понимаю).

Ещё неплохо понимал (и даже пробовал на них говорить) чешский и белорусский (лучше белорусский, хуже чешский).

Писал (со словарями) по-чешски, по-словацки и по-верхнелужицки. Довольно много читал по-болгарски (например, роман Ивана

Базова «Под игото» («Под игом»)). Когда-то мне надо было написать письмо по-македонски, поднатужился и написал, и получил по-македонски ответ (значит, меня поняли). Немного учился латинскому и греческому (первому, конечно, больше). Изучал литовский и особенно много латышский. На обоих языках, - с трудом, особенно по-литовски, - но переписывался. Латышский у лингвистов считается менее важным, но мне он нравится больше: на нём писали прекрасные писатели: Ян(ис) Райнис, Андрей Упит, Андрей Пумпур, Вилис Лацис, Александр Чак. Их я больше читал в русских переводах, но стихи Райниса и Чака читал и по-латышски. Из финно-угорских языков я больше всего занимался эстонским, венгерским, эрзянским, меньше финским. Но говорить пробовал только по-венгерски. (Из трёх самых распространенных финно-угорских языков это самый простой и логичный, хотя, конечно, его простота весьма относительна, сложнее финский, а эстонский самый трудный). Однако с эстонскими знакомыми я переписывался только по-эстонски (вооружаешься словарями и грамматикой и пишешь). Потом уже запоминаешь наиболее ходкие слова и выражения. Писал лингвистам и иногда даже удостоивался похвалы. Значит, писал довольно грамотно, хоть, конечно, примитивно. По-фински написал только одно письмо в Карелию. По-эрзянски писал маленькие поздравительные письма, а однажды даже набрался смелости и написал что-то вроде стихотворения-здравницы своему корреспонденту по переписке, известному эрзянскому писателю Кузьме Григорьевичу Абрамову (в стиле эрзянского фольклора). Однажды очень хотел получить из Тбилиси самоучитель грузинского языка и написал в Тбилиси письмо по-грузински, не уверен, всё ли было там правильно. Но меня поняли, книгу прислали и поблагодарили по-русски. В школьные годы я «расшифровал» для себя грузинский алфавит и потом часто его использовал как... тайнопись... Чем бы ещё «похвастаться»? Часто заглядывал в китайские грамматики, меньше в японские, но меня отпугнула иероглифика. Правда, зачин китайской сказки я прочитал в иероглифическом написании (Вы его встретите в первой мерянской книге) в «Русско-китайском словаре» (изданном в Шанхае). Правда, потеть пришлось изрядно, наверно, час или полтора, пока я постиг эту китайскую грамоту. Из германских языков, кроме немецкого и английского, немного читал по-датски, понидерландски и на идиш. Этот любопытный

язык меня заинтересовал, потому что в свое время мой дедушка Яков Иванович Косолапов приютил в своём доме во время 1-ой мировой войны евреев-беженцев из местечка Сморгони (в Западной Белоруссии), потом в нашем дворе они даже преобладали. Я с детства наблюдал их жизнь, обычаи, слышал временами этот язык, несколько похожий на немецкий, но с большим количеством ивритизмов. Потом, когда я уехал из Харькова, мне даже будто чего-то стало не хватать. Натолкнувшись как-то на произведения Шолом-Алейхема в русских и украинских переводах, я с большим интересом стал их читать и понял, что, в сущности, я в Харькове уже жил бок о бок с его героями. Тонкий и своеобразный юмор этого писателя (смех сквозь слезы или «слепой дождь», пронизанный солнечными лучами) был мне очень симпатичен, и мне очень захотелось хоть что-то прочесть в оригинале. С интересом (с грехом пополам) прочёл его, — один из самых любимых моих, — рассказов «*Majn erster roman*» («Мой первый роман»).

Пробовал заниматься ирландским (гаэльским) языком и даже переписал одну маленькую ирландскую сагу, но испугавшись сложности (фонетической) этого языка, где слишком «распоясалась» фонетика, так за ирландский и не засел, хотя до сих пор очень люблю читать о грамматиках и словах кельтских языков (и даже писал о галльском субстрате французского).

Из романских языков больше всего меня привлекли французский, итальянский (очень хотелось на нем петь прекрасные итальянские песни и арии) и румынский (я буквально влюблён в румынского классика, поэта Михаила Эминеску, великолепного мастера звукописи, — Бродский одно из его стихотворений «*Eu am un singur dor*» — «Я имею одно единственное желание» перевёл в шести вариантах, желая передать его оркестровку). Немножко «лизнул» (или «нюхнул») турецкий, татарский, чувашский и якутский (тюркские языки). Немного читал об албанском. Очень долго мечтал познакомиться с армянским (одну фразу, начало армянской сказки, написанной Ованесом Туманяном, можно у меня встретить). Но дальше нескольких, правда, очень живописных армянских слов и выражений «джюр» — «вода», «крунк» — «журавль», «цицернак» — «ласточка», «Барев цез!» — «Будь здоров!», которые встречаются и в русских переводах, я, к сожалению, почти не пошёл. Между прочим, причиной было и армянское письмо, гораздо более сложное, чем

грузинское. Но навсегда запомнились прекрасные армянские поэты (в великолепных русских переводах В.Брюсова и А.Блока). Хотя бы эти потрясающие слова простенького стихотворения Туманяна:

В сновиденье мне овцой Задан был
вопрос такой: «Бог детей твоих
храни! Как на вкус младенец мой?»

В них вся трагедия армянского геноцида. Нет, будь у меня хоть немного времени, я хотя бы это стихотворение заучил на память по-армянски.

Пробовал учить немного арабский и даже почти «прочёл» учебник для начального обучения Сегалю, но, убоявшись насмешек нашей учительницы по поводу того, что я слишком часто «сую» во все слова пресловутый арабский айн, напоминающий звук, издаваемый иногда горлом молодого верблюда, я прекратил свои занятия; арабскую вязь помню тоже плохо, хотя иногда мне удастся до сих пор довольно сносно произнести слова му^аллим(ун) «учитель» и му^аллимат(ун) «учительница». Впрочем, арабский язык как язык Корана меня заинтересовал меньше, чем основной язык Библии (Ветхого Завета), иврит, — читая на нем, я понял, как ученики хедеров (еврейских религиозных школ) выучивали на этом языке целые страницы. Дело в том, что Ветхий Завет (на иврите сокращенно Та На Х-Тора (Закон) — Нэвиим (Пророки) — Кэту-вим (Писания)) — книга глубоко поэтическая и часто даже написанная своеобразной ритмической прозой, в сущности «белыми стихами», то есть только без рифм (в отличие от Корана, написанного рифмованной прозой). Поэтому слова, даже поначалу непонятные, сами собой ложатся в голову. Но, конечно, иврит очень сложный язык, к тому же с довольно ещё сложной системой письма, правда, более чёткой, чем арабская вязь (которая зато хороша как стенография и красива как арабские изречения из Корана, которые арабы ввиду запрета (как и у евреев) рисовать превращали в настоящую живопись).

Из других языков я еще интересовался индонезийским, арамейским (еще один семитский язык), палеоазиатскими (в частности, эскимосским). Иберийско-кавказские языки я тоже немного «нюхнул» или «лизнул» (дошел даже до убыхского). Читая «Гай-явату» (в русском переводе Бунина), невольно запоминал ирокезские слова: наверно, многим они помнятся: «цапля серая, шух-шуга», «вампум» и другие. Немного сталкивался и с

монгольскими языками, (халха) монгольским и калмыцким. Фарси (персидским) не занимался, возможно, и из-за сложности письма, но пробовал знакомиться с таджикским, ближайшим родственником фарси (есть фарси-теграни, фарси-тоджики и фарси-кабули, или дари). Всё это разновидности первоначально одного языка, фарси (по-арабски), или персидского.

Ещё интересовался испанским и португальским, а в сущности, и всеми романскими языками (включая провансальский, сардинский и каталанский): одно время у меня был замысел писать об украинском обороте «Як ся маєш?» — «Как поживаєш?», который, оказывается, через польский, чешский и словацкий (есть и в словенском *Kako se imaš?*), по-видимому, восходит к паннонской латыни... И тогда я усиленно «шуровал» по всем романским языкам, вплоть до итальянских диалектов (почти языков). Румынских лингвистов, как-то бывших в Италии, многие «рядовые» итальянцы нередко даже спрашивали: «На каком итальянском диалекте вы говорите?». Многие итальянские диалекты далеко отошли от литературного языка. Поэтому даже румынский язык воспринимался как один из них.

Как видите, значительную часть своей жизни я занимался разбрасыванием камней, а теперь пришла пора их собирать и очень умерять свои языковые «аппетиты». Да, я ещё чуть не забыл сказать, что, в сущности, я занимался всеми славянскими языками, которые даже не упомянул, вплоть до двух мёртвых, старославянского (древнего болгаро-македонского) и полабского, славянского языка, вымершего в Германии в конце 17 - начале 18 века... Почему-то, однако, я мало внимания уделил санскриту (древнеиндийскому, одним из сыновей которого является цыганский). Несмотря на то, что сейчас есть определенная «мода» на всё индийское... А может быть, именно поэтому? Меня невольно отталкивает эффект «Панургова стада».

Но, между прочим, никакой особой заслуги в этом «многоязычии» я не вижу. Ведь я мчался «галопом по Европам», и поэтому мои знания преимущественно очень поверхностны. Выработана просто особая ловкость рук, а точнее — мозга, способного теперь справляться со многими языковыми фактами... Но всё это суета сует и всяческая суета... И

поэтому я искренне и по-хорошему завидую тем языковедам, которые знают, кроме своего, один-два-три языка, но зато хорошо и глубоко, в сочетании с глубоким знанием духовной культуры народа, его фольклора, литературы, обычаев. Ведь язык — это прежде всего культура, правда, словесная, но зато всеобъемлющая. И поэтому все эти хватания многого, но в минимальных размерах, напоминают не то поедание манной каши в раннем детстве, не то долбёжку музыкальных гамм и экзерцисов. Только совершенное владение языком во всех его сокровенных глубинах и тонкостях даёт истинное наслаждение, как когда Вы едите уже не одну манную кашу, а весь спектр разнообразных блюд, и уже не «долбите» гаммы, а имеете счастье играть ту же «Лунную сонату» Бетховена или фортепьянные шедевры Шопена, песню Сольвейг Грига или «Неоконченную симфонию» Шуберта (в фортепьянном переложении, допустим)...

Кстати, я очень рад, что не научился играть ни на одном музыкальном инструменте, так как весь мой музыкальный заряд ушёл... в стихи (ведь стихи - это тоже музыка, только растворённая в словах). Мой отец был замечательным музыкантом-пианистом, хотя и любителем, но он рано выпал из моей жизни.

И вот вся моя музыкальная стихия ушла... в украинские стихи, которые я «рассудку вопреки, наперекор стихиям» пишу под фамилией Косолапов. А своей экзотической (мерянистической) русистикой занимаюсь (и печатаюсь) под фамилией Ткаченко. А получилось так отчасти потому, что один известный украинский

писатель*****
которому я понёс свои стихи, в общем их одобрил и посоветовал писать дальше, но по поводу одного стихотворения заметил, что, хотя оно написано по-украински и на безупречном языке, но один образ там чисто русский... И вот тут-то я и решил, что мне удобней, наверное, писать под русской фамилией: «Что, мол, с этого «русака» возьмёшь: ведь Косолапов, так и видна косая русская лапа, хоть и не по-русски написано, а по-украински, а всё же что-то чувствуется русское»*****

Так (сохраняя все пропорции) в своё время и о Гоголе говорили. Даже Белинский писал примерно так: «Хотя этот писатель писал всё время по-русски, мы никак не могли взять в

***** Б.Д. Антоненко-Давидович.

разговаривали о нём по-украински, но в личном общении прибегали, как правило, к польскому языку. И теперь мне, конечно, очень не хватает польского языка.

Было время, когда у нас с женой были немецкие дни, но потом они, к сожалению, постепенно выпали из жизни. Всё же жизнь сейчас сверхнапряжённая, а разговор на иностранном языке требует ещё большего напряжения. Теперь наш немецкий язык сводится к тому, что я ей читаю (на память) стихи Гейне, Гёте, Шиллера или Рильке или вспоминаем какие-то отрывки из немецких новелл или романов и обсуждаем тонкости языка и стиля, — например: почему Гёте употребил неопределённый артикль в стихотворении «Marz» («Март»): «Es ist ein Schnee gefallen...» «Выпал (какой-то, единственный в своём роде, может быть, потому что редкий весной) снег»...

И ещё немного о моём украинском. Пока я жил в Украине, я как-то не ощущал особого значения для себя украинского языка. Говорил я тогда по-русски, хотя на уроках украинского языка отвечал по-украински, пел украинские песни, много по-украински читал... Но когда попал в Россию, и украинский язык полностью исчез, я его нигде не слышал, в библиотеке не мог взять книгу на украинском языке, мне как-то всё более катастрофически стало не хватать украинского языка. С русским языком никогда ничего подобного не происходило. И это позволило мне осознать, что я украинец не только по паспорту, но и в душе. А так как я тогда очень плохо знал язык, который стал осознавать как родной, то я и пошёл на украинское отделение филологического факультета, а перед тем стал писать по-украински дневник и, наконец, даже стихи.

Впрочем, сейчас мне очень стыдно признаваться, что я был и являюсь украинцем: нас тогда... Но я об этом уже писал.

Итак, мой языковой путь и сложен, и непрост... Но я сам его выбрал, и мне не на кого пенять: «Охота — пуще неволи». Вот она-то и заставляет меня тянуть «воз и маленькую тележку» своих языков. Только любовь, о которой когда-то по латыни было сказано: «Omnia vincet amor...» («Всё побеждает любовь...»), и больше ничто заставляет меня каждое утро вместе с небольшой утренней гимнастикой заниматься «умственной гимнастикой», читать на своих языках, что сперва требует большого напряжения воли, а

потом становится привычкой.

В этом есть, конечно, своя доля одержимости, но ведь недаром же Адам Мицкевич в своей «Оде к молодости» употребил парадоксальное (только на первый взгляд) словосочетание *rozumni szalem* — «разумные безумием» (о молодёжи)... А когда опускаются руки и становится слишком тяжело тащить свою поклажу, я хлещу себя как бичом «колючими» латышскими словами из известного стихотворения Ян(ис)а Райниса:

Pirmais un pedejais vards
(Первое и последнее слово)

*Mans vards ir viens, vins liksies skarbs;
Kad gars tev ir kutris un saidzis, Kad pats
sev par nastu tu palicis, Viens vienigs tad ir
lidzeklis: Darbs.*

*Моё слово (есть) одно, Оно покажется
суровым;
Когда дух у тебя (есть) вял и угрюм,
Когда сам себе в тягость ты стал, Одно
единственное тогда есть средство:
Труд.*

В настоящее время я заканчиваю свой 79-

й
го
д

**. Одна цыганка мне предсказала, что проживу 86 лет. Хотя верить этому можно только отчасти, всё же полагаю, что если и была здесь ошибка, то скорее в сторону преувеличения, а не преуменьшения. Значит, рассчитывать можно не больше, чем на 6-7 лет. Значит, уже пора подводить итоги и закругляться. Языков учено немало, и кое-что из этого учения останется в голове. Рассчитывать же надо на те, которыми уже владеешь и применяешь ежедневно практически, на те, которые изучаешь научно, на те, которые особенно нужны практически, но которые знаешь ещё недостаточно и поэтому их надо учить, и на те, которые надо не забыть. В целом получается 7 языков:

I. 1) украинский; 2) русский (те языки, которые знаю и которые всегда «в работе»);

II. 1) мерянский язык (изучаемый и реконструируемый научно);

III. 1) венгерский язык; 2) английский язык (учу, т.е. главным образом читаю на них,

Написано в

письме от 22.09.2004 г. — прим. ред.

ежедневно);

IV. 1) немецкий язык; 2) польский язык (читаю на них раз в неделю).

Остаются неучеными (т.е. нечитаемыми) остальные финно-угорские, которыми занимался (эстонский, эрзя-мордовский) и, в сущности, романские (французский и эсперанто). Конечно, это известная потеря, но другого выхода у меня нет. Если я буду «распыляться», я, не усвоив и их, помешаю своему овладению венгерским языком и английским также. Но, с другой стороны, хорошо овладев венгерским, я лучше пойму специфику других финно-угорских языков: ведь я буду смотреть на них не через славянские, а через венгерские очки, т.е. стану гораздо ближе к ним. А английский язык, в котором масса слов французского и латинского происхождения, не даст мне полностью забыть ни французский, ни эсперанто. Если бы Бог мне отпустил ещё немного лет, я, овладев указанными языками, ещё бы мог вернуться к временно забываемым языкам. Если этого не будет, удовольствуюсь тем, что более или менее реально, — этого и так достаточно: «лучше меньше, да лучше», а не «больше, да хуже».

Думаю, что и этой программы вполне достаточно на оставшееся время, тем более что я хоть и пенсионер, но работающий, которому надо выполнять и плановую работу, и свою собственную, да и не только писать, но и «пробивать» для печати написанное, что во много раз труднее. А для всего этого надо много сил. Это не значит, конечно, что другие языки, кроме указанных, совсем выпадут из поля зрения. Если потребуется для работы, я и их буду привлекать. Это значит лишь, что это будет только от случая к случаю, систематически я этими языками заниматься не буду.

Всё это я написал, исходя из своего опыта. Буду рад, если кто-нибудь почерпнёт из него что-то полезное для себя.

Совсем «под занавес» мне хотелось бы сравнить полиглота-любителя (это своеобразный «спорт») и теоретика-лингвиста.

Говорят, есть такие фокусники. Они могут, даже если им напишут большие цифры от потолка до пола, мгновенно их складывать, но в вопросах теоретической математики они полные профаны. И теперь их поразительный труд свободно заменяют калькуляторы. Кстати, поэтому теперь люди постепенно разучиваются считать устно.

А есть специалисты в области высшей математики, неспособные к подобным мыслительным операциям-фокусам, но зато открывающие фундаментальные и чрезвычайно важные математические законы.

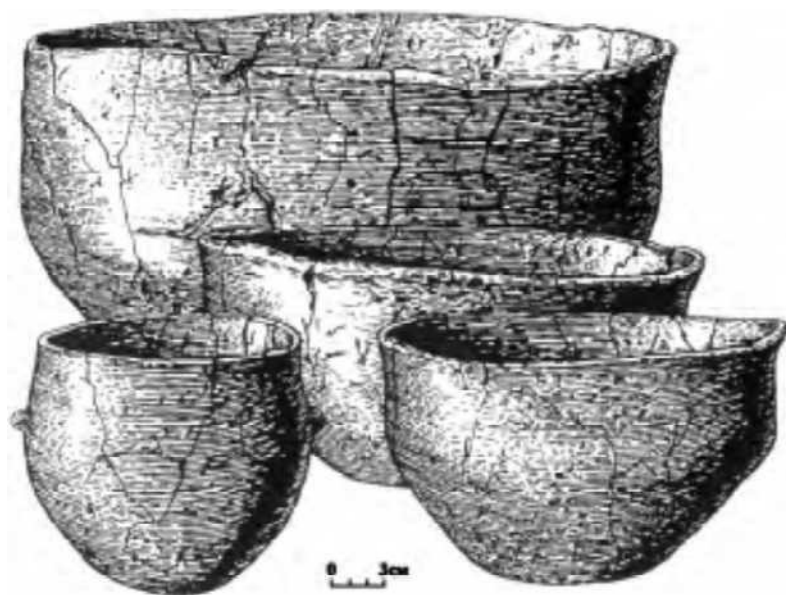
Примерно подобное сравнение можно привести в отношении полиглотов и практических знатоков ряда языков в сопоставлении с лингвистами-теоретиками. Способности первых сугубо индивидуальны. Лингвист-теоретик, напротив, написав свой труд, может чему-то научить миллионы (с помощью словарей, грамматик, монографий, на основании которых напишут учебники). Правда, и опыт полиглотов поучителен, но, возможно, для этого нужны специфические (сугубо индивидуальные) способности. Или нужна особая методика, но, видимо, и в методиках нужен учёт индивидуальных черт человека. Я, например, никогда не прибегал к переводным с русского произведениям (разве для освежения забытого), а вот один из моих знакомых, испанист, рассказывал, что когда он изучал испанский язык, почти не было

хороших словарей, и он изучал испанский язык, читая испанский перевод известной повести Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» (по-испански «El hombre de verdad»), а потом читал «Дон Кихота» с параллельным русским переводом. Что же? Может быть, в случае нужды и этот метод хорош. Ещё советую многократно прочесть одну книгу. Да так, чтобы уже читать её как на родном языке... Скучновато, но зато уже следующие книги пойдут во много раз легче. Кстати, припоминаю, что в детстве я подобным образом читал некоторые особенно полюбившиеся книги. Может быть, и в связи с тем, что русский язык, основной язык моего детства, я знал тогда недостаточно. Например, только перечитывая многократно Пушкина, я стал хорошо понимать многие церковно- или старославянские слова, которых у него немало: например, ланиты — щёки, вежды — ресницы, перси — груди, выя — шея, рамена — плечи, чресла — бёдра, лядвии — ляжки, персты — пальцы и многое другое. Немало подобных слов, например, и у Жуковского в его переводе «Одиссеи». В современном русском поэтическом языке они совсем или почти не встречаются, но чем дальше от современности, тем их больше.

А вообще любой язык — это неисчерпаемый океан, охватить который невозможно. Я же так много об этом написал потому, что в этом вся моя жизнь. И как бы много я об этом ни писал, всё равно я бы не исчерпал этой темы.

О. Ткаченко

Керамика из Поповского
городища VII-IX вв.
[Археология Костромского
края. Кострома, 1997, с. 125]



БИОГРАФИЯ

Ткаченко Орест Борисович, украинец, родился в Харькове 10 декабря 1925 г. Родители - отец, Ткаченко Борис Данилович, языковед-украинист и переводчик художественной литературы на украинский язык с западноевропейских и русского языков (расстрелянный 23 декабря 1937 г. и посмертно реабилитированный), и мать, Ткаченко (до замужества - Косолапова) Ольга Яковлевна, с незаконченным высшим филологическим образованием, работавшая стенографисткой в научных учреждениях Харькова - развелись в 1927 году. В 1935 г. мать вторично вышла замуж за Ленского Владимира Николаевича, инженера-монтажника (от него брат Ленский Александр Владимирович, 1937 года рождения, физик по специальности).



Вследствие частых переездов родителей, связанных со спецификой работы отца, вынужден был учиться в разных (восьми) школах. Учился в школе с русским языком преподавания с 1935 по 1945 год, поступив в среднюю школу в Харькове. С 1941 по 1943 год находился с родителями и братом в эвакуации в Свердловской области, в поселках Реж и Нейво-Рудянка. 1 января 1943 г. проходил призывную комиссию при Невьянском РВК Свердловской области, которой был признан негодным к военной службе (по причине плохого зрения).

При возвращении из эвакуации, потеряв много времени и отстав в учёбе, пошёл на производство. Работал на восстановлении Каменского (Ростовской области) химического комбината такелажником и слесарем-трубопроводчиком с марта по август 1944 года. С сентября 1944 года возобновил учебу и летом 1945 года закончил 10 класс Каменской средней школы. Осенью того же года поступил на украинское отделение филологического факультета Харьковского университета, где проучился до осени 1947 года.

Осенью 1947 года в связи с переездом родителей из Каменска в Киев перевелся на то

же отделение и факультет Киевского университета, который закончил в 1950 году. Во время учёбы проявил интерес к славянской филологии (польскому языку, изученному самостоятельно с помощью учебной и художественной литературы). Принимал участие в работе студенческого научного кружка славянской филологии, где выступил с докладом «Стиль и язык поэмы Адама Мицкевича «Гражина»» (на польском языке). Дипломная работа «Стиль и язык украинского перевода повести Ванды Василевской «Райдуга» («Радуга») («Тес за»)» была также во многом связана с проблематикой польского языка. В связи с этим был рекомендован в аспирантуру по специальности «славянские языки» при Институте языковедения НАН Украины (тогда - АН УССР), научный руководитель акад. Л.А.Булаховский.

В аспирантуре, помимо экзамена по польскому языку как основному, изучил и сдал экзамен как по второму по чешскому языку, важному при изучении истории польского.

По окончании срока обучения в аспирантуре в 1953 году принят на работу в

Институт языковедения в должности младшего научного сотрудника отдела общего и славянского языкознания. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Очерк истории изъяснительных союзов в польском литературном языке (на материале произведений второй половины XVI века «Zwierciadlo» («Зерцало») Н.Рея, «Kronika polska Marcina Bielskiego» («Польская хроника Мартина Бельского») И.Бельского, «Kazania sejmowe» («Сеймовые проповеди») П.Скарги). В том же году женился на Ларисе Ивановне Прокоповой, от которой два сына: Алексей, филолог, специалист по французскому языку, 1956 года рождения, и Андрей, медик, 1964 года рождения. Л.И.Проконова - филолог-германист (немецкий язык) и специалист по общему языкознанию (экспериментальная фонетика), доктор филологических наук, профессор (Киевский национальный университет и ряд других высших учебных заведений Киева).

С 1953 г. по настоящее время О.Б.Ткаченко работает в Институте языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины, сперва младшим, а с 1959 г. старшим научным сотрудником, вначале как славист, а позже как специалист по общему языкознанию. В качестве слависта ознакомился со всеми славянскими языками, особое внимание уделив, помимо упомянутых, белорусскому, словацкому, верхнелужицкому, нижнелужицкому, болгарскому. Как филолог-языковед и в особенности специалист по общему языкознанию (специальность, приобретенная позже), обязанный иметь хотя бы общее представление о разных языках, в разной степени, кроме славянских, ознакомился с современными европейскими языками (немецким, английским, датским, французским, итальянским, румынским), классическими (латинским, греческим), древнеиндийским (санскритом), литовским, латышским и частично восточными (турецким, арабским).

С 1960-х годов всё большее его внимание как исследователя, отодвигая эти многочисленные заинтересованности, привлекли финно-угорские языки, прежде всего эрзянский (эрзя-мордовский), финский, эстонский, венгерский. Научно-теоретическое овладение этими языками, как и более обширные сведения в области других, прежде всего славянских (и индоевропейских), языков, позволили ему написать и защитить в качестве докторской диссертации монографию «Сопоставительно-историческая фразеология

славянских и финно-угорских языков» (Киев, «Наукова думка», 1979) в Ленинградском (ныне - Санкт-Петербургском) университете в 1982 году по специальностям: «общее языкознание», «славянские языки», «финно-угорские языки».

С 1966 по 1968 гг. принимал участие в составлении и редактировании «Словаря славянской лингвистической терминологии» (Прага, т. 1 (1977), т. 2 (1979)). В 1984 г. получил диплом доктора филологических наук. В 1992 г. получил звание профессора по специальности «теория языкознания». В 1995 г. избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины по специальности «украинский язык». С 1992 по 1996 год выполнял обязанности заведующего отделом языков Украины Института языковедения НАН Украины. С 1997 г. по настоящее время является заведующим отделом общего языкознания того же Института. Участвовал в работе семи (V, VI, IX, X, XI, XII, XIII) съездов славистов и одного (VI) международного конгресса финно-угроведов.

Основные направления работы и исследовательские области сосредоточены в изучении историко-типологического языкознания, межъязыковых контактов (в частности, теории языкового субстрата и реконструкции мерянского языка), социолингвистики (социолингвистическая классификация языков и проблема языковой стойкости народов), интерлингвистики (эсперантология), что нашло отражение в ряде коллективных работ, в которых он принимал участие как один из соавторов: в частности, «Вступ до ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО

вивчення слов'янських мов» («Введение в сравнительно-историческое изучение славянских языков»), Киев, 1966; «Исследования по польскому языку», М., 1969; «Исследования по серболужицким языкам», М., 1970; «Філософські питання мовознавства» («Философские вопросы языкознания»), Киев, 1972 (тж. Братислава, 1979 – переиздание на словацком языке); «Современное зарубежное языкознание. Вопросы теории и методологии», Киев, 1983; «Плановые языки: итоги и перспективы (К 100-летию эсперанто)», «Linguistica Tartuensia», Тарту, 1988; «Проблемы становления и развития серболужицких литературных языков и диалектов», М., 1995; «Українська мова. / Енциклопедія» («Украинский язык. / Энциклопедия»), Киев, 2000. Является одним из составителей и редакторов 7-томного издания «Етимологічний словник української мови» («Этимологический словарь украинского языка»), тт. 1-4, Киев, 1982, 1985, 1989, 2003, где ему принадлежит свыше 3000 статей. Является автором монографий: «Сопоставительно-историческая фразеология славянских и финно-угорских языков» (Киев, 1979, 2-е изд. – «По следам исчезнувших языков (Сопоставительно-историческая (историко-типологическая) фразеология славянских и финно-угорских языков)», Ньиредьхаза, 2002); «Мерянский язык» (Киев, 1985), «Очерки теории языкового субстрата» (Киев, 1989) и двух монографий, сданных в печать, но пока не изданных, – «Українська мова і мовне життя світу»

(«Украинский язык и языковая жизнь мира»), Киев, «Спалах» («Вспышка»), 272 стр. и «Мова і національна ментальність» («Язык и национальная ментальность»), Киев, «Грамота», 215 стр. В целом ему принадлежит около 226 научных трудов. Подготовил ряд кандидатов наук. Среди учеников и последователей – член-корреспондент НАН Украины, д.ф.н., проф. Г.П.Пивторак, д.ф.н. проф. И.М.Железняк, д.ф.н. Ю.Л.Мосенкис, д-р Имре Пачаи (Венгрия).

Читал лекции и проводил занятия в Киевском, Ужгородском, Прикарпатском (г. Ивано-Франковск), Таврическом (г. Симферополь), Московском университетах, Костромском педагогическом университете*, в Мелитопольском и Николаевском педагогических институтах.

Увлечения: изучение языков; литературное творчество (поэзия), псевдонимы: Олександр Косолапов, Олесь Горленко; публикации: (вместе с М.М.Турчин) в сборнике «Каштанові свічі» («Каштановые свечи») – подборка «З полону літ» («Из плена лет»), Ивано-Франковск, 2000; журнал «Березіль» («Март»), Харьков, 1994, № 8; газета «Жива вода» («Живая вода»), Киев, 1990-ые годы. В целом опубликовано около 40 стихотворений.

Круг стран и местностей, которые посещал или в которых учился и работал:

славянские - Украина, Россия, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Словения; страны балтийских народов - Литва, Латвия;

страны и автономии финно-угорских народов - Эстония, Венгрия, в Российской Федерации - Мордовия (Саранск), Республика Коми (Сыктывкар).

8 августа 2004 г. По документальным данным составил О.Б. Ткаченко

Первая из них издана в 2004 году, вторая в настоящее время готова к печати.

* Ныне - Костромской государственный университет. По словам его проф. Н.С. Ганцовской, и лекции и сам лектор оставили у слушателей самые лучшие воспоминания. - Прим. ред.

Написано около 100.



Бронзовый амулет-птичка из
Поповского могильника VII-IX вв.
[Археология Костромского края.
Кострома, 1997, с. 124]

Из справки, составленной в начале 2002 г.
о заведующем отделом общего языкознания
Института языковедения им. А.А.Потебни НАН Украины
О.Б.Ткаченко

<...> Личный вклад в науку: 1) обоснование нового сопоставительно-исторического (историко-типологического) метода, особенно целесообразного при исследовании глубинных (субстратных) языковых связей; 2) разработка теории языкового субстрата; 3) реконструкция мертвого финно-угорского мерянского языка (распространенного в Центральной России до 18 в.), важного как особое ответвление финно-угорских языков и субстрат русского языка для финно-угроведения, русистики и славистики; 4) обоснование новой, третьей (после генетической и типологической) социолингвистической классификации языков мира; 5) создание на основе упомянутых выше достижений и дальнейших исследований серии работ, посвященных сложному социолингвистическому положению украинского языка, где всесторонне освещаются причины подобного положения и предлагаются возможные пути выхода из него. <...>

Моя ближайшая родословная
(и комментарии к ней)



В наших семейных отношениях (даже не учитывая факт развода родителей, когда мне было два года) явно преобладает (скрытый) матриархат. Поэтому свою родню со стороны матери знаю гораздо лучше, чем со стороны отца, и так, я думаю, было бы, даже если бы родители не развелись.

О своих бабушках (особенно по линии отца) знаю немного. Их жизнь — обычная жизнь дореволюционных женщин, которые по выходе замуж становились мужними жёнами и, нигде не работая, занимались домашним хозяйством и воспитанием многочисленных детей, — тоже, безусловно, большая (но не заметная) работа, чрезвычайно важная для любого государства. У бабушки по линии отца было 6 детей, у бабушки по линии матери — 5, а могло бы быть и семь (двое близнецов умерли в раннем детстве).

Больше могу сказать о дедах.

Даниил (по-украински Данило) Авксентьевич Ткаченко, переехав ещё в детстве с родителями в Харьков, служил мальчиком-посыльным у владельца и главного редактора известной харьковской газеты «Южный край». Тому понравился смышлённый мальчишка, и он помог ему поступить в гимназию и некоторое время опекал, что помогло впоследствии деду получить и высшее образование (и стать личным дворянином). К несчастью для деда, он увлёкся тем, что тогда называлось украинофильством и отнюдь не поощрялось властями. Вследствие этого, был выслан в Архангельскую губернию (работал учителем и до того, и позже) и на некоторое время был лишён права возвращения в пределы «малороссийских губерний», т.е. и в Харьковскую. Живя и работая в Воронеже (или, как тогда говорили, служа), как многие украинцы, увлекался театральным искусством, устраивал любительские спектакли, ставя украинские (т.е. на украинском языке) пьесы. В этих спектаклях участвовала и одна из воронежских барышень (хотя и русская), ставшая потом женой деда и моей будущей бабушкой. Дети этой пары дома с матерью обычно говорили по-русски, а с отцом — по-украински, из Львова дед для них выписывал детский журнал «Дзвінок» (по-украински «Звонок»), учились же в русских школах (других тогда в Восточной Украине не было, — за исключением школ с другими (иностранными) языками), и поэтому с детства, кроме русского, прекрасно знали и украинский литературный язык, что тогда для

интеллигентских городских детей в Восточной Украине было редкостью.

Дед, несмотря на свою первую ссылку, служил учителем, а потом секретарём в Харьковском университете, продолжая и свою «украинофильскую» деятельность. Дружил и сотрудничал с Борисом Гринченко, выдающимся писателем и общественным деятелем, составителем известного «Словаря украинского языка».

Предполагаю, что имя *Борис* моему отцу дед дал в честь своего знаменитого друга. Мой дед печатался в украинских журналах во Львове (до 1905 года в России подобные журналы не разрешались, выходили только альманахи). Печатали там его рецензии и статьи об украинских писателях (в частности, об украинском философе и поэте Григории Саввиче Сковороде (1722/1794) и Шевченко). В 1914 году деда снова отправили в ссылку (по той же причине, что и в первую) в город Царёвококшайск (теперь Йошкар-Ола).

Умер он, как полагаю, в 1930-м году. Дед любил до поздней осени купаться в пригородных харьковских речках (или прудах), был в какой-то степени тем, что теперь называют «моржом». Обычно, приехав домой, пил горячий чай и согревался. Но в одну из поездок потерял хлебные карточки и, думая, что это произошло уже в городе, долго их искал. Не знаю, нашёл ли, но результатом этих поисков была сильнейшая простуда и двустороннее воспаление лёгких (тогда смертный приговор: пенициллина ещё не изобрели), от чего и умер.

По-своему замечателен и дед по матери. Из крепостных он выбился в люди, т.е. стал тем, кого по-английски называют *self made man* (человек, сделавший сам себя, обязанный всем себе), правда, в этом помог ему немного брат. Происходил он из крепостных мастеровых (поэтому их барин и перевёл в Харьковскую губернию). Были они столярами и плотниками, делали кареты (уличное прозвище — Каретниковы). Дед переехал после службы в гвардии (отбирал в гвардию его сам Государь Александр II с цесаревичем, будущим Александром III) из деревни в Харьков и сперва сам работал, а потом возглавил артель. Вместе со своей артелью участвовал в строительстве самых известных домов в Харькове, в частности, здания страхового (противопожарного) общества «Саламандра» в начале улицы Сумской (одной из центральных улиц Харькова).

§§).

Дед для меня особенно почитаемый человек. Хотя помню его несколько смутно, но сквозь отдаление лет вспоминаю его именно как что-то светлое, особенно любимое. Помню, как он приходил (иногда даже в рабочем фартуке) с работы (конечно, тогда у него уже не было артели, и он работал просто мастером или даже рядовым рабочим, *пролетариев*). От него очень приятно пахло деревом. А в кармане фартука он приносил разные «спилки»

Дело под вечер, зимой И морозец
знатный. По дороге столбовой Едет
парень молодой, Ямщикок
обратный

Моя мать окончила частную гимназию, в которой преподавали два будущих академика, Александр Иванович Белецкий (литературовед) и Леонид Арсеньевич Булаховский (языковед, мой будущий научный руководитель), и будущий член-корреспондент Яков Владимирович Ролл (преподавал ботанику). На Высших женских курсах (мать вынуждена была с них уйти по семейным и прочим обстоятельствам (1919 год, гражданская война)) среди её профессоров был и крупнейший латышский (и балтийский) языковед

***** У Некрасова -
«Мужичок», но слово «Ямщикок» тоже есть пятью строками ниже - *прим. ред.*

С украинским языком мать познакомилась поздно (в 18 лет), когда подруга «подбила» её участвовать в украинском народном хоре, который возглавлял известный украинский писатель и музыкант (составитель учебника игры на бандуре), по профессии инженер, Гнат (Игнатий) Мартынович Хоткевич (расстрелянный в 1938 году). Впоследствии мама (и с помощью отца) прекрасно овладела украинским языком и, хотя в основном говорила по-русски, свободно им пользовалась и прекрасно пела украинские песни. Но об этом я, по-моему, уже где-то писала

В гимназии она изучала немецкий и французский языки (второй знала особенно хорошо, и можно сказать, что её большая любовь к этому языку меня заставила его изучить). На высших женских курсах, кроме того, им читали спецкурс по «Vita nuova» («Новая жизнь») Данте (разумеется, по итальянскому тексту). Первые шаги курсистки делали на сопоставлении французского языка (который хорошо знали) с итальянским: buon giorno - bon jour - добрый день, notte - nuit - ночь, amore - amour — любовь и т.д. Потом знакомились с краткой грамматикой итальянского языка профессора Гливенко, который читал спецкурс, и начинали уже самостоятельно разбираться в итальянском тексте. Кроме того, мама (с несколькими

Мне показалось, что для полноты и эти детали были не лишними, хотя изрядно надоело это беспрерывное «яканье», «я», «меня», «мой», «мои». Вообще-то я не особый любитель откровенничать...

Мать хотела меня назвать Александром (потому я и взял украинский псевдоним Олександр (= Александр) Косолапов), и отец склонялся к тому же. Но в это время у моего дяди, брата отца, родился тоже сын. Дядя, как истый украинец, хотел ему дать имя Тарас (в честь Шевченко) или Богдан (в честь Хмельницкого), но его теща, бывшая дворянка, воспитанница Смольного института благородных девиц, этому решительно воспротивилась: «Дай ему обычное человеческое имя».

И вот здесь отец, листая список украинских имён, натолкнулся на народную форму имени Орест - Ярест. А надо сказать, что в своё время он как украинский диалектолог работал в селе Яреськи. Это село с великолепной украинской фонетикой (Полтавская область) впоследствии стало известно тем, что в нём Александр Довженко, выдающийся украинский (и советский) кинорежиссёр и писатель, снял два самых знаменитых украинских фильма «Звенигора» и «Земля», которые французский кинокритик Жорж Садуль впоследствии внёс в список 20-ти лучших кинофильмов всего мира. И вот у

О.Ткаченко. Исследования по мерянскому языку

отца возникла идея: Ярест — это по-украински иначе Яресько (по названию его любимого села, очевидно, Яреськи множественное число от Яресько). И он или при первой встрече, или по телефону сказал брату: ««Продаю» тебе имя Александр». Так мой брат (погиб на войне) из Тараса или Богдана стал Александром. И в той семье воцарился мир и спокойствие.

Тёщу вполне устроил Александр, зятя тоже. Украинское Олександр имеет сокращённую форму Олесь (Лесик), а Олександр Олесь — это псевдоним замечательного украинского поэта (настоящая фамилия Кандыба), автора известных стихов, многие из которых стали романсами. А я... стал Яресько, уменьшительное (Я(ре)сько > Ясько), но так как окружение после развода с отцом было русскоязычным, то в детстве меня звали (Яська >) Яс я (укр. Васько — русское Васька (Вася), Сашко — Сашка (Саша) и т.п.)

.

Но судьба сыграла злую шутку с моим именем: ведь при русском аканье моё имя звучит как Арест — арест. И действительно, в конце октября 1937 года произошёл арест отца, а затем и его расстрел. В обвинении фигурировали такие «аргументы»:

1) сын личного (т.е. нестолбового), но всё же дворянина, следовательно, классово чуждый элемент;

2) участник правотроцкистского террористического блока (но это, конечно, из типа тогдашних печальных «анекдотов», — английский шпион, — рыл подземный ход из

бывший институт благородных девиц, в 30е годы место пребывания НКВД, где «судили» моего отца несправедливые судьи. Я иногда задумывался о его последних минутах и... тут же «приказывал» себе не думать об этом. От мысли об этой ужасной трагедии

Харькова в Лондон: тогда очень легко «выбиванием» делали из человека путём самоговоров кого угодно);

3) «отрывал украинский литературный язык от языка широких трудящихся масс», — а надо сказать, наши трудящиеся массы под давлением обстоятельств говорили нередко на невообразимом жаргоне, смеси украинского с русским (у нас этот жаргон называют суржик «смесь ржи с пшеницей»)... Не мог же мой отец, который, по выражению Л.А.Булаховского, говорил и писал на изящном украинском языке, великолепный знаток этого языка (написавший до сих пор ценный «Очерк украинской стилистики»), Эдгара По, Проспера Мериме, Николауса Ленау, классиков американской, французской, австрийской литературы, общепризнанных мастеров и стилистов английского, французского и немецкого языков, переводить, «перепирать» на какой-то анекдотичный смехотворный жаргон. Он их переводил на полноценный украинский язык, так что и до сих пор не стыдно эти переводы читать (правда, переводы Николауса Ленау, которые очень хвалил Л.А.Булаховский, остались, по видимому, в рукописи и, возможно, погибли или не найдены). А переводы Э.По высоко оценил А.И.Белецкий.

Так мой отец получил самую высокую «оценку» тех лет: тогда преимущественно расстреливали выдающихся украинцев (и многих русских вместе с ними, но русских по крайней мере не стреляли за язык). Серых (середнячков) тогда особенно не трогали, косили высокую траву, — тех, кто был ниже травы, эта тогдашняя «чума» не затронула.

Окно комнаты, в которой я работал в институте, как раз выходило (в Киеве) на

* А уже в 90-е годы судили некоего выроodka, серийного убийцу, убившего 50 человек, — к сожалению, носящего тоже украинскую фамилию. Эта тварь сделала убийство своим спортом и... похвалялась перед немецким корреспондентом журнала «Der Spiegel» («Зеркало»), что, если бы его выпустили, он бы продолжал убивать, так как поставил своей целью

***** Кстати, более симпатично моё имя звучит с западноукраинским ударением Орест: тогда и по-русски сохраняется О-. Но мой отец давал мне имя, исходя как раз из восточноукраинских ассоциаций. Однако имя Орест очень популярно в Западной Украине, возможно, и потому, что у римо-католиков поляков такого имени нет: это имя только православное или греко-католическое (униатское)... Поэтому (из-за его «га-лицийности») моих детей нередко спрашивали: «Ваш батько часом не зі Львова?» («Ваш отец случайно не из Львова?»). Я сам люблю Львов (и в связи с поэзией Ивана Франко), но впервые в нём побывал, когда мне было лет... этак 55 (если не больше)... А в общем, как видите, я родился и вырос где-то на границе, пересечении нескольких славянских культур: русской — украинской — белорусской — польской — чешской — словацкой — болгарской, и поэтому хотел бы, чтобы славяне жили мирно и как добрые соседи («Ребята, давайте жить дружно!» — как сказал один мудрый Кот).

убить... 365 человек.

смертью

Во многих штатах общепризнанной демократической страны США до сих пор не отменена смертная казнь... А мы этого выродка наказали... жизнью (правда, вечного заключения)... Невольно возникает вопрос: не слишком ли поторопились (в угоду Европе). Да, справедливо, что смертная казнь часто оказывалась ошибкой, а «смерть (по словам Маяковского) не умеет извиняться». Но к чему теперь посмертная реабилитация моего отца, который мог бы еще так много полезного сделать? И почему явного серийного убийцу мы не вправе один раз убить за 50 убитых невинных людей (убийства женщин к тому же часто предварялись изнасилованием)... Здесь один человек, сам в одном лице судья, прокурор, адвокат и палач, производит «суд» и «казнь» невинных людей (причем беззащит- можно было бы сойти с ума.

Так даже прекрасное знание моим отцом украинского языка оказалось его тягчайшей «виной», достойной быть наказанной...

ных)... А мы, ничтоже сумняшеся, тратим время на эту мразь, а потом еще... даруем ему жизнь. Не правильной ли делают китайцы, которые людей, заслуживающих казни, часто расстреливают публично, да ещё и заставляют родственников оплачивать стоимость пули и работы «исполнителя»... А у нас (я не знаю, как в России) идут непрерывные «бандитские» фильмы, где воспевается всякая грязь (убийства, проституция, мошенничество в Америке). Вокруг убийц невольно создается некий ореол «романтизма», и к тому же их «подвиги» остаются безнаказанными... хотя тот же серийный убийца признавался, что, если бы была смертная казнь, он бы ещё задумался, убивать или нет, а так, считая, что всё сойдёт ему с рук, продолжал своё грязное и чёрное дело... А потом мы ещё удивляемся, почему при таком ужасном государственном терроризме, свирепствовавшем с 1917го года, при нашем «смаковании» фильмов с убийствами... у нас вдруг (?) такой разгул террора с ликвидированной смертной казнью. Странный «гуманизм» к убийцам при антигуманизме к их жертвам. Это полное вырождение слишком распоясавшейся т. наз. «демократии»!

Другая точка зрения сводится к тому, что летописная мера появилась здесь в VI-VII вв. в результате миграции населения из Среднего Поочья, включив в свой состав группы родственных в языковом и культурном отношении местных финно-угорских племен

(Леонтьев А.Е., 1996).

Своеобразие костромской группы мери объясняется как местными особенностями культуры раннего железного века, так и влиянием древнемарийских племен (Горюнова Е.И., 1967). Нельзя не отметить, впрочем, что вопрос о мерянской принадлежности раннесредневекового населения Костромского Поволжья требует все же дополнительного изучения. Не исключено, что в рассматриваемый период здесь обитала иная группировка финно-угорских племен, не известная нам по названию, а многочисленные элементы культуры, связанные с мерей и прослеженные на материалах костромских курганов XII-XIII вв., были привнесены сюда во время появления в Костромском крае древнерусского населения, в состав которого входили меря из центральных районов ее расселения и представители других финно-угорских групп. Такому предположению не противоречат ни археологические данные, ни свидетельства гидронимии и письменных источников, о которых упоминалось выше.

Предметы, представленные на фото, являются частью археологических коллекций, собранных в результате раскопок двух памятников, расположенных на территории Костромского Поволжья и характеризующих культуру дорусского населения края 2 половины 1 — начала 2 тыс. н.э. Обе эти коллекции хранятся в настоящее время в фонде «Археология» Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ГУК КГИАХМЗ).

Первая из них собрана Волго-Окской археологической экспедицией Института археологии АН СССР во время исследований Поповского городища (далее — *Поп. г.*) под руководством научного сотрудника ИА А.Е.Леонтьева в 1980-1984 гг. Городище расположено у дер. Попово в Мантуровском районе Костромской области на левом берегу р. Унжа. С конца XIX века неоднократно исследовалось (в 1885 г. — Ф.Д.Невдов, в 1903 г. — Н.М.Бекаревич, в 1926 г. — О.Н.Бадер, 1979 г. — Г.А.Архипов, 1980-1984 гг. — А.Е.Леонтьев).

Культурные отложения памятника относятся к VI-VII и IX вв. Напластования VIII века отсутствуют. Городище было поставлено местным финно-угорским населением, находившимся в тесных связях с финно-уграми Верхнего Прикамья. По мнению А.Е.Леонтьева, городище принадлежало одной из небольших общин костромской группы мери. Жители поселения занимались земледелием, животноводством, охотой, рыболов-

ством, на городище зафиксированы следы деревообрабатывающего, кузнечного, бронзолитейного, ювелирного, ткацкого производств, не выходявших за рамки домашней деятельности.

Могильник у дер. Большое Молочное на р. Костроме (далее — *Мог. Б. Мол.*) является одним из наиболее поздних памятников дорусского населения в Костромском Заволжье. Он исследовался в 1983 г. В.В.Сидоровым, в 1995 г. поиски следов могильника производил А.Е.Леонтьев. На территории могильника найдены остатки 13 захоронений по обряду трупосожжения. Сожжение умерших совершалось на стороне, вне пределов могил. Остатки помещались в неглубокие ямы, чаще всего с меридиональной ориентировкой. Вероятно, практиковался и наземный обряд погребений. А.Е.Леонтьевым высказано предположение, что, по крайней мере, некоторые погребения были помещены в наземные сооружения типа «домиков мертвых». Из инвентаря, сопутствующего захоронениям, были найдены различные украшения, предметы быта, вооружения, керамическая посуда. Принадлежность могильника местному финскому населению у исследователей не вызывает сомнения. В инвентаре погребений заметно древнерусское влияние, проявившееся в появлении таких предметов как пластинчатый браслет. Материалы могильника свидетельствуют о сохранении самобытного финского населения в бассейне р. Костромы вплоть до начала древнерусской колонизации. Памятник датируется X-XI вв., но некоторые предметы архаического облика (бронзовая подвеска-уточка) указывают на возможность существования могильника еще в VIII-IX вв.

Фото 1 (стр. 7).
Керамическая посуда. КМЗ КОК
30780/1; КМЗ КОК 30780/ 11. Поп.
г. 2 пол. 1 тыс. н.э.

Фото 2 (стр. 7). Предметы
бронзолитейного производства.
Керамические льячка и тигель.
Поп. г. 2 пол. 1 тыс. н.э. (КМЗ
КОК 37808/ 130; КМЗ КОК
37808/338).

Фото 3. (стр. 136). Предметы
домашней утвари, охоты, рыболов-
ства, снаряжения коня. (1, 2 -
керамика; 3-8 - железо; 1-5, 7,
8 - Поп. г. 2 пол. 1 тыс. н.э.,
6 - Мог. Б. Мол. Кон. 1 - нач. 2
тыс. н.э.)

1-2. Пряслица. КМЗ КОК 37808/
390, КМЗ КОК 37808/372.

3-4. Крючки рыболовные. КМЗ
КОК 37808/132, КМЗ КОК
37808/202.

8. Наконечники стрел. КМЗ КОК
37808/258, КМЗ КОК 37808/259.

Кочедык. КМЗ КОК 48467/29.

Удильца. КМЗ КОК 37808/303.

На тигульном листе воспроизведена скульптурная реконструкция 35-40-летней ме-
рянки с
городища Плёс Ивановской области. Работа Елизаветы Валентиновны Веселовской
(Лаборатория пластической антропологической реконструкции Института этнологии и
антропологии РАН). Фото Максима Войлошникова (впервые опубли. в его статье в журнале
«Вокруг света», № 2 (2689), февраль 1998 г.) [<http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/archives/?itemid=690>]

Фото 4 (стр. 255). Изделия бронзолитейного производства.
Шумящие подвески. Бронза.

1. КМЗ КОК 37808/228. Поп. г. 2 пол. 1 тыс. н.э.
2. КМЗ КОК 48467/1. Мог. Б. Мол. Кон. 1 - нач. 2 тыс. н.э.
3. КМЗ КОК 37808/375. Поп. г. 2 пол. 1 тыс. н.э.

Фото 5. (стр. 259). Изделия бронзолитейного производства.
Бронза (1-3, 5-7, 9 - Поп. г. 2 пол. 1 тыс. н.э.; 4, 8 - Мог. Б. Мол. Кон.
1 - нач. 2 тыс. н.э.) 1. Подвеска-уточка. КМЗ КОК 37808/325.

2. Очковидная пронизка. КМЗ КОК 37808/2.
3. Очковидная подвеска. КМЗ КОК 37808/297.
4. Перстень спиральный. КМЗ КОК 48467/25.
5. Пронизка. КМЗ КОК 37808/55.
6. Бутылковидная привеска. КМЗ КОК 37808/54.
7. Бубенчик. КМЗ КОК 37808/161.
8. Пластинчатый браслет. КМЗ КОК 48467/10.
9. Подвеска-пирамидка. КМЗ КОК 37808/169

Фото 6. (стр. 277). Пластинчатый браслет. КМЗ КОК
48467/10. Мог. Б. Мол. Кон. 1 - нач. 2 тыс. н.э.

Ст.н.с. ГУК «КГИАХМЗ», зав. отделом
хранения, к.и.н. Баранов В.С.

От издателя

Эта книга готовилась долго. Начало ей положила переписка Е.Б.Шиховцева с О.Б.Ткаченко о переиздании «Мерянского языка». В итоге переписки обозначился более широкий состав книги. Готовилась она скорее на энтузиазме издателей, чем на профессиональной готовности к столь ответственному труду, поэтому заведомо была обречена на промахи, недочеты и ляпсусы. Тем не менее, ясно осознавая это, мы решили выпустить книгу в свет, потому что лучше так, чем никак. Ведь труды О.Ткаченко по мерянке весьма труднодоступны в тех регионах, где меряне жили более 12 веков и около 300 лет назад сошли с арены истории, оставшись лишь в генах и языке коренных жителей.

Монографии и статьи, вошедшие в данное издание, предоставил нам автор. Подготовку компьютерной формы и вычитку части 1-й сделал Е.Шиховцев, части 2-й — Г.Неганова, части 3-й — О.Шевцова. Приложение составил из писем О.Ткаченко и других присланных им материалов Е.Шиховцев,

рукописные тексты О.Ткаченко были переведены в компьютерную форму О.Шиловой и А.Бессоновой, основную часть сканирования выполнил Р.Алексеев.

Ранняя редакция приложения была напечатана в костромской газете «Тень» № 30 в декабре 2004 года.

Для удобства читателей интернет-версии (и бумажного издания) Е.Шиховцев предложил идею двух шрифтов, основного и вспомогательного, предназначенного для изображения многочисленных специальных значков и символов лингвистического аппарата разнообразных языков, привлекаемых О.Ткаченко. Р.Алексеев создал эти два шрифта, и с ними была начата верстка книги.

В 2005-2006 годах корректорскую и редакторскую работу над книгой вела в основном О.Шевцова, она же при небольшом содействии Е.Шиховцева сделала первую верстку книги, которая была выслана автору в Киев и вскоре вернулась в Кострому с правкой О.Ткаченко, который с образцовой скрупулезностью

вычитал и проект книги и публикацию в «Тени», тем самым устранив значительное количество опечаток и прочих погрешностей.

Летом 2006 года О.Ткаченко с супругой смогли на неделю посетить Кострому, что дало новый импульс к завершению черновой верстки книги. Возвращенные в издательство гранки с авторской правкой и дополнениями легли на редакторский стол А.Соло-

вьевой, которая при участии Е.Шиховцева и с помощью Г.Божковой завершила к лету 2007 года подготовку чистовой верстки книги.

Вновь тщательно вычитанная автором корректура по возвращении в Кострому была перебелена и наконец отправлена в типографию ООО «Полиграфресурс».

О результатах судить читателям. «Подсудимых» можно видеть на следующей странице.



Алла Васильевна Бессонова и
Ольга Сергеевна Шилова
перепечатывали рукописи

Оксана Евгеньевна Шевцова
наконец встретила с Орестом
Борисовичем и его женой
Ларисой Ивановной
Роман Иванович Алексеев
сканировал тексты и создал
компьютерные шрифты

образец
рукописи



Галина Валентиновна Божкова и

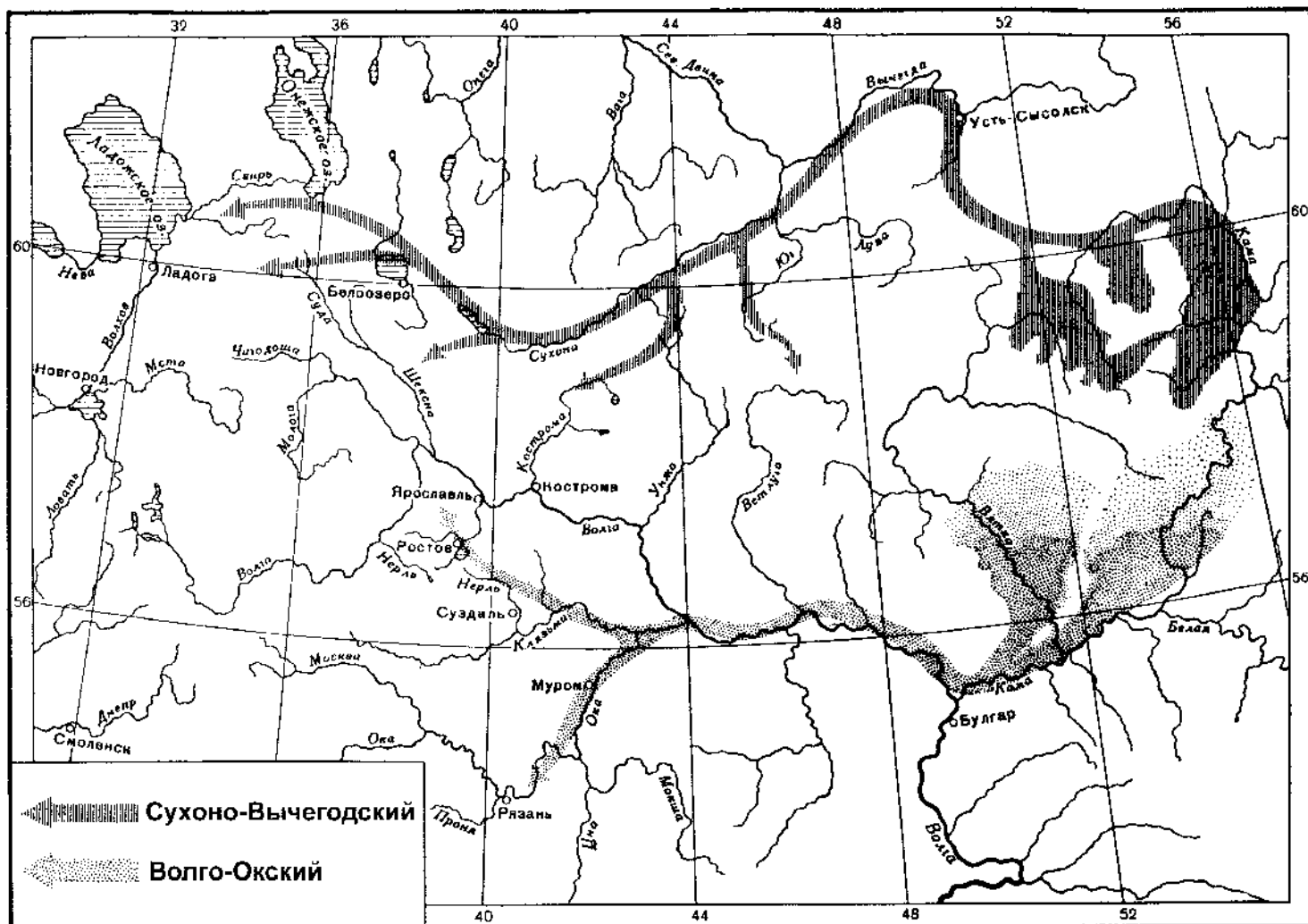


Евгений Борисович Шиховцев
задумал издать эту книгу и
сумел довести дело до конца
с общей помощью

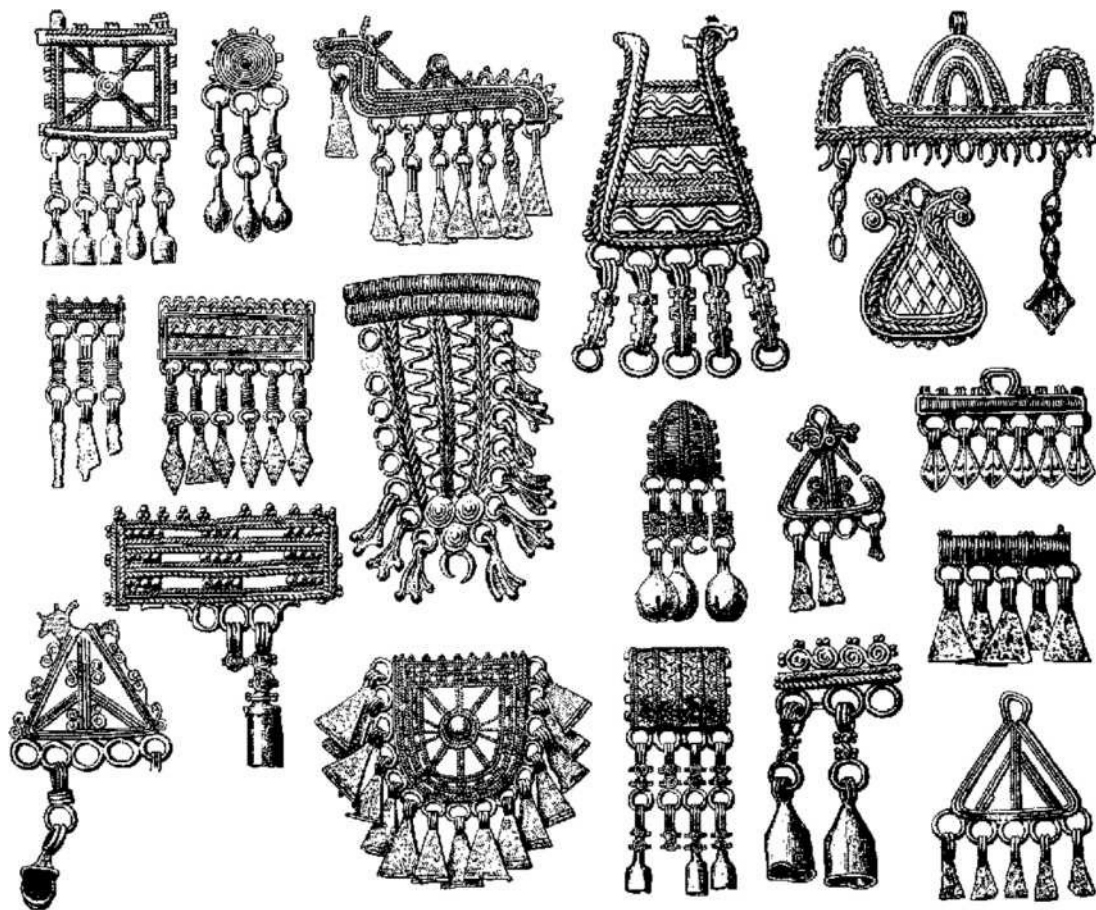
Антонина Васильевна Соловьева
завершили подготовку книги



Древние речные пути торговли и миграции народов

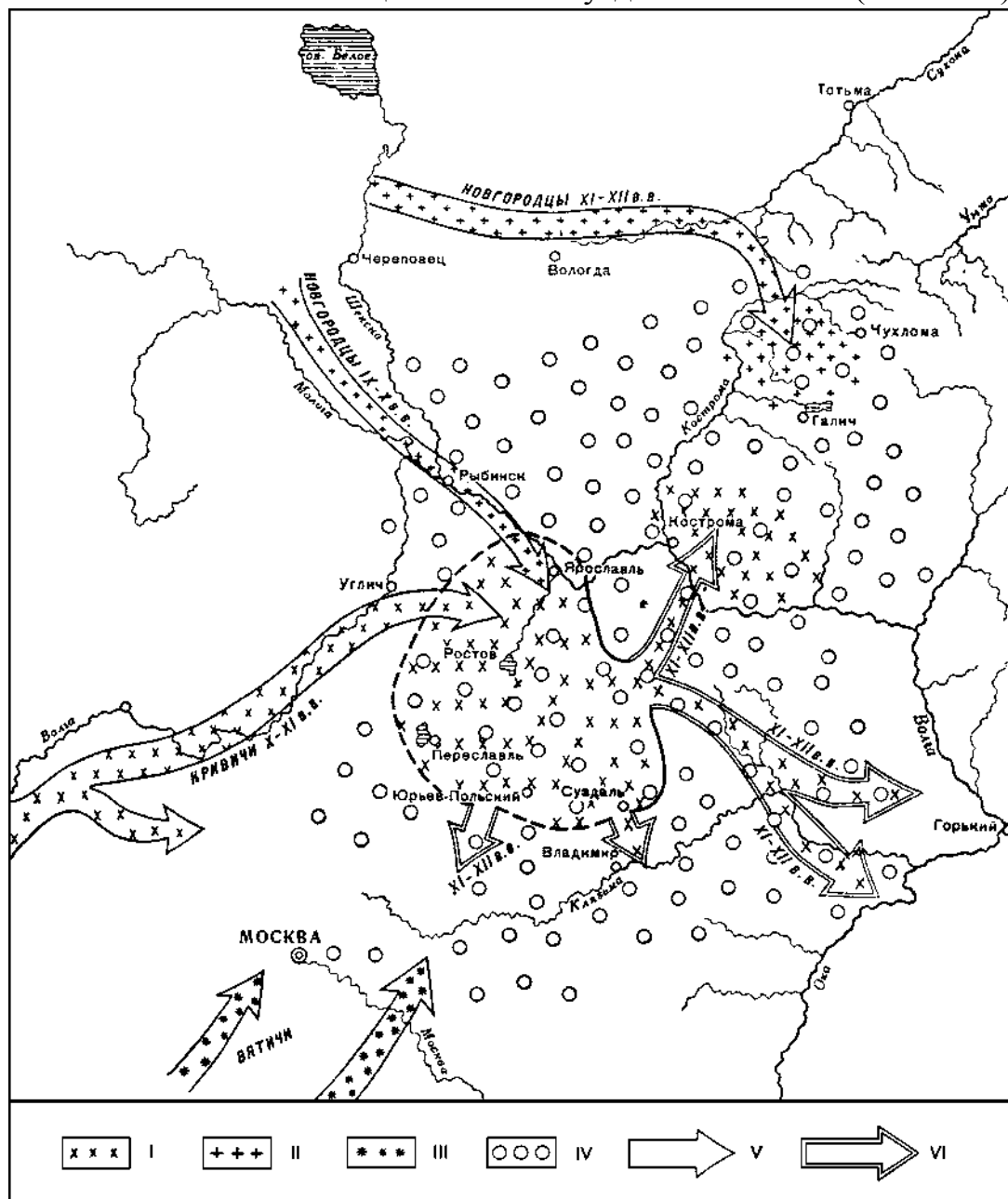


[22, стр. 9]



Украшения
центральной
группы мери
(X - перв.
пол. XI в.)
[22, стр. 100]

Славянская колонизация Ростово-Суздальской земли (X-XII вв.)



I — кривичи; II — новгородцы; III — вятичи; IV — меря;

V — первый этап колонизации (X — конец XI в.); VI — второй этап (конец XI — XII в.)
[22, стр. 184]

Ткаченко Орест Борисович Исследования по мерянскому языку

Издательство ООО «Инфопресс»
156002, г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 73а, оф. 5.
Тел. (4942) 37-23-65, факс (4942) 37-19-70, e-mail review@kmtn.ru

Тираж 300 экз. (1-й завод 1-60). Подписано в печать 02.12.2007 г.
Все права на тексты О.Б.Ткаченко сохранены за автором.

Отпечатано в типографии ООО «Полиграфресурс»,
156961, г. Кострома, ул. Галичская, 130.
тел. (4942) 55-72-43, 45-20-00.

Цветная печать обложки выполнена
типографией ООО «ПолиПринт»,
156002, г. Кострома, ул. Борьбы, 62.
тел./факс (4942) 35-11-45,
e-mail: www.polyprint@kmtn.ru



Много тысячелетий пролежал огромный валун на вершине горы, зовущейся сегодня Александровой. А когда в этих местах появились люди, валун сразу привлек их внимание своими размерами и необычным темно-сизым цветом. Он сделался предметом поклонения племени меря. Они чтили его как бога, приносили ему жертвы.

И славяне, позднее колонизировавшие эти края, обожествляли камень. Они называли валун Синь-камнем. Его считали сердцем языческого бога Солнца Ярилы, украшали цветами и лентами, водили вокруг святыни хороводы. С приходом христианства камень, служивший алтарной плитой древнего святилища, был объявлен «мерьским богом», а окружающие его обряды – греховными, но многие люди продолжали поклоняться камню. А примерно в километре от святилища возник городок Клешин – предшественник Переславля и в то время сильнейшее укрепленное поселение славян в окрестностях Плещеева озера.

В летописи Переславля Синий камень впервые упоминается в XVI в., и весьма нелестно: «Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в боярку, в нем же вселися демон, мечты творя и прилагая к себе ис Переславля людей: мужей и жен и детей их и рассеяв сердца в праздник великих верховных апостолов Петра и Павла. И они слушаху его и к нему стекахуса из году в год, и творяху ему почесть».

(По материалам сайта <http://puteshestvie-vs.livejournal.com/2902.html>; фото слева - с сайта <http://www.utro.ru/articles/2004/09/22/353262.shtml>.)

²² Об этом также, как уже отмечалось, свидетельствует колебание б/в в формах постмерянского диалектного русского слова мерянского происхождения (ср. *бяйки* — *вянки*, *бени* — *венечки* «двурогие вилы»), хотя в самом мерянском это слово представляет собой субстратное включение из индоевропейского языка Волго-Окского междуречья.

¹⁷ Данный пример заимствован из работы: Меновщиков Г.А. Алеутский язык // Языки народов СССР: В 5 т. — Л., 1968. — Т. 5. — С. 405.

²⁹ О происхождении и деяниях гетов. Getica. — М., 1960. — С. 150.